

Библиотека
избранных произведений
писателей Азии и Африки



Избранные
произведения
писателей
Юго-
Восточной
Азии

Annotation

В очередной том Библиотеки избранных произведений писателей Азии и Африки вошли повесть бирманской писательницы Мо Мо Инья «Потерянная тропа», а также рассказы тридцать одного писателя Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

- [Избранные произведения писателей Юго-Восточной Азии](#)
 - [СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА БИРМАНСКИЙ СОЮЗ](#)
 -
 - [Мо Мо Инья](#)
 -
 - [Потерянная тропа](#)
 - [СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ](#)
 -
 - [Нгуен Конг Хоан](#)
 -
 - [Люди-рысаки](#)
 - [Нгуен Ван Бонг](#)
 -
 - [Как я стал бойцом Народно-Освободительной Армии](#)
 - [Нгуен Кхай](#)
 -
 - [На уборке арахиса](#)
 - [Нгуен Нгок](#)
 -
 - [Пон](#)
 - [Тьен](#)
 - [Нгуен Киен](#)
 -
 - [Дети](#)
 - [Нгуен Куанг Шанг](#)
 -
 - [Сын вернулся](#)
 - [Хоай Ву](#)
 -
 - [Бамбуковая флейта](#)

- [Ма Ван Кханг](#)
 -
 - [Лунная песня](#)
- [Зыонг Тхи Минь Хыонг](#)
 -
 - [Цветок джунглей](#)
- [РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ](#)
 -
 - [Прамудья Ананта Тур](#)
 -
 - [Продавшие себя](#)
 - [Инем](#)
 - [Жизнь без надежд](#)
 - [Улица Курантил, 28](#)
 - [Идрус](#)
 -
 - [Хейхо\[69\]](#)
 - [Рассказ о коротких штанах](#)
 - [Кота — Гармони\[75\]](#)
 - [Мухаммад Димьяти](#)
 - [В дельте реки брантас\[83\]](#)
 - [Ох, муж мой...](#)
 - [Атомный век](#)
 - [Бахтиар Сиагиан](#)
 -
 - [Пенсия](#)
 - [Трисноювоно](#)
 - [Герой](#)
 -
 - [Утуй Татанг Сонтани](#)
 -
 - [Ночная стража](#)
 - [Шут](#)
- [МАЛАЙЗИЯ](#)
 -
 - [Вэй Юнь](#)
 -
 - [Сумерки в Вороньей гавани](#)
 - [С. Осман Келантан](#)

- - [Из записной книжки сенатора](#)
- [Крис Мас](#)
 - - [Они не понимают](#)
- [Чжао Жун](#)
 - - [Лотерея](#)
- [РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР](#)
 - - [Мяо Сю](#)
 - - [Золотые ножницы](#)
 - [После освобождения](#)
 - [С. Раджаратнам](#)
 - - [Тигр](#)
 - [С. Кон](#)
 - - [Мученичество Елены Родригес](#)
 - [Катерина Лим](#)
 - - [Избранница](#)
 - [ТАИЛАНД](#)
 - - [Лао Кхамхом](#)
 - - [Политик](#)
 - [Манат Тянраёнг](#)
 - - [Ассигнация в сто батов\[152\]](#)
 - [Мон Мети](#)
 - - [Тряпка](#)
 - [Сибурапха](#)
 - - [Айну сбивается с пути](#)
 - [РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ](#)
 -

- [Нестор Висенте Мадали Гонсалес](#)
 -
 - [Утренняя звезда](#)
- [Адриан Кристоаль](#)
 -
 - [Я, Сулиман](#)
- [Алехандро Росес](#)
 -
 - [Петухи и короли](#)
- [Никомедес Хоакин](#)
 -
 - [Летнее солнцестояние](#)
- [Франсиско Сиониль Хосе](#)
 -
 - [Гора](#)

-
-
-
-
-
-
-
-

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)

- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)

- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)

- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)

- [134](#)
 - [135](#)
 - [136](#)
 - [137](#)
 - [138](#)
 - [139](#)
 - [140](#)
 - [141](#)
 - [142](#)
 - [143](#)
 - [144](#)
 - [145](#)
 - [146](#)
 - [147](#)
 - [148](#)
 - [149](#)
 - [150](#)
 - [151](#)
 - [152](#)
 - [153](#)
 - [154](#)
 - [155](#)
 - [156](#)
 - [157](#)
 - [158](#)
 - [159](#)
 - [160](#)
 - [161](#)
 - [162](#)
 - [163](#)
 - [164](#)
 - [165](#)
 - [166](#)
 - [167](#)
 - [168](#)
 - [169](#)
 - [170](#)
 - [171](#)
-

Избранные произведения писателей Юго-Восточной Азии

**СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БИРМАНСКИЙ СОЮЗ**



Мо Мо Инья

Автор повести «Потерянная тропа» Мо Мо Инья принадлежит к тому поколению бирманских прозаиков, которое пришло в литературу в семидесятые годы. Родилась она в 1945 году в семье торговца в городе Дай У. В детстве Мо Мо Инья училась танцам и живописи, увлекалась литературой, рано начала писать стихи. Училась в Рангунском университете, но вынуждена была прервать занятия из-за болезни. Несколько лет она работала в научно-исследовательском отделе ЦК Партии Бирманской социалистической программы. В середине 70-х годов Мо Мо Инья оставляет службу и полностью посвящает себя литературной работе.

Произведения Мо Мо Инья пользуются большой популярностью на родине писательницы. Известны они и за пределами Бирмы Повести «Потерянная тропа» и «Кто мне поможет?» были изданы в Советском Союзе на русском языке. Повесть «Потерянная тропа» была удостоена Бирманской национальной премии в 1974 году. Она выдержала уже несколько изданий. Чем привлекала повесть внимание читающей публики? Прежде всего своей правдивостью. Герои ее повести — простые люди с их будничными заботами и тревогами, радостями и горестями. Они близки бирманскому читателю, который, как и герои повести, страдает от безудержного роста цен на продукты питания и предметы первой необходимости, от жилищного кризиса и безработицы. Иными словами, писательница показала читателям самих себя. За это и снискала их глубокое признание и уважение.

К. Шаньгин.

Потерянная тропа

«Сегодня, — решила я, — что бы ни произошло, буду к Ко Чи Та снисходительна». Откровенно говоря, это мне стоило больших усилий. Обычно если я сердилась на него, то не разговаривала с ним по два-три дня. Но сейчас моему возмущению не было предела — я готова была рвать на себе волосы, хотя именно этого-то мне и нельзя было делать, потому что я больше часа промаялась в очереди в парикмахерской. От волнения у меня по лицу ручьями катил пот, смывая румяна, наложенные с

необыкновенным тщанием. Я взглянула на свою золовку — сестру Ко Чи Та. Судя по всему, она чувствовала себя неловко. Наши друзья как ни в чем не бывало сидели за столиками и весело болтали. Конечно, все чертовски проголодались. Свадебный ужин был назначен на пять часов, сейчас был уже седьмой, а моего мужа, Ко Чи Та, все нет и нет. Его друзья успокаивали меня, как могли. Ко Чи Вин, например, без конца твердил, что Ко Чи Та задерживается из-за неисправности в машине. В четыре часа Ко Чи Та, заехав за мной и моими подругами в общежитие, привез нас сюда, в китайский ресторанчик «Хван Чу». На зеленой лужайке уже были расставлены столы и стулья. «Я сейчас вернусь», — сказал он и куда-то исчез, прихватив с собой двоих приятелей. Я тогда подумала, что ему нужно заехать еще за кем-нибудь из своих друзей.

Скоро все гости были в сборе. Мы с Ко Чи Та пригласили только самых близких друзей — человек сорок, не больше. Ни его, ни моих родителей не звали. Нам хотелось, чтобы наши друзья не чувствовали смущения в присутствии старших и могли от души повеселиться. «Как хорошо, что здесь нет ни матери, ни тетки!» — подумала я, все больше волнуясь за Ко Чи Та. Вчера, когда мы расписывались, мама и тетка были с нами, потом все вместе мы поехали к родителям Ко Чи Та — они приготовили праздничное угощение, — и только под вечер мама и тетя уехали к себе в Пегу. Итак, я была возмущена. Возмущена тем, что Ко Чи Та так легкомысленно отнесся к нашему первому семейному празднику, но, всячески стараясь скрыть свое возмущение от окружающих, я то и дело подходила к приятелям Ко Чи Та и, в который уже раз, задавала один и тот же вопрос:

— Ко Чи Вин, скажи, куда он уехал? Почему ты не хочешь сказать мне правду? Зачем он уехал?

Ко Чи Вин явно испытывал неловкость оттого, что вынужден был меня обманывать, но, судя по всему, он не мог нарушить данного им Ко Чи Та слова.

— Вечно у него что-нибудь не так! — проговорил он, отчаянно теребя волосы на затылке.

— Куда же он уехал? Какие у него дела в день свадьбы? — не унималась я, втайне надеясь, что в конце концов Ко Чи Вин скажет мне правду.

— Он... он поехал искать деньги, — промямлил наконец растерянно Ко Чи Вин.

— Искать деньги?! Какие деньги? Сейчас? Боже мой!

Теперь возмущение и гнев уступили место отчаянию. Подумать

только! На пять часов назначен свадебный ужин, а в половине пятого жених еще не знает, чем за него расплачиваться! От этой мысли меня бросило в жар. А что, если он не сможет достать денег? Лучше провалиться сквозь землю, чем вынести такой позор! Только на прошлой неделе он одолжил у кого-то денег и сказал, что этого будет достаточно. Я поверила ему и успокоилась. А что из этого вышло?!

— Сейчас самое время перекусить, — сказал кто-то из гостей то ли в шутку, то ли всерьез. Стараясь скрыть свое волнение, я улыбнулась и весело крикнула:

— Ребята, подождем еще немного. Ко Чи Та с минуты на минуту вернется. Он должен привезти еще одного приятеля!

И, повернувшись к сидевшему рядом Ко Чи Вину, в растерянности прошептала:

— Что делать? Ну придумай, пожалуйста, что-нибудь!

— Пусть подадут апельсиновый сок, — сказал Ко Чи Вин.

Я не раздумывая ухватила за предложение Ко Чи Вина и распорядилась подать гостям сок. Таким образом тщательно продуманный порядок ужина был с самого начала нарушен. Во-первых, соком полагается обносить гостей до того, как они будут приглашены к столу. Во-вторых, в китайском ресторане блюда принято подавать горячими и в строгой последовательности. Яства давно уже переставали на огне, а жениха все не было и не было.

— А вот и он! Наконец-то приехал! — дружно воскликнули гости.

К этому времени мои нервы были настолько напряжены, что я, увидев Ко Чи Та, едва не разрыдалась. Однако положение хозяйки заставило меня сдержаться, и я, поднявшись со своего места, с невозмутимым видом направилась навстречу мужу.

— Прошу прощения. По дороге забарахлил мотор. Пришлось немного задержаться! — сказал он как ни в чем не бывало. И, взяв меня за руку, повел к столу.

— Ну что? У тебя все в порядке? — спросила я шепотом.

— Не волнуйся. Все в порядке, — успокоил он меня.

И хотя я ему не поверила, настроение мое значительно улучшилось оттого, что он наконец был рядом.

Приунывшие было гости оживились и в предвкушении долгожданного ужина весело шутили. Официанты-китайцы сновали между столиками, разнося экзотические кушанья. Мне хотелось попробовать всего, но я не успевала прикоснуться к одному блюду, как его забирали у меня из-под носа и приносили другое. Китайская кухня довольно острая, и я решила

выпить немного соку, однако, сделав два глотка, поперхнулась. Видно, кто-то из гостей решил подшутить надо мной и добавил мне джину. Я сморщилась, а Ко Чи Та засмеялся и сказал:

— Не обижайся, Хлайн. Будь веселой. Сегодня такой великолепный день!

Мне действительно стало весело, — может быть, от вина, а может быть, оттого, что окончились все волнения.

— Мы хотим в кино! — заявили вдруг мои подружки.

Только этого не хватало! До чего же они вредные! Ведь знают, что я в общежитие сегодня не вернусь! Ощувив неловкость, я с надеждой взглянула на мужа. Он ответил мне улыбкой и, словно в их просьбе не было ничего противоестественного, добродушно сказал:

— Хозяин не должен ни в чем отказывать гостям. Раз они хотят в кино, поедem в кино.

— Тогда купите двенадцать билетов на девять тридцать вечера. В «Президенте» идет хорошая картина, — крикнула одна из девушек.

Судя по всему, они не шутили. Как же Ко Чи Та выйдет из положения? Он взял меня за руку и отвел в сторону. На краю лужайки под деревом стоял Ко Сейн Вин. Он основательно перепил, и его, по-видимому, мутило.

— Ко Сейн Вин, что будем делать? Девчонки хотят, чтобы мы повели их в кино, — тихо сказал Ко Чи Та.

— Давай веди.

— А где взять денег? Сколько у тебя осталось?

— Ты знай делай, что надо, и ни о чем не беспокойся. У меня в машине припрятана на всякий случай необходимая сумма и еще часы вот. Попросим у хозяина ресторана под залог немного денег, и порядок... — громко разглагольствовал Ко Сейн Вин.

— Пожалуйста, Ко Сейн Вин, говори потише. Услышат ведь, — принялась я умолять опьяневшего парня.

Мы вернулись к гостям. Кое-кто уже поднялся со своего места и стал прощаться.

— Мы пошутили насчет кино, — сказали мои подружки. — Уже поздно. Отвезите нас лучше в общежитие.

— Зачем же? Давайте сначала в кино, а оттуда в общежитие мы вас мигом доставим. Правда, у нас осталась всего одна машина: водитель второй малость перебрал.

— Нет, в кино мы не пойдем. Едем в общежитие. На той машине, которая «трезвая».

Девушек отвезли в два приема. Приятели Ко Чи Та, жившие в центре города, уехали на общественном транспорте. Осталось всего два-три человека. Наконец-то я могла спокойно вздохнуть.

— Поехали, Хлайн.

— Куда, Ко Чи Та? — спросила я грустно. Ведь, стыдно признаться, нам некуда было ехать, негде было провести первую брачную ночь. Шесть месяцев мы искали себе жилье и не могли найти ничего подходящего. Наконец нам предложили одну квартиру. Всем она была хороша и вполне нас устраивала, но освобождалась лишь в конце месяца. Мы с Ко Чи Та твердо решили, что поженимся только после того, как найдем квартиру, но когда сходили к астрологу, оказалось, что нам надо жениться немедленно, в противном случае наш брак, как он утверждал, будет несчастлив. Ко Чи Та жил с родителями в центре города. Но при одной мысли о том, что мне придется поселиться в маленькой клетушке, где и без меня повернуться негде, мне хотелось плакать. Можно было поехать к моей маме в Пегу, но это довольно далеко от Рангуна, а Ко Чи Та завтра нужно быть на работе. На свадебное же путешествие у нас не было денег. Ведь я до сих пор не могу найти работу, хотя и являюсь счастливейшей обладательницей университетского диплома, а Ко Чи Та зарабатывает всего триста джа^[1]. Так мы начинали нашу супружескую жизнь.

— О чем задумалась, Хлайн? Поедем ко мне домой. Кровать у меня широкая. На двоих хватит, — пытался развеселить меня Ко Чи Та.

«И в самом деле, зачем грустить в день свадьбы? Надо на все смотреть с улыбкой», — подумала я и согласилась поехать к Ко Чи Та.

— Так куда вас везти? — спросил приятель Ко Со Мьин, Ко Чи Та.

— Ко мне домой.

— Куда? — удивился тот.

— Домой. Ко мне. На тридцать седьмую улицу. Забыл, что ли?

— Да вы с ума сошли! Провести первую брачную ночь в комнатухе, где спит еще десять человек. А вам не жарко будет?

— Ничего, сейчас прохладно.

— Не дело вы придумали, друзья мои. Неужели нет никакого другого пристанища?

— Слушай, вези куда тебе сказано, — резко оборвала я разглагольствования Ко Со Мьина. Я и без того была огорчена нелепостью нашего положения.

— Тогда вот что. Поехали ко мне, — сказал Ко Со Мьин. — Нас трое: я и жена с ребенком.

— Это идея! — вступил в разговор Ко Сейн Вин. И мы, конечно, с

радостью согласились.

Ко Со Мьин жил в районе Хнинзикоун, на окраине Рангуна. Когда, миновав центральную часть города, мы выехали на окраину, асфальтированная дорога кончилась, и нам пришлось одолевать бесконечные ухабы и рытвины. Нас бросало из стороны в сторону, но, казалось, никто не испытывал от этого неудобств. Ехавшие с нами друзья даже затянули песню. Я сидела, прижавшись к Ко Чи Та, мне было тепло и уютно, и я ощущала себя вполне счастливой.

Я из тех женщин, которые любят, как говорится, витать в облаках. Я начиталась разных романов, где рассказывается о молодоженах, едущих после пышной свадьбы на улицу Инья в свой маленький уютный особнячок, построенный специально ко дню их бракосочетания. Они входят в спальню, где стоит просторная двуспальная кровать, устланная бархатным покрывалом с шелковыми оборками. Молодая жена садится перед трюмо, снимает ожерелья, кольца и другие украшения. В этот момент сзади к ней подходит муж и кладет руки на ее нежные плечи. Она оборачивается к нему и...

На этом месте мои мечты оборвались.

— А теперь придется идти пешком, — услышала я как бы издалека. — Машина дальше не проедет.

Ухабы и рытвины, которые Ко Сейн Вин именовал дорогой, кончились. Начиналась узкая тропинка, ведущая в темноту. Район Хнинзикоун спал. Не светило ни единого огонька. Мы шли в непроглядной тьме, на ощупь, боясь повредить свои свадебные наряды. Я была в туфлях на высоких каблуках и спотыкалась на каждом шагу. Ко Чи Та осторожно поддерживал меня под руку. Ко Со Мьин шел впереди, указывая дорогу.

Жена Ко Со Мьина встретила нас радушно. Она принесла мне свое платье и, несмотря на мои возражения, заставила переодеться. Потом приготовила нам постель и потребовала, чтобы мы взяли единственную имевшуюся в доме москитную сетку. Однако мы наотрез отказались и в конце концов укрыли ею ребенка. Когда мы наконец улеглись, то почувствовали, что откуда-то сильно дует.

— Прикрой дверь, — попросила я мужа. — Мне холодно.

— В этом доме двери не закрываются. Их попросту нет, — ответил он.

Когда глаза привыкли к темноте, я увидела, что единственной дверью была калитка в бамбуковом заборе, вот почему по дому гулял ветер.

Ко Чи Та бережно укрыл меня одеялом, прижал к себе. Было

прохладно, но в эту прохладную ночь нас согревала любовь.

Я родилась и выросла в деревне, на просторе, и всякий раз, когда я входила в дом, где жили родители мужа, я чувствовала, что мне не хватает воздуха. До сих пор не перестаю удивляться, как в маленькой клетушке, разделенной занавеской, помещались бабушка Мьин, отец Ко Чи Та — У Ти Сан, сестра отца — До Ту За, старший брат Ко Чи Та — Ко Тхун Та с женой и с тремя детьми, младшая сестра Ко Чи Та — Эй Мья, сам Ко Чи Та и я. Дети Ко Тхун Та с утра до вечера были предоставлены самим себе. Они шумели, дрались, играли, между тем как их мать все свободное от домашних дел время проводила за чтением книг.

Бабушка Мьин была в доме главной. За ней следовали До Ту За и Эй Мья. Отец Ко Чи Та был человеком простым и скромным. Детей в доме любили и старались воспитать в них любовь к близким.

В былые времена это семейство процветало. Бабушка Мьин слыла красавицей. Муж ее был крупным полицейским чиновником. Отец Ко Чи Та занимал высокий пост в каком-то государственном департаменте. Что касается его сестры До Ту За, то она хоть и не получила университетского образования, но закончила миссионерскую школу и гордилась этим неимоверно. Все они, стремясь сохранить репутацию людей аристократического происхождения, воздерживались от сомнительных, с их точки зрения, знакомств. Брат моего мужа служил в департаменте торговли. Его жена, Ма Кхин Ма, была дочерью известного в районе врача. Ее почему-то не удовлетворял профессиональный уровень выпускников университета, и, исходя из этих убеждений, она по окончании десяти классов вела жизнь обеспеченной бездельницы. У членов этой многочисленной семьи, ютившихся в жалком шестнадцатиметровом сарае, было столько гонору, будто они являлись обитателями собственного двухэтажного особняка в Золотой долине. Они изо всех сил старались сохранить за собой репутацию людей состоятельных и не упускали случая щегольнуть своим родством с известными богачами. До Ту За самым бестактным образом сокрушалась по поводу того, что расстроилась помолвка Ко Чи Та с его троюродной сестрой, преподавательницей университета и дочерью богатого судьи. Она не могла простить ему того, что он, вопреки желанию старших, предпочел меня, презираемую ими дочь простого торговца, родовитой и горячо желанной родственнице.

Несмотря на весьма скромное положение, мои родители дали мне возможность получить университетское образование. Однако устроиться на работу мне не удалось, и теперь я была среди этих снобов белой

вороной.

Раньше всех поднималась бабушка Мьин. Хоть ей и перевалило за семьдесят, здоровье у нее было отменное. И тем не менее она никакими хозяйственными заботами себя не утруждала, разве что давала указания домочадцам.

— Что-то ты сегодня заспалась, дорогая. Скоро уже шесть. — Эти слова бабушка Мьин адресовала мне. Я проснулась и моментально села в постели. Накануне Ко Чи Та уговорил меня пойти вечером в кино. Мы вернулись, когда в доме все уже спали. Уединившись на кухне, мы проговорили до двух часов ночи. Проснулась я с тяжелой головой, все тело ломило: кровать была узкая — ни повернуться, ни ноги согнуть. Ко Чи Та осторожно потянул меня за руку, и я снова легла.

— Не обращай внимания. Она очень любит командовать. Мы уже привыкли.

— Нет, я боюсь. Надо вставать. Я еще не погладила твою рубашку. Тетка До Ту За снова начнет меня упрекать в том, что я о тебе не забочусь.

— Наплевать на эту рубашку. В неглаженной похожу. Ложись, отдыхай.

— Эй, Ма Кхин Ма! — снова раздался голос бабушки Мьин. — Не пора ли тебе готовить завтрак для мужа и детей? Ума не приложу, что бы вы делали, если бы жили отдельно?

Полусонная Ма Кхин Ма, покачиваясь из стороны в сторону, направилась в ванную умываться. Вслед за ней потопал ее младший сын Ту Ту. Он остановился на пороге ванной комнаты и принялся реветь на весь дом.

— Ту Ту, иди ко мне, — позвала я его — я не люблю, когда дети плачут.

Вскоре поднялась Эй Мья.

— Ма Кхин Ма, — кричала она, барабанила кулаками по двери ванной, — выходи скорей! Я из-за тебя в школу опоздаю.

— Погоди минуту. Дай хоть лицо сполоснуть.

Закончив умываться, Ма Кхин Ма отправилась на кухню. Ту Ту, не переставая реветь, следовал за ней по пятам. Его старшие брат с сестрой уже сидели за столом и уплетали за обе щеки хлеб, отщипывая по кусочку от целой буханки.

— Вы совсем совесть потеряли, милые мои! Так и старшим ничего не достанется! Весь мякиш выковыряли. Словно мыши норы прогрызли. Дайте-ка поскорее нож, — разохалась До Ту За, внезапно появившись на кухне. — Бог мой! Чайник давно кипит, а им хоть бы что. И рис еще не

помыт. Посмотрите: керосин-то вот-вот кончится.

Эти разговоры повторялись изо дня в день. Дело в том, что чайник, который ставила на огонь До Ту За, закипал прежде, чем Ма Кхин Ма успевала промыть рис. Жечь зря керосин не по-хозяйски: как только закипит чайник, надо его снять, а на его место поставить кастрюлю с рисом. Было бы справедливее поручить рис моим заботам, а не Ма Кхин Ма — матери троих детей. Так, по крайней мере, думали и Ма Кхин Ма и До Ту За и своего мнения скрывать отнюдь не стремились.

— Интересно у нас получается. Когда в доме была одна невестка, ведра всегда были полны воды. А с тех пор, как их стало две, воду принести некому, — продолжала ворчать До Ту За.

Дело в том, что пока Ко Чи Та был холост, Ма Кхин Ма вынуждена была одна выполнять все распоряжения До Ту За. Когда же появилась в доме я, она старалась самую тяжелую работу взвалить на мои плечи. Между тем к своим новым обязанностям я привыкала с трудом. Прежде мне не приходилось заниматься домашними делами. Семья у нас была небольшая: мама, тетка и я. Меня — единственного ребенка — всячески лелеяли, и, хотя я рано лишилась отца, я никогда не чувствовала себя в чем-либо ущемленной. Мама занималась мелочной торговлей, тетка шила. Доходы были весьма скромные, но нужды мы не испытывали и даже пользовались услугами служанки. Узнав о моем намерении выйти замуж, мама необычайно огорчилась и всячески пыталась отговорить меня от замужества.

— Нынче семья, — без конца твердила она, — может кое-как сводить концы с концами, если работают и муж и жена. А у тебя нет даже надежды устроиться в ближайшее время.

Я ее, конечно, понимала. Она меня вырастила, выучила и, естественно, хотела видеть плоды своих усилий, однако я еще ни разу не держала в руках ни единого пята ^[2], заработанного собственным трудом.

— Не волнуйся, мама. Скоро все уладится. Меня на днях вызывали на собеседование в одно учреждение.

— Во времена моей молодости для влюбленных деньги не служили препятствием. Многие, если родители возражали против их брака, просто убегали из дому. Поживут у кого-нибудь из друзей месяц-другой, потом еще как-нибудь пристроятся. А вам сразу дом подавай. Скоро освободится тот дом, который вы подыскали?

— Говорят, скоро.

На свадьбу мама подарила мне значительную часть своих драгоценностей и две тысячи джа деньгами. Деньги я сразу по приезде в

Рангун поместила в банк, чтобы со временем приобрести на них кое-какую домашнюю утварь.

У Ти Сан и До Ту За незадолго до нашей с Ко Чи Та свадьбы отправились в Пегу, чтобы познакомиться с моей матерью. Бабушка Мьин сказала, что нездоровой и с ними не поехала. Это меня очень обрадовало, ибо моим родным, людям бесхитростным и добрым, трудно было бы найти с ней общий язык. Достаточно было присутствия До Ту За. Ее надменный вид и высокомерный тон причинял им невероятную душевную боль. Глядя на маму, я чувствовала, как она страдает от одной мысли о том, что мне придется жить в подобной семье. Меня же это нисколько не тревожило. Я знала, что спустя неделю мы с Ко Чи Та переедем в отдельный дом и, оставшись вдвоем, проживем счастливо.

С моей точки зрения, молодожены могут испытать счастье и оценить всю прелесть семейной жизни, только если они живут отдельно от родителей. Сочетаться браком — еще не значит создать семью. Вот, к примеру, мы с Ко Чи Та мужем и женой уже стали, а семьи пока еще нет. Ее лишь предстоит создать. А это очень непросто.

— Ко Чи Та, сегодня надо внести аванс — за дом. Ты не забыл? — спросила я, не заметив стоявшую рядом До Ту За.

Она, конечно, не замедлила высказать свои соображения:

— Жили бы с нами — как бы хорошо было. Ни аванс, ни арендную плату вносить не надо. А так только деньги на ветер будете выкидывать! А где их брать? Сначала попробуй-ка на работу устроиться.

Я с надеждой смотрела на Ко Чи Та и ждала, что он скажет. У меня не было больше сил оставаться в этом доме: я чувствовала себя здесь словно в тюрьме. Ко Чи Та отлично знал об этом, однако не торопился что-либо предпринять, чтобы облегчить мою участь.

— Ладно, Хлайн, я пойду. После работы заеду узнать, что там с домом, — ответил он с явным неудовольствием.

Я надеялась, что сегодня он уйдет с работы пораньше и постарается наконец все уладить, поэтому проявленное им равнодушие повергло меня в недоумение. Незаметно для До Ту За я позвала Ко Чи Та за занавеску.

— Я тебя не понимаю. Ты что, решил послушать свою тетушку и остаться в этом доме? — прошептала я и, не сдержавшись, разрыдалась.

— Вовсе нет. Дело в том, что...

— Дело в том, что у тебя нет денег, чтобы внести аванс? Но у меня-то есть деньги. Я могу в любое время получить их в банке.

И тут до меня дошел истинный смысл того, что сказала До Ту За. Ко Чи Та, по-видимому, просил у кого-нибудь из родственников взаймы, но

они ему отказали. Как же! Дождешься от них помощи! К тому же если бы они и отличались щедростью, то в первую очередь помогли бы Ко Тхун Та, у которого уже была и жена, и трое детей. Разве справедливо в данном случае отдавать предпочтение Ко Чи Та?

— Я не хочу трогать твои деньги. Нам в связи с переездом предстоят огромные расходы.

— Хорошо. Деньги оставим на хозяйство. Но у меня еще есть драгоценности, которые мне подарила мама.

— О чем ты говоришь? Это же подарок! И, кроме того, как к этому отнесется мама?!

— Она ничего не узнает. Я их почти не ношу. Отнесем кое-что в ломбард, а когда у нас появится возможность — выкупим. Сейчас главное — переехать отсюда. Ну вот и договорились. И не надо делить: это — твое, а это — мое. Мы ведь муж и жена, и все, что у нас есть, в равной мере принадлежит нам обоим.

Мне все-таки удалось настоять на своем — я выбрала золотую цепочку и браслет и вручила Ко Чи Та. Для мамы, как, вероятно, и для всех людей ее возраста, золото имеет едва ли не самую большую ценность в жизни. Камни в оправе я время от времени надевала, а золото носить стеснялась, боясь прослыть мещанкой. «Золото — вещь надежная, — говаривала моя тетя. — В трудную минуту всегда — деньги». Теперь я вспоминала ее слова и мысленно благодарила маму.

В тот день я ждала возвращения Ко Чи Та с нетерпением, но, как только он ступил на порог, я поняла, что дела наши не ладятся.

— За золото я получил две тысячи, — объявил он сдержанно, — но суть в том, что, как объяснили хозяева, жильцы еще не съехали и когда съедут — неизвестно.

Значит, надо искать другой дом! А на это уйдет не один месяц. Впервые за время нашей жизни в семье Ко Чи Та я не пыталась скрыть своих слез от окружающих.

Ма Кхин Ма к семейной жизни была подготовлена в высшей степени добросовестно. Ее родители считали, что главное для женщины не образование, а семейное благополучие. Поэтому ее обучили умению вести себя в обществе, готовить, накрывать на стол, принимать гостей и прочим премудростям. И если бы не ее чудовищная лень и ограниченные материальные возможности, она, несомненно, оправдала бы их надежды. Между тем как мне, воспитанной в прямо противоположном духе, пришлось, едва переступив порог дома моих новых родственников,

откровенно признаться в своей абсолютной беспомощности, и вследствие этого я была откомандирована в распоряжение Ма Кхин Ма на предмет выполнения всевозможных мелких поручений. Попросту говоря, я была у нее на побегушках. Когда она кончала готовить, я наводила в кухне порядок, накрывала к обеду стол, кормила всех членов семьи в удобное для каждого время, так чтобы никто не опоздал на работу или в школу, мыла грязную посуду и, помимо всего, подметала полы и вытирала пыль.

Покончив с кухней, я принималась за стирку. Белье бабушки Мьин стирала До Ту За. На долю Ма Кхин Ма приходились вещи мужа и детей, на моей обязанности было обстирывать свекра, мужа и Эй Мья. Копаться в грязном белье — дело не бог весть какое приятное, но иного выхода у меня не было. В углу ванной комнаты постоянно высилась гора белья, в которой находились рубахи Ко Чи Та, и волей-неволей мне приходилось заодно с его рубахами стирать все остальное.

При всей скромности нашего существования и при том, что за квартиру нам платить не приходилось, мы едва сводили концы с концами. Часть зарплаты Ко Чи Та шла на погашение долгов, которые оставались после нашей свадьбы. Сто джа он давал на содержание бабушки Мьин, и когда возникала необходимость в каких-либо непредвиденных тратах, не говоря уже о моих, сугубо женских расходах, нам приходилось очень туго.

Ко Чи Та утешал меня тем, что, мол, все образуется, что, когда мы будем жить отдельно, я стану вести хозяйство по своему разумению и что помогать бабушке Мьин мы перестанем. Я же видела только один выход — поскорее устроиться на работу.

Теперь мы твердо решили, что деньги, которые лежали в банке, мы не станем тратить до тех пор, пока не поселимся отдельно. Однако найти подходящий дом оказалось делом довольно сложным: требовался аванс, который был нам не по карману, — три тысячи джа. Так что пока оставалось только одно: терпеть, стараясь не обострять отношений с многочисленными родственниками мужа. Мне иной раз хотелось навестить мать, но Ко Чи Та не отпускал меня одну. А когда я думала о том, что придется рассказать ей о своем невеселом житье-бытье, то и у меня самой пропадало желание ехать в Пегу. Жаль было маму огорчать. В письмах я уверяла ее, что у нас все в порядке, что живем мы хорошо, но она все прекрасно понимала и обещала навеститься к нам, как только мы обзаведемся жильем.

Таким образом, поступившись всеми своими интересами в угоду нашей с Ко Чи Та любви, я продолжала исправно выполнять свои обязанности, с нетерпением ожидая лучших времен. Однако как я ни

старалась сохранять добрые отношения со всеми, мне это не удалось, — возник конфликт между мной и Эй Мья, с которой мне как раз очень хотелось ладить.

Однажды До Ту За принесла с базара свежую рыбу. Ма Кхин Ма зажарила ее и приготовила кислую подливу к рису. Семья у нас, как известно, была большая, и, когда я делила рыбу на порции, мне пришлось проявить немало изворотливости. В результате всем досталось по маленькому кусочку.

Пришло время обеда.

— А где моя рыба? — донесся из кухни ворчливый голос До Ту За.

Я поспешила в кухню и стала объяснять:

— Я разложила рыбу по порциям. В одной тарелке было два куска.

— Значит, ее съела Эй Мья. А мне так хотелось рыбы! Специально на базар за ней ходила, — продолжала ворчать До Ту За.

Я чувствовала себя виноватой оттого, что сама уже поела. Когда из школы вернулась Эй Мья, опять возник разговор про рыбу.

— Я заглянула в свои судки, — пояснила она раздраженно, — смотрю, есть нечего. Я и взяла в школу остатки рыбы. В этом доме теперь никогда досыта не поешь. — И она окинула меня взглядом, исполненным такой ненависти, что у меня мурашки забегали по коже. «Ей объяснять бесполезно, — подумала я, — все равно ничего не поймет».

— Какой прок от университетского диплома? — рассуждала бабушка Мьин. — С ним работу найти так же трудно, как и без него. А если и найдешь — все равно гроши платят. Нигде больше ста двадцати шести джа не получишь.

Возразить было трудно. Мне так надоело безденежье, что я готова была торговать на базаре, зарабатывать шитьем — одним словом, делать что угодно. Я подумывала: не начать ли мне давать уроки? И вдруг обнаружилось, что у нас с Ко Чи Та будет ребенок. Только этого еще не хватало! Ни своего угла, ни работы, ни денег, — и на тебе, ребенок. Что я буду делать с ребенком среди чужих людей?

Беременность моя проходила трудно. Я не могла выносить ни вида, ни запаха еды, в течение месяца меня беспрерывно рвало. Целыми днями я лежала пластом, и никакое лекарство мне не помогало. Да, мне решительно не везло! Другие женщины рожают чуть ли не каждый год и понятия не имеют о рвоте.

— Дохлая она какая-то, — слышала я осуждающий голос бабушки Мьин. — Сколько раз я рожала, со мной никогда ничего подобного не

случалось.

— И у меня всегда все было просто, — поддакивала ей Ма Кхин Ма. — Чуть подташнивало, и только. А тут! С ума можно сойти!

— Так выворачивать наизнанку может только безнадежно больного. Ох и намучается же с ней мой племянничек, — брезгливо скривив губы, вещала До Ту За.

Она была убеждена, что я притворяюсь, чтобы Ко Чи Та меня жалел. Но мне действительно было худо, и это понимал только врач. Он успокаивал меня и обещал, что месяца через три все пройдет, а для поддержания сил велел сделать два укола глюкозы.

Мне очень не хватало моих родных. Они-то поняли бы меня и пожалели. А тетка обязательно приготовила бы что-нибудь такое, от чего бы меня не тошнило. Здесь же я никому не нужна, кроме мужа.

— Я забегал днем. Ты спала. Мне не хотелось тебя будить. Принес виноград. Видела на кровати?

Сегодня утром мне вдруг захотелось чего-нибудь кисленького, и я попросила Ко Чи Та купить на базаре немного винограда.

— Нет, не видела. А куда ты его положил?

— Рядом с подушкой.

Я обшарила всю постель, но винограда не нашла. Тогда Ко Чи Та заглянул под кровать и обнаружил на полу бумажный пакет, а в нем косточки от винограда.

— Это дело рук мартышек! Эй, Чо Чо! Ну-ка поди сюда! — позвал Ко Чи Та старшего из племянников.

— Не надо. Не трогай его. Он ведь ребенок. Завтра купишь еще.

— Нет. Я этого так не оставлю. Они окончательно распустились. Мать ими совсем не занималась, вот они и делают что хотят.

Ребята дядю боялись больше, чем собственных родителей. Когда его увещевания не помогали, он мог прибегнуть и к рукоприкладству. За мою бытность в доме этого, правда, еще не случилось.

Появился Чо Чо. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, кто съел виноград, однако он пытался убедить нас в обратном.

— Ты съел виноград? — строго спросил его Ко Чи Та.

— Никакого винограда я не видел, — ответил он, отводя глаза в сторону.

— Оставь, Ко Чи Та, — вмешалась я. — Видишь, он не виноват. Ступай, Чо Чо.

— Нет, погоди. Ты же знаешь, что я не потерплю лжи. Никто из ребят сюда не ходит. Один ты целыми днями здесь вертишься. Говори, ел

виноград?

— Не ел, — продолжал упорствовать Чо Чо.

— Признайся, или я сейчас всыплю тебе как следует!

— Ко Чи Та, оставь его в покое, — снова вмешалась я.

Чо Чо осмелел.

— Только попробуй! Меня даже папа не бьет.

— Что? Что ты сказал, негодный лгун? — И не успела я опомниться, как Ко Чи Та ударил Чо Чо по затылку. Тот заревел.

— Что тут происходит? — примчалась на крик бабушка Мьин. — За что ты обидел ребенка?

— Мало того, что он съел наш виноград, он еще и грубит.

— Чо Чо, пойдем со мной, — строго сказала бабушка, уводя внука.

В следующую минуту появилась Ма Кхин Ма.

— Как ты смеешь бить нашего ребенка! Надо было сказать, я бы купила вам виноград.

— Дело не в винограде. Дети должны знать, что им можно делать, а чего нельзя. А тебе не возмущаться надо, а благодарить меня за то, что я занимаюсь воспитанием твоих детей!

— Я в твоей помощи не нуждаюсь. У тебя есть жена. Вот ее и воспитывай. А со своими детьми я как-нибудь сама разберусь.

— Когда в семье появляется посторонний, — поддержала ее До Ту За, — покоя не жди. Со своими-то всегда найдется общий язык.

Ко Чи Та, громко хлопнув дверью, ушел. Мне же не оставалось ничего иного, как терпеть и молчать. Я испытывала неловкость. И в довершение ко всему Ма Кхин Ма отшлепала Чо Чо, и теперь он орал на весь дом.

Тут опять появилась бабушка Мьин.

— Прекратите сейчас же этот гвалт. Зачем только я вас к себе в дом пустила! Убирайтесь все к чертовой матери!

Ма Кхин Ма мгновенно умолкла, а я, прикрыв уши подушкой, заплакала.

— Ко Чи Та, неужели нам так и не удастся познать счастье семейной жизни? — спрашивала я вернувшегося с работы мужа. — Я поеду к маме. Побуду там месяц, отдохну немного и вернусь. Может быть, ты подыщешь дом за это время.

— Мне не хотелось бы отпускать тебя в таком настроении. Что твоя мать обо мне подумает?!

— Я ведь не жаловаться еду. Просто я по ней соскучилась, мама у меня хорошая. Расскажу ей, как у нас обстоят дела с домом, — она все поймет правильно. И потом, она и так уж обижается на меня. Ведь мы не

виделись с ней со дня свадьбы. Скажет: вышла замуж — и мать не нужна.

— Делай как знаешь. Только лично я против того, чтобы ты ездила в Пегу.

Поступать вопреки желанию мужа мне не хотелось.

— Хорошо. Если ты не отпускаешь меня к маме, я хоть недельку поживу у подружек в общежитии. Когда появится ребенок, мне будет не до них. Отдохну немного, а ты ко мне будешь приезжать. Как в былые времена — на свидание.

— Это дело другое. Я согласен. Поезжай. Кстати, там осталось кое-что из твоих вещей.

Я была безмерно рада возможности переменить обстановку. Мы с Ко Чи Та договорились, что он скажет своим родителям, будто подруги так настойчиво приглашают меня погостить, что отказаться было бы неловко. Про себя же я решила оставаться в общежитии до тех пор, пока у нас не появится собственный угол.

Женское общежитие университета находилось на улице Пром, неподалеку от озера Инья. Здесь жили и студенты, и аспиранты, и те, кто уже давно получил диплом и работал. С первого курса вплоть до дня своей свадьбы жила здесь и я.

Из дома я вышла радостная. У меня было такое чувство, словно после длительного заключения меня выпустили наконец на свободу. До озера Инья мы с Ко Чи Та дошли пешком. Я не была здесь целых пять месяцев. Сколько счастливых воспоминаний о беззаботной студенческой жизни связано с этим прекрасным уголком Рангуна! И, как в былые времена, радуясь жизни, я вдыхала полной грудью свежий воздух и никак не могла насытиться.

Я уселась на крутом берегу и, свесив над водой ноги, как это делают обычно дети, в самом деле ощутила себя двенадцатилетней девочкой.

— Иди сюда, Ко Чи Та, — позвала я. — Садись рядом. Давай поболтаем, как прежде. Мне всегда нравилось, когда ты мне что-нибудь рассказывал.

Ко Чи Та не скрывал удивления, он не мог понять, что со мной происходит. Такой веселой и счастливой я не была со дня нашей свадьбы. По-моему, именно с того же дня мы забыли, как разговаривают влюбленные.

— Между прочим, прежде ты не разрешал мне садиться на голую землю и всегда стелил свой носовой платок. Правда, это было давно. А сегодня, видишь, я испачкала юбку. Ну да ладно.

Ко Чи Та сидел рядом и задумчиво смотрел на воду. Я вспомнила, как

здесь, на этом самом месте, мы мечтали о нашем будущем.

Познакомились мы с Ко Чи Та случайно. Моя подруга по университету Мья Мья Тин попросила меня съездить с ней на базар Боджоу. Там в одном из кафе у нее было назначено свидание с молодым поэтом Ко Нье Твеем, которого она никогда не видела. Дело в том, что Мья Мья Тин тоже писала стихи, и они были знакомы заочно. В тот день они должны были встретиться впервые. Ко Нье Твей был холостяком, а так как Мья Мья Тин пользовалась репутацией девушки скромной и серьезной, то во избежание кривотолков пригласила с собой меня. Как верная подруга, я охотно согласилась ее сопровождать. Приехали мы раньше условленного времени, поэтому походили немного по базару, прежде чем отправиться в кафе «Юмоуна». Однако не успели мы войти в зал и занять облюбованный нами столик, как к нам подошли двое молодых людей.

— Вы Мья Мья Тин? — спросил один из них, обращаясь к моей подруге.

— Да. А это моя подруга Хлайн, — сказала Мья Мья Тин, обернувшись в мою сторону.

— В таком случае позвольте представить моего товарища Ко Чи Та. Он учится на пятом курсе физического факультета.

Я поняла, что Ко Чи Та выполнял ту же роль, что и я.

Так состоялось наше знакомство. В тот день на Ко Чи Та было лоунджи^[3] в крупную клетку и белая сорочка. Он курил сигарету за сигаретой и не сводил с меня глаз. Впоследствии, когда мы вспоминали нашу первую встречу, Ко Чи Та смеялся и говорил: «Ты сама глаз с меня не сводила».

Молодые люди проводили нас до общежития. Потом они еще несколько раз заходили к нам вместе. Однажды Ко Чи Та явился один и пригласил меня прогуляться. С того вечера мы и стали встречаться.

— Помнишь, какого цвета была на мне юбка, когда мы увиделись впервые? — спросила я.

Ко Чи Та улыбнулся.

— Конечно, помню. Розовая. И блузка розовая с кружевами. — Он взял мою руку и нежно сжал ее.

— Ну хорошо. А как я была одета в день свадьбы?

— Прости, не помню. Помню только, что у тебя была красивая прическа с длинной косой и цветок в волосах.

— Ну, этого ты не можешь не помнить. Ведь сам возил меня к парикмахеру и сам цветок покупал. А остальное ты уже забыл. Очевидно, в тот день, когда я превратилась в твою жену, я перестала быть для тебя

женщиной, — сказала я с грустью.

— Ты не права, Хлайн. До женитьбы мне не надо было думать ни о доме, ни о том, как устроить семейную жизнь. Сейчас же у меня голова трещит от забот. И если я порой не столь внимателен, как прежде, то это отнюдь не означает, что я тебя разлюбил.

— Да, я знаю, дорогой, ты меня любишь. Я хотела сказать, что когда люди женятся, то от прежних ухаживаний ничего не остается. А теперь поднимайся, — сказала я.

Мы направились вдоль берега к каменной лестнице, спускавшейся к самой воде. По этой лестнице мы, бывало, резво взбегали вверх, взявшись за руки, когда нам было хорошо. А когда ссорились, шли медленно, как бы с трудом одолевая ступеньку за ступенькой, держась поодаль друг от друга. Сейчас мы с отчужденным видом шли рядом и каждый думал о своем.

— О! Хлайн! — радостно приветствовали меня подруги, едва мы переступили порог общежития.

— Решила вспомнить девичью жизнь, — сказал, смущаясь, Ко Чи Та. — Вы уж тут за ней присмотрите.

— Нет, мы не пустим ее сюда. Ты муж, ты и забирай ее, — шутили девушки.

Как и в прежние времена, Ко Чи Та пробыл со мной до девяти часов вечера, а в девять запирались входные двери, и всем посторонним надлежало покинуть общежитие.

— Ты что-то осунулась. Больна? — участливо спросила Мья Мья Тин, когда мы остались одни.

— Я больше месяца ничего в рот взять не могу. Все обратно идет.

— Почему? Что-нибудь случилось?

— Случилось. Я жду ребенка.

— Тогда ничего страшного. Мы за тобой будем ухаживать, вкусно кормить, и все наладится.

— На вас все надежды. Мое место занято?

— Нет, свободно. Ты хочешь в ту же комнату, где вы жили с Чи Мей У?

— Хотелось бы, — ответила я. — А где Чи Мей У? Как она?

— Она здесь. У нее все по-старому.

Чи Мей У была родом из Рангуна. Никого из близких, кроме старшего брата, у нее не осталось, и они жили вдвоем. Когда брат ее женился, Чи Мей У не поладила с его женой, и ей пришлось перебраться в общежитие. Это была добрая, милая девушка. Она питала слабость к красивым,

необычным вещам и умела их доставать. Вокруг нее всегда увивались многочисленные поклонники. Нам же это не нравилось, и мы откровенно ее осуждали.

— Хлайн! Откуда ты взялась? — радостно воскликнула Чи Мей У, едва я вошла в комнату.

— Да вот решила немного пожить с вами.

— А дом вы еще не сняли?

— Все никак не получается. Пока мы как бездомные собаки.

Чи Мей У помогла мне застелить пустующую кровать.

— Ты опять много куришь? — спросила я, увидев разбросанные по столу окурки. Прежде, живя вместе с ней, я не давала ей много курить, иной день она не выкуривала и одной сигареты. За это я обычно угощала ее чем-нибудь вкусным.

— У меня плохое настроение.

— А бывают случаи, когда оно у тебя хорошее?

— А отчего ему быть хорошим? Когда ты уехала, и поговорить не с кем стало. Жила тут одна, так она по всему общежитию обо мне сплетни распускала.

Чи Мей У вынула из пачки сигарету.

— Я только одну, — сказала она в ответ на мой осуждающий взгляд.

— Тогда давай и мне.

— Боже мой! Ты тоже куришь? Что это с тобой? — Она недоверчиво посмотрела на меня.

Я закурила.

— Помню, ты как-то говорила, что когда встретишь любимого человека и выйдешь за него замуж, то в жизни сразу все станет ясно.

— Что-то у меня это «сразу» затягивается очень надолго.

— Все утрясется, уладится и будет спокойно, как в тюрьме, — иронично заметила она, наблюдая, как я курю.

— Хватит. Голова закружилась. — Я встала, чтобы погасить сигарету, и покачнулась.

— Ты беременна, — догадалась Чи Мей У.

Я кивнула в ответ.

— Сочувствую тебе. Месяц назад со мной случилось то же самое. Но теперь все в порядке.

— Ты с ума сошла! Как ты решилась на это?

— А что мне оставалось делать?

Я смотрела на нее и невольно вспоминала нашу общую подругу Твей Твей. Конечно, сравнивать Чи Мей У с Твей Твей невозможно. Во-первых,

Чи Мей У была намного красивей, во-вторых, более обеспеченной — ей досталось богатое наследство. Твей Твей же происходила из бедной семьи. Родители не могли оплачивать ее учебу, но она решила во что бы то ни стало получить высшее образование. Поэтому по вечерам после лекций и в выходные дни она давала уроки. Лишних денег у нее не было, она всегда ходила пешком и потому возвращалась поздно. К тому времени, когда запирались двери общежития, не успевала. Тогда-то она и решила перебраться в наше здание, которое находилось за территорией университета и где таких строгостей не было. «Все-таки я добьюсь своего, получу диплом», — говорила она нам. Мы уважали ее, и каждый из нас старался чем-нибудь ей помочь. Когда она задерживалась, мы волновались, если готовили что-нибудь, никогда не забывали оставить Твей Твей. Но в один прекрасный день мы выяснили, что Твей Твей больше в нашем участии не нуждается. У нее появился друг, который ходил за ней по пятам. В одном доме на улице Виндамия она познакомилась с дядей своих учеников по имени Ко Аун Найн. Судя по всему, они пришли друг другу по сердцу. Мы то и дело слышали: «Ко Аун Найн придет», «Ко Аун Найн сказал». Как я уже говорила, Ко Аун Найн каждый вечер провожал ее до общежития. А через день она виделась с ним в доме своих учеников. Так продолжалось довольно долго, и мы все радовались за Твей Твей: ведь не каждому выпадает в жизни счастье встретить порядочного человека.

Однажды мы все вместе поехали на базар Боджоу и задержались там. Твей Твей стала волноваться. Ей надо было успеть на занятия к своим ученикам.

— Осталось пятнадцать минут. Я побегу. Мать моих учеников не любит, когда урок начинается с опозданием.

— Давайте проводим Твей Твей до остановки автобуса, а потом вернемся, — предложила одна из нас.

Мы согласились и отправились к остановке.

— Ой, Ко Аун Найн! Как хорошо, что я вас встретила. Я уже волновалась, что опаздываю. И Кейти с братом здесь, — услышали мы радостный возглас Твей Твей.

— Вот и хорошо. Поедешь с ними на машине, — сказала я.

— Мы никуда не едем. Нам нужно еще кое-что купить, — сухо ответила Кейти и, даже не удостоив взглядом свою учительницу, зашагала прочь.

— Тогда я поеду автобусом, девочки. На машине они доедут быстро. — Твей Твей попрощалась с нами и побежала к остановке.

Через несколько минут появился Ко Аун Найн и с виноватым видом в

сопровождении племянников прошествовал к машине.

— Ну и ученички, — заметила я, когда машина укатила. — Как можно так неуважительно обращаться со своей учительницей?!

— Нет, нет, мои ученики не такие, — сказала Кхин Эй И, работавшая в начальной школе в районе Северная Оклапа. — Они меня на перекрестке поджидают, ссорятся между собой, кому мой зонт до школы нести. А после занятий провожают до остановки, хотя я прошу их не делать этого. А иной раз и родителей с собой тащат: все боятся, что кто-нибудь меня обидит.

Мы никак не могли успокоиться: подумать только, да они относятся к Твей Твей как к прислуге! Настроение наше заметно испортилось, и желание ходить по базару пропало. Мы отправились домой.

После этого случая Твей Твей как-то сразу сникла. Стала грустной и молчаливой, но уроки она все же давать продолжала, и Ко Аун Найн по-прежнему ее провожал.

В тот год она, как обычно, уехала на летние каникулы к себе в деревню. Перед началом учебного года от нее пришло письмо, в котором она сообщала, что у нее больна мать и, так как нельзя оставить ее одну, она будет работать учительницей в сельской школе и помогать матери растить младших братьев и сестер.

Когда явился Ко Аун Найн узнать, не приехала ли Твей Твей, мы показали ему ее письмо.

Мне стало ясно, что Твей Твей постигло горькое разочарование, способное подорвать веру в людей.

В ту первую ночь после возвращения в общежитие я выпалась на славу. Проснулась бодрая, полная сил и жажды деятельности, но, как только попыталась подняться, меня опять затошнило.

— Я смотрю, тебе худо. Выпей горячего кофе. — Чи Мей У протянула мне чашку.

— У тебя есть сегодня занятия?

— В половине десятого.

Она села к зеркалу и стала наводить красоту. В это время пришла Мья Мья Тин.

— Хлайн, ты уже проснулась? Что будешь есть на ужин? Я вечером забегу на базар.

— Не знаю, можно ли мне, но очень хочется кисленьких креветок.

— Хорошо. Я куплю. Тебе будет скучно. В общежитии днем нет ни души.

— Не беспокойся. Мне хочется побыть одной. Я с удовольствием что-

нибудь почитаю.

— Еду найдешь на плите, — сказала Чи Мей У. — Ну, мы пошли. Своего любимого не забывай, но и не слишком сильно рыдай по нему.

— Обещаю не плакать. А ты у себя на работе поспрашивай, может быть, кто-нибудь случайно сдает дом: — Мья Мья Тин посчастливилось устроиться на временную работу в какое-то учреждение. Она ни за что не хотела уезжать из Рангуна в надежде найти наконец постоянное место и довольствовалась случайными заработками.

Пока Чи Мей У одевалась, разговаривая со мной, пришла ее подруга и попросила зайти за ней по пути в университет, потому что им нужно было на занятия к одному и тому же часу.

Девушка мне сразу понравилась. Может быть, она располагала к себе доброй улыбкой, которая никогда не сходила с ее лица.

— Новенькая? — спросила я, когда за девушкой закрылась дверь.

— Она твоя землячка. Училась в Молмейне. Перевелась к нам совсем недавно.

Часов в девять Чи Мей У наконец ушла. Я разыскала хозяйку общежития и заплатила за месяц вперед.

— Это вы хотите снять дом? — спросила она.

— Да, а что?

— У меня есть племянница. Они с мужем на некоторое время уехали из Рангуна и поручили мне сдать их дом, если найдутся подходящие жильцы, то есть если семья будет небольшая.

— Очень хорошо. Нас всего двое. Мы согласны. Нам как раз нужно временное пристанище. Пожалуйста, не откажите нам. Я сейчас позвоню мужу.

Я была так рада и вместе с тем так боялась, что в последний момент она передумает, что забыла расспросить о самом доме. Главное, думала я, есть стены, крыша над головой и наконец-то мы будем одни. Я тотчас набрала телефон мужа.

— Ко Чи Та! Это я. Знаешь, я нашла дом.

— Не может быть! Где?

— На улице Кан.

— В каком конце улицы?

Я спросила стоявшую рядом хозяйку.

— Около белого моста, говорит.

— Район-то хоть чистый?

Вот привереда! Всю жизнь прожил в центре города и ни за что не хочет переезжать на окраину А я не люблю многолюдные душные улицы

центра. Для меня главное — свежий воздух.

— При чем здесь район?! У нас будет крыша над головой, и мы будем одни. Разве тебе этого не достаточно?! Да и долго мы там не задержимся. Найдем же когда-нибудь дом, устраивающий нас во всех отношениях.

— Ну хорошо. Ты уже смотрела его?

— Нет. Заходи за мной после работы. Вместе и посмотрим.

— А аванс-то какой?

— Не спрашивала.

— И сколько же в месяц?

— Тоже не спрашивала.

— Как же ты ничего не узнала?

— Просто я очень обрадовалась. Приходи скорее.

— Ладно, постараюсь.

— Ко Чи Та, ты не забыл, сколько часов в сутках?

Ко Чи Та недоумевающе молчал. Затем вдруг рассмеялся.

— Вспомнил.

До нашей женитьбы Ко Чи Та звонил мне по нескольку раз в день. Проводив меня вечером до общежития, он звонил из дома. Утром, едва проснувшись, мчался в чайную, где был телефон. С работы звонил опять. Хозяйке общежития приходилось то и дело звать меня к телефону. Мне было перед ней неловко, и я просила его звонить пореже.

— Хлайн, я все время думаю о тебе. Мне мало видеть тебя всего один раз в сутки. Ведь в сутках, как тебе известно, двадцать четыре часа. Двадцать четыре часа мучений! Пожалей меня, Хлайн.

Целый день я провела в одиночестве, ожидая возвращения Мья Мья Тин с подругами. На плите я нашла вареное яйцо и немного жареной капусты. Я успела уже отвыкнуть от скудной студенческой пищи, но на сей раз я поела с превеликим удовольствием и, дивясь необычному своему состоянию, к великой радости, поняла, что меня перестало тошнить.

Девушки вернулись, когда я, приняв душ, сидела перед зеркалом и наводила красоту.

— Куда это ты собираешься? Ты же плохо себя чувствуешь. погоди, сейчас приготовим ужин. Я принесла твои любимые креветки.

Мы все вместе отправились на кухню. Я посмотрела на Мья Мья Тин. Она выглядела очень усталой.

— Я вижу, у тебя ничего не изменилось: ни любимого нет, ни постоянной работы. Тебе здесь, видно, не легко? Почему бы тебе не вернуться в свой родной город? Устроилась бы там учительницей, был бы и заработок и положение.

— Нет, Хлайн. У меня иные планы.

— Какие, если не секрет?

— Когда устроюсь на постоянную работу, начну писать рассказы. Хочу стать писательницей.

— Писать можно где угодно. Был бы талант. Разве мало писателей, которые живут в провинции?

— Так-то оно так. Но здесь и редакции журналов, и издательства под рукой. Если нужно отнести рукопись или с кем-нибудь посоветоваться — пожалуйста. Да и знакомства в этом деле играют не последнюю роль.

— Конечно, если проявить энергию, быстрее напечатают.

— Я бы с удовольствием поехала в деревню. Но и там найти работу непросто. Никто тебе ее не предложит.

— В таком огромном городе, как Рангун, всегда есть возможность как-то устроиться. Только надо уметь воспользоваться этой возможностью. А кто не сумеет, тот быстро покатится по наклонной плоскости.

— В наше время это довольно часто случается.

— Женщин легкого поведения в городе много. Да и мужчины основательно обнаглели. По городу одной пройти невозможно.

— До чего все это мерзко!

Наконец-то я отвела душу разговорами! Приготовив ужин, Мья Мья Тин отправилась принимать душ. Я очень проголодалась и с нетерпением ждала, когда мы наконец сядем за стол. В комнате вместе с Мья Мья Тин жили еще три девушки. Я с интересом разглядывала Ти Та Нве. Она очень напоминала мне Твей Твей. Я никак не могла понять, в чем именно их сходство, но Ти Та Нве была, несомненно, милее и, как мне показалось, помягче характером.

— Ну, все. Пора ужинать, — объявила Мья Мья Тин. Взяв в руки железный прут, она постучала им по металлической решетке двери. Это был сигнал к ужину. Вскоре за столом сидело шесть девушек. Остальные ужинали отдельно.

На улице прямо под окнами кто-то насвистывал знакомую мелодию. Я тотчас догадалась, что это Ко Чи Та.

— Пришел наконец, — сообщила я и, встав из-за стола, побежала на улицу.

— Вот это любовь! Ни дня друг без друга прожить не могут, — засмеялась мне вслед одна из девушек.

— Ты так рано? А мы только что сели ужинать. Как дома? Что говорит бабушка Мьин? До Ту За, наверно, недовольна? Ладно, по дороге расскажешь. Погоди немного, я сейчас позову хозяйку общежития, и мы

поедем смотреть дом.

По недовольному выражению лица Ко Чи Та я поняла, что ему не нравится улица, где нам предстояло жить. Долго петляя по узким грязным переулкам, по обе стороны которых ютились маленькие неопрятные развалюхи, мы наконец вышли к месту, где находились небольшие аккуратные домики с палисадниками.

— Вот этот дом, — сказала хозяйка, подводя нас к одноэтажному деревянному дому, укрывшемуся в тени манговых деревьев. — В месяц просят пятьдесят джа, но уплатить придется за два месяца вперед. И еще два условия: во-первых, поддерживать чистоту и, во-вторых, как только возвратятся хозяева, вы должны немедленно съехать.

— Конечно, конечно. Вы только нас заранее предупредите. Ко Чи Та, ты согласен?

— Да, — ответил он без особого энтузиазма.

Мы вернулись в общежитие и посидели немного во дворе, на скамейке.

Ко Чи Та рассказал мне, как отнеслись дома к моему уходу. Бабушка Мьин приняла известие весьма спокойно. «Естественно, — сказала она. — Жить в такой теснотище мало радости». По мнению До Ту За, я сбежала из-за своего неуживчивого характера.

— Пусть думают, что им угодно. Просто мне хочется жить своей семьей. И, кроме того, ведь у нас скоро будет ребенок.

— Да разве я возражаю? Я тоже хочу быть вместе с тобой. Я все еще надеюсь, что когда-нибудь нам повезет и мы устроимся как следует. Мне так хочется.

— Мой дорогой, наедине с тобой мне всегда хорошо. Лишь бы никто не вмешивался в нашу жизнь.

— Оставайся до конца месяца у нас. Все равно раньше вам переехать не удастся, — посоветовала Чи Мей У. Стоя перед зеркалом, она прихорашивалась, по-видимому, собиралась на свидание. Да я и сама не торопилась уезжать. В настоящее время это была единственная возможность избежать ада, в котором я провела несколько месяцев замужества.

— А ты далеко направляешься? — спросила я, отложив в сторону роман, который начала было читать.

— К одним добрым знакомым, — ответила Чи Мей У, старательно покрывая лаком ногти.

— Танцы будут?

— Обязательно.

— Кто за тобой зайдёт?

— Чарли.

Чарли я знала хорошо. Он был родственником одного из шанских собва^[4], спокойный и добродушный парень. В свое время он ухаживал за Эвелин, подругой Чи Мей У. Через Эвелин они и познакомились. И когда Чарли стал проявлять к Чи Мей У повышенный интерес, Эвелин, расшвырвав, тотчас дала ему отставку. Чи Мей У смотрела на подобные вещи очень просто.

— Надо уметь удержать при себе человека, который тебе нравится, — заметила она не без ехидства. — Мне жаль Чарли. Эвелин ему даже пощечину влепила.

— Ты люби его. Чарли человек добрый.

— А мне не нравятся слишком добрые мужчины, — кокетливо ответила Чи Мей У. Она кончила красить ногти и дула на них, чтобы побыстрее подсох лак. Затем она надела грацию и повернулась ко мне спиной, чтобы я застегнула крючки. Ее излюбленными цветами были черный и белый. На сей раз она нарядилась в черные брюки и белую блузку. Гладко зачесанные назад волосы перехватила черной лентой. На ногах белые босоножки, в руке черная сумка.

— Скоро Ти Та Нве кончит собираться? — недовольно проговорила она, обмахиваясь книгой, словно веером.

— Разве она тоже с тобой идет?

— Напросилась, а мне неловко было ей отказать. Танцует она плохо, как-то суетливо.

Раздался стук в дверь, и в комнату вошла Ти Та Нве. Она очень неумело нарядилась, и ее миловидная внешность стала неимоверно вульгарной. Она уподобилась девочке-подростку, которая намазала лицо, подражая взрослым, и думает, что неотразимо прекрасна. Рядом с ней Чи Мей У выглядела просто королевой.

Тем временем к дому подъехала машина и просигналила несколько раз. Чи Мей У и Ти Та Нве поспешно направились к выходу, я проводила их до калитки. Девчонки, столпившись у окна, с любопытством смотрели им вслед. В своем национальном шанском одеянии Чарли выглядел несколько странно. Ти Та Нве села между ним и Чи Мей У. Захлопнув дверцу машины, Чи Мей У помахала мне рукой.

Когда машина скрылась из виду, я вернулась в комнату. Проходя по коридору, я случайно услышала разговор двух девушек.

— Недаром знакомые ребята мне как-то сказали, что наше общежитие — пристанище для особ сомнительной репутации, — сказала

одна из них.

— Глупости какие! — возразила другая.

— А разве нет? Достаточно взглянуть на эту размалеванную, как сразу все станет ясно.

— С кем поведешься, от того и наберешься. А у Чи Мей У есть чему поучиться.

У себя в комнате я подошла к туалетному столику, посмотрелась в зеркало. Затем молча поставила на место пузырьки с лаком, коробочки с пудрой и, взяв книгу, улеглась в кровать.

Переезд в снятый нами дом был для меня радостным событием. Собственно, весь переезд состоял в том, что я и мои подруги взяли чемодан, книги, сумку с кухонной утварью и, воспользовавшись услугами городского автобуса, спустя несколько минут были на месте. Ко Чи Та доставил чемодан с одеждой на обычном мотороллере.

«Великое переселение» состоялось в выходной день, и все помогавшие нам друзья с единодушием принялись за уборку нашего нового жилища. Кхин Эй И, вооружившись тряпкой и ведром горячей воды, драила весьма запущенные полы, Ма Мья Нве, повязав голову полотенцем, обметала свисающую гирляндами паутину, Чи Мей У, наскоро соорудив из привезенной ею ткани занавески, прилаживала их на окна. Меня от дел отстранили. Я сидя наблюдала, как работают мои подруги, и чувствовала себя счастливой.

Мья Мья Тин составляла список вещей, которые необходимо было купить в первую очередь: кувшин для воды, банка для хранения риса, дополнительная посуда и прочее. Стола в доме не имелось, поэтому решили временно приспособить для этого деревянный ящик из-под книг. В спальне на месте, предназначенном для кровати, расстелили мою походную постель. На кухне, к счастью, обнаружили керогаз. Мое же собственное кухонное хозяйство состояло из одной кастрюльки, сковородки, двух ложек, одной тарелки, ведра и пластмассового тазика.

— Да, нечего сказать, состоятельные люди! Остерегайтесь воров, — пошутила Кхин Эй И.

— Хлайн, мы тебе ничего не дарили на свадьбу. За нами долг. Теперь-то мы знаем, чего вам не хватает для полного счастья, — поддержала ее Мья Мья Тин.

— Все, начиная с обыкновенной кухонной тряпки, — вступила в разговор Ма Мья Нве.

Вечером мои подруги уехали, и мы с Ко Чи Та остались одни Дом без

мебели и освещения казался пустынным и заброшенным. Шум города сюда не доносился Нам стало как-то не по себе.

— Будем ложиться? — спросила я мужа.

— А что еще делать? Тут даже книги не почитаешь.

— Плохо, что туалет на улице.

— Не вздумай выходить ночью.

— Это почему же?

— Бог его знает, кто здесь слоняется.

— Трусишь, так и признайся.

Ко Чи Та промолчал. Мы легли вместе, укрывшись одним одеялом.

— Видишь, как я тебя люблю. Даже половину подушки уступил, — попытался развеселить меня Ко Чи Та.

Именно с этого дня мы ощутили себя истинными супругами и, как это бывает в подобных случаях, стали делить поровну радости и горести семейной жизни.

— Давай покрасим стены гостиной в бледно-голубой цвет. Если смешать синюю и белую краску в равной пропорции, получится как раз то, что надо. Купи в керосиновой лавке воск. Надо натереть как следует полы. И потом не мешает вычерпать колодец и дезинфицировать его. Да и садик у нас запущен: придется тебе подровнять кусты перед домом. Только делай это тщательно, чтобы было красиво.

Мой энтузиазм был неисчерпаем, и Ко Чи Та едва успевал выполнять мои пожелания. Наконец-то я ощутила себя полноценной хозяйкой, и мне хотелось как можно скорее обрести уют и покой.

— Ты, по-видимому, собираешься обосноваться здесь навечно. Мы, между прочим, этот дом еще не купили. Мы здесь жильцы временные, и забывать об этом не следует.

Ко Чи Та пытался вернуть меня к действительности. Но в этом вопросе у нас было явное расхождение взглядов. Мне хотелось везде, где бы мы ни жили, чувствовать себя как дома, хотелось отведать счастливой семейной жизни, хотелось, наконец, чтобы муж мой осознал, что женщина счастлива лишь тогда, когда у нее есть собственное гнездо.

Ко Чи Та взял десятидневный отпуск без содержания, и, сняв с моего текущего счета тысячу джа, мы стали делать необходимые приобретения. В первую очередь мы купили кровать, москитную сетку, подушку и множество разнообразных хозяйственных мелочей. Соблазнов на нашем пути встречалось сколько угодно, однако мы решили, соблюдая экономию, покупать только то, без чего нельзя обойтись. Друзья Ко Чи Та установили у нас на кухне лампу дневного света, мои подруги подарили нам кое-что из

необходимых мелочей для хозяйства. В общем, мало-помалу наш дом приобрел вполне приличный вид. Я изо всех сил старалась окружить Ко Чи Та заботой и вниманием, научилась готовить его любимые блюда. Мне хотелось, чтобы нашу радость разделили с нами близкие нам люди, и я написала маме, что прошу ее приехать, а также пригласила в гости родственников Ко Чи Та.

Первыми нас навестили отец Ко Чи Та и До Ту За. Не успели они переступить порог, как До Ту За принялась все критиковать:

— Ну и забрались вы! Пока дойдешь от автобусной остановки, глаза на лоб вылезут. Представляю себе, когда приходится вставать бедному Ко Чи Та, чтобы успеть вовремя на работу!

Мне неимоверно хотелось ответить ей резкостью, но я сдержалась ради Ко Чи Та. Обойдя дом и заглянув во все углы, До Ту За резюмировала:

— Ничего, жить можно.

Наши заботы и трудности ее не волновали, помощи она, конечно, не предложила, а отец только сказал:

— Не мешало бы приобрести еще одну кровать.

Ко Чи Та вставал рано. Нежиться в постели, как он любил это делать, когда мы жили у его родителей, времени не хватало. Ему нужно было каждое утро наполнить бочку колодезной водой и подмести двор, этим его утренняя работа по дому исчерпывалась. Умывшись, он завтракал и уезжал в контору. Все прочие домашние заботы легли на мои плечи. И воду-то он таскал только потому, что я была беременна. Теперь, когда мы стали жить одни, Ко Чи Та меня во многом разочаровал. И самое обидное было то, что он относился к своему дому с откровенным равнодушием. Ведь я никогда не стремилась к тому, чтобы он занимался кухонными делами. Мне и самой это было не по душе. Но заменить перегоревшую лампочку, починить полку для обуви, забить гвоздь, повесить веревку — это-то он мог сделать! А мне приходилось по всякому поводу обращаться к соседям. К счастью, соседи здесь оказались отнюдь не такими, как предполагал Ко Чи Та, а скромными добрыми людьми, готовыми в любой момент прийти на помощь. В основном это были кустари и мелкие торговцы. Первые, как правило, мастерили всевозможную утварь из жести, вторые продавали цветы. И у тех и у других доходы были настолько мизерные, что их едва хватало, чтобы свести концы с концами.

Вскоре после нашего переезда случилась пренеприятная история. С тыльной стороны нашего дома, вплотную к забору, примыкало несколько жалких лачужек. Они так тесно прижались друг к другу, что между ними

не оставалось почти никакого зазора. И вот в одной из этих бедных лачуг умерла старуха. Гроб с телом, по обычаю, положено выносить с западной стороны. Однако соседний дом стоял настолько близко, что проходу мешал брус его дверной рамы, а хозяева разобрать его отказывались. Более того, хозяйка этого дома пришла ко мне и принялась уговаривать меня ни под каким видом не пускать похоронную процессию через наш лвор.

— Если будут просить, ни за что не соглашайся, — настоятельно советовала она, — а не то быть беде.

«Ничего страшного не произойдет, если гроб пронесут через наш двор», — уговаривала я себя. Я не верила в предрассудки, тем не менее соседка сумела пробудить во мне какую-то необъяснимую тревогу. Вечером, когда Ко Чи Та вернулся с работы, я рассказала ему о своих переживаниях, и он, к моему удивлению, поддержал хозяйку.

— Она совершенно права — пускать не надо. Неизвестно еще, чем все это может кончиться.

— Вот тебе раз! Если люди попросят, как я смогу им отказать? У них ведь нет другого выхода — не могут же они оставить покойника в доме! Хоронить-то все равно придется.

— Похороны завтра?

— Завтра. Отпросился бы ты завтра пораньше, чтобы часам к двум быть уже дома.

— Это невозможно. Никто меня не отпустит. Сама поговоришь с ними. Такие вопросы должны решать между собой женщины, а мужчинам вмешиваться не пристало.

— Но я очень боюсь оставаться завтра одна, — сказала я, едва сдерживая слезы.

Ко Чи Та, несмотря на мои просьбы, все-таки не пришел. Я весь день с замиранием сердца прислушивалась к тому, что происходило в соседнем доме. Наконец ударили в гонг. Значит, тело уже вынесли. Странно, как же они вышли из положения?! Позднее я узнала, что соседка все-таки согласилась разобрать свою дверь. Вечером мы с Ко Чи Та пришли в дом умершей и, по обычаю, вручили ее родственникам десять джа. Затем, тоже в соответствии с обычаем, я потребовала пять джа обратно, поскольку была беременна^[5]. Мы, молодые, не чтим этих странных обычаев, однако следуем им в угоду старшим. Потому-то и живучи всякие суеверия и обычаи, что передаются они из поколения в поколение.

Пока Ко Чи Та был занят на работе, я готовила приданое для ребенка и даже сшила себе широкую блузу, чтобы скрыть живот. Мне были приятны все эти хлопоты, и я охотно посвящала им свое время. Вскоре мама

прислала письмо, в котором сообщала, что собирается приехать, посмотреть, как мы устроились, помолиться в местных храмах и проконсультироваться с врачом по поводу своего зрения. Ко Чи Та слушал письмо мамы молча.

— О чем ты думаешь, Ко Чи Та? — спросила я, глядя на его задумчивое лицо.

— Боюсь, что твоя мама будет недовольна. Ведь ни я, ни мои родственники ничего существенного для нашей семьи не сделали.

— Интересно, а на чьи деньги мы существуем? Не на твою ли зарплату?!

— Я не об этом. У нас до сих пор нет ни второй кровати, ни стола.

— Мама ничего не скажет. Вот увидишь. У меня мама не такая.

На следующий день Ко Чи Та привез на грузовике кровать. Оказывается, деньги ему дал отец, и кровать пришлась как нельзя кстати. Мы провозились с ней весь вечер, двигали с места на место. Это происходило как раз накануне приезда мамы, и мне очень хотелось, чтобы ее мнение о моем муже было как можно более благоприятным.

На вокзал встречать маму Ко Чи Та поехал один. Мама вышла из вагона увешанная сумками, свертками, пакетами. Тетка с ней не приехала, осталась сторожить дом, но зато прислала банку моего любимого маринованного манго собственного приготовления.

— Я вам кое-что привезла, — объявила мама, едва переступив порог дома. — Вот банка с рыбной приправой. Говорят, у вас тут продают совсем несъедобную. А вот рыбка сушеная. Пусть Ко Чи Та отвезет немного своим родителям. А это рис. Очень хороший. В канистре — арахисовое масло.

Все, что привезла мама, было, конечно, очень кстати, но я чувствовала себя перед ней неловко.

Выложив гостинцы, мама принялась осматривать дом и осталась очень довольна.

— Мы еще ничего не успели приобрести, — робко оправдывалась я.

— Ничего лишнего покупать не надо, — наставляла меня в свою очередь мама. — Только самое необходимое. Живите экономно. Деньги надо беречь. Они всегда пригодятся. Будут деньги — будет все, чего пожелаешь. А как у тебя с работой?

— Ко Чи Та настаивает, чтобы я работала только учительницей. В одном месте обещали, — соврала я, чтобы ее не расстраивать. В действительности же я намеревалась давать частные уроки детям из соседних домов.

Я возила маму по Рангуну, показывала ей наши

достопримечательности. Родственников Ко Чи Та мы не посетили. Уезжала мама налегке — с двумя коробками пирожных.

В один из дней у нас в доме собрались мои подруги по университету: Мья Мья Тин, Кхин Эй И, Ма Мья Нве и еще две новенькие — То То и Энни. Мы стали готовить мохингу^[6].

— Кости из рыбы вынимай тщательно, — командовала я по праву хозяйки. — Смотри, чтобы ни одной не осталось Ма Мья Нве, а ты почему бездельничаешь? Ну-ка бери ступку и принимайся толочь перец. Ой, суп сбежал.

— Что-то ты сегодня раскомандовалась. Себе-то, гляди, взяла работенку полегче.

— Чистить лук ты называешь легкой работой? Посмотри на меня — слезы ручьем текут. Да, кстати, — спохватилась я, вспомнив о своей любимой подруге, — почему вы не взяли с собой Чи Мья У? Зря вы так к ней относитесь. Она добрая, — сказала я.

— Как мы к ней относимся? Мы ее приглашали, а она ответила, что занята, у нее свидание.

— С кем она сейчас встречается?

— С каким-то высоким, стройным парнем. И больше, кажется, ни с кем, — сказала Ма Мья Нве, которая всегда все обо всех знала.

— Она своих ухажеров подругам по наследству передает, — съязвила Кхин Эй И.

— Это кому же?

— Ти Та Нве, например.

— Это та новенькая, что ли?

— Да. Она души не чает в Чи Мей У. Очень ей понравилось ходить на приемы в иностранные посольства, — пояснила То То. — Занятия совсем забросила, вот Энни может подтвердить, она так и следует за Чи Мей У по пятам.

Меня огорчил рассказ подруг. Ти Та Нве тогда произвела на меня приятное впечатление. Конечно, она была моложе Чи Мей У и легко могла попасть под ее дурное влияние. Ведь Чи Мей У была уже взрослой и решала жизненные проблемы, исходя из своего возраста. Надо сказать, училась она старательно. На последних экзаменах получила только хорошие и отличные оценки. Я была уверена, что после университета она легко найдет себе работу по вкусу. К тому же ее старший брат занимал весьма солидное положение и мог оказать ей протекцию.

— Девочки, хватит болтать. Пора жарить рыбу, — скомандовала Мья Мья Тин, размахивая сковородкой.

Меня от работы освободили. Сидя на стуле, я наблюдала за подругами. Поварихи они были не бог весть какие, но в тот вечер нам всем было очень весело.

— Давай теперь твоих друзей пригласим, — предложила я Ко Чи Та, когда мы проводили моих подруг. — Накормим их хорошенько.

— Прежде чем кормить, их поить надо.

— Ну и что же! Они ведь нам помогают. На закуску я приготовлю сушеную говядину с хрустящим картофелем.

— О! Да ты у меня отличная кулинарка, — сказал Ко Чи Та, нежно обняв меня за талию.

«А как же может быть иначе?» — хотела возразить я, но сдержалась.

— Послушай, Ко Чи Та, мне необходимо в ближайшую пятницу показаться врачу. Надеюсь, ты меня проводишь.

— Нет, дорогая, на сей раз тебе придется идти одной. Мне уже просто неудобно без конца отпрашиваться. Если меня и отпустят, то все равно ненадолго, а в поликлинике, сама знаешь, полдня можно прождать.

Я очень не люблю ходить по врачам, но делать нечего, и я решила обратиться к Мья Мья Тин. Она обещала договориться на работе, чтобы ее отпустили.

В пятницу около восьми часов утра мы уже заняли очередь в регистратуру. Талон к врачу получили сравнительно быстро. Зато более часа простояли в антропометрическую комнату.

— Смотрю я на этих несчастных женщин, и у меня пропадает всякое желание выходить замуж, — сокрушенно покачала головой Мья Мья Тин, когда мы сидели перед дверью лаборатории.

— А я тоже второй раз рожать не собираюсь, — ответила я.

В терапевтическом кабинете прием вели одновременно два врача, а ожидающих было примерно сто человек.

— Расстегивайте пуговицы заранее, — предупредила медицинская сестра.

На осмотр каждой врач тратил не более полминуты.

— Смотрю я на безобразие, которое здесь творится, и думаю: кто помещает в газетах благодарности врачам из родильных домов? Неужели те, кто проходит обследование здесь?

— В газеты пишут только артистки и жены влиятельных чиновников. А здесь одна беднота.

На следующий день ко мне заехала Чи Мей У и сразу же принялась меня отчитывать.

— Мья Мья Тин рассказала мне, где вы вчера с ней были. Она скоро

станет мужененавистницей.

— Да, пожалуй, зря я ее с собой потащила.

— Ты, Хлайн, глупая. Зачем ты туда ходишь? Есть ведь частные врачи.

— Но у меня нет знакомых врачей.

— Любой врач примет тебя словно родную дочь. Лишь бы деньги заплатила.

Послушавшись совета Чи Мей У, я отправилась в ближайшую частную клинику. Там действительно все было по-иному: меня тщательно осмотрели, взяли нужные анализы, дали полезные советы. Да и пациентки были совсем не похожи на тех, которых я видела в поликлинике.

— Ко Чи Та, проснись. Наша девочка заболела. Она все время плачет. Я уже полчаса ношу ее на руках и никак не могу успокоить. Попробуй теперь ты ее покачать.

— Смажь ей животик мазью, которую прописал доктор.

— Этой мазью нельзя злоупотреблять. Вставай. Я измучилась вконец.

— Но мне ведь завтра рано на работу.

— Не один ты работаешь. Если я не хожу на работу, это не значит, что я бездельничаю, — возмутилась я.

Со дня рождения дочери прошло всего два месяца. Я чувствовала себя еще очень слабой. Держать ребенка на руках да еще ходить с ним по комнате было невыносимо тяжело. Между тем муж мой в это время спал, завернувшись с головой одеялом, чтобы не слышать детского плача.

— Ладно, давай ее мне, — сказал он, нехотя поднимаясь с постели.

Странными мне кажутся мужья, которые считают, что их обязанность ограничивается только тем, чтобы зарабатывать деньги. Кто же, как не муж, поможет жене восстановить силы после родов?!

— Между прочим, если мне не удастся хоть немного поспать, завтра я не смогу возиться с ребенком целый день. Это-то ты понимаешь? В данном случае я думаю не о себе, а о нашем ребенке. Прости, что потревожила.

— Ну, что ты разошлась? Сказала бы спокойно, что надо покачать дочь, и я бы без разговоров сделал все, что нужно.

— Неужели ты сам не слышишь, что ребенок плачет?

— Не слышу.

— Так я тебе и поверила! Ты только делаешь вид, будто не слышишь. Боишься недоспать. А я не высыпаюсь уже два месяца.

— В конце концов, укачивать грудного ребенка — это прежде всего обязанность матери.

— Конечно, это моя обязанность. И все прочие домашние дела — тоже моя обязанность. Твое же дело — вовремя принести зарплату, да?! А то, что в доме происходит, тебя не касается, ты это имеешь в виду?

— Хлайн, скажи, почему ты так раздражена?

— Потому что тебе наплевать на все мои переживания.

Ко Чи Та молча ходил по комнате с дочкой на руках. Я же, едва коснувшись головой подушки, моментально заснула. Утром я, конечно, проспала и завтрак не приготовила. Проснулась я оттого, что почувствовала прикосновение чьих-то губ. Я поспешно вскочила с постели, но Ко Чи Та меня остановил:

— Лежи, лежи. Я сходил в соседнюю чайную и принес жареного риса. Твоя порция на сковороде. Чайник на плите. Пока. Я побежал.

От его заботливой ласки мне стало так тепло, что я тотчас забыла свою вчерашнюю обиду и теперь корила себя за невыдержанность. Ведь Ко Чи Та привык с детства к опеке родных и жил в общем-то беззаботно. Поэтому сегодня он, можно сказать, совершал подвиг: самостоятельно проснулся, побеспокоился о завтраке и даже собственноручно погладил свою рубашку.

Утром я повезла ребенка к врачу. Найти такси оказалось невозможно, и мне пришлось ехать в переполненном автобусе. Дочка надрывно кричала, а я никак не могла ее успокоить и в конце концов, подавив в себе стыд, стала при всех кормить ее грудью.

— Вы не могли бы поосторожней? — услышала я недовольный женский голос.

— Извините. Я задел вас нечаянно, — ответил мужчина.

— Вы что, меня за дурочку принимаете! Перестаньте безобразничать! — продолжала женщина.

— Если вас не устраивает автобус, пользуйтесь личным автомобилем.

Голос женщины мне показался удивительно знакомым. Я обернулась и увидела То То. Пылая от негодования, она воинственно размахивала складным зонтиком. Пассажиры с любопытством наблюдали за происходящим, однако вмешиваться никто не стал.

— Иди ко мне. Здесь есть свободное место, — позвала я То То.

Увидев меня, То То несколько поостыла, но сесть отказалась. Она вышла вместе со мной на следующей остановке.

— Какой мерзавец! Сначала положил свою руку на мою. Потом начал прижиматься ко мне. В конце концов я не выдержала.

— И правильно сделала. В таких случаях нельзя давать спуску. Если оставить без внимания бестактность мужчин, они и вовсе перестанут нас

уважать. Кстати, далеко ли ты едешь?

— Я была у тетки. Хотела проехать в город, но теперь всякая охота отпала. Можно, я тебя провожу?

Общежитие То То находилось по пути в детскую поликлинику, и мы пошли вместе. Все мои подруги были на занятиях, и мне удалось повидать только Ти Та Нве. Она стояла в холле, беседуя с каким-то парнем.

Домой я вернулась совершенно без сил и, пока укачивала ребенка, уснула сама. Проснулась только тогда, когда Ко Чи Та вернулся с работы.

— Ты уже пришел? Сколько времени?

— Шестой час.

— Ой, а я еще не приготовила ужин.

Я побежала на кухню.

— Ты, наверное, голоден? Мы сегодня ездили к врачу в детскую поликлинику. Уйму времени потратили и безумно устали.

— Сейчас ей, по-моему, лучше.

— Кажется, лучше. Температура спала, и она немножко поспала. А что было ночью, мне и вспомнить страшно. Ты, конечно, ничего не слышал, — не удержалась я, чтобы еще раз не высказать своего недовольствия.

Пассивность мужчин известна всем. Это определяющее свойство их характера. Для того, чтобы они что-либо сделали, их надо как следует надоумить. Поняв, что опять взяла неправильный тон, я пошла на попятный:

— Не сердись, Ко Чи Та, мне хочется, чтобы мой муж побольше заботился о семье, почаще думал о нас с дочкой.

— Ты не права, Хлайн, — снисходительно ответил Ко Чи Та. — Я и домой вовремя прихожу, и зарплату всю тебе отдаю, не пью, другими женщинами не увлекаюсь. Не муж, а сущий клад.

— Это сугубо мужская философия.

— Скорее женская, чем мужская. Поговори с теми, у которых мужья пьют, играют в карты, общаются с продажными женщинами, — тогда и тебе станет ясно, что ты отнюдь не самая несчастная. Что ты от меня хочешь? Ты занимайся своим делом, а я буду заниматься своим.

— Под словом «муж» я имею в виду человека, который является стержнем семьи, на которого можно положиться в любой ситуации. Ну, а что касается алкоголиков, картежников, развратников, их я попросту не принимаю в расчет. Они не имеют права называться мужьями.

Наша полемика на семейную тему происходила в кухне. Я готовила ужин, а Ко Чи Та сидел рядом и, слушая мои разглагольствования, время

от времени осторожно высказывал свои возражения.

— Ты слишком многого хочешь, Хлайн.

— А ты хочешь, чтобы мы с дочкой были сами по себе, а ты сам по себе? Ты хочешь, чтобы я на твое отчуждение смотрела сквозь пальцы? Твоя философия — философия мужика. А мне желательно, чтобы мой муж был на голову выше.

— Короче говоря, ты ошиблась в своем выборе?

— Да, я совершила ошибку, — все больше распалялась я. — Мне вообще не следовало выходить замуж.

Услышав мои слова, Ко Чи Та изменился в лице. Он взглянул на меня как бы со стороны и умолк, погружившись в свои думы.

— У тебя, конечно, есть все основания расстраиваться. Выйдя замуж за меня, ты не только не обеспечила себе материального благополучия, но еще и расходуешь то небольшое, что у тебя имеется.

— Глупости! Это меня волнует меньше всего. Я имела в виду, что нам не надо было жениться. Разве нам с тобой было плохо, когда мы время от времени встречались?

Говоря это, я была предельно искренна. Мне хотелось постоянно ощущать покровительство сильного человека, однако Ко Чи Та был удручен тем, что не мог обеспечить семье материального достатка, и это неизбежно сказывалось на его настроении.

Ужинали мы молча. Я целый день провозилась с дочерью и не сходила на базар, поэтому вместо мясной приправы к рису приготовила приправу из картофеля. Для меня не имело значения, что я ем: важно было утолить голод. Ко Чи Та поковырялся в тарелке и, съев немного риса, вышел из-за стола. Следовательно, у меня появился еще один повод для недовольства. Все это, однако, были мелочи; существенная причина, вызвавшая мое раздражение, состояла в следующем. Мы уехали из дома Ко Чи Та почти год назад, но до сих пор не оформили наши продовольственные карточки, по которым можно было покупать значительную часть необходимых нам товаров в государственном магазине. Ограничиться услугами одного только рынка было просто невозможно. Цены росли с неимоверной быстротой, и уложиться в наш скромный бюджет было чрезвычайно трудно. Для получения продовольственных карточек необходимо было представить так называемую форму номер десять и прикрепить к магазину, расположенному по месту жительства. Причитающуюся мне форму мама по моей просьбе выслала из Пегу. Ко Чи Та надлежало открепиться в магазине по месту нашего прежнего жительства, однако, несмотря на мои неоднократные напоминания, он этого не делал.

— Вот тебе еще одно свидетельство того, что ты совершенно не заботишься о семье. И не только не заботишься, но еще и создаешь дополнительные трудности. Ведь без карточек я не могу купить ребенку даже сухого молока! Ткань для пеленок мать прислала мне из Пегу. Если мы все будем покупать на рынке, то скоро пойдем по миру. В прошлом месяце, чтобы свести концы с концами, мне пришлось продать кольцо.

— Хорошо, хорошо. Завтра я все сделаю, — ответил Ко Чи Та, но и на сей раз не сдержал слова. Мне не оставалось ничего иного, как действовать самостоятельно. Оставив дочь у соседей, я поехала к родителям Ко Чи Та. Уж очень не хотелось мне с ними лишний раз встречаться, но другого выхода не было. Тетушка До Ту За встретила меня почти враждебно и поначалу отказалась отдавать карточку Ко Чи Та. Получив от нее несколько назидательных рекомендаций, я помчалась в регистрационную контору районного комитета. Там, как и следовало ожидать, все начальство отсутствовало. Протолкавшись без толку до обеденного перерыва, огорченная и усталая, я отправилась восвояси.

Завидев меня, соседка облегченно вздохнула. Дочка, очевидно, проголодалась и раскапризничалась так, что та не могла с ней справиться. Сухого молока у меня не было, пришлось дать ей жидкого кофе. Но дочка не захотела его пить и раскричалась еще громче. Успокоилась она, лишь когда я стала кормить ее грудью. В тот день Ко Чи Та пришел позже обычного, и от него пахло вином. Давая понять, что мне этот запах неприятен, я сморщила нос, а он подошел к дочке и взял ее на руки.

— Есть хочется. Что у нас сегодня на ужин? — спросил он, не обращая внимания на мои гримасы.

— Ничего. Некогда мне было готовить. Целый день по городу моталась.

— А что тебе там понадобилось?

— Хотела наконец получить карточки. Ты ведь не желаешь и пальцем пошевелинуть. То у тебя работа, то встречи с друзьями. Где уж тебе за карточками бегать! А мое место, как ты сам определил, дома, на кухне. Как тебе известно, денег за то, что я весь день как белка в колесе кручусь, мне никто не платит. Поэтому приходится все время ломать голову над тем, как выкрутиться, чтобы хватило до следующей зарплаты моего дорогого муженька.

Ко Чи Та снова досталось от меня. Я очень устала и была крайне раздражена.

— Все это вполне естественно. Так и должно быть. Если муж очень занят, то жена берет часть забот на себя, — коротко парировал он мое

грубое многословие.

— Я хочу, чтобы ты понял одно. Хорошо, что ты приносишь мне триста джа в месяц. Но я жду и твоего непосредственного участия в семейных делах.

— По-моему, ты и одна прекрасно справляешься со своими обязанностями. Лучше тебя я все равно не сделаю.

— Меня этому научила жизнь, и тебя научит. Только ты стараешься всеми возможными способами оградить себя от забот. А это называется эгоизмом!

— И как у тебя поворачивается язык называть меня эгоистом?! От тебя только и слышишь, — то ты устала, то тебе денег не хватает. Да к тому же ты еще считаешь, что я живу за твой счет. Хорошо, я скажу тебе! Я нашел себе дополнительную работу. Может быть, теперь ты перестанешь упрекать меня, — закричал, не сдержавшись, Ко Чи Та.

Он резко повернулся, положил дочку на кровать и быстро вышел из дома. Я схватила плачущего ребенка, прижала к себе и разрыдалась.

Ко Чи Та не питал пристрастия ни к вину, ни к сигаретам. Только в компании друзей, на свадьбе или на вечеринке, устроенной по какому-либо случаю, он изменял своему обыкновению. Если по той или иной причине ему приходилось задержаться, он заранее ставил меня об этом в известность. Сегодня он пренебрег этим обыкновением, по-видимому, был слишком расстроен.

Когда Ко Чи Та вернулся, я лежала в постели и плакала. Он молча разделся, лег и укрылся с головой. Я вспомнила, как он обещал, что ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы его любимая огорчалась. А сейчас повернулся ко мне спиной и даже не попытался меня утешить... От этого мне стало еще обидней.

Утром Ко Чи Та поднялся раньше обычного и, не позавтракав, ушел на работу. Я занялась домашними делами. Сердце у меня ныло. Как наладить отношения — над этим я ломала голову весь день, однако так и не смогла ничего придумать.

С работы Ко Чи Та пришел рано. В руках он держал несколько свертков.

— Я купил ведро. Наше, кажется, прохудилось. И щетку, чтобы вытирать перед дверью ноги. А это колбаса. Пожарь-ка ее, — попросил он, протягивая мне покупки. Я молча взяла их, не смея поднять на него глаз.

— Да, чуть было не забыл. Вот еще чашка для дочки.

Чашка, в которой я разводила молоко, разбилась. Я неоднократно просила Ко Чи Та купить новую, но он постоянно забывал об этом. По-

видимому, наш вчерашний разговор пошел ему на пользу.

Я отправилась в кухню и тут только вспомнила, что колбаса — его любимое блюдо. Кажется, за все время, что мы живем в этом доме, я ни разу ее ему не жарила. Тем временем Ко Чи Та принял душ и уселся за стол. На сердце у меня вдруг стало легко и спокойно. А когда зашевелилась дочка, мы, не сговариваясь, бросились к кровати и едва не столкнулись лбами.

— Хлайн, ты ешь, а я пока ее подержу.

— Нет. Я подержу, а ты поешь первым.

Мы стояли рядом, не зная, как поступить. Тут я не выдержала и рассмеялась. Затем взяла дочь на руки и вместе с ней села за стол.

— Хлайн, мы давно не были в кино. Сегодня идет хорошая картина. Пойдем? — предложил однажды в воскресенье Ко Чи Та.

С тех пор как у нас родился ребенок, о кино мы и думать забыли.

— А куда мы денем дочку? Опять к соседям? Я им и так уж надоела.

— С собой возьмем. В конце концов, не сидеть же тебе вечно затворницей? Пойдем.

Ко Чи Та меня уговорил, и я стала собираться. Вернее, начала собирать дочь. Надо было приготовить бутылочку с молоком, соску, запасные пелёнки, полотенце и прочее. В былые времена, когда я еще жила в общежитии, я тратила на собственный туалет не менее получаса. И все это время Ко Чи Та терпеливо дожидался меня на улице. Теперь же о наведении красоты не могло быть и речи. Да мне ничего подобного и в голову не приходило. Я была всецело поглощена заботами о хозяйстве и о ребенке.

— Может быть, попробуешь поймать такси? — предложила я.

Ко Чи Та в поисках такси провел на стоянке минут пятнадцать, но, так и не найдя, вернулся домой. Пришлось ехать на автобусе. А когда приехали, то оказалось, что в кассе билетов нет. С рук же их продавали втридорога. Я считала покупку билетов у спекулянтов непозволительной для нас роскошью, но Ко Чи Та настоял на своем, и вскоре мы сидели в зрительном зале. Поначалу дочка вела себя сносно, но по мере того, как в зале становилось все более душно, она чаще и чаще принималась хныкать. Я пыталась давать ей соску, поила молоком, но она не умолкала и наконец разревелась во весь голос. Зрители начали неодобрительно шикать, и Ко Чи Та пришлось выйти с ней на улицу. Я осталась одна. Раньше кинозал служил для нас с Ко Чи Та местом уединения. Если фильм был интересный, мы смотрели его, взявшись за руки и склонив друг к другу

головы. Если же он нас не увлекал, мы находили утешение в тихой ласке, в возможности посидеть рядом.

Спустя некоторое время Ко Чи Та вернулся. Дочка успокоилась и заснула, я положила ее к себе на колени, а когда фильм закончился, с огорчением обнаружила, что моя единственная нарядная юбка стала жертвой моей собственной неосмотрительности — она была мокрой. В результате это развлечение удовольствия нам не доставило.

Весь наш семейный бюджет состоял из ежемесячно получаемых Ко Чи Та трехсот семидесяти пяти джа, из которых двести сорок три джа уходили на жизнь.

Таким образом, на все прочие, а точнее, столь же необходимые расходы оставалось всего сто тридцать два джа. И это на целый месяц! Всякий раз, когда я брала в руки тетрадь, где записывала наши расходы, я ломала себе голову над тем, что еще можно заложить в ломбард, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. И, как назло, возникали все новые и зачастую непредвиденные обстоятельства, требовавшие дополнительных трат. То на работе у Ко Чи Та собирали деньги на какое-нибудь мероприятие, то приходилось лишний раз показать ребенка врачу. А иной раз мы допускали перерасход электроэнергии, и в результате полученный счет за электричество приводил нас в уныние.

В среднем мы платили не больше шести джа в месяц, и так как касса находилась неподалеку от конторы Ко Чи Та, я тотчас по получении счета вручала ему деньги и просила немедленно погасить задолженность. Однако он, как это ему свойственно, откладывал со дня на день, пока не забывал о моем поручении окончательно. В результате мы получили извещение, что наша задолженность за электричество составляет семьдесят джа.

— Не волнуйся, — утешал он меня. — Дня через три-четыре деньги у меня появятся. А заплатить нам надо в течение недели. Все будет в порядке.

— Откуда ты возьмешь деньги?

— Я кое-что продал.

— Что именно?

— Ко Тхун Та попросил меня продать часы и сказал, что если я сумею их продать подороже, то полученные сверх их стоимости деньги будут мои.

— Часы старые?

— Новые.

— Ты что, занялся спекуляцией?

— Какая там спекуляция! Ладно. Ты в это дело не вникай, дай лучше

чего-нибудь поесть.

К этому разговору мы больше не возвращались.

— А тебе повезло, что мы поселились в этом доме: здесь зелени много, — заметил Ко Чи Та, принимаясь за ужин.

— Ты это к чему?

— Ты в каждое блюдо добавляешь столько травы, что, если бы нам пришлось ее покупать на базаре, мы бы по миру пошли.

— Тебе не нравится то, что я готовлю?

— Я беспокоюсь не о себе. Ты кормишь ребенка грудью, и вряд ли вся эта трава способна заменить тебе полноценную пищу.

— Так я ведь ем не одну только зелень. По-твоему, яйца, картошка, бобы, мясо не питательны?

В вопросе питания я руководствовалась рекомендациями врачей, почерпнутыми мною из специальной брошюры и содержащими перечень продуктов, необходимых для кормящей матери. Таким образом, со вкусами Ко Чи Та мне не удавалось считаться и потому, что главной моей заботой был ребенок, и потому, что мы постоянно были стеснены в материальном отношении. Это его обижало, и обстановка у нас в доме день ото дня становилась все напряженнее.

Неделя, которую нам дали для оплаты счета за электричество, истекла, а денег не было. Удивительная вещь — время. Когда тебя одолевает нетерпение — кажется, что ему конца не будет, если же тебя ждет какая-либо неприятность — оно летит с неумолимой быстротой.

Ко Чи Та о деньгах, которые обещал достать, ничего не говорил, и я начала волноваться. Ведь могут в любой день отключить электричество. И дело даже не в том, что это породит массу трудностей, главное — стыдно будет перед людьми, живущими рядом. Вчера, например, соседка выразила сожаление, что не догадалась вместе со своим счетом оплатить и наш. Не могла же я ей признаться, что у нас нет денег. Как досадна, как унизительна порой бывает бедность!

В канун истечения отведенного нам для уплаты задолженности срока не успел Ко Чи Та переступить порог дома, как я сразу же напомнила ему о его обещании добыть деньги. Он раздраженно повел плечами и угрюмо сказал:

— Денег пока нет. Обещают скоро отдать. Можно пойти и попросить отсрочки. Так мы и поступим.

— Ко Чи Та, может быть, отнести что-нибудь в ломбард? Или взять пока из денег на питание?

— Нет, я все-таки попробую уговорить их немного подождать.

Я была иного мнения, однако возражать не стала. Зная застенчивость Ко Чи Та, я не рассчитывала на то, что он действительно отважится пойти в контору просить отсрочки. Поэтому весь следующий день я провела в необычайном напряжении. При каждом шорохе я вздрагивала, каждая проезжающая по улице машина заставляла учащенно биться мое сердце. Между тем, вернувшись с работы, Ко Чи Та протянул мне квитанцию об уплате. Какая это была для меня радость!

— Хлайн! Хлайн! Открой, пожалуйста!

Я сразу же узнала голос Чи Мей У. Когда она пришла, я ела.

— Чи Мей У! О! Да с тобой Ти Та Нве! Вот умницы, что пришли!

Гости засыпали меня вопросами:

— Как живешь? Как дочка?

— Дочка спит. А я воспользовалась этим и решила позавтракать.

— Уже двенадцать часов, а ты только завтракаешь?

— Ничего не поделаешь. Садитесь, а я уберу со стола.

— Ешь, ешь. У нас есть для тебя сюрприз. Но за это ты должна нас угостить чем-нибудь вкусным.

— Что такое? Не томи.

— Вот!

Чи Мей У вынула желтый конверт и покрутила им перед моим носом. Такими конвертами пользуются только в государственных учреждениях.

— Давай скорее. Неужели меня наконец приглашают на работу? — Я выхватила конверт и, словно это было письмо от возлюбленного, стала нетерпеливо его вскрывать.

— Тьфу! Опять зовут на собеседование, — протянула я разочарованно. Это был ответ на мое заявление из управления по кооперативам.

— Ишь какая шустрая! Хочешь, чтобы работу тебе на блюдечке преподнесли!

— Мне надоели эти собеседования. Опять надо все учебники перечитывать, а у меня и на газету-то времени не хватает.

— Ну ладно, не расстраивайся. Подумай лучше о гостях. Может быть, все-таки чем-нибудь угостишь?

— Кофе будете пить? Правда, сгущенки у меня нет, но я приготовлю на порошковом молоке.

— Давай. Только смотри много порошка не трать: пусть лучше останется для дочки.

Я бы с радостью покормила подруг, но в доме, как назло, ничего не

было. Поэтому пришлось ограничиться только кофе.

— Очень вкусно! — выдохнула Чи Мей У, сделав первый глоток. — Хочу тебе дать полезный совет. У твоего свекра, вероятно, сохранились какие-нибудь связи. Не худо было бы ему замолвить за тебя словечко.

— Кому?

— Это я узнаю.

— Спасибо тебе, Чи Мей У.

— Если у него ничего не получится, я попрошу своего брата. Он, может быть, сумеет помочь.

— А как у тебя с работой? — спросила я ее в свою очередь.

— Я ведь кончаю этим летом, и брат обещал устроить меня в министерство иностранных дел.

— Тебе можно позавидовать, у тебя все идет гладко.

— Если бы это было так! Личная жизнь у меня пока не ладится! — ответила Чи Мей У, искоса взглянув на Ти Та Нве.

— Ты сама виновата: слишком переборчива. Стоит тебе только захотеть — и любой твой поклонник сочтет за великое счастье сделать тебе предложение.

Проснулась дочка и сразу же захныкала. Чи Мей У взяла ее на руки. Та моментально успокоилась.

— Как мне хочется иметь детей! — сказала Чи Мей У, прижимая малышку к груди.

— А мне хочется быть свободной, как ты.

Вскоре после их ухода вернулся с работы Ко Чи Та. С ним были незнакомые парень и девушка.

— Знакомься, Хлайн. Это мои друзья: Ко Мьин Аун — мой сослуживец — и его жена. Они только сейчас поженились, но жить им пока негде. Как у нас с тобой было, помнишь? Пусть пока побудут у нас.

— Очень, очень рада. Располагайтесь, как дома, — пригласила я гостей.

На душе у меня стало ясно и тепло, и я принялась накрывать на стол. Ко Чи Та выразительным взглядом пригласил меня в соседнюю комнату.

— Ты что-нибудь приготовила на ужин? Надо их накормить как следует.

— У меня есть только соус из креветок и рис. На базар я пойду завтра и постараюсь приготовить что-нибудь повкуснее.

— Завтра — это завтра. Надо бы сделать это сейчас.

Забот у меня прибавлялось. Увеличились и расходы. Обычно я тратила на базаре три-четыре джа в день. Теперь этих денег было мало. Я

вспомнила о своих золотых серьгах с жемчугом. Они лежали в металлической шкатулке на дне чемодана, и мне невольно захотелось спрятать их куда-нибудь подальше.

Ко Чи Та лез из кожи вон, чтобы угодить своему товарищу. Мы уступили молодым спальню, а сами перебрались в гостиную. Я ухаживала за ними, как за дорогими гостями, которые посещают нас лишь изредка. Так они прожили у нас почти месяц и уходить, видимо, пока не собирались. И я и Ко Чи Та были людьми общительными и гостеприимными. Для нас было большой радостью пригласить друзей на ужин или в кино, и, несмотря на трудности семейной жизни, их посещения никогда не казались нам обременительными. В данном случае я понимала, что Ко Мьин Аун и его жена попали в затруднительное положение, и изо всех сил старалась им помочь, но это не могло продолжаться бесконечно.

— Ко Чи Та, пойдем погуляем по берегу озера, — предложила однажды я. Некогда это было нашим излюбленным местом прогулок. — Как ты собираешься поступить с нашими гостями? — начала я неприятный разговор. — Ты ведь должен понимать, что это мне не по силам.

— А по-моему, Хлайн, это ты должна понять, что у них безвыходное положение. Они поживут у нас еще с неделю, а там переберутся к родителям.

Казалось бы, вопрос исчерпан. Однако я подобным ответом не удовлетворилась. Мне было тяжело, и я не желала этого скрывать.

— Мы из-за твоих гостей скоро в трубу вылетим! Знаешь, сколько на них денег уходит?! Я снова по уши в долгах!

Зачем ты твердишь одно и то же? Я уже сказал, потерпи еще неделю, не больше.

— Ты ничего не желаешь понимать! Если я ставлю на стол все, что имеется в доме, это отнюдь не значит, что все нужно съесть за один присест. А ты не встанешь из-за стола, когда хоть что-нибудь остается на блюде.

Ко Чи Та помрачнел. Я поняла, что опять переборщила, но остановиться уже не могла.

— Ну, что ж, в таком случае мне придется уйти вместе с гостями. — Он решительно повернулся и направился к дому.

Я осталась одна. Побродив еще немного, я решила пойти в общежитие к подругам.

— Ты что так поздно? — удивилась Мья Мья Тин, увидев меня на пороге комнаты. Я бросилась на кровать, уткнулась лицом в подушку и разрыдалась.

— Что случилось? Поссорилась с Ко Чи Та? А где дочь?
— Принеси, пожалуйста, ее сюда, — попросила я сквозь слезы.
— Где она? Ты что, не собираешься возвращаться домой?
— Нет. Дочка у соседей. Съезди, пожалуйста, за ней и посади нас на поезд.

— Куда ты собралась?
— К маме. В Пегу.
— С ума сошла! Вставай, я лучше провожу тебя домой.
— Домой я не вернусь.
— В таком случае я приведу сюда Ко Чи Та. Что люди скажут. Это же позор!

— Нет, Мья Мья Тин, я все обдумала. Мне опостылела такая жизнь.
— Хорошо. Тогда сделаем так. Пусть девочка останется на ночь у твоей соседки. Я поеду и скажу ей, что тебе завтра идти на собеседование, поэтому сегодня ты останешься, чтобы я помогла тебе подготовиться.

— Поступай как знаешь.
— Хлайн, ты ведешь себя как ребенок, — вразумляла меня Мья Мья Тин, вернувшись в общежитие. — Подумать только! Дома гости, а она такие номера выкидывает! Если они догадаются о причине вашей ссоры, будет очень плохо. Ко Чи Та скажет им, что ты поехала заниматься. Он прислал тебе несколько газет и брошюр. Вот они.

Само собой разумеется, в тот вечер я не прочла ни строчки. Я забылась тяжелым сном и проспала до утра. После собеседования поехала домой. Дома никого не было, и я побежала к соседке за дочкой.

— До чего же вы, молодые, глупы, — сказала она ласково. — Милые бранятся — только тешатся. А девочка вела себя спокойно. Я с вечера как ее уложила, так она ни разу и не просыпалась до утра. А сегодня я ее покормила.

— Спасибо. Вы меня очень выручили. Какое счастье, что вы такая добрая! Что бы я без вас делала?!

— Ничего. Ничего. Я детей люблю. А что у тебя слышно с работой?
— Пока еще неизвестно.
— Все будет в порядке. Ко Чи Та сказал, что уже разговаривал со своим отцом. Ну ладно. Ступай домой. Пора ведь готовить обед. Да у тебя, наверное, нет ничего. Хочешь сухой рыбы? Приготовишь из нее приправу к рису.

Я приготовила хороший обед и стала ждать Ко Чи Та. Мне было стыдно за свою дурацкую выходку, за то, что я поставила его в неловкое положение перед товарищем. Я клялась себе, что ничего подобного больше

никогда не повторится, и даже вознамерилась просить у него прощения. Однако Ко Чи Та ночевать не пришел.

Поезд был набит до отказа. Едва я с дочерью на руках появилась в дверях вагона, молодой человек приятной наружности любезно уступил мне место.

— Значит, к бабушке едешь? — спросил он мою дочку, узнав об этом из моих слов. — То-то она обрадуется! А папа где?

— Вон там, — ответила она и охотно указала ручкой в окно.

— Папе нашему не дают отпуск, — пояснила я. — Вот мы и отправились одни. Давно с бабушкой не виделись.

Всю дорогу меня одолевали сомнения: правильно ли я поступила? Вправе ли я была оставить дом и, не посоветовавшись с Ко Чи Та, уехать? И зачем скрыла это от соседки?! Зачем, отдавая ей ключ, сказала, что еду в город?!

На шум подъехавшего к дому велорикши вышла тетка.

— Хлайн! Дорогая! Вот радость-то! Никак не ожидали тебя увидеть! Ну-ка, дай мне девчушку. Ого! Какая тяжеленькая. Почему не приехал Ко Чи Та? — сияя от радости, щебетала тетка.

— А мама где?

— Там, в комнате.

Мне очень не хотелось рассказывать родным о наших ссорах с Ко Чи Та. Однако скрыть этого все-таки не удалось.

Наш дом стоит на самом берегу реки Пегу. Из его окон виден деревянный мост. Когда по нему движется транспорт, шум стоит невообразимый. В детстве, когда мы с мамой переходили по мосту на противоположный берег реки, я, боясь угодить ногой в щель настила и, чего доброго, провалиться вниз, крепко впивалась ручонками в ее мягкую ласковую ладонь, и это меня успокаивало. Теперь же, когда я сама стала матерью и мое положение оказалось значительно менее надежным, чем во времена далекого благословенного детства, рядом не было руки, на которую я могла бы опереться. Человека, который стал моим мужем, у меня не было оснований считать надежной опорой.

— Трудно тебе на свете придется, если ты не обуздаешь свой норов. Жизнь — штука нелегкая, и идти напролом не следует, — говорила мама, стараясь наставить меня на путь истинный. — Напиши письмо Ко Чи Та, проси его приехать. Или, еще лучше, поедem к вам в Рангун, я поживу у вас и постараюсь помочь вам наладить отношения.

— Не торопитесь, — возражала тетя, — пусть он первый напишет. Если любит, никуда не денется.

Тетя с самого начала была против моего замужества. Не имея никогда ни мужа, ни детей, она тем не менее чувствовала себя вполне счастливой. У нее всегда хватало денег на жизнь, даже удавалось откладывать кое-что на чёрный день. И она не в состоянии была уразуметь, как это может не хватать зарплаты Ко Чи Та на такую маленькую семью.

За пятнадцать дней нашего пребывания в Пегу от Ко Чи Та пришло одно-единственное письмо.

«Дорогая Хлайн! — писал он. — Поскорее возвращайся. Хозяева решили продать дом, и нам необходимо что-нибудь предпринять. За тобой я приехать не могу. Спешу тебя обрадовать: работа тебе обеспечена. Очень скучаю по дочке. Пока».

Прочитав письмо, я огорчилась. Я все еще дорожила отношением ко мне моего мужа, и мне хотелось, чтобы он написал, что жить не может без меня, что приедет и тотчас заберет меня домой. Все это оказалось пустой мечтой.

— Ну, что пишет Ко Чи Та? — спросила мама, увидев мое помрачневшее лицо.

— Пишет, что хозяева собираются продавать дом и нам надо перебраться в другое место, — ответила я нехотя.

— Значит, тебе необходимо возвращаться. Может быть, и мне с тобой поехать?

— Я думаю, не нужно.

— Тогда оставь девчушку у нас. Она уже к нам привыкла, с рук у меня не сходит. Останешься с бабушкой? — ласково спросила мама, подбрасывая внучку вверх.

Тетка присоединилась к ее просьбе. Но мне трудно было решиться на это. Ведь Ко Чи Та писал, что скучает. Правда, это касалось только дочки, обо мне он не обмолвился ни словом. Обиделся, вероятно, что я проявила своенравие. После долгих сомнений я пришла к выводу, что разумнее всего мне ехать одной. Ведь надо как-то устроиться с жильем, и вряд ли удастся тотчас найти дом. А если и удастся, то сумеем ли мы внести аванс? На душе было беспокойно — удручала безнадежность.

Я прошла во двор через открытую калитку. Входная дверь оказалась запертой изнутри. По-видимому, Ко Чи Та догадался, что я сегодня вернусь. Я тихонько постучала. Послышались шаги, и на пороге появилась моя соседка.

— Это ты, Хлайн? — обрадованно воскликнула она. — Наконец-то приехала! А где же дочка? Оставила у бабушки? А я тут помогаю Ко Чи Та собирать вещи. Он мне ключ оставил. Не успела ты уехать, как явился покупатель. Дом ему понравился, и он сразу же столковался с хозяевами о цене. Всего семь тысяч! Может быть, вы купите?

— Нет. Откуда нам взять такие деньги! Ко Чи Та на работе?

— Да. Он вчера целый день был дома. Можете месяц-другой еще здесь пожить.

— Это неудобно. Мы обещали съехать по первому требованию.

— Куда же вы пойдете?

— Постараемся что-нибудь найти.

— А пока вернетесь к родителям Ко Чи Та?

— Ни за что, ни за что! — Меня всю передернуло при одной мысли об этом.

— Тогда куда же? А вещи?

— Да, с вещами проблема.

— Давай пока перенесем их к нам.

— Вот спасибо! Я вам так благодарна!

— Да не за что. Вы стали мне как родные. Я очень расстроилась, когда узнала, что вам придется отсюда уехать. Ну, да ладно. Вот ключи. Я пошла. Захочешь есть — приходи.

Я прошла в гостиную. Там в невероятном беспорядке валялись вещи — немые свидетели крушения нашего семейного очага, который я создавала с таким вдохновением. Я беспомощно опустила на стул.

— Хлайн! Ты?

— Да, — ответила я машинально. Я так была поглощена своими горькими мыслями, что не услышала, как вернулся Ко Чи Та. Я бросилась ему навстречу. Лицо у меня было мокрым от слез. Ко Чи Та обнял меня за плечи и ласково прижался к моей щеке.

— Не плачь, Хлайн, не надо. А дочка где?!

— Пока оставила у мамы.

— Ты собираешься вернуться к маме? — спросил он, отстранив меня и выжидающе глядя мне в глаза.

— Ты хочешь, чтобы я уехала?

— Нет! Я хочу, чтобы ты была со мной.

— Но каким образом? У нас ведь нет больше дома.

— Переедем пока к моим родным.

Мне сразу вспомнился день нашей свадьбы, когда я, поддавшись уговорам Ко Чи Та, проявила непростительное слабование.

— Ко Чи Та, давай лучше поищем дом. Я готова лишиться всего, только бы жить отдельно. Что может быть унижительнее постоянной зависимости от чужих людей? Разве тебе не хочется чувствовать себя главой семьи?!

— Хлайн, я знаю, что я не всегда прав. Но ведь невозможно прожить жизнь без трудностей. Я буду стараться сделать тебя счастливой. А пока у нас нет иного выхода. Бабушка Мьин совсем расхворалась, брат с семьей переехал в район, и До Ту За зовет нас к себе. Мне хочется, чтобы ты согласилась.

В прошлый раз Ко Чи Та, несмотря на уговоры тетки, не остался в доме родителей. А как он поступит сейчас?

— Разреши мне подумать.

Шестого июля тысяча девятьсот семьдесят третьего года я впервые вышла на работу. В город мы отправились вместе с Ко Чи Та. Вещи накануне вечером перенесли в соседний дом. Чемодан с моей одеждой отнесли в общежитие. Свой чемодан Ко Чи Та отвез к родителям еще тогда, когда я была в Пегу.

— Так куда ты поедешь после работы?

— К твоим.

— Ты решилась?

— Пока нет.

Итак, я стала клерком с окладом в сто тридцать джа. Именно теперь и следовало бы выходить замуж. Когда мы с Ко Чи Та расписывались, я не задумывалась над практической стороной вопроса, а руководствовалась одной лишь любовью и сейчас пожинала плоды своего легкомыслия.

После работы я отправилась к родственникам Ко Чи Та. Когда я туда приехала, Ко Чи Та еще не было дома.

— Как здоровье, бабушка Мьин? — спросила я.

— Какое уж в моем возрасте здоровье? А ты, говорят, работать начала?

— Да, сегодня работала первый день.

— Дочка, поди-ка сюда, — позвала бабушка Мьин. — Погляди, кто к нам приехал.

До Ту За встретила меня холодно, словно мы с ней только вчера расстались.

— Говорят, вас попросили из дома?

— Да.

— И где вы теперь собираетесь жить?

Я опешила. Я такой встречи не ожидала. Ко Чи Та говорил, что До Ту За ждет нас чуть ли не с нетерпением. По-видимому, она рассчитывает, что я стану ползать перед ней на коленях, умоляя нас приютить. А потом всю жизнь будет меня попрекать этим. Ну нет! Долго ей придется ждать. Если всего несколько минут тому назад я еще колебалась, переезжать к родным Ко Чи Та или нет, то теперь от моих сомнений не осталось и следа.

— Буду искать новый дом. Пока проживу в общежитии. А Ко Чи Та пусть поступает как ему заблагорассудится. До свидания. Я пошла, — объявила я и решительно направилась к выходу.

— Как дела? Ты что такая грустная? — спросила Мья Мья Тин, тотчас уловив мое настроение.

— Да так, ничего, — ответила я невесело.

— Между прочим, твое место занято, пока тебе придется жить в комнате Кхин Эй И.

— Мне безразлично, где спать.

Не далее как сегодня утром Мья Мья Нве уговаривала меня переехать к родственникам Ко Чи Та. Однако я ответила, что, прежде чем решить этот вопрос, должна встретиться с До Ту За.

— Раз ты вышла замуж, надо жить вместе с мужем. Днем мне звонил Ко Чи Та и просил уговорить тебя быть умницей. Он надеется, что ты меня слушаешь, — рассказала мне Мья Мья Тин.

— Ко Чи Та находится под башмаком у своей тетки, боится ей слово сказать. И вообще мне все это надоело!

— Что именно?

— Чтобы быть главой семьи, надо обладать твердым характером.

— Хлайн, ты должна все трезво взвесить.

— Я прилягу на твою кровать? — обратилась я к Мья Мья Тин и, не дожидаясь разрешения, растянулась на ее постели. Тут я почувствовала под собой что-то твердое. Посмотрела — книга. Прочитав имя автора, я вознегодовала.

— И ты еще считаешься моей лучшей подругой?! Твою книгу напечатали, а ты молчишь!

— Я и забыла. Извини меня. В этом месяце еще одна должна выйти.

Я вскочила с постели и бросилась обнимать Мья Мья Тин.

— Да и я тоже хороша. По уши погрязла в семейных неурядицах, а как дела у тебя — и не поинтересовалась.

Я была искренне рада за Мья Мья Тин. Она всем нам доказала, что при желании в жизни можно добиться многого.

— Прошу тебя, Хлайн, не захваливай меня.

— Все равно ты молодец. Я знала, что твои рассказы печатаются в литературных журналах, но никак не могла предположить, что ты так быстро начнешь писать романы.

— Мне нравится писать. В этом, по-видимому, мое призвание. А работу, которой мне приходится заниматься, я не люблю и перспектив никаких в ней не вижу.

— Главное в жизни — достигнуть намеченной цели. Иной раз человек трудится как проклятый, а что толку?! Я, например, создана для уютной семейной жизни. Но добиться своего у меня не хватает воли.

— Я уверена, что у тебя все уладится. Чи Мей У и та собралась замуж.

— Да что ты говоришь? А за кого?

— За друга своего брата. Он намного старше ее. Какой-то важный начальник.

— Вот это здорово. Завтра обязательно с ней повидаться. У меня не ладится, так пусть хоть у других будет хорошо. Все собираюсь тебя спросить — кто твои книги издает?

— Ко Нью Твея знаешь?

— Конечно.

— Один из его приятелей возглавляет небольшое издательство.

— Умница! Вот что значит упорство!

Утром не успела я подняться с постели, как кто-то позвал меня к телефону. Звонил Ко Чи Та.

— Мне передавали, что ты вчера к нам заходила.

— Да, заходила.

— Ну и как решила? Собираешься жить в общежитии, пока не снимешь дом? Не забудь, что ты замужняя женщина и у тебя есть ребенок.

— В таком случае я могу уехать к маме.

— Поубавь свой гонор.

— А тебе пора бы наконец стать женщиной.

— Хорошо. Приму твой совет к сведению. Как работа?

— Вроде бы ничего. Между прочим, я собираюсь съездить в Пегу. Не хочешь ли и ты навестить свою дочку?

— С удовольствием.

Я положила трубку. «Называется побеседовали», — подумала я.

— Как нехорошо получилось с домом, — словно извиняясь, заметила присутствовавшая при моем разговоре хозяйка общежития. — Владельцы-то еще долго не вернутся в Рангун. Но у них денежные затруднения, и им пришлось продать дом.

Снова зазвонил телефон. Мужской голос просил позвать Ти Та Нве. Я пошла за ней в комнату и увидела Чи Мей У.

— Ты, говорят, замуж собралась. Поздравляю.

На столе, в прежние времена заваленном окурками и пеплом, было чисто. Чи Мей У плела ленту из разноцветных пластмассовых полос.

— Послушала тебя и остановила свой выбор на одном, — ответила она, улыбнувшись уголками рта.

Я была убеждена, что любит она Чарли, но люди ее круга вольны поступать как им вздумается. Главное, чтобы их действия не выходили за рамки установленных приличий.

В комнату вошла Ти Та Нве.

— Старик приглашает в кино на половину десятого, а у меня как раз в это время назначено свидание с Пхо Та Чо. Пришлось сказать больно.

Судя по всему, она превзошла свою наставницу Чи Мей У, которая умудрялась побывать в день на нескольких свиданиях. И все это устраивала так умело, что поклонники ее друг с другом никогда не встречались. Она возвращалась домой на одной машине, а спустя несколько минут за ней подкатывала другая.

Ти Та Нве походила на робкого подростка, с хвастливым щегольством закуривающего сигарету, полагая, что это придает ему солидность. Глядя на нее, я невольно сравнивала ее с самонадеянным болтуном, грозившим проплыть Ганг от его истока до устья. Ти Та Нве была дочерью бедных родителей, которые отказывали себе во всем и жили впроголодь, лишь бы их дочь училась в университете. С некоторых пор она в их помощи больше не нуждалась.

Я вспомнила о том, что Чи Мей У недавно предлагала мне обратиться по поводу моего устройства на работу к своему влиятельному брату, и решила этим воспользоваться.

— Чи Мей У, ты не могла бы мне помочь в одном деле?

— Охотно, если только это в моих возможностях.

— Я хочу переехать в Пегу. Не может ли твой брат устроить мне там какую-нибудь работу?

Чи Мей У удивленно подняла брови.

— Не успела и дня поработать, как собралась переводиться. Не мешало бы сначала посоветоваться с Ко Чи Та.

— Это ни к чему. Я уеду в Пегу одна.

— Что ты мечтаешь, как затравленная? Если бы нечто подобное случилось у меня, я бы не раздумывая подала на развод.

— Почему у вас с Ко Чи Та не ладится? Может быть, ты в чем-нибудь

не права, доченька? Знаешь пословицу: успех имеет та женщина, у которой есть муж. Разведенная женщина редко пользуется хорошей репутацией. Поразмысли над этим как следует.

— Мама, разве я не делаю все, что в моих силах, чтобы наладить семейную жизнь?

— Мать ребенка должна руководствоваться разумом, а не чувством, и отдавать себе отчет в своих действиях. Мне кажется, Ко Чи Та человек в достаточной степени порядочный и самолюбивый, и ему хочется, чтобы жена относилась к нему с уважением.

Слушая рассуждения мамы, я невольно вспомнила, как Ко Чи Та пытался убедить меня в том, что человек, который не пьет, не развратничает и отдает жене всю зарплату, является образцовым супругом.

В Пегу со мной Ко Чи Та не поехал. Наша девочка уже привыкла к бабушке и ни за что не желала с ней расставаться. Очень тяжело мне было уезжать, но заставляла необходимость вернуться к работе.

Вскоре состоялась свадьба Чи Мей У. Я была в числе приглашенных и отправилась туда вместе с Ти Та Нве. На зеленой лужайке перед одноэтажной виллой, принадлежащей жениху, был устроен великолепный свадебный ужин. Гостей было немного, однако все люди с положением.

— Это моя близкая подруга Хлайн, — представила меня мужу Чи Мей У.

Тот улыбнулся и вежливо поклонился.

— Ну, а эта девушка, полагаю, в рекомендации не нуждается, — пошутила Чи Мей У, обняв Ти Та Нве за плечи.

— Ты сегодня просто обворожительна, — сказал муж Чи Мей У и с чувством пожал руку Ти Та Нве.

— Спасибо, — ответила Ти Та Нве, явно польщенная его комплиментом. На свадьбу к подруге она нарядилась весьма вычурно и теперь находилась в центре внимания мужчин.

После ужина были устроены для молодежи танцы. Ти Та Нве изъявила желание остаться, а я попросила отвезти меня домой. По пути я размышляла о том, что из многочисленных подруг на свадьбе Чи Мей У присутствовали только я и Ти Та Нве, между тем как приглашены были все. Почему они не пришли? То ли сами не пожелали, то ли приглашение Чи Мей У показалось им слишком формальным.

Когда возле общежития я вышла из машины, то увидела прохаживающегося у подъезда Ко Чи Та.

— Ты давно меня ждешь? Я была на свадьбе Чи Мей У.

— Я знаю. Мья Мья Тин мне сказала. Ты ездила туда одна?

— Нет, вместе с Ти Та Нве.
— А, это та самая вертихвостка?
— Ко Чи Та, как ты можешь так говорить? Ты ведь ее совсем не знаешь.
— Кто ее не знает? Даже у нас в департаменте она славится своей сомнительной репутацией. Уже поздно, я поехал.
— А зачем приезжал? Что-нибудь случилось?
— Нет, просто так. Бабушке Мьин плохо. Навестила бы ты ее.
— Хорошо, я заеду.
— Тогда до свидания.
Я проводила Ко Чи Та до калитки.

Как-то одна из моих сослуживиц, сидевшая за соседним столом, предложила мне ткань.

— Этот кусок ткани сейчас стоит двадцать восемь джа, а спустя месяц его и за тридцать пять джа не купишь. Ведь теперь с каждым днем все дорожает. Возьми его, Хлайн, он тебе очень к лицу, — уговаривала она меня.

— Не могу, Свей Свей Мьин. Мне моей зарплаты едва хватает на еду. И так постоянно приходится экономить.

— Значит, это верно говорят, что ты развелась с мужем? — как-то странно оживилась Свей Свей Мьин.

Мне стало неловко. Когда я оформлялась на работу, то сказала, что замужем. И сейчас, чего доброго, могут решить, будто я солгала.

— Кто говорит?

— Ходят тут такие слухи.

— Нет, мы не развелись. Просто нам негде жить. Дом, который мы снимали, пришлось освободить, а другого мы пока не подыскали. Муж временно перебрался к родственникам, зовет и меня, но я предпочитаю жить отдельно.

— И чего только люди не болтают! Любят другим косточки перемывать. Кстати, неподалеку от нас сдается дом. Хочешь, я спрошу?

— Спроси, пожалуйста. Я тебе буду очень благодарна.

Еще и двух месяцев не прошло, как я начала работать, а обо мне уже ходят всякие слухи. Удивительно! Я представила, как изменится ко мне отношение, если мы с Ко Чи Та действительно разведемся.

Вспомнив о своем недавнем обещании навестить бабушку Мьин, после работы я поехала домой к Ко Чи Та. Дверь мне открыла Эй Мья. Она молча пропустила меня вперед и, постояв с минутой на месте, пошла

заниматься своим делом.

Ко Чи Та только что вернулся с работы. Когда я вошла, он надевал чистую рубашку.

— Ты уходишь?

— Хочу с До Ту За сходить в кино. Пойдешь?

— Нет. Я смотрю, тебе холостяцкая жизнь пришлась по вкусу.

— Ты ведь тоже не теряешься. Не далее как вчера тебя после свадьбы кто-то привез на машине.

— Это приятель Чи Мей У. Я за всю дорогу и словом с ним не обмолвилась.

— Вполне возможно, но разве допустимо, чтобы замужняя женщина разъезжала в машине с незнакомым мужчиной?

— Ты прав, Ко Чи Та. У меня сегодня на работе был пренеприятный разговор. Там распустили слух, будто мы разошлись. Неужели ты можешь спокойно относиться к подобным сплетням?! Надо немедленно что-нибудь предпринять.

— До Ту За ни за что не хочет, чтобы я переезжал отсюда.

— Ну при чем здесь До Ту За! Ты-то сам что думаешь?

— Говори потише, услышат, пожалуй. Пока До Ту За нет дома, пойдем к бабушке Мьин. Может быть, она что-нибудь посоветует. Она очень огорчена нашими делами и, если мы найдем подходящий дом, готова дать нам денег на уплату аванса.

— Как подумаю о вас, сердце разрывается, — сказала бабушка Мьин. — С До Ту За спрос невелик — она ведь никогда не была замужем. Ее и слушать нечего. Это не дело, чтобы муж и жена жили врозь — семья есть семья.

Разговор с бабушкой Мьин нас немного взбодрил. Ко Чи Та отменил свой поход в кино, чем немало огорчил свою обожаемую тетку, и мы отправились с ним на берег Инья.

— Это озеро для нас святыня, — сказала я, прислонившись головой к плечу Ко Чи Та, — к нему мы несем и радости свои, и печали. Давай сейчас пообещаем друг другу никогда не расставаться.

Ко Чи Та крепко сжал мою руку в своей ладони.

— Хлайн, мы ведь женились по любви, и мне очень худо без тебя. Долго ли мы с тобой будем скитаться по разным углам?!

Мы медленно шли вдоль берега. Я нарвала букет луговых цветов.

— На сей раз давай вить гнездо сообща. Главное — побыстрее найти дом. Я не хочу больше жить одна.

— И я мечтаю быть вместе с тобой. — Ко Чи Та обнял меня.

— Пусти, Ко Чи Та. Люди подумают бог знает что, неудобно, смеяться станут.

После работы я вышла на улицу и направилась к парку Сулей, где находилась конечная остановка девятого автобуса. Я обратила внимание на то, что за мной по пятам следует один из сотрудников нашего департамента. Я знала его в лицо, слышала, что зовут его У Мья Аунг, и на его приветствия отвечала только из вежливости. Никогда прежде я не замечала, чтобы он ездил той же дорогой, что и я. На остановке он подошел ко мне и, будто продолжая прерванную беседу, сказал:

— Надо подождать следующего.

— Да, — согласилась я.

Один автобус мне действительно пришлось пропустить: он был набит до предела.

— На следующий тоже вряд ли удастся сесть, — заметил У Мья Аунг. Он стоял, небрежно прислонившись к металлической ограде парка, и я вдруг представила, что любой человек со стороны наверняка решит, что мы давнишние, даже более того — близкие друзья и направляемся куда-то вместе. От этой мысли мне сделалось не по себе.

— У Мья Аунг, вы в каком районе живете? — набравшись смелости, решительно спросила я.

— Я... я хотел вас проводить до автобусной остановки.

— Напрасно вы себя утруждаете. Мне провожатых не требуется. Взгляните-ка, сколько женщин вокруг. Вот из их числа и подберите себе подходящую спутницу. — Не пытаюсь скрыть своего негодования, я втиснулась в битком набитый автобус.

На следующий день я спросила свою увовую подругу Свей Свей Мьин, знает ли она У Мья Аунга.

— Смазливый такой? — сказала она пренебрежительно. — Это же известный негодяй. Он распустил слух, что развелся с женой, чтобы легче было соблазнять молодых девчонок. Одна тут уже его пожалела.

Теперь мне стало все ясно. Он, по-видимому, не сомневался в том, что я разведена, и решил попытать счастья.

— А у него и жена красивая, и детишки славные.

Я так увлеклась работой, что не заметила, как к моему столу подошел Ко Чи Та.

— Хорошо, что ты пришел, — обрадовалась я, увидев его. Теперь все убедятся в том, что у меня есть муж, и прекратят распространять обо мне всякие сплетни.

Между тем мои сослуживцы разглядывали нас с нескрываемым любопытством.

— Знаешь, Хлайн, один сотрудник дал мне адрес дома, в котором сдаются комнаты.

— И ты уже ездил туда?

— Ездил. В общем, мне понравилось. Правда, аванс великоват — три тысячи джа.

— Бог с ним. Я продам свои сережки.

— Бабушка Мьин обещала дать две тысячи. Остальные добавит отец.

— Вот и прекрасно! Когда можно переезжать?

— На днях, когда освободятся комнаты. Потерпи еще немного. Как только выяснится, я тебе позвоню. Ты, между прочим, очень похудела за последнее время. Следи за собой. Как подумаю, что моя жена живет одна и мне ничего неизвестно о ее времяпрепровождении, так сразу настроение портится. Даже работа на ум нейдет. А у тебя как дела?

— Какие у меня дела? Работа меня интересует мало — просто нет другого выхода. Я по дочке соскучилась — целых две недели не видела. Хочу ее навестить. Поедешь со мной?

— Она уже, должно быть, говорить научилась. Меня-то наверняка и не помнит. Надо бы съездить.

Я проводила Ко Чи Та на улицу, купила, в чайной разных сладостей и отправилась на радостях угощать сотрудников по комнате.

— А мы скоро переезжаем. Муж подыскал квартиру, — с удовольствием сообщила я Свей Свей Мьин.

— Очень рада за вас. Да, я забыла тебе сказать, дом, о котором я тебе говорила, уже сдан.

— Ну и пусть. Я сегодня на вершине блаженства.

— Мне нравится этот дом. Конечно, не так просторно, как в предыдущем, но нам с тобой тесно не будет. И потом, хорошо, что от работы недалеко.

Мы хотели увезти дочь, но мама нас отговорила. Ведь я целыми днями на работе, кто же будет с ней сидеть? О том, чтобы взять няню, не могло быть и речи. Этот расход мы не осилим. И мама и тетя были очень рады, что на сей раз со мной приехал Ко Чи Та.

Наконец состоялся наш долгожданный переезд на новую квартиру. Оказалось, что вещей у нас поднакопилось изрядно. Устраивая наше жилье, Ко Чи Та проявил много выдумки и вкуса. Кое-что из мелочей мы приобрели дополнительно. Теперь, когда работала и я, мы могли позволить себе даже некоторые излишества.

Я с усердием и любовью убрала угол для молений, поставила гладиолусы, зажгла лампадку и позвала Ко Чи Та.

— Ко Чи Та, давай помолимся за то, чтобы мы с тобой всю жизнь прожили неразлучно.

— Зачем ты все это придумала, Хлайн? — удивился он.

— Делай, что тебе велено.

— Ты за меня помолись, а я посижу рядом.

— Нет, мы должны помолиться вместе. В противном случае наше желание не исполнится.

— Ну ладно, ладно. Пусть я проживу сто лет вместе с симпатичной женщиной, которая сидит со мной рядом. Пусть мы выиграем сто тысяч в лотерею. Пусть у нас будет своя собственная шикарная машина.

Квартплата — семьдесят джа.

Рис — сорок.

Масло арахисовое — тридцать два.

Керосин — двадцать пять.

Электричество — семь.

Маме — десять.

Дочери — пятьдесят.

Перец, лук и пр. — пятнадцать.

Транспорт на двоих — двадцать.

На личные расходы для меня и Ко Чи Та — сто.

Итого: триста шестьдесят девять джа.

Расходы наши состояли из зарплаты Ко Чи Та — триста восемьдесят джа, и моей — сто тридцать. Итого пятьсот десять. Таким образом, денег опять было в обрез — оставалось всего сто сорок один джа на необходимые и непредвиденные траты.

Я с тяжелым вздохом закрыла тетрадь, Ко Чи Та стоял за моей спиной и молча наблюдал за моими подсчетами.

— Теперь мы работаем вдвоем, а свободных денег остается столько же, сколько и прежде, — заметил он.

— А цены! Они ведь растут с каждым днем.

— Отчего же ты вздумала сократить мои карманные расходы?

— Но я ведь издержки на транспорт теперь считаю отдельно.

— стакан чая с молоком стоит шестьдесят пъя, а одна сигарета — тридцать.

Я легла на кровать и закрыла глаза. За сегодняшний день так

намаялась, что едва могла шевельнуть рукой.

— На базар ходить — одно расстройство. Креветки стоят тринадцать джа, рыба — двенадцать, куры — шестнадцать, утки...

Ко Чи Та прикрыл мне рот ладонью.

— Можешь дальше не перечислять. Скажи лучше, зачем тебе столько денег на личные расходы? Ты ведь не куришь, не пьешь.

— А парикмахерская? А всякие там кремы, пудры? И главным образом — одежда. Твои деньги тоже на одежду уйдут.

— Это почему же?!

— Очень просто. В кооперативном магазине теперь ничего не купишь. Там совершеннейшая пустота. Может быть, только майку удастся достать. Там ни единой тряпочки не приобретешь. Хорошо еще, что мама снабдила меня кой-какими отрезами. У частников модные ткани стоят невероятно дорого, а на работе у нас все ходят нарядные. Откуда у них только деньги берутся?

— На этот вопрос тебе может ответить твоя подружка — Ти Та Нве.

Ко Чи Та вознамерился было меня обнять, но я отстранила его руку.

— Ты снова за свое? — рассердилась я. — Что ты к ней привязался?! Что ты о ней знаешь?!

— У меня на работе один знакомый говорит, что она из бедной семьи, а живет, ни в чем себе не отказывая. Очень жаль, говорит, ему эту девушку.

— И ты любишь жалеть девушек?

— Кроме тебя, мне некого жалеть. К слову будь сказано, ты должна мне родить сына.

Ко Чи Та часто мне говорил об этом, однако я и слышать не желала о втором ребенке.

— Родить-то не трудно. А вот прокормить, воспитать! Мы свою единственную дочь вынуждены были отдать матери. Ведь детский сад нам не по карману.

На заре нашей супружеской жизни мы, лежа рядышком, мечтали о первенце, о том, как станем его растить, одевать, баловать.

— Неужели тебе не свойственно чувство материнства, естественное для каждой женщины?

— Конечно, ты можешь упрекать меня в чем угодно. Не забывай только одного: все трудности, все семейные проблемы ложатся главным образом на наши, женские, плечи.

— Давай не возвращаться к этой теме, а то снова поссоримся.

Теперь у нас с Ко Чи Та существовала договоренность, что он будет помогать мне во всем. По утрам мы вместе готовили завтрак и обед. Затем

Ко Чи Та убирал постель, а я приводила себя в порядок. Наконец, захватив с собой еду, мы отправлялись на работу. Закончив работу, я обычно заходила на рынок. Тем временем Ко Чи Та спешил домой и, вымыв рис, ставил его на огонь. Как правило, к моему приходу рис уже бывал сварен.

— Что ты сегодня купила?

— Рыбу. Она уже разделана.

— Такую рыбу я не люблю. В ней очень много костей.

— Но зато она дешевая. Я для тебя кости выну.

Несмотря на все мои старания, Ко Чи Та умудрился уколоть горло костью. Ни слова не говоря, он вышел из-за стола. Я сделала вид, что ничего не произошло. Решила на сей раз промолчать. Но на следующий день разговор все-таки состоялся.

— Ну и упрямая же ты, Хлайн! Зачем ты на обед дала мне снова рыбу? Ты ведь видела, что вчера у меня кость застряла в горле.

— У меня ничего другого не было. Что еще я могла тебе дать? Ты же говоришь, что от гороховой приправы тебя уже тошнит.

И снова мы повздорили. Но что я-то могла поделать? В нашем положении трудно было позволить себе есть мясо ежедневно. Однако на следующий день, желая искупить свою вину, я решила приготовить свинину. Я долго упрашивала продавца отрезать мне двести граммов от большого куска. Наконец он согласился, и я, придя домой, принялась за стряпню. К ужину я потушила часть свинины с капустой, а из оставшегося кусочка сделала приправу с фасолью. Довольная тем, что мне удастся порадовать Ко Чи Та лакомым блюдом, я разложила обед по судкам. Вечером снова возник скандал. Ко Чи Та заявил, что недоваренную фасоль есть не намерен. Затем упрекнул меня в том, что я небрежно глажу его рубашки.

— Утюг совсем не греется, — оправдывалась я. — Того и гляди перегорит.

И утюг действительно перестал работать. Да ему пора уже было сломаться. Сколько лет можно пользоваться одним и тем же утюгом? Я купила его, когда училась на первом курсе университета. Мне приходилось чинить его чуть ли не каждую неделю. А ремонт стоил десять — пятнадцать джа. Пришлось попросить у соседей обычный, и, купив древесного угля, я перегладила все белье.

А тут случилась новая беда — я потеряла зонтик. Села в автобус, в одной руке корзинка с продуктами, в другой — кошелек. Зонтик пришлось положить поверх продуктов. В автобусе народу тьма. На остановке вышла, а зонтика нет. Жаль мне стало его до слез. Зонт-то новый, складной. Стоит

теперь не меньше пятидесяти джа.

Я с грустью вспоминаю время, когда жила у мамы. Все мне давалось легко и просто, стоило только пожелать. И за модой успевала. А вот сейчас о моде и подумать не смею!

— Мне бы не мешало купить новую куртку. В этой уже неприлично появляться на работу, — сказал однажды Ко Чи Та.

— Покупай. Только получим зарплату. А я могу старыми тряпками обойтись.

— А что прикажешь делать? Я ведь не миллионер. Тебе все сразу подавай: и одежду красивую, и собственный дом. При твоих запросах следовало быть более осмотрительной, не выходить замуж за человека бедного.

— Уж тебе ли меня поучать! Сам небось жалеешь, что не послушал свою милую тетушку. Женился бы на той, которую она тебе подыскала, — не было бы у тебя никаких забот.

Наш брак, основанный на взаимной любви, по-видимому, был еще достаточно прочен. В противном случае он не выдержал бы всех тех испытаний, которые преследовали нас с Ко Чи Та на протяжении нашей пока короткой супружеской жизни. По-моему, утверждения некоторых о том, что семью следует создавать лишь тогда, когда каждый из молодых людей прочно стоит на ногах, несостоятельны. Иному человеку не удастся обрести материального благополучия до глубокой старости. Должен ли он из-за этого обречь себя на одиночество?!

Мало-помалу в наших отношениях с Ко Чи Та появилась некоторая отчужденность. Дело в том, что Ко Чи Та жить не мог без кино. Позволить себе роскошь ходить в кино вдвоем мы не могли, тем более что билеты приходилось покупать с рук, а значит, втридорога. Таким образом, мне оставалось довольствоваться его пересказами. Если же Ко Чи Та шел в кино со своей теткой, то она старалась как можно дольше не отпускать его домой — то пошлет за лекарствами для бабушки Мьин, то уприсит поужинать с ними.

Однажды мое терпение лопнуло, и я объявила Ко Чи Та, что мне надоело проводить выходные дни в одиночестве.

— Если я не имею возможности пойти вместе с тобой, это не значит, что ты можешь проводить время, как тебе заблагорассудится, — заявила я. — Меня, как всякую любящую жену, твое отсутствие огорчает.

— Но должен же я хоть изредка навещать своих родственников? Они меня, естественно, приглашают ужинать, и обижать их своим отказом мне не хочется.

— Их-то обидеть ты боишься, а со мной можно не церемониться! Может быть, тебе просто не нравится, как я готовлю? Конечно, соперничать с ними мне трудно: я не имею достаточно денег, чтобы ежедневно кормить тебя мясом.

— Неужели ты считаешь меня таким эгоистом?! Я отлично понимаю, что при нашем бюджете у тебя не бог весть какие возможности, да ничего подобного и не требую. Хорошо, будем считать вопрос исчерпанным — больше я обедать у них не стану.

Ко Чи Та говорил спокойно, однако чувствовалось по голосу, что он раздосадован. Мне стало не по себе, опять я не удержалась от своих вечных попреков! Вместо ласкового, внимательного обхождения, столь естественного для молодой любящей жены, Ко Чи Та встречает с моей стороны лишь недовольство и грубость.

— Ко Чи Та, — ворчу я, — ну что ты бесконечно чиркаешь спичками?! Ведь один коробок стоит двадцать пять пья.

— Зачем мы выбрасываем рис в помойное ведро? — Новый повод для недовольства. — Не желаешь есть — не надо: я доем. Рис дорожает с каждым днем!

— Ко Чи Та, за маленький тюбик зубной пасты я плачу целых пять джа, а ты выдавливаешь на щетку такое количество, словно собираешься ею завтракать.

— Хлайн, — сказал мне однажды Ко Чи Та, — когда ты мне напоминаешь, что сколько стоит, мне кажется, будто я нахожусь не у себя дома, а в такси, где с бешеной скоростью крутится счетчик. Я боюсь сделать лишнее движение.

По-видимому, мое ворчание ему основательно надоело, и он старался по возможности реже бывать дома.

Взяв трехдневный отпуск за свой счет, мы с Ко Чи Та отправились в Пегу навестить дочурку. Для своего возраста она была довольно рослой, и платье, которое я ей купила, оказалось мало.

— Ко Чи Та, посмотри, какой толстушкой стала наша доченька. Она с каждым днем все больше походит на тебя.

Дочь смотрит на нас словно на чужих.

— Поедешь с нами в Рангун? — спрашиваю я.

— Нет, — отвечает она. — Я с мамой останусь.

Мамой дочь называет бабушку.

— Куда вы ее возьмете? Надо на работу идти, а ребенка оставить не с кем, — пыталась урезонить нас тетя.

— Няню найдем.

— Какая там няня! Дай бог, чтобы вам самим на жизнь хватило. И потом, найти надежного человека не так-то просто.

Возразить нам с Ко Чи Та было нечего. Мы молча переглянулись.

— Хорошо, доченька, — согласилась я скрепя сердце. — Оставайся у бабушки. Только и нас не забывай.

Взяв дочку за руки, мы втроем направились в пагоду Швемодо. Девочка что-то беспрерывно лопотала и при этом весело смеялась. Я смотрела на нее, и сердце мое сжималось от тоски: неужели наша девочка так и вырастет без материнской ласки, неужели мы всегда будем лишены естественной человеческой радости — изо дня в день воспитывать своего единственного ребенка?!

— Конечно, в том, что дочурка живет не с нами, нет ничего хорошего. Но у бабушки ей неплохо, — пытался утешить меня Ко Чи Та, уловив мое настроение.

— Неплохо в сравнении с детьми, матери которых торгуют на улице всякой мелочью, чтобы заработать на пропитание, между тем как их полуголодные малыши возятся в грязи, предоставленные сами себе.

Мы вошли в пагоду, уселись перед изображением Будды и молча помолились о том, чтобы он помог нам жить одной семьей. За три дня, проведенные нами в Пегу, дочка успела снова к нам привыкнуть, и час расставания был грустным для всех. Я с трудом сдерживала себя, чтобы не разрыдаться, и, едва войдя в вагон, дала волю слезам.

Как можно мечтать еще и о сыне, когда у нас нет возможности воспитывать свою единственную дочь! Ко Чи Та упрекал меня в том, что я утратила чувство материнства. Это было жестоким обвинением, но тем не менее дать жизнь существу, заранее зная, с какими жизненными тяготами ему придется столкнуться, я не решалась и делала все возможное, чтобы этого не произошло. Однако мои предосторожности оказались тщетными, и в один прекрасный день я обнаружила, что беременна. Ко Чи Та я решила пока ни во что не посвящать, я сразу же побежала к соседке, которая время от времени делала мне массаж живота.

— Ничего страшного, доченька, — утешила она меня. — Я сейчас на всякий случай помассирую, и все обойдется.

— А если вы ошибаетесь и у меня будет выкидыш?

— Не думаю. Ведь тебя не тошнит? Ну, вот и не беспокойся.

Я поддалась ее уговорам, однако после массажа у меня начался озноб, к вечеру открылось кровотечение, и мне стало невыносимо страшно. День был субботний, и Ко Чи Та где-то задержался после работы. Когда же он

наконец явился, мне пришлось ему во всем покаяться. Известие мое было столь неожиданным, что он буквально впал в бешенство.

— Ты сошла с ума! — кричал он. — Ты что, не знаешь, что с этими вещами не шутят? Разве мало женщин погибает от подобного невежества? Да и как у тебя поднялась рука на свое дитя?!

— Замолчи! Я не собиралась убивать свое дитя! Я ничего не знала! Способен ты это понять?

Уткнувшись лицом в подушку, я разрыдалась. Со мной началась истерика. Я что-то выкрикивала, о чем-то умоляла, кого-то упрашивала. Потом, словно из тумана, возникло лицо соседки, и я потеряла сознание.

На сей раз родильный дом произвел на меня угнетающее впечатление.

— Если вы решили больше не рожать, — сказал мне врач, — надо регулярно пить предохранительные таблетки. Я советую вам годика через два-три все-таки обзавестись еще одним ребенком. Вы ведь еще совсем молоды.

Итак, я осталась в больнице.

— Сколько у тебя детей? — спросила меня как-то соседка по палате.

— Один.

— Один?! Да тебе еще рожать и рожать. У меня-то уже семеро, мне действительно больше не вмоготу.

— Трудность заключается не в том, чтобы родить, а в том, чтобы вырастить.

— Конечно. Сейчас вынуждены работать и муж и жена, а за ребятишками присматривать некому.

В родильном доме я успела уже побывать дважды. В первый раз я уходила отсюда с ребенком на руках, гордая и счастливая своим материнством. Сегодня же я покидала его морально опустошенной и угнетенной, но отнюдь не отчаявшейся. Вернувшись домой, я тотчас принялась строить планы.

— Ко Чи Та, мне врач разрешил рожать спустя три года. К тому времени мы с тобой поднакопим достаточно денег, и я рожу тебе сына.

— Твоя идея не отличается оригинальностью. Если каждая семья, прежде чем обзаводиться ребенком, будет копить деньги, то что же станут делать бедняки, которые за всю свою жизнь не могут отложить и одного джа?!

Для преодоления жизненных трудностей необходимо обладать мужеством. Я, по-видимому, была лишена его и, подобно многим женщинам, которые из страха перед бедностью лишают себя

предназначенного им природой счастья, пошла по линии наименьшего сопротивления.

Увидев у своего стола То То, я неимоверно удивилась.

— Здравствуй, Хлайн, — поздоровалась она. — Я тоже работаю в этом департаменте. Вот возьми. Мья Мья Тин просила передать тебе свою последнюю книгу.

— Спасибо. А ты в какой комнате сидишь?

— Рядом.

— Это твоя подруга? — спросила Свей Свей Мьин, когда То То ушла.

— Мы из одного общежития. А ты ее знаешь?

— Да нет. Просто слышала, будто она добрая знакомая У Тан Лвина.

— Ну и языкатый у нас народ! Она только сегодня впервые пришла на работу, а о ней уже болтают невесть что.

Одного имени У Тан Лвина, человека сомнительной репутации, было достаточно для того, чтобы скомпрометировать девушку, но я-то знала порядочность То То, поэтому так решительно отвергла возведенную на нее напраслину.

— Хлайн, тебя к телефону, — услышала я. «Вероятно, Ко Чи Та, — с досадой подумала я. — Сейчас скажет, что опять задерживается, чтобы к ужину его не ждала».

— Хлайн, — это действительно был он, — бабушке Мьин совсем худо. Я поеду к ней. Домой вряд ли сегодня вернусь.

— Может быть, и мне туда приехать?

— Не надо. Дом без присмотра оставлять не следует. В случае чего я тебе позвоню.

Домой я возвращалась нехотя. Долго в ту ночь не могла уснуть и стала читать новый роман Мья Мья Тин. В нем была описана жизнь студентов нашего общежития. За вымышленными именами я без труда угадывала знакомых мне людей. У всех судьба сложилась по-разному. Вот героиня, стремившаяся к недостигаемым вершинам, легко отступила, даже не попытавшись их достигнуть. Другая была более удачливой, с чьей-то помощью добилась желаемого. Третья, страдавшая от рождения тяжелым недугом, погибла в юном возрасте. Это — Твей Твей, это — Чи Мей У, это Ти Та Нве, а это — это я... Жаль, что Мья Мья Тин не нашла нужным описать себя. Она постоянно была для нас примером человека волевого и последовательного, и ее образ наверняка снискал бы симпатии читателей.

Я не могла оторваться от книги до полуночи и на следующее утро едва не проспала. Собравшись наспех, я сломя голову помчалась к автобусной остановке и с трудом попала на работу к урочному времени.

Жизнь с каждым днем становилась все труднее и труднее. Сетования моих сослуживиц на то, что предметы первой необходимости и продукты питания становятся все менее доступны, не прекращались.

— Сегодня повздорила с мужем из-за мыла, — объявила одна из них, мать пятерых детей, которой с трудом удавалось сводить концы с концами.

— Это чтр-то новое. Ну-ка расскажи.

— В государственном магазине сейчас мыла не купишь, это вы не хуже меня знаете. Так вот, пошла я к частнику. Взяла у него три куска за шесть джа. Да что это за мыло! На одну рубашку ушел целый кусок, а белее она от этого не стала...

— Послушай, Ма Эй И, — обратилась к ней соседка по столу. — Прекрати эти разговоры. Другим тоже не сладко приходится. Ты всех расхолаживаешь, так что даже за работу приниматься неохота.

Однажды возникло у меня недоразумение с Ко Чи Та. Отправилась я как-то в государственный магазин и купила по карточкам пачку сигарет. Продам, думаю, сколько-нибудь да выручу. Оставила сигареты на столе и легла спать. На следующее утро смотрю — пачка распечатана.

— Зачем ты это сделал? — спросила я.

— А что, разве нельзя? Или ты предпочитала сама меня угостить?

— Не валяй дурака. Ты прекрасно знаешь, что я намеревалась ее продать.

— Продать? Но их выдают по карточкам не для этой цели. Вещи, в которых нет необходимости, не следует и брать.

— Сейчас все так делают. То, без чего можно обойтись, продают.

— Хорошо. Успокойся. Я возмещу тебе потери. Считай, что ты сигареты продала.

— Послушай, Хлайн, я на днях видела твою подружку То То с У Тан Лвином, — язвительно сообщила мне Свей Свей Мьин.

Я промолчала, но про себя решила при первой же возможности поговорить с То То.

Звонка от Ко Чи Та я так и не дождалась и с работы возвращалась одна, не надеясь увидеть его сегодня. Однако он ждал меня дома.

— Неужели бабушке Мьин стало лучше? — обрадовалась я.

— Немножко, а в общем-то ничего хорошего. На что можно рассчитывать в ее годы!

Ко Чи Та выглядел уставшим, под глазами у него появились темные круги.

— Ну как ты тут без меня?
— Тоскливо одной.
— Зато для твоего так называемого «семейного бюджета» легче, когда я бываю у своих.
— Это ты к чему?
— Ну как же? Ты мне каждый день говоришь, что у тебя денег то на одно, то на другое не хватает.
Я никак не могла понять, шутит он или говорит серьезно.
— Ко Чи Та, сейчас ведь все переживают трудности, с кем, как не с мужем, делиться своими огорчениями?
— Ты права, Хлайн, я сглупил. Давай лучше ужинать. Что у тебя сегодня?
— Рыба в кислом соусе. Кости я вынула.
Ко Чи Та ел молча. Видимо, его очень тревожило здоровье бабушки: он был ее любимцем.
Мы беседовали до поздней ночи, и проснулась я от прикосновения губ Ко Чи Та.
— Хлайн, вставай. Опоздаешь на работу.
— А ты уже и душ успел принять? — удивилась я. — Неужели восемь часов? — Я поспешно вскочила с постели и стала приводить себя в порядок. — Ко Чи Та, — предложила я, жуя на ходу рис, — давай пораньше уйдем с работы и сходим в кино.
— Хлайн, дорогая! Я вчера не решился тебе сказать, что бабушке Мьин очень плохо, и отец просил меня недельку у них пожить, но я не хотел давать ответ, предварительно не поговорив с тобой.
— Раз надо — иди. Разве я могу возражать?
— Только не вздумай без меня плакать.
— А ты видел меня когда-нибудь плачущей?
— Случалось.
Ко Чи Та проводил меня до работы. Мы простились.

Без Ко Чи Та в доме мне все опостылело, и я слонялась, словно потерянная, не находя себе места. Времени, как на грех, было хоть отбавляй, так как готовить для одной себя мне не хотелось. Я вспомнила недобрую шутку Ко Чи Та, что его отсутствие служит облегчением для семейного бюджета. К сожалению, так оно и было на самом деле: чем меньше семья, тем меньше возникает проблем. И зачем только люди обзаводятся семьями?! Разве нельзя прожить, не выходя замуж?

Тревожные мысли не давали покоя. Наконец, выпив снотворное, я

заснула. Рано поутру меня разбудил телефон. Звонил Ко Чи Та. Он сообщил, что бабушка Мьин умерла. Известие о смерти бабушки Мьин оказалось для меня неожиданным, хотя она была в преклонном возрасте и в последнее время без конца болела. Я тотчас отправилась к До Ту За. Дом был полон друзей, родственников, знакомых. Была среди них и девушка, которую Ко Чи Та некогда прочили в жены.

— Когда это случилось? — спросила я Ко Чи Та.

— Ночью. Вчера в пять часов вечера ее отвезли в больницу.

— Я думала, она умерла дома.

К нам подошел отец.

— Хлайн, пусть он пока остается у нас. Надо помочь с похоронами: Ко Тхун Та вряд ли успеет приехать, — попросил он. — И тут вот еще какое дело. Мы осмотрели бабушкины вещи, и оказалось, что у нее нет денег даже на похороны, — добавил он, многозначительно посмотрев на Ко Чи Та.

Я тотчас поняла, что он имеет в виду две тысячи джа, которые бабушка Мьин дала нам для уплаты аванса за дом.

— И как это им удалось так ловко выманить у бабушки такие огромные деньги? Я только сегодня узнала об этом, — вмешалась в разговор До Ту За.

— Я ведь с отцом договорился, что как только наше положение изменится, мы сразу же вернем долг, — расстроился Ко Чи Та. — Но коль скоро дело принимает такой оборот, я постараюсь их где-нибудь раздобыть.

Я нисколько не сомневалась в том, что все члены семьи Ко Чи Та были осведомлены, каким образом нам удалось внести аванс за дом.

— Она небось выкланчила побольше двух тысяч, — злобно взглянув в мою сторону, сказала Эй Мья.

«Как ненавидит меня эта дрянная девчонка! — подумала я. — И за что?!» Терпению моему пришел конец.

— Послушайте, как вам не стыдно упрекать нас в вымогательстве! Бабушка Мьин сама вызвалась нам помочь! Мы сегодня же съедем с квартиры и вернем вам все до единого пья. Слышишь, Ко Чи Та, сегодня же!

Ничто в мире не могло умерить вспыхнувшее во мне негодование, и я, боясь наговорить лишнего, поспешила уйти. Мною овладела тяжелая, безысходная тоска. Больше не оставалось ни добрых надежд на то, что все у нас с Ко Чи Та наладится и мы заживем дружной, счастливой семьей, ни сил бороться с несуразными, неправдоподобно нелепыми препятствиями,

которые каждый раз, словно дикий ураган, вторгались в нашу жизнь.

По-видимому, нам никогда не удастся вырваться из этого заколдованного круга! Я плакала глухо и монотонно, как человек, который понял, что ждать от жизни ему больше нечего.

После похорон бабушки Мьин Ко Чи Та продолжал оставаться в доме своего отца и лишь время от времени позванивал мне на работу. Одиночество еще больше усугубляло мою горечь, и мне захотелось поделиться своими печалью с близким человеком. Я набрала телефон Чи Мей У и попросила ее о встрече. Она очень обрадовалась моему звонку, вызвалась заехать за мной на работу на собственной машине, и вечером того же дня мы встретились. Чи Мей У была элегантна и весела. Ее холеные красивые руки кокетливо лежали на руле. В каждом ее движении сквозили уверенность и самодовольство.

— А ты, милая моя, совсем зазналась, — сказала я после взаимных приветствий. — Не приходишь, не звонишь, как будто бы тебе уже никто из подруг не нужен.

— Так ведь и я хочу стать образцовой женой, — смеясь ответила Чи Мей У. — Мой муж любит, чтобы только я за ним ухаживала. Поэтому мне пришлось отказаться от работы.

— Где же ты целыми днями пропадаешь? До тебя дозвониться невозможно.

— В настоящее время увлекаюсь картами.

— Серьезное занятие, нечего сказать!

Чи Мей У осторожно повела машину по улице Инья и вскоре остановилась у дома, утопающего в зелени огромного, заботливо ухоженного сада. Проводив меня на террасу, она предложила мне глубокое уютное кресло и, подав торт, который, судя по ее словам, испекла специально для меня, подошла к пианино.

— Ты что так задумалась? — спросила она. — Хочешь, я сыграю тебе твою любимую песню?

Я молча наслаждалась тишиной и комфортом. Я не завидовала Чи Мей У, а была благодарна ей за несколько блаженных минут, которые она мне невольно подарила.

— Чи Мей У... — Голос мой звучал как-то неуверенно.

— Да?!

Она привычным жестом закурила сигарету.

— Дай и мне.

— Не дам! Говори, что произошло.

— Помнишь, я просила тебя помочь мне перевестись на работу в

Пегу? Я хотела бы возобновить этот разговор.

— Значит, ты все-таки решила уехать?

— Я не хочу больше жить в Рангуне.

— А как же Ко Чи Та?

— Это его дело.

— Почему у вас не ладятся отношения?

— Долго рассказывать. Я рада, что хоть у тебя все в порядке.

— У меня иначе и быть не может. Я ведь всегда сумею настоять на своем. — Чи Мей У решительно погасила сигарету.

— А как поживает Ти Та Нве? — спросила я как бы между прочим.

Чи Мей У взглянула на меня и по выражению моего лица тотчас же поняла, что я имею в виду.

— По-видимому, ты тоже считаешь, что во всем виновата я? Поверь мне — это не так. Они познакомились в моем доме, и я предупреждала Ти Та Нве, что ей не следует пользоваться благосклонностью этого негодяя, но она уверяла, что он платит ей за уроки.

— Она и мне говорила, что содержит себя самостоятельно.

Чи Мей У как-то неопределенно повела плечом и промолчала.

— А у тебя какие планы?

— Вот порезвлюсь еще немного, а там — детей нарожаю.

Чи Мей У отвезла меня домой на машине.

— Я читала последний роман Мья Мья Тин. Между прочим, обо мне там написано здорово. Это, пожалуй, самая интересная героиня, — сказала она на прощание.

Ко Чи Та отсутствовал дома уже десять дней. Я пребывала словно в полусне и выполняла свои повседневные обязанности чисто машинально. Краем уха я слышала, будто То То увлеклась У Тан Лвином. На работе она почему-то не появлялась, и в один из вечеров я отправилась в общежитие, чтобы узнать, что с ней произошло.

— То То, почему тебя не видно в департаменте?

— Я туда больше не пойду, — ответила она тихо.

Мья Мья Тин подала мне знак, чтобы я прекратила свои расспросы.

— Про нее пустили сплетню, будто она живет с человеком, который устроил ее на работу, — объяснила мне Мья Мья Тин, когда То То вышла из комнаты.

— Да, я тоже слышала нечто подобное. Мне это было крайне неприятно, но я слишком хорошо знаю То То, чтобы поверить в такую нелепость.

— То То, конечно, человек порядочный, но У Тан Лвин способен на

что угодно. Говорят, он сделал так, что вначале ее отказались принять на работу, и таким образом поставил ее в зависимость от себя.

Мы вышли на улицу. По пути к озеру Инья я рассказала Мья Мья Тин о своих невзгодах.

— Значит, ты, чтобы вернуть этот мифический долг, решила поступиться интересами семьи?

— Мне жаль Ко Чи Та. И вообще я не могу больше жить в Рангуне. Здесь у нас ничего не получается: надо перебираться в Пегу.

— Но хочет ли этого Ко Чи Та? Ведь он родился в Рангуне.

— Я попробую поговорить с ним еще раз, но если он откажется — уеду одна.

— Очень прошу тебя, будь благоразумна. Любовью надо дорожить!

— Ты права. Знаешь, о чем я сейчас подумала? В прежние времена мы гуляли по этому берегу, исполненные радужных надежд, а теперь встречаемся, чтобы поплакать над своей неудавшейся жизнью.

Мья Мья Тин сочувственно сжала мою руку.

— Наконец-то ты вернулся, Ко Чи Та. Я очень тебя ждала.

— Соскучилась? — спросил он, обнимая меня.

— Мне необходимо с тобой серьезно поговорить.

— Успеется.

Он заснул быстро, а я, лежа рядом с ним, долго смотрела на его лицо. Утром я побежала на рынок и купила на обед все, что любил Ко Чи Та. Пока я готовила, он занимал меня разговорами. Потом мы принялись за трапезу. Ко Чи Та ел с аппетитом, и я радовалась, что сумела наконец ему угодить.

— Ко Чи Та, как нам поступить с деньгами? — начала я разговор, который так или иначе был неизбежен.

— Похороны обошлись очень дорого. Пришлось залезть в долг.

— Я вижу только один выход: освободить дом и получить обратно аванс.

— А куда мы денемся?

— Давай переедем в Пегу. Если нам не удастся устроиться на работу переводом, придется оставить государственную службу и заняться торговлей. Во всяком случае, доход от торговли будет больше, чем наше мизерное жалованье. И потом, сколько можно так прозябать: ведь ни у тебя, ни у меня повышения по службе не предвидится, а в Рангуне с такой зарплатой долго не протянешь.

Ко Чи Та удивленно взглянул на меня.

— Ты соображаешь, что говоришь? Надо же такое придумать! В наше время заняться торговлей — значит превратиться в спекулянтов! Да и как можно променять столицу на деревню!

— Пегу не деревня. А что хорошего в твоём Рангуне? Здесь, конечно, есть места, где можно весело провести время. Но это не для нас с тобой, а таких, как мы, в Рангуне большинство. Состоятельные люди живут в роскошных особняках и разъезжают в модных лимузинах, а мы не имеем денег даже на то, чтобы снять квартиру в жалкой лачуге, а уж о машине и мечтать не приходится.

— Прекрати, Хлайн! Надо довольствоваться тем, что есть.

Начиная этот разговор, я нисколько не сомневалась, что не встречу одобрения Ко Чи Та. Охраняя престиж своей семьи и собственную репутацию, он никогда не согласится заняться делом, которое, с его точки зрения, способно уронить его достоинство.

Что же касается меня, то я готова была поселиться даже в деревне. Посадила бы огород, занялась бы разведением кур, уток. Но человеку, подобному Ко Чи Та, избалованному городской жизнью, совершенно не приспособленному к физическому труду, мотыга, естественно, не могла прийти по вкусу.

— Что же в таком случае предлагаешь ты?

— Поживем пока у моих. Бабушки теперь нет. Да и отцу много лет: не мешает ему помочь.

Выходит, он хочет, чтобы я снова поселилась в доме, где не могу находиться и минуты.

— Нет, Ко Чи Та. Да и вопрос состоит вовсе не в том, где жить, а в том, как сохранить семью.

— По-моему, ты все очень сильно преувеличиваешь. Просто надо нам найти дом подешевле.

Я покачала головой. Это было мечтой несбыточной. Жилье дорожало с каждым днем, как и все прочее, и соответственно сокращались наши возможности.

— Все это пустые иллюзии. По-видимому, у нас с тобой ничего не получится. Напрасно мы пытаемся найти общий язык.

— Хлайн, опомнись. Ты упрекала меня в слабости, но, по-моему, именно тебе мужества и не хватает.

— Можешь думать что угодно. Мне все надоело, я вконец измучилась, — сказала я и разрыдалась.

Ко Чи Та прижал меня к своей груди, пытаясь успокоить.

— Хлайн, я постараюсь устроить так, чтобы нам не пришлось

расставаться.

После работы я отправилась на базар, который находился неподалеку от дома Ко Чи Та, и встретила там соседку До Ту За, До Мья Чи. Раскланявшись с ней, я прошла мимо. Она же последовала за мной с явным намерением завести разговор.

— Что купила, Хлайн? — спросила До Мья Чи.

— Да так. Всего понемногу. К ужину собираюсь приготовить креветки.

— Теперь вам надо экономить, — сочувственно покачала она головой. Я посмотрела на нее с недоумением.

— Поиздержались ваши. На одни лекарства сколько денег ухлопали. А потом похороны устроили по первому разряду. И тут похвастать захотелось: мертвому-то все равно.

Я молчала, все еще не понимая, к чему она клонит.

— Ну, да это их дело. Меня не касается. Только вот хотелось бы знать, кто станет мне выплачивать долг. Вы с мужем или его родственники?

Наконец я сообразила, что До Мья Чи давала деньги под проценты.

— Вместе, я думаю. А сколько вам задолжали?

— Ко Чи Та брал тысячу джа.

— Вот оно что! Ко Чи Та мне говорил, что похороны обошлись дорого, но в подробности я не вникала.

Наскоро простившись, я побежала домой, забыв в расстройстве, что не сделала еще кое-какие покупки. Ко Чи Та опять где-то задерживался. По-видимому, надеялся справиться с проблемой долга в одиночку. Интересно, сказал ли он своим о том, что взял в долг тысячу джа? И каким образом он собирается рассчитываться с До Мья Чи? Ведь и его и моей зарплаты вместе взятой для этого мало, а подаренные мне мамой драгоценности я уже давно продала. Роясь в ящике, я случайно обнаружила заявление Ко Чи Та в кассу взаимопомощи, где он просил ссуду в девятьсот джа сроком на десять месяцев. Разве это выход из положения — это суцая кабала!

— Ко Чи Та, больше нам медлить нельзя, — сказала я ему, когда он вернулся. — Освободим эту квартиру, получим обратно аванс и расплатимся с долгами. Ничего другого мы не придумаем.

— А где жить будем?

— Я решила уехать к матери в Пегу, ты оставайся пока у своих. А когда наши дела поправятся, накопим денег и снимем квартиру. Я уже и заявление о переводе подала.

— Скажи лучше, что ты решила меня оставить.

— Нет, дорогой, ты ошибаешься. Мы расстанемся лишь временно. Если же я вернусь в дом твоего отца, бесконечные раздоры с родственниками неизбежно приведут нас к разводу. Лучше пожить немного в разлуке, чем потерять друг друга навсегда.

Пока Ко Чи Та находился на работе, я уложила чемодан, оставила ему на столе записку и уехала на вокзал.

«Ко Чи Та, — писала я. — Прежде я думала, что для семейного счастья достаточно одной лишь любви. Однако я ошиблась: в жизни все оказалось сложнее. Многочисленные трудности, крупные и мелкие, иной раз неразрешимые, затмевают это большое чувство, и взаимная привязанность порой уступает место отчужденности и даже неприязни. Не сердись на меня, дорогой, у меня больше нет сил противостоять невзгодам, которые преследуют нас на протяжении нашей совместной жизни. Я устала и уезжаю к маме.

Хлайн».

До отхода поезда оставались считанные минуты. Заняв свое место, я с безучастным видом наблюдала за направляющимися к поезду пассажирами и вдруг заметила Ко Чи Та. Он, спотыкаясь, бежал по перрону, заглядывая в окна вагонов.

— Хлайн, — крикнул он, едва переводя дыхание, — хорошо, что я тебя нашел. Я позвонил к тебе на работу, и мне сказали, что ты сегодня уезжаешь. Я помчался домой и нашел там твою записку. Задерживать тебя я не смею, не могу пока обещать тебе ничего определенного, но надеюсь, что ты обо всем хорошенько подумаешь.

— С квартирной хозяйкой я договорилась. Получи у нее аванс и верни отцу долг. Поверь, Ко Чи Та, я не могла поступить иначе. Мне тяжело было видеть, как ты мучаешься под бременем забот, а я ничем не могу тебе помочь.

Раздался третий свисток, поезд тронулся. Ко Чи Та шел рядом и печально смотрел мне в лицо. По мере того как набирал скорость поезд, убыстрял свой шаг и Ко Чи Та. В конце концов он остановился, застыл на месте с поднятой в прощальном взмахе рукой. Я с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

Перевод с бирманского К. Шаньгина

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ



Нгуен Конг Хоан

Рассказ «Люди-рысаки», представленный в этом сборнике, дает довольно полное представление и о манере письма, и о выборе тем в творчестве ветерана вьетнамской литературы Нгуен Конг Хоана. Он написан, когда автору было 28 лет (Нгуен Конг Хоан родился в 1903 г.). Таким образом, события, положенные в основу повествования, переносят нас в старый, колониальный Вьетнам, когда он являлся частью Французского Индокитая. Последующие события, связанные с Августовской революцией 1945 года, с образованием Демократической Республики Вьетнам, разделили все творчество старейшего вьетнамского писателя на два периода: до- и послереволюционный.

Школьный учитель Нгуен Конг Хоан как литератор заявил о себе еще в двадцатые годы. Читатель оценил его короткие, как правило, зарисовки, выхваченные из мрачной колониальной действительности, где вся жизнь простого человека сводилась к тяжелой и непрерывной борьбе за кусок хлеба. (Один из его ранних рассказов так и называется — «Как добыть средства к существованию». Нормальному, физически крепкому нищему публика отказывает в подаении. Усвоив эту истину, уличный бродяга забирается на дерево и бросается вниз. Здоровый человек превратился в калеку. Прохожие проникаются жалостью, глядя на несчастного, и раскошеливаются...)

Он превосходно знает нравы улицы — этой городской артерии нищеты и беспросветного существования. Герои его многочисленных рассказов — представители городского дна, нищие, падшие женщины, рикши, — словом, все обездоленные.

Насыщенность социальным содержанием — характерная особенность произведений Нгуен Конг Хоана. Этот подход к изображению действительности сказался и в его романах, один из которых — «В тупике» — был запрещен колониальной администрацией, а сам писатель был сослан на пустынный островок Тонкинского залива.

Дореволюционное творчество писателя, его четкая классовая позиция, его личная жизнь прогрессивного вьетнамского литератора, преследуемого колониальными властями, определили место Нгуен Конг Хоана в период ломки старых устоев и становления нового, социалистического Вьетнама. Встав на сторону революции, писатель активно включился в строительство новой культуры. Он много сделал и в области подготовки и воспитания

молодых вьетнамских писателей. Во время войны Соппротивления (1946–1954) плодотворно сотрудничал в газетах и журналах, а впоследствии стал секретарем Союза писателей Вьетнама. Умер в 1977 г. Советскому читателю, который внимательно следит за литературой героического Вьетнама, давно и хорошо знаком писатель Нгуен Конг Хоан: на русском языке вышло несколько сборников его рассказов. Их отличает сочувствие к человеку вообще, они окрашены мягким, зачастую грустным юмором. Их узнаешь по лаконизму и в то же время большой вместимости житейского материала, в чем нетрудно убедиться, перечитывая рассказ «Люди-рысаки».

Н. Хохлов

Люди-рысаки

Никому неизвестно, сколько часов этот рикша, пересекающий сейчас перекресток, уныло тащит за собой пустую коляску. Видно, заработать ему нужно позарез, иначе он не бродил бы по улицам в новогодний вечер. Все лавки в Ханое уже давно закрыты, улицы обезлюдели, и шансов найти клиента почти нет.

Эх! Бросить бы все да отправиться к жене и детишкам! Небось ждут его не дождутся, — до встречи Нового года осталось всего несколько часов. Да что и говорить, были бы деньги в кармане — давно сидел бы уже дома, а не таскался по пустынным улицам, словно бродяга. Беда, что только сегодня он поднялся после тяжелой болезни, от которой, как правило, умирают. Поэтому не было у него возможности подзаработать в предпраздничные дни, а все его жалкие сбережения давно уже кончились.

С утра он изловчился и подзаял кругленькую сумму, приобрел коляску и вышел на улицу в надежде раздобыть немного денег для праздничного ужина.

Но случилось непредвиденное: с полудня и до сего позднего часа он сумел заработать два жалких хао^[7]. В предвечерние часы на улицах было полным-полно шикарно одетых людей, но ему так и не удалось найти пассажира, хотя он сорвал голос, зазывая дам и господ в коляску. Ну, а теперь и подавно надеяться не на что. Рикше становилось особенно не по себе, когда весело гремели, разрываясь одна за другой, хлопушки, начиненные порохом. Минутами он представлял, как встречают Новый год в богатых домах, и чувствовал, что у него прямо слюнки текут. Эти

господа могут позволить себе бросать деньги на ветер, желая щегольнуть друг перед другом, тратят на пустяки сотни и тысячи донгов, а тут не знаешь, как раздобыть несколько несчастных хао, чтобы купить риса.

Время от времени рикша приостанавливался, вслушиваясь — не зовет ли его кто. Но слышны были только разрывы хлопушек, сверкавших огоньками над мостовой. Рикша вздрагивал и тащился дальше. Он сетовал на судьбу, на свое занятие, которое не приносило достатка. Может, забросить коляску и заняться чем-нибудь другим? Но чем? Этого он не знал.

Так, волоча за собой коляску, он миновал улицу Барабанов, свернул на улицу Большого Собора и направился к больнице Фузоан. Здесь он остановился, озираясь вокруг.

— Эй, рикша! Сюда!

— Я мигом! Пожалуйста!

Рикша опрометью кинулся к позвавшей его даме, остановился и опустил ручки коляски:

— Куда изволите, госпожа?

На тротуаре стояла женщина лет тридцати, в коричневом атласном платье, с белым платком, накинутом на плечи, концы которого спускались до пояса.

— Хочу нанять тебя на час-другой. Согласен?

— Согласен-то-согласен, но все-таки на сколько часов?

— На час.

— Прошу вас, шесть хао, госпожа.

— Ничего себе, заломил! Два хао — вот моя цена!

— Госпожа, в Новый год мы всегда так берем. А сейчас другого рикшу вам все равно не сыскать — ни подороже, ни подешевле. Да и я тоже, вот отвезу вас — и на этом все, пойду встречать Новый год.

Женщина повернулась к нему спиной.

— Так сколько же вы все-таки даете, госпожа?

— Два хао, — отрезала она, — да и этого уже много. В обычный день больше, чем полтора, ни за что бы не дала.

— Ладно, госпожа, согласен на пять с половиной хао. Это мое последнее слово, не хотите — так и не надо.

— Ну и не надо! — Она опять повернулась к рикше спиной и пошла по дороге. Рикша посмотрел ей вслед. Он догадывался, что пассажир ему достался незавидный — бедна, вот и торгуется за каждое хао. Но два хао, что предлагает женщина, тоже деньги. Он догнал ее:

— Госпожа, прошу вас, садитесь! Путь будет два хао. Ну, два хао с

половиной...

Женщина занесла было ногу, чтобы ступить на подножку, но, услышав, что речь все-таки идет о двух с половиной, тут же снова поставила ногу на землю.

— Я сказала: два хао и ни су больше!

— Ладно, пусть будет по-вашему, садитесь, госпожа.

— Сейчас пять минут десятого. — Она отвернула рукав и посмотрела на часы. — Но для ровного счета будем считать, что девять.

Рикша, раз ему попался седок на время, бежал, как у них принято, «постариковски» — короткими шагами. Время, как говорится, — деньги, и каждая минута промедления приносила ему монету.

Сначала он думал, что женщина и впрямь куда-то спешит, и бежал не снижая темпа, но, увидев, что она бесцельно слоняется по улицам, ни разу нигде не остановившись, стал догадываться, что и эта дама, по всем приметам, тоже ищет заработок, и перешел с бега на ходьбу. Его так и подмывало поговорить с ней начистоту, предложить выгодных клиентов. Но вдруг она этим не занимается? Оскорбится, денег никаких не заплатит, разве что обругает на прощанье. И он молчал.

Когда они, миновав рынок Донгсуан, повернули на улицу Корзинщиков, а потом — к Восточным воротам, женщина вдруг спросила:

— Ты согласен возить меня еще час?

— Пожалуйста, только извольте сначала расплатиться, отдайте мне заработанные два хао.

— Ладно. А у тебя есть мелочь? Дай-ка мне взаймы несколько хао, а я потом возвращу целый донг — и тебе так будет удобнее.

Рикша вытащил из кармана два хао и протянул пассажирке. Та быстро шмыгнула в лавчонку, купила пачку сигарет, спички, а на оставшиеся деньги — семечек.

Рикша для начала сделал несколько быстрых широких шагов, но тут же опять перешел на легкую трусцу. Улучив удобный момент, он осмелился и задал вопрос, давно вертевшийся на кончике языка.

— Кого вы разыскиваете, госпожа?

— Знакомого.

— А на какой улице он живет?

— Твое дело везти меня, а не разговаривать.

И он вез и вез свою коляску — мимо железнодорожного вокзала, по улице Памятного храма в честь чиновных особ, по Хлопковой улице, улице Темных Тканей и многим другим улицам. А госпожа все никак не могла найти своего знакомого.

— Госпожа, который час?

— Без пяти одиннадцать.

— Как только кончится этот час, прошу вас, госпожа, расплатиться со мной, я поеду на вокзал к вечернему поезду.

— Может, ты согласишься покатать меня еще часок?

— Не обессудьте, госпожа, но стоит мне доставить пассажира с вокзала или довезти кого-нибудь до дома — и, пожалуйста, заработал два хао.

— Но найдешь ли ты седока — это еще неизвестно, — парировала пассажирка. — Там, у вокзала, как говорится, мух много — меду мало, не пришлось бы тебе оттуда ковылять с пустой тележкой. Повози-ка меня лучше еще часок. Плохо ли? Гуляешь себе вразвалочку, а плата меж тем идет. Все выгоднее, чем носиться, как взмыленному, по городу.

Ее доводы показались рикше резонными, и он согласился. Улицы стали еще пустынее, все двери в домах закрылись наглухо. Когда, проезжая узкими торгово-ремесленными улочками и переулками, они повернули к улице Больших Корзин, вокруг воцарилась мертвая тишина, только слышно было, как пассажирка щелкала семечки. Но вдруг одна за другой разорвались начиненные порохом хлопушки, извещая о том, что время подошло к полуночи и наступил Новый год.

— Какой час, госпожа? — спросил рикша.

— Это, видно, какая-то загулявшая семейка раньше времени устроила фейерверк, — ответила пассажирка. — Сейчас еще только без четверти двенадцать.

«Через четверть часа у меня будет еще шесть хао: шесть да два — восемь, — подумал рикша. — А там, глядишь, удастся уломать пассажирку, чтобы добавила хао на чай. Всего, стало быть, девять хао. А это ведь не шуточные деньги. И к тому же в самый Новый год. Редкая удача! Новый год только-только начнется, а я уже с деньгами. Значит, в новом году наверняка удастся заработать в десять, а то и в сто раз больше, чем в прошлом году»^[8].

Потом он стал думать о жене и детях, на сердце у него сделалось легко и радостно, будто прибавилось сил, и он забыл об усталости.

«Завтра встречу пассажиров у вокзала с утреннего поезда, — размышлял он, — съем добрую чашку лапши, ребятам куплю пирожных — пусть и у них будет праздник. Увидит жена, что в кармане у меня звенят деньги, обрадуется, пожалеет меня, скажет, что даром ее муж усердно трудится, на всю семью зарабатывает. А я, конечно, виду не подам, что устал до смерти, пусть мои радуются, ведь Новый год на

дворе».

Размышляя таким образом, он дотащил коляску к больнице Фузоан и, остановившись на том самом месте, где три часа назад нашел себе седока, сказал:

— Сейчас небось уже двенадцать, прошу вас, госпожа, расплатитесь со мной.

— Ну вот еще новости! — всполошилась пассажирка. — Рано вздумал денег требовать. Покатай меня еще часок, почтенный, сделай милость.

— Поздно, ночь уже, госпожа, мне давно пора домой.

— Тогда слушай, скажу тебе по совести: я тоже весь вечер ищу клиента. Сам видишь — хоть бы кто-нибудь на меня обратил внимание. Я уж решила, как только найду клиента, сразу же возьму у него денег и расплачусь с тобой, да не повезло, вечер выдался неудачный. Право, не знаю, как и быть.

— Выходит, барышня, я возил тебя с девяти часов, а ты мне платить не будешь? Так, что ли?

— Я и сама никак ума не приложу, что мне делать.

— А я знаю: отвезу-ка я тебя, барышня, в участок.

— Изволь, вези в участок, но какой тебе от этого прок?

— Как только не совестно! Набралась наглости торговаться, коляску нанимает на час, на два, на три! — разгорячился рикша. — Да еще в долг брала у меня на сигареты да на семечки!

— Я живу в переулке возле улицы Торговцев Лапшой. Как-нибудь будешь ехать мимо моего дома, заглянешь ко мне, я с тобой расквитаюсь. Идет?

— Иде-ет! — передразнил рикша. — Возле улицы Торговцев Лапшой добрая сотня переулков. В котором из них тебя разыскивать?

— Ну, нет у меня денег, нет! — закричала женщина. — Можешь обыскать, если не веришь.

— Мне незачем тебя обыскивать. Заплати мне — и весь разговор.

— Ладно, возьми тогда, что хочешь, из вещей: вот платок, платье, часы.

— На что мне все это сдалось?

— Полно, не сердись на меня. Ведь мы с тобой товарищи по несчастью: ты хочешь найти седоков, а я — подцепить клиента. Случаются скверные вечера, вроде сегодняшнего, — приходится смириться. Ничего не поделаешь!

— Почему же ты, барышня, сразу-то мне все честно не сказала? Я бы тебя прокатил по значным местам. А то, смотрю, задается, госпожу из себя

строит.

— Откуда мне было знать, что дело так обернется. Ну, да ладно. Послушай, что я тебе скажу. Если ты меня сейчас ссадишь с коляски, то, поскольку платить мне нечем, плакали твои денежки. Но если ты покатаешь меня еще и я найду клиента, мы выиграем оба: я буду с деньгами и тебе не придется жаловаться.

— Видно, в предыдущей жизни большой я совершил грех^[9], коль попал сегодня в эту историю. Влипнуть так в самый Новый год! Вот горько!

— Полно, не говори глупостей, никто тебе не хочет плохого, — оборвала его женщина.

Делать нечего, волей-неволей человек-рысак опять впрягся в коляску и потащил продажную кобылку по улицам города. Теперь ему торопиться совсем не хотелось, он едва перебирал ногами. Все это, право, уже осточертело.

Эх, судьба нищего! Рикша вез коляску и вздыхал^ Пассажирка тоже вздыхала. Чем позднее становилось, тем реже мелькала человеческая тень на улицах города. Лишь иногда попадался запоздалый прохожий, который, закутавшись в пальто, куда-то направлялся торопливым шагом.

Тоскливо и скучно... Возле фонарей с жалобным писком плясали москиты, тихо опадали листья с деревьев и шуршали по асфальтовой мостовой.

Рикша устроил своей пассажирке «турне» по публичным домам, но было уже два часа утра, и нигде работы для нее не нашлось. Один раз показалось, что им наконец улыбнулась удача: в начале Конопляной улицы навстречу попался прохожий, одетый как завзятый франт и гуляка, спешивший куда-то. Девушка, решив заарканить клиента, окликнула его и стала расспрашивать, какой дорогой здесь лучше проехать. Но, на беду, франт только покачал головой и прошел мимо, бормоча:

— Не знаю я, госпожа. Спросите-ка лучше у рикши, а я бегу за доктором, у меня жена заболела.

Рикша и проститутка разочарованно переглянулись и вздохнули. Потом, не говоря ни слова, рикша медленно двинулся дальше.

— Ты, пожалуйста, такие номера больше не выкидывай, а то оба загремим в полицию, — сказал он пассажирке.

— Ладно, ты уж извини меня.

— Тебе еще везет. Сколько времени мы шлеемся по городу, а пока не навались ни на тайную полицию, ни на полицию нравов. А то совсем было бы худо!

— Это все мне нипочем. У меня ^билет есть.

Они ехали долго, но на улице яикого не попадалось.

— Остановись-ка, я сойду, — сказала вдруг женщина. — Что притворяться? Скоро рассвет. Сколько бы ты ни возил меня, теперь все равно без толку. Заплатить мне нечем. Предлагала я Платок, платье, часы — ты не берешь. Послушай, может быть, ты отвезешь меня в какое-нибудь укромное местечко, а там что хочешь, то и будет.

— Хм... Как это — что хочешь, то и будет?

Девушка с жеманной улыбкой взяла рикшу за руку, похлопала его по плечу и сказала:

— Эх, простецкая ты душа, сообразить не можешь... Словом, там мы будем с тобой вдвоем. Понимаешь? Ия — твоя. Я согласна на все, до конца. Дошло?

— Ну, нет уж! Этого мне только не хватало. Наградишь еще какой-нибудь дурной болезнью — хлопот не оберешься, — испугался рикша.

— Не бойся, ничего с тобой не случится, я только вчера проверялась.

— Нет, нет! Умоляю, пожалей меня, слезай с коляски, давай деньги, и я отправлюсь восвояси.

— Тогда отвези меня, пожалуйста, домой, может, там найдется что-нибудь, чтобы я могла расплатиться с тобой.

Отпусти ее сейчас, подумал рикша, выходит, весь вечер и всю ночь даром работал. А если отвезти ее домой, вдруг и в самом деле у нее там что-нибудь найдется. Все лучше, чем возвращаться домой с пустыми руками.

— Где твой дом-то? — обернулся он к девушке.

— Вблизи улицы Торговцев Лапшой.

Рикша тянул коляску, бормоча себе под нос:

— Полюбуйтесь-ка: денег у нее ни единого су, а набралась наглости, уселась в коляску, воображает из себя бог знает что. Посовестились бы за счет рикши семечки грызть да сигаретами попыхивать...

Девушка Сидела молча, точно безжизненная кукла, предоставив рикше возможность свободно излить свою обиду.

В это время подул северный ветер, пронизывающий до костей. На улицах появились ранние прохожие. Но люди проснулись совсем не для того, чтобы тут же кинуться на поиски гуляющих женщин.

Около одного «веселого» дома девушка сказала рикше:

— Остановись-ка, я зайду на минутку, может, мне посчастливится занять у кого-нибудь денег.

Питая в душе робкую надежду на удачу, рикша остановился, отпустил

пассажирку, а сам, вконец измученный и изнуренный, присел на подножку коляски и тут же погрузился в дремоту.

Вдруг тишину разорвал грохот хлопшек. Рикша вздрогнул, очнулся от забытья и сразу же спохватился: пассажирки рядом не было. Почему она так долго торчит там? Может, заполучила клиента? Но, пожалуй, ей полагалось бы сначала расплатиться с рикшей, чтобы он мог наконец вернуться домой. Рикша постучал в дверь. Ему открыл слуга.

— Не скажете ли, господин, — заискивающе спросил рикша, — в котором номере у вас девушка в белом платке, которая только что зашла к вам?

— У нас сейчас все номера пустые.

— А где же та самая девушка?

— Она сразу же вышла, у нас не задерживалась.

— Как же так? Через какие двери она вышла? — спросил рикша в растерянности.

Слуга молча указал большим пальцем на задние ворота. Рикша качнулся, словно пораженный молнией.

— Ступай себе, — проговорил слуга. — Мне надо двери запирать. Чего тебе вздумалось к нам соваться? Смотри, чтобы без глупостей у меня!

— Господин, позвольте мне только...

Но слуга отпихнул рикшу и захлопнул дверь. Рикша сжал зубы, нахмурился и понуро потащился к коляске. Подобрал с земли подушечку для сидения, он с силой швырнул ее на место. Затем вытащил из кармана коробок спичек и сжег одну, «опалая душу», чтоб неудачи отошли от него [\[10\]](#). Потом он снова взялся за ручки коляски и уныло побрел домой.

А кругом с веселым треском рвались хлопшки, возвещая приход весны.

1930

Перевод с вьетнамского Н. Никулина

Нгуен Ван Бонг

Писатель как творец и личность зачастую проявляется и в названиях произведений, которые, трансформируясь, становятся своеобразным символом, оттесняя на задний план собственную фамилию писателя. Так произошло и в данном случае. Во Вьетнаме достаточно упомянуть «Бушующий Меконг» или же «Вот он, наш Сайгон!», как перед мысленным взором возникает образ писателя, создавшего произведения под такими названиями. Уже одно это обстоятельство свидетельствует и о популярности в народе, и о направлении творчества Нгуен Ван Бонга (родился в 1921 г.), который, находясь в годы войны против американских агрессоров на юге страны, тогда еще разделенной 17-й параллелью, выступал под псевдонимом Чан Хиеу Минь. Лишь в 1973 году он подписывает своим настоящим именем повесть «Белое платье».

Отличный новеллист, автор глубоких психологических повествований (его роман «Буйвол», повесть «Белое платье» и ряд рассказов были изданы на русском языке), Нгуен Ван Бонг зарекомендовал себя и страстным публицистом, о чем убедительно свидетельствуют его повесть «Огонь в очаге», сборник рассказов «Старшая сестра», книга очерков «Встречая новую весну, идущую с Юга». Многогранность дарования вьетнамского писателя — свидетельство того, что он живо откликался не только на запросы чисто литературного плана, но и на боевую, полную героики борьбу патриотов с иноземными захватчиками. И тогда романист становился одним из ведущих публицистов сражающегося Вьетнама. Процесс, так хорошо известный нам, советским людям, по военному творчеству многих наших писателей. Недаром публицистика А. Серафимовича, А. Толстого, М. Шолохова, К. Симонова и многих других советских писателей, вызванная Великой Отечественной войной нашего народа против фашизма, обрела, можно смело сказать, свою вторую родину именно во Вьетнаме, которому суждено было пережить все тяготы длительных, опустошительных войн.

Сравнительно небольшой рассказ с нарочито прозаическим названием «Как я стал бойцом Народно-освободительной армии» находится в ряду произведений, автор которых последовательно разрабатывает тему становления воина, солдата Хо Ши Мина, как тогда говорили во Вьетнаме. Его героев отличает правдивость, естественность в поступках и помыслах. Это люди, идущие к великой цели коренного переустройства общества на

социалистических началах в силу неумолимых исторических законов борьбы, на которую поднялся весь народ — и Севера и Юга страны.

Н. Хохолов

Как я стал бойцом Народно-Освободительной Армии

Дом опустел, и я ощутил внезапный страх. Мне захотелось броситься следом за родными, но я по-прежнему лежал на кровати, свесив ноги и не в силах пошевелинуться. Лишь через некоторое время я заставил себя встать и выглянул в окошко. Тревога и беспричинное раздражение, которые охватили меня в минуты перед расставанием, не проходили. Вспоминались настойчивые слова матери, в ответ на которые я упрямо твердил одно и то же: «Кому угодно ехать, пусть отправляется, я остаюсь...» Младшие дети не понимали серьезности момента и были радостно возбуждены, как будто им предстояло не бегство от неприятеля, а веселая экскурсия. Старшая сестра держала себя подчеркнуто спокойно и невозмутимо, всем видом стараясь показать, что спорить и волноваться не о чем: кто хочет — пусть едет, кто не хочет — пусть остается.

«Берегись, — сказал отец, — дед говорит, что стоит им увидеть твои длинные волосы, как тебя сразу же и расстреляют».

Отец давно махнул на меня рукой, считая безнадежно испорченным и неисправимым, однако иногда, по привычке, читал мне нотации. Конечно, в компании моих приятелей трудно было остаться «неиспорченным», да и зачем было стараться вести себя как подобает в Сайгоне тех лет? Правда, я никого не обокрал и не мошенничал, но к образцовым меня не причисляли. Учился я кое-как, не раз оставался на второй год и до сих пор не имею аттестата, хотя давно уже вышел из школьного возраста. Не уверен, что и в этом году сумел бы сдать выпускные экзамены!

А зачем, собственно, было их сдавать? Моя сестра училась не в пример старательнее, закончила не только школу, но и литературный факультет университета, однако ей удалось найти лишь место секретарши в одной из американских фирм, да и то после долгих поисков. Отцу пришлось немало похлопотать, чтобы перевести ее в так называемую «национальную фирму», хотя всем ясно, что подобные наименования — всего лишь вывеска, за которой прячутся чужие деньги! Такая же американская лавочка, только со штатом, набранным из вьетнамцев.

Что могло ждать меня после получения аттестата? Служба в армии,

работа учителем или должность служащего в каком-нибудь министерстве... Четыре раза в день мотаться туда-сюда на велосипеде. А где его взять, велосипед? Недавно всей семье пришлось поднатужиться, чтобы приобрести «Солекс» для сестры. Было сказано, что она теперь уже взрослая девушка и ей необходимо выглядеть элегантно. Но купленный велосипед оказался таким, что я его и даром не взял бы. Лучше уж фланировать по улицам пешком или брать велосипед в случае нужды у друзей.

Мои принципы и поведение соответствовали определению «испорченный». В школу я ходил ради разнообразия — дома скучно! А когда надоедало, уходил с уроков и слонялся по улицам. Домой возвращался поздно и сразу заваливался спать... Короче говоря, жил совсем не так, как хотелось бы родителям. Впрочем, иногда мне становилось жаль мать, и я пытался взять себя в руки: начинал соблюдать распорядок, брался за учебники. Но благих намерений хватало ненадолго, и все катилось по-старому.

Отца я тоже жалел и понимал, что доставляю ему немало горя, но в отношениях с ним мною владел постоянный дух противоречия, заставлявший все делать наоборот. Например, я вовсе не собирался отпускать длинные волосы, но как-то раз не успел вовремя постричься. Отец заметил это и воскликнул: «Ты что же это? Гриву решил себе отрастить, как уличные прощелыги?» С этого дня я принципиально стал отпускать волосы.

Так было и с одеждой. Я знал, что ярко-красные джинсы и темно-серая рубашка модного покроя кололи отцу глаза, и потому старался надевать их почаще. При этом я вовсе не стремился ему досадить. Просто мне хотелось делать обратное тому, что считалось правильным, а глашатаем «духа конституционности» в нашей семье был отец.

А разве не так получилось с эвакуацией? Звуки канонады доносились уже несколько дней, волнение вокруг нарастало, передавались многочисленные слухи о боях за Фудинь, Фулам, о том, что вьетконговцы начали второе наступление и недавно перерезали шоссе на Миньфунг... Подобно большинству, я не верил, что вьетконговцы — свирепые чудовища, но примкнуть к ним у меня и в мыслях не было. Твердости характера у меня не хватало даже для спокойной и размеренной жизни горожанина. Где же было выдержать испытания и опасности походной жизни? А какими глазами посмотрели бы вьетконговцы на мои привычки, если даже отец при всей своей снисходительности и тот не выдерживал?.. А тут еще мои длинные волосы. Вьетконговцы просто сотрут меня с лица

земли как неотъемлемую частицу американского «свободного мира».

Возможно, я и согласился бы уехать, хотя желанием уютиться у тетки не горел. Но к уговорам матери присоединился отец... А тут еще возня и шум младших детей, вызывающая невозмутимость старшей сестры, — все это невыносимо раздражало меня, и я упрямо твердил свое: «Кто хочет, пусть уезжает, я остаюсь...» Потом, не обращая внимания на сборы и беготню, я поднялся на верхний этаж, сбросил одежду и завалился на кровать.

Но теперь все ушли, и я испугался. Что, если вьетконговцы действительно придут? Из окна я видел, что в некоторых домах остались люди, другие же стоят пустыми... Звуки стрельбы доносились со стороны шоссе. Если они двинутся прямо сюда, то уже вечером будут в нашем предместье. Но вдруг они обойдут нас стороной или сделают обходный маневр, как это было во время новогоднего наступления? Я надеялся, что так оно и будет. Но, с другой стороны, в этой кампании они всюду атакуют широким фронтом, наносят удары по городам... Попробуй найти безопасное место, когда такое творится!

Я продолжал стоять у окна, предаваясь тревожным размышлениям, припоминая все сплетни и разговоры, слышанные за последние дни. Успокоиться никак не удавалось. Я отказался от эвакуации, потому что не хотел подчиниться авторитету отца, семьи. На что же я рассчитывал, оставаясь один? Найти прибежище в компании приятелей? В глубине души я признавал, что решение уехать было правильным.

Желая отвлечься от бесплодных мыслей, я спустился на нижний этаж, чтобы найти что-нибудь поесть. К обеду в тот день я опоздал. Мать хотела меня накормить, но я отказался. Теперь я почувствовал голод и решил, что для начала надо поесть, а там видно будет... Может быть, схожу проведаю друзей, может быть, лягу спать.

Ужиная, я вдруг вспомнил про комендантский час. В обычное время мы не очень-то с ним считались. Разве что на центральных улицах был риск нарваться на патруль, а по окраинам можно было ходить спокойно. Но сейчас бои идут где-то рядом. В кармане у меня лежало свидетельство об отсрочке от призыва, действительное по август. Отец выхлопотал его, чтобы дать мне возможность сдать наконец выпускные экзамены. Теперь, когда кругом бои, пожалуй, никакая бумага не поможет. Я решил, что никуда не пойду, запер входную дверь и, поднявшись к себе, улегся на кровать.

Я долго ворочался с боку на бок, прежде чем заснул. А когда проснулся, сразу понял: что-то случилось. Они здесь! Вьетконг! С улицы

доносились выстрелы, собачий лай... Шум стоял невообразимый. Вдали на шоссе, по которому, очевидно, отступали войска, захлебываясь, строчил пулемет. Стрельба слышалась и в районе моста. Выходит, они сумели обойти шоссе и оказались здесь раньше, чем я предполагал!

Я вылез из-под полога и посветил на часы. Половина пятого. Похоже, что партизаны проверяют дома. Шаги, стук во входные двери... Этим звукам вторили радостные возгласы: население приветствовало победителей... Кто-то выкрикивал лозунги... А вот топот убегающих ног, крики... Кого-то схватили...

Я напряженно прислушивался. Все ближе и ближе к нашему дому... Что же делать? Но я не успел ничего придумать и даже испугаться, как внизу забарабанили в дверь.

— Открывайте! Открывайте!

Одним прыжком я очутился возле большого гардероба, стоявшего возле изголовья кровати, распахнул дверцу и забился вовнутрь. Год назад мне уже приходилось прятаться таким способом во время облавы на уклоняющихся от призыва, — удостоверения об отсрочке отец тогда еще мне не достал.

Партизаны пошумели возле двери и удалились, но вскоре появилась другая группа. Снова раздались крики, стук, потом дверь затрещала, срываема с петель. Вошли в дом. Шаги, голоса, звук сдвигаемой мебели... Вот они поднимаются ко мне, и сердце мое заколотилось, готовое выскочить из груди.

— Займи позицию у окна, — раздался голос рядом, — особое внимание высоким зданиям.

Вошедших было двое. Говоривший остановился возле моего шкафа. Другой направился к окну.

— Отсюда хорошо просматриваются крыши домов напротив.

— Вот и наблюдай!

— Здесь ничего нет, но дальше у них две огневые точки.

Очевидно, уже было достаточно светло, и они различали, что делается на шоссе. Я еще не успел как следует освоиться в сложившейся ситуации, как послышались новые шаги и голоса.

— Ну, что у вас там?

— Докладываю: все в порядке, — ответил человек, находившийся ближе ко мне, а стоявший возле окна добавил:

— Из этого дома все эвакуировались.

Вошедший остановился посреди комнаты.

— Похоже на дом служащего.

— Да, видно, самый рядовой.

Тот, кто произнес последние слова, шагнул в сторону моего письменного стола и вдруг воскликнул:

— Вы только посмотрите на этого парня, — ну и прическа!

Я вспомнил, что там стоит моя фотография в рамке.

— Одно слово — стилига! — отозвался другой.

— И чего только у него нет! Пластинки, учебники, журналы, романы...

Похожий на командира тоже подошел к столу и, очевидно, принял участие в его осмотре.

— Школьник, — услышал я его голос спустя некоторое время, — но отец и старшие братья могли, конечно, и в полиции служить. Оставайтесь здесь, — приказал он, — осмотрите все хорошенько и пусть один ведет непрерывное наблюдение из окна. Есть и отдыхать — поочередно. Наверняка они сегодня попытаются прощупать этот район.

Отдав распоряжения, он стал спускаться вниз. Да, я не ошибся, это — командир: оставшиеся ответили ему хором, подтверждая полученный приказ.

Когда шаги замерли, тот, возле окна, обратился к своему товарищу:

— А ну-ка, подними полог!

Я вспомнил о своей неубранной постели и разбросанной по ней одежде.

— Смотри-ка, наряд стилиги!

— А ну, примерь!

Послышался громкий смех. Они издевались над моими джинсами и модной рубашкой. Кажется, один из них натянул все это на себя и теперь стоял перед моим убежищем, разглядывая себя в зеркало.

— Хорош, а?

— Форменный ковбой!

— Жалко, волос не хватает!

— Ничего, повоюем здесь с десяток дней, и отрастут не хуже, чем у этого стилиги!

Нарядившийся в мое платье на все лады извивался перед зеркалом, и оба поминутно разражались хохотом. Как мне рассказывали после, он вытянул вперед руку и, тыча пальцем в свое отражение, воскликнул:

— Угости-ка пулей этого стилигу, что смотрит на меня из шкафа, чтобы и не вспоминать!

Откуда мне было знать, что это шутка и что говорящий указывает на самого себя в зеркале? Скорчившись от страха и тесноты, я вообразил, что

мое присутствие обнаружено и меня приказывают расстрелять. Я не стал долго раздумывать и с паническим воплем вывалился в крепкие руки бойцов.

— Братя... — залепетал я.

— Ты кто такой? — крикнул боец и ткнул мне в грудь автоматом.

Но я, потрясенный произошедшим, не мог вымолвить и слова.

— Эй, что там такое? — донеслось снизу.

— Да вот один тип прятался в шкафу. — Боец скручивал мне руки за спину.

— Отпустите его, — приказал поднявшийся по лестнице командир, едва увидев меня. Следом вошло еще несколько человек, все с оружием. Командир подошел ко мне.

— Кто вы? Почему прятались?

Вот так состоялась моя первая встреча с бойцами Освободительной армии, наносившей удар по Сайгону. Прежде я видел их только на газетных снимках или в передачах по телевидению.

Меня отпустили, и я рассказал обо всем без утайки. Кто я такой, кто мои родители, чем занимаются братья и сестры. Объяснил, куда отправилась семья и почему я не эвакуировался вместе со всеми. Поначалу я, впрочем, сказал только, что остался присматривать за домом. Затем я вместе с бойцами сошел вниз, в моей комнате остался лишь наблюдатель.

Расквартированные в нашем доме бойцы были все очень молоды. Молод был и их командир, с первого дня я начал называть его, как и все остальные, просто — Нам.

Он успокоил меня и предупредил, что, если я захочу вступить в их отряд, они охотно примут меня, если нет — могу остаться дома.

Несколько бойцов начали долбить лаз в кирпичной стенке, отделявшей двор нашего дома от соседнего. Удары лома гулко разносились по улице. Другие занялись приготовлением пищи. Я показал, где хранятся рис, соус, овощи, мясо — мать оставила всего в изобилии, — и вызвался помочь на кухне, но вместо этого Нам усадил меня рядом и начал подробно расспрашивать о жизни в городе и его окрестностях, о том, как настроены солдаты, полицейские, чиновники, различные слои крестьян... По мере сил я старался давать исчерпывающие ответы.

Один из бойцов вмешался в беседу и поинтересовался, почему у меня такие длинные волосы. Я объяснил, что эта мода распространилась после гастролей английского музыкального ансамбля «Битлз» и рассказал, что это за ансамбль.

— Ну, а нормальные люди тоже отпускают такие волосы? — спросил

другой боец. Этот вопрос привел меня в замешательство. Прежде я как-то не задумывался, что значит быть «нормальным», а теперь почувствовал, что меня из-за длинных волос нормальным не считают.

Видя мое смущение, бойцы расхохотались и заговорили о другом. Что-что, а посмеяться они умели!

* * *

Прошел всего лишь один день, а я ощущал себя совсем другим человеком.

Вечером, когда я вместе с ротой ожидал команды пересекать шоссе, я забыл о своих длинных волосах, о ссоре с родителями и, главное, о своем клейме «испорченный». Хотя, пожалуй, один раз я вспомнил о прошлом, шагая из родного предместья в молчаливой колонне бойцов. Неужели я действительно решился вступить в их ряды? Только теперь я по-настоящему осознал произошедшее со мной. Столько событий и впечатлений обрушилось на мою голову за один только день! Население дружно встречает бойцов Фронта национального освобождения. Оживленные возгласы, радостные лица повсюду. На улицах множество людей. Но самое удивительное — это бойцы. Простые, приветливые в обращении, уверенные в себе. Если им нужно у тебя что-то спросить, сразу же задают вопрос. Нужно что-то тебе сказать — скажут, не стеснясь. И Нам, который, как я узнал, был командиром роты, держался как все. Отправляясь обходить посты, он звал меня с собой. С какой гордостью я шагал рядом, ловя на себе взгляды прохожих и мечтая, чтобы меня увидел кто-нибудь из знакомых.

Я согласился сразу, без колебаний, когда Нам в конце дня спросил меня: «Ну, что ты решил? Пойдешь с нами?»

Сомнения возникли позднее во время марша, и меня охватил внезапный страх: не попроситься ли назад? Разве у меня хватит выдержки перенести все тяготы, выпадающие на долю бойца? И еще смутное чувство печали овладело мною, будто я что-то безвозвратно утратил. Я вдруг почувствовал себя заблудившимся и одиноким в этой огромной массе суровых воинов.

Но подавленные чувства и мысли владели мною недолго, у меня просто не было времени им предаваться. Не знаю, форсировалось ли шоссе

одновременно и в других местах, но возле места нашего перехода скопилось немало бойцов. Мы подвигались шаг за шагом, тесня и толкая друг друга. Так же беспорядочно теснились в голове **МОИ** мысли, а когда наконец мы придвинулись совсем близко к обочине и я увидел впереди широкую ровную поверхность, у меня вдруг возникло ощущение, что стоит ее пересечь — и передо мною сразу откроется новая, совсем непохожая на прежнюю, удивительная жизнь. Это было радостное предвкушение, смешанное с боязнью.

Я стоял сразу за Намом и слышал разговор о том, что почти все подразделения уже продвинулись. Осталась наша рота. Сомнения и нерешительность опять вернулись. «Правильно ли я поступил?» — снова спросил я себя и вдруг вздрогнул: откуда-то с крыши высокого дома, расположенного за шоссе, открыли огонь, пули высекали искры из бетонного покрытия. Мигом все лишние мысли вылетели из головы. Бойцы, отпрянувшие назад под прикрытие стены углового дома, увлекли меня за собой. Нам приказал выдвинуть пулемет и открыть огонь по дому — рота должна продолжить переход.

— Ты откуда, Чанг? — услышал я вдруг его вопрос.

— Прислали из батальона узнать, почему вы задерживаетесь, — раздался в ответ женский голос. В следующий момент гибкая фигурка, стремительно преодолев открытое пространство, очутилась рядом, заставив меня плотнее прижаться к стене, чтобы дать ей место в укрытии. И голос, и весь облик девушки показались мне странно знакомыми...

— Что вы здесь топчетесь? — нетерпеливо спросила она у бойцов. Девушка запыхалась от быстрого бега, и я слышал совсем близко ее учащенное дыхание. «Я где-то видел ее раньше», — с нарастающей уверенностью подумал я, но в этот момент раздался чей-то ядовитый голос:

— Ты думаешь, что мы железные и пули будут от нас отскакивать?

— Железные не железные, а сколько можно ждать, — перебила его девушка, — вот только огонь прервется, и надо делать бросок.

— Не выйдет! — поддразнил ее другой. — Бросайся сама, если такая непробиваемая.

— Как это «не выйдет»? — возмутилась девушка. — Навечно, что ли, здесь засели?! — Ей приходилось кричать, чтобы быть услышанной. Едва заградительный огонь прервался, она резко схватила меня за руку, поднимая с земли и увлекая за собой вперед. В следующий момент я уже бежал, чувствуя рядом других бойцов, а за спиной пули с визгом ударялись о бетон. Перебежав магистраль, девушка выпустила мою руку и

остановилась, громко подбадривая остальных:

— Скорее, скорее!.. Не отставать! — и исчезла в темноте.

Так и не вспомнил тогда, где же я видел прежде эту хрупкую фигурку, слышал этот звонкий голос.

Смелый бросок девушки увлек за собой немало бойцов, хотя огонь тотчас же возобновился. Позднее, когда нашим пулеметчикам удалось нащупать огневые точки противника, оставшиеся присоединились к нам без большого труда. Все силы, проникшие в город, сконцентрировались в ту ночь в районе Новый Чолон.

* * *

Предыдущий удар по Сайгону был нанесен сразу после празднования лунного Нового года. Помню, наша компания ходила по городу, рассматривая места недавних боев. Мы видели пожары, следы пуль и осколков на стенах, слушали возбужденные пересуды горожан. Рассказывали, что атаковавших было немного. Они нанесли внезапный удар и рассеялись. А вояки марионеточного правительства ударились в панику и уже после ухода партизан обрушили снаряды прямо на дома мирных жителей!

Теперь я сам принимал участие в операции и знал, что бойцы Освободительной армии пришли крупными отрядами, видел, что они смело вступают в бой, умело приспосабливают дома к обороне, пробивая в стенах бойницы, и не боятся ни пехоты, ни танков, ни авиации, сражаясь за каждую улицу, за каждый дом. Даже ядовитые газы им нипочем! Бои были такие, что целые улицы превращались в развалины. Прежде я знал в этом районе каждый закоулок, а теперь с трудом опознавал большие улицы.

Мне выдали винтовку! Трофейного оружия было много, и Кан, командир моей группы, выбрал для меня новенькую Ар-15, сверкавшую вороненой сталью, но вскоре приказал заменить ее автоматом Калашникова с тремя запасными магазинами. С этого момента я стал настоящим бойцом Освободительной армии: оборонялся, стрелял и с громким «ура» ходил в атаку вместе со всеми.

Однажды среди товарищей завязался разговор о событиях ночи, которая стала для меня боевым крещением, ночи, когда мы должны были пересечь шоссе под огнем. Некоторые хвалили девушку за ее смелость и

хладнокровие: ведь это она увлекла нас на бросок, когда пулемет врага прижал роту к земле. Другие же считали, что девушка проявила ненужную удачу, которая могла вызвать напрасные жертвы. Ведь уже был отдан приказ выдвинуть ротный пулемет, надо было только подождать, и перешли бы совершенно спокойно. Им возражали, что пулемет пулеметом, а в военном деле нужна инициатива. К тому же никто не пострадал, так что риск был вполне оправданным... А приказ командования надо исполнять в срок, о какой же ненужной удаче можно говорить!

Спор разгорался все сильнее, но я заметил, что даже те, кто осуждал поступок девушки, отзывались о ней с уважением. Порицали ее только за «ребячество» и припоминали другие эпизоды, чтобы доказать, что она никогда не упускала случая показать себя. Мой командир Кан насмешливо назвал ее «дамой из батальона» (Чанг была связным батальона и проводником по здешним местам. Командование часто присылало ее в роты с различными поручениями).

Сам Кан был отличным солдатом, хотя, пожалуй, чересчур одержимым. Он никогда не расставался со своей базукой. Однажды во время прошлой кампании ему довелось сжечь больше тридцати вражеских солдат одним выстрелом. Он был сайгонцем, как я, и его семья — мать и сестры — жила одно время в пригороде в простой хижине, крытой пальмовыми листьями. Потом все дома в их районе сожгли, чтобы освободить место для небоскребов. Теперь Кан часто приговаривал, наполовину в шутку, наполовину всерьез, что согласен воевать всюду, где прикажут, но непременно сбережет несколько гранат и, когда вернется, ударит как следует по этим небоскребам.

В ту памятную ночь он тоже оглядывался по сторонам, ища подходящую позицию для базук, чтобы «заткнуть врагу глотку». Но появилась девушка и увлекла нас за собой, потом заговорил ротный пулемет. Базука Кана так и не понадобилась, и за это, кажется, он затаил обиду на Чанг.

Слушая беседу товарищей, я все больше проникался к ним уважением. Девушка возбуждала во мне любопытство, но расспрашивать о ней было неудобно. Товарищи могли, конечно, позволить себе быть веселыми и даже чуть развязными, но мне с моим недавним прошлым нужно было строго следить за своим поведением. Впрочем, она мне вовсе не нравилась. Уважать я ее, конечно, уважал, но не больше. Бойцы величали ее по-всякому: и «госпожа», и «девчонка», и «малышка», но я мысленно всегда называл ее «старшая сестра», а бойцов-мужчин, как принято, — «старшими братьями», независимо от того, старше они или моложе. Вспоминая

события той ночи, я испытывал смешанное чувство. Девушка, конечно, была молодец, но меня коробили ее тон и манера говорить. Разумеется, момент был ответственный, не время для церемоний, да и кто-то из бойцов начал над ней подтрунивать, но все же, рассуждал я, если ты девушка — мягкое и нежное создание, забывать об этом не имеешь права... Неужели война так меняет людей?

Впоследствии мысли об этой девушке не раз приходили мне в голову, а однажды я опять встретился с ней, и тоже при драматических обстоятельствах. В то утро наша рота двигалась через небольшой городок. Вдруг над нашими головами закружились два вертолета, а из окон высокого здания ударили пулеметы, преграждая дорогу. Все произошло почти как в ту первую ночь, только еще внезапнее. Из пяти бойцов нашей группы двое были ранены. Вскоре к нам присоединился ротный. Другие подразделения уже ушли вперед, а нам пришлось спрятаться в одном из домов крохотной улочки. Тени вертолетов скользили по земле возле дома, а пулеметы наперебой захлебывались очередями. Пули взрывали сухую землю, поднимая фонтанчики пыли, и впились в стену, высекая из нее кирпичную крошку. Положение становилось критическим. Нужно было преодолеть открытое пространство, чтобы укрыться в квартале, застроенном большими зданиями, и там передохнуть до вечера, а потом сделать решающий бросок к самому сердцу Чолона. Но огонь прижимал нас к земле, не позволяя сделать и шагу. Нам, укрывшись под навесом крыши, напряженно высматривал вражеские огневые точки, при этом струи воздуха, поднятого винтами, шевелили ему волосы. Кан со своей базукой пробрался на кухню. И в этот момент перед нами внезапно возникла девушка...

— Чанг! — обернулся командир роты. И тут я узнал ее. О, небо! Я думал, мои глаза вылезут из орбит от изумления...

— Так это ты!

Девушка взглянула на меня и тоже узнала:

— Значит, ты с нами?

— Вы что же, знакомы? — спросил Нам.

Чанг сделала несколько шагов вперед:

— Прежде я была у них в доме служанкой. — Она присела рядом с командиром роты и тоже выглянула наружу.

Вбежал Кан, схватил командира за руку и, не говоря ни слова, увлек его за собой. Мы с девушкой последовали за ними и увидели, что Кан о чем-то горячо толкует, указывая рукой на двухэтажный дом, который был выше других в ряду. Все сразу поняли его намерение, даже такой новичок,

как я, догадался. Он хотел установить там базуку и ударить по вражеским пулеметам. За несколько дней, проведенных в отряде, я успел узнать, как действует базука, и понимал, что стрелять с такой позиции очень опасно!

Минута проходила за минутой, и каждая из них казалась бесконечной. Вертолеты кружились над нами, время от времени выпуская наугад ракеты. Мы снова собрались на верхнем этаже, откуда было удобно следить за обстановкой. Пулемет не умолкал ни на минуту, и мы были бессильны.

— Разреши мне... — повторял Кан. Нам еще раз посмотрел на большое здание, в котором скрывались огневые точки, потом перевел взгляд на ветхий двухэтажный домик и нахмурил брови.

— Ну, дай же я оттуда ударю, — продолжал твердить Кан, лицо его было страдальчески искажено. Он повернулся и схватил за руку Чанг, как бы ища у нее поддержки. Девушка тяжело вздохнула, и командир нехотя кивнул. Кан мгновенно выпустил руку девушки и, схватив свое оружие, бросился из дома. Прошло несколько томительных минут. Я почувствовал, как рука Чанг легла на мое плечо, и почти в тот же момент прозвучал раскатистый выстрел. У меня зарябило в глазах и зазвенело в ушах, но я тотчас же высунул голову из укрытия и увидел, что здание, в котором засел враг, окутано дымом. Пулеметы смолкли. Вертолеты скрылись. Сзади прокатилось дружное «ура». Бойцы выскакивали из своих укрытий и, перебегая открытое место, скрывались среди больших зданий.

Нам и Чанг первыми бросились вниз и пролезли в дыру, сделанную Каном в стене, я последовал за ними. Мы бежали к дому, на чердаке которого Кан выбрал огневую позицию. Дом рухнул, не выдержав силы отдачи базуки. На его месте громоздилась беспорядочная куча обломков: кирпич, штукатурка, балки, гофрированное железо...

Кана вытащили из-под развалин тяжело раненным, без сознания. Дальше мы несли его на носилках. Чанг на ходу спросила меня о моей семье. Я рассказал об их отъезде.

— А ты давно с нами?

— С той ночи, как ты перетащила меня через шоссе.

— Какой ночи? — Девушка взглянула на меня с удивлением. Но я ничего не успел объяснить, ее срочно вызвали в батальон. После она появлялась еще несколько раз, передавала приказы командования, спрашивала, как чувствует себя Кан, и снова убегала.

Раненый боец начал приходить в себя. Заметив, что мы с Чанг беседуем как старые знакомые, он прошептал:

— Знакомы?

И я рассказал.

Однажды утром — это было больше года назад — я не пошел в школу и валялся на кровати, как вдруг услышал на улице громкие крики. Оказалось, что кричат в доме торговли жареными бананами тетушки Хай. Этот дом примыкал к нашему, но выходил фасадом на другую улицу. Доносились голоса торговли и еще какой-то девушки. В то время я томился от скуки, поэтому сразу выскочил на улицу узнать, что происходит. Перед калиткой, ведущей к дому тетушки Хай, стояла девушка с покрасневшим от гнева лицом.

— И не спорьте со мной, — восклицала она, — станете заставлять силой — в полицию пожалуюсь!

Ее собеседницей по другую сторону калитки оказалась вовсе не тетушка Хай — бедная торговка, зарабатывающая себе на жизнь нелегким трудом, а совершенно незнакомая малоприятная женщина, тучная, с густым слоем румян.

— Не глупи, девочка, — отвечала она с насмешкой, — свяжешься с полицией — сама бед не оберешься!

Одного взгляда на женщину было достаточно, чтобы понять, кто она такая. Ясное дело, девушку шантажировали...

— Что тут происходит? — спросил я, подходя ближе.

Девушка уже повернулась, чтобы уходить. Услышав мой вопрос, она вскинула голову и глянула в глаза так сердито, будто спорила именно со мной. На вид ей было лет семнадцать — восемнадцать, гладкие волосы зачесаны назад и схвачены заколкой, одежда крестьянская: черные шаровары и блузка оранжевого цвета, в руках — небольшая сумка — видимо, со всем ее имуществом. Раньше я несколько раз сталкивался с этой девушкой на улице, она разносила воду по соседним домам. Сейчас, взглядевшись пристальнее, я решил, что она наверняка не горожанка, пришла откуда-то издалека, а деревенские простушки, как известно, лакомая добыча для любой сводни!

Девушка оставила мой вопрос без ответа и торопливо зашагала прочь. Я пошел следом. Мать и сестры тоже вышли на шум и стояли возле нашей калитки.

— Что там случилось, сынок? — спросила мать.

— Вот у нее спроси, — ответил я, указывая пальцем на девушку. Моя мать — женщина добрая, всегда готова помочь тому, кто в беде.

— Что с тобой, дочка? — участливо спросила она, когда девушка поравнялась с нею.

Девушка подняла голову, посмотрела на мать, сестер и остановилась.

— Зайди к нам, успокойся и расскажи толком, что произошло, —

пригласила ее мать.

Внезапно незнакомка опустила голову и стремительно бросилась мимо матери прямо в дом. Положив голову на стол, она зарыдала. Она долго рыдала, не поднимая лица. Женщины окружили ее, я тоже стоял в недоумении. Мать присела рядом и, глядя девушку по плечам и спине, старалась ее утешить.

— Ну что? Что случилось? Расскажи... — уговаривала она.

Девушка успокоилась не сразу, но наконец вытерла слезы и заговорила. Оказалось, что она родом из Тайниня, родители погибли при бомбежке, и ей пришлось уйти в Сайгон на заработки. Она нашла квартиру в домике тетушки Хай и стала разносить воду по ближайшим улицам. Со своей хозяйкой она вовсе не была в родстве, но, по обычаю, называла пожилую женщину тетушкой, а та ее — племянницей. И вот, оказывается, эта «тетушка» за ее спиной сговорилась с другой женщиной, и та сегодня явилась требовать, чтобы девушка шла на работу в бар. Квартирантка отказалась наотрез. Видя, что увещевания не помогают, женщина возвысила голос и перешла к угрозам. Она кричала, что тетушка Хай уже договорилась с ней, а она, в свою очередь, пообещала хозяину бара, отказаться невозможно... Тетушка Хай вмешалась в разговор и стала ей поддакивать, утверждая, что девушка раньше была согласна, и за это она не брала с нее денег ни за еду, ни за жилье. (На самом деле квартирантка зарабатывала достаточно и платила регулярно.) Девушка разволновалась и, в свою очередь, накричала на них, пригрозила, что пожалуется в полицию, а затем собрала вещи и ушла.

Меня смутили слезы девушки, а выслушав ее рассказ, я удивился, до чего он похож на ежедневные фельетоны сайгонских газет: война заставляет девушек уходить из родных мест в большой город, а там они попадают в цепкие руки торговки живым товаром, которые для начала прельщают их легким заработком официантки в баре. Потом на сцене появляется какой-нибудь бездельник-ловелас, вроде меня. Что ж, для этой роли я вполне сгодился бы в то время... Настоящей любви я еще не знал. В кругу моих друзей любовь считалась старомодным и наивным чувством. К женщинам и девушкам мы относились свысока, дразнили и задирали их на каждом шагу. Но кое-какая порядочность во мне все же была, и, слушая рассказ девушки, я возмущился.

— Что же ты теперь будешь делать? — спросила мать.

— Пойду куда-нибудь, — с тяжелым вздохом ответила та, — буду искать работу.

— Куда тебе идти, — тоже вздохнула мать, — и где ты ее найдешь?

— А что, если мы... — вмешался я в разговор и, не договорив, выразительно посмотрел на мать. Мать поняла намек: ей была нужна помощница — ходить на рынок, готовить, следить за детьми. Вот так, в первый раз в жизни из-за благородного жеста я подумал о хозяйстве.

Девушка осталась у нас, но я больше не обращал на нее внимания. А неделю спустя мать сказала, что новая служанка уехала к себе на родину в Тайнинь. Там отыскалась какая-то тетка, которая хочет забрать ее к себе. Перед отъездом девушка просила передать мне свою благодарность и добрые пожелания.

Когда она жила у нас в доме, ее звали Минь, а теперь выяснилось, что настоящее ее имя Чанг, да и внешность стала совсем другая, неудивительно, что при встрече я не сразу узнал ее. Минь выглядела совсем по-деревенски, а Чанг и одета была как горожанка, и завивала волосы. Да и голос ее прежде я слышал по-настоящему однажды, когда она ругалась на улице. Попав к нам, она все время молча корпела над работой и разговаривала только с детьми, а мы слышали от нее лишь «да» или «ясно». Так мог ли я узнать нашу молчаливую служанку в той девушке, которая громко спорила с бойцами и, схватив меня за руку, решительно повела под огнем через дорогу. Кто же она на самом деле?

И мне рассказали. Чанг была родом из Бенче. Прежде она работала связной при провинциальном комитете, а год назад ее отправили со специальным заданием в Сайгон. В ту пору девушке еще не исполнилось и восемнадцати лет. Ей дали пятьсот донгов (меньше, чем стоит самое скромное питание в течение двух недель), приказали добраться до Сайгона и обосноваться там, чтобы при случае использовать ее квартиру как явку. На первых порах девушке пришлось нелегко, потом она освоилась и установила связь с движением в среде служащих и учащихся. Позднее ее назначили проводником одного из подразделений, выделенных для взятия Сайгона.

Я невольно вздрогнул, сообразив, что Чанг появилась у нас в доме в самом начале своей подпольной работы. Счастье, что мне тогда не вздумалось приставать к ней! Какими глазами смотрел бы я на нее теперь? Одна мысль об этом бросала меня в жар. Оказывается, она и среди учащихся работала! В свое время мне довелось несколько раз участвовать в выступлениях школьников, политических семинарах, демонстрациях. Но я делал все это просто из озорства, увлеченный общим порывом, и никогда всерьез не задумывался, зачем это нужно. В отличие от Чанг, никаких высоких целей и идеалов у меня не было.

На Новый год в Сайгоне обычно появлялись листовки и лозунги

Национального фронта, кое-где проходили митинги и на некоторые из них я даже бегал посмотреть. Возможно, все это — дело рук Чанг! Кто бы мог подумать! Я еще долго сидел, ошеломленный услышанным.

Вечером состоялось памятное для меня совещание. С наступлением ночи нам предстояло пересечь еще одно большое шоссе и с боем пробиться в центральную часть Чолона. Противник наверняка окажет сильное сопротивление. Как поступить с ранеными? Взять их с собой — они будут нас связывать, оставить здесь — кто будет о них заботиться? Да и место ненадежное. Противник не уничтожен, и мы стараемся избежать столкновения с крупными силами. Так и в окружение попасть недолго. Во время прошлой кампании все раненые были благополучно эвакуированы. Но это дело случая. Тогда наши пришли мелкими группами, атаковали выборочно, противник был застигнут врасплох. И население оставалось на местах. Если раненые не могли передвигаться с отрядом, их оставляли в частных домах. Местные жители ухаживали за ними, а после выздоровления помогали добраться до своих. Сейчас все по-другому. Бои развернулись, население бежит, спасаясь от бедствий войны, а враг старается отрезать пути отхода и замкнуть кольцо окружения. Кто может поручиться в таких условиях за жизнь раненых?

Понимая серьезность положения, раненые товарищи предложили сами: все, кто может держать оружие, вернуться в строй, а тяжелораненые останутся, чтобы не быть обузой...

Для окончательного решения мы собрались в большом доме, хозяева которого бежали. Просторная комната была уставлена дорогой мебелью из черного дерева, на стенах висели панно с каллиграфически выписанными китайскими иероглифами — изречениями мудрецов, стихотворными поздравлениями хозяевам, а также многочисленные картины и зеркала. В центре потолка была подвешена роскошная люстра... На совещании присутствовали делегаты рот, представители командования и раненые, всего около двадцати человек. Те, кто был ранен легко, стояли, опираясь на винтовки, и старались держаться бодро, показывая своим видом, что хоть сейчас готовы в поход. Тяжелораненых, обмотанных бинтами, принесли на носилках, пружинных матрацах, поролоне.

У многих бойцов были при себе детские игрушки, которые придавали им очень забавный вид, хотя, по-видимому, никто, кроме меня, этого не замечал. Чего только не было: пластмассовое оружие, карнавальные маски, плюшевая собачка, резиновый медведь, заводной автомобильчик, мотоцикл с седоком... Мы только что вели бои в оживленном торговом

районе. Противник старался не столько сражаться, сколько побыстрее эвакуировать гражданское население, чтобы потом целыми машинами вывозить награбленное в крупных магазинах. Офицеры и солдаты тащили радиоприемники мешками, а браслеты с часами надевали на руку десятками — от кисти и до локтя — или нацепляли их на стропу от парашюта и вешали на шею, как цветочную гирлянду, которой венчают победителей... У нас же было правило: запирать и опечатывать двери магазинов, которые оказывались в расположении части, чтобы хозяева по возвращении нашли все в целости и сохранности. Никто не посягал на дорогие вещи. Лишь изредка бойцы подбирали валявшиеся детские игрушки, игральные карты или какие-нибудь бесполезные безделушки, привлекавшие их внимание. Мне приходилось видеть, как в минуты отдыха они дурачились, нацеливаясь друг в друга из пластмассовых пистолетов. Помню, как один из бойцов полз, направляя перед собой игрушечный заводной танк, а его товарищ, разыгрывая страх, пятился назад.

Вот и сейчас многие не захотели расставаться со своими игрушками.

Собрание приняло решение: позволить раненым, способным владеть оружием, продолжать марш; тяжелораненых — оставить. Комиссар батальона сказал несколько напутственных слов и еще раз призвал всех, кто может сражаться, вернуться в строй. Среди тяжелораненых был Кан. Услышав слова комиссара, он стиснул зубы и попытался привстать, но тут же откинулся на подушку. Чанг поспешно под села к нему и, успокаивающе погладив ладонью, заглянула в лицо. Комиссар продолжал объяснять задачу, подчеркивая, что от раненых требуется не меньшее мужество, чем от тех, кто идет в бой. Хотя им будет оставлена помощь, сказал он, главная забота ляжет на них самих, а после предстоит с помощью крестьян самостоятельно пробираться на север в расположение части.

Затем стали обсуждать, кто же останется с ранеными. Найти подходящую кандидатуру было нелегко: это должен быть человек энергичный и находчивый, хорошо знающий город, а главное — умеющий ладить с людьми. Ведь ему предстояло заручиться поддержкой местных жителей. Между тем фронтовики, которые смело сражаются в бою, бывают подчас излишне прямолинейны. Да и в город многие из них попали впервые. Никто не решался взять на себя ответственность за раненых в этом превращенном в развалины районе, откуда все бежали и где можно было ждать встречи с врагом.

— Прошу оставить меня... — раздался вдруг несмелый голос.

Это была Чанг. Девушка заговорила робко и неуверенно. Казалось, она боится, что ее просьба будет отвергнута и она получит вдобавок

замечание за легкомыслие, потому что ее обязанности проводника очень важны. Мне вспомнились рассказы о том, что в прошлом году некоторые отряды сбились с пути во время марша, а другие атаковали по ошибке совсем не те объекты, какие надо было.

— ...Я вполне справлюсь одна, — закончила Чанг. — Не нужно отвлекать других бойцов. Что же касается обязанностей проводника, то теперь в наши ряды влились горожане, не одна я знаю город.

Девушка глянула при этих словах на меня, потом снова перевела взгляд на командиров, которые начали вполголоса переговариваться. Меня охватило сильное волнение. В эту минуту Чанг была совершенно не похожа на энергичную и решительную связную, которая умела заставить подчиняться себе. Я догадывался, кого она имела в виду, говоря о новом проводнике. Конечно, город мне знаком, но стать проводником — такая ответственность! Я смотрел на Чанг, Нама, комиссара и других командиров, не смея ничего сказать. Батальонный комиссар повернулся и о чем-то спросил у нашего ротного. Тот утвердительно кивнул головой, тогда комиссар встал и объявил, что просьба Чанг удовлетворена, командование уверено, что и она, и раненые бойцы вполне справятся с поставленной задачей. Затем он закрыл собрание и подозвал меня:

— Отправляйтесь в распоряжение батальона!

— Слушаюсь.

— Перед этим можете зайти к себе в роту. Вечером выступаем, будете указывать дорогу. Вы ведь хорошо знаете город?

— Так точно.

Комиссар и командиры вышли из дома первыми. За ними последовали легкораненые, чтобы разойтись по подразделениям. Тяжелораненым предстояло провести ночь в этом доме. Я мог бы и не заходить в роту: оружие было при мне, одежда — тоже, но подумал, что надо бы попрощаться с Намом и другими товарищами. Пока я стоял около Кана, Чанг разговаривала с другими ранеными.

— Ну, ступай, веди батальон, да смотри не зевай, гляди в оба! — с улыбкой напутствовал меня Кан.

Я тоже улыбнулся в ответ, не зная, что сказать на прощанье.

Я стоял в нерешительности, и в этот момент Чанг повернулась и увидела меня:

— А, ты еще здесь? — Потом она обратилась к раненым: — Побудьте пока одни, я схожу в батальон и сразу же вернусь. Идем, — добавила она, схватив меня за руку.

Вместе мы двинулись к выходу из этого громадного, непривычно

роскошного дома.

— Ты тоже хотел просить, чтобы тебя оставили с ранеными? — спросила она. (И вправду у меня была такая мысль, но я не решился высказать ее вслух.) — Хватит и меня одной, сейчас каждый человек на счету.

Мы вышли на улицу. Она была пустынна, бойцы успели разойтись. Косые лучи заходящего солнца заливали теплым светом мостовую, стены и крыши домов. Мне вдруг показалось, что я вижу все это в первый раз, а прежде никогда не обращал внимания, замечая только прохожих, автомобили и магазины. Улица показалась чужой и непривычной. Кругом царило безмолвие. Звуки стрельбы, гул реактивных самолетов были едва слышны, будто война шла где-то далеко, в другом времени и пространстве. Странное ощущение охватило меня. Мы сошли с террасы на тротуар. Чанг с улыбкой повернулась ко мне, лицо ее тоже было освещено солнцем, а мысли, казалось, блуждают где-то вдали.

— В роту пойдешь или показать тебе сперва дорогу в батальон?

Я молчал и по-прежнему шел за ней, не зная, что ответить.

— Что тебе сказала мать, когда ты вернулся и узнал, что я от вас ушла? — вдруг спросила Чанг. — Наверное, что я вернулась на родину в Тайнинь? А ведь было совсем не так! Просто я растерялась и не знала, что делать. У себя в провинции ничего не боялась, а здесь... Это уже позднее я привыкла работать со студентами, преподавателями, врачами, бывать в семьях, похожих на вашу семью. А у вас даже боялась рот раскрыть, где уж тут явку организовывать. Руководство это понимало, поэтому меня перебросили в Чотьек в семью торговца, чтобы привыкала к новым условиям постепенно. Но матери твоей пришлось сказать, что я возвращаюсь в Тайнинь.

Я шагал рядом с ней по пустынной улице, слушал рассказ и машинально отмечал приметы пути. Меня охватило странное чувство, будто мы идем вместе куда-то далекодалеко. В голосе девушки появились смешливые нотки:

— Помнишь тот день, когда я плакала? Это я от злости! В другое время никто не заставит меня хотя бы слезинку уронить. И злилась я вовсе не на эту противную торговку или на тетушку Хай, которая стала ей поддакивать. Обидно стало, что возможна такая несправедливость. Ведь ради людей стараешься, мечтаешь, чтобы все стали свободными, а люди как с тобой поступают? И не какие-нибудь мироеды, а тетушка Хай. Она ведь сама беднячка, знает, почем фунт лиха. На такую и сердиться долго нельзя. Когда будем возвращаться, хорошо бы ее навестить. — Девушка

замедлила шаг. — В Чотьеке и Футхо я устраивала явки. Как взялась за работу, сразу почувствовала себя увереннее. А первые дни в вашем доме даже заснуть не могла, все тревожилась, что не выполню задание. Задремлешь, бывало, и приснится, что наши вступают в город. Проснешься — никого нет!

Чанг остановилась и указала рукой на один из домов, возле которого виднелось много бойцов:

— Штаб батальона там, в доме номер восемьдесят четыре. А мне теперь сюда, — она указала на проход между домами, — увидимся еще, наверное?

Она двинулась было прочь, но тотчас остановилась и снова обернулась ко мне.

— Чуть не забыла! Встретишься с семьей — передай всем привет от меня!

Девушка уходила, а я стоял и ошеломленно глядел ей вслед, стараясь разобраться в своих мыслях и чувствах. Как много нового я узнал и понял за сегодняшний вечер, сколько раз терялся и молчал, не находя слов. Мне предстояло еще о многом подумать и многое понять, но одно было ясно: я навеки связан со своими товарищами по оружию, с делом, которому мы вместе служим.

Перевод с вьетнамского И. Быстрова

Нгуен Кхай

Как и многие другие его товарищи по перу, Нгуен Кхай — участник войны Соппротивления. Он родился в 1930 году. Следовательно, в войну вступил юношей, что вообще-то было распространенным явлением во Вьетнаме. Молодежь, в том числе и студенческая, в массе своей шла под знамена национально-освободительной борьбы. Французских колонизаторов, потерпевших полный провал в битве при Дьенбьенфу, впоследствии сменили американские агрессоры.

Нгуен Кхай — сын своего народа, ему знакомы автомат и перо художника. В повестях «Надо идти дальше», «Конфликт», в рассказах и очерках, составивших несколько книг, он отразил важнейшие события освободительной войны своего народа, показывая героев фронта и тыла. Все его произведения пронизаны святой верой в правое дело вьетнамских патриотов, которые сражались со специально отоброулизованной армией США.

Война войной, и сколько бы она ни длилась, а все равно поле брани уступит мирному рисовому полю! Солдат, сделав последний выстрел из автомата, вернется в родную деревню, где его ждут, ибо главное назначение человека — мирный, созидательный труд. В своем творчестве Нгуен Кхай в самых различных вариантах разрабатывает излюбленную сюжетную линию: деревенский подросток пошел в сражающийся отряд, а потом снова возвращается в родные места. Таков жизненный круг, обусловленный обстановкой: солдат и пахарь, винтовка и плуг, офицер и председатель крестьянского кооператива. Смена рода деятельности по велению сердца вьетнамского патриота.

Для вдумчивого литератора такие перипетии в судьбах миллионов людей дают богатый материал для создания взволнованных произведений, отражающих стремительную поступь его народа. Как человек, своими глазами видевший результаты опустошительной войны, Нгуен Кхай с особой любовью изображает мирный деревенский труд. В ряду именно таких произведений стоит и рассказ «На уборке арахиса».

Как и многие другие рассказы Нгуен Кхая, он отмечен простотой и величием повседневного крестьянского труда. Писатель-воин не забывает вмонтировать в повествование типично военные приметы: здесь фигурируют и белые занавески из парашютного шелка в хижине из бамбука, и колыбель ребенка, сплетенная из парашютных строп...

Вьетнамский народ во всем мире прославился как народ-воин, не дрогнувший перед ордами Пентагона, отстаивший свою свободу и независимость. Нгуен Кхай с вполне понятной симпатией показывает мирные будни своего народа — ярко и художественно достоверно.

Н. Хохлов

На уборке арахиса

Плانتации арахиса тянутся от поселка до самых джунглей, до гор, которыми славится провинция Хонгкум. Бескрайнее, спокойное и зеленое море арахиса и полевого шафрана, и только кое-где виднеются желто-коричневые полосы — это корзины для сбора орехов, вложенные одна в другую. И тут же стоят молотилки и веялки с ножным приводом.

Больше всего народу толпится возле грохочущих машин. Со всех сторон люди тащат на носилках охапки вырванных растений, сваливают их в кучи около молотилок, подбирают рассыпавшиеся по земле орехи. Сидящие за машиной рабочие крутят ногами педали, приводя в движение барабаны молотилок, хватают арахисовые кусты, встряхивают и суют в барабан. Шипы отделяют орехи от корневища, и они, покружившись в барабане, скатываются на землю, где растет горка арахиса.

От влажного запаха только что вырванных из земли стеблей воздух после прошедшего ночью ливня словно бы напоен густым благоуханием арахиса.

Рубахи на людях, мокрые от пота, плотно облегают тела, резче подчеркивая напряжение мускулов.

На одной машине трудится сразу шесть человек, а на второй — всего двое: Хуан из первой бригады и Дао из четвертой. Их в шутку уже кличут «женихом и невестой», хотя двух таких разных людей трудно подыскать. Хуан молодой, статный, красивый парень, которому еще нет и двадцати пяти. Светло-карие глаза его скрыты черными густыми ресницами, и над ними вразлет черные брови. Он уже побывал в армии, мальчишкой ушел на войну, теперь — член Союза молодежи. Толстуха Дао выделяется среди других женщин. Достаточно раз увидеть Дао, и внешность ее запомнится навсегда: в узких щелочках хитро поблескивают глазки; живой, острый взгляд, выдающиеся скулы, неровные зубы и озорная улыбка, как у человека, привыкшего шутить и смеяться. Неправильные черты ее грубоватого лица, скрытого сейчас плотно повязанным клетчатым платком,

производят впечатление надменности. Рядом со стройным высоким Хуаном Дао выглядит некрасивой коротышкой. Хотя у нее и крепкие ноги, она едва поспевает за юношей, который вовсю крутит педали своими длинными мускулистыми ногами. Но Дао, как ей ни трудно, старается ни в чем не уступать напарнику.

— Ты, кажется, порядком притомилась, — сказал Хуан, глядя на женщину, которая не успевала кидать стебли в барабан молотилки.

В ответ Дао метнула на него сердитый взгляд.

— Если устал, то сам и отдыхай!..

Хуан рассмеялся, обнажив два ряда белоснежных зубов.

— Смотри, как знаешь! Я ведь тебя не неволю, — произнес он весело и еще энергичнее стал крутить педали. Барабан стремительно завертелся, и орехи, освободившись от корней, так и выскакивали, скатываясь по краям кучи.

Хотя Дао и впрямь устала, в глазах ее светился вызов.

Настало время перерыва, и Хуан отошел в сторонку. Но Дао из упрямства все совала стебли в барабан, продолжая крутить педали.

— Ну, что, молодежь, отстаете?! Перерыва еще не успели объявить, они уже обрадовались! Ишь разлеглись...

Проходивший мимо бригадир Лам, поглядев на Дар, которая стояла около молотилки гордо подбоченясь, подмигнул и с ехидцей сказал:

— Э-э, да я вижу, ты у нас вовсе не старая. У тебя все еще впереди!..

Это была обычная шутка, которую в бригаде привыкли отпускать в адрес Дао и от которой она всегда расстраивалась, будто слышала ее впервые.

— Каждому овощу свой сезон! — сердито отпарировала Дао.

Но Лам лукаво взглянул на Хуана и процедил:

— А ведь еще многие могут тобой увлечься, так что ты не унывай...

Хуан пригладил волосы и ласково поглядел на воинственную Дао. От этого взгляда на скулах женщины выступил яркий румянец и вызывающая улыбка сошла с губ. Она громко вздохнула и, приподняв куст арахиса, стала отрывать орехи один за другим.

— Вы же знаете мою историю. Каждая весна крадет у молодости еще один год... Там, на равнине, у меня был дом, была семья... — Она вдруг осеклась, поняв злую шутку Лама: он ставил на одну доску ее, самую некрасивую и уже немолодую женщину из бригады, с первым красавцем. И пожалела о своей искренности. Дао горестно вздохнула: на что она могла надеяться?..

Дао приблизилась вплотную к Хуану и, глядя ему в глаза,

продекламировала:

Букет свежих цветов стоит всего лишь донг,
А за увядший цветок отдадут и золота горсть...^[11]

Не правда ли, Хуан, бывает, и такая цена мала?..

Она стояла перед ним и говорила о чем-то. Но когда он поднял голову и, опять ласково улыбнувшись, поглядел на нее, она забыла обо всем: о своей трудной, несуразной жизни, о своем возрасте, — как будто ничего этого и не было в помине, а существует только вот эта радостная минута, и она имеет право на счастье, на любовь, как любая удачливая, молоденькая девушка...

Дао пришла в совхоз Дьенбьенфу в начале второй послевоенной весны, когда празднуют Тет^[12]. Она пришла в поисках пристанища, не зная сама, чего ищет, чего хочет, как птица, уставшая летать, как дикая лошадь после длительной, изнурительной погони. Она жаждала уйти от старой жизни, чтобы забыть все, что было до этого. А вдруг на новом месте ей улыбнется счастье? Ведь уже столько горя и столько нужды выпало на ее долю... Человеку обыкновенному суждена трудная жизнь, может быть, только красавице рок посылает еще большие тяготы, которых невозможно избежать, как расплату за красоту...

Дао родилась в Хынгиене, в безземельной семье, занимавшейся продажей лепешек из сои. Когда деревню их в сорок шестом оккупировали враги, семья Дао стала делать закваску и варить вино. Семнадцатилетнюю Дао выдали замуж, но муж попался ей никудышный, картежник и пьяница, так что они не вылезали из долгов. Потом он бросил ее и ушел на Юг, но в пятидесятом году вернулся, и они снова жили вместе. Когда сыну исполнилось два года, отец неожиданно заболел и умер, а вскоре за ним последовал и мальчик. Дао осталась одна-одинешенька на свете. С коромыслом через плечо стала она ходить из деревни в деревню, из села в село, торговала птицей, фруктами, овощами, лечебными травами. Она возвращалась к себе в деревню, когда поспевали плоды на фруктовых деревьях, а после сбора урожая опять уходила в Хонгай, в Камфу, в Лаокай или даже в Ханой. Летом на ней была латаная-перелатаная коричневая одежонка, давно уже выгоревшая, зимой добавлялась накидка на ватине. Нигде долго не задерживалась Дао, в дождь, в зной брела она по бесконечным дорогам страны. В любом доме она находила приют, а когда ее сваливала болезнь, то отлеживалась у каких-либо знакомых. Скитания

изменили Дао до неузнаваемости. Красивые волосы потеряли прежний блеск, стали редкими и сухими, зубы испортились, утратив блеск черного лака^[13], и, глядя на себя в зеркало, женщина замечала на лице своем печать жестокости и озлобления. Иногда она подумывала о возвращении в деревню, но там уже родных не осталось. И она продолжала бродяжничать, проклиная свою суровую, горькую долю. Не сладка жизнь одинокой женщины. И Дао ненавидела эту жизнь, завидовала чужой судьбе, всем тем, у кого есть постоянный кров над головой. Может быть, именно поэтому она пришла в далекий горный поселок, куда крестьяне ехали добровольцами, и попросилась на работу.

Еще и месяца не прошло, как она обосновалась в этой бригаде. С людьми она не успела познакомиться, и только с Хуаном сумела сблизиться, совсем случайно. Как-то вечером она шла мимо мужского общежития и увидела юношу, рисовавшего стенную газету. Она долго стояла, уперев руки в бока, и разглядывала рисунок, потом похвалила:

— Здорово рисуешь!

Хуан улыбнулся и сказал, словно бы в шутку:

— Может, у тебя найдется стихотворение для газеты?

— А когда тебе нужно? — спросила она, ничуть не растерявшись.

«Да я вижу, она понимает толк в шутке». И сказал:

— Только учти, стихотворение должно быть интересным.

— Не волнуйся, у меня такие вещи получаются хорошо.

Она с детства любила стихи, помнила на память многие стихотворения старых поэтов, песни, поговорки. И в разговоре любила подпустить звонкую рифму, вставить строчку из какого-нибудь известного стихотворения.

Уже к вечеру она принесла Хуану стихотворение: «Дорога, ведущая в совхоз «Дьенбьенфу», и многие подходили к газете, чтобы вслух почитать стихи Дао. Вот тогда-то и пустили про них шутливое прозвище «жених и невеста». Дао понимала, что люди просто подсмеиваются над нею. Хотя Дао исполнилось всего только двадцать восемь, она выглядела лет на десять старше Хуана. К тому же у него была любимая девушка... Да и кто из молодых парней теперь может позариться на вдову?.. И все-таки каждый раз, работая бок о бок с Хуаном, Дао любовалась его складной, красивой фигурой, его уверенными, сильными движениями, и в душе ее рождалась мечта о семейном счастье, желание любви, вера в будущее.

Солнце давно уже село. Жемчужно-серебристые облака, поднимавшиеся из-за гор с четырех сторон, уже окрасились в багряные, темно-сиреневые тона, а небо постепенно теряло свою яркую синеву, становясь блеклым и прозрачным. У женского общежития мерцали гирлянды желтоватых лампочек, обрамляя дверные проемы, и от их света улица казалась городской, хотя домов в поселке было не так уж много. Политзанятия сегодня отменили, потому что преподаватель уехал в Ханой сдавать вступительные экзамены в институт сельского и лесного хозяйства. В общежитии стоял веселый гул. Дао сидела в задумчивости. На гуляние она идти не собиралась. Из головы не выходило письмо, которое она получила от бывшего младшего лейтенанта, который теперь служил начальником печи по обжигу кирпича. С ним она была едва знакома, и вдруг от него письмо с предложением. Когда она прочла первые строчки, то, решив, что это очередная шутка, ужасно обиделась и рассердилась. Но чем дальше читала письмо, тем теплее становилось у нее на сердце, тем безудержнее была радость, захлестывавшая ее душу. Вот так бывает, когда на сухие, истомившиеся от засухи поля вдруг прольется благодатный дождь и напоит исстрадавшуюся землю. Еще ни разу никто не говорил ей таких слов, не называл своим счастьем, не предлагал дружбы и любви. Ей хотелось смеяться, и слезы счастья готовы были пролиться, когда она вспомнила строки письма, казавшиеся ей самой нежной, самой божественной музыкой. О небо, чему же она обязана таким счастьем? Ведь она почти не знала этого человека. Как же назовет она его своим мужем? Как она будет к нему относиться? И как теперь ей поступить: спуститься к нему в долину или же он поднимется сюда, в горы? И тут же она упрекнула себя: «Господи, еще ничего не решено, а ты думаешь о всяких пустяках!..»

Ее кровать стояла рядом с кроватью Зуэ, между ними — лишь маленький бамбуковый столик.

Зуэ, совсем молоденькая девушка, родом из предместья Ханоя, пришла в бригаду вместе с Дао, в праздник Тет. Она сидела на кровати и с серьезным видом разглядывала родинку на виске. Потом провела ладонями по лицу и каким-то странным голосом спросила, обращаясь к Дао:

— Ты разве не идешь на гулянье?

Соседка посмотрела на круглые девчачьи глаза с редкими ресничками, на две тоненькие косички, в которые были вплетены красные нити, и шепотом произнесла:

— А он сейчас появится.

Зуэ опустила глаза, посмотрела на свои ладошки и, помолчав, сказала:

— Ну и пусть... Пусть все идет само собою. Я не желаю даже думать об этом.

Она улыбнулась уголками губ и медленно покачала головой, потом взглянула на дверь. Там стоял Хуан, держа в руке свирель. Он поздоровался со всеми и присел на кровать Дао. Потом спросил Зуэ неестественным тоном:

— Ну как, споем сегодня «Песню о провинции Тэйбак»?

Зуэ покачала головой, и косички на ее спине упрямо запрыгали.

— Не выучила слова?

— Нет, даже не начинала.

— Да, они немного трудноваты.

— И вообще я не умею петь.

— Почему же, вчера у тебя очень неплохо получалось, надо еще потренироваться.

Зуэ тяжело вздохнула:

— Никогда я не научусь хорошо петь.

Хуан привычным жестом провел ладонью по волосам и поглядел на девушку. В глазах его уже не было прежней улыбки, на губах застыла суровая усмешка.

— Ты сердишься на меня?

— С чего ты взял! Чего мне на тебя сердиться?

Хуан вздохнул, взглянул на Дао и произнес:

— Вижу, и ты сегодня не идешь на гуляние, будешь в одиночестве грустить.

Дао метнула сердитый взгляд на Зуэ и резким шепотом ответила:

— Когда грустно, то грустно даже в компании веселых, когда весело, то весело и одному в горах.

Когда она повернулась, чтобы поглядеть на Хуана, того уже след простыл.

* * *

Юноша не пошел домой, а поднялся к помосту, где был сложен горный бамбук. Он залез наверх, уселся поудобней и, глядя на покрытую

туманом далекую долину, на низкое ночное звездное небо, стал думать о Зуэ: «Почему наша любовь, только что родившаяся, уже угасает? Что случилось? Ведь после первой встречи с этой хрупкой, застенчивой девушкой мне казалось, что судьба нас связала крепкой нитью, навечно...» Стремительный, беспокойный, полный юношеского задора и горячности, Хуан так дополнял бы боязливую робость Зуэ. Он, такой сильный, смог бы стать надежной опорой неопытной девушке, только вступающей в жизнь. Но почему же он тогда молчит, не спрашивает ее о главном?

В душе его крепло чувство ответственности за того человека, которого он любит, — он мечтал взять любимую на руки и нести ее по дороге жизни...

Вдоль зубчатой кромки хребта Фухонг медленно плывет желтоватый диск луны. Светлые, редкие облака несутся по небу, пропуская сквозь себя серебристые нити лунного света. И вокруг тишина. Таинственно-романтическая картина ночного пейзажа была особенно созвучна его душевному настрою. Он поднес свирель к губам и заиграл свою любимую «Песню о Тэйбаке». Он не очень любил петь: слова тех песен, которые знал, не нравились ему. Но «Песню о Тэйбаке», о том крае, где он воевал, где все напоминало ему о днях боевой молодости, о походах и победах в те славные годы Сопротивления, Хуан очень любил. Когда он начинал играть эту мелодию, он словно забывал обо всем на свете. Нежные звуки лились протяжно, поднимаясь к небу, и прошлое вставало перед ним во всей неповторимости, во всей героической своей красоте, — вот какая сила была заключена в этой мелодии.

За горными, лесистыми хребтами совсем недалеко начиналась территория Лаоса. Он глядел в ту сторону и вспоминал, как воевал в отрядах лаосского Сопротивления, вспоминал трудную жизнь в горах, ночные холода, от которых никуда не укрыться, пронизывающий до мозга костей ветер...

Он думал об этой земле, где теперь раскинулись совхозные угодья, о земле Дьенбьенфу, где была вырвана победа над врагами. А ведь совсем еще недавно на этих полях и горных склонах, поросших бурьяном, вились проволочные заграждения, везде тянулись окопы, землянки и ходы сообщений, и всюду минные поля, невзорвавшиеся бомбы, снаряды и мины. То тут, то там люди натывались на человеческие останки, ржавые каски и лопаты, и везде металл, страшный металл войны, и всюду живая память о героях недавних боев.

Не один месяц крестьянам пришлось расчищать поля от мин и снарядов, засыпать траншеи и воронки. А сколько народу погибло, сколько

было покалечено на расчистке бывших полей сражений, сколько людей заболело от жары, от лихорадки, от недоедания...

Но вот пришла вторая послевоенная весна, и щедрая зелень закрыла изуродованный лик земли: весело тянули свои зеленые побеги прорастающие боры кукуруза и арахис, нежно-зеленый цвет рисовой рассады радовал глаз и вселял надежду на обильный урожай. В поселках, на окнах домов весело полоскались белые занавески из парашютного шелка; на бамбуковой изгороди алели цветы вьюнков; мимо террас, важно гогоча, шествовали, переваливаясь, утки и гуси; звонко шагали в деревянных сандалиях вечно спешащие девушки; изредка навстречу им попадались грузно плывущие беременные женщины. К вечеру в комнатах зажигались лампы с зелеными абажурами, и над поселком стелился сизый табачный дым, — значит, семья уже вся в сборе. За домами шелестели своими огромными листьями-опахалами бананы, золотистые купы папайи. И отовсюду раздавался громкий смех, веселая перебранка, глухой, быстрый шепот, истошный детский плач — все это нескончаемым гулом несло вверх, в небо, чтобы там раствориться в ночной тишине.

Люди жили, работали, любили и ненавидели, приносили друг другу счастье и горе. Люди думали и переживали, надеялись на лучшее и радовались, печалились и огорчались. Но самое главное, в эти края, где совсем недавно гремели бои и гибли люди, вернулась мирная жизнь. Жизнь пока еще трудная, забирающая у людей последние силы, но не способная отнять веру в будущее, непреклонное мужество и жажду счастья.

Возвращаясь по вечерам с работы, Хуан непременно купался в речке Намжон, и прохладная вода освежала разгоряченное после трудового дня мускулистое тело юноши, ласкало его, и ему казалось, что время не властно над ним: он всегда останется таким же могучего сложения богатырем. Но война, лишения, что испытал он в боях, глубокие шрамы от ран, болезненная бледность от постоянного недоедания, от непосильной работы — все это накладывало отпечаток и на облик его, и на красивое юное лицо. И только черные блестящие волосы, весело сверкающие глаза да белоснежные зубы не потеряли своей первозданной красоты. Сидя рядом с Зуэ, Хуан понимал, что многое в нем переменялось. Пропала юношеская беспечность, появилась та самая взрослая ответственность за все, что происходит в этой жизни, ответственность за свои поступки, за жизни людей, что трудятся рядом, жажда самопожертвования во имя счастья твоих товарищей, которые идут с тобою по трудной дороге жизни.

Хуан перестал играть на свирели и прислушался: кто-то подходил к

нему; под неуверенными шагами слышалось легкое потрескивание арахисовой кожуры. Теперь он разглядел силуэт женщины небольшого роста, в белой кофточке, полы которой трепетали на ветру. «Кто же это может быть? — не успел подумать Хуан и тут же узнал: — Ну, конечно, это Дао! — От досады он даже соскочил с бамбукового настила. — Только ее еще не хватало! Зачем ищет меня?»

Он сердито глядел на непрошеную гостью, не зная, какими словами ее встретить.

— Это ты играл на свирели? Мне так понравилась твоя песня!

Хуан понял, что звуки свирели указали Дао дорогу. Женщина стояла потупя взор, не зная, о чем говорить дальше. Начав с комплимента, она замолчала в нерешительности, оперевшись на бамбуковую перекладину. Голос ее звучал так искренне, и вместе с тем в нем слышалась горечь сомнения.

— Я хочу с тобой откровенно поговорить, Хуан...

Юноша страшно смутился: «Вот уж глупо получается!..

И зачем этот пустой, никчемный разговор!..» Он стоял, понутив голову, и молчал.

— Ты ведь знаешь Зиу? — спросила Дао.

— Ну этого, который начальник печи по обжигу кирпича? Ты про него? Знаю, а что?

Голос Дао был робкий и просительный, вовсе не похожий на тот, когда она шутит в поле.

— Зиу прислал мне письмо: предлагает выйти за него замуж. А я не знаю, что и подумать. Как ему ответить. Ты о нем как думаешь: хороший он человек?

«Ну это другое дело, — с облегчением вздохнул Хуан. — Ведь Дао пришла ко мне первому, чтобы поделиться своей новостью и попросить совета... Да, но что ей сказать? Ведь это значит, что я должен взять ответственность за судьбу человека, которому искренне симпатизирую. Что же мне ответить?..»

Дао подошла к нему еще ближе.

— Я вижу, что он вроде бы хороший человек, откровенный... Я его уважаю, он меня тоже должен уважать... Никому неохота коротать жизнь в одиночестве... Каждый мечтает о родном угле... Знаешь, я долго раздумывала над этим и, пожалуй, не уйду в долину. Лучше останусь здесь, вместе с вами... Как считаешь, я правильно решила?

Отчим краем ее была провинция Хынгиен, а теперь она решила обрести новую родину, здесь, в горном краю Хонгкума. И счастье, которое

потеряла в восемнадцать лет, она хочет обрести здесь, где война оставила самые страшные рубцы на земле!..

Ведь даже свадебные подарки здесь связаны с войной: люди дарили вазы для цветов, сделанные из гильзы снаряда, или же бомбовый запал для хранения брачного свидетельства и метрики о рождении детей, а из парашютных строп, найденных в лесу, плели колыбели для младенцев. Новая жизнь возрождалась на земле, узнавшей тысячи смертей, на земле, принявшей в свое лоно тысячи погибших. И счастье давало всходы на полях, удобренных кровью и потом, страданиями и лишениями. Так какой же должна быть жизнь в этих краях? Каким должно быть счастье на этой земле?..

* * *

Холодный ветер примял траву, раскидал по полю кучи арахисовых стеблей. Время уборки уже подходило к концу. По узким тропинкам, оставляя за собой клубы пыли, люди тащили носилки с орехами и ссыпали их около амбаров. Тут и там мелькали клетчатые платки женщин.

Хуан и Дао работали, как всегда, в паре. Дао, конечно, трудно угнаться за Хуаном, и порою она кричит на него:

— Ты, изверг, не можешь бегать помедленнее? Сил нет за тобою угнаться.

Хуан придержал шаг и громко произнес:

— Какой нынче прохладный ветер. В этом году ветры дуют не со стороны Лаоса, вот тогда жарница!..

Дао немного отдышалась и вместо ответа запела:

Ласковый ветер приносит январь,
Северный ветер пригонит февраль,
В марте с Востока ветры приходят,
Ветры в апреле вокруг пагоды бродят,
В дверь постучатся и мимо промчатся,
Майские ветры приходят с громами,
В июне ливнями хлынут с небес,
В июле спокойно гуляют над нами,
В августе треплют в поле посев...

В утренний перерыв все собрались вокруг корзины с вареным арахисом. Люди доставали орехи, лущили и с аппетитом уплетали арахис.

Бригадир Лам, как всегда, хитро поглядел на Дао и сказал:

— Когда ты соберешься на равнину, не забудь предупредить, у меня есть кое-какие поручения.

Дао презрительно сощурила глаза и скорчила гримасу:

— Так и дождешься! После дождичка в четверг!..

— Поглядите-ка на нее, — рассмеялся Лам. — Выходит, тебе здесь понравилось. Вот уж не ожидал.

В это время из толпы людей вышел Хуан и стал расхаживать по кругу, церемонно раскланиваясь с каждым; свою головную повязку он лихо сдвинул набекрень. Глаза его встретились с глазами Дао, которые словно бы говорили ему: «Ишь озорник, сейчас опять какой-нибудь номер выкинешь!»

Хуан изобразил на лице своем торжественную мину, встал в позу, подбоченясь, — так обычно делала Дао, когда хотела кому-нибудь ответить на дерзость, — и склонился в церемонном поклоне, словно артист классического театра перед спектаклем. Люди оживились, стали кружком собираться вокруг Хуана, зная, что сейчас начнется представление. Как раз в этот момент появилась Зуэ с корзиной в руках. Она поставила корзину на землю и стала протискиваться через толпу в первые ряды. Люди уступали ей дорогу, понимая улыбаясь, ведь все считали ее невестой Хуана.

Всегда застенчивый и сдержанный Хуан при большом скоплении народа становился смелым, ловким, остроумным. Он знал, что люди всегда оценят его шутку по достоинству. Увидев, что Зуэ неотрывно смотрит на него, он чопорно присел перед нею, растопырив подол рубахи. Собравшиеся захлопали, подбадривая юношу.

О боги мои, милосердные боги!
Молю, помогите супруге моей:
В жизни она не знает тревоги,
Ей на гулянье поспеть бы скорей.

Ей никогда не наскучит веселье,
Толстой, ленивой супруге моей.
В поле работа? Нет, лучше безделье!
Клячи не сыщешь упорней и злей...

Коли ума своего не хватает,
Не худо чужого порой признаться.
Жена на базаре за двоих уминает,
Муж дома голодный страдает опять.

Когда полевая страда наступает,
Ломота в руках и болит голова,
Лежит на постели, совсем помирает, —
О боги, за что мне такая судьба?..

Зуэ полюбила Хуана за веселый нрав, за его ласковые, зовущие глаза. Вот таким он был и теперь, когда потешал народ своими веселыми частушками. Девушке приглянулась его статная фигура, нравился его красиво очерченный рот и белозубая улыбка. Она с удовольствием беседовала с ним, видела, что он готов понять человека, подбодрить его в трудную минуту, помочь советом или делом. Но кроме этих черт, которые были видны каждому, девушка не сумела разглядеть других, скрытых в глубине его души, — ни самоотверженной доброты его, ни зрелости и твердости характера, в которых она так нуждалась, совсем еще девочка, только вступившая на самостоятельный путь. Может быть, и чувства ее к Хуану были поверхностны. Это еще не была настоящая любовь. Иной раз Зуэ казалось, что она и впрямь любит его, а потом ее начинали одолевать сомнения: «А может ли он составить мое счастье? Вдруг мне встретится другой, более достойный?..» Бедная девушка жаждала счастья и покоя, — она выросла в семье без отца и в детстве натерпелась вдоволь горя от своего отчима, который не любил и всячески притеснял ее. Может быть, потому она так ждала счастья и боялась будущего, мечтая найти человека, который станет верной опорой в ее жизни.

В производственной бригаде был еще один молодой человек, с которым Зуэ не раз беседовала. Его звали Хао. Он был на несколько лет моложе Хуана, некогда учительствовал в школе, а теперь готовился к поступлению в институт. Сейчас Хао — простой рабочий, а через несколько лет будет агрономом, а может быть, и руководящим работником. Правда, в Хао девушке не нравилась его осторожность: он вроде бы и не прочь был дружить с нею, но, с другой стороны, старался встречаться с нею тайком, чтобы никто их вместе не видел, да и в разговоре как-то проговорился, что о женитьбе не может быть и речи, коли сейчас он

собирается в институт. Надо подождать, пока закончит... Ну да, сиди, жди три года, а он к тому времени встретит другую, и красивее, и образованнее...

Хуан еще расхаживал по кругу, распевая свои песенки. Люди покатывались от смеха, но лицо Хуана было невозмутимо серьезным, как у заправского артиста.

Лам повернулся в сторону Дао и не утерпел, чтобы не крикнуть:

— Ну точно, наша Дао! Не иначе как про нее!..

В другой раз Дао не осталась бы в долгу и нашла, что ответить бригадиру Ламу, который вечно задирает ее. Но сегодня она была в благодушном настроении и готова была простить любую шутку. Ведь люди знали, что она работает не за страх, а за совесть. И она любила этих людей, с которыми ей вместе приходится трудиться, которые заботятся и о ней, и о ее счастье. И еще сегодня было так радостно у нее на душе: она любила свою трудную работу, любила эту землю, ставшую для нее родной, и это горное небо, такое близкое над головой. Пусть смеются! Она скоро выйдет замуж, у нее будут дети. И они вырастут здесь, в этом краю, они будут жить вместе с другими ребятами, которые еще не родились, но которые будут им хорошими друзьями. Может, потом, через многие годы, ее дети поедут в Ханой учиться, но они все равно вернуться сюда. И будут жить и трудиться здесь. И появятся внуки. И одно поколение будет сменять другое...

Зуэ сидела на крышке молотилки и от радости болтала ногами, косички ее так и подпрыгивали на спине. Она даже не слышала слов песни, любуясь Хуаном. Но стоило ему повернуть голову в ее сторону и поглядеть на нее пристально, как она опускала голову и чувствовала, как горят у нее щеки и уши.

А Хуан продолжал свою песню:

О боги мои, милосердные боги!
Молю, помогите супруге моей:
Едва появилась она на пороге,
Как счастье бежало от наших дверей.

Вот рис она варит, а он подгорает,
Кунжут станет жарить, его подожжет,
Жена все толстеет, а муж все тощает,
Жена все жует, и жует, и жует.

Вот и кончилась уборка.

В субботу вечером в квартире супругов Лам, в общежитии для семейных, собралось полным-полно народу. Люди сидели на низких бамбуковых топчанах вокруг маленьких столиков. В площадках — всевозможные сладости: засахаренный арахис, кунжут, сваренный на меду, пирожные из рисовой муки, в чашечках дымится свежий ароматный чай.

Хуан сидит в дальнем углу и с удовольствием маленькими глоточками отхлебывает из чашечки водку, морщась и щуря глаза. Рядом с ним примостился Ло, тракторист, только сегодня прибывший в шестую бригаду, чтобы перепахать арахисовое поле и подготовить его под осеннюю посадку кукурузы. Все помещение наполнено клубами дыма, потому что мужчины курят, не переставая, одну сигарету за другой.

Кто-то предложил, чтобы жена бригадира Лама, Лыу, спела, ведь она раньше занималась в хоровом кружке. Но та уперлась и ни на какие уговоры не поддавалась. Потом Лыу все-таки спела две строчки из какой-то народной песни, а потом прыснула от смеха, и на том дело кончилось.

Как раз в это время появились Дао и Зуэ, они в нерешительности остановились в дверях. Бригадир, завидев гостей, оставил приготовление чая и бросился к ним, схватил за руки и потащил в комнату. Его поддержала и Лыу, приговаривая:

— Заходи, заходи, дорогая Дао! Придет время, и мы с Ламом надеемся заглянуть к тебе, посидеть у твоего семейного очага!

Дао была одета в зеленую рубаху, в которых обычно ходят кадровые работники; волосы на голове у нее были туго скручены в тяжелый пучок. На Зуэ была розовая кофточка с распахнутым воротом, и на спине болтались две тоненькие косички.

Дао уселась у самой стенки, с улыбкой оглядела всех присутствующих. Зуэ бросила взгляд в тот угол, где находился Хуан, и присела на край топчана, повернувшись спиной к юноше. Хозяйка дома заговорила с нею, но девушка так ничего и не поняла, о чем с нею говорят, — она чувствовала на своем затылке взгляд Хуана, его нежный, зовущий взгляд, и, кажется, даже слышала его слова, жаркий страстный шепот: «Дорогая, милая моя! Верь мне, верь в себя, верь в наше общее

будущее... Наше счастье в наших руках. Ну, что с тобою? Почему ты так грустна?..» И Зуэ хотелось ответить: «Я не могу жить вдали от тебя!.. Не оставляй меня одну. Я столько пережила, я боюсь новых испытаний...»

Лыу глядела на девушку и, вдруг заметив, как та побледнела, в недоумении спросила:

— Что с тобою, тебе нехорошо?

Зуэ закрыла лицо руками и, рыдая, уткнулась в колени, затем резко выпрямилась.

— Мне лучше уйти, я и правда себя плохо чувствую.

Лам сунул ей в ладонь пару конфеток и пошутил:

— Ты, может, думаешь, мы тебя будем тоже заставлять есть, не бойся...

А глаза Хуана все смотрели на нее, будто умоляя: «Зачем ты уходишь, посиди с нами. Ведь совсем еще рано...» И она понимала его просящий взгляд, его слова, которые, казалось, сковывали ее волю, не давая сдвинуться с места. Щеки девушки пылали ярким румянцем, ей неудержимо хотелось крикнуть на всю комнату: «Я сижу здесь одна уже столько времени, а ты даже слова мне не сказал! За что ты на меня сердись?..» Но слишком много народу вокруг, чтобы позволить подобное откровение, и Зуэ, низко опустив голову, опять пролепетала:

— Простите меня, друзья, но мне лучше уйти домой.

Никто вокруг слова не промолвил, но многие про себя подумали: «Такая хорошая пара, а вот что-то не ладится у них...» И комната опять наполнилась веселым шумом, опять со всех сторон посыпались шутки.

Тракторист Ло взглядел на Дао и громко спросил:

— Слушай, а ты все держишь клятву?

— Какую клятву? — вызывающе спросила Дао, и вокруг все так и покатились от смеха.

— Ну, клятву на всю жизнь!.. — елеинным голосом добавил Ло.

Тут в разговор вмешалась Лыу, которая тоже любила пошутить:

— Дорогой Ло, когда ты в следующий раз соберешься справиться у нашей Дао о ее самочувствии, у нее уже будет ребенок!

Дао даже зарделась от смущения, а Ло, отхлебнув чаю, заметил:

— Ах, так, ну, эта история мне уже известна. Все правильно! Этот друг мне говорил, что сразу же после сбора арахиса, не так ли?

Когда женщина снова выходит замуж, то не принято тянуть с этим делом. Ведь испытывать чувства вроде бы уже и ни к чему. Но сразу после уборки арахиса? Что это вдруг за спешка?

Кажется, совсем недавно пришла Дао в эти края, совсем недавно сеяли

арахис, а сегодня уже закончили уборку, и урожай выдался богатым. Уже начали перепаживать поля под кукурузу. И вроде бы не так давно она встретилась с бывшим младшим лейтенантом, да и разговор у них был вроде бы самый пустяковый, так — ни о чем!.. А сегодня уже говорят о свадьбе, решается ее судьба. Навсегда уходят в прошлое тяжкие дни ее жизни! И та искра надежды, которая все-таки мерцала где-то далеко перед нею, — неужели ей суждено разгореться в пламя?!

Дао с благодарностью посмотрела на людей, сидевших вокруг. Она знает, эти люди могут и пошутить, и позубоскалить, и все же без них не было бы у нее счастья.

Она украдкой посмотрела на Хуана, который сидел, мрачно покуривая сигарету.

«Милый, милый Хуан! — говорит ее доверчивый, ласковый взгляд. — Я знаю, что Зуэ счастливее меня, потому что у нее будет такой муж, как ты. Я лучше знаю тебя, лучше понимаю тебя, чем она. Но я не ревную, нет. Девочка имеет право на счастье, она ведь любит тебя!.. Вот так-то. Будь смелее, дорогой!..»

Перевод с вьетнамского А. Скрыжинской

Нгуен Нгок

Партийный работник, военный корреспондент, ныне — один из руководителей Союза писателей Вьетнама — таковы служебные и биографические данные писателя Нгуен Нгока (псевдоним — Нгуен Чунг Тхань), родившегося в 1932 году. Судьба армейского пропагандиста занесла его в горные и приморские районы страны, населенные многочисленными народностями.

Вьетнам — многонациональная страна. Ее населяют лоло, мео, зао, нунги, тай, май, лао, тхо, эде, седанг, тям, кхмеры и другие народности. Колонизаторы играли на этой национальной дробности, сталкивая одну народность с другой, культивируя узкий национальный провинциализм и шовинизм различного пошиба. В ряде случаев благодаря коварной тактике «разделяй и властвуй*» колониальным властям удавалось, хотя, и ненадолго, разжечь вражду между отдельными народностями, а потом воспользоваться этим для вмешательства в их дела путем «миротворческих миссий». При этом в ход пускались и прямой шантаж, и подкупы. Ставка делалась на отсталость: грамотных людей в этих районах были единицы.

Преобразующий ветер революции властно вторгся и в эти районы. Посланец революции, офицер Народной армии Нгуен Нгок превосходно понимал свою задачу: надо было приобщить малые народности к общей борьбе, убедить их в том, что они являются полноправными гражданами единого Вьетнама. Командир подразделения Народной армии жил среди этих людей, заглядывал в их бедные хижины, беседовал с ними. Его приглашали на праздничные торжества, на свадьбы. Старики рассказывали ему легенды о далеком прошлом своего племени, о нравах и традициях, неизвестных в столице. Он внимательно слушал. Затем наступал его черед, и он, поднявшись с циновки, говорил о международном положении, о преступлениях колонизаторов, о героических подвигах вьетнамских бойцов.

Из этих наблюдений родилась повесть «Страна поднимается», удостоенная Национальной премии по литературе. Она посвящена партизанам из глухих, горных мест, влившимся во всенародный, общенациональный поток Сопротивления. Причастность автора ко всему происходящему бесспорна. По крайней мере, во многих произведениях Нгуен Нгока весьма четко проявляется судьба самого автора, разделившего судьбу своего народа.

Творчество Нгуен Нгока по достоинству оценено международной общественностью: он — лауреат премии «Лотос», учрежденной Ассоциацией афро-азиатских писателей.

Н. Хохлов

Пон

По крутой горной каменистой дороге шел в ночи одинокий конь, и стук копыт его, то приближавшийся, то вновь замиравший вдали, казался каким-то диковинным потусторонним звуком. Потом топот копыт и вовсе затих, утонув в завываниях ветра. За рекой, на горе Кхаукхактхиеу, прокричала в лесу куропатка. На востоке у самого края неба высветились вдруг беловатые пряди облаков. И лесной зверь, торопливо пожиравший в кустах задранного им козленка, вздрогнул, заворчал и тотчас исчез в чаще...

Издали послышался странный, непривычный гул, — сперва еле слышный, будто шум рисорушки в опустевшей деревне нунгов^[14], он постепенно ширился и нарастал. Но вдруг все стихло. Потом немного погода гул накатился снова на притаившуюся во тьме деревушку Далан. Теперь уже можно было расслышать яростный рев мотора поднимавшегося в гору грузовика, гудки автомобильной сирены и звонкие молодые голоса — мужские и женские, — пели по меньшей мере четыре или пять человек.

Грузовик катил уже где-то вдали, но горячее дыхание его все еще сотрясало ночное небо. Когда вернулась наконец тишина, снова стали слышны робкие голоса куропаток, подхваченные вскоре петухами в разбросанных по окрестным горам деревушках, и петушиное пение звенящей трепетной аркой перекинулось через реку.

Пон проснулся. Мать услышала, как он заворочался на своей узкой лежанке и негромко сказал:

— Мама, вы бы соснули еще... Ну чего вам вставать в такую рань? Вы и легли-то вчера поздно.

Мать ничего не ответила, но день ее уже начался. И начинался он с непредвиденных тревог и хлопот.

Пон тоже начал свой день. Он закашлялся — в зимнюю стужу его всегда мучил кашель.

— Слышали, мама, — спросил он, — как всю ночь шли машины с

лесом в Тиньтук? И новые рабочие поехали на рудник. В этакую холодину разъезжают по ночам да еще и песни поют. Ничего не скажешь — весельчаки!

Так начинались всегда их разговоры.

Потом они замолчали. И Пон услышал, как его птичка ри колотит клювом по бамбуковым прутьям клетки, требуя корма. Поскрипывали петли гамака. Слышно было жужжание насекомых за тонкой перегородкой. Буйвол сердито стучал рогами в ворота хлева. Пон любил вот так по утрам прислушаться к разноголосице пробуждающейся жизни, а после, открыв глаза, прикинуть, какие предстоят на сегодня дела. Нынче ему, к примеру, надо приладить наконец гужи к плугу, подровнять и отшлифовать обод деревянного колеса в машине для высадки рассады, не то, не ровен час, опоздаешь со сборкой; хорошо бы и ось обточить, чтоб не скрипела, терзая слух, как запряженная быками арба. И еще надо во что бы то ни стало придумать, как по-новому закрепить на оси ведущую цепь, чтобы ее не забило, как в прошлый раз, илом и глиной. Вот уж неделю он ломает над этим голову, но пока ничего не придумал.

Пон, и сам не зная еще почему, вдруг поверил: именно сегодня он покончит с этим нелегким делом. Разгоряченный таким отрадным предчувствием, он хотел было встать пораньше и приняться скорей за работу, да все лежал и лежал молча: жаль было вылезать из-под теплого одеяла, которое сшила когда-то ему в подарок Зиеу, и неохота расставаться с привычными голосами деревенского утра.

Мать тоже лежала и молчала, глядя широко открытыми глазами в не растаявшую еще темноту. Только мысли ее текли вспять, возвращаясь к давно уже прожитым дням. Ей не хотелось думать о прошлом, но прошлое каждую ночь напоминало о себе доносившимся из-за тонкой перегородки дыханием сына — то учащенным и резким, то усталым, чуть слышным. И гамак его скрипел протяжно, точь-в-точь как в ту пору, когда Пон, совсем еще младенец, пялил на белый свет свои глазенки, а голос матери, чистый и звонкий, выводил нараспев слова, внушенные якобы ей всеведущим духом, бередя сердца стольких парней из племени тай^[15], влюбленных в нее и потерявших надежду. Тогда еще жив был отец Пона, сильный и смелый, как тигр. Если уж он охотился, добычу его не снести было и четверым, а он, сам-один, нес ее на плечах с вершины Кхаукои до берега речки Далан. И, воротившись уже к ночи, прижимал сына к гулко стучавшему сердцу. Но вскоре отец Пона погиб: он утонул во время небывалого по силе и ярости паводка — так под напором бури рушится с грохотом самое высокое и могучее в лесу железное дерево. Потом тяжело

захворал Пон и после болезни ослеп; и тотчас же оборвались, словно отсеченные напрочь чьим-то безжалостным ножом, молодость матери и звонкие песни. Голова ее, как это бывает в печальных сказках, поседела за одну-единую ночь — вся до последнего волоска.

— Пон, сыночек, — спрашивала она, заливаясь слезами, — скажи, ты видишь меня?

А он, ощупывая маленькой ладошкой ее лицо, отвечал:

— Да, мама. Вот твои волосы... вот... глаза... подбородок... Не плачь, мама, я вижу тебя... я не слепой...

С тех пор как Пон этой своей простодушной ложью попытался впервые утешить мать, прошло двадцать лет. И все эти годы жили они тихо и неприметно. Пон подрастал, надежно укрытый теплыми, ласковыми материнскими ладонями от всех невзгод и превратностей жизни. Но однажды ему вдруг мучительно захотелось самому окунуться в бушевавший звуками и запахами таинственный мир. И он тайком от матери завел знакомство с соседскими девочками и мальчишками. Особенно подружился он с девочкой по имени Ием, которая каждый день выгоняла на пастбище буйволов. Пону нравился ее голос — тихий и задушевный. Ием водила его в лес и учила узнавать разные деревья. Он навсегда запомнил, как пахнет свежесрубленное железное дерево лим, горьковатый запах дуба, легкий аромат дерева вонг^[16] и пряный дух алоэ. Ием подарила ему выпавшего из гнезда птенца, которого Пон выходил и долго потом еще держал в доме. Она помогала Пону взбираться на спину буйволу, и он, бывало, с утра и до вечера лежал, растянувшись, на этой широкой покачивающейся спине, то засыпая, то жадно втягивая ноздрями терпкие и сладкие запахи лесных трав... Дружба их длилась более года. Но вот однажды, когда Ием привела его к реке поиграть с детьми, какой-то мальчишка — голос его, высокий и звонкий, Пон запомнил надолго — громко крикнул:

— Эй, братцы, вот и наш слепец с женой!

Пон, державший Ием за руку, стал озираться по сторонам, незрячие глаза его налились кровью. Он ждал, что Ием ответит обидчику, скажет хоть слово. Но она стояла молча, а потом бросила руку Пона и убежала...

Ему почудилось тогда, будто в душе его вдруг раскололось что-то вдребезги; и он кинулся со всех ног домой, спотыкаясь о камни и кочки, налетая на деревья. Он разбил в кровь ноги, упав, рассек себе лоб, но упрямо бежал дальше и дальше...

Так он забился снова в тесное кольцо материнских рук, оберегавших и согревавших его. И жизнь обоих, матери и сына, опять потекла спокойно и

неприметно и, может, кто знает, по-своему счастливо. Пон рос, окруженный непроницаемой, глухой тишиной. Правда, иногда к нему доносились со стороны призывные голоса деревьев и лесных трав — друзей, с которыми его когда-то познакомила Ием, но всякий раз давняя, неутихшая боль удерживала его дома.

Так было, покуда не появилась Зиеу...

Мать еще и теперь била дрожь при одном лишь упоминании имени Зиеу. Вот и сейчас она беспокойно заворочалась в постели, и Пон, отделенный от нее тонкой плетеной перегородкой, угадал ее мысли и сказал:

— Да, мама, письма от Зиеу все нет как нет.

Он даже разочарованно прищелкнул языком, но в голосе его уныния явно не чувствовалось.

— Раз уж она такая бездушная, — продолжал он, — бог с ней. А ведь перед отъездом обещала писать.

Мать вспомнила давнюю историю с Ием и ужаснулась. Пон закашлялся, потом отбросил прочь одеяло.

— Ладно, мама, будем вставать. Нам еще веревку вчерашнюю надо бы доплести.

— А может, поспишь немного? Встаешь ни свет ни заря, кашель вон опять начался. Нет чтоб послушать мать...

Но, само собой, она тоже встала.

Вскоре они уже сидели и плели веревку. Расплющенные стебли арундины впились в руки Пона, словно отточенные лезвия, и он время от времени слизывал с пальцев солоноватые капли крови.

Как и все слепые, Пон был удивительно догадлив.

— О чем вы задумались, мама? — спросил он вдруг.

Мать даже вздрогнула от неожиданности.

— Да ведь вы, — смеясь, объяснил он, — перепутали концы веревки.

Она промолчала. Туго натянутая веревка тихонько поскрипывала. Лишь долгое время спустя мать сказала:

— Ты уж поверь мне, сынок, Зиеу... вовсе она не добрая... Зря ты ее дожидаясь. Она ведь из киней^[17] и ни за что не останется с нами, с людьми из племени тай.

— Вот уж неправда! — звонко рассмеялся Пон, — Просто дел у нее по горло, и путь оттуда неблизкий... Да я вовсе ее и не жду...

Мать не поняла, чему он, собственно, смеялся.

Они замолчали снова. Оба думали о Зиеу, которая вторглась нежданно в их размеренную, тихую жизнь, возмутила ее и переиначила судьбу Пона.

Много воды утекло с тех пор, но Пон помнил все так ясно, словно это было только вчера...

Зиеу объявилась в малолюдной деревушке Далан неожиданно-негаданно. Мать не знала, откуда взялась эта девушка. Товарищ Лак, выходец из киней, который всю войну^[18] работал в округе Кхаукхактхиеу и часто навещался в здешние края, после заключения мира получил должность на стройке в Тиньтуке и, направляясь туда, завернул в деревушку Далан. С ним вместе пришла его младшая сестра, Зиеу. Товарищ Лак оставил сестру в доме у председателя здешней общины и договорился с хозяевами, что заберет ее к себе, как только подыщет для нее работу на руднике. Зиеу прижилась в семье председателя и вела себя во всем словно родная дочь, послушная и работающая. Она носила на коромыслах воду с крутого берега речки Далан, быстро и ловко — точь-в-точь как девушки мео^[19] — таскала на спине из леса вязанки хвороста или, закатав повыше широкие штаны, ходила за плугом по небольшим, залитым водою полям, где под раскисшей землей таились острые камни; а рушить зерно на рисорушке и толочь пестом рис в ступе она умела ничуть не хуже соседок из племени тай.

В доме у Пона стояла оставшаяся еще от отца рисорушка. Однажды Пон спросил:

— Мама, кто это ходит к нам обрушать зерно?

— Да ты все равно не знаешь, сынок, — равнодушно ответила мать.

— Кто-то чужой? А откуда?

— Не знаю... не спрашивала. Нам-то что до них, сынок.

Пон не стал ни о чем больше спрашивать, поднял белесые глаза свои и заморгал. Высокий лоб его прорезали морщины, он думал о чем-то сосредоточенно и упрямо. А после долгого молчания произнес, словно бы про себя:

— То-то я слышу, походка вроде особенная, не как у нас, у тай... — И, помолчав, добавил: — Пожалуй, чем-то напоминает Ием, когда я... Девчонка еще, а вот как управляется с жерновами... Мама, вы снова плачете, почему? Я огорчил вас?

Рисорушка стояла снаружи, под навесом, и Зиеу никогда не заходила в дом. А Пон не выходил из дому. По утрам, сидя в темной и тихой комнате, он слушал, как быстро и размеренно крутятся жернова. И на лбу у него прорезались морщины...

Но однажды Зиеу, не найдя во дворе хозяйку, распахнула обе створки двери и, увидав парня, сидевшего, словно в ожидании гостей, посреди

дома, спросила:

— Вы не разрешите мне воспользоваться рисорушкой? У меня зерна полная корзина...

Парень поднял голову. Зиеу вздрогнула: он был слепой. Неловкое молчание словно дохнуло на них зимнею стужей.

— Кто здесь? — спросил он наконец.

Круглая, гладко обструганная деревяшка, которую он держал в руках, со стуком упала на пол. Он пошарил по полу, но не нашел ее. Зиеу, переступив порог, подняла деревяшку и протянула ее слепому. Но он, не шевельнувшись, сказал:

— Нет уж, я сам виноват. Бросьте ее, прошу вас, обратно.

Голос его дрожал. Он слышал смущенное прерывистое дыхание девушки. Зиеу тоже молчала. Наклонившись, она положила деревяшку на пол, придвинув ее чуть ближе к ногам слепого. Но он даже не стал подбирать ее, а, поднявшись, вышел в соседнюю комнату. На пороге он споткнулся, но Зиеу не решилась ему помочь...

Пон опустился на свою узкую лежанку. Он думал, что услышит спустя минуту-другую шум рисорушки. Но жернова молчали. И тишину, царившую в доме, нарушало лишь дыхание девушки, слышавшееся из-за тонкой перегородки. Неясные, странные чувства овладели Поном. Ему чудился где-то рядом негромкий говор Ием, потом голос ее заглушили вроде его собственные шаги: он бежал, спотыкаясь о камни, задевая стволы и ветви деревьев, ранившие его до крови. Он слышал и щебет подаренного ему когда-то птенца, и зазывные запахи цветов, листвы, древесины. Пон с трудом перевел дух, словно пробежал без отдыха нелегкий и долгий путь. Ему показалось вдруг, будто неизвестная девушка эта знакома ему уже давным-давно, но между цветущим ее здоровьем и его увечьем чернеет бездонная пропасть, и по ту сторону пропасти находится другой, особенный мир, куда им обоим, Пону и матери, людям неприметным и слабым, нет ходу. Долго лежал он молча, весь охваченный ожиданием и в то же время готовый прогнать прочь любого, кто посмел бы войти сюда, в его комнатенку...

Вдруг он услышал, как за стеной заскрипели жернова, потом, точно дождь в листве, зашелестели зерна, падая в широкую плоскую корзину. Привычные эти звуки почему-то разбередили сердце Пона, и он почувствовал, как глаза его обожгла горечь... Когда жернова смолкли, Пон встал, добрался ощупью до двери и молча встал на пороге.

— Что, кончили? — спросил он наконец. — Жернова-то у нас старые, с первого раза зерно обдирают плохо, лучше обрушать дважды.

— Да, хорошо... А где ваша матушка?

— Мама в поле.

Они замолчали снова. Пртом Пон сказал, словно оправдываясь:

— Вы ведь давно здесь, в деревне, а к нам и не заглядываете, я и не знал...

Вот так и началось их знакомство. Он, говоря по правде, не ожидал, что слова его обернутся приглашением.

Зиеу приходила обычно в полдень, когда мать еще работала в поле. Ей нравилось сидеть рядом с Поном и глядеть, как он мастерит крохотные игрушки — жом для сахарного тростника из сердцевины кукурузы, ступу с водяным колесом из мягкого дерева вонг или кормит по зернышку свою птичку ри. Зиеу усаживалась на полено, брошенное поперек комнаты, пустой и неухоженной, где, как и во всем доме, заметно было отсутствие крепких мужских рук, и смотрела на острый ножик, проворно мелькавший в длинных тонких пальцах Пона. Из-под блестящего лезвия выходили маленькие аккуратные вещицы, а глаза Пона безучастно глядели поверх его работы, мимо сидевшей перед ним девушки, куда-то в сторону, где сгущались неясные тени. Временами она испуганно охала, а Пон, не поворачивая головы, смеялся:

— Что, боитесь, как бы я не порезался? Полно, я ведь привык.

Иногда он затевал с нею разговор о птицах:

— Птиц я люблю — страсть. Хотелось бы мне завести дрозда, его ведь можно обучить разговаривать по-человечьи. Вот была бы потеха.

— А каких вы еще знаете птиц? — подзадоривала его Зиеу.

Пон, подняв голову, погружался в раздумье. А Зиеу в душе раскаивалась: уж не обидела ли она его своим вопросом? Но Пон, подумав, отвечал ей с улыбкой:

— Каких еще птиц знаю?... Да вот: ри, горлицу... голубя, ноокзиак...

— Ноокзиак? Это что за птица?

— Не знаю, как зовется она по-вашему, а мы называем ее ноокзиак. Она большая, как ворона, объедает кукурузные початки; ее сразу признаешь по голосу: кричит «сак, сак, сак». Вредная птица!.. Да, еще знаю иволгу. Я слышал, ее со временем тоже можно выучить человеческой речи. Держал я как-то иволгу, только не стал подрезать ей крылья, а она взяла и улетела. Очень было жалко! Раньше она еще иногда подлетала к дому; покличешь ее, а она сядет где-нибудь рядышком и свистит. Да вот запропала куда-то... Все думаю, не пойти ль поискать ее...

— Жаль, у вас здесь не водится кукушка, — говорила Зиеу. — Мне она нравится. Как услышу ее голос, чудится, будто кто-то зовет меня. В

детстве, бывало, заслышу кукушку и иду... иду за нею...

Случалось, Пон подолгу молчал. В такие дни Зиеу, посидев напротив него, вдруг задавала ему какой-нибудь вовсе уж неожиданный вопрос.

— Пон, — спрашивала она, — как, по-вашему, выглядит белый цвет?

Пон опускал руки, державшие нож и деревянные, и медлил с ответом.

— Белый... Белый цвет, он вот какой... Вы видели мою птичку ри — она белая. Белый цвет, он легкий. Я вижу его, Зиеу.

Она поворачивалась к двери и глядела на птичку ри: та, прихорашиваясь, чистила черным клювом свои коричневые перышки...

— Понятно, — говорила Зиеу. — Ну, а синий?

Она и сама понимала, что, пожалуй, вопросы ее бессердечны, но неумное любопытство юности подмывало ее спрашивать снова и снова. Пон улыбался, однако, судя по всему, вопрос этот оказался труднее прежнего. Он закрыл глаза, ноздри его тревожно раздувались.

— Я так скажу, — голос его зазвенел, словно ударивший из расселины ключ, — синий цвет, он очень далекий и простирается вширь... До него дойти нелегко...

Зиеу удивилась. Теперь уж она сама замолчала надолго.

— Да я и сама толком не знаю... Я родилась у моря. А море синее-синее.

— Море, наверно, большое?

— Да, огромное...

— Огромное... это — какое?

— Ну, скажем, если идти весь день, с рассвета и до темна, до конца моря не доберешься; его не обойти и за десять дней, и даже — за сто... По морю ходят волны. Я когда была маленькая, очень любила слушать, как волны ударяют о берег. Они не умолкают ни днем, ни ночью, и кажется, будто море разговаривает с тобой...

Вечером Пон спросил у матери:

— Мама, а вы когда-нибудь видели море?

— Что, небось Зиеу родом оттуда? — встревожилась мать.

Пон не ответил ей.

— В чем дело, сынок? — Голос ее прозвучал как стон. — Что это взбрело тебе на ум?

Но Пон опять не раскрыл рта. Он думал о море, об огромном синем море, и в ушах у него звучал голос волн. Хорошо бы побывать у моря, потрогать его рукой. Зиеу говорила, будто по ее морю ходят, словно буйволы по лугу, огромные корабли; только луг этот синий, а корабли — белые и черные... Море, оно соленое... Буйволы едят траву, а корабли —

уголь, его выкапывают из-под земли...

В тот день ярко светило солнце. Пон ощупью добрал до ворот и стоял там, держась рукою за ствол сливы, которую отец посадил давным-давно, в день его рождения. Солнечные лучи, будто теплые ласковые ладони, скользили по его лицу. И в уголках его широко раскрытых глаз заблестели слезы. Впервые в жизни он плакал, ощутив свое бессилие перед пространством, доступным другим людям, обуреваемый дерзкими желаниями и мечтами.

Мать была испугана происшедшей в нем переменой. Она возвращалась теперь с поля пораньше, еще до полудня. Но Зиеу стала приходиться ближе к вечеру, когда мать уходила на базар в Ньюкхай.

Однажды Зиеу уговорила Пона пойти погулять к реке. Она вела его по узкой тропинке между скалами, и ступни Пона узнавали исхоженную им когда-то дорогу, а ноздри, раздуваясь, ловили прохладное дыхание воды. Ветерок, мягкий и шелковистый, словно крылья прыгуна-богомолы, гладил его по лицу. Он слышал звонкий голос длинноклювого зимородка и хлопанье его крыльев перед тем, как тот стрелою бросался с неба в быстрые воды реки. Пон шагал следом за Зиеу, — так когда-то он шел вместе с Ием. Шаги Зиеу были уверенными и четкими, и сам он ступал хоть и нескоро, но твердо, будто зрячий. Впервые за двадцать лет шел он вот так — спокойно и бесстрашно, чувствуя рядом локоть друга.

Ветер с реки умерял солнечный жар.

— Зиеу, а вы тепло одеты? — спросил Пон. — Не ровен час, простудитесь.

— Не волнуйтесь, — уверенно отвечала Зиеу, — я одета тепло.

Но на самом деле на ней была лишь блузка из коричневого домотканого полотна — Зиеу любила щеголять своим крепким здоровьем.

— Вот и река, — сказала она.

Они остановились.

— А знаете, Пон, — голос ее сливался с шумом воды, — река у одного берега мутная, а у другого — прозрачная. Как вы думаете, почему?

— Да неужели! — только и отвечал Пон.

— Раньше вся река была прозрачная, — с ученым видом принялась объяснять Зиеу. — Но теперь в Тиньтуке построили шахту, водой промывают руду, и река замутилась.

Пон внимательно слушал ее, и ему почудилось, будто ветер доносит до него разные запахи — чистой воды и мутной.

— Не сегодня-завтра, — продолжала Зиеу, — я уеду туда.

— Куда?

— На рудник. Вы разве не слышите: каждую ночь машины везут туда новых рабочих. Сейчас по всей стране идет строительство. В Тиньтуке, говорил мне мой брат Лак, добывают олово и даже золото.

Пон присел на гладкий валун.

— Значит, вы, Зиеу, будете золотоискателем?

— Да, по мне, и в поле работать неплохо. Просто я люблю дальние дороги, и быть шахтером, наверно, здорово. Шахтерский труд умножает богатство страны. Вот так-то.

— А рудник, он какой? — спросил Пон.

— Я еще и сама не знаю. Ну, в общем, там роют землю и поднимают на поверхность руду, потом, говорят, ее варят очень старательно, чтоб получилось олово.

— Это небось далеко?

— Да нет, вроде не очень. Поживу там, а после приеду проводить вашу матушку и вас.

Пон, пошарив рукой по земле, подобрал обкатанную круглую гальку, выпрямился и изо всех сил швырнул ее в небо.

— Вы, Зиеу, точь-в-точь как моя иволга, — весело сказал он. — Впорхнули сюда, а я не подрезал вам крылышки, и вот — улетаете от нас.

Особым женским чутьем она поняла, что в словах Пона кроется какая-то опасность. Но бьющая через край жизнерадостность и сила молодости легко одолели все ее тревоги.

— Как у вас складно и здорово вышло! — засмеялась Зиеу. — Вам, значит, хочется подрезать мне крылья?

Пон засмеялся еще громче ее, но в голосе его слышалось не веселье, а какая-то потусторонняя отрешенность человека, который уже отделен от жизни непроницаемой стеной мрака.

— Да нет, коли хочется улететь — летите, я и не думал вам подрезать крылья. Просто сказал так — для красного словца.

По извилистой тропке Зиеу свела Пона к самой воде.

— Отсюда, — сказала она, — я каждый день ношу на коромыслах воду.

Пон промолчал, и она, обернувшись, взглянула на него. Он стоял рядом, но глаза его устремлены были куда-то вдаль, словно он видел там какую-то другую, нездешнюю жизнь.

— А вы, Зиеу, очень красивая, — вдруг сказал Пон.

Зиеу, удивленная его словами, промолчала, потом заговорила, и голос ее звучал серьезней и строже:

— Да вы ведь и не видали меня, я — сущая уродина.

Пон изменился в лице:

— Нет, уродство — оно мертвое. А вы — сильная и любите дальние дороги, значит, вы не можете быть некрасивой...

Когда они возвращались, уже стемнело. Дойдя до перекрестка, откуда было недалеко до деревни, Пон сказал, что дальше пойдет сам, ему, мол, эта дорога знакома. Он стоял и прислушивался, покуда не стихли вдали шаги Зиеу, и лишь потом тронулся в путь.

Через несколько дней Зиеу получила письмо от Лака и уехала на рудник так же внезапно, как и появилась в деревне. Пон провожал ее до большака. Зиеу, «проголосовав», остановила ехавший в Тиньтук лесовоз.

— Счастливого пути, — сказал Пон.

Помедлив, он провел ладонями по огромным длинным бревнам, громоздившимся в кузове:

— Железное дерево — как на подбор... Да, шахта наша, должно быть, огромная.

Машина отъехала уже довольно далеко, когда Пон повернулся и зашагал к дому...

Верно говорил Пон: Зиеу, совсем как его иволга, скрылась куда-то. Просто она пролетала мимо и, услышав его зов, опустилась сюда ненадолго. Но давно уже она не заглядывала к нему. Пон хотел было отправиться на поиски, да так и не собрался. Он остался дома и вместо возни с малютками-игрушками занялся делом, которое Зиеу, узнай она об этом, одобрила бы с радостью. Пон строил для людей разные машины: новый «самоходный» плуг, земледробилку, сеялку... И пусть сам Пон не мог уйти далеко от дома, машины его расходились по всей округе, забираясь, быть может, дальше, чем Зиеу. Из всех сработанных им машин одна лишь не имела никакого касательства к земледелию: трехколесный велосипед, где все — от рамы до ободьев и цепи — было выточено из дерева. Пон решил, что в один прекрасный день и сам он отправится в путешествие на нехитром своем «транспорте».

Кто знает, где жила теперь Зиеу, но все равно до нее не могли не дойти вести о Поне, ведь про него даже писали в газетах. А он по-прежнему просыпался с первыми петухами и для начала прикидывал, какие дела ожидают его сегодня. И мать все так же с тревогой прислушивалась к тому, как сын вспоминает девушку из киней, которая вошла в его жизнь, а потом вдруг исчезла. По ночам Пон слышал, как катили на рудник грузовики-лесовозы и ехавшие в них молодые рабочие, презирая ночную стужу, распевали песни. Каждый из них был ему близок и

дорог.

Таков рассказ о Поне, который я услышал из его собственных уст.

Ну, а может, он и не соответствует истине, потому что Пон — мечтатель и фантазер. И кто знает, не пригрезилось ли ему все это от начала и до конца.

Перевод с вьетнамского М. Ткачева

Тьен

Никто не знает, когда эти молодые люди полюбили друг друга.

Кхам ходил в море, и его грудь была медно-красной от солнца и соленых брызг. Волны и ветер закалили его характер, сделали его суровым под стать морской стихии.

А Тьен каждый день надевала соломенную шляпу, прикрепляла к ней зеленые ветки для маскировки и взбиралась на вершину горы. Она состояла в отряде деревенской самообороны и вела наблюдение за морем. Девушка, как никто другой, умела часами всматриваться в поверхность моря, горевшую нестерпимым блеском под лучами солнца. Для рыбаков безбрежная водная гладь отчетливо делилась на участки, каждый из которых имел свое название. Вот там была «синяя вода». Место поближе к берегу, которое всегда отливало серебром, называлось «рыбья чешуя». Искрящаяся полоса возле горизонта была «ближним морем», а все, что дальше, считалось «дальним морем». Когда с наблюдательного пункта раздавались частые, сливавшиеся друг с другом удары в гонг — это означало, что военные корабли врага появились в «ближнем море». Это было еще далеко, и девушки на берегу спокойно продолжали плести сети. Три быстро следующие друг за другом удара Тьен давала, когда враг входил в «синюю воду», и бойцы отряда самообороны бежали занимать боевые позиции. Три удара с интервалами означали, что враг уже у «рыбьей чешуи» и можно ожидать высадки. Бойцы готовились открыть огонь и убирать с волчьих ям мостки, которыми те обычно бывали накрыты, чтобы кто-нибудь из своих не попал бы ненароком в ловушку.

Однажды Тьен, пересчитывая возвращавшиеся под вечер баркасы, увидела, что одного не хватает. Не вернулся молодой рыбак, могучую фигуру которого со сверкающими на груди капельками воды зоркие глаза Тьен узнавали за сотни метров. Когда настали сумерки, девушку сменили,

но Тьен никуда не ушла. Вскарабкавшись на самый высокий утес, она напряженно вглядывалась в темнеющую гладь моря, отыскивая на ней белое пятнышко паруса. Все обошлось благополучно, оказалось, что Кхам просто наткнулся на большую стаю рыбы и, увлекшись ловом, не заметил, как наступила ночь.

— Что это ты сегодня так поздно, дочка? — спросила мать, когда Тьен наконец вернулась домой.

Ничего не отвечая, девушка порывистыми движениями отвязала от пояса гранаты и положила их к подножью кровати. Затем она обтерла с ног пыль, легла и с головой укрылась циновкой.

— Может быть, поужинаешь? И чего ты только надулась, разве я что-нибудь такое сказала... Небось когда отец был жив...

Не договорив до конца, мать, шаркая, пошла на кухню, разожгла очаг и поставила на огонь горшок с рыбой.

— Вставай-ка, проглоти что-нибудь, а потом снова спать будешь.

Старая женщина погладила волосы дочери, завившиеся от ветра и солнца, и вдруг с удивлением услышала тихий смех девушки.

Кхам долго ничего не подозревал, но когда друзья рассказали ему, что в поселке есть девушка, которая до самой ночи дожидалась его на вершине утеса, сердце его дрогнуло, и в нем загорелось ответное чувство. Теперь его баркас возвращался домой раньше обычного, тяжелое кормовое весло с силой рассекало волну, мощными движениями направляя судно. Баркас стремительно несли к берегу, взлетая с волны на волну, а Кхам поднимал голову и смотрел на вершину, где в лучах заходящего солнца белела кофточка Тьен. Так продолжалось несколько месяцев, и почти все это время влюбленных разделяли волны и ветер...

Через десять дней после свадьбы Кхам ушел в горы к партизанам. Прошло пять месяцев, прежде чем Тьен получила первое письмо. Но было оно не от мужа. Писал один из его товарищей по отряду: «...мы обещаем тебе, сестра, уничтожить врагов без пощады, чтобы отомстить за Кхам...»

Буквы перед глазами расплылись, когда она дошла до этих строк. В тот день, поднявшись на вершину горы, она впервые почувствовала усталость. Ни в «синей воде» и ни в «дальнем море» она никогда больше не увидит белый парус самого быстрого из баркасов. Тьен чувствовала, что даже сидеть у нее нет сил, и наблюдала за морем, лежа на большом камне. Маленькая, очень маленькая ножка тихонько толкнула ее изнутри, но Тьен по-прежнему не отрывала наполненных слезами глаз от линии горизонта. Она охраняла родной поселок.

— Ты уже на сносях, а дома ни днем, ни ночью не сидишь, — сказала ей однажды мать. — Вдруг что случится... Ведь этот ребенок — все, что он нам оставил, дочка!

Не дав матери договорить, Тьен тяжелой походкой направилась к воротам.

— Не беспокойся, мама, я только загляну на минутку в школу.

Она ушла, освещая себе дорогу фонарем. Десять минут спустя его свет снова блеснул в воротах. Мать, которая уже улеглась, услышала осторожные шаги и прерывистое дыхание возле своего топчана.

— Дай мне свою циновку, мама, — сказала Тьен.

Мать ничего не понимала, и тогда дочь шепотом объяснила ей:

— Каратели возвращаются из Нгыбиня, они заночевали в школе.

— А циновка-то тебе зачем?

В темноте старая женщина не могла видеть лица дочери и слышала только ее шепот.

— Для жандармов. У них с собой ничего нет. Ни постелить, ни укрыться, лежат на голом полу. Так не очень-то уснешь...

Пораженная мать привстала.

— Тьен!

Но та уже сворачивала ее циновку. Затем молодая женщина вышла за перегородку и скатала свою. Эту циновку она делила с мужем во время их недолгой совместной жизни, и ей казалось, что циновка до сих пор хранит запах его тела.

— Я скоро вернусь, мама.

Тьен снова вышла на улицу с фонарем в руках, держа циновки под мышкой.

Мать тоже выбежала за ворота. Да, она и в самом деле идет к школе. Небо! Что делать с этими детьми!

Жандармы расступились, пропуская Тьен. У молодой женщины был, как у всех рыбаков, грубоватый, но приятный голос.

— Достала только две штуки. Кто-то из вас здесь уже побывал. Все спалили, не оставили ни циновок, ни одеял. Пришлось даже у матери забрать... Вам в такую погоду лежать на земле нехорошо, сразу лихорадку схватите.

Несколько солдат хотели взять у нее из рук циновки, но она не позволила.

— Нет, нет, я сама. Вот эту положу у входа, дневальным тоже ведь надо отдохнуть. А другая будет для командиров. Постелим у окна, чтобы

было прохладнее.

Тьен осмотрелась. Луч света упал на грубые и жестокие лица карателей, и она внезапно почувствовала такое отвращение, что чуть не выронила фонарь, но, стиснув зубы, сдержала себя, и голос ее звучал по-прежнему ровно и приветливо:

— Ну, я пойду. Спите себе спокойно. А завтра приходите в гости. Наш дом в конце деревни напротив горы, и, кроме матери, никого нет.

Фонарь раскачивался над песчаной дорогой, уже влажной от предрассветного тумана. Он освещал маленькие ступни, проворно ступавшие по песку. Огонек двигался к середине поселка, затем свернул в узкий проход между хижинами, заросший кустарником, и исчез из виду.

Тьен спрятала фонарь, пробралась в самую гущу зарослей и села на землю. Сквозь листву ей было видно ночное море с мерцающими фонарями рыбаков. Она узнавала каждый огонек. Вот тот красный, подвешенный высоко к мачте, — это фонарь дядюшки Чо, который сейчас ловит летучих рыб. А три мигающих фонаря возле скал — это ловцы креветок До, Фюок и Нам. Еще дальше чуть-чуть светит фонарь Донга. С Донгом в прежние времена ее муж выходил под парусом дальше «синей воды», так далеко, что не видно было даже горы на берегу. Там они забрасывали крючки на макрель.

Гранаты, подвешенные к поясу, холодили кожу. Тьен смотрела на фонари, блуждавшие по воде и Похожие на светляков, и определяла по ним время. Вот возвращается баркас охотников за креветками. Значит, уже за полночь. Баркас Донга вошел в «синюю воду» — минуло три часа ночи... В поселке раздался одиночный крик петуха. Тьен зажмурила глаза, по ее впалым щекам покатились горячие слезы.

Начинало светать. Блуждающие звездочки фонарей гасли одна за другой. Тьен проверила, на месте ли гранаты, и выскользнула из зарослей. Сорвав по пусту листок, она положила его в рот и разжевала. Едкая горечь взбодрила ее. Она пошла к школе.

Тьен шла, крепко сжимая в каждой руке по гранате. В отряде самообороны было мало оружия, и Кхам ей подарил их перед тем, как уйти к партизанам.

— Кхам, я отомщу за тебя! Сынок, мы идем в бой вместе!

И вот школа смутно вырисовывается впереди. Тьен легла и поползла. Песок был холодным. Крошечная ножка ребенка снова сильно толкнула ее внутри, она ощутила боль и на мгновение замерла, но потом повернулась на бок и, стиснув зубы, снова поползла...

Зубами она выдержала щеки гранат. Сперва одну, потом другую.

Грянуло два взрыва. Спустя несколько мгновений в ответ затрещали беспорядочные выстрелы уцелевших жандармов. И снова стало тихо. Тьен была уже далеко, почти у самого дома. Еще мгновение — и она без сил упала на руки матери.

— Так, значит, это ты? Неужели это ты, дочка?

И старая женщина прижала голову дочери к своей груди.

С только что причаливших баркасов, еще не успев убрать сети, бежали рыбаки. Было уже почти совсем светло.

— Кто это мог сделать?

— Неужели солдаты Освобождения?

— Кто бы ни сделал, молодец!

— А скольких уложили?

— Шестерых, и всех наповал!

— Вот здорово-то!

Взволнованные восклицания слышались со всех сторон.

Старый Чо, обнаженный до пояса, загорелый и еще не успевший обсохнуть, протиснулся через толпу и сказал громко, как переговариваются в открытом море:

— Молодец, ничего не скажешь! Должно быть, пробрался к ним через окно. Отчаянный парень!

Рыбаки, причалившие последними, тоже устремились к школе. Покинутые баркасы устало лежали на ровной полосе прибрежного песка. На их обшивке белели полосы высушенной соли. С бортов свисали небрежно свернутые канаты из кокосового волокна. Вода стекала с них светлыми журчащими струйками.

На отмели виднелась лишь одна человеческая фигура. Женщина, согнувшись, стирала циновки, залитые кровью. Бурые пятна смывались белой пеной прибоя, и запах крови смешивался с запахом рыбы и водорослей. Кровь бледнела и растворялась в воде. Каждая набегавшая волна глотала ее. Море пило вражескую кровь, растворяло и поглощало ее в своих глубинах. Грудь моря расправлялась под лучами восходящего солнца, широкая и могучая.

Перевод с вьетнамского И. Быстрова

Нгуен Киен

Автор предлагаемого рассказа (опубликован в «Антологии прозы 1945–1960 гг.», изданной в Ханое) родился в 1935 году и принадлежит к среднему поколению вьетнамских писателей. Рассказы и повести Нгуен Киена вошли в школьные хрестоматии, а роман «В родном краю все спокойно» (1974) расценен вьетнамской критикой как одно из крупных художественных достижений в литературе последних лет.

Нуген Киен остается верным раз избранной теме, изображая в основном вьетнамскую деревню и ее людей. Об этом свидетельствует даже одно лишь перечисление его повестей и сборников рассказов: «В деревне», «Майское поле», «Перед жатвой», «Дни и ночи тыла», «Опавшие листья», «Дальние края», «Волны».

Превосходный знаток сельской жизни, Нгуен Киен много и плодотворно работает. Во Вьетнаме он по праву считается тонким стилистом, мастером передачи крестьянского разговорного языка. Диалоги в его работах состоят из метких и точных фраз. Проза Нгуен Киена сочна и колоритна, и по ней сразу отличишь признанного бытописателя вьетнамской провинциальной жизни.

Писатель обладает особым даром рассказать о том или ином важном событии в жизни персонажа кратко, без нажима, как бы походя. Даже касаясь драматических моментов, он обходится простым, доступным и понятным языком, избегая трафаретных ходов и высокопарных фраз. Нгуен Киен убеждает читателя подкупающей естественностью поведения своих героев — в дни мира и дни войны, которая вторгается в повествование и является своеобразной «темой в теме».

Дело в том, что в годы вьетнамской войны, как и во всякой другой общенародной битве за свободу родины, деления на фронт и тыл не существовало. Нет полного спокойствия во Вьетнаме и сейчас: американские войска покинули страну, но на границе СРВ продолжают провокации китайские гегемонисты, которые грозятся «проучить» Вьетнам, расправиться с героическим народом за то, что он остается верным идеалам социалистического интернационализма.

Прочтя рассказ «Дети», читатель убедится, каких тружеников мирной вьетнамской деревни изображает Нгуен Киен, какая сложная и тревожная жизнь прожита ими и как они, опаленные войной, пришли на зеленые рисовые поля, к милым бамбуковым куртинам.

Дети

Маленькая наша деревушка затерялась среди широких полей. От нас полдня ходу только до тележной колеи, а уж до проселочной дороги и того более. Даже рынок и тот у нас не собирается. Когда приходит сезон дождей, поля в округе заливают вода, и нашу деревушку издалека можно принять за одинокий зеленый островок, будто стоит он посреди реки, покрытый буйными зарослями дикого сахарного тростника. В эту пору года люди к нам добираются разве что на лодках, по небольшому каналу, что проходит рядом с деревней. Да и не часто появляются эти лодки. Видать, потому и неведомо никому, где прячется деревушка, которая называется Ха.

Правда, как наступило мирное время^[20], в наши края стали наведываться журналисты и даже иностранцы. Приезжают, чтобы посмотреть на бывшую партизанскую базу. Но она находилась в стороне от наших полей, в джунглях. Там осталось только пепелище — земля, густо замешенная на осколках снарядов и бомб, битой черепице и обломках кирпича. Приезжие подолгу там задерживаются, ходят, рассматривают, щелкают фотоаппаратами, но к нам не заглядывают.

Раз только группа школьников вместе со своей учительницей, возвращаясь с партизанской базы, завернула к нам передохнуть. После безмолвия пепелищ наша деревенька поразила их яркой зеленью и птичьим гомоном. У нас не торчат скелеты взорванных блокпостов или сожженных домов, не висит у околицы осколок бомбы, который заменяет в наших деревнях гонг, не видно ни колючей проволоки — ее нынче повсюду пустили вместо плетней, — ни мостовых, крытых гусеницами от разбитых танков. В нашей деревне не найдешь даже железных рельсов, а ведь почти на всех деревенских прудах нынче из них сооружены мостики.

— В такие богом и людьми забытые деревеньки французы не наведывались, — объясняла учительница удивленным ребятам. — Вот и выпало им счастье остаться нетронутыми...

Как я на нее рассердилась тогда! Услышав такое, от обиды заплачешь. А потом успокоилась: что с молодой учительницы спрашивать, ведь и я в молодости так же вот думала...

Мы живем втроем: я, мой отец — мы его дедом зовем — и

шестилетняя дочка, Тхао. Домик наш стоит на краю деревни, уже у самых зарослей бамбука^[21]. Сад у нас небольшой, но густой, узким клином спускается вниз к самому каналу, упираясь в дамбу. Наш дед — великий умелец: к чему руки ни приложит, все ладно у него получается. Сделал мостки на канале, чтоб можно было постирать да помыться, и ступени к воде, выложив их из деревянных брусков или камня.

Как-то раз, помню, под вечер, услышала я, как на канале остановилась лодка, видно, неподалеку от наших мостков, и донеслись до меня стоны и жалобные причитания — голос был женский. Я косила траву в саду и сперва увидела хозяев лодки — оба были в отчаянии, только хозяин казался серьезным и настроен был решительно, а хозяйка в растерянности не знала, что делать. Потом я увидела, как они помогли выйти из лодки какой-то женщине, — взяв ее под руки, осторожно вывели на берег. Женщина была на сносях, в дороге у нее, верно, начались схватки. Она морщилась от боли, стонала, испуганно озираясь по сторонам. Идти она не могла, застыла на месте, руками обхватив свой большой живот. Лодочники пытались помочь ей отойти от берега, но женщина не в силах была сделать шаг. Так и стояли они на берегу, не зная, что предпринять: разве захочет кто приютить у себя роженицу, да еще чужачку.

А тут дочка моя, Тхао, прибежала на канал, — я ей велела намыть к ужину бататов. Увидела незнакомых людей и кинулась ко мне, дергает за кофту, пальцем в сторону лодки показывает. Доченька-то моя немой была, с трех годков не могла словечка молвить, а ведь раньше так бойко говорила. Я, конечно, верила: рано или поздно она опять заговорит, непременно говорить станет моя доченька. А пока по глазам ее да жестам обо всем догадывалась, что сказать ей хочется. Дочка моя такая большеглазая, вся в отца. Глянула я на нее — вижу встревоженные ее глаза и поняла, зовет меня доченька к людям, что на канале стоят.

Пришли мы с ней на берег. Лодочник помог женщине подняться на дамбу, что наш участок от канала ограждает. А бедной женщине совсем худо стало, видать, самая пора рожать наступила.

Было уже под вечер, солнце к закату клонится, а жара никак не спадает, несчастной женщине и без того худо, а тут еще жара донимает. Тут я ее и признала: это, оказывается, была та самая учительница, что с ребятишками у нас на отдых останавливалась да про «везенье» нашей деревни толковала. Что же с ней приключилось: или время родов по молодости перепутала, или преждевременные схватки начались?..

— Вы что, решили человека уморить, положили на самое пекло! — набросилась я на хозяев лодки.

— Нам бы только до деревни ее довести...

— Ишь чего захотели! Скорей с рук сбить, самим убратъся, а тут без вас возись, будто нам своих бед не хватает...

— Такое несчастье в дороге приключилось, не знаем, что и делать! — стала причитать лодочница.

— Что делать-то? Человека не уморить до смерти. Ведите ее скорее к нам в дом, вон она какая бледная...

Повели мы учительницу к нам. А Тхао сразу деда побежала искать. Он у нас каждый вечер на кладбище ходит, где партизанские могилы, будто на работу туда отправляется: прибирается там, веником каждую могилу обметает; потом постоит, на небо посмотрит, на обелиски красные с золотыми звездочками и уж тогда домой идет. За годы, что война шла, столько всякого в нашей семье случилось... Все дед со стиснутыми зубами переносил, а если, бывало, слеза на глазах у него блеснет, то это, значит, от большого гнева... Горе свое дед умел глубоко прятать. С Тхао всегда только шутил. В доме успевал все дела сделать, а на мою долю и оставалось, что поесть приготовить. Весь дом на деде держится, без его совета ничто не обходится — так уж у нас заведено.

Дед пришел, когда мы довели учительницу до дому. Она сидела неестественно выгнувшись, выставив вперед живот и опираясь спиной о стенку и жадно ловила воздух широко открытым ртом.

— Дед, — сказала я умоляюще, — вот, прихватило несчастную посреди дороги...

— Убери комнату, там ее уложим.

Хозяева лодки, видать, счастью своему не веря, на нашего деда уставились. Тут я их попросила помочь мне учительницу в другую комнату перевести, а потом они убрались восвояси.

Дед помог учительнице лечь на кровати как надо, чтоб удобней ей было. Я заметила, поначалу он помрачнел, увидев у нас незнакомую женщину, потом, приглядевшись к ней, стал улыбаться, начал шутить.

Тхао стрелой носилась взад и вперед, выполняла все поручения, что ей давали, и жалостливо поглядывала на учительницу, когда та морщилась от боли. Чуть дед только потрепал ее по плечу и, показав на кухонную пристройку, слово молвил, девочка мигом отправилась кипятить воду, — такой смышленной да расторопной я ее никогда еще не видела.

Я знала: дед наш в старых книгах разбирается, даже лекарства из трав готовит, — значит, за помощью к повитухе бежать не надо, сами как-нибудь управимся.

У нас говорят: роды что наводнение — одна напасть. Столько дел

сразу надобно сделать — и батат сварить на ужин, и приготовить все необходимое для роженицы. Уж мы кончали возиться, а учительницу тут вроде бы отпустило, полегчало ей, она перестала стонать, затихла, только тяжело дышала.

— Роды-то, похоже, трудные будут, — проворчал наш дед.

Бедняжка наконец пришла в себя и стала припоминать все, что с ней случилось. Оказалось, звали ее Хань, она была из Вана, большого села, там учила детей.

— Вы мне жизнь спасли, — чуть не плача говорила она. — Как вас и благодарить, не знаю!

— Лежи, лежи, тебе отдохнуть надо, сил набраться, о благодарности думать еще рано.

Она послушно затихла, лежит, пригорюнившись. Так мне ее жалко стало! Сама я уже два раза рожала, вот и решила рассказать, как она сама должна помогать ребеночку на свет явиться. Словом, научить тому, чему меня когда-то добрые люди учили. Женщина жадно ловила мои слова. Глаза ее, добрые и ласковые, не мигая, смотрели на меня умоляюще, будто спасти просили. Словно сердце мне обжег ее молящий взгляд, и вспомнила я другие глаза и другого человека, что восемь лет назад точно так же вот на меня смотрел...

В ту далекую пору наши края под врагом оказались. Помнится, уже поздним вечером понадобилось мне на канал сходить, спустилась я к воде и вдруг слышу, будто в саду кто-то стонет. Перепугалась я, бежать хотела, только ноги к земле приросли: прямо на меня что-то темное движется. Пригляделась — человек ползет, еле-еле, из последних сил выбивается. И тут он умолять меня начал, а голос слабый, словно ветер шелестит в листве:

— Бабушка, спаси меня...

— Ты кто?

— Помоги, прошу, помираю...

— Да кто ты, что за человек?

Он уже разобрал, что голос у меня не старый, и шепчет:

— Солдат я, девушка, солдат. Помоги мне...

Я хотела уже в дом его вести, да вспомнила, сколько в деревне вражеских лазутчиков шныряет, в форме наших солдат переодетых.

— Коли солдат, так убирайся, да поживее! — сказала я громко.

— Помоги, сестра, не бросишь же ты меня помирать здесь?

— Вот закричу сейчас, люди сбегутся, сразу тебя куда надо доставят!

— Можешь кричать, — разозлился он. — Меня тэями^[22] не

запугаешь! Кричи сколько влезет, только сперва погляди, что у меня на плечах да на спине.

Я подумала-подумала, наклонилась и его плечи ощупала. Только притронулась, сразу руку отдернула — вся спина чем-то скользким залеплена.

— Пиявки, — сказал он, — всю кровь, гады, высосали...

До сих пор как вспомню — в дрожь бросает...

— Что с вами, отчего вы дрожите? Вам приходилось когда-нибудь принимать роды? — боязливо спрашивает учительница, не сводя с меня глаз, точно боясь, что я ее одну оставлю.

— Да не бойся, сама два раза рожала, — успокаиваю я ее.

Но она по-прежнему не сводит с меня испуганных, широко открытых глаз, словно спрашивает: «Правда? Можно тебе верить? Ведь сейчас на всем белом свете на одну тебя моя надежда...»

Вот и парень тот, когда мы его в дом внесли, тоже на нас с дедом так же смотрел. Потом он рассказал, что, идя на задание, нарвался на засаду и целых восемь дней скитался, прятался на пустых полях. Явочный пункт, куда он шел, был раскрыт, вся округа полицией наводнена, и никто из крестьян не пустил его в дом. А в одной деревне даже обстреляли. Вот и прятался он на затопленных рисовых полях, все время в воде, в холоде, голодный — уже не в силах стоять на ногах, не в силах отодраться от своего тела — до того обессилел. Только у нас дома в себя пришел, немного ожил...

Долго, наверно, я так сидела, погруженная в воспоминания, пока учительница не спросила тихонько:

— О чем вы задумались? Скажите, а ваш муж, где он? Может, недоволен будет, что я у вас осталась?

— Да нет, — улыбнулась я ей. — Он у меня добрый! На все согласный...

Он и вправду у меня был очень добрым, — такого еще поискать нужно. Выхаживали мы его с дедом месяца три, а то и все четыре. Привыкли к нему, а он про себя уже считал меня своей суженой, только мне ни слова не говорил. Потом ушел: его послали на разведку вражеского форта в Иенми. Об этом он нам ничего не сказал. Потом уж про все узнали: как наши солдаты подорвали этот блокпост, как вся наша округа свободной стала. И он с нашими солдатами вернулся, и стали мы тогда с ним мужем и женой. Вот от той истории с пиявками и пошло. Сколько у нас этих пиявок! Поля ведь заливные. Как увижу хоть одну, сразу нашу встречу первую вспоминаю...

Вдруг учительница отчаянно вскрикнула. Я опрометью бросилась за дедом.

— Дед, дед, скорее!..

Дед, оказывается, ходил, чтобы ветку отломить с дерева. Зеленую ветку над дверью прикрепляют, чтоб отвести злой глаз от младенца.

— Чего кричите! — цыкнул на меня дед. — Торопись не торопись, а роды будут длинные!

Я побежала на кухню, там Тхао караулила, когда вода в котле закипит. На дворе уже совсем стемнело. Поглядела я на дочку: личико у нее, освещенное огнем очага, такое веселое, такое ясное, прямо как прежде, когда она еще разговаривала. Глазки радостные на меня смотрят — глазами она в отца пошла, такие же, как у него, огромные да черные. Поглядела она на меня, заулыбалась и ручонки сложила, точно маленького баюкает. Я ей сказала, чтобы сбегала и принесла бритву и нитки. Она вихрем понеслась, только головой тряхнула, это потому что волосы на глаза ей всегда падают. Хорошая у меня девочка! Жаль только, отец ее так и не увидел. Когда она родилась, наши края снова оказались в руках врага, а мужа моего на другую партизанскую базу перевели.

Дед очень любит Тхао, балует ее. Такая умница-разумница растет! Всего три годика ей было, а она уже лопотала. Положу ее с собой спать, только и слышно: «Мамочка-мамочка», с дедом положу — «Деда-деда...» несется. Отца звать начинает, а спросишь: «Где папка?» — на ножки встанет и пальчиком вперед показывает: «Папа ба-бах!» Но если чужой про отца спросит, так она только головкой мотает.

Дед над ней подтрунивать любил: «Вот будет у тебя маленький братишка, станешь его сама нянчить!» Обделила нас судьба родней, никого у нас нет, муж мой — сирота круглый, и я у деда одна, вот дед всю свою любовь внучке и отдал.

— Подросла уже наша крошка, — сказал он мне однажды. — Оставь ее на меня, сходи мужа проведай.

Удалось мне до партизанской базы дойти, и прожили мы с мужем целых полмесяца вместе. А когда я стала собираться обратно, муж мне свою карточку дал и велел хранить, дочке показывать, чтобы росла, отца помнила.

А я, глупая, как-то соседу, нашему дальнему родственнику, ее показала, мужем похвастаться решила, так этот прохвост взял да и украл у меня карточку, то ли от зависти, то ли из подлости. Только нет у меня этой фотокарточки, и я все себя за глупость казню...

Передо мной стояла Тхао, протягивая бритву и толстые нитки — я и

не заметила, как она вернулась. Очнулась от своих дум, когда она меня принялась теребить, звать за собой. Скорчила жалобно рожицу, руками обхватила живот и стала стонать, — видно, у учительницы опять начались схватки. Я скрутила вместе три нитки, чтобы пуповину перевязать, прокипятила их и бритву, приготовила таз искупать младенца и побежала в комнату. Тхао не отставала от меня ни на шаг. Я было прикрикнула на нее построже, но она заупрячилась, и я отступилась.

Учительница лежала бледная, губы искусанные до черноты. Я подложила ей под спину половину старенького, чистого одеяла — оно у меня в рюкзаке оказалось, а другой половиной живот накрыла. Помнила, когда я рожала Тхао, мне вот так же военная медсестра сделала.

Как и предсказывал наш дед, роды были долгие и мучительные.

— Тяжелый ребенок... — бормотал дед. — Потерпеть придется. Приподними-ка ее немного, поддержи...

Я помогла учительнице приподняться и подложила ей под спину руку, поддерживая ее. Она обхватила рукой меня за шею и судорожно, всеми пальцами вцепилась мне в плечо.

— Потерпи, милая, потерпи, — успокаивая, шептала я ей. — Не бойся, уже скоро, скоро...

Пальцы женщины только крепче впивались в мое плечо, и через них ее боль как будто переходила ко мне. Ох, как я эту боль человеческую чувствую, ведь сколько мне самой пришлось настрадаться...

Вскоре после того, как я с партизанской базы вернулась, поняла, что затяжелела. А тут нежданно-негаданно схватили меня и отправили в Иенми, на форт, где наемные солдаты стояли. Как ни далека наша деревенька, а вот поди ты, пронюхали, проклятые! Ох, как меня били, кричали, что мы с дедом связных да разведчиков в доме прячем. А я только одно твердила: знать ничего не знаю, и все тут!.. Очень я за дитя свое, что под сердцем носила, боялась.

И хотя болела я тяжело от побоев, но ребеночка уберегла.

Через две недели меня снова забрали. Опять грозились, били, а потом карточку мужа показали. Вон оно что! Гаденьш тот, седьмая вода на киселе, донес, крыса вонючая... Обмерла я, теперь, кроме смерти, и ждать нечего. Но они меня в камеру отвели, даже бить перестали. Оказывается, сержанту я приглянулась, решил он потешиться. Видел, что тяжелая я, если силой добиваться, так и помереть могу. Вот и стал каждый день захаживать, уговорами да посулами всякими силился меня склонить. Говорил: кабы не он, давно б мои косточки на погосте гнили. Я при нем молчала, слово молвить боялась, а как уходил, так плакала в голос. А

ребенок под сердцем все рос, не давал остыть тоске по мужу. Последние силы уж меня покидали, а я все старалась держаться, только чтоб дитя мое свет увидало.

Когда рожать пора пришла, отпустили меня домой.

Дед наш и принял роды. Летом это было, такой же вот ночью, жаркой и душной. Родился у меня мальчик, маленький да слабенький, но так уж я его любила, так лелеяла, мою кровиночку, слезы мои тяжкие.

И вот как-то появился в нашем доме сержант с форта в Иенми, сам пришел да еще солдат с собой привел.

— согласишься со мной жить — всю семью кормить ста ну, а нет — прикончу твоё отродье у тебя на глазах!

Зашлось у меня сердце, побелела я, слезы сами собой полились.

— Убей лучше меня! Пожалей деток, нет на них вины!

А он знай хохочет, думает, я его испугалась. Подошел и тянет меня к себе. Плюнула я в рожу его поганую, оттолкнула что есть силы. Ох, горюшко-горе! Как выхватит он у меня из рук маленького, вцепился в шею и поднял вверх, как кутенка. Мальчик мой из пеленки выскользнул, голенький, ножками засучил, запищал жалобно и тут же смолк.

И тут Тхао — она сзади меня пряталась — как закричит, заплачет. Этот детский крик и плач ровно ножом острым мне по сердцу полоснул!.. Тхао кинулась на бандита, стала вырывать у него из рук братика. Тогда она мне не малышкой несмышленной показалась, а тигрицей разъяренной. Как отчаянно пыталась выхватить маленькое тельце из лап палача! И даже вырвала уже, но бандит опрокинул ее наземь и стал пинать кованым ботинком. Тхао, бедняжка, каталась по полу, прижимая к себе маленького, стараясь уберечь его от ударов.

— Убивают, помогите! — кричала я.

На крик прибежал дед, сбежались соседи. Сержант приказал солдатам стрелять, но они не посмели в людей целить, палили в потолок. Набросились мы на сержанта, разодрали на нем одежду в клочья, убить были готовы, и пришлось всей этой своре убраться из деревни от греха подальше.

А мальчик мой помер. Стал дед поднимать их с Тхао, а маленький уже не дышит. Увидела Тхао мертвого брата, и страшная бледность покрыла ее лицо, глаза широко раскрыты, не мигают, ну прямо как неживая стоит. Губы стиснуты, ровно железные, что-то сказать хочет, а не может, только хрип из горла доносится. С того самого дня девочка моя и не говорит...

Ох, дети мои, деточки, горе мне горькое! Не стрелял никто, никто дома не жег, а вот тут, в этом самом доме, сыночек мой умер, доченька моя

онемела!

Болью сердце мое исходит, о господи!..

— Больно! Ой, больно!.. — тихо вскрикивает учительница, а мне чудится, будто это я кричу.

Зачерствело сердце за эти годы, от боли, от горя зачерствело. Но как вижу чужую беду, чувствую чужую боль, так смягчается мое сердце, наполняется состраданием. Вот и с учительницей этой — жаль ее, бедняжку, тяжело ей приходится. Но ведь радость-то какая! Счастье какое!...

Уложила я ее поудобнее, деда позвала:

— Иди, дед, скоро уже!

Засуетились мы с дедом вокруг роженицы, и такая радость, такое счастье душу мою охватили, хоть тревога тоже не отпускала.

— Иди, маленький, иди, умненький, иди, послушненький! — приговаривала я, словно хотела ускорить появление новорожденного.

— Готовься, сейчас младенца примешь! — тихо сказал мне дед.

И вот он родился, маленький человечек!.. Взяла я его на руки и подняла. И руки мои дрожат — свершилось святое дело, появилась новая жизнь, потому и радость переполняет мою душу, оттого и дрожат мои руки...

«Ну, подружка, — мысленно говорю я учительнице, — ну, милая, еще потерпи самую малость, вот так... Теперь все хорошо будет. Не бойся, мы с дедом тут, возле тебя!»

Омыли ребеночка. Мальчик был розовым, пухлым, громкий крик его огласил комнату. И тут за спиной моей раздался радостный детский возглас:

— Мама, мальчик!

Обернулась я; Тхао на цыпочки поднялась, с младенца глаз не сводит. Ох, эти глаза отцовские, большущие да темнущие! В ладоши хлопает, смеется моя девочка. Никак, думаю, брежу я или все снится мне!

— Мальчик!

Губы Тхао шевелятся, и не серые они у нее теперь, а ярко-красные, и белые зубки так и сверкают! Заговорила, заговорила моя доченька! Мы с дедом, замерев, глядим на нее. Совсем другим, каким-то новым нам кажется ее личико. Даже учительница, хоть и измученная болью, в себя еще не пришедшая, а и та глаз от моей девочки отвести не может. Ровно свет от личика Тхао по всему дому разливается. А она на нас не смотрит, от младенца оторваться не может. Маленькие — они все друг на друга похожи. Вот и этот, как две капли воды, на братика Тхао, на моего

мальчика походит. Прижала я его к сердцу крепко, никому отдавать не хочу!..

Назавтра соседи со всей деревни собрались, прослышали, какая в доме радость. На доме зеленая ветка висит, — вот люди к нам и пожаловали. Дед наш даже в поле не пошел, во дворе гостей принимал. Тхао на канал за водой целый день бегала, чай кипятила. Гости норовят приласкать ее, слово доброе ей молвить, а девочка стесняется, за деда прячется. Веселая стала моя доченька, только говорить еще боится.

Мы с учительницей в комнате остались, нам и отсюда слышно, что во дворе творится.

— Почему же вашего мужа до сих пор нет? — вдруг спросила меня учительница.

— Далеко он, в командировке...

Далеко он, ох как далеко!.. Никогда больше домой не вернется. Пробыл он в партизанах недолго, и перевели его опять в регулярную армию. Об этом я уже от чужих людей узнала, он перед дальней дорогой даже домой заглянуть не успел. Воевал под Дьенбьенфу^[23], там и погиб. Вместе с однополчанами похоронили его в братской могиле. Нет у него ни своей могилки, ни своего обелиска. В Дьенбьенфу похоронен. Слышала я, края там просторные...

— А кто он у вас?

— Солдат.

— И мой тоже солдат! Вот совпадение. Мы с ним еще в войну познакомились, уж после свадьбу сыграли. Полмесяца вместе только прожили, он сразу в час^{ль} уехал. Писала ему, что ребеночка жду, да не мог он, видно, приехать. Может, на Тет явится сына поглядеть.

Учительница помолчала немного и добавила:

— В первый раз, потому и боялась так родов. Знала, что в июне вроде бы должно быть, только в школе экзамены, вот до последнего и дотянула. Столько вам хлопот доставила.

— Какие же хлопоты? Для нас это радость! — улыбнулась я. — Теперь ты нам как родная будешь, а муж твой вернется — станет нашему деду сыном. Вот увидишь — все так будет!..

— Пожалуй, с будущего года стану в вашей деревне учительствовать. Пусть Тхао и мой малыш вместе растут, как брат и сестра.

Я опять улыбнулась, ей ничего не ответила. Да и что говорить, и вправду сроднились мы теперь.

Вспомнила я тут, как раньше ученикам своим она про нашу деревню

говорила, и захотелось мне ей, своей сестре названной, все как есть рассказать. Про то, какой страшный след война оставила в этой не тронутой врагами деревне, и в этом непоруганном доме, и в этом чистеньком дворике. Разве дело только в том, что деревню с землею сравнивают, дома сжигают, — и деревню, и дома можно заново выстроить. Вот близкие от тебя уйдут туда, откуда возврата нет, — это беда непоправимая, это горе горькое... Но не стала я ничего говорить, зачем этой женщине радость ее великую омрачать. Ведь ее радость нашей радостью стала, и негоже мне в такой день старую рану беречь...

И сидели мы с нею молча, и спал маленький, а мы его сон стерегли.

За стеной во дворе шумели наши гости, народу собралось множество. И голосок Тхао звенел в общем радостном хоре.

Перевод с вьетнамского И. Зимониной

Нгуен Куанг Шанг

На русский язык переводились многие рассказы Нгуен Куанг Шанга, известного также по псевдониму Нгуен Шанг. Он родился в 1933 году. Сборник его рассказов «Люди родного края» был издан в 1960 году, а книга «После долгого отсутствия», тоже состоящая из рассказов и очерков, появилась на полках вьетнамских магазинов в 1977 году. Таким образом, творчество писателя падает на шестидесятые и семидесятые годы, когда вышли в свет повести «Записки тех, кто остается», «На зенитной батарее», романы «Огненные земли», «Гнилой ветер», книги новелл «Гребень из слоновой кости» и «Агатовые сережки». Нгуен Куанг Шанг — кадровый военный: он прошел весь долгий путь вьетнамских войн, сражался на юге и севере страны. Вполне понятно, что автор, сформировавшийся в рядах славной вьетнамской армии, больше всего и пишет о ее людях, пишет со знанием обстановки, привлекая обширный познавательный материал, включая подлинные документы — письма, рапорты, дневники своих боевых товарищей. Произведения писателя покорают достоверностью описания событий, участником которых он был, репортажной живостью изображаемого. Публицистическая хроникальность Нгуен Куанг Шанга, которой пронизаны многие его произведения, обусловлена и бурным военным временем, и запросами читательской массы, жадно следившей за ходом небывалых по своей сложности операций, связанных с полным очищением страны от чужеземцев. Автор не случайно оказывался в самых горячих точках, приезжал туда не в командировку — он находился там постоянно, участвовал в сражениях и писал о виденном и пережитом. Поистине строчки, пахнущие порохом! Недаром целый ряд рассказов Нгуен Куанг Шанга, едва появившись во вьетнамской периодике, переводился на многие иностранные языки: по ним можно было составить довольно ясное представление о духовном, моральном климате вьетнамской армии, ее народном характере. Массовая народная поддержка великих идеалов Августовской революции, за что и сражалась армия, определили национальный, освободительный характер войны, сцементировали фронт и тыл, превратили страну в несокрушимую крепость.

Конечно, несмотря на пристрастие к армейской тематике, творчество Нгуен Куанг Шанга значительно шире. Крестьянский паренек, покидая родной дом ради службы в частях регулярной армии или в партизанском

отряде, отсутствуя десять или более лет, в конце концов возвращается в свою семью. Возвращается, выражаясь словами автора, после длительного отсутствия к людям родного края, показ которых и составляет наиболее эмоциональную сторону рассказов Нгуен Куанг Шанга.

Н. Хохлов

Сын вернулся

Он не первый приехал на побывку, но никого другого односельчане не встречали столь восторженно. Собрались не только родственники и друзья — сбежалась вся деревня. Ведь он был из числа тех, кто ушел по первому зову еще в сорок пятом году и вынес на своих плечах тяжесть двух войн. Тридцать лет не переступал он порога родного дома. Покинул его мальчишкой, а вернулся полковником! Его, полковника Чэн Тан Дака, однажды уже видели на экране телевизора. Он сидел за столом президиума какого-то торжественного собрания в парадной форме, при орденах. Как можно было не гордиться таким земляком! И уж конечно, если дослужился до полковника, хочешь не хочешь, а отличаешься от других. К себе домой полковник приехал на джипе с прикрепленным к радиатору флажком. Его сопровождали, кроме шофера, три бойца, которых кое-кто нет-нет да и называл на старый лад «телохранителями».

Едва машина остановилась перед домом, как стайка детишек, игравших неподалеку, стремительно разбежалась. Дети помчались во все концы деревни, пронзительными возгласами оповещая о событии. Гость только успел перешагнуть порог родного дома. Его отец отложил в сторону рубанок, снял очки и, всмотревшись в пришельца, воскликнул: «Дак, сынок... Неужели это ты!..» И уже в следующую минуту со всех сторон набежали люди — полковник не принадлежал больше своей семье! Отец с сыном еще не порадовались встрече, не сказали друг другу и десятка слов, как им уже пришлось хлопотать о стульях и скамейках для гостей.

А домик на берегу реки был мал, стульев не хватало, и люди начали рассаживаться на кроватях и топчанах. Скоро и там не осталось мест, и тогда все вышли во двор, где еще не успели подмести. Под развесистым манговым деревом было тенисто и прохладно. Ребятишки плюхнулись прямо на землю, взрослые присели на корточки, набралось не менее сотни человек. Люди требовали от полковника сесть на стул посередине двора, чтобы все имели возможность им любоваться, но Дак примостился на

обрубке бревна. И стулья, вынесенные из дому, сразу оказались ненужными. Гости наперебой уступали их друг другу и в конце концов так и оставили незанятыми.

Единственным человеком, который мог бы, не нарушая приличий, сесть на стул, был отец полковника, Шау Хок, но и он отказался. Это был худощавый бодрый старик. Только белые волосы и длинная борода выдавали, что ему уже за семьдесят. Как обычно, на нем были короткие штаны и рубашка без многих пуговиц, впрочем, и те, что имелись, старик, как правило, не застегивал. Он сел на землю возле сына. Глядя на них, крестьяне узнавали в полковнике Шау Хока, каким он был в прежние годы: густые волосы, высокий лоб, прямой нос, строгий взгляд ярких черных глаз.

Уверенный вид Чэн Тан Дака никак не соответствовал его настроению. Он привык стоять перед строем солдат, отдавая приказ, а тут вдруг оказался лицом к лицу с сотней односельчан, которые так и впивались в него глазами. Несмотря на радость встречи, его волновали эти взоры, смущали вопросы, сыпавшиеся со всех сторон. Но благодаря отцу он быстро преодолел замешательство первых мгновений. Стоило ему чуть помедлить с ответом, вспоминая нужное имя, старик сразу же тихонько подсказывал:

— Дядюшка Шау, плотник.

— Дядюшка Бай из швейной мастерской.

— Тетушка Тин из полеводческой бригады.

Чаще других слышался голос Хай Бао, гладко выбритого старика с хитроватыми глазами. В прежние времена, когда японских мотоциклов и в помине не было, Хай Бао разъезжал на конной повозке и славился умением вкусно готовить собачье мясо. Он был ближайшим соседом Чэн Тан Дака и, когда будущий полковник еще бегал в школу, иногда отвозил его туда на своей повозке и даже давал подержать вожжи.

— Посмотри-ка, Дак! — восклицал старик, указывая рукой вдаль. — Поди, забыл наш мост?

— Как же, помню, дядюшка Хай!

Когда-то по этому мосту Чэн Тан Дак каждый день бегал со своим ранцем в школу.

Все повернулись в сторону моста. На его перилах стояло несколько голых мальчишек, и в следующий момент они с пронзительными воплями один за другим попрыгали в канал. Каждый демонстрировал своим товарищам особенную манеру прыжка. Один бросился вниз головой, другой прыгнул солдатиком, вытянув руки по швам, третий бултыхнулся,

сжавшись в комок. Самый изобретательный подпрыгнул кверху, подобрал под себя скрещенные ноги и в такой позе звучно шлепнулся в воду, подняв целый фонтан брызг.

Старик заговорил снова:

— Ведь когда-то и тебе доводилось щеголять голым на этом мосту, а теперь, вижу, волосы начали седеть, совсем как... — старик быстро окинул взглядом собравшихся, — совсем как у него. — Он указал рукой на мужчину лет сорока с сильной проседью. — Сколько же ты лет не был дома? — Голос говорящего, только что такой веселый и радостный, вдруг прервался от волнения.

— Ровно тридцать лет.

— После твоего ухода война шла почти без перерыва. Многие в нашей деревне не дожили до двадцати... Значит, ты отсутствовал больше, чем вся их жизнь. — Хай Бао произнес эти слова глухим низким голосом, но потом спохватился, что нарушает радостную атмосферу встречи, и заставил себя вновь стать веселым. — А вы знаете, — обратился он ко всем, — чем я его угостил перед уходом в армию?

Народ загудел, посыпались различные догадки и предположения. Выслушивая их, старик смеялся до слез, табачная жвачка вывалилась у него изо рта и сползла на подбородок. Глядя на него, засмеялись и остальные, сперва дети, потом и взрослые.

Оказалось, что в тот памятный день дядюшка Хао приготовил похлебку с собачьим мясом. Кушанье удалось на славу, и он вспомнил о соседском мальчишке, зазвал его к себе и налил полную миску. Он сделал это просто по доброте, даже не подозревая о намерении юноши, но теперь ему казалось, что это был прощальный ужин. Волнение и радость старика передались окружающим. Еще несколько человек вспомнили давние события, связанные с началом войны Сопrotивления и уходом Дака.

— А помнишь ли ты, как ваша часть проходила через деревню? Ты шагал мимо моего дома в плащ-палатке, коротких штанах, и на каждом боку висело по гранате. И шел первый, хотя по росту был самый маленький.

— Верно! Тогда я был связным и проводником, поэтому и шел впереди, указывая дорогу.

— Говорят, что отряд, который атаковал французский блокгауз на рынке, привел тоже ты? — спросил кто-то.

— Да, рынок я знал как свои пять пальцев — все ходы-выходы на учете...

— Вспомните, — начал один из гостей, — сколько мы натерпелись

при всех этих «президентах». Стоило полицейским ищейкам пронюхать, что кто-то ушел к партизанам, как забирали всю семью. А ваших вот никто не тронул. Как только не дознались!

— Нет ничего странного, — вмешался Хай Бао, — в деревне почти никого не осталось из тех, кто знал Дака. Мерзавцы всякие подались на службу к властям, да только недолго побыли на даровых харчах. Кого пристукнули, кто сбежал да и подох вдали от родных мест. А если кто и уцелел, тому было не до старых счетов. Честные же — хранили тайну.

— Правильно говоришь, дядя, — послышался голос сестры Дака, — все, кто знал, держали язык за зубами, потому до нас и не добрались. А знали многие, даже полицейский Ты и тот знал. Помню, он меня однажды спрашивает: «Послушай, сестрица Хай, я слышал, твой брат — полковник у вьетконговцев?» У меня, понятно, душа в пятки ушла, но вида не подаю. Отвечаю: «Наверняка какой-нибудь однофамилец, если бы Дак и вправду был у них полковником, нашей семье беды не миновать». Сказала и жду, что же он ответит. А он вдруг и говорит: «Ну а если это все же он, я только горжусь, что когда-то вместе в школу ходили!» Признаюсь честно, в тот момент я не разобралась, что у нашего полицейского на уме, но только вопросов больше он мне не задавал.

На некоторое время общий разговор прервался. Каждый вполголоса переговаривался с соседом, хотя взоры всех поминутно устремлялись на гостя. Затем подал голос старик Хай. Ему уже за шестьдесят, но выглядит он хоть куда: почти без седины, стройный, румяный, больше пятидесяти и не дашь, совсем под стать своей тридцатилетней жене. Из всех жителей деревни он был единственным, кто в юности сдал конкурсные экзамены по старой системе, получил звание бакалавра и тем славился. Односельчане величали его не иначе как «бакалавр Хай». Мало-помалу, однако, эта слава поблекла, Хай вернулся к своему саду и занялся обычным крестьянским трудом. Но привычка смотреть на других свысока у него сохранилась. Сегодня, пожалуй, он первый раз держался более или менее скромно. На землю, как другие, правда, не сел, но воспользоваться стулом тоже не решился, а вместо того прислонился спиной к стволу дерева.

— Как твой односельчанин, Дак, — несколько витиевато начал старик, — я позволяю себе обращаться на «ты». У меня есть к тебе вопрос, правильнее сказать, мне хотелось бы понять тебя...

Все разом повернули головы и посмотрели на старика, удивляясь, с чего это тот заговорил словно завзятый газетный репортер.

— Я очень жалею, что не знал тебя прежде, — продолжал Хай, — я жил в Сайгоне, но иногда приезжал в деревню навестить близких и часто

проходил мимо твоего дома. Я даже не подозревал, что у Шау Хока есть сын — участник освободительной борьбы. Только сегодня узнал, что ты ушел на войну еще совсем, совсем молодым. Скажи, что двигало тобой? О чем ты думал, когда не колеблясь шагнул вперед, навстречу опасностям и лишениям?

Вопрос старого бакалавра попал, как говорится, в самую точку. Даже те, кто не задумывались над этим, почувствовали живой интерес. А больше всех был взволнован Шау Хок, отец полковника.

Шау Хок хорошо помнил, что в тот день, тридцать лет назад, он встал, как обычно, на заре. Когда настало время сыну уходить в школу, а сын все не просыпался, он окликнул его, но ответа не получил и, сердито войдя в комнату, сдернул с Дака одеяло. Велико же оказалось его изумление, когда вместо мальчика он увидел на кровати свернутые в рулон циновки!

— Дак ушел в армию, отец! — раздался позади голос до этого молчавшей дочери.

— Почему же он ничего мне не сказал?

— Боялся, что ты непустишь. Велел мне подождать, пока он будет уже далеко, и только тогда рассказать.

— И давно ушел?

— Вчера утром.

— С собой взял что-нибудь?

— Только смену одежды и кусок материи вместо плаща, да еще я дала ему несколько донгов.

— Ну и дети! — Ошеломленный Шау Хок не знал, сердиться ему или нет.

А недели через две сын вдруг снова объявился. Увидев его входящим в дом, отец саркастически хмыкнул.

— Что, Дак, не выдержал? Дома-то лучше?

— Вовсе нет, отец!

— Зачем же вернулся, если нет?

— Никак не хотели брать, у меня, оказывается, еще возраст не вышел. Пришлось долго просить, и наконец командование согласилось, если я принесу от тебя письменное разрешение.

— Что еще за разрешение?

— Бумагу, в которой будет написано, что ты согласен меня отпустить.

Так вот, значит, зачем он вернулся!

— И как же надо составлять такую бумагу?

— Она со мной, я уже написал текст, папа!

Сын вытащил из кармана маленькую полоску бумаги, поднес ее к пламени коптилки — Шау Хок отчетливо помнил, что это было блюдечко со свиным салом, в котором плавал фитиль, — и начал читать вслух:

Обязательство

Я, нижеподписавшийся Чэн Ван Хок, согласен на вступление моего сына Чэн Тан Дака, пятнадцати лет, в отряд самообороны для борьбы с врагом и защиты Родины. Если он падет в бою от вражеской пули, я буду гордиться, что мой сын отдал жизнь за Родину.

Чэн Ван Хок

20.12.1945

Закончив чтение, сын протянул ему документ:

— Подпиши, отец!

Если бы в обязательстве говорилось только о согласии, Шау Хок не колебался бы. Но там было предупреждение о возможной гибели сына, и воображение отца живо представило своего пятнадцатилетнего мальчика на поле боя, окровавленного, зажимающего рукой смертельную рану... Дак был младшим в семье, да и рос без матери — она умерла вскоре после его рождения. Шау Хок почувствовал, что сердце его дрогнуло, а на глаза навернулись слезы.

Некоторое время отец и сын смотрели друг на друга, один испытующе, другой с надеждой. Наконец Шау Хок нарушил молчание:

— Ты знаешь, как выглядит моя подпись?

— Да, отец.

— Сумеешь расписаться за меня?

— Конечно.

— Тогда расписывайся.

Лицо сына внезапно осветилось радостью, глаза засверкали. Он будто хотел сказать: «Так просто, значит? А я и не знал! Выходит, мог бы и не приходить!» Затем Дак обмакнул перо в чернила и не колеблясь расписался. Подпись вышла не очень похожая, но красивее, чем расписывался сам отец.

— Пойдет так?

— Пойдет.

Сын сложил бумагу, спрятал ее в карман и склонил голову в

прощальном поклоне:

— Теперь я должен идти, папа!

— Так прямо сию минуту и должен? — В голосе отца неожиданно для него самого снова прозвучало раздражение. — Остайся до завтра. Утром сестра напечет в дорогу лепешек, тогда и пойдешь!

— Извини, папа, но товарищи ждут меня за околицей, — Он снова наклонил голову. — Прощай. Прощай и ты, сестра!

— Ты только посмотри на его довольную физиономию, — сказал отец, обращаясь к дочери.

Однако Дак уже выскочил за дверь и был таков.

— Пострел, погибели на него нет, — ласково проворчал ему вслед Шау Хок.

Разве мог он в ту минуту подумать, что тридцать лет не увидит сына? Часть, в которой служил Дак, вскоре перебросили далеко на запад. А когда были подписаны Женевские соглашения и кадровые работники уходили на Север, он прислал за отцом человека, чтобы хоть один раз повидаться перед новой разлукой. Путь оказался долог и труден, и они запоздали. Стоя на причале, Шау Хок смог лишь посмотреть вслед пароходу, который выходил в открытое море, увозя сына и его товарищей на Север.

Впоследствии Шау Хок не раз раскаивался, почему тогда он не расписался сам. Не захотел проявить достаточного уважения к сыну, решил лишний раз напомнить, что в глазах отца он просто мальчишка, затеи которого нечего принимать всерьез. Теперь же приходится испытывать укоры совести. И еще никак не мог понять, что заставило сына уйти из семьи и самоотверженно вступить в борьбу. В пятнадцать лет разве понимаешь жизнь по-настоящему, разве способен принимать продуманные решения? А Дак действовал без тени колебания и сожаления, будто отлично знал, как надо поступать...

Поэтому Шау Хок ждал ответа с таким же волнением, как и все остальные. Вопрос, который задал его сыну бакалавр Хай, был неожиданным, но простым. Полковник медленно встал и посмотрел в сторону реки. Там возле берега, поднимаясь над вершинами деревьев, виднелась металлическая мачта высоковольтной сети с остроконечной верхушкой.

— Когда я был еще совсем мал, — заговорил Дак, — однажды утром поднялся переполох. Я услышал шум, крики, стрельбу. Народ бежал к реке, и я тоже побежал вместе со всеми. Там я увидел поразительное зрелище: красное знамя с золотой звездой, и это знамя реяло в воздухе прямо над

рекой. Я не видел ни флагштока, ни веревок, казалось, оно держится каким-то волшебством. Люди волновались, я ничего не мог понять, но меня тоже охватило радостное возбуждение.

Это был 1940 год, когда в здешних краях началось восстание. Старые люди помнят, как в нашу деревню вскоре ворвались солдаты, жгли дома, хватали людей. Многих сослали в каторгу на остров Кондао. Знамя исчезло, и сердце мое сжала тоска. Но с этого времени постепенно я начал кое-что понимать, хотя был еще совсем ребенком. Понял, что нас превратили в рабов, что наша Родина во власти захватчиков. Понял, что люди, сосланные на каторгу, — это патриоты, а знамя, которое я видел над рекой, — это знамя Родины...

Полковник умолк на мгновение, чтобы перевести дыхание. Он еще не кончил говорить, но бакалавр Хай перебил его:

— Теперь мне ясно, почему ты тогда ушел, почему дело, за которое ты боролся, победило. Спасибо тебе!

И взволнованный старик склонил перед полковником голову, как бы благодаря его от имени всей деревни, как благодарят человека, выполнившего свой сыновний долг.

Гости ушли, и отец с сыном остались наедине. Наступила минута, о которой старый Хок давно мечтал: сейчас он обстоятельно расспросит сына. Прежде всего, есть ли у него жена и дети, потом о боевых делах. Но когда Хок заговорил, первый его вопрос неожиданно оказался совсем другим.

— А ты знаешь, кто повесил тогда красное знамя?

— Откуда же мне знать, отец, я был тогда совсем мал.

— Тогда пойдем в деревню, навестим старого Тина.

В этот момент в комнату вошла сестра. Брат помнил ее юной восемнадцатилетней девушкой, а сейчас у нее уже были внуки! Только взгляд и улыбка напоминали о далеком прошлом. В глазах женщины стояли слезы, будто она только сейчас увидела своего младшего братишку.

— Сегодня зарежем свинью и устроим праздничный ужин для всей деревни.

— Не нужно никаких торжеств, сестра!

— Нельзя иначе! Несколько лет назад, когда наш отец был тяжело болен, я дала обет. Если отец выздоровеет и семья снова соберется вместе, я сбрею волосы на голове, как настоящая буддийская монахиня, и принесу в жертву свинью. — Она смущенно засмеялась и посмотрела на брата, как бы желая сказать: «Знаю, конечно, что ты не веришь в обеты, но раз обещано, слово надо сдержать». Хай сняла платок и показала голову,

покрытую короткими завитками:

— Побрилась я сразу же после Освобождения, видишь, волосы уже немного отросли. Осталось зарезать свинью. Сейчас, когда ты вернулся, самое подходящее время.

Полковник Дак посмотрел на сестру, на ее коротенькие волосы, морщинистое лицо со следами перенесенных лишений, и не сумел удержать слез.

— В тот год отец сильно хворал, — снова заговорила Хай, — думали, тебя не дождется.

Муж Хай — он ловил во дворе свинью — зашел в дом и присоединился к разговору. Характер у него был живой и общительный, он поминутно смеялся, показывая выщербленные зубы.

— Сейчас расскажу все подробно, только смотри не рассердись, — перебил он жену. — Отца срочно требовалось доставить в больницу, а в здешнем захолустье разве найдешь ночью рикшу или повозку? Пришлось как следует угостить нашего лейтенанта и, когда тот совсем размяк, просить у него служебный джип. Я вернулся с машиной, и вместе с женой мы вынесли из дома отца. Так что бы ты подумал? Узнав, что ему делает одолжение офицер марионеточной армии, старик наотрез отказался ехать в больницу! Как его только не уламывали — все без толку. Наконец, я веско сказал: «Если вы не попадете в больницу, Дак вернется и уже вас не застанет, неужели вы этого хотите?» Хай слезами исходит, упрасивает, чтобы ехал, а отец уперся — и ни в какую! Знаешь, что он тогда нам ответил? «Если я останусь жить благодаря милости врага, какими глазами буду глядеть на сына? А уж если суждено умереть, разве умрешь спокойно, лежа в этой проклятой машине?» Так и не поехал!

— Я ничего не напутал, отец? — воскликнул рассказчик, поворачиваясь к старику.

Шау Хок смутился и покраснел. Он улыбнулся, а затем невозмутимо заговорил о другом, желая, очевидно, пресечь этот разговор.

— Уже стемнело, а мы все сидим болтаем. Ступай-ка на кухню, — обратился он к зятю, — а нам с сыном надо еще успеть к старому Тину.

— Кто этот Тин?

— Тин Дао, кто же еще!

С этими словами старик проворно надел брюки, накинул на плечи куртку и вышел за дверь.

Вечером дирекция местной школы узнала, что завтра к ним приедет бывший ученик, полковник Чэн Тан Дак. Молодой директор,

взволнованный высокой честью, срочно созвал педсовет, на котором был продуман план встречи и распределены поручения. Школьников задержали после уроков убирать в классах и подготовить встречу. Они разошлись по домам, когда уже стемнело. А один из учителей, который среди коллег считался самым начитанным, всю ночь трудился над составлением приветственной речи и завершил свою работу уже после первых петухов.

Утро следующего дня началось как обычное будничное утро, но школа выглядела по-праздничному. Двор был чисто выметен. Побелить стены, правда, не успели, но они были зато разукрашены кумачовыми знаменами и плакатами. Ученики пришли в парадной форме — синих штанах и белых рубашках, чисто отмытые и опрятные. Все без исключения учителя и ученики были радостно возбуждены и с нетерпением ждали гостя. Назначенный час еще не наступил, а они уже построились правильными рядами в школьном дворе. Каждый ученик держал в руке флажок.

Машина остановилась возле ворот. Как только гости ступили на землю, школьный оркестр, состоявший из аккордеона, гитары и мандолины, грянул гимн «Освободим Юг».

Полковник приехал в школу не один. С ним были его отец и Тин Дао, самый старый человек деревни, перешагнувший за восемьдесят. Согбенный, белый как лунь старец, опираясь на палку, первым вошел в ворота. Увидев, что почетных гостей больше, чем ожидалось, учителя захлопотали. Одни бросились к старцу и подхватили его под руки, другие побежали за недостающими стульями, чтобы поставить их возле вынесенного во двор длинного, накрытого белой скатертью стола.

Сотни горящих глаз устремились на полковника. Чэн Тан Дак не стал надевать парадную форму. Гимнастерка цвета хаки, фуражка со звездочкой... Только грудь сверкала многочисленными орденами. Громко звучала музыка, дети восторженно размахивали флажками, аплодисменты и приветственные крики не умолкали до тех пор, пока гости не опустились наконец на приготовленные для них стулья.

Полковник Дак, которому по долгу службы не раз приходилось инспектировать войска и обходить шеренги бойцов, еще ни разу не чувствовал такого волнения. Разве можно было остаться спокойным, столкнувшись с этим бурным и непосредственным выражением чувств, видя свежие лица детей, их сияющие глаза, слыша их восторженные возгласы? С каким упоением размахивали они зажатыми в маленьких ручонках флажками! Слезы потекли из глаз Дака, когда он поднял руку для ответного приветствия.

После того как гости были официально представлены, слово получил учитель, всю ночь трудившийся над приветственным адресом. В сером костюме с красивым галстуком, серьезный и торжественный, он подошел к маленькому столику, на котором стоял микрофон.

— Уважаемый товарищ полковник, — взволнованно начал учитель, — почтенные старцы, дорогие учителя и дети!..

У оратора был старший брат одних лет с полковником, в прошлом ученик этой же школы. Он тоже ушел на войну, но не вернулся. Сегодня, приветствуя полковника, молодой учитель вдруг вспомнил о погибшем брате, и голос его задрожал от волнения.

— ...В нашей школе много лет назад учился полковник, учились и другие бойцы революции. В ее стенах они выросли и возмужали. Отсюда ушли они в бой за спасение нашей Родины. И вот сегодня мы все собрались здесь, чтобы приветствовать одного из победителей...

Учитель на секунду умолк, и тотчас же вновь грянула музыка, замелькали флажки, приветственные крики огласили воздух.

— Сегодня наша школа, — закончил свою речь учитель, — одна из школ Социалистической Республики Вьетнам, безмерно счастлива и горда тем, что на ее долю выпала честь приветствовать одного из славных воинов страны, полковника Чэн Ван Дака.

И снова раздалась музыка, дети опять замахали флажками и закричали. Из рядов школьников вышла девочка лет двенадцати, повязанная красной косынкой. Подбежав к главному гостю, она протянула ему обеими руками цветочную гирлянду. Угадав желание девочки, полковник нагнулся, давая ей возможность собственноручно увенчать его цветами. Гирлянда была сплетена из роз, и трудившиеся над ней мастера, не очень-то доверяя символике, добавили еще ленту, на которой красивыми буквами было выписано: «Венок почета».

Дождавшись, когда аплодисменты наконец смолкли, полковник заговорил. Он стоял в непринужденной позе, и «венки почета» по-прежнему висел у него на шее, закрывая ордена на груди, но осанка сразу выдавала кадрового военного. Звучным и неторопливым голосом он принялся рассказывать, почему ушел на войну добровольцем, рассказал, как в тысяча девятьсот сороковом году впервые увидел красное знамя, знамя восстания, напомнил детям, какие тяжелые дни переживала тогда Родина, растоптанная сапогами захватчиков.

— Теперь я знаю, — говорил полковник, — что один из коммунистов, красильщик из соседней деревни, залез на мачту электролинии. Он принес с собой знамя Родины — огромное красное полотнище. Знамя было

прикреплено к длинной тонкой палке, на каждом конце которой была накручена проволока, так что кончики этой проволоки торчали в разные стороны. Забравшись на самую верхушку мачты, он приложил палку к проводу и согнул концы проволоки навстречу друг другу, получились кольца. А затем сильно толкнул палку со знаменем вперед. Она скользнула по провисшему проводу до самой середины реки, и там, подхваченное ветром, знамя развернулось... Рабочего никто не заметил, потому что была темная глухая ночь, такая же темная и глухая, как иго колонизаторов. Но наутро знамя гордо реяло над рекой, и у тех, кто на него смотрел, пробуждались в груди патриотические чувства.

Дорогие дети! Этот рабочий был сослан на Кондао. Он вернулся домой через пятнадцать лет, уже после победы Революции. Но где бы он ни был: в тюрьме или на свободе, в годы, когда шла борьба с французскими колонизаторами, и после, когда мы сражались против американцев и их марионеток, этот товарищ никогда не забывал о своем великом долге коммуниста, всегда честно и добросовестно выполнял порученное ему дело, отдавая для этого все свои силы. Именно его я считаю своим первым революционным учителем. Только благодаря таким, как он, мы увидели сегодняшний день, день славы нашей Родины.

Полковник умолк, собираясь с мыслями.

— Дорогие дети, вы знаете, кто этот рабочий — коммунист? Великое счастье, что он дожил до победы, до дня нашего торжества. И вам выпало счастье, вы можете встретиться с этим человеком, собственными глазами увидеть одного из тех, кто сеял зерна революции. Этот коммунист — товарищ Тин!

И, повернувшись к старцу, он помог ему подняться на ноги. Учителя и ученики были ошеломлены, а затем двор взорвался бурными аплодисментами.

— Дорогие дети, — сказал в заключение Чэн Тан Дак, — мы все знаем поговорку: «Когда ешь плоды, помни о том, кто посадил дерево». Позвольте же мне передать этот венок почета товарищу Тину!

Перевод с вьетнамского И. Быстрова

Хоай Ву

Журналист из сайгонской литературной газеты, поэт и новеллист Хоай Ву родился в 1935 году. Его разностороннее дарование в полной мере раскрылось в годы войны против американской агрессии. По заданиям редакции — а они следовали одно за другим — Хоай Ву объездил всю страну, бывал в частях регулярной армии и на партизанских базах. Естественно, что от литератора газета, а вместе с ней и многочисленные читатели ждали описания событий с мест, свидетельства очевидца. Собственно, это и определило манеру подачи всего виденного своими глазами: Хоай Ву прибегает к наиболее оперативному жанру в современной журналистике — очерку.

Именно к этому жанру, емкому, документальному, доходчивому, обычно небольшому по объему, обращались чуть ли не все иностранные корреспонденты из социалистических стран и стран Запада, которым приходилось бывать в разные годы на земле героического сражающегося Вьетнама.

Верно, что газетный очерк, как правило, живет недолго: он уходит в прошлое вместе с газетным листом. Но столь же справедливо и то, что он уносит с собой наиболее отличительные приметы времени, детали конкретных событий, людей, которые прославили себя в ожесточенных боях или же в работе на тыловом предприятии под непрерывной бомбежкой. Не случайно газетными подшивками пользуются историки и писатели, ученые и общественные деятели, черпая в них то, чего уже сейчас, спустя десятки лет после тех или иных знаменитых событий, больше нигде не найдешь.

Хоай Ву со своими очерками и рассказами относится к тем работоспособным и беспокойным, непоседливым журналистам, которые сообща, коллективно создали летопись первого в Юго-Восточной Азии социалистического государства рабочих и крестьян, страны, которая значительный период в своей новой истории развивалась в условиях войны. Эту особенность выпукло и правдиво отражают очерки замечательного вьетнамского журналиста.

Некоторые произведения Хоай Ву появлялись и раньше на русском языке. Рассказ «Бамбуковая флейта», как мы полагаем, предоставит советскому читателю возможность более полно ознакомиться с творчеством талантливого вьетнамского писателя-публициста, который,

как говорится, на малой площади может показать глубокие явления, связанные с беззаветным служением всего народа — буквально от мала до велика — своей социалистической Родине.

Н. Хохлов

Бамбуковая флейта

Когда я собрался в Ниньбинь, Нам, зная, что я не здешний, надавал мне кучу советов. Нам работал в органах безопасности, а прежде, в годы подполья, был одним из руководителей уезда.

Он вручил мне командировочное предписание, крепко пожал руку и на прощанье ободряюще сказал:

— Тревожиться вам не о чем. Идти здесь не очень далеко, а в проводники дадим Чьонг Дая, он доведет почти до самого места, и, если в пути наткнетесь на патруль, на этого парня вполне можно положиться.

Простившись с Намом, я отправился прямо в дом проводников. Настроение у меня было отличное. Нам рассказал, что партизанское движение в районе снова набрало силу, и хотя враг понастроил вдоль дорог и в деревнях немало огневых точек, земля вокруг фактически была под нашим контролем. Радовался я и тому, что на этот раз у меня есть постоянный попутчик, — значит, в дороге не будет так тоскливо и одиноко.

Почему-то я сразу решил, что проводник непременно окажется крупным и рослым, настоящим богатырем. Одно его имя вселяло бодрость в того, кто, подобно мне, не может похвастаться физической силой. Ведь Чьонг Дай значит «Несокрушимый», и я подумал, что это, должно быть, официальное имя, которое записано в документах, а товарищи, наверное, наградили его сходным прозвищем и кличут «Силачом» или «Богатырем».

Рассмеявшись при этой мысли и уже более ни о чем не беспокоясь, я вошел в ворота домика, спрятавшегося в зарослях бамбука. Начальник охраны взял письмо, быстро прочел его и, широко улыбаясь, пододвинул ко мне стул. Но в ответ я лишь рассеянно кивнул, так как мое внимание сразу приковал рослый плечистый парень, который укладывал вещмешок и перебрасывался шутками с товарищами. Все с восхищением слушали его рассказ о рукопашной схватке с американцами из отряда спецназначения. Описывая боевые эпизоды, парень выразительно потрясал мускулистой рукой, и его загорелая кожа блестела, как начищенная медь. Мне даже

казалось, что во время рассказа он то и дело поглядывает на меня, как будто желая сказать: «Не робей, со мной не пропадешь!»

И в то самое время, когда я любовался молодым парнем, почему-то сразу поверив, что он и есть мой будущий проводник, чья-то рука легко коснулась моего плеча, и я услышал звонкий детский голос:

— Дяденька, вечером в путь, собирайтесь!

Я вздрогнул и обернулся. Позади меня стоял мальчик лет двенадцати, напоминавший своим телосложением худосочный стебелек риса. Костлявое лицо обтягивала бледная до прозрачности кожа. Он был в коротких штанах и без рубашки, поэтому впалая грудь и худые, как спички, ноги были особенно заметны. Лицо, однако, было живое и смышленное. Задорно вздернутый нос, казалось, ловит ветерок с полей своими широкими ноздрями. У мальчика были круглые блестящие глаза под высоким выпуклым лбом и густые жесткие волосы.

Я с интересом разглядывал мальчика, должно быть потому, что редко приходилось общаться с детьми. А тот, не обращая более на меня внимания, уселся, вытащил из-за пояса бамбуковую флейту и приложил ее к губам. Я решил, что это сын хозяина дома, где расквартирована охрана. Ее начальник, вероятно, куда-то ушел и, опасаясь, как бы я не опоздал, прислал за мной сынишку хозяина. Вспомнив о проводнике, я попросил мальчика:

— Сбегай-ка позови товарища Чыонг Дая, мне надо с ним поговорить.

Я снова стал смотреть на крепкого парня, который сидел под бамбуком, поглощенный беседой, а когда оглянулся, увидел, что мальчик никуда не ушел. Тогда я сердито повторил просьбу.

Мальчик заткнул флейту за пояс, робко посмотрел на меня и сказал:

— Я и есть Чыонг Дай. Чего нужно, дяденька?

— Вот тебе и на! — воскликнул я с удивлением и хлопнул его по колену, а потом откинулся назад в безудержном хохоте. Выходит, этот карапуз и есть тот самый «Несокрушимый». Все мои прекрасные мечты о могучем воине, рожденные этим именем, рассыпались прахом.

Должен сказать, что, несмотря на смех, в глубине души я был раздосадован. Бедняга мальчик, конечно, не понял причины моего хохота, но с готовностью рассмеялся следом. Мало того, он добродушно похлопал меня по плечу и даже похвалил!

— А ты, дяденька, я вижу, веселый, это хорошо. Когда идешь в тыл врага, нужно быть бодрым.

В тот же вечер мы с Чыонг Даем двинулись в путь. Настроение у меня было далеко не такое, каким оно казалось моему проводнику. Поглядывая

на тщедушную фигурку мальчика, шагавшего впереди, я не мог избавиться от чувства тревоги и беспокойства. Мне захотелось поговорить, и я ускорил шаги, чтобы поравняться с ним, но мальчик тоже пошел быстрее, а потом вдруг свернул с дороги к зарослям тростника на холме. Там он повернулся ко мне, снял с плеча автомат и, вытянувшись по стойке «смирно», отчеканил:

— Прошу вас, товарищи, соблюдать порядок и тишину. Сейчас мы огласим инструкцию, как положено себя вести во время марша.

Странное обращение во множественном числе и торжественный вид мальчика едва не заставили меня расхохотаться, но, не понимая, что он затеял, я сдержался, присел и стал слушать. Мальчик говорил недолго и не сказал ничего нового для меня. Нельзя было курить и разговаривать во время марша, надо было помнить пароль, не отставать от проводника и что бы ни случилось — немедленно сигнализировать.

Отбарабанив текст инструкции наизусть, как заправский оратор, мальчик деловито откашлялся и спросил:

— Будут ли вопросы, товарищи?

Я отрицательно покачал головой. Тогда он молча вскинул на плечо автомат и опять куда-то зашагал. Мне показалось, он еще что-то затекает, но мы всего-навсего вышли на старую дорогу. Я почувствовал легкое раздражение. Впрочем, может быть, здесь действительно опасно и запрет разговаривать вызван необходимостью? Однако, отойдя немного, мальчишка вдруг вытащил флейту и поднес ее к губам. Воздух огласила серия довольно беспорядочных звуков, в которых не было ни ритма, ни мелодии. То длинные, то короткие, они разносились далеко вокруг над пустынными полями. Я догнал своего проводника и встревоженно потянул его за край рубашки.

— Что случилось? Чего это ты так расшумелся?

— Да ничего, просто поиграть захотелось.

Я успокоился, но тут же со злостью спросил:

— Чего же ты тогда таскал меня в кусты оглашать свою инструкцию? И по дороге можно было рассказать! Без толку ходить взад и вперед — только силы тратить...

— Это начальство установило такое правило для проводников.

— Но ведь ты ведешь меня одного, а не целый отряд, зачем же соблюдать правила так буквально?

— Иначе нельзя! Пусть вы один, а все равно считается, что группа, — не раздумывая ответил мальчик и продолжал насвистывать.

Мне осталось только вздохнуть и втайне пожелать себе поскорее

добраться до места назначения, чтобы там отделаться от мальчишки.

На ночь мы забрались в покинутый шалаш. Вокруг простирались рисовые поля. Холодный осенний ветер пронизывал до костей. Если бы не мысль об опасности, я зарылся бы в солому с головой и проспал до утра. Но сейчас не спалось. В одиннадцать часов вечера из города на встречу с нами должен был прийти человек. Но никто не появился. Где-то впереди за пеленой тумана лежала деревня. Оттуда доносился далекий лай собак, а дежурящие в доте вражеские солдаты, подбадривая себя, время от времени посылали наугад в темноту пулеметные очереди.

— Послушай-ка, — спросил я у Чыонг Дая, — что будем делать, если из Ниньбиня никто не придет?

— Придется вернуться, раз не пришли — значит, что-то случилось.

— А ты никого не знаешь в этих местах?

— Как же, многих знаю. Ближе всех тетушка Льеу. Она живет в километре отсюда в начале деревни, там, где высокая пальма. Только идти к ней опасно, неизвестно, где сейчас ходит патруль.

Мальчик погрузился в раздумье, время от времени прихлопывая москитов. Внезапно он поднялся и вылез из шалаша осмотреться. Спустя мгновение он вернулся и сказал мне:

— Посидите здесь, а я схожу на разведку. Главное — не усните. Если тревога, уходите вот туда...

Он потянул меня наружу и указал вправо от шалаша, а потом шепнул на ухо:

— Услышите крик птицы — не удивляйтесь. Это я буду давать сигнал на флейте.

Он сунул флейту за пояс, проверил оружие и бесшумно шагнул прочь. При виде исчезающей в тумане маленькой фигурки я почувствовал острую тревогу за мальчика, торопливо побежал следом и схватил его за рубашку.

— Постой, Чыонг Дай, пойдем вместе!

— Что вы! По правилам не разрешается.

— Ты, может быть, думаешь, я стрелять не умею?

— Никто не говорит, что не умеете, а только сейчас это не ваша работа, понимаете?

Тон мальчика был суровым, но потом, чтобы не обидеть меня, он тряхнул мне руку, озорно улыбнулся и побежал. Легкие шаги постепенно замерли вдали, и вскоре тишину нарушало только кваканье лягушек. Вначале то одна, то другая подавали одиночные голоса, а затем вдруг сразу вступал тысячеголосый хор. Съежившись в шалаше на куче соломы, я напрягал слух, чтобы расслышать среди этой одуряющей какофонии шаги

Чыонг Дая. Страшно хотелось курить. Я уже полез было за кисетом, но вспомнил о запрете. Тогда я встал, расправил затекшие руки и ноги и вылез из шалаша оглядеться. Вокруг по-прежнему была тьма, и лишь где-то вдали мерцало несколько огоньков, должно быть, фонари на утиных загонах. Смотреть на них было все же приятнее, чем сидеть в полной темноте.

— Тит... тиу, тит... тиу, — донеслось вдруг издалека. Голос ночной птицы был чистым и звонким. Я удивился, потому что эти птицы начинают петь, когда рис желтеет, а на деревьях созревают плоды, но потом сообразил, что это — флейта Чыонг Дая. Он вызывал встречного проводника. С замиранием сердца я ждал ответного звука, но слышалось только кваканье. Я так и не понял, сумел ли Чыонг Дай связаться с проводником, но мне стало спокойнее уже оттого, что вслед за звуками флейты не последовали выстрелы. Значит, мальчику удалось проскользнуть мимо патрулей! Я с облегчением вздохнул, откинулся на солому и стал смотреть на звезды, мерцавшие в высоте.

Вдруг с рисового поля левее шалаша донесся какой-то странный звук. В воздух с тревожными криками взметнулись птицы. Еще громче заквакали лягушки. Я вскочил и, зажав в руке гранату, стал осматриваться. По-прежнему было совершенно темно и невозможно ничего разглядеть, но все отчетливее доносились всплески и чавкающие звуки, как будто кто-то шел по воде. Чыонг Дай? — мелькнуло у меня в голове. Но темноту внезапно прорезал яркий электрический луч. Он несколько раз скользнул по сторонам, а потом лег прямо перед шалашом, высвечивая кучу соломы и несколько снопов на краю поля прямо передо мной. Я бросился ничком и боялся пошевелиться, чтобы не быть замеченным.

— Эй, вьетконговцы! — раздался вдруг грубый голос. — Утиных яиц не найдется? Тащите сюда, закусим вместе!

— Выходите, не стесняйтесь! — вторил ему другой голос, потоньше. — Согрейтесь стаканчиком. Хе...хе... не сладко небось шататься холодными ночами?

Послышался взрыв смеха. Луч света продолжал обшаривать все вокруг, но шагов больше не было слышно. Видимо, патруль побаивался идти дальше. Я сжимал гранату. Стоит мне сейчас метнуть ее — и события развернулись бы очень быстро... Затем, уловив момент, когда луч ушел за кучу соломы, я быстро отполз за сноп, откуда удобно было наблюдать, оставаясь незамеченным. На меже примерно в сотне метров маячило несколько фигур. Солдаты о чем-то переговаривались. Наконец один из них громко крикнул, разыгрывая досаду:

— Ну, идем, что ли... Видать, не хотят они с нами знаться.

— Ладно, пошли, — отозвался другой, — счастливо оставаться, вьетконговцы!

Луч света скользнул в сторону деревни. Шлепающие шаги стали удаляться. Я по-прежнему не шевелился, напряженно прислушиваясь. После нескольких минут тишины с межи снова донесся еле уловимый звук. Шорох. Бульканье. Опять тихо. Потом в темноте замаячили неясные тени: ну конечно, сделали вид, что ушли, а теперь подкрадываются, рассчитывая застать врасплох. Я отполз за бугорок, готовясь подпустить врагов поближе, а потом швырнуть гранату и броситься прочь. Но едва солдаты появились возле шалаша, из темноты по ним грянула автоматная очередь. Спасаясь от пуль, солдаты с шумом попадали прямо в воду.

— Ох, убили!

— Вьетконговцы, лейтенант!

— Чего орешь, болван?! Стреляй!

Продолжая вопить каждый свое, враги открыли беспорядочный огонь по тому месту, откуда раздалась очередь. Красные цепочки трассирующих пуль прошивали воздух над полем. Зная, что там мой проводник, я бросил гранату, чтобы отвлечь врага и сбить его с толку, а затем, прячась за полосой тростника, побежал в направлении, указанном ранее Чыонг Даем. Отбежав довольно далеко, я услышал где-то поблизости знакомый крик птицы.

Я обернулся, увидел, что над межей возник чей-то силуэт, и стремглав бросился к нему. Это оказался Чыонг Дай. Шагнув навстречу, он сразу пригнул меня к земле.

— Ложитесь! Стреляют ведь...

Едва я успел последовать его совету и прижался к земле, прямо надо мной просвистело несколько пуль, меня даже в жар бросило. Я приподнял голову, но Чыонг Дай уже куда-то исчез. Оглянувшись, я увидел его шагах в тридцати. Он поставил на меже сноп соломы, который в темноте можно было принять за человека, выпустил в сторону врага еще одну автоматную очередь и быстро вернулся ко мне.

— Теперь скорее бежим!

Я бросился вслед за мальчиком, а на место, с которого мы только что ушли, обрушился целый град пуль. Слышалось тяжелое шлепанье солдатских сапог и голоса:

— Не стреляйте, возьмем живьем!

— Заходи с флангов, иначе удерут!

Сердце мое бешено стучало. Догнав Чыонг Дая, я взволнованно

схватил его за плечо. Но тот как ни в чем не бывало передал мне свою флейту.

— Подержите-ка, все идет как надо, нечего беспокоиться...

Мы отбежали еще немного. Мальчик внезапно остановился, лег и прижал ухо к земле.

— Ничего не слышите?

Он вскочил, притянул меня к себе и указал в сторону шалаша. Среди треска очередей до нас вдруг донесся хриплый крик:

— Эй, хватит стрелять! Эти сволочные вьетконги опять обвели нас вокруг пальца!

— Что такое, лейтенант?

— А то, что стреляли по куче соломы, идиоты несчастные!

Охваченный радостью, я сильно сжал руку мальчика и улыбнулся ему в темноте. Я торопил его уходить, пока враги были в замешательстве, но Чыонг Дай не двигался с места и продолжал прислушиваться. На его лице было написано напряженное ожидание. Не понимая, в чем дело, я молча потянул его за руку. В ответ, не говоря ни слова, он пригнул меня к земле. Вскоре стало слышно, что враги бредут по воде, двигаясь прямо на нас. Я сильно ущипнул Чыонг Дая за ногу, чтобы он обратил наконец на меня внимание, но мальчик даже не обернулся, он часто и взволнованно дышал.

И вдруг один за другим грянули два взрыва. Вражеские солдаты с паническими воплями бросились врассыпную, а Чыонг Дай вскочил и, схватив меня за руку, бросился бежать. Тяжело дыша, он ронял на бегу отрывистые восклицания:

— Здорово получилось... Вот это действительно здорово!

— Это как же, — спросил я, — выходит, они гранатами по своим?

Мальчик остановился и потянул мою руку к своему поясу, чтобы я его ощупал. Привязанные к нему самодельные партизанские мины исчезли. Я услышал удовлетворенный смешок и только тогда понял, что произошло.

— Ты подложил их у шалаша?

— Нет, под снопом. Жаль, только две штуки было! Еще бы несколько, тогда бы я их всех уколошил и обратно можно было бы идти не таясь, хоть среди бела дня! — Сказав это, Чыонг Дай взял у меня флейту, поднес ее к губам, дунул, а затем снова засунул себе за пояс.

В последние дни моей работы в Ниньбине вся округа была взбудоражена неожиданной новостью. Как обычно, первыми ее услышали те, кто пришел на рынок. Там пронесся слух, что американские приспешники захватили какого-то партизана, совсем еще мальчика,

привезли его в одну из деревень и выставили на рынке, чтобы публичными издевательствами над ним запугать народ.

...Рассказывали, что утром в базарный день, когда площадь была заполнена народом, раздался оглушительный вой сирены, и солдаты в пятнистых комбинезонах оцепили рынок. Действуя прикладами, они согнали всех людей в одно место. С полицейской машины оглушительно надрывался рупор:

— Именем республики приказываем всем собраться к воротам! Сейчас будет открытый суд над отъявленным вьетконговцем!

Рынок уже много лет служил местом публичных расправ над патриотами, и каждый раз сердца честных людей сжимались от гнева и горечи. Никому не хотелось присутствовать при этих зрелищах и молча наблюдать, как мерзавцы пытаются лучших сынов народа. Но плетки свистели над головами, а дула винтовок были направлены прямо в грудь.

— Марш! Марш! Пошевеливайтесь!

В разгар суматохи подъехала еще одна полицейская машина с закрытым кузовом и остановилась перед воротами. Двое солдат выволокли оттуда мальчика лет двенадцати и поставили на заранее сколоченный деревянный помост, обнесенный колючей проволокой.

На мальчике были только рваные трусы, все тело его покрывали ссадины и кровоподтеки, сквозь небрежно наложенные повязки проступала кровь. Видно было, что ему подпаливали волосы на голове. Голова тоже была разбита и окровавлена, щеки — покрыты свежими кровоподтеками, разбитые губы вспухли.

Подвергнув мальчика стольким истязаниям, они все же боялись, что жертва их убежит. Поэтому они привязали его к машине и выставили вооруженную охрану. Пленник, несмотря на все это, держался мужественно. Казалось, он не замечал своих палачей, которые суетились вокруг, проверяли веревки, которыми он был связан, колючую проволоку и даже заглядывали под помост. Не замечал он и своих ран, крови, которая сочилась отовсюду и запеклась на тонких детских ногах. Взгляд мальчика был устремлен вдаль, в просторное голубое небо, по которому плыли облака, на зеленую вершину стройной кокосовой пальмы, которая шевелилась от ласкового дуновения ветерка.

— Ну что, насмотрелся? — с издевательским смехом спросил офицер с лошадиным лицом, выйдя из-за помоста. Он остановился, помахивая стеклом, и искоса поглядывал на мальчика.

Маленький пленник ничего не ответил, даже не взглянул на него. Разозленный офицер шагнул вперед и, выпятив подбородок, визгливо

выкрикнул:

— Отвечай, сопляк!

Только тогда мальчик бросил на него презрительный взгляд и отчетливо проговорил:

— Научись сперва вежливо разговаривать, если хочешь, чтобы тебе отвечали!

Толпа зашумела. Послышался плач женщин, а мальчишки насмешливо захохотали. Офицер осыпал народ яростной бранью и, выхватив кинжал, угрожающе направил его в лицо пленника.

— Эй ты! На колени!

— Я привык стоять во весь рост, не умею ползать на коленях, как ваша шайка!

— Нечего строить из себя героя! Вот вспорю брюхо и посмотрю, велика ли печень: хватит ли храбрости ответить за убийство двух солдат республики и американского советника?^[24]

В ответ на угрозу мальчик только презрительно усмехнулся уголками рта. Глаза его вспыхнули. Он обвел взглядом толпу, которая росла с каждой минутой, и громко сказал:

— Этот сукин сын доложил вам, что я сделал, но не совсем правильно...

— Что же я неверно сказал? — подскочил к нему офицер.

— А то, что в этом бою я убил не одного, а двух американцев, и никаких не советников, а агрессоров!

Голос мальчика звенел, и худенькое тельце дрожало от ярости. Подскочили солдаты, щелкая затворами, и направили ему в грудь винтовки. Чувствуя, что трагическая развязка близка, толпа еще более заволновалась. Крики «долой!» потрясли воздух. Коромысла и кувшины полетели в сторону врага.

— Прекратите убийство!

— Спасайте нашего мальчишку!

Вокруг помоста, захватывая даже тех, кто был за оградой рынка, внезапно забурлил разъяренный людской поток. Люди напирали на солдат, расталкивали их, старались прорваться к мальчику. Испуганная охрана поспешно развязала веревки и толкнула пленника обратно в машину, которая, взревев мотором, тотчас умчалась...

Когда я услышал эту историю, мне захотелось разузнать о маленьком герое подробнее, но расспросы ни к чему не привели. Никто не знал его имени, и даже внешность описывали по-разному, возможно потому, что пытками и побоями он был изуродован до неузнаваемости. А может быть,

люди молчали, опасаясь навредить мальчику, если тот еще жив.

Что, если это был Чыонг Дай? Мой маленький проводник, отчаянный смельчак, ставший мне в ту ночь родным и близким? Именно так и должен был бы держаться Чыонг Дай перед лицом врага. Мои опасения возросли, когда он не пришел повидаться со мной, как обещал. Я работал в маленькой деревушке под самым носом у врага, связи с руководством не было, и я не мог проверить слухи. Я не знал, поджидает ли меня Чыонг Дай в Ниньбине, чтобы отвести обратно, когда задание будет выполнено.

Случилось так, что вскоре мне пришлось проходить мимо дома возле пальмы, о котором упоминал Чыонг Дай. Я вспомнил, что здесь живет тетушка Ты Льеу.

Тетушка оказалась женщиной немногим старше сорока лет, но выглядела совершенной старухой или как человек, который только что перенес тяжелую болезнь. Когда я назвался другом Чыонг Дая, ее лоб прорезали скорбные морщины и в глазах появилось выражение боли. Я начал было пересказывать рыночные слухи о мальчике, но выражение лица тетушки заставило меня умолкнуть. Я понял все. Женщина заплакала навзрыд, затем бросилась в каморку и вынесла оттуда вылинявший мешочек, еще со следами засохшей крови, и бамбуковую флейту. Один конец флейты был перевязан красным шнурком, на другом крупными буквами вырезано: «Чыонг Дай».

Тетушка рассказала мне, что нашла эти вещи в поле наутро после ожесточенной перестрелки. В ту ночь врагам удалось схватить Чыонг Дая.

Я взял в руки флейту, вышел вслед за тетушкой в сад и посмотрел на поле. Шалаш, возле которого Чыонг Дай дважды смело вступал в бой с врагами, виднелся вдали маленькой точкой среди безбрежного зеленого моря. Легкие порывы ветра доносили до меня стрекотание цикад, голоса птиц, шелест колосьев и дыхание нагретой солнцем равнины. Я стоял, охваченный странным чувством, в котором смешивались скорбь и гордость. Мне казалось, что среди звуков, доносящихся с равнины, я различаю едва слышные, но проникающие в самое сердце звуки флейты.

Перевод с вьетнамского И. Быстрова

Ма Ван Кханг

Ма Ван Кханг, родившийся в 1936 году, широко известен советскому читателю, как и другие вьетнамские писатели, представленные в этой книге.

По выбору материала, на основе которого вырастает художественное произведение, Ма Ван Кханг очень близок к своему товарищу по перу Нгуен Нгоку, также представленному в настоящем сборнике. И тот и другой уделяют большое внимание процессу становления новой жизни в ранее отсталых районах — в основном горных, населенных национальными меньшинствами. Писатель рисует перед читателем картину: две-три горы, на склонах которых — хижины лишь одной народности, насчитывающей две-три тысячи человек, а порой и меньше, и все внимание приковано именно к этой людской горстке. Теме становления принципиально новых взаимоотношений между представителями всех без исключения национальностей в социалистическом Вьетнаме посвящены книги Ма Ван Кханга «Сезон поздних слив», «Парень из рода Ханг», «Подкова», «Са Фу», «Лунная песня», роман «Ветер в джунглях».

Все эти и другие произведения Ма Ван Кханга играют важную роль в идейном воспитании гражданина обновленного Вьетнама, а также в той острой идеологической борьбе, которая ведется в настоящее время и которая вызвана активизацией пекинских гегемонистов. Как хорошо известно, нынешние китайские руководители отказывают многим народам Азии, в том числе и вьетнамскому, в способности к самостоятельному развитию, рассматривая их культуру и искусство как некую разновидность китайского начала. Идеал пекинских националистов — китаизация азиатского населения, насильственное насаждение языка, обычаев и, само собой разумеется, откровенно реваншистской идеологии современных китайских богдыханов. Пекин бредит «китайской» Азией...

Вопреки такому откровенному расистскому подходу, страны Азии развиваются по своим национальным законам, сохраняя свой язык, специфику каждого народа. Традиции каждой национальности, пусть самой малой, являются достоянием всей страны, и они должны влиться в общий поток вьетнамской истории, вьетнамской литературы и искусства. Вот это внимательное, заботливое отношение к малым национальностям проходит через все гуманистическое по своему содержанию творчество Ма Ван Кханга. В его новеллах мы встречаем записанные им самим легенды и

сказания, песни и поговорки горных жителей.

Новеллы Ма Ван Кханга всегда овеяны поэзией и романтикой, в них заложена большая внутренняя динамика. Писатель популярен и среди вьетнамской детворы: его повесть «Соловушка» — одна из самых любимых в среде вьетнамских школьников.

Н. Хохлов

Лунная песня

Об этой маленькой деревушке с труднопроизносимым названием — Тунгшенгшуй — никто и не вспоминал. Мала больно — всего восемь дворов, да и далека. Затерялась она под самым небом, на вершине плато Пакха. В местной газете или, к примеру, в разговорах руководящих работников о ней и речи не было. Как в многодетной семье — бывает, ребенка и хвалить не за что, и пожаловаться не на что. Жили в этой деревушке люди фула^[25], жили обособленно. Далеко ото всех, да и обычаи свои, уклад свой, особый.

Только-только отшумел здесь праздник. В феврале, в день овцы^[26], выходили фула на праздник Атхатинд. Еще пряталась в тумане сосна, стоявшая на самой вершине горы, а Тянь Кху, старейшина и вершитель обрядов, уже вел по деревне своего рыжего лохматого пса. Пес, натягивая веревку, рвался вперед, но старик, тряся головой и сжимая в руке бамбуковую палку, не торопился. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп — ударяла палка по стенам домов, старик бормотал что-то себе под нос, а потом неожиданно опускал палку на спину пса. И напрасно пес жалобно взвизгивал и, поджимая хвост, приседал на задние лапы. Старик знай себе колотил — то по стенам домов, то по спине пса.

Так в праздник начала года, Атхатинд, изгоняли злых духов. Вон! Из всех домов убирайся вон, лихо, — гнала бамбуковая палка. И духи убегались, невидимые, не различимые глазом, один только жалобный стон стоял, по этому стону и догадывались люди, что злые духи удирают в лес.

Когда старик с собакой обошли все восемь домов, деревня уже не спала. В слабом, тающем тумане двое парней пронесли на плечах к высокому дереву в центре деревни зеленое бамбуковое бревно. И потянулись сразу сюда мужчины, женщины, дети — все с одеялами, циновками, с узлами одежды в руках. Старый Тянь Кху, тоже с линялым шерстяным одеялом, протолкался на середину и, тряся ношей так, точно

выбивал пыль, запричитал нараспев:

— Эй, беды-болезни, уплывайте от нас подальше вместе с этим бамбуком! Убирайтесь и не смейте никогда возвращаться! Убирайтесь...

Бревно снова подняли на плечи. Показалось парням, что оно теперь тяжелее, только четверо осилить смогли. Покачиваясь, двинулось оно На плечах к деревенским воротам, неторопливо миновало их, упало в ручей Лунгса и поплыло, навсегда покидая Тунгшенгшуй. Уплывайте, уплывайте все беды! Пусть отныне оброненное в землю рисовое зерно обернется тысячей зерен, пусть здоровы и счастливы будут фула: и сам старый Тянь Кху, и все уважаемые старики, и невестка Тянь Кху — Зянг Ко Тин, и внучка его — Шео Тинь, да и все остальные. Пусть придет к людям Новый год, добрый и хороший.

Бывало, после этого праздника старый Тянь Кху усаживался на розово-красное сосновое бревно перед домом. Сидел он там подолгу, полузакрыв глаза, молча и неподвижно, точно каменное изваяние среди затихшей, словно обезлюдевшей, деревни, грея под солнцем маленькое темное лицо с выцветшими от времени бровями.

Но на этот раз в Тунгшенгшуйе все было по-другому.

Началось с того, что, задрав вверх морды, залаяли все, сколько их было в деревне, собаки — рыжие, черные, серые. А тут еще дети пригнали с выпаса буйволов и столпились перед домом Тин, невестки старого Тянь Кху.

В Тунгшенгшуйе появился чужак. Привела его Тин. Вернее будет сказать, что когда Тин была в Татяе, соседней деревне, волостной председатель Ши попросил ее показать пришельцу дорогу в Тунгшенгшуй.

И теперь деревенские собаки с лаем носились вокруг дома Тин.

— Наглые твари! — вскочил старый Тянь Кху с любимого своего места. — Ваше дело злых духов гнать, а не людей!

— Тянь Кху, кто это пришел к нам? — с любопытством спросили соседи.

— Военный небось, что с Тянь Хо вместе служит. — Старик думал о сыне, и все его мысли были только о нем.

— Так ведь он не в военном? — не отставали соседи.

— Ну, не знаю. — Старик сокрушенно причмокнул губами.

Маленькая Шео Тинь завела буйвола в хлев и тоже поинтересовалась:

— Дедушка, это к нам пришли?

— Угу...

В эту минуту вышла во двор Тин, огляделась и сказала протяжно:

— Соседушки... Вечерком загляните к нам, канбо^[27] пришел,

поговорить хочет.

Что ж! Канбо поговорить пришел — это хорошо. Здесь канбо уже бывали. Время от времени захаживали. Старый Тянь Кху каждый такой случай в прошлые годы помнит. Один раз говорили о том, что школа нужна, другой — о наборе в армию, тогда-то Тянь Хо и ушел, а третий — о посадках сюен-кхунга, лекарственного растения.

В доме уже захлопотали. Обед в честь гостя состоялся раньше обычного. Была и капуста, и папайя, и салат-латук, и две пиалы, полные доверху стручкового перца — угощение, обязательное у фула.

Пришедший в деревню канбо был невелик ростом, неширок в плечах, но большие его глаза на чуть продолговатом лице глядели открыто. Он подождал, пока усядется старый Кху, зачерпнул кукурузной каши для Шео Тинь и подбавил туда перца:

— Немного, а то глаза щипать будет.

Тин рассмеялась:

— Она привычная, ничего с ней не станется. Угощайтесь, канбо.

— Дедушка, меня зовут Нонг, — обратился гость к старику.

— Угу... Ешь, канбо, ешь...

Старик взял палочки. Нонг тоже поднял было пиалу с рисом, но поставил ее обратно и, глянув на Тин, сказал на местном наречии:

— Тин, люди фула теперь только на этом языке говорят. А вот вы, например, помните свой старый язык? Как будет «еда»?

Тин отставила пиалу, затеребила прядь волос. Старый Тянь Кху тоже поставил пиалу у подноса с едой.

Вопрос Нонга был началом не только застольной беседы, но и разговора с жителями деревни.

Дом фула с маленьким алтарем предков у циновки-перегородки перед очагом до отказа заполнили люди. Ярко горели в очаге сучья и сухие кукурузные початки. Старый Тянь Кху, с растрепанной густой шевелюрой, обнимая Шео Тинь, хорошенькую, с круглым, как у матери, личиком, сидел, устремив взор на алтарь предков: люди фула чтили память только одного поколения, и на алтаре стояла одна небольшая чаша для благовонных свечей, выдолбленная из ствола бамбука.

— Уважаемые братья и сестры. — Нонг говорил на местном наречии бегло и без ошибок. — Меня зовут Нонг, я сотрудник Комитета по делам нацменьшинств. Поручено мне побывать у вас и в других селах фула, чтобы изучить язык, на котором когда-то говорили все ваши люди.

«Верно, ведь прежде у фула свой язык был, а этот, на котором сейчас говорим, чужой», — мелькнуло в голове у Тин.

«Ох-хо-хо, язык — он все равно что люди, — думал старый Тян Кху. — Мало-помалу утрачивается, забывается. Если жизнь не по-людски складывается, что уж о языке говорить. Пропадают, рассеиваются слова, словно сами люди фула, что разбрелись по белу свету... Кушанья свои, да одежду, да жилища особые — и те удалось уберечь потому, что живем здесь сейчас всем скопом».

— Дедушка, скажите какую-нибудь фразу на языке фула, — попросил Нонг, и старый Тян Кху растерянно вскинул выцветшие глаза. — Как сказать «еда»? — выручил старика Нонг.

— Амаза... — пробормотал тот.

— Амаза... — повторил Нонг и обвел всех взглядом.

Люди вокруг, как и он, шептали непривычное слово с удивлением и интересом.

— А как будет «напиться воды»?

— Чатамуда...

— Ну, а это как? — Нонг показал на кальян.

Старый Тян Кху прищурился...

— Микхупо...

— Как сказать «спать»?

— Зута...

— А это? — Нонг подергал полу своей рубашки.

— Вика...

Нонг сидел сгорбившись и кропотливо записывал все в записной книжке. Потом поднял голову и показал на Шео Тинь:

— Как будет «ребенок»?

Старик озадаченно нахмурил брови, воздел глаза к небу. Но, так и не вспомнив — нужное слово отодвинулось куда-то совсем далеко, — покачал головой и сокрушенно вздохнул.

— Канбо, люди фула, те, кому меньше пятидесяти, своего языка не знают. В старину как было: нож у фула стачивался — становился мотыгой, стачивалась мотыга — делали скребок, чтоб тростник очищать, а уж потом только и оставалось что дырки им в земле буравить да сажать кукурузные зерна. Вот и с языком фула так же случилось...

Чуть погодя старик горько добавил:

— Беда, разбрелись наши люди кто куда, да всюду им одинаково плохо...

— Но ведь так только раньше было.

— Верно, раньше. Деревня Татяй, где живет наш волостной председатель, в прежние времена всякие поделки из тростника для

тхоти^[28] Воонг А Шионга плела. Наши в Тунгшенгшуй тоже на него спину гнули, мы ему делали сундуки да и прочие предметы из дерева. Даже в песне старой поется:

Тхоти едет впереди на коне,
Следом фула толпой бегут,
На плечах богатство его несут...

Нонг вскинул голову, попросил с жаром:

— Повторите, пожалуйста, еще раз!

Старик отмахнулся, покачал головой:

— Зачем тебе это? Если хочешь, есть другие песни, получше. Но я уже «гипа». — Старик, смеясь, показал выщербленные зубы. — Без зубов петь нельзя. Вот если б Тянь Хо дома был...

— Какой Тянь Хо? — удивился Нонг.

— Тянь Хо, мой сын, а она его жена. — Старик показал на Тин. — Он в армию ушел. Из всей нашей молодежи только он да волостной председатель язык и песни фула знают. Вот портрет его, моего Тянь Хо.

Нонг обернулся и увидел застекленную рамку — удлиненное лицо, напряженная улыбка и глубокий, сосредоточенный взгляд.

У входа послышались тяжелые шаги. Дверь со скрипом отворилась, и вошел высокий мужчина в блестящих резиновых сапогах.

— Председатель Ши, — раздались обрадованные голоса.

Председатель, с красным, точно опаленным лицом, приветливо поздоровался со всеми и устроился у очага, растирая крупные, тяжелые кисти рук.

— Вот чудеса, стоило о тебе только вспомнить, как ты тут как тут. — Старый Тянь Кху уже наливал ему пиалу. — Почему так долго у нас не показывался? Даже на Атхатинд не пришел!

— Дел много. Целых семь дней на совещании был, да еще потом у себя дела обсуждали.

— Много дел, говоришь? — переспросил старик.

— Очень много... Стыдно мне на совещании стало, так стыдно!

Ши сокрушенно покачал опущенной головой и сказал в сердцах:

— Солнце всем одинаково светит, и дождь на всех поровну льет. Партия заботится о фула, как и о других наших братьях. Да только мы работаем совсем не так, как они. Весной оставили свои поля отдыхать, а другие вон пшеницу сумели посадить да сою. В армию один только Тянь Хо

от нас и пошел. Далеко нам до других братьев наших — киней, мео. Просто позор!

Нонг закрыл записную книжку.

Старый Тян Кху молчал. Потом тяжело вздохнул и неожиданно задал вопрос:

— В уезде был, что-нибудь о моем Тян Хо слышал?

Председатель отвернулся, но Тин успела заметить, что губы его чуть дрогнули.

— Слышал. Ведь уже больше двух лет, как Тян Хо ушел?

Уже больше двух лет, как Тян Хо ушел. А Тин все время вспоминает о нем... В тот год на праздник Атхатинд Тян Хо сбрасывал в ручей «бамбук болезней и бед». А после праздника, в марте, когда застрекотали цикады, он ушел.

— Тин, — сказал он, — на Атхатинд, по старому обычаю, изгоняют только злых духов. Чтобы врага прогнать, нужны солдаты.

Приход Нонга, записывающего старый язык фула, напомнил Тин о муже. Вспомнилось, как лунной ночью Тян Хо возле сторожки с хворостом у ее дома пел «Лунную песню». Она тогда удивилась: «На каком языке ты поешь?» — «На нашем родном языке!»

Старый Тян Кху, ревностно, как сокровище, хранивший родной язык, с малых лет научил Тян Хо говорить на нем, рассказывал про историю их народа, обряды и праздники. Тин же девочкой знала только, как согнувшись в три погибели таскать на спине вязанки хвороста или работать в поле. Самым дальним ее походом был уездный рынок Пакха...

— Страна наша большая, — говорил Тян Хо.

— За рынок Пакха или еще дальше? — спрашивала она.

— Ну, что ты, куда дальше! От нас до самого моря и потом далеко на юг. У птицы крылья устанут, и то всей не облетит.

Это Тян Хо вывел Тин в жизнь. Теперь она не только хворост умела носить — вместе со всеми работала в поле, вступила в Союз молодежи. Свадьбу сыграли хотя и по старым обычаям, но уже без лишних ненужных трат: три курицы, три бутылки вина и шестнадцать серебряных монет — это не так уж много. Каждый день, как только садилось солнце, молодая шла на горное поле встречать мужа. Тян Хо оставался в доме жены, пока не исполнилось родившейся Шео Тинь семь лет. Тогда перебрались они к старому Тян Кху. Это-то и беспокоило больше всего Тян Хо перед уходом.

— Отец, ничем я тебе не успел помочь, — он точно прощенья просил, — а теперь вот уходить надо...

— Иди, сын, иди, — глотая слезы, утешал старик. — Кем я был раньше? А сейчас ты у меня солдат! Вот я и счастлив.

Тян Хо ушел, теперь они с Тин были далеко друг от друга. Письма приходили нерегулярно, но все же несколько она получила. Первое письмо, она тогда еще букв не знала, пришлось нести учителю. Видя, что грамота в жизни необходима, что она — ключ ко всему, Тин решила учиться, хотя школы для взрослых у них еще не было. Второе письмо читала уже сама, медленно одолевая строку за строкой. Ничего, чем медленнее, тем вернее. Ну, а третье она читала уже совсем бегло. «Молодец, будешь учетчицей в бригаде», — похвалил председатель. Думала — шутит, а ее и впрямь выбрали. В следующий сбор урожая она была уже бригадиром. У бригадира забот немного: в год один урожай, в бригаде только восемь дворов, вся их деревня — десять трудоспособных. Времени свободного много. После праздника Атхатинд, пока еще холодно, грейся дома у очага, только подбрасывай хворост. Но тогда и подкрадывалась тоска и тревога за мужа...

— В прошлый раз председатель обмолвился, что о Тян Хо есть известия, вы узнавали? — после долгих колебаний решила наконец спросить Тин старика.

Старый Тян Кху, как всегда, сидел на своем любимом сосновом бревне.

— Председатель сказал, что Тян Хо — герой.

— Герой!

— Много врагов уничтожил — значит, герой.

— А еще что-нибудь говорил?

Старик глянул в полные беспокойства глаза невестки, заволновался: «Почему председатель снова повторил это? Ведь Тян Хо сам об этом писал. А писем нет уже больше года».

Но мыслей своих он не выдал и, покачав головой, ответил:

— Ничего больше не сказал.

То, чего старый Тян Кху так страшился, случилось на самом деле. Как-то попросили его заглянуть в уездный комитет. В помещении, кроме их волостного председателя, находился еще кто-то, незнакомый. Было непривычно тихо, и с этой настороженной тишиной никак не вязалась суетливость Ши, бросившегося угощать старика сигаретами. Ши славился умением поговорить, но сейчас он растерянно моргал.

— Когда наши партизаны дрались с бандитами, Тян Хо ваш еще совсем маленьким был...

Старик не ответил, только бросил на него быстрый взгляд. Ши еще больше растерялся.

— Тогда у нас в партизанском отряде трое погибли. Один из моей деревни. Если бы остался в живых, быть бы ему волостным председателем, он намного достойней меня. Война...

Хватит, хватит, теперь он все понял. Стулья, стол, земля под ногами — все вдруг закачалось, в голове и в глазах потемнело.

Старик больше не слушал, что еще ему говорили. Он сосредоточенно думал и вдруг порывисто встал:

— Жене его не говорите!

— Как же не сказать... Мы хотим, чтобы героя все село помянуло, — с трудом выдавил Ши.

— Я требую! Требую!

Глаза старика горели страданием и яростью. Он погрозил кулаком и, повернувшись, медленно вышел.

В горах лучи раннего солнца кажутся лунным светом. На деревьях сажу, на концах их горизонтально торчащих веток, кое-где успели распуститься алые цветы. Старик спускался по склону, впереди показалась густо заросшая лощина. Сколько веков миновало с тех пор, как судьба занесла фула в эти края. Никто уже не помнит, откуда вели их пути-дороги. Зато такие, как он, Тянь Кху, до сих пор помнят трудное время боев с бандитами тхоти Воонг А Шионга. В этой лощине был партизанский лагерь. А там в пещере прятался с матерью маленький Тянь Хо. Мальшу было только три года, а дом их уже в третий раз подожгли бандиты. Жги, выжигай! Только земля эта — моя земля, родная. Я на ней все равно останусь.

Снова поднялся дом старого Тянь Кху. Дома фула строили прямо на земле, стены возводили из глины, три помещения дома соединялись друг с другом полукруглыми, как изогнутое удилище, сводами входов. Перед домом — стойло для мула, рядом — сарайчик для хвороста, ступы и крупорушки, а за ним — хлев для буйвола и курятник. По водостоку на каменный брус перед домом стекает вода.

Старый Тянь Кху оглядывал дом, выискивал все, что напоминало о сыне, потом остановился перед своим сосновым бревном. Сколько времени он просидел здесь? Наверное, несколько лет; когда перевалило за шестьдесят, потеряли зоркость глаза, ослабили руки и ноги. Сидит, греется праздну. Темнеет кожа, блекнут глаза. Тянь Хо погиб? — поднялся в груди крик, и старик, почувствовав колющую боль, опустил на бревно.

...Маленькая Шео Тинь, перейдя ручей, аккуратно опустила

подвернутые брючки и стала подниматься к дому. Длинные ресницы, пухлые розовые щеки, цветастый нагрудник, завязывающийся на спине лентами...

— Дедушка, я отвела дядю Нонга в Татяй по самой короткой дороге.

— Да ну? — Старик постарался, чтобы это «да ну» прозвучало как можно веселее. — К кому же ты его отвела?

— К дяде Ши...

Она забралась на бревно, заглянула деду в глаза:

— Дедушка, разве язык фула мог потеряться? Ведь он же не бусы, которые у меня на шее!

— Мог и потеряться...

— А найти его можно?

— Станешь все время искать — непременно найдешь. Каждый какую-нибудь малость да вспомнит, а потом сложат все вместе. Ох, горе горькое! Людям фула раньше тяжело приходилось. Долго на месте сидеть не доводилось. Как клубни съедобные на горе и в лесу выроют да рыбу в ручьях выловят, так и уходят. Ведь все это на рис выменять надо, а рис тхоти отдать. Даже крыши, крытые тростником, не успевали желтеть. Так бродяжничать — все растеряешь. Вот язык и теряли.

— А почему же ты его помнишь?

— У меня мешок для него есть, для языка-то. — Старик глянул на внуку, смеясь впалым ртом. — Особый у меня мешок — песня. Песня много дольше меня живет, вот она и бережет наш язык!

Он снова улыбнулся и, подняв голову, тихонько запел:

Кхаа почечуча.

Ники пала тхисиса немаса... [\[29\]](#)

Это была «Лунная песня», старинная песня фула. Старик пел точно шепотом, казалось, песня летит к нему откуда-то издалека и ему нужно только шевелить губами, чтобы она стала словами. Своей мелодичностью и протяжностью захватила песня и маленькую Шео Тинь, и скоро два голоса — звонкий детский и хрипловатый старческий вторили друг другу.

Незаметно опустился вечер, и круглая луна поднялась над холмом, покрытым редкой зеленой порослью деревцев са-ну. В лунном свете листья са-ну вспыхивали и блестели, как металлические.

— Что это вы так засиделись, в дом не идете? — раздался вдруг голос. Это вернулась Тин, остановив перед домом мула, навьюченного двумя

большими корзинами.

Тин была заметно бледна, мокрые ресницы ее блестели. Старый Тянь Кху испуганно привстал. Но Тин отвела мула в стойло и вернулась спокойная:

— Волостной комитет решил отправить нашу Шео Тинь в школу для детей нацменьшинств.

Шео Тинь прыгнула с бревна, переспросила растерянно:

— В школу?

Старик притянул девочку к себе и, волнуясь, сказал:

— Да, в школу, будешь учиться писать папе письма. Сказал и поднял испытующий взгляд на невестку.

Но Тин отвернулась и ушла в дом. Через минуту оттуда донесся ритмичный стук крупорушки. У старика отлегло от сердца.

Откуда-то прибежала Шео Тинь и с рыданиями бросилась к деду:

— Дедушка, они говорят, что папу убили!

— Кто говорит? — вскочил старик.

— Да они же, ребята...

— Кто сказал, кто? Твой отец герой, он три американских танка подбил!

— Почему ж они так говорят?

— А ты не верь им, не слушай!

Старик обнял внучку, приласкал ее, стал успокаивать. Внутри у него все застыло. Но он изо всех сил старался улыбаться, казаться беззаботным. И девочка почувствовала облегчение, осталось у нее только чувство обиды.

— Ну ладно, — качал головой старик. — Ну, ладно, вот я задам хорошую взбучку тому, кто посмеет это сказать. А ты успокойся, не плачь. Мама скоро вернется, ты при ней про это не вспоминай.

— Почему? — всхлипнула Шео Тинь.

— Потому что только твой дед тайны хранить умеет. Ведь нам с тобой надо подстеречь того, кто так сказал, чтобы он ничего не пронюхал. А мама в секрете не удержит.

Тин привела мула с хвостом, потом сходила добавила корма свиньям.

— Шео Тинь, пошли, вымою тебя, новое платье примеришь. Завтра в школу.

Рано утром она расчесала девочке волосы, заплела их в короткую косичку. Одевая, ласково наставляла:

— В школе будь послушной, когда волосы отрастут подлиннее,

обернешь их жгутом вокруг головы, как положено фула.

— А долго учиться?

— В Тет и летом будешь домой приезжать.

— А когда Тет?

— Когда соберут урожай и выгонят на луга буйволов.

Старый Тян Кху рассмеялся:

— Тет — это праздник Атхатинд, который недавно был, помнишь?

— А, помню. Ну, а если я очень соскучусь?

— Нужно потерпеть и учиться. Разве твой папа в армии по тебе не скучает?

Тян Кху в кухне вымазал палец сажей и подошел к внучке. Сжав губы и сдерживая дыхание, он наклонился и легонько провел две черты — крест-накрест — на беленьком лбу.

— Чтобы добрый дух тебя охранял...

Приоделась и Тин. Всякий раз, отправляясь куда-нибудь из деревни, Тин вынимала из сундука одежду фула — черную бархатную кофту-распашонку с бегущей по боку, от подмышки, застежкой, с квадратным воротом, с полосками зеленой и бел ой материи, ободами охватывающими рукава. Получалось, будто все руки в браслетах — на запястьях поблескивали серебряные, а зеленые и белые обвивались почти у самых плеч. Ленты лифа-нагрудника, завязанные на спине, крепко держали зеленый нагрудник в пестрых полосках по краю, и рельефно вышитый орнамент украшал высокую грудь. Округлое розовое лицо Тин с ровной линией носа становилось еще привлекательнее, когда она обвивала голову жгутом волос и покрывала ее черным блестящим платком. Прическа женщин фула — сложное сооружение. Над самым лбом — ожерелье серебряных горошин, над ним жгут волос, и все это венчает платок, концы которого завязываются под подбородком.

— Ну, счастливо оставаться! Шео Тинь, прощайся с дедушкой.

— Иди, иди. Вся в отца! Каков бамбук, таковы и побеги его!

Начинало светать. Нежным светом позолотило верхушки са-ну. Мать и дочь, пройдя тропу у деревни, вышли на усыпанную щебенкой дорогу к уездному центру.

— Осторожно, Шео Тинь, смотри под ноги...

Уже взошло солнце, солнечные зайчики заиграли на блестящих листьях. Но слабый туман, чуть холодивший кожу, еще держался. Кусты осота по обеим сторонам дороги были мокры от росы. «Здесь, на горных землях, весной хорошо росли бы лекарственные травы», — подумала Тин и вдруг почувствовала, как из глаз' ее хлынули слезы.

В один из дней председатель Ши попросил ее зайти. Она подумала, что будет разговор о посадках лекарственных растений. Но оказалось, что Шео Тинь хотят послать в школу. Потом вдруг председатель запнулся, и тогда она сказала сдавленным голосом:

— Говорите все, не бойтесь, я выдержу...

Потом, когда ей удалось взять себя в руки, она попросила, чтобы не говорили старику, и, услышав, что ему сказали все еще раньше, поразились: какой человек! Вынес все, как срубленное дерево, без единого стога. Разве она так не сможет?

Но сейчас, идя по той самой дороге, по которой три года назад провожала Тянь Хо, она не могла больше сдерживаться.

— Мама, мамочка, что с тобой?

Шео Тинь смотрела на мать снизу вверх блестящими глазенками. Тин отвернулась:

— Ветер. Смотри, чтобы пыль не попала в глаза, ветрено очень. Шео Тинь, в школе слушайся учителей...

— Хорошо... — тихо ответила девочка.

За поворотом открылся уездный центр. Железные кровли домов сверкали под солнцем в центре уютной долины.

— Мама, ты оставайся со мной подольше, ладно?

Тин едва наклонилась обнять дочь, как снова хлынули слезы. «Нет, лучше вернемся домой, ведь ты теперь у меня одна», — чуть не вырвалось у нее, но она поднялась и, прерывисто дыша, сказала:

— Мне нужно возвращаться поскорее, сажать лекарственные травы. Партия и дядя Хо любят нас, посылают тебя учиться. Ты должна постараться учиться хорошо. А я буду приходить тебя навещать.

Без невестки и внучки дом выглядел нежилым. Но старый Тянь Кху не сидел больше на своем бревне, потому и не замечал этого.

Один, опираясь на палку, пришел он в волостной комитет.

— Председатель, в какой час погиб мой Тянь Хо?

Тот порылся в бумагах и ответил:

— В час мыши^[30], девятого июня.

И не успел ничего добавить, потому что старик, забрав у него вещмешок Тянь Хо, уже направлялся к дверям.

Дома он положил вещмешок на кровать и присел рядом, озадаченный, «Тянь Хо родился в час тигра^[31], да и вчера я видел во сне горящий дом и мертвеца», — подумал он и встал за гадательными палочками. Прочитав на

языке фула короткую молитву, он стал тащить палочки. Три раза подряд выпадал чет — доброе предзнаменование!

— Нет, Тянь Хо не погиб. Язык фула, «Лунная песня» фула разве могут погибнуть!

На следующий день соседи увидели, как старик рубит сосновое бревно, на котором всегда сидел.

— А на чем сидеть будете? — спросили его.

Он не ответил, продолжал свое дело.

Бревно разрубил он на чурки, чурки поставил на попа и стал колоть. Старик, широко расставив ноги, замахивался топором, сверкающее лезвие падало вниз, и чурка раскалывалась надвое. След топора был ровным, как след пилы.

Фула из Тунгшенгшуй издавна слыли мастерами по дереву. Это было заметно по вещам, стоявшим в их домах. Кадушка для воды — из соснового дерева, ведра — из сандаловых полосок, склеенных и охваченных тростниковым ободом. Всем этим пользовались десятилетиями. Поварешка, черпак, стулья — все гладкие* отполированные, как роговые. Шкафы, сундуки — все разные, украшенные рельефным орнаментом. Делалось это только топором, долотом да стамеской. Горцы предпочитали деревянные вещи, сделанные фула, другим за их дешевизну и прочность.

Старый Тянь Кху уже лет десять как забросил свое ремесло. Но раньше он был искусным мастером — делал разные вещи в обмен на ножи и мотыги у мео, на хлопок и шелк у манов, — и нескольких ударов топора оказалось достаточным, чтобы в руках ожила привычная легкость.

Старик решил из душистой сосны сделать сундук для одежды. «Положу туда вещи Тянь Хо. Его больше нет, но запах его останется».

Прошел день, и то место, где раньше обычно сидел старый Тянь Кху, покрылось розоватыми, как лепестки цветов железного дерева, щепками. Рама для сундука была уже готова, Тянь Кху строгал боковины. Острый нож будто язык слизывал дерево. Держа доску стоямя, старик примерял, прищурившись. Все делалось на глазок, но доски становились все ровней и прохладней на ощупь.

Только-только сундук был готов, как вернулась из уезда Тин. Спину оттягивал тяжелый пояс-кошель. Пояс-кошель фула, плетенный из тростника, поддерживала пропущенная под днище веревка, она перебрасывалась через голову, натягиваясь на лбу.

— Зачем вы сундук делали, устали небось?

— Руки свободны, вот и поработал немного.

— Отдыхайте, муж не любит, когда вы работаете, разве не помните?

И, выдавив это, Тин согнулась, приготовившись войти в дом.

Старик опустил руки, сердце сжалось. Неужели она до сих пор ничего не знает? И, следя взглядом за невесткой, склонившейся под тяжестью ноши, старик почувствовал к ней острую жалость. Нелегкая у женщин фула доля. На лбу всегда след от веревки пояса-кошеля. Пояс этот точно навсегда к ним пристал. Когда нужно, женщины носят в нем и удобрения, а склон горного поля — что крыша дома, по нему и без ноши подниматься устанешь. В этом же кошеле носят хворост. Напихают полным-полно, сверх головы, и тянет груз назад, хочет опрокинуть навзничь. Теперь Тин будет еще труднее...

Старик поднял сундук, занес в дом и поставил у изголовья своей кровати. Прячась, сложил в него потихоньку вещи Тянь Хо и повернулся, потирая руки.

— Шео Тинь просилась домой?

— Сначала просилась, а потом разыгралась, — там ведь детей много. Она говорит: иди, мама, иди. Среди ребят есть несколько из наших, из фула.

— Вот и хорошо, все люди должны быть равны, сейчас не прежние времена.

Тин возилась в углу, оттуда шел крепкий, особый запах — так пахли только клубни сюен-кхунга. Она присела и снова надвинула на лоб веревку.

— Готовьте еду и ешьте без меня. Я пойду к председателю Ши.

— К чему такая спешка?

— Я принесла клубни сюен-кхунга, будем высаживать. Медлить нельзя. Если время упустим, урожая не видать. Старик привстал:

— Встретишь в Татяе канбо Нонга, скажи — пусть заглянет.

Дом председателя Ши стоял в центре деревни. Низенький домик с провисшей крышей, которую хозяин все собирался поправить. Во дворе перед домом был свален строительный бамбук, одно бревно лежало на козлах, рядом стоял стол, весь заваленный стружкой.

Председатель Ши, крупный, громкоголосый, как раз разговаривал с Нонгом:

— Нонг, вы много деревень фула обошли. Люди фула очень благодарны за заботу о них. Не только род их продолжается, но и язык родной им возвращают.

— В том, что язык был утрачен, вина старого строя. Сам народ сознает

необходимость хранить язык отцов и дедов. Возьмите Тянь Кху. Я видел, как он внуку учил своему языку. Нам нужно возродить и записать все слова. Жаль, что старики, которые свой язык помнят, уже все беззубые. Боюсь, произношение из-за этого будет неточным. Хотелось бы послушать, как молодые говорят, но так, чтоб не путали с местным наречием. И песню хотелось бы...

— Последние дни я ходил по деревням, с людьми беседовал. Говорили о том, что вы пришли к нам в поисках нашего языка, и еще говорили о гибели Тянь Хо. Народ фула — маленький народ, говорил я, а забота о нем большая, и потому мы должны помогать братьям и сестрам всей страны. Мы гордимся тем, что у нас есть герой Тянь Хо. Тянь Хо — воля, решимость людей фула. Фула должны следовать его примеру. Народ фула живет на этой земле, высоко в горах, уже несколько веков. Здесь рис только в один сезон родится, а потом земля умирает. Надо сажать сюен-кхунг. Эта земля уже дала стране Тянь Хо, теперь она должна отдать ей все, чем богата.

— Я слышал в уезде, что здесь решено отвести больше двух гектаров под лекарственные растения, — поднял голову Нонг.

— Да, я было согласился, но боюсь, не смогу людей на это дело поднять. В холода у нас привыкли дома сидеть, у очага греться да всякие безделки из дерева мастерить. Нелегко будет заставить выйти в поле.

Нонг хотел что-то сказать, но, обернувшись, заметил в пелене предвечернего тумана человеческую фигурку, склонившуюся под тяжелой ношей.

— Тин!

Тин откинула зеленую пластиковую накидку, покрывавшую пояс-кошель. Запахло клубнями сюен-кхунга.

— Где взяла? — подошел, тяжело ступая, Ши и стал рукой ворошить клубни.

Тин, прислонив свою ношу к ступеньке у двери, отдышалась и устало сказала:

— Дочку в уезд отводила, там заглянула в комитет, товарищи спрашивают, решатся ли наши в Тунгшенгшуге сеять лекарственные травы. Я говорю: давайте снесу, попробуем. А они говорят: пробовать нечего, специалисты уже все проверили, ваши земли прохладные, больше всего подходят. Я и взяла.

— Да... Так, значит. Ну, что ж, выходит, Тунгшенгшуй всех обгонит.

В Тунгшенгшуге холода держатся долго. Зима тянется с октября до апреля, и все это время изо дня в день с трех часов дня до десяти утра

густой туман, только потом проглядывает ненадолго кусочек ослепительно ясного, холодного неба.

Надев непромокаемую накидку, Тин пошла по домам. В каждом ярко горел огонь, вокруг очага сидели и взрослые и дети.

Помощник бригадира тоже сидел у огня, рядом стояла бутылка с вином.

— Куда собралась, Тин? В такое время даже звери в норы прячутся.

— А человеку нельзя, — засмеялась Тин. — Нам поручили сажать сюен-кхунг.

— Не будем!

— Я уже дала согласие.

— О господи! В такой холод людей гнать в поле? Вот если б меня позвали помочь кому свинью зарезать да вина выпить, я бы пошел!

— Эх вы, помощник бригадира, а так говорите!

— Разве помощник бригадира не человек? Он тоже у очага сядет — согреется, вина выпьет — веселым сделается!

Тин побледнела:

— В других кооперативах все лучше и лучше дела идут, мы же в год только шесть месяцев работаем, а потом у государства рис просим. Стыдно!

— Почему стыдно? Ведь мы не крадем!

— Лодырничать тоже стыдно!

— А кто лодырничает? Это я-то лодырь? За один сезон двести трудодней набрал, только тебе и уступаю! Пойди, пойди по домам, оторвешь кого-нибудь от огня — тогда и я ничего не скажу, сам своего буйвола запрягу.

Только к вечеру, когда молочно-белый туман плотно окутал деревню, Тин вернулась домой. Опустилась у очага, устало протянула руки к потрескивающим желтоватым языкам пламени.

Старый Тянь Кху, обстругивавший доску, крикнул:

— Одежда горит!

Тин отдернула руки. Старик опустил нож, вздохнул и заботливо спросил:

— Ну как, всем сказала?

— Да что там, люди точно на перепутье, не знают, как поступить...

— Холода...

— Одни холода боятся, другие спрашивают, откуда сюен-кхунг взялся, и когда отвечаешь, что издалека, утверждают, что на нашей земле не привьется. Признают только то, к чему привыкли.

О посадках лекарственных растений говорили уже больше года. Поначалу все вроде этим загорелись. Но зимой все разговоры затихли, а потом за всякими неотложными делами о них и вовсе забыли. И вот теперь все начинается сизнова.

Мысль о том, что нужно сажать сюен-кхунг, родилась у Тин в тот вечер, когда к ним заглянул председатель Ши и откровенно рассказал, как стыдно ему было на совещании в уезде. Постепенно она утверждалась в своем решении. Тунгшенгшуй — уже не обособленная далекая деревня. Эта деревня дала своего сына армии, послала своих детей в школу. Невидимые нити связывали Тунгшенгшуй со всей страной, такой большой, что «у птицы крылья устанут, и то всю не облетит». Когда Тянь Хо был жив, она во всем следовала за ним. Теперь, когда он погиб, она должна продолжать идти его путем. Потому она и взялась за сюен-кхунг. Уездный председатель спросил: «Но людей-то ты сможешь на это дело поднять?» А она ответила: «Не согласятся — сама посажу».

Наверное, так и придется — одной сажать. «Ну и что, ведь научилась же я пахать, когда Тянь Хо ушел. А как люди сначала смеялись», — подумала Тин и уснула.

Утром старый Тянь Кху встал поздно и долго сидел сгорбившись, потом возился на кухне и вдруг увидел, что Тин входит в дом со стороны огорода.

— Откуда это ты так рано? — удивился он.

— Делала лунки, высаживала клубни сюен-кхунга.

— Его сначала высаживают?

— Да, а когда подымутся ростки, переносят на поле.

Тин вышла, и через минуту старик услышал, как она выводит буйвола, а буйвол скребет рогом о стенку хлева, бьет копытом о мерзлую землю.

Туман еще держался, хотя было уже совсем светло. Маленькое поле, отлого лежавшее на берегу Лунгса, казалось молочно-белым, кое-где сквозь прорехи в тумане проглядывали черные, точно обгоревшие, стволы деревьев.

Тин поставила плуг, впрягла буйвола и легонько дернула за веревку. Буйвол, послушный хозяйке, неторопливо двинулся с места. По-другому было, когда Тин только училась пахать. Буйвол совсем не хотел слушаться. Тин, по совету Тянь Кху, ударила его кнутом, он рванул и сломал лемех плуга о камень. Сейчас лемех плавно резал землю, поднимая и укладывая ее за собою волнистыми бороздами.

Поворачивая плуг, Тин слышала шаги за спиной и, обернувшись, увидела высокую фигуру председателя Ши.

Ши нагнулся, набрал в горсть холодной земли и удивленно спросил:

— Почему ты одна?

Тин только улыбнулась и повела плуг дальше.

— Нужно всех поднять! — нахмурился Ши.

— Трудно людям объяснить. Сначала сделаю, а разговоры потом буду вести.

— И все же можно! Я всем бригадам сказал в других деревнях, все пошли. Сейчас мой сын в армию запросился, а я говорю: «Организуй молодежь на посадки сюен-кхунга, управимся с урожаем, тогда и пойдешь». Если хочешь, скажу их бригаде, пусть тебе помогут.

— Не нужно. Сама все сделаю.

— Ну, это ты слишком!

«Хватит слушать их со стариком, нужно будет всей деревней помянуть Тянь Хо, а потом развернуть кампанию за посадки сюен-кхунга», — решил он и пошел в Тунгшенгшуй.

В доме помощника бригадира гудели голоса. Ши остановился за дверью, прислушался. Говорил старый Тянь Кху, невнятно, чуть раздраженно.

— Вы на фула говорите, мы вас не понимаем, — остановили его.

— Ну что ж, скажу еще раз. Праздник Атхатинд прошел, теперь можно работать. Что дома сидеть сложа руки? Тин одна в поле пашет, а должна вся деревня пойти... Я ее не защищаю, но она женщина, мне ее жалко...

Ши улыбнулся и, толкнув дверь, вошел в дом.

К тому времени, когда кончили пахать поле, клубни, высаженные в огороде у Тин, дали побеги. Каждый саженец бережно выкопали и перенесли в удобные борозды.

Прошло три месяца. Вдоль ручья Лунгса и еще кое-где зазеленел сюен-кхунг. Испещренные черными крапинками листья и ствол цвета спелого апельсина источали крепкий, особенный свой запах.

Нонг шел в Тунгшенгшуй. Трава ман-чау, что росла вдоль дороги, выбросила метелки с цветами. Брюки Нонга до колена намокли от росы.

Много уже лет работал Нонг в горном крае. Он стал добрым другом людей разных народностей. Пел песни мео, са, таи и нунгов. Знал обычаи и обряды этих людей, знал их историю и культуру. С фула он встречался впервые. И как раз именно это время оказалось для них переломным. Нонг видел, как чтили память Тянь Хо во всех деревнях фула — чтили память любимого сына. Видел, как фула пошли в поле сажать сюен-кхунг «для

всей страны». Много перемен произошло в те дни. Нонг побывал во всех селах фула, какие были на плато. Расспрашивал, записывал, запоминал. Его записная книжка разбухла от слов и характерных для языка фула грамматических конструкций. Сейчас заканчивался первый этап его работы.

Нонг свернул к дому Тин. День клонился к вечеру, становилось прохладно. Ветерок доносил запах сюен-кхунга даже в деревню. Послышались ритмичные удары топора, и Нонг увидел старого Тянь Кху, склонившегося над остатками того самого соснового бревна, на котором он некогда сживал. Нонг окликнул старика. Тот поднял голову, и на его морщинистом лице появилась широкая улыбка.

— Канбо Нонг, почему так долго не показывался?

— Я был в Татяе, Пашу, Вышане... А что это вы делаете?

Старик вытер пот со лба и с довольным видом сказал:

— Сундучок мастерю, канбо! У нас в кооперативе это теперь подсобный промысел. Да я сам его и предложил. Дети наши бьют врага, нечего нам дома без дела сидеть.

— Как здоровье ваше и Тин?

— Здоровы мы, здоровы. После того как Атхатинд справили, беды-болезни к нам и показываться боятся. А без Атхатинда было бы плохо. Вот Тин уж как трудно пришлось, днем и ночью работала, постель, бывало, согреть не успеет, поесть забудет, все в поле да в поле, а все ж здорова! У нас в деревне все здоровы.

Старик повел Нонга в дом. И когда начали есть — опять перец, ставший такой привычной едой, — старик заговорил о сыне:

— Канбо Нонг, к нам специалист приезжал, наставлял, как с сюен-кхунгом обращаться. Сказал, когда сюен-кхунг распустит цветы, их надо оборвать, чтобы клубни были крепкими. Если посмотреть, то и жизнь Тянь Хо такова. Он погиб, даря жизнь другим.

— А как Тин известие о его смерти приняла?

— Поплакала, а потом работать пошла. Сейчас одна только Шео Тинь не знает. Да я и не хочу, чтобы она знала.

Старик поставил пиалу с рисом, встал и подошел к алтарю предков. Нонг заметил, что на алтаре перемены — фотография Тянь Хо в небольшой рамке. Засунув руку за рамку, старик вытащил конверт и, сдувая с него пыль, вернулся к Нонгу.

— Шео Тинь прислала. Сама Тин уже прочитала, а я еще не слышал. Почитай-ка.

Нонг взял письмо. Ровные, прямые буквы, яркие фиолетовые чернила.

Письмо еще без точек и запятых, в нем немало грамматических ошибок, но все было очень понятно:

«Мамочка раньше письма за меня писала учительница а сейчас я пишу сама мамочка я уже могу читать газету учительница говорит что я послушная аккуратная и хорошо учусь мамочка мне дали кожаный портфель который нам прислали в подарок из советского союза мамочка ты больше меня не обманывай папа погиб я знаю ты боялась что я буду плакать но я знала что папа погиб еще в тот день когда ты повела меня в школу мамочка дедушке говорить нельзя дедушка старенький он будет горевать и от печали долго не проживет часто ли приходит к нам дядя нонг когда я провожала его в татяй он сказал что хочет послушать лунную песню фула но у дедушки нет зубов я сказала что я спою он сказал что если бы папа был дома тогда он эту песню бы услышал...»

Нонг вложил письмо в конверт. Подняв глаза, увидел, что старый Тянь Кху сидит неподвижно, как каменное изваяние, и по его лицу бегут слезы.

Вернулась Тин. Принесла семенной рис. Начинаясь сев, и она была очень занята.

Промывая семена у водостока, она взглянула на небо и увидела, что встает луна. Свет ее был пока еще бледным, но небо — чистое, без тумана, и лунный свет рассылал повсюду свои светло-золотые лучи. Среди шума равномерно бегущей в деревянную колоду воды Тин вдруг услышала голос старого Тянь Кху, поднимающийся медленно и плавно:

Кхаа почечуча.

Ники пала тхисиса немаса...

Длинные, многосложные слова языка фула стлались в неторопливой, спокойной мелодии. Старый Тянь Кху пел для Нонга. На мгновение он замолчал, и тогда Нонг услышал подпевающий ему женский голос. Сначала Нонг решил, что ему показалось, но прислушался и узнал голос Тин. Тин пела, промывая семена, а «Лунная песня», старинная песня фула, казалось, становилась шире и нежнее. Тин пела, и в памяти ее вставляли давние, забытые картины детства...

Перевод с вьетнамского И. Зимониной

Зыонг Тхи Минь Хыонг

Рассказ вьетнамской писательницы Зыонг Тхи Минь Хыонг, родившейся в 1941 году, взят из сборника под таким же названием, вышедшего в Ханое. Она не успела создать многого: живя и сражаясь в освобожденных районах страны, Зыонг Тхи Минь Хыонг погибла смертью храбрых в одном из ожесточенных сражений. Героическая дочь героического Вьетнама, она создавала свои трепетные произведения во время кратких перерывов в боях, на привалах, при вынужденной остановке в лесу, в землянках и блиндажах. Она спешила перенести на чистый лист бумаги этот великий дух непобедимого народа, составной, неотделимой частицей которого была и сама.

Рассказы, очерки, дневниковые заметки, опубликованные уже после смерти писательницы-воина, воспоминания ее боевых друзей рисуют светлый образ вьетнамской коммунистки, бесстрашной и чистой, твердой и нежной одновременно. В мужестве она не уступала самым отчаянным смельчакам, слава о подвигах которых гремела по фронту, по всей стране. Зыонг Тхи Минь Хыонг смогла в напряженнейшей обстановке, казалось бы столь далекой от так называемой творческой, создать незабываемые образы вьетнамских женщин, вьетнамских девушек, вьетнамских школьниц, которых война вовлекла в свою жестокую орбиту и которые полностью разделяли с мужчинами неженское бремя кровавых сражений.

Можно утверждать, что писательница наделила персонажи своих рассказов чертами, присущими ей самой. Она пишет об исхоженной ею земле, обугленной напалмом. «Хрупкая фигурка Фыок» из публикуемого ниже рассказа «Цветок джунглей» представляется автобиографичной: сколько раз ей самой приходилось, преодолевая смертельную усталость, вести отряд по горным тропам, хорошо известным только ей! Женщина, извечная хранительница домашнего очага, создательница мирного уюта, сохранила свои привлекательные, высокие душевные качества и в годину военных бурь. Зыонг Тхи Минь Хыонг светло и впечатляюще подтвердила эту истину и на поле брани, и в созданных ею образах своих соотечественниц.

Н. Хохлов

Цветок джунглей

Тропа вверх была скользкой от раскисшей глины, и каждый шаг давался с усилием. Шли плотной цепочкой, но тем не менее отряд растянулся по всему склону. Казалось, из долины на гору ползет огромная змея. Рюкзаки беспорядочно колыхались на согнутых спинах в такт шагам, наклоненные к земле лица побагровели от напряжения.

— Шире шаг, — передали по цепи команду, — входим в опасную зону...

Движение ускорилось. Участок пути, по которому они теперь шагали, носил следы недавней бомбежки. Деревья справа и слева от тропы стояли мертвые, с голыми, лишенными листьев, ветками — вражеская авиация сбрасывала здесь химические вещества для уничтожения леса. Еще дальше шли участки, выжженные напалмом, где у деревьев не осталось даже веток, одни лишь обуглившиеся стволы, вершины которых тянулись к мглистому небу. По лицам бойцов градом катился пот. Они совершали марш с полной боевой выкладкой. У каждого за спиной, кроме рюкзака, было оружие — трофейная американская винтовка, автомат или ручной пулемет. Сверху к рюкзаку были привязаны мешочки с сухим рисом. На поясе висели подсумок, саперная лопатка, гранаты и фляжка с водой. Все это раскачивалось на ходу и позвякивало в такт шагам.

Командир отряда Тханг уже несколько раз посматривал на часы, а затем переводил взгляд на хрупкую фигурку Фьюк — девушки-проводника, которая неумоимо шагала во главе отряда. Никаких признаков усталости. Волосы откинута со лба и перевязаны на затылке, чтобы не мешали при ходьбе. Корзинка с документами и письмами подскакивает всякий раз, когда девушке приходится перепрыгивать через ручеек или выступающий корень дерева, она у нее пристроена за спиной, как рюкзак солдата.

— Отдохнуть бы, ведь с самого утра идем, — слышен негромкий голос сзади.

— Давно пора сделать привал, — вторит ему другой.

— А помедленнее нельзя?

— Товарищ проводник, у нас впереди немалый путь...

Взгляды с надеждой устремляются на проводника. Молчит... Значит, надо идти. Кажется, никогда не будет конца этим горным склонам. Подъемы такие долгие, что уже ноги подкашиваются, а глянешь вверх — тропа по-прежнему упирается в небо.

— Зачем торопимся, — сердито бормочет под нос командир, хмуря брови. — Проводнику, конечно, положено определять скорость на маршруте и назначать время привала. Только надо бы понимать, как

трудно бойцам. С полной выкладкой, и путь неблизкий. Ей же все равно, бежит — не угонишься. А ведь в отряде и больные, и раненые...

Он прибавил шаг и догнал Фыок.

— Товарищ проводник, предлагаю сделать привал.

Девушка обернулась:

— Товарищ командир, на этом участке опасно, в любую минуту могут начаться бомбежка или обстрел, — чуть помедлив, негромко ответила она, — идти надо форсированным маршем. А места привалов нам определены, и проводник не имеет права останавливаться, где ему вздумается.

— Знаю! — Голос командира звучит резко. — Не всегда же цепляться за инструкцию. Ведь идти еще долго!

— Нельзя!

В цепи снова послышался ропот.

— Тяготы нам не страшны, — донесся чей-то голос, — не в первый раз переходим с одной позиции на другую. Но надо разбираться, когда действительно нужно с себя семь потов согнать, а когда и не стоит...

Кто-то по-детски захныкал:

— Ой, мамочки, мочи моей нету...

Лицо Фыок по-прежнему невозмутимо, даже губы не дрогнули, и она продолжает двигаться ровным шагом.

На некоторое время разговоры прекратились. Слышно только тяжелое дыхание бойцов. Командир одолевал склон в стороне от цепи, хватаясь за выступавшие из земли корни деревьев, но, несмотря на это, поминутно соскальзывал вниз. Да, такой трудной дороги они еще не видели. Даже молодые солдаты, которые в любой обстановке смеялись и подшучивали друг над другом, сегодня молчали. Уже одно это говорило о многом.

Отряд вышел к горной речке. Громадные, причудливой формы валуны выступали из прозрачной холодной воды. Тханг бросил на Фыок взгляд, полный надежды.

— Может быть, здесь отдохнем? Пусть ребята пообедают, и вода рядом.

— Товарищ командир, мы еще не вышли из опасной зоны, нужно отойти дальше. — Негромкий голос девушки был почти заглушен шумом воды.

Командир натянуто улыбнулся и, сдерживая раздражение, вполголоса сказал:

— А где это на фронте бывает вполне безопасно? Столько времени без отдыха! А как завтра идти, если сегодня люди совсем выбьются из сил? Вы

знаете только свой участок пути, а у нас он весь впереди!

Последние слова глубоко задела Фыок. Она быстро опустила ресницы, скрывая подступившие слезы, но ничего не сказала и продолжала идти.

На крутом повороте тропы, увидев лицо девушки, Тханг окинул ее неприязненным взглядом. Его прищуренные глаза, казалось, говорили: «Ну, это уже слишком. Что ни говори — как об стенку горох, такую, видно, ничем не проймешь. Обязанности свои выучила, а о людях не думает». По лицу командира стекал пот, рюкзак и тяжелое снаряжение пригибали к земле. Пистолет и фляга натерли бок. Плечи ломило от усталости, и он поминутно поправлял лямки рюкзака. Колени были как ватные, а ступни горели. Не в силах более сдерживаться, он снова нагнал Фыок и нервным жестом указал на свое колено.

— Я был ранен еще в первую войну Соппротивления, поэтому не могу щеголять выносливостью, как вы. И таких, как я, в отряде немало! Это вы понимаете?!

— Товарищ командир, — голос девушки вздрагивал от обиды и волнения, — я уже докладывала. Этот участок очень опасен, я работаю здесь давно и знаю. Подолгу здесь тихо не бывает. Самое большее несколько часов. Они налетают внезапно, ни дня, ни ночи не проходит без бомбежки. Поэтому...

— Знаю, — оборвал Тханг, — без опасности войны не бывает, и надо уметь относиться к опасности спокойно. А вы ее преувеличиваете, ни о чем, кроме опасности, и думать не можете!

Он сразу почувствовал, что сказал лишнее. Не следует вступать с ней в пререкания в присутствии бойцов. Но таков у него характер, если уж рассердится — сразу выкладывает все напрямик.

Фыок сжала губы и стиснула зубы, стараясь сдержать себя. На глазах у нее заблестели слезы, но она по-прежнему внимательно смотрела вперед.

В два часа пополудни отряд подошел наконец к пункту отдыха и смены проводников. Один за другим рюкзаки шлепались на кучи старых листьев. Промокшая от пота одежда липла к телам. Слышно было натужное дыхание, короткие оклики и ответы, изредка усталые шутки.

— Ничего себе махнули! Только воспоминания о наших героических предках, про которых рассказывают в школе, помогли мне закончить этот переход!

— И двузильная же эта Фыок, сколько заставила идти. Устал до чертиков!

— У меня чуть ноги не отвалились. А нашей девице хоть бы что, хотя корзинка у нее тоже не легкая.

Вдруг на разгоряченных лицах отразилось удивление.

— Гляньте-ка, а ведь она вроде обратно отправилась. Передала нас начальнику пункта и сразу в дорогу. Какова!

— Не может быть! Ведь сколько ей обратно шагать! Даже если напрямик, раньше восьми вечера не доберется, здесь ходу не меньше шести часов. Да и разве можно девчонке одной через джунгли!

Солдаты смотрели на высокую и стройную фигурку Фьюк, быстро удалявшуюся по глинистой тропе в заросли.

— Похоже, уходит. Чего ей не сидится? И завтра могла бы вернуться.

— И куда только торопится? Ведь задание на сегодня у нее выполнено.

— А может быть, свидание назначила, — съязвил кто-то, — годы-то молодые. Потому и нас гнала всю дорогу.

На лицах у некоторых появились насмешливые улыбки. Будто почувствовав взгляды солдат, девушка внезапно обернулась, на ее лице светилась добрая улыбка.

Наступили сумерки. Под густыми кронами деревьев стемнело особенно быстро. К тому же надвигался дождь, и вершины гор окутались тучами. Бойцы отдыхали в гамаках, покачивавшихся под большим навесом. Ветер усилился, и джунгли зашумели. Скоро в сгустившейся мгле уже ничего нельзя было различить. Порывы ветра и дождя обрушивались на навес, как будто желая его сорвать. Сквозь потоки ливня сверху донесся какой-то гул. Похоже было, что в небе над тучами — «летающие крепости». Звук был тяжелым и угрожающим. Затем в отдалении загрохотали бомбы. Никто не спал. Люди сидели в гамаках и прислушивались, готовые в любой момент прыгнуть в траншею. В промежутках между разрывами бомб слышались звуки артиллерийской канонады. Снаряды ложились один за другим, и их разрывы сливались в протяжный грохот. Начальник пункта с наброшенным на плечи куском прозрачной пленки вынырнул из темноты и дождя.

— Товарищи, держитесь подальше от больших деревьев и особенно следите, чтобы деревья не оказались с наветренной стороны. Главное — не зевайте, чуть услышите треск — сразу же в сторону! Сегодня ветер так и рвет...

— Где бомбят? — спросил командир отряда, стараясь перекрыть шум бури.

— Бомбят участок, по которому вы только что прошли, и обстрел там же. Утром вы удачно проскочили.

Разрывы бомб и снарядов к утру стихли, но буря продолжалась. Ветер

налетал порывами, и ветви деревьев бешено металась под его натиском. Дождь шел упорно, не переставая. Свинцовые, набухшие водой тучи висели над самой головой. Дневальный посмотрел на часы: 5.30, а в лесу еще темно. Он стер с лица дождевые капли и дал сигнал подъема. Бойцы начали вылезать из гамаков.

Послышался топот ног, шорох дождевых накидок и раздвигаемой листвы. На поляну выходил еще один отряд. Насквозь промокшие, потерявшие форму головные уборы. Лица, на которых капли пота смешивались с каплями дождя. Ноги, до колена облепленные глиной. Руки, побелевшие от дождевой воды.

Раздались взаимные приветствия:

— Здравствуйте, товарищи! Когда же вы выступили?

— Уф! Всю ночь отшагали!

— А это кто? Неужели Фыок?! — Молодой солдат, стоявший рядом с командиром, чуть не подпрыгнул от удивления. — И впрямь она!

Все головы повернулись к новоприбывшим. Глаза солдат неотступно следили за знакомой фигуркой, которая уверенно шагала правее колонны. Промокшая черная кофта и штаны облепили тело, и от этого девушка казалась еще более хрупкой. Фыок вся была забрызгана глиной, засохшие комки виднелись даже в густых черных волосах. В руке она держала букетик лесных цветов. Контрастное сочетание красок — розовые лепестки и ярко-красные тычинки, усыпанные желтой пылью, — придавало их красоте что-то неживое. Лицо девушки осунулось от усталости, но глаза неукротимо сверкали, как и прежде. Когда Фыок встретила взглядом с бойцами, которых она привела вчера, на ее губах появилась улыбка.

— Фыок!

— Товарищ Фыок!

Несколько мгновений все молчали. Затем, оправившись от удивления, солдаты, которые отдыхали, сидя на корточках, в ожидании команды выступить, дружно поднялись на ноги и заговорили наперебой:

— Фыок, вы что, летаете, как птица?

Девушка смутилась и покраснела. Политрук нового отряда пришел к ней на помощь.

— Она и в самом деле как птица. — Он положил рюкзак на ствол громадного дерева, перегородившего тропу, перевел дух и с чувством заговорил, обращаясь к группе бойцов, стоявших вокруг Тханга: — Пришли мы на тот пункт и только улеглись — приказ выступить. А на пункте один проводник, и тот больной. Остальные кто за рисом пошел, кто раненых сопровождает. Начальник хотел. вести нас сам, но некого было

оставить на дежурстве. И в это время вдруг вернулась наша Фьюк. — Слово «наша» политрук произнес с особенной теплотой. — Вид у нее — будто нарочно в грязи вывалялась. Лицо, руки, одежда — все в глине. Одни зубы остались белыми! Начальник спросил ее: «Опять тебя «крепости» утюжили? Ишь землей-то как закидало, в воронке, наверное, отсиживалась? Из орудий сегодня тоже жару давали. Повезло тебе, что проскочила... А почему у соседей не заночевала? Вернулась бы завтра утром». Фьюк ему отвечает: «Так ведь у вас никого нет, вдруг понадобится. И еще я хотела диких овощей к обеду набрать...» А как увидела, что мы укладываем рюкзаки и готовимся выступить, забеспокоилась. «Эти товарищи... Кто их поведет? Дайте отряд мне!» Начальник уговаривал ее остаться за него дежурить, напомнил, что скоро месяц, как она не отдыхала, но Фьюк настаивала на своем, говорила, что никто лучше ее не знает дорогу, да и повадки врага ей известны, а начальник пункта со своего поста отлучаться не должен. Вдруг прибывает транспорт с ранеными. И, не слушая больше возражений, она побежала сварить себе в дорогу немного маниоки, а начальник с гордостью сказал нам: «Когда проводником идет Фьюк, можно ни о чем не беспокоиться, она чутка и проворна, как белка. Проходит свой участок за сутки два раза, и хоть бы что. Рядом бомбы рвутся, деревья падают, а ей все нипочем. Ест маниоку и рис пополам с кукурузой, водит отряды в любую погоду и знай себе улыбается. Это только с виду она нежная и хрупкая, а на самом деле — кремень!» И он не преувеличивал, — закончил политрук, — когда мы ночью попали под обстрел, она действовала решительно и быстро, прямо как кадровый командир.

— Спасибо, товарищ Фьюк, — смущаясь, проговорил молодой боец, как только политрук умолк, — если бы вы не взяли у меня рюкзак, я бы отстал от товарищей. Нога подвела, из-за нее и вам беспокойство...

— Да что там, — негромко сказала Фьюк, передавая солдату рюкзак, из которого торчала саперная лопатка и кирка, — помогать солдатам наше дело, а ходить налегке как-то даже непривычно.

Стоявшие бойцы рассмеялись. Раздался сигнальный свисток, и они начали натягивать гамаки, готовясь отдыхать.

Фьюк тоже присела на большой камень. Неторопливыми движениями она развернула сверток с маниокой и пакетик соли и начала есть, отламывая маленькие кусочки. Не переставая жевать, она подбирала вокруг себя сухие листья и наклеивала их на кровоточащие ранки у себя на ногах — в дождливую пору в джунглях всегда полно пиявок.

Командир отряда Тханг все это время молчал и не сводил глаз с

нежного лица девушки. Несколько раз он запускал руку в волосы и с досадой дергал. Весь его вид выражал крайнее недовольство собой. Решившись наконец, он встал и подошел к Фьюк. Девушка с улыбкой протянула ему навстречу белый рассыпчатый клубень маниоки.

— Не хотите ли попробовать?

Тханг на мгновение смешался, опустил глаза и посмотрел на цветы, которые Фьюк положила рядом с собой на камень. Овладев собой, он заговорил:

— Успеваете еще и цветы собирать?

— Сегодня вечером у нас прием в Союз молодежи, цветы возле нашего пункта не растут, а здесь их много.

Тханг не ожидал от девушки приветливого тона. Значит, она на него вовсе и не сердится? Но все же он заговорил о том, что его мучило:

— Нехорошо вчера получилось, Фьюк, ведь вы, конечно, были правы, не позволяя нам останавливаться, а я этого не понимал и нагрубил... Вы рассердились, наверное? — Он понизил голос, будто разговаривая сам с собой. — Что ты будешь делать... Иной раз и не такое приходится терпеть — и ничего, держишь себя в руках. А бывает, из-за безделицы сорвешься. Забудьте об этом, Фьюк!

Девушка с удивлением посмотрела на командира.

— Стоит ли об этом говорить? Вы бьете врага, как можно на вас сердиться, ведь я не ребенок.

Появился новый проводник, и отряд двинулся в путь. Тханг крепко пожал руку девушки.

— Прекрасный вы человек, Фьюк!

Если бы у него было время, он сказал бы ей, что она сама похожа на цветок, один из тех диких цветов, которые ему случалось видеть во время переходов через джунгли. Обычно они прячутся в расселинах скал или среди корней деревьев. Эти хрупкие и нежные на вид цветы умеют, однако, сопротивляться любому урагану, и никакая сила не оторвет их от родной почвы...

Но было уже поздно, его отряд уходил.

Перевод с вьетнамского И. Быстрова

РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ



Прамудья Ананта Тур

Прамудья Ананта Тур (род. в 1925 г. в семье школьного учителя) — крупнейший писатель-реалист современной Индонезии. В юные годы он с оружием в руках сражался за независимость своей страны. Большой вклад Тура в дело обновления национальной литературы отмечен рядом литературных премий Индонезии. Главным героем его художественного творчества является простой люд страны, ее трудовой народ. Творчество писателя пронизано идеями свободолюбия, гуманизма; лучшим его произведениям присуща высокая гражданственность. Тур известен как превосходный переводчик, открывший индонезийскому читателю М. Горького (роман «Мать»), Л. Толстого, А. Куприна, М. Шолохова, Б. Полевого. На русский язык переведены повесть Тура «Это было в Южном Бантене», роман «На берегу реки Бекаси» и сборник рассказов «О том, что прошло», многие из которых построены на воспоминаниях детства писателя, прошедшего близ г. Блора — в одном из беднейших районов страны. «Это печальный край, — писал видный индонезийский литературовед Х.-Б. Яссин, — где нищета толкала человека на преступления, где он за десять рупий мог пойти на убийство... где выдавали замуж шести-восьмилетних девочек, лишь бы избавиться от лишних ртов, где женщины продавали себя, чтобы как-нибудь прокормиться». Публикуемые здесь первые три рассказа взяты из этого сборника. «Продавшие себя» и «Инем» поднимают тему порожденной голландским колониальным господством нищеты и безысходности, растлевающих бедняков духовно и физически, способствующих консервации самых диких патриархальных пережитков. Тема пауперизации крестьянства Явы полностью сохраняет свою злободневность и в наши дни.

Новелла «Жизнь без надежд» обнаруживает в Туре незаурядного сатирика. Автор беспощаден к эгоистам и приспособленцам, увидевшим в глубинных общественно-политических сдвигах середины XX века лишь возможность проложить себе «путь наверх». В трактовке писателя беспринципность, бездуховность Каджана есть болезнь, закономерно развивающаяся в распад личности и завершающаяся безумием. Интуиция большого художника подсказала Туру тему, остающуюся чрезвычайно актуальной и в сегодняшней Индонезии.

Трагедия личности, растоптанной оккупацией и империалистической

интервенцией, положена Туром в основу рассказа «Улица Курантил, 28». Врасплох застаёт японское вторжение героя рассказа Махмуда. Не одушевленный высокими общественными идеалами, он живет в маленьком замкнутом мирке, и потому крах его личной жизни воспринимается им как крах мироздания. Махмуд озлоблен, опустошен. И все же бедствия и страдания не вытравили в нем человека. В сложившейся драматической ситуации он, оказывается, способен на акт самопожертвования, хотя и своеобразно понятого им.

Тематика всех помещенных ниже рассказов лежит в магистральном русле творчества писателя.

В. Цыганов

Продавшие себя

Да, да, я все помню, хотя мне было тогда четыре года... Я хорошо знал эту семью: деда и бабушку Леман, их сыновей — Мана, Ньямидина, Сидина и дочь Сиях.

Ежедневно я появлялся у них в девять часов утра, когда все были дома. Вбегая, я сразу забирался на колени к дедушке Леману. Он понимающе похлопывал меня по плечу и предлагал кофе. Я смеялся. И бабушка Леман смеялась. А если я спрашивал: «Где Сиях?» — он всегда отвечал: «Еще спит».

— Спит? А я уже встал! — восклицал я хвастливо.

Он улыбался, но, щадя мое самолюбие, говорил:

— Сиях — ленивая девочка.

— А где Ман?

— На реке... купается.

— А Ньямидин, дедушка?

— Еще не приходил домой. Ночью сторожил в гарду...^[32] Он сейчас спит там.

— Еще спит?

— А как же?.. Устал, всю ночь ходил с колотушкой.

Иногда меня угощали вареным уби^[33].

Обо всем виденном и слышанном в доме Леманов я имел обыкновение тотчас же рассказывать матери. Она пристально вглядывалась в меня своими узкими глазами и, предостерегающе поднося к моему носу указательный палец, говорила:

— Мать тебе все время твердит: нельзя туда так часто ходить. Им нужно заниматься делом.

— Но они ведь не работают...

— Потому что ты им мешаешь.

— А Сиях еще спит...

— Вот видишь!.. — Голос матери, который еще минуту назад был суровым, становился ласковым. — Лень — это заразная болезнь. Она, как трахома, передается от одного к другому. Если ты часто будешь туда ходить, и сам обленишься.

Как-то я передал дедушке Леману слова матери о лени, которой можно заразиться. Он добродушно проговорил:

— Что правда, то правда... Я человек ленивый. Но не будь я таким, что изменилось бы?.. — И он усмехнулся. — Своего рисового поля у меня ведь нет. Клочка земли и того нет... Голок^[34] — вот все мое богатство. Каждый день точу его, поглаживаю. — Он бросил взгляд на гладкий и почти блестящий точильный камень с глубокой выемкой посередине. — Покараулю вместо кого-нибудь ночь — вот и два с половиной цента в кармане. Не будь тебя у Лемана, дружок голок, прощай гарду!..

У дедушки Лемана был приятный, певучий голос; слова он произносил как-то по-особенному, в нос. Мне нравилось его слушать.

Однажды, когда я заговорил о Леманах, мать обронила:

— И что тебе дались эти лентяи!.. Уважения заслуживают только те, кто работает. Запомни это!

На следующее утро я уже не, пошел к своим друзьям.

Прошло много дней... Как-то я опять очутился у Леманов и, по обыкновению, спросил:

— А где Сиях?

Дедушка Леман опустил голову. Бабушка кашлянула. Почему же вопрос, с которым я обращался к Леманам каждое утро, сейчас так их озадачил?.. Наконец старик ответил:

— Сиях уехала... В Палембанг^[35].

— А это далеко?

— Далеко. За морем.

— Зачем она туда поехала, бабушка?

— За деньгами. Вернется с золотом... — И лицо бабушки исказилось в горькой усмешке.

— Теперь тяжелые времена, — ни к кому не обращаясь, сказал старый Леман. — Даже прияи^[36] приходится туго!.. Сколько их теряет свои

места!..

Я постарался запомнить эти слова, чтобы потом узнать, что они означают. Вечером, когда отец, как обычно, вышел посидеть возле дома на скамейке, я подбежал к нему со своим вопросом, но он опередил меня:

— Ты все расспрашивал меня о школе. Так вот, пора и тебе учиться.

Это была приятная новость; я даже подпрыгнул от радости.

— Я пойду в школу? Когда, папа?

— Завтра!

И я сразу забыл все, о чем говорил дедушка Леман. Завтра в школу! Я был счастлив, хотя в глубине души и сожалел о том, что уже не придется по утрам пить кофе у Леманов. Так оно и получилось: с тех пор я стал приходить к ним только во время каникул или по воскресеньям.

Как-то, возвращаясь из школы, я встретил возле нашего дома дедушку Лемана. Он протянул мне нового бумажного змея. Помню, я никак не мог запустить его и с завистью смотрел, как ловко это делают другие мальчишки. Змей стал жертвой моего отчаяния — я разорвал его на мелкие клочки.

Однажды — тогда у меня были каникулы — я играл с товарищами на улице. Неожиданно против дома Леманов остановился докар^[37]. Как по команде, все мы бросили игру и побежали к Леманам, во-первых, из любопытства, а во-вторых — и это главное — рассчитывая на угощение.

И я увидел... Сиях. Она сидела на топчане рядом с каким-то немолодым мужчиной в черной баджу^[38]. Сиях улыбнулась, поднялась и подошла ко мне.

— А, вот и ты!.. Давно, давно не виделись... — И она засмеялась, обнажив два золотых зуба^[39].

На шее Сиях поблескивало золотое ожерелье из семи монет, соединенных цепочкой.

— Ты теперь богатая? — спросил я.

Вместо ответа она поцеловала меня.

— Дай мне золотую монетку, — попросил я.

Она покачала головой и, сунув мне в руку какие-то сладости, сказала: «Вырастешь — сам богатым будешь». Тем временем дедушка Леман, почтительно склонившись, беседовал с незнакомцем, у которого, как и у Сиях, поблескивали во рту золотые зубы. Бабушка хлопотала у печки, грея воду.

После возвращения Сиях я снова стал часто забегать к Леманам. Ее рассказы о слонах и тиграх, о сокровищах пленяли мое детское воображение. Помню, я пересказывал все слышанное домашним или

товарищам и, только выговорившись, чувствовал облегчение.

Как-то раз, придя к Леманам, я вспомнил, что уже давно не встречал в их доме человека с золотыми зубами.

— Где он, дедушка? — спросил я.

— Уехал, — нехотя обронил старик.

— Куда?

— Кто его знает!..

— А Сиях еще спит?..

— Нет ее...

— Она тоже уехала? — воскликнул я, едва не заплакав.

Старый Леман тяжело вздохнул.

— Она вернется, дедушка?

Из кухни вышла бабушка Леман.

— Незачем ей возвращаться. Будь она проклята!.. Лучше бы ей там утонуть!..

Я подумал, что Сиях снова отправилась за море, в Палембанг, но, видя хмурые лица стариков, не стал об этом расспрашивать.

— А где Ман, дедушка?

Старик только махнул рукой.

— Тяжелые сейчас времена... Да!.. Даже чиновникам и тем не сладко. Раньше, бывало, Ман у них подрабатывал — то забор поправит, то уборную вычистит... А теперь им не до этого!.. Вот Ман и ушел искать удачи в других местах.

— Куда же он ушел, дедушка?

— В Чимахи^[40]. Записался в солдаты.

— Вернется сюда с ружьем? Да, дедушка?

— Вернется? Не знаю... Может, и совсем не вернется...

— Что ты, старый!.. Это раньше так было — не возвращались из армии, — перебила его бабушка. — Пенсионер^[41] Спандри говорит, что война в Аче^[42] уже кончилась... теперь солдаты только и делают, что маршируют и учатся стрелять...

Очевидно, так оно и было: я сам часто видел, как солдаты-кавалеристы — рослые и brave, настоящие храбрецы — палили из карабинов по целям через реку.

— А где Ньямидин, дедушка?

— О!.. Он, брат, теперь хозяин... У него своя земля... Вот только мало ее, мало. Много работает Ньямидин... Трудно теперь жить. Ох трудно! А помнишь, какие он для тебя красивые игрушки делал?

— Разве ему было плохо здесь?

— Если у человека есть деньги, ему везде хорошо. Другое дело, когда их нет и не знаешь, где взять... — Старик закашлялся и долго не мог говорить. — Ох, лучше не спрашивай...

Голова дедушки Лемана опускалась все ниже и ниже. Мне показалось, что он засыпает...

Когда я, придя домой, начал рассказывать о том, что слышал у Леманов, отец строго прервал меня:

— Иди лучше умойся.

Без лишних слов я отправился в ванную. И, помню, подумал: «Почему наша ванная богаче всего дома дедушки Лемана?» Умывшись, я спросил об этом отца. Он задумался, затем неожиданно усмехнулся и начал насвистывать какой-то веселый мотив. Я обратился с этим же вопросом к матери.

Она нахмурилась:

— Уроки ты выучил? — и, решительно взяв меня за руку, повела на террасу. — Садись за книгу!

И в тот же миг я почувствовал острую боль, будто мое ухо опустили в кипящую воду.

— Больше ты туда не пойдешь! Слышишь?

С тех пор я у Леманов не появлялся.

Прошел год. Я все еще учился в первом классе. Сверстники считали меня малышом и только изредка принимали в свои игры. Как-то около дома Леманов мы играли в прятки. Я спрятался у стены. Неожиданно до моего слуха донесся незнакомый мужской голос.

— Значит, не хочешь? — сердито спросил кто-то.

— Нет, ндоро^[43]. Мы бедные люди. Что правда, то правда... но честные...

— Пять рупий!

— Нет, ндоро.

— Шесть!

Молчание.

— Семь! — набавлял дену незнакомец. — Ударишь разок — вот и вся твоя работа.

Снова молчание.

— Семь с половиной! — В голосе незнакомца прозвучала угроза. — Ну вот что: мое последнее слово — десять рупий! Не хочешь — пеняй на себя!..

Я был так увлечен игрой, что не стал слушать дальше, а когда

выбежал из своего укрытия, увидел чиновника в сарунге^[44] и баджу с серебряными пуговицами. Он выходил из дома дедушки Лемана.

Спустя два-три дня я опять встретил этого человека, но, помню, он не вызвал у меня особого интереса.

Но вот наступила та страшная ночь — ночь, которая запомнилась мне на всю жизнь.

Мать, отец, я и мой младший брат сидели на скамейке у террасы. Неожиданно на месяц, который, как мне казалось, светил ярче, чем обычно, надвинулась мрачная, похожая на какое-то таинственное чудовище туча. Все вокруг погрузилось во тьму. Зашумели деревья, потом словно что-то огромное покатилося на нас, блеснула молния, и над самой головой раздался страшный удар грома.

Мы поспешили в дом.

Вдруг совсем близко прозвучал кентонг^[45]. И сразу же бойко заговорили кентонги соседних гарду.

— Это с нашего гарду!.. Несчастье какое-то случилось, — проговорил отец, вставая. — Не выходите из дому. Сейчас я все узнаю.

Как теперь помню встревоженное лицо матери. Она не отвечала на мои вопросы и только испуганно вглядывалась в темные углы комнаты.

Через четверть часа вернулся отец.

— Что? — бросилась к нему мать.

— Ах, этот старый Леман! Чуть не убил человека... дубинкой! Дрогнула, видно, рука у него. Помиловал аллах!..

— Старый Леман? Не может быть.

Отец только развел руками.

— Ну и что с ним теперь?

— Избили.

— Но раз он решился на преступление, почему — дубинка? Ведь при нем всегда был голок!

— Говорит, что голок — его кормилец...

— Как ты сказал, папа? — спросил я, сразу вспомнив то, что слышал когда-то в доме Леманов.

Но мой вопрос остался без ответа.

— Просто нельзя поверить!.. Такой славный старик — и на тебе! — воскликнула мать.

— Все бывает в жизни... — вздохнул отец.

Ужин прошел в полном молчании. Ни отец, ни мать не обмолвились больше ни словом, но чувствовалось, что они продолжают думать о

случившемся. И мои мысли были заняты дедушкой Леманом...

Наутро жители нашего города только и говорили о ночном происшествии. А дедушка Леман как в воду канул. Вскоре до нас дошли слухи, что его приговорили к семи месяцам принудительных работ.

Отец как-то сказал матери:

— А старый Леман действительно не такой уж плохой старик... Его просто заставили. И. обещали десять рупий.

Мне сразу же припомнился случайно подслушанный разговор между дедушкой Леманом и незнакомцем в са-рунге. Когда я, задыхаясь от волнения, рассказал обо всем отцу и матери, они, вероятно не поверив, строго-настрого наказали мне молчать.

И мне не оставалось ничего другого, как хранить свою тайну глубоко в сердце. Как это было трудно и мучительно! Хотелось поведать ее кому-нибудь, кто бы понял меня и помог моему старому другу.

Вскоре произошло еще одно событие.

Смеркалось. Я с мальчишками играл в мяч на середине дороги. Вдруг ко мне приблизилась, опираясь на палку, закутанная во все черное женщина. Я увидел изнуренное болезнью лицо.

— Ты не узнал меня?.. — Ее губы разомкнулись в едва заметной улыбке.

«Золотые зубы! Сиях!..» Я испуганно вскрикнул и побежал к дому, оглядываясь назад. Сиях смотрела мне вслед.

Заниматься в тот день я уже не мог.

— Ума не приложу, что делается с мальчишкой!.. — рассердилась, помню, мать. Но тут же пожалела меня и ласково спросила: — Ну, что с тобой, глупенький?..

— Я боюсь, мама.

— Чего?

— Я видел Сиях с палкой... Она теперь старая-старая! Подошла ко мне и говорит: «Ты не узнал меня?..»

— Я с тобой... не бойся! — И мать погладила меня по голове...

— А почему Сидин теперь никогда не приходит к бабушке Леман? — спросил я как-то мать.

— Сидин — человек трудолюбивый. Что ему делать у лентяев?.. Вот будешь ленился — и от тебя отвернутся хорошие люди...

А дни шли... В обеденное время теперь часто можно было увидеть на чужих дворах бабушку Леман. Она просила подаяние.

Через некоторое время вернулся старый Леман. Первые дни он совсем не выходил из дому. Потом стал изредка появляться на сламетанах^[46], но

оставался недолго и уходил первым, ни с кем не прощаясь. Раз в неделю дедушка Леман отправлялся на базар с корзинами из тростника. Бабушка Леман уже не собирала милостыню.

Прошло еще несколько недель... Теперь дедушка Леман работал на улице, возле своего дома. Когда мимо проходил я, он почему-то опускал голову. И я видел, что волосы у него совсем седые.

Перевод с индонезийского Р. Семауна

Инем

Инём! Так звали подругу моего детства, соседскую девочку. Ей тогда уже исполнилось восемь лет. Инем была старше меня на два года.

При встрече с Инем люди радостно улыбались. У нее было такое свежее, миловидное детское личико! И во многих семьях, где подрастали женихи, подумывали: «А ведь неплохо бы ввести в дом такую невестку, как Инем...»

Женщины нашего городка в свободные от работы на рисовом поле дни, а их было не много, занимались разрисовкой уденгов^[47] и сарунгов. Мори^[48] и воск они получали у лавочника Ичжо. Мать Инем разрисовывала уденги. За каждые два уденга ей платили полтора цента. В день она успевала изготовить восемь — одиннадцать уденгов.

Об отце Инем ходила дурная слава. Мать рассказывала мне, что когда-то он грабил людей на лесных дорогах. Все знали, что он продолжает заниматься темными делами. Но прямых улик не было, и никто не смел донести на него. К тому же некоторые его родственники служили в полиции, а один из них даже пребывал в звании агента первого класса. Да и сам отец Инем еще недавно был полицейским; его уволили за взятки.

Разбойник и полицейский в одном лице! Этого я никак не мог понять. И мать объяснила мне, что этого человека взяли на службу в полицию, чтобы с его помощью выловить бандитов.

Отец Инем был страстным любителем петушиных боев. И нередко оказывался в проигрыше; тогда его петух переходил в другие руки и, кроме того, приходилось еще платить от трех таленов до ринггита^[49], в зависимости от ставки. А когда петушиные бои не устраивались, отец Инем садился играть в карты, что было не лучше... Довольно часто он где-то пропадал по неделе, а то и по целому месяцу. Но возвращался всегда с деньгами.

Мои родители уже давно взяли Инем на свое попечение; она помогала матери по хозяйству и играла со мной и младшим братом.

Однажды, когда я был на кухне, Инем, ставя на огонь котелок с водой, сказала мне:

— Красавчик Мук, а я невеста!..

— Невеста?.. — удивился я.

— Да!.. Скоро моя свадьба.

— Хорошо быть невестой?..

— Еще бы! Мне купят красивую кабайю и кайн^[50]. А свадебный наряд! Меня украсят цветами... Глаза подведут сурьмой... И какую прическу сделают! Я так рада! Так рада!

Инем говорила правду.

— Госпожа, — сказала как-то ее мать, придя к моей, — подходит время свадеб... А моей дочери давно пора замуж.

— Что?.. Замуж?..

— Да, госпожа. Ведь ей уже восемь лет!

Моя мать рассмеялась:

— Восемь лет! Да ведь она еще совсем ребенок!

— Мы не приия, госпожа. Это дочери приия могут долго не выходить замуж. Нам так нельзя. Свадьбу надо было справить еще в прошлом году. Дочь Асих уже замужем, а ведь Инем на два года старше ее. Хвала аллаху, что наконец нашелся человек, который берет ее в жены. А пристроим Инем — и нам жить станет легче. Отец жениха — богатый человек, и сам Маркабон уже начал скотом торговать. Единственный наследник!..

Взрослые жевали бетель^[51], время от времени сплевывая красную слюну в медный пайдон^[52].

— Мбок^[53], — снова начала моя мать, — но ведь ей еще только восемь лет!..

Гостья вскинула брови:

— И я и моя мать тоже вышли замуж восьми лет...

— Ранний брак — нехорошее дело! Дети перестают расти, болеют...

— Вам лучше знать, госпожа. Только в нашей семье, хвала аллаху, нет больных и все живут по многу лет. Моей матери уже скоро шестьдесят, и ничего. А посмотрите на нашу бабушку; как она работает на огороде! А ведь ей за семьдесят!

Но моя мать продолжала стоять на своем:

— Тем более что жених тоже еще мальчик...

— Маркабону уже семнадцать лет, госпожа.

— Семнадцать лет? Отец Мука женился в тридцать!..

Мать Инем промолчала, эти слова ее явно ни в чем не убедили.

— Ну, если уж дело у вас решено, — сказала моя мать, по-видимому, исчерпав все доводы, — то мне остается только пожелать ей счастья...

— Бедная, бедная девочка!.. — задумчиво продолжала она, когда мы остались одни, — но ведь они так нуждаются! Так бедны!.. Это их последняя надежда...

Через две недели мать Инем пришла за дочерью. Инем не могла скрыть своей радости. Бедняжка! Она и не подозревала, что уходит из нашего дома навсегда.

И вот наступил торжественный день.

В веселой гурьбе ребятишек, сбежавшихся посмотреть на свадьбу, был и я. Инем нельзя было узнать: челка ее была аккуратно подстрижена, брови и волосы на висках густо насурьмлены, пучок волос украшен маленьким букетиком бумажных цветов на пружинке. А сверкающие украшения, шелковая кофточка и дорогой соловский кайн!.. Правда... все это было взято на время свадьбы у богатого китаецца...

Дом и двор были убраны молодыми листьями кокосовых пальм и длинными ветвями берингина^[54].

Свадьбы в нашей местности справляются обычно, когда урожай уже собран и рис дешевет, и всегда с вайянгом^[55]. А что за веселье без этого представления? Отец и мать Инем сделали все, чтобы был вайянг. Но, увы, их хлопоты не увенчались успехом. И они в конце концов решили пригласить танцовщиц и гамелан^[56].

Музыка не стихала два дня и две ночи. Нам, детям, было занятно смотреть в это время на взрослых. Они кружились в танце, целовались, торопливо чокались и, пьяные, вразнобой кричали:

— Ура!

Все, особенно женщины, с умилением смотрели на свадебную церемонию.

Подойдя к жениху, Инем, как того требует ритуал, присела на корточки, сложила ладони лодочкой и поднесла их к лицу так, что ногти больших пальцев коснулись кончика ее носа. Затем принесли медный тазик с ароматной водой, и, перед тем как Маркабон ступил на порог дома, Инем омыла ему ноги. Родственники окружили молодых, соединили их руки и повели к циновке для новобрачных.

И сразу же раздались дружно скандируемые слова:

— Был один — стало двое! Был один — стало двое! Был один — стало двое!..

Но тут я заметил, что Инем плачет; слезы, смешиваясь с пудрой и сурьмой, оставляли темные полосы на ее красивом детском личике.

Я побежал домой и спросил у матери:

— Почему Инем плачет, ма?

— Невесты плачут потому, что вспоминают своих прадедушек и прабабушек, которых уже давно-давно нет на свете...

На другой день я узнал действительную причину слез Инем: она хотела выйти по маленькому делу, но боялась об этом сказать.

Сыграли свадьбу, утих шум, гости разъехались. И словно ничего и не было. Как только появились первые заимодавцы, отец Инем куда-то исчез из города. Но долги оставались долгами, их надо было платить. Мать Инем засела за разрисовку уденгов. День для нее слился с ночью...

Однажды к утру меня разбудил жалобный крик и душераздирающие стоны, доносившиеся из большого дома Маркабона:

— Пусти! Пусти!..

— Ма, ты слышишь? Инем кричит! Ма!.. — позвал я мать.

— Спи, спи... Это они... дерутся. Бедная Инем!..

— А почему они дерутся, ма?

Но мой вопрос остался без ответа. Потом все стихло, и я уснул.

Этот страшный крик и стоны стали повторяться почти каждую ночь. И всякий раз я будил мать, а она только вздыхала:

— Бедная, бедная девочка!.. Еще совсем ребенок. Подумать только!..

Но вот к нам пришла Инем... Как сейчас помню ее бледное личико. Казалось, в нем не осталось ни кровинки. Инем хотела что-то сказать, но не могла: слезы душили ее.

— Почему ты плачешь, Инем? Что-нибудь неладно? — спросила мать.

— Госпожа, — всхлипывая, ответила Инем, — возьмите меня опять к себе... Возьмите!..

— Но ведь у тебя теперь муж, Инем...

— Возьмите меня к себе!..

— Почему, Инем? Тебя обижает Маркабон? — спросила мать.

— Госпожа, пожалейте меня... Каждую ночь он борется со мной, делает мне больно... Я не хочу быть замужем! Не хочу!

— Ну, ну, Инем, — утешала ее мать. — Вот увидишь, все будет хорошо! И разве ты сама не хотела выйти замуж?

— Да, госпожа... но... но....

— Помни: жена всегда и во всем должна слушаться мужа. Иначе предки проклянут тебя.

Инем молчала, слезы по-прежнему текли по ее щекам.

— Ну, а теперь иди домой. И слушайся мужа! Каким бы он ни был, пусть даже плохим, ты должна быть покорной, потому что он твой господин.

Инем не уходила.

— Ну, Инем, иди же! Увидишь, все будет хорошо! Аллах милостив!..

Инем медленно направилась к выходу.

— Бедная, бедная девочка! — снова прошептала мать, когда Инем ушла.

Помню, я тогда спросил ее:

— А папа тоже с тобой боролся?

Мать настороженно взглянула на меня, а потом улыбнулась.

— Нет, — сказала она. — Твой отец... самый лучший человек на свете, Мук!

И мы, захватив кетмень, отправились на огород.

Я и не заметил, как прошел год. И вот Инем снова пришла к нам. Она очень изменилась и теперь казалась мне взрослой.

— Госпожа, — сказала она матери, низко склонив голову, — у меня больше нет мужа...

— Как, разве ты стала вдовой?

Инем молчала.

— Что же случилось? Ну?

— Он бил меня, госпожа...

— Бил? Значит, ты его не слушалась?..

— Нет, госпожа, я делала все, как вы говорили... Все!..

— Я тебе не верю... Никогда муж не поднимет руку на жену, если она послушна ему.

— Госпожа, дорогая госпожа, возьмите меня опять к себе! — с мольбой в голосе проговорила Инем.

Мать ответила:

— Инем, ты теперь не живешь с мужем, а у нас в доме большие мальчики...

— Разве мальчики будут меня бить?

— Не в этом дело, Инем. Ну пойми же ты... Тебе нельзя теперь оставаться у нас в доме. Что подумают люди?..

В глазах девочки заблестели слезы.

— Прощайте... — сказала она, и голос ее дрогнул.

Дома Инем была обузой. Кто только не ругал и не бил ее: и отец, и мать, и младший брат, и дядя, и тетка. К нам она больше никогда не приходила. Редко ее можно было увидеть и на улице.

Иногда до нашего дома доносился крик Инем, иступленный и жалобный крик. Заслышав его, я зажимал ладонями уши.

Перевод с индонезийского Р. Семауна

Жизнь без надежд

Когда-то земли в нашей округе славились плодородием. Население здесь редкое, и крестьяне владели большими наделами.

Но ничто не вечно. Проходили годы, одно поколение сменялось другим, увеличивалось население. К тому же на нашей земле поселилось много бывших военнослужащих голландской армии. Наделы стали дробиться на мелкие участки; почва истощилась и перестала кормить людей. Богатые обеднели, а бедные обнищали и, потеряв землю, стали батраками и кули.

Так постепенно наша некогда богатая округа превратилась в самую бедную на Яве.

Еще хуже стало после прихода японцев: они отбирали у крестьян почти весь рис, батраки потеряли последнее.

Но люди жили, и, несмотря на голод, рождались дети. А дети просят есть. Наши крестьяне еще ничего не знали о теории «ограничения рождаемости», которую европейцы насаждают в своих колониях. Но если бы и знали, все равно с возмущением отвергли бы ее. И население продолжало расти... Голод выгонял из деревни даже маленьких детей. Но в нашем городе, где они надеялись прокормиться, не хватало риса и для своих жителей. И люди со страхом думали о завтрашнем дне.

Дети целыми днями бродили по улицам Блоры, от одной помойки к другой, и, наконец, ослабев от голода, опускались на мостовую, чтобы никогда уже не встать. Те, кто еще был на ногах, смотрели на умиравших расширенными от ужаса глазами, но ничем не могли им помочь. Смерть разбрасывала трупы маленьких жителей нашей страны по обочинам дорог. Она не щадила и взрослых. Богатые перестали верить в силу своего богатства — могло ли оно спасти их от голодной смерти, если часто рис

нельзя было достать ни за какие деньги? Смерть перестала удивлять кого бы то ни было.

Так было все годы японской оккупации^[57].

Люди казались случайными прохожими в этом мире. Они теряли всякую надежду и веру в лучшее будущее. И не было на свете человека, который мог бы указать путь к избавлению. Многие спрашивали себя: «Не погибнет ли вся нация в каких-нибудь пять лет, если так будет и дальше?» Но никто не осмеливался сказать об этом вслух. А японская оккупация продолжалась.

Как бы там ни было, семнадцатилетний Каджан сумел приспособиться.

Старшим в семье, о которой пойдет здесь речь, был папаша Кумис^[58], отец Каджана, прозванный так за огромные пышные усы. Прозвище мужа перешло к жене, и мать Каджана все звали матушкой Кумис. Их старшая дочь, Мини, была замужем за полицейским и жила в другом городе. Другую дочь звали Инем. Самой младшей была Сами. Хотя Каджан родился третьим, он, как мальчик, еще с детства привык видеть в себе старшего. Любовь и поклонение домашних он принимал как должное и уже в пятнадцать лет требовал от них раболепного подчинения. Если его желания сразу не исполнялись, он начинал бить и ломать все, что попадалось под руку. Зато вне дома Каджан был ниже травы, тише воды. Правда, среди тех, кто был слабее или моложе его, он держался повелителем и не скупился на зуботычины.

Когда пришли японцы, семье папаша Кумиса, как и другим, жить стало туго. Но вот однажды Каджан привел в дом японского офицера. Сами, которой тогда только исполнилось пятнадцать лет, прислуживала гостю. Каджан делал все, чтобы угодить представителю японской армии. А Сами гордилась вниманием офицера. Она стала любовницей японца и с тех пор при встречах с соседями гордо вскидывала свою красивую головку. Каджан сразу же получил неплохое место в конторе железной дороги.

Японец приносил подарки: рис, одежду и деньги. Папаша и мамаша Кумис благословляли судьбу, пославшую им такую удачу.

Примерно через год Сами родила девочку; ей дали имя Ниппонгиях, что означает «японочка». С тех пор всю свою родительскую любовь и ласку чета Кумис перенесла на дочь и внучку. А Каджану приходилось довольствоваться остатками. Это бесило его, и он не раз раздраженно говорил:

— Кто привел сюда японского офицера? Почему же теперь я словно лишний в этом доме?

Прадед и дед отца Каджана жили богато. Но все их добро и земля уже давно были поделены между многочисленными наследниками, и папаше Кумису достались лишь крохи. Некоторое время он батрачил. Но не смог этим прокормиться и, не найдя другого выхода, начал грабить на дорогах между Блорой, Рембангом и Чепу. Слухи о том, что он занимается темными делами, разнеслись по всей округе. Тогда его привлекли на службу в полицию. Он никому не хотел подчиняться и целыми днями бездельничал. И все-таки его не увольняли.

Наконец, папаша Кумис распрощался с полицией. Он даже ухитрился за взятку получить пенсию, которую, впрочем, через пять лет у него отобрали. Тогда он принялся за старое. Дома папаша Кумис бывал не больше трех дней в месяц, и то лишь затем, чтобы пристроить награбленное и побывать на петушиных боях. Когда пришли японцы, он предпочел сидеть дома, благо семья его не бедствовала.

Вот какая кровь текла в жилах Каджана!.. Недаром излюбленной темой его разговоров были убийства, грабежи, азартные игры, деньги и женщины. Сверстники не хотели с ним знаться. Раньше его чуждались в школе и ланггаре^[59], то же самое было теперь в конторе железной дороги.

Каждое утро Каджан просыпался с надеждой, что его ждет какая-то необыкновенная удача... То он подходит к своему дому и вдруг видит не ветхую бамбуковую хижину, а великолепный дворец! То ему вручают премию — тысячу рупий за усердие. Входя в контору, он пристально вглядывался в лицо своего шефа. Стоило тому дотронуться до ящика стола, как у Каджана перехватывало дыхание — не иначе премия, тысяча рупий! А премия все висела в воздухе. Вскоре Каджан возненавидел шефа и стал распускать про него гнусные сплетни.

Папаша и матушка Кумис гордились сыном и похвалялись его способностями. Но отношение к нему сверстников и сослуживцев не изменилось. И больше всего они презирали его за то, что он так бесстыдно заискивал и лебезил перед японцами.

Желая выслужиться, Каджан не только работал с необыкновенным рвением, но и всячески старался выказать свое пристрастие к японской культуре и литературе. Не случайно поэтому, когда зашла речь о том, кого послать на курсы усовершенствования, шеф назвал Каджана.

Так он, Каджан, продвинулся по служебной лестнице на ступеньку выше. А потом Каджан переступил еще две ступеньки и, стало быть, два

раза получил прибавку к жалованью. Он располнел. В его движениях появилась солидность и самоуверенность, а во взгляде надменность.

В то время как Каджан преуспевал на служебном поприще, его сверстники один за другим погибали от голода. Он относился к этому спокойно, ибо был невысокого мнения о тех, кто не мог выбиться в люди: «Не хотят работать — пусть подышают».

Как-то японцы открыли в Блоре курсы тренеров и учителей физкультуры^[60]. Каджан поступил на них и закончил с отличием. Теперь служащие, измученные и полуголодные люди, которых он донимал физкультурой, ненавидели его еще больше.

Но вот японский оккупационный режим пал.

Каджан потерял почву под ногами. Силе его пришел конец. Куда девались солидность и самоуверенность Каджана! На улице теперь он показывался редко, дома бушевал и даже набрасывался на родных с кулаками.

А время было тревожное. Одно за другим поступали сообщения с полей сражения — и все противоречивые. Подобно лишаям на коже, которая не знает мыла, расползались слухи о пожарах, взрывах и бомбардировках. Каджан боялся всего. Если шел на реку купаться, то старался, чтобы его никто не видел. Если его о чем-нибудь спрашивали, отвечал невнятным бормотаньем, сопровождаемым почтительными жестами. Ходил он сутулясь, низко опустив голову.

Вскоре пришло сообщение об освобождении от японцев Сурабайи, а вслед за тем и Джакарты.

Мало-помалу Каджан оправился от страха и даже нашел себе работу — устроился учителем физкультуры в народной школе. Но счастливые времена прошли; теперь он получал мало денег и много проклятий. Ученики его ненавидели. И если последнее не очень-то беспокоило Каджана, то помыслы о деньгах овладели всем его существом. В погоне за ними он набирал все больше уроков, а стало быть, и проклятий.

Прежде чем построить дом, приобретают строительный материал. Так и Каджан, решив приспособиться к новой обстановке, вступил в демократическую партию. Кто знает, может быть, это принесет прибавку к жалованью? Кроме того, он начал читать все, что попадалось под руку. Правда, первое время книги политического содержания были редкостью в Блоре, а на собраниях Каджан избегал задавать вопросы, боясь попасть впросак. Когда же появилось много разных брошюр, он прочел некоторые из них и пришел к выводу, что на политике можно заработать.

— При подлых голландских и японских завоевателях, — говорил он на уроках физкультуры, надеясь завоевать доверие учеников, — наш многострадальный народ вымирал. Но теперь все будет иначе. Мы завоевали независимость! Мы обрели свободу!..

Чем больше Каджан читал политические книги, тем увереннее он себя чувствовал. Теперь он уже не робел на собраниях, а, наоборот, смело выступал, щеголяя цитатами.

И вот Блора узнала о Каджане. Каджан воспрянул духом. Он одевался теперь, правда, хуже, чем при японцах, зато держался с большим достоинством. Соседи же говорили: «Все трудятся в поле, а он знай почитывает себе книжечки». Однако Каджан не обращал на это внимания.

Папаша и матушка Кумис не могли нахвалиться успехами сына на общественном поприще и снова перенесли на него всю свою любовь и ласку.

Вскоре Блору захватили отряды повстанцев. Каджан сразу же присоединился к ним, и, когда в город вступили республиканские власти, он мигом переметнулся к новой власти. Потом снова пришли голландцы. И Каджан, в памяти которого были еще свежи строчки брошюр, клеймящих «колониальное рабство», бежал к партизанам.

Военные действия помешали крестьянам собрать урожай, и над партизанской зоной нависла угроза голода. Уныние охватило многих партизан, особенно тех, у кого не было оружия. Те же, кто был вооружен, чувствовали себя увереннее и ждали случая, чтобы отбить у голландцев родной город.

Каджан целыми днями бродил по лесу, собирая на опавших листьях съедобных гусениц. Иногда ему везло. Но бывали дни, когда он ничего не находил. Тогда Каджану приходилось довольствоваться одними побегами бамбука.

Одежда Каджана превратилась в лохмотья. Он отощал, руки его тряслись, и взгляд блуждал. И когда, даже вдалеке, рвались снаряды и бомбы или шла перестрелка, Каджан падал на землю, свертывался в комок и плакал от страха.

Как-то в один из дождливых дней партизаны собрались в ланггаре. Нгадио, партизан, побывавший в Блоре, рассказывал городские новости.

— И еще, — сказал он, — голландцы ищут Каджана.

Услышав свое имя, Каджан вздрогнул.

— А найдут — расстреляют. Патронов не жалеют, проклятые...

Каджан помертвел от ужаса.

— Полиция, — продолжал Нгадио, — устроила облаву в кампунге. Обшарили каждый дом. И все пытались о Каджа-не: «Где Каджан? Знаешь его?»

А Каджан, съежившись, прищурил глаза и закрыв лицо волосами, прислушивался.

— ...Пришли голландцы в дом Каджана. Папаша Кумис сидел в уборной. Его вытащили оттуда и спрашивают: «Где твой сын? Где Каджан?» Папаша Кумис и отвечает: «За рекой, господин начальник...» — «Как? Он у бандитов?!» — «Да, там...» Тут один полицейский его ногой...

— Каджан и верно стоящий парень, — сказал один из партизан.

— Для учителя физкультуры он неплохо разбирается в политике, — отозвался другой.

Вдруг кто-то объявил:

— А Каджан-то ведь здесь. — И чей-то веселый голос окликнул: — Эй, Каджан, иди сюда!

Все повернулись к Каджану. Он молчал.

— Каджан!..

Он не отзывался и вдруг, глотнув, как пойманная рыба, воздух, повалился на бамбуковый пол ланггара.

— Что с ним? — взволнованно спрашивали партизаны.

— Надо позвать доктора, — проговорил кто-то.

— Доктор ушел с отрядом... — слышалось в ответ.

Губы Каджана крепко сжались в две жесткие складки. Потускневшие глаза пугали своей неподвижностью.

Издалека слышались выстрелы. Затем раздались взрывы. Один, другой, третий...

— Голландские машины наскочили на минное поле... — сказал один из партизан.

— Туда им и дорога! — выругался другой.

Опять пошел дождь. Зашумели листья деревьев; вдали на дороге слышался рокот моторов — это уходили к городу уцелевшие от партизанских мин машины. Вдруг темноту прорезала молния, мощный удар грома потряс воздух. Люди пригнули головы, закрыли ладонями уши и невнятно забормотали слова молитвы. Потом все стихло.

Каджан все еще лежал без движения. Лицо его приняло спокойное выражение. Но в глазах все еще жил страх. Он спросил:

— Голландцы не нападут?

— Да нет... — ответили ему.

Больше ничто его не интересовало.

В ту ночь партизаны долго не отходили от Каджана.

— Узнайте у Нгадио, что с моей женой? Арестована? Или... — спросил он вдруг.

— Эй, Нгадио! Нгадио!.. — послышались возгласы.

Нгадио уже спал. Его разбудили.

— Нгадио, что с женой Каджана?

— Ничего... Все живы...

Низкорослый, плотный человек, вымыв у входа ноги, вошел в ланггар и, скрестив в знак приветствия руки на груди, направился прямо к командиру отряда. Он только что прибыл из Блоры.

— Голландский патруль схватил в бамбуковых зарослях Парно. Он нес целый пикуль^[61] нефти. Его тут же расстреляли. Подумали, что хотел поджечь казармы.

— Что в городе? — спросил командир.

— Работа в учреждениях не налажена: не хватает служащих. Телеграф и почта не работают. Водопровод не действует. Занятий в школах нет. Голландцы устраивают облавы и разыскивают служащих. Ищут, кто бы согласился с ними сотрудничать...

Нгадио повернулся к Каджану:

— Значит, голландцы ищут тебя не для того... Хотят привлечь на службу.

Страхи Каджана рассеялись.

«Если так, то хорошо... — подумал он. — А почему бы не пойти на самом деле к голландцам?..»

Вскоре все уснули. Все, кроме Каджана. Он всю ночь не сомкнул глаз и забылся только на рассвете.

Новый день начинается одинаково и в Блоре, занятой голландцами, и в партизанской зоне. И тут и там весело поют петухи. И тут и там просыпаются люди и приступают к своим делам. И только у реки Луси царит тревожная, напряженная тишина. Здесь, в зарослях бамбука, притаились голландские сторожевые посты. Утренний туман окутывает и город, и партизанскую зону. Потом он рассеивается, и с востока поднимается солнце.

Прошло несколько месяцев. Партизаны создали в лесах Блоры целый укрепленный лагерь. Голландцы, надеясь посеять среди них панику, распространяли сотни провокационных слухов, но все напрасно. И партизанские отряды крепко держали оборону.

Побывавшие в Блоре партизаны как-то рассказали, что один из

жителей, Марджоно, стал агентом голландской полиции. Каджан помнил Марджоно: они вместе учились в школе. И вот теперь Марджоно работает на голландцев!..

Раздувать всякие слухи было страстью Каджана. Если ему первому удавалось рассказать какую-нибудь новость, он чувствовал себя так, будто оказал благодеяние. Вот и теперь он с такими подробностями рассказывал о Марджоно, словно сам был свидетелем всех его преступлений. Нет ничего удивительного в том, что вскоре Каджана стали считать тайным агентом голландцев.

Как-то в ланггар пришла группа партизан из другого отряда.

— Где Каджан? — спросили они. — Мы хотим проучить его, чтоб не болтал, чего не следует!..

Но Каджан в это время был в лесу. Он вернулся в ланггар поздно, когда все уже укладывались спать.

— Тебя спрашивали, Каджан, — сказал ему один из партизан. — Твое счастье, что так поздно пришел.

— Кто спрашивал?!

— Из другого отряда...

— Что им нужно?

— Говорят, что язык у тебя длинный.

«Ясно, — подумал Каджан. — Они хотят меня убить». Глаза его испуганно забегали по сторонам.

— Если они придут еще раз, — наконец проговорил он, — скажи, что я ушел в Сурабайю.

Переплыв Луси, Каджан вышел на берег и облегченно вздохнул.

— Теперь им меня не поймать, — вслух подумал он. — Пусть думают, что я в Сурабае.

А вот и дом папаши Кумиса. Каджан застыл у порога, не решаясь постучать. В доме заплакал ребенок. Каджан прислушался и вздохнул, сам не зная почему. Затем послышался голос жены, баюкавшей ребенка; закашлялся отец.

— А малыш все плачет и плачет... — услышал Каджан голос матери.

— По отцу скучает, — глухо отозвался папаша Кумис.

Каджан дотронулся до двери, но не постучал и в изнеможении медленно опустился на землю.

— О-о-о, Каджан!.. — донесся протяжный вздох жены.

— Я здесь, радость моя! — прошептал Каджан — раньше он часто обращался так к жене.

— И когда ты только вернешься? — вздохнула жена.

Его никто не услышал.

— Я здесь, я вернулся, — прошептал Каджан.

Каджан съежился под порывом ветра. Только теперь он почувствовал, что на нем мокрая, липнущая к телу одежда. Он поднялся с земли и чуть слышно постучал.

— О аллах! — испуганно воскликнула жена. — Кто так поздно?..

— Это я, Каджан!.. Откройте!.. — послышался ответ.

— Кто? Каджан? — удивленно спросил отец.

— Да, я. Откройте!

Каджан вошел.

— Каджан?! Как ты не побоялся?.. — испуганно проговорила жена. — Тебя ищут голландцы.

— Уже три раза приходили... — добавил отец.

Каджан только улыбнулся.

— Голландцы хотят дать мне работу!.. Вот и ищут.

— Это правда, Каджан? — робко спросил папаша Кумис, лицо его просияло.

— Правда.

— Откуда ты знаешь?.. — допытывалась мать.

Неожиданно Каджан вспомнил о своей младшей сестре. Он вспомнил о том времени, когда забота и внимание всей семьи были прикованы к ней, Сами, возлюбленной японца. Ненависть крепко вросла в его сердце. Разве до прихода японцев он не помогал ей? Так почему же теперь, когда он мучился и голодал в партизанской зоне, сестра ни разу не прислала ему хотя бы табаку?..

— Где Сами? — спросил он.

— Она вышла замуж за голландского полицейского. Живут они в казарме, в центре города, — ответила мать и, словно спохватившись, всплеснула руками. — Ой, да баджу-то у тебя мокрая!

— Я ее задушу!.. — с расстановкой проговорил Каджан. — Если я хоть раз увижу ее здесь...

Той ночью к Каджану вернулась жизнь. Он опять был под своей крышей, в своей семье. Казалось, Каджан вновь обрел свое счастье.

Голландцы определили Каджана учителем в среднюю школу, и он этим был очень доволен. Семья папаша Кумиса зажила припеваючи. Каджан получал хорошее жалованье и паек. Он даже начал откладывать деньги на постройку нового дома.

Но в Блоре было беспокойно. С каждым днем учащались налеты

партизан; все чаще, подрываясь на минах, взлетали в воздух голландские машины.

По городу разнеслись слухи, что партизаны будут карать тех, кто сотрудничает с голландцами. Новоиспеченные приятели тряслись от страха, хотя и знали, что голландцы хорошо вооружены и что у них имеются даже танки.

И слухи эти оправдались... Правда, учителей не трогали. Очевидно, их считали ставленниками бога, даже если они и назначены голландцами. Вот почему Каджан и его домашние взирали на будущее без особой тревоги.

Дома предателя Марджоно и Каджана стояли рядом. Партизаны уже давно осудили Марджоно. Об этом узнали бесчинствовавшие в городе бандиты. И в одну из темных ночей под видом партизан они направились к дому Марджоно. Но по ошибке попали к Каджану.

Каджан уже спал, когда раздался стук и чей-то резкий голос велел открыть дверь.

Испуганный папаша Кумис не посмел послушаться. В дом ворвалось несколько человек, одетых в черное.

— Ах ты, проклятый Марджоно, голландская собака!.. Сколько ты погубил честных людей!.. Мы не станем сейчас мारать о тебя руки. Но если ты прослужишь у оккупантов хотя бы еще один день... размозжим тебе голову вот этой дубинкой! Познакомься!..

И человек в черном, по-видимому предводитель, поднял тяжелую дубинку и стал медленно опускать ее на голову Каджана.

Каджан онемел. Он ждал, что вот-вот дубинка проломит ему череп. Но этого не случилось.

— Деньги и ценности предателя конфискуются... — услышал он незнакомый голос.

Люди в черном начали шарить по комнате, открывать шкафы... А потом... так бережно накопленные Каджаном рупии перешли в руки ночных гостей.

В ту ночь Каджан потерял все: и мечту о постройке нового дома, и надежду разбогатеть. Утром он не поднялся с постели и долго не мигая смотрел в одну точку.

Папаша и мамаша Кумис, глядя на сына, расплакались. Пришли соседи. Взгляд Каджана все так же был прикован к одной точке. Глаза остекленели, тело словно застыло. И лишь прерывистое дыхание свидетельствовало о том, что он еще не расстался с жизнью.

Через два дня у Каджана начался жар. Он бредил. Говорил о своих страхах, надеждах, о мести... Только и слышалось:

— Зарежу!.. Пристрелю!..

Папаша и матушка Кумис самоотверженно ухаживали за сыном. И вот как-то в дом пришла Сами. Увидев сестру, Каджан соскочил с постели, схватил ее за горло и начал душить.

— Ах ты, японская подстилка!.. Не хочу смотреть на твое поганое лицо! Не хочу!

На шум прибежали соседи и с трудом вызволили Сами. А Каджан не унимался.

— Задуш!.. — кричал он, пытаясь вырваться из цепких рук здоровых мужчин.

Тогда Каджана связали и понесли к реке. Холодная вода укротила его гнев.

Вскоре Каджана отправили в больницу. Там он целые дни просиживал на открытой веранде, тупо уставясь на деревья и кусты. Проходили дни и недели. И многое изменилось за стенами больницы...

Но вот Каджану стало лучше, и наконец пришел день, когда он выписался.

Ему удалось, правда на время, устроиться учителем индонезийского языка. Он изо всех сил старался зарекомендовать себя с хорошей стороны и заставить других поверить в свои знания. Прежде всего он убедил в этом самого себя.

Каджана стали обуревать мечты о славе. Ему хотелось доказать всем, решительно всем, что он способен на великое. Теперь он жаждал известности, широкого признания своего таланта, а главное — чинов и денег... Вот он уже читает лекции в университете... Вот он стоит во главе всех просветительных учреждений Индонезии!.. «Да, да!.. — думал Каджан. — Именно просвещение!.. На этом поприще меня ожидает слава. Слава!..»

И он засел на разработку программы улучшения системы образования в национальном масштабе.

Теперь Каджана было не узнать. Он улыбался, стал хорошо одеваться, носил галстук. И никогда, даже если уединялся в уборной, не расставался со своим портфелем, где хранились его записи. Каджан похудел, но это не была худоба горя, глаза его светились и сердце пело — он был уверен в победе.

«Единственное, чего мне не хватает для реализации планов, — думал он, — это денег. Деньги!..» И как-то на уроке он неожиданно изрек:

— Без капитала нам не обойтись.

Эти слова, оброненные ни с того ни с сего, немало удивили учеников.

В другой раз Каджан торжественно заявил:

— Чем больше будет людей с капиталом, тем быстрее мы построим новую жизнь!

Эта фраза имела эффект первой. Школьники недоумевали. Что произошло с учителем? А Каджан, не встретив сочувствия, решил, что его аудитория еще не доросла до понимания великих мыслей.

Почти два месяца просидел Каджан, разрабатывая свою программу улучшения системы просвещения. Наконец она была готова!.. И Каджан старательно переписал ее начисто. Теперь он часто, даже по ночам, обращался к невидимой аудитории, декламируя те или иные положения программы. А папаша и матушка Кумис думали, что сын разговаривает сам с собой.

Как-то Каджан явился к своему приятелю и торжественно сказал:

— Если мне поручат руководство просвещением, школы станут источником обогащения нации! Да, при каждом учебном заведении я организую предприятия, где школьники получают практические навыки.

Приятель поддакивал и ехидно улыбался. А Каджан продолжал развивать свои идеи. Он говорил захлебываясь, словно боялся, что ему не хватит времени закончить.

Каджан все больше отдалялся от жены и ребенка. Иногда он совсем забывал о них. Стоило Каджану склониться над бумагой — и уже никто не мог подойти к нему. Чуть заплачет ребенок — мать ладонью зажимала ему рот:

— Не смей плакать. Мешаешь отцу...

Жена стала бояться Каджана. Особенно ее пугали его ночные декламации. Отчужденность между супругами росла с каждым днем. Как-то жена Каджана ушла на базар. И вот был уже вечер, а она все не возвращалась.

— Где твоя жена, Каджан? — спросила сына матушка Кумис.

Каджан равнодушно пожал плечами; мысли его витали далеко.

— А я откуда знаю?

— Что ты, Каджан? Ведь это твоя жена!.. Мать твоего ребенка!

Он молчал, погруженный в свои мысли.

Жена не вернулась ни вечером, ни на следующий день.

— Каджан, а жены твоей все нет! — всполошилась матушка Кумис.

— Ну и что ж!.. В городе много мужчин. Не я единственный, — торопливо и раздраженно ответил ей сын, словно боясь, что его жизни не хватит для достижения задуманной цели.

А жена все не возвращалась.

— Она пропала, сынок, — плача, говорила Каджану мать.
— Бессмертных людей нет, — невозмутимо отвечал Каджан.
— Что будет с твоим ребенком?

Каджан оторвался от работы и раздраженно сказал:

— Я должен думать о всех детях. О всех!..
— Но это же твой ребенок, Каджан! Что ты говоришь?!

Ответа не последовало, и, когда Каджан снова склонился к столу, матушка Кумис вышла, утирая слезы.

— Мой ребенок? — изрек он, оставшись наедине со своими бумагами. — Это только маленькая составная частичка нации. А я думаю о воспитании всех детей.

На следующее утро, шатаясь от слабости, Каджан отправился в школу. На уроке он неожиданно сказал:

— Все индонезийские мальчики — мои дети, и каждый из них — мой ученик. Не исключая моего собственного сына. Само собой разумеется, что каждая женщина нашей страны — моя жена.

Один из бойких учеников спросил:

— А ваша мать, господин учитель?
— Она тоже моя жена, — ответил Каджан.

Ученики шумно задвигались. Девочки смущенно опустили головы. Тот же ученик, указывая на одну из них, спросил:

— А она, господин учитель?
— И она моя жена.

Дружный хохот покрыл слова Каджана. Ученицы еще ниже склонили головы. Краска смущения заливала их щеки.

Этот обмен мнениями, вызвавший в школе немало толков, кончился для Каджана печально. Его уволили.

Но этот случай не поколебал веры Каджана в непогрешимость своей миссии, он не отчаивался и продолжал работать с удвоенной энергией.

Как-то под вечер Каджан снова заглянул к своему приятелю.

— Вот-вот должно прийти ответное письмо из Джакарты. Я обратился в Центральное управление по делам просвещения. Уверяю: если мое предложение будет принято, не пройдет и двух лет, как проблема воспитания подрастающего поколения будет разрешена полностью.

Торопливо отведав чаю и выкурив предложенную гостеприимным хозяином сигарету, Каджан сразу же отправился домой.

Долго ждал Каджан письма из столицы.

— У нас кончились деньги, Каджан, — как-то напомнила сыну матушка Кумис.

— А мне что? — был ответ.

Папаша и мамаша Кумис переглянулись. Теперь все было ясно: их сын болен.

Как-то в дом вошли двое полицейских.

— Нам поручено сопровождать вас до Маланга^[62], — заявили они Каджану и вручил какой-то конверт.

Радостная улыбка осветила лицо Каджана.

— Наконец-то! Вот оно, долгожданное письмо!

Старательней, чем обычно, он завязал галстук, надел свой лучший костюм и быстро сел в автомобиль.

Соседи сгорали от любопытства. Папаша и матушка Кумис провожали сына, преисполненные новых надежд: теперь-то Каджан вернется знаменитостью!

Машина скрылась за поворотом. И с тех пор Каджана никто больше не видел. Ходят слухи, что он нашел приют в сумасшедшем доме в Маланге.

Сами ушла от мужа и одно время жила в доме папашы Кумиса. У нее тогда было уже двое детей.

Отец и дочь часто ссорились.

— Только и знаешь ворчать!.. Надоело! — кричала Сами. — Вот я все о тебе расскажу! Все! Разве ты не воровал? Не грабил?

Однажды папаша и матушка Кумис отправились в деревню навестить больного родственника. За это время Сами продала дом отца и ушла из города. Куда?.. Может быть, к новому мужу?.. Кто знает... Только в Блоре ее больше не видели. И детей она своих бросила.

Много слез пролили старики Кумис, когда вернулись в Блору. Даже крыши над головой теперь у них не было. Живут они сейчас из милости у сестры матушки Кумис.

Папаша и матушка Кумис редко вспоминают о сыне. А в городе еще рассказывают про Каджана всякие истории. Но нет человека, который захотел бы справиться о его здоровье.

Перевод с индонезийского Р. Семауна

Улица Курантил, 28

По городу мерными, усталыми, короткими шагами шел человек в солдатских ботинках.

Несколько лет назад эти ботинки были новенькими и сияли

горделивым блеском. Воинственно проходили они по полям сражений, попирая тела убитых солдат разных наций. Но те времена безвозвратно миновали. Ботинки давно уже утратили свой первоначальный лоск: каблуки у них стоптались, верх порыжел и порвался, мыски скривились набок.

Над ботинками высились тонкие исхудалые ноги. Несколько лет назад эти ноги были неутомимыми и крепкими, но война отобрала у них прежнюю силу.

Сочетание здоровенных ботинок с тонкими, как спички, ногами вызывало всеобщие насмешки. Прохожие дразнили человека, называя его киджангом^[63] или Буратино, но он продолжал свой путь, не обращая ни на кого внимания.

Когда-то его ноги были прикрыты длинными брюками. Но постепенно штанины укорачивались, потому что их хозяин срезал снизу лохмотья. В конце концов из брюк получились короткие штаны, едва прикрывавшие худой зад. Но у этих коротких штанов была уже длинная история: они побывали в Индии, на Сардинии, в Болонье, а теперь вот вернулись на Яву.

Из зеленой сетчатой солдатской рубашки гуркха^[64], облачавшей тощее, изможденное тело, высывались наружу такие же тонкие, как ноги, руки и шея.

Звали человека Махмуд Асван. В былые времена, знакомясь, он сам называл свое имя, подобно герою популярной пьесы, который гордо представлялся публике: «Я раджа. Мое имя — Индра Первира. Я султан Дели». Но теперь человек молчит. Зачем называть свое имя? Пусть это сделают другие.

На перевязи у него висел небольшой сверток со всем его имуществом — коричневой униформой производства текстильной фабрики в Гаруте^[65]. Этот сверток он получил пять часов назад, в лагере. Всем заключенным, которых выпускали на свободу, выдавали, кроме того, по десять килограммов риса, но от риса он отказался, потому что не хотел обременять себя ношей. В кармане его рубахи лежали еще десять рупий, но пока он не вспоминал об этих деньгах.

Человек шел мимо роскошных магазинов, контор, частных домов. Было время — они восхищали его, но теперь он спрашивал себя: «Какая мне польза от этих магазинов, контор, домов?» — и не находил ответа. В его душе не осталось уважения ни к чему и ни к кому, он подозревал всех в стремлении сокрушить, раздавить его, ненавидел не только людей, но и животных, растения, машины, даже камни. Ему чудилось, будто все они

стремятся погубить его. Несчастьям его не было конца, и он ожесточился, презирал даже себя самого: свои глаза, руки, губы. Зачем все это? Но самой лютой ненавистью ненавидел он бога, который даровал ему жизнь только для того, чтобы подвергнуть мукам.

Неожиданно на него нахлынули воспоминания.

Вот он на улице Крамат, на грузовике с ящиками, в которых спрятано оружие. Руки и ноги у него крепко связаны. Глаза следят за охранником. Год — тысяча девятьсот сорок пятый. «Зачем все это было нужно?» — снова спросил он себя — и снова не нашел ответа...

Тяжела судьба наемного солдата, особенно если он не понимает языка, на котором все вокруг него разговаривают, особенно если у него ноют израненные ноги и он то и дело чувствует сильный жар!..

Жил он тогда в казармах. Но это было еще не худшее время в его жизни. Худшее началось после того, как он оказался в тюрьме Глодок. Он вспомнил о бесконечных расстрелах — ружейных залпах и одиночных выстрелах из пистолетов — и почувствовал, что волосы у него поднимаются дыбом...

Из тюрьмы Глодок его перевели в Чипинанг, оттуда — в Ганг Тенгах, где среди голодных заключенных господствовал лишь один закон — закон джунглей...

Онруст — Эдам — Тангеранг — Нуса Камбанган — Сема-ранг. Каждый новый лагерь приносил ему новые страдания. Опять и опять спрашивал он себя: зачем все это? Ответа по-прежнему не было. А когда он задавал этот вопрос своим товарищам по заключению, они с гордостью заявляли: «Таков удел борцов за свободу!» Впрочем, так говорили не все. Женатые отвечали ему со смирением: «Всем людям суждено страдать. Молись богу!»

Но эти ответы его не удовлетворяли. Беда заключалась в том, что он потерял главную цель жизни. А цель теперь была особенно важна — японскому владычеству подходил конец, наступали новые времена...

Он был еще совсем молодым парнем, полным надежд и мечтаний. Но уже успел жениться. Жена у него была очень милая и славная, хотя и страдала некоторыми недостатками — прежде всего слабой волей. Жили они в одной комнате, спали на одной кровати^[66]. Семейная жизнь научила его многому. Он понял, как нуждается человек в тепле, в уюте...

Всей душой восстал он против тех, кто, как ему казалось, посягал на его мирный очаг. Ненавистнее врагов у него не было.

Потом началась революция^[67]. Их дом был сожжен дотла. Он решил

отомстить оккупантам, но был схвачен... Четыре года просидел он в тюрьмах и лагерях. Спасла его только амнистия. И вот он на свободе. Но какой прок от свободы, когда жить не на что?..

Где-то теперь его жена? Его Марни?.. Умерла или торгует тухлым мясом на рынке Сенен? Этого он не знал, знал только, что его жена — человек слабой воли.

До улицы Курантил, куда он направлялся, оставалось всего километра два. Он шел усталый и безразличный. Его седые волосы, прежде всегда аккуратно причесанные, были в полном беспорядке. Грудь ввалилась от болезни.

На несколько минут он задержался перед часовым магазином, чтобы посмотреть время. Было четыре часа. Всего пять часов, как он на свободе. Сегодня в одиннадцать часов утра он вышел из лагеря Полонья, который вместе с другими лагерями отнял у него четыре года жизни. Четыре потерянных года! А ведь его жизнь могла сложиться иначе. Возможно, он до сих пор жил бы вместе с Марни, возможно, имел бы уже детей...

«Почему мне так не везло?» — размышлял он, перебирая в памяти перенесенные муки. И ответ был один: «Во всем виноваты люди! Каждый из них дорожит только своей шкурой!» Ненавидел Махмуд не только других, но и самого себя. Иногда ему хотелось перегрызть себе вены. Останавливал его только смутно ощущаемый долг перед миром, перед семьей — этой маленькой ячейкой общества. А главное — долг перед женой. «Марни отдала мне свое целомудрие», — говорил он себе. Подобно многим другим мужчинам, он был убежден, что честь женщины — в ее невинности. Это то, чего нельзя купить ни за какие деньги! Нет, он должен жить хотя бы ради Марни и не может покончить с собой!

Улица Курантил выглядела много красивее, чем в период оккупации^[68]. По ней непрерывным потоком двигались автомобили. С обеих сторон улицы тянулись ряды еще более роскошных, чем прежде, магазинов. Вывески были уже не на японском, а на голландском языке. Под вывеской парикмахерской — она тоже была на голландском языке — красовалась табличка с надписью: «Улица Курантил, 28».

Он заглянул внутрь сквозь стеклянную витрину. Там было чисто, поблескивала полированная мебель, ярко сверкали большие зеркала. Хозяин парикмахерской, сидя на стуле, читал газету. За все эти годы он почти не изменился, казался даже моложе, чем прежде. Когда-то Махмуд любил играть с этим парикмахером в шахматы, рассуждая о смысле жизни, как это свойственно юнцам.

Видимо, обеспокоенный отсутствием клиентов, парикмахер отложил

газету, встал и направился к двери. Увидев подошедшего человека, он замер в оцепенении. Глаза его широко раскрылись, и он тихо произнес:

— Махмуд!

На какой-то миг Махмуд задержал на нем взгляд, но тут же устало побрел дальше. Какой прок говорить с этим человеком? Скорее всего, он тоже лгун и обманщик, от которого можно ожидать только гадости.

— Махмуд! — слышалось сзади.

Парикмахер догнал его и потянул за рукав, приглашая войти в свое заведение.

— Зачем ты зовешь меня, Мамат? — спросил Махмуд, следуя за своим бывшим другом.

— Садись. Я хочу с тобой поговорить.

Махмуд ничего не ответил. На губах его появилась недоверчивая усмешка. Оба они уселись в кресла, разделенные круглым мраморным столом. Закрыв глаза, Махмуд устало откинулся на спинку.

— Стало быть, ты жив?

— Да, жив.

— А я думал...

Открыв глаза, Махмуд увидел свое отражение в большом зеркале, за спиной Мамата. И сам себя не узнал!

За все эти четыре года он ни разу не смотрелся в зеркало. А теперь с удивлением взирал на свое лицо — некогда такое умное и доброе, а сейчас глубоко безразличное, осунувшееся, сморщенное, заросшее густой щетиной...

— Ты очень изменился... — проговорил Мамат, не зная, с чего начать разговор. — Раньше у тебя была холеная кожа — я сам за ней ухаживал, — перед сном ты всегда пудрился... Откуда ты?

— Из лагеря, — нехотя проронил Махмуд.

— А я думал...

Махмуд встал, собираясь уйти, но Мамат быстрым движением поймал его руку.

— Чего ты хочешь, Мамат?

— погоди уходить. Ведь я твой друг. Как и прежде... Я думал, Махмуд, что ты... что ты погиб в сражении на улице Крамат. Один мой знакомый полицейский сказал мне, что в голову тебе попала разрывная пуля... — Запнувшись, он вытер глаза носовым платком, а затем договорил: — Того человека похоронили под твоим именем.

— Ты прав, Мамат. Я умер четыре года тому назад. Теперь я только бездомный дух-скиталец. Тебе не следует разговаривать со мной.

— Значит, ты знаешь о своей семье?..

— Нет.

— Ведь ты мой старый друг, Махмуд. — Парикмахер помолчал и сокрушенно добавил: — Что с тобой? Почему ты так изменился?

— Теперь я только дух-скиталец, — повторил Махмуд.

— Куда же ты идешь? — спросил парикмахер, испуганно глядя на него.

— Сам не знаю. Пожалуй, я хотел бы взглянуть на свой старый дом.

— От него не осталось и следа. Теперь там построили промышленное предприятие.

— Но ведь земля моя. Там стоял мой дом.

— Землю купили.

— Кто же мог продать?

— Извини, Махмуд... Но ведь я думал, что ты погиб.

— А теперь ты хочешь, чтобы ради нашей дружбы я отказался от своей земли и от своего разрушенного дома?

— Совсем нет, Махмуд... Мое ремесло приносит теперь мало дохода... Мне пришлось продать землю ради твоего ребенка.

— Ради моего ребенка? — взволнованно переспросил Махмуд и тут же рассмеялся резким смехом. — Ты сказал — ради моего ребенка?

— Да. — Парикмахер утвердительно склонил голову.

— Он говорит, у меня есть ребенок! — воскликнул Махмуд, обращаясь к неизвестному третьему лицу. — Оказывается, у меня, бродяги, есть ребенок. И может быть, даже не один, а больше?

— Да, больше. Их двое. Поэтому-то я и решил продать землю и остатки дома. Ты всегда был человек понятливый. Надеюсь, что ты правильно поймешь меня и на этот раз.

— Я тебя хорошо понимаю. И не имею никаких претензий.

В парикмахерскую вошла девочка, и оба они, как будто сговорясь, замолчали.

— Папа! — закричала девочка. Заметив незнакомца, она испугалась и широко открыла рот, обнажив маленькие острые зубки.

— Тс-с-с! Иди сюда, Нани!

Когда Нани села к парикмахеру на колени, он спросил:

— Чего ты испугалась? Это дядя Махмуд.

Пристально поглядев на неизвестного ей человека, девочка сказала:

— Папа! Мама просит денег на перец.

Сунув руку в карман рубашки, Махмуд вытащил десять рупий и протянул их Нани.

Та вскрикнула от страха.

— Убери свои деньги, Махмуд! — вскричал парикмахер. Он погладил ребенка по щеке и добавил: — Это твой ребенок, Махмуд.

Малышка спрятала лицо на груди у парикмахера, крепко вцепившись ручками в стол.

— Не бойся! Это хороший дядя, — успокоил ее Мамат.

Махмуд положил деньги на стол. Лицо его казалось еще более худым и старым, чем когда бы то ни было. Глаза заволокла бледно-желтая пелена.

— Это в самом деле моя дочь?

Мамат прижался лицом к волосам Нани и устало ответил:

— Один бог только все знает. Если это не твоя дочь, то, стало быть, моя.

Махмуд соскочил с кресла, выпрямился и пронзил своего бывшего друга строгим взглядом.

— Мамат! Марни здесь?

Мамат кивнул, и Махмуд снова опустился в кресло.

— Теперь ты все знаешь, Махмуд. А чей это ребенок — с уверенностью сказать нельзя. И мой и твой.

— Теперь мне все ясно, — отозвался Махмуд. — Вот для чего ты позвал меня сюда.

— Да. Я думаю, тебе не нужно рассказывать эту историю. Ты уж сам обо всем догадался. Люди предполагали, что ты погиб, поэтому так случилось. Может быть, ты считаешь, что мир слишком тесен для нас двоих?

Махмуд положил руки на стол.

— Видишь?

— Руки у тебя очень худые.

— Вот именно, худые... Нет, Мамат, мир не слишком тесен для нас обоих. Я хочу еще жить, хотя едва ли протяну пару десятков лет. А Марни, Марни... здесь хорошо устроена, и мне лучше уйти. — С этими словами Махмуд поднялся, но Мамат остановил его:

— Подожди! Неужели ты не хочешь поддержать Нани на коленях? Неужели не хочешь повидаться с Марни?

Повернув голову в сторону закрытой занавеской двери, он громко позвал:

— Марни!

«Зачем мне встречаться с Марни? — подумал Махмуд, взволнованный. — А почему бы и нет? Ведь она как-никак моя жена».

— Считаю, что я здесь гость, Махмуд, а ты хозяин. Ведь все это

куплено на твои деньги — на деньги, вырученные от продажи земли. Если хочешь, я могу и уйти.

— Зачем? Все равно моя жизнь разбита.

— Ты не прав, Махмуд. В тебе говорит высокомерие. Послушай моего совета: повидайся с женой. — И Мамат еще громче крикнул: — Марни!

— Аллах свидетель, — продолжал он, — после известия о твоей смерти Марни пришлось нелегко. Мне было очень жаль ее. Но ведь мужчине нужна женщина. А Марни нуждалась в моей помощи. Вот я и женился на ней.

— Жалость — самый дешевый товар на свете, Мамат! Вот уж не предполагал, что можно жениться только из жалости.

Парикмахер молчал. Нани плакала. В дверях показалась женщина.

— Ты звал меня? — спросила она Мамата.

— У нас гость, — ответил тот. — Присаживайся.

Оправясь от растерянности, женщина уселась в кресло. Она внимательно рассматривала гостя. И вдруг у нее вырвалось:

— Махмуд!

Она протянула руки, как будто собираясь обнять своего бывшего мужа, но тотчас же опустила их на стол и горько всхлипнула.

Плакал и Мамат. Его слезы падали на голову Нани, которую он обнимал. А девочка молчала. Она плохо понимала, что происходит, и ей было все равно, чей она ребенок. Пройдут годы, она вырастет, и тогда этот вопрос неотвратимо встанет перед ней. Но она так и не сможет ответить на него до конца жизни. Пока же, ни над чем не задумываясь, высвободившись из объятий Мамата, она пересела на колени матери.

Марни была глубоко несчастна. По прихоти судьбы у нее оказалось два мужа. Ее мысли и сердце раздваивались, и она не могла выговорить ни слова, только рыдала.

— Пойдем отсюда, Махмуд, — сказал парикмахер, направляясь к внутренней двери.

— Ты куда? — смущенно спросила Марни.

Ничего ей не ответив, Мамат предложил Махмуду войти в комнату, а то, сказал он, их могут увидеть посторонние.

Неожиданно дверь открылась, и на пороге появился мужчина в шортах.

— Вот беда, Мамат! — воскликнул он. — Ввели налог и на велосипед.

Все взоры обратились на него. Сконфуженный, мужчина с поклоном попросил извинения. И вдруг узнал пришельца.

— Махмуд!

Мужчина в шортах заключил Махмуда в объятия и тихо шепнул ему на ухо:

— А я думал, ты погиб...

Махмуд разнял его руки и ответил:

— Я уже не тот Махмуд, который был твоим другом.

Он вышел на улицу и зашагал прочь.

— Махмуд! — закричала Марни.

— Махмуд! — позвал Мамат.

— Махмуд! — послышался голос мужчины в шортах.

— Верните его! — громко попросила Марни.

Двое мужчин кинулись вслед за ушедшим.

Махмуд торопливо шел по многолюдной улице, ни на что не обращая внимания.

— Куда ты, Махмуд? Ведь здесь твой дом, твоя жена, которая до сих пор еще любит тебя. Здесь твоя дочка, Нани. Пусть лучше уйду я, — повторял парикмахер.

— Это я ляпнул о твоей смерти, — твердил мужчина в шортах.

— Оставьте меня.

— Что же с тобой будет, Махмуд?

— Какое тебе дело? У тебя есть работа, семья, деньги. А у меня нет ничего. Нет даже надежды. Я не верю ни в самого себя, ни в бога.

— Тогда вернись, — упрашивал его Мамат, неотвязчивый, как голодный пес. — Иначе от твоей жизни не будет никакой пользы.

— Теперь я знаю, какая польза будет от моей жизни.

— Ты узнал это в лагерях?

— Нет, только что.

— В тебе говорит гордость?

— Нет.

— Каков же, по-твоему, смысл жизни?

— Удивляюсь, почему я понял это так поздно, — с улыбкой сказал Махмуд.

— Для чего же мы живем?

— Чтобы платить налоги.

Махмуд подошел к железным перилам и остановился.

— Посмотрите вниз, — сказал он. — Я лишь малая частица этого мира. Как вода и камни. Как рыбы. Я не из тех, кого называют покорителями природы.

И вдруг он перемахнул через перила...

— Помогите! Человек тонет! Помогите-и-те! — закричали двое на

мосту.

Вокруг них собрались прохожие. По реке скользнула лодка. С нее ныряли десятки людей, искали утопленника. Но тщетно.

Наступил вечер — такой же, как все вечера со времен Адама. Придет утро, но Махмуд уже не увидит этого утра. Для него наступила ночь, которой нет конца.

Перевод с индонезийского М. Климовой

Идрус

Идрус (род. в 1921 г. в г. Паданге, Суматра) принадлежит, как и Тур, к «поколению 1945 года», много пишет о войне и революции. Он известен как романист, новеллист и переводчик, познакомивший Индонезию с творчеством А. П. Чехова, Я. Гашека и других классиков мировой литературы. Проза Идруса реалистична, порой даже натуралистична. Хотя писатель внешне занимает, казалось бы, нейтральную, подчеркнута «остраненную» позицию в любых затрагиваемых им конфликтах, от внимательного читателя не укроется, что симпатии Идруса — на стороне его сограждан, представителей общественных низов.

Три предлагаемых вниманию читателей рассказа повествуют о времени японской оккупации Индонезии (1942–1945 гг.). Ловко используя лозунги «Азия для азиатов», «Создадим Великую Восточную Азию под эгидой Японии», заигрывая с рядом политически близоруких лидеров индонезийского национального движения, оккупанты сумели поначалу не только нейтрализовать, но даже привлечь и поставить себе на службу многих индонезийцев (новеллы «Хейхо», «Рассказ о коротких штанах»). Кстати, сам Идрус на первых порах тоже не избежал иллюзорного представления об освободительной миссии японцев в Индонезии. Отрезвление было горьким: свыше четырех миллионов индонезийцев погибли от голода, нехватки одежды, в походах вспомогательного корпуса японской армии — хейхо — на материковой части Юго-Восточной Азии.

Грустная ирония сквозит в «Рассказе о коротких штанах», герой которого вынужден обстоятельствами рассматривать события любого масштаба и значения исключительно сквозь призму собственного выживания в жестоком мире. О трагедии недалекого, безвольного Картоно, не сумевшего разобраться в коварстве японской пропаганды и ставшего ее жертвой, о презрении окружающих к его поведению, граничащему с предательством своего народа, рассказывает новелла «Хейхо».

В «Кота — Гармони» Идрус с большим мастерством изображает сценки из жизни индонезийской столицы времен оккупации. Перед читателем проходит целая галерея сочных, реалистичных портретов джакартцев. Все они, однако (хотя и по разным причинам), ненавидят японский «новый порядок», чванливость и наглость оккупантов. И все они верят, что чужеземное засилье не вечно, что наступят лучшие времена.

Рассказы Идруса о бесчинствах, творимых в Юго-Восточной Азии

японскими «братьями по расе», звучат как очень своевременное напоминание теперь, когда вновь набирает силу японский милитаризм, когда отдельные державы самочинно присваивают себе право «преподать урок» другим государствам этого региона.

В. Цыганов

Хейхо^[69]

Картоно был поглощен работой. Он согнулся над столом, словно прилип к нему грудью.

Картоно служил чиновником в одном учреждении. Ему уже надоело работать. Три года он честно трудился, не пропустил на службе ни одного дня. А жалованья так и не прибавили, и уважения со стороны начальства он так и не добился.

Несколько месяцев назад Картоно записался в армию хейхо и уже прошел медицинское обследование. Когда его спрашивали, зачем он это сделал, он неизменно отвечал, что собирается защищать родину...

...Картоно вздрогнул. К его столу направлялся почтальон с письмом в руках. Передав письмо, почтальон удалился, а Картоно замер: его просьба удовлетворена, сегодня же он должен быть в казарме хейхо.

При этом известии Картоно повеселел. Друзья стали поздравлять его, как новобрачного. Лицо Картоно сияло, а из уст непрерывно вылетало тихое: «Миарти... Миарти».

Всякий раз, как он произносил эти слова, лоб его морщился и он почесывал голову, точно обезьяна, ищущая вшей.

Начальник, увидев Картоно, обрадованно сказал:

— Картоно, ты добросовестный работник. И я думаю, что как солдат хейхо ты принесешь еще больше пользы родине и народу. Подожди-ка немного, я напишу тебе справку и перечислю все твои заслуги в нашем учреждении.

Кожа на лбу у Картоно снова наморщилась, и он ответил:

— Туан^[70], если можно, напишите ее по-японски.

Начальник отнюдь не был националистом. Но он был из числа людей, для которых самое главное в жизни — благополучие собственной семьи. Однажды он заметил, что старается никогда не сходить с рельсов. Однако то, что сказал Картоно, рассердило шефа, и он стал кричать:

— Если тебе нужна бумага на японском языке, иди в другое место!

Что же, я, по-твоему, должен зубрить иероглифы и ломать себе пальцы ради какой-то справки? Все словно взбесились! Ты бредишь, Картоно. Впрочем, что я с тобой разговариваю! Все вы обезьяны, умеете только подражать. Ты, конечно, видел, как твои дружки с легкостью получали теплое местечко, если рекомендация была написана по-японски, вот и тебе приспичило запастись такой бумажкой. А что, если я поднатужусь и, как курица лапой, нацарапаю этими проклятыми иероглифами, что ты — порядочная свинья? Небось не обрадуешься?

— Послушайте, туан, — залепетал Картоно, — я ведь вовсе не хотел утруждать вас. Вам незачем писать это самому. Здесь есть Супади, который недавно окончил полную среднюю школу, где изучал японский язык.

Было видно, что начальник еле сдерживал прилив ярости. Он говорил отрывисто, как будто выплевывал японские слова:

— Вот что, Картоно. Я ничего не желаю знать про полную среднюю школу с японским языком. Хочешь ты получить рекомендательное письмо или нет? На чистейшем индонезийском языке? Если нет, можешь убираться вон. Ты еще не солдат хейхо, и мне пока нечего тебя бояться.

— Туан все еще сердится, — вежливо заметил Картоно, — я ведь только осмелился попросить вас. Конечно, я буду рад письму и на индонезийском языке.

В казарме хейхо Картоно выдали форму, и он тут же надел ее взамен гражданского платья.

— А что, туан, трусов мы не получим? — спросил он у одного из солдат.

— Мы уже говорили японцам об этом, — ответил тот. — Но они считают это лишней деталью туалета, ибо в армии хейхо надо действовать быстро. Торопись всегда, даже если тебе захотелось... — Он изобразил журчанье воды и захохотал. — Вот поэтому нам и не дали трусов.

Картоно тоже стало смешно. Он натянул на себя форму и почувствовал странный зуд, как будто по его телу ползли крохотные муравьи.

— Ничего, туан, — подбадривали Картоно, — Поначалу всегда так. Потом привыкнешь. И вонь от пота не будет бить в нос.

— Теперь вы можете идти домой, попрощаться с семьей, — сказали Картоно в казарме. — А к восьми часам вечера надо быть здесь.

Пройдя несколько шагов, Картоно понял, что ботинки ему жмут. Он мгновенно сбил себе пятку и уже не мог идти ровно, а ковылял, волоча стертую ногу.

— Мат, взгляни-ка на этого из хейхо, — сказал какой-то старик своему сыну. — Японцы ведут хитрую политику. Набирают всякую деревенщину и тащат к себе в хейхо. А он и ботинки-то носить не умеет.

— Да уж где ему, — усмехнулся сын. — Пальцы у него на ногах растопырены, что твой веер, никакой ботинок не налезет!

— Голландцы-то прежде хоть жаловали людей образованных, а японцы любят всякий сброд, — хихикнул старик. — И хитры же! С дураками ведь проще: их можно подбить на что хочешь... — И, как бы оспаривая свои слова, старик продолжал: — А вообще, что японцы, что голландцы... Цель у всех одна. Как сказал президент... как это, Мат? «Vida dan pera!»^[71]

— Ох, отец, любишь ты уснащать речь иностранными словами. Президент только вчера это сказал, а ты сегодня уже забыл. Впрочем, оно и правильно: дурные слова помнить не к чему. Разве ты станешь держать в памяти имена дурных женщин?

Отец покраснел, погладил свои белые, будто кисть штукатура, усы и сердито сказал:

— Ну, ты не забывайся, не смей со мной так разговаривать. Хоть ты и взрослый, а я все-таки тебе отец. Уважать меня должен. И о дурных женщинах не поминай! За всю свою жизнь я только раз имел дело с ними. И то потому, что меня довела твоя мать своей воркотней.... Но ты дома про это не говори...

— Да ты не сердись, отец. Я только хотел сказать, что мы быстро забываем то, что нам не по душе.

— Это неверно, — возразил старик. — Отчего же я никак не могу забыть имя твоей матери?

Сын вздохнул и хрипло сказал:

— Вот что, отец. Не надо употреблять сложных слов, когда есть простые. Разве для этих не подходит слово «проклятый»? «Проклятые голландцы», «проклятые японцы», а Индонезия...

— Темная и глупая, — закашлявшись, подхватил старик. — А ты, я вижу, парень не дурак...

Войдя в дом, Картоно сразу заметил, что Миарти чем-то недовольна.

— Взгляни-ка на меня! — начал было он.

— Да на что тут глядеть? — взорвалась та. — На эту обезьянью форму? Думаешь, я счастлива и горда, что ты стал солдатом хейхо? Ничуть! Если ты погибнешь, кто мне тебя вернет? Японцы?

Услышав такое, Картоно притих. А он-то предвкушал восторг Миарти...

— Да ведь я собираюсь защищать родину, — залепетал он.
— Родину? Где же твоя родина? Ты знаешь, что такое хейхо? Солдат хейхо все зовут холуями.

— Миарти, что ты говоришь? Родина зовет своих сынов. Ты вспомни, такое теперь время!

— А мне нет до этого дела. И я не желаю, чтобы ты вступал в хейхо. Или снимай сейчас же эту обезьянью форму, или убирайся. Выбирай!

— Миарти...

Картоно вздохнул, как беременная женщина, глубоко и протяжно. Кожа у него на лбу сморщилась. Он помолчал немного и вдруг затараторил, точно маленький ребенок, осознавший свою вину.

— Ну конечно, Миарти. Если бы я знал, что ты не разрешишь, я бы не пошел. Да только уже поздно, Миарти, дело сделано. Мне отрубят голову, если в восемь вечера я не буду в казарме. Я-то думал, ты обрадуешься, поэтому и не говорил тебе прежде.

Миарти задумалась. На глазах у нее выступили слезы. Теперь ей стало жаль Картоно, и она тихо сказала:

— Конечно, теперь уже поздно. Отказываться нельзя. Иди уж...

При этих словах Миарти Картоно вздрогнул. Он даже немного расстроился: ему хотелось, чтобы Миарти еще удерживала его.

— Ты меня совсем не любишь, Миарти, — огорченно протянул он.

В восемь часов вечера Картоно был уже в казарме, а восемь месяцев спустя он погиб в Бирме. Тем временем Миарти была уже на четвертом месяце беременности от второго мужа.

Перевод с индонезийского Е. Ревуненковой

Рассказ о коротких штанах

Как раз в тот день, когда японцы напали на Пирл-Харбор, отец купил Кусно короткие пикейные штаны с биркой «Мэйд ин Итали»^[72].

Папаша Кусно был далек от политики. И разве мог он понять, к чему приведет нападение японцев. Он знал только, что у его сына нет приличных штанов. Во всем мире люди, хоть мало-мальски разбиравшиеся в политике, дрожали — кто от гнева, кто от страха, кто от радости. А папаша Кусно в этот день довольно улыбался. Ему удалось сделать то, что сначала казалось невозможным: купить для Кусно штаны.

Кусно было тогда четырнадцать лет. Он только что окончил

начальную школу и собирался искать работу. Теперь, думал он, в новых штанах, перед ним, наверное, откроются все двери. Он докажет отцу, что его сын может работать и помнит добро.

Одним словом, вся семья Кусно радовалась в тот день, как никогда. И события в Пирл-Харборе никак не отозвались в сердцах этих простых людей. Правильно говорят: только великие мира сего хотят войны; простой народ хочет мира!

Но оказалось, что работу найти не так легко, как думал Кусно. В учреждениях хорошо понимали, что такое нападение японцев, и не брали больше ни одного нового работника. Над миром будто сомкнулись черные тучи, сквозь которые проглядывал ангел смерти.

Кусно пришлось стать уступчивей. Вначале он соглашался быть только клерком, потом вахтером и, наконец, даже посыльным. Обойдя с десяток всяких контор, Кусно с трудом отыскал работу посыльного с месячным жалованьем в десять рупий.

Папаша Кусно огорчился. Он ведь и сам был посыльным. Неужели его сыну суждена та же участь? Так и будет продолжаться из поколения в поколение? Он вовсе не хотел, чтобы все в его семье работали посыльными. Но, попав в затруднительное положение, папаша Кусно, как и другие жители кампунга^[73], вспоминал бога: человек предполагает, а бог располагает!

Кусно честно работал, но его пикейные штаны совсем вылиняли от частых стирок. Каждый месяц Он надеялся купить себе новые, но десяти рупий не хватало даже на еду. Само собой разумеется, что с каждой стиркой беспокойство Кусно нарастало. Прямо скажем, все его мысли сосредоточились на штанах. Что станет с ним, когда их нельзя уже будет надеть? По утрам он молил бога не посылать дождя. Но часто, несмотря на мольбы Кусно, дождь лил, и тогда молодой человек с тоской глядел на свои штаны: так смотрит мать на сына, уходящего на фронт. Все путалось в голове Кусно, лишь только он вспоминал о своих штанах, особенно когда они становились опять грязными, а денег на мыло не было.

Нет, простой народ не хочет войны; он хочет только жить сносно и не бояться, что завтра ему нечего будет надеть. Воевать надумали большие люди: одни под лозунгом защиты демократии; другие — за «сопроцветание Великой Восточной Азии»^[74].

Кусно не знал, что такое демократия, но слова «сопроцветание Великой Восточной Азии» очень нравились ему. Он ведь помнил о своих штанах; «сопроцветание» означало для него возможность иметь новые

штаны. Поэтому он встретил японских солдат объятиями, поцелуями и рукопожатиями.

И подобно тому как многие индонезийцы жили верой в освобождение, так и Кусно в течение трех с половиной лет жил надеждой на покупку новых штанов. Однако ни свободы, ни новых штанов все не предвиделось. И вот его пикейные штаны стали ни на что не похожи. Отовсюду торчали нитки, а то, что раньше было белым, теперь стало серовато-желтым. И не оставалось никакой надежды на покупку новых. Посыльному в порядочном учреждении уже было неприлично их надевать. Когда же Кусно набрался храбрости и сказал об этом шефу, в надежде на помощь, тот так на него наорал, что Кусно совсем пал духом.

Еще несколько дней Кусно все же являлся на работу, но в конце концов стыд заставил его уйти со службы, и он лишился жалованья в десять рупий.

Будущее было мрачным. Зато теперь Кусно освободился от чувства стыда, которое он постоянно испытывал. Кусно знал, что на него обрушатся тяжелые и страшные дни. Но Кусно был убежден, что все-таки милосердный и великодушный бог существует!

Однажды у Кусно заболела голова. Он знал, что боль пройдет, стоит только наполнить желудок. Два дня он ничего не брал в рот, кроме листьев. У Кусно мелькнула было мысль продать свои пикейные штаны, чтобы купить еду. Но он тут же отбросил эту мысль. Если он и продаст свои штаны, то за гроши, и лишь на какие-то секунды наполнит желудок. А вот чем он после этого прикроет свою наготу? Как-то раз у Кусно мелькнула даже мысль о краже. Но ведь бог велел: не воруй! А весь род Кусно из поколения в поколение чтит бога, хотя никогда и не видывал его.

Так и случилось, что Кусно не продал своих штанов и ничего не украл. У него часто болела голова, потому что питался он только листьями. Но он продолжал жить и жил с достоинством, хотя, уж конечно, не в роскоши!

Вот и все, что можно рассказать о пикейных штанах. В один прекрасный день они наверняка исчезнут с лица земли, как исчезнет и Кусно. А может быть, оба исчезнут одновременно...

Только, что бы ни случилось, Кусно не впадает в отчаяние. Он родился в страданиях и жил вместе с ними. И пусть от его пикейных штанов остались одни лохмотья, пусть суждено им совсем истлеть, Кусно все равно будет продолжать бороться с нуждой, хотя бы для того, чтобы заполучить другие пикейные штаны.

Кусно не переставала беспокоить еще одна мысль: почему так долго тянется война, жертвой которой он себя чувствовал?

Кота — Гармони^[75]

Вагон битком набит людьми, корзинами, пустыми и полными бочонками, козами и курами. От жары и люди и животные обливаются потом. Запах пота смешивается с запахом тераси^[76]. Все окно заплевано бетелевой жвачкой, и оно красное, как помидор.

Тяжело дышать. Чтобы заглушить запах пота и тераси, кто-то закурил. Молодая женщина, полуголландка-полуиндонезийка, прижимает к носу маленький платочек величиной с лист для заворачивания лемпера^[77] и недовольно ворчит:

— Кто это еще везет с собой тераси? Никакого порядка нет. Забыли, что это места первого класса.

Толстый, как Черчилль, китаец, почувствовав себя оскорбленным, злобно шипит в ответ:

— Чего болтаешь! Теперь тебе не времена голландского владычества! — Согнувшись в три погибели, он достает из овощной корзины сверток и показывает его женщине: — Гляди, вот тераси. Довольна?

Кондуктор между тем бранится со старухой, сгорбленной и худой, в такой драной одежде, будто ее долго рвали собаки:

— Вы что, не знаете, что здесь первый класс? Ну-ка идите назад! Или немедленно доплачивайте!

Старуха причитает и жалобно просит разрешения остаться:

— Я не могу, там очень тесно, туан.

Кондуктор неумолим:

— Не можете — так доплачивайте.

Старуха медленно бредет на место второго класса.

— Больно уж ты много о себе воображаешь, — ворчит она, кидая злобные взгляды в сторону кондуктора. — Получил от японцев власть с наперсток — а туда же! И не стыдно унижать старую женщину! Будь я японкой, не то бы запел!

Крепкий мужчина без баджу встает со своего места.

— Не разговаривайте много, лучше садитесь, — говорит он старухе.

Трамвай останавливается. Люди толкаются, напинают друг на друга.

— Выходите поживей! — кричит во все горло кондуктор.

На какое-то время становится свободнее. Но через минуту вагон снова набит. С подножки доносится голос японца:

— Эй, дорогу, свиньи!

Съезживаясь, пассажиры уступают дорогу завоевателю. Какой-то юноша мрачно смотрит на японца и еле слышно произносит:

— Для него пассажиры что первого класса, что второго — не люди. Со всеми обращается как с животными.

Но когда японец оказывается рядом с ним, юноша замолкает и отворачивается. Японец держится за кожаные поручни; от его куртки несет все тем же тераси. Молодой человек достает платок и зажимает нос.

Трамвай неожиданно тормозит и останавливается, не доехав до остановки. Все в недоумении: наверно, что-нибудь сломалось или произошел несчастный случай. Люди выглядывают наружу. На рельсах стоят трое японцев — это по их милости задержка.

Японцы поднимаются в вагон. Рукоятки их шашек царапают пассажирам руки. А японцы смеются: они ведь победители.

Скрипя и раскачиваясь, трамвай ползет дальше. На крутом повороте людей бросает вперед. Девушка падает на колени к молодому человеку. Он невозмутимо обхватывает ее за талию, помогает встать, но своего места не уступает.

Смрад прямо-таки невыносим. То там, то здесь раздаются тяжелые вздохи.

— Да, теперь не то что в прежние времена, — тихо говорит индонезиец в добротном баджу. Время от времени он хлопает по своим рукавам, словно стряхивая с них пыль.

Никто ему не отвечает. Что толку от этих разговоров. Разве что-нибудь изменится!

На следующей остановке в трамвай входят юноша и девушка. От жары лица их покраснелись, но они улыбаются и болтают по-голландски.

— Ну и толкучка здесь, точно на птичьем рынке!

Девушка в ответ смеется, прикладывая платок к остренькому носику:

— Все лучше, чем идти пешком.

Ее спутник бормочет:

— Сколько сейчас времени?

Девушка поднимает левую руку, чтобы взглянуть на часы, и замечает дырку на рукаве кебайи. Она смущена:

— Уже половина второго.

Кондуктор проходит мимо старухи к местам второго класса:

— Кто еще не купил билета? Кто без билета?

Старуха невозмутимо провожает его взглядом. За спиной кондуктора она, скорчив рожу, бормочет:

— Посмотрите-ка на эту обезьяну...

Толпа удивленно смотрит на старуху.

Дойдя до Гармони, трамвай останавливается. Из Кота до Гармони ехали целых двадцать минут.

Индонезиец в головной повязке и английских туфлях, нахмурившись, смотрит на свои часы и произносит надтреснутым голосом, похожим на шуршание старых пальмовых листьев:

— Ну и ну! Раньше трамвай шел всего четырнадцать минут. Нет порядка. Банг^[78], — обращается он к кондуктору, — почему это на подножке так много народу? На что это похоже? Что, теперь уж и порядка быть не должно? Вон, глядите, этот человек сейчас упадет! Запретите ему стоять на подножке.

Кондуктор с удивлением смотрит на мужчину и, усмехнувшись, отворачивается. Потом свистит в свой свисток. Раздается крик:

— Эй, погоди, мы будем выходить!

Уже тронувшийся было трамвай резко тормозит. Опять у выхода начинается давка. Индонезиец в головной повязке и английских туфлях подскакивает к кондуктору и тянет его за пиджак:

— Что же вы делаете? Безобразие! Сначала проверь, все ли вышли, а потом уж свисти.

Кондуктор озадачен: кто бы это мог быть? Снова отворачивается, но на лице уже нет усмешки; очевидно, испугался: а вдруг этот тип — член Чуо Сангиина^[79].

Трамвай опять в пути. Народу уже меньше. Стоят лишь несколько человек, остальные расселись. На местах первого класса не видно ни одного японца. Толстая женщина с короткой, как у японки, шеей вытирает пот:

— Эх, если бы не нужда, я бы не ездила в трамваях. Взяли у меня машину-то. И конечно, не заплатили за нее. Сказали бы, что просто хотят присвоить, было бы честнее.

— Ньонья^[80], кто взял у вас машину? — спрашивает стоящий рядом с нею мужчина.

— Они, кто же еще!

Кругом понимающе смеются.

— Потерпите немного. Настанут счастливые дни. — Эти слова срываются с уст старика, обливающегося потом.

— Если бы я не терпела, то давно была бы уже в сумасшедшем доме, как... — Толстая женщина не заканчивает фразу и со вздохом говорит: — Теперь тяжелые времена. Двадцать лет назад тоже было тяжело, но не так, как сейчас.

Мужчина в коротких грязных штанах подходит к женщине и тихо произносит:

— Не говорите так, пожалеете.

На Пасар Бару^[81] трамвай останавливается перед театром. Много народу выходит и много входит. Нетерпеливые лезут через окно, среди них японец.

— Эй, что же ты лезешь в окно? — не выдерживает индонезиец, сидящий в вагоне. — Порядка не знаешь? — Только тогда он замечает, что обругал японца, но, устыдившись своего смущения, храбро продолжает: — Это ведь не годится — влезать через окно.

Японец уже в вагоне. С яростью он набрасывается на индонезийца:

— Ты где работаешь? Как ты смеешь запрещать японцу?

Индонезийцу неохота уступать, но в душе он весь съежился, как японский ситец от воды.

— Я работаю в наймубу^[82], — с трудом выдавливает он. — А вы где работаете?

Начинается перебранка. Японец не решается пустить руки в ход, так как поблизости сотрудник тайной полиции. Сыщик встает с места и что-то говорит японцу по-японски. Похоже, что сыщик зол, однако к индонезийцу он обращается учтиво:

— Я уже сделал ему выговор; конечно, он виноват!

Индонезиец горд: он одержал такую блестящую победу!

Перевод с индонезийского Е. Ревуненковой

Мухаммад Димьяти

Мухаммад Димьяти (род. в 1913 г. в Тегалсари, Ява) — писатель трагической судьбы, в возрасте 11-ти лет полностью потерявший слух. Сильная воля юноши, упорное стремление к художественному творчеству позволили ему преодолеть трудности. Уже в 30-е годы он опубликовал несколько романов, много рассказов и очерков, написанных в реалистической манере.

В 1958 году в СССР был издан сборник его произведений «Люди и

события», откуда взяты публикуемые ниже рассказы. В центре внимания автора — суровое время борьбы с голландской интервенцией. Пробный камень тяжких испытаний обнажает в душах стойкость и трусость, патриотизм и предательство, человечность и обывательский эгоцентризм.

С любовью описаны Димьяти героизм и революционное самопожертвование молодого командира Сидарто («В дельте реки Брантас»), свойственные многим бойцам первых воинских формирований молодой республики. Созвучен ему и образ Зубира из рассказа «Ох, муж мой...». Однако здесь Димьяти поднимает и другую тему — конфликта гражданственности и мещанского самодовольства, стяжательства, олицетворением которых выступают жена Зубира Рукмини и ее мать. Моральная победа гражданственных, революционных идеалов над узколичными, над безволием и мелким себялюбием обоснована писателем с большой убедительностью.

Характеры, созданные автором, не статичны. Так, в рассказе «Атомный век» мастерски изображен процесс перерождения недавних «общественных деятелей» супругов Пусбо, успевших растерять свои идеалы, скатиться в болото обывательщины еще до того, как Республика Индонезия сумела отстоять свою независимость. История Пусбо — история банкротства буржуазного либерала, решившего, что революция выполнила свое предназначение, коль скоро он пробился к «пирогу власти». Удивительно ли, что и его отпрыск Харно идет той же дорожкой? Ведь его безоглядное увлечение иностранщиной — лишь доведенное до логического конца и слегка шаржированное автором продолжение эволюции родителей. В этом многоплановом рассказе близкий к мусульманским кругам М. Димьяти с моралистических позиций трактует также тему положения женщины в индонезийском обществе.

В. Цыганов

В дельте реки брантас^[83]

— Быстрее отходите! Отходите! Я приказываю. Враги совсем рядом, совсем близко. Они вооружены до зубов, они нас раздавят. Отходите все до одного! — приказывал Сидарто окружившим его солдатам. Колеблющееся пламя факела, который держал один из солдат, освещало усталое и совсем еще юное лицо командира. Третий день командира трепала лихорадка; голова его разламывалась от боли и была обвязана сырым полотенцем,

шею и грудь он плотно укутал в сарунг — озноб пронизывал все тело.

Испуганные солдаты в растерянности переминались с ноги на ногу, а Сидарто продолжал:

— Нечего медлить, отходите! — В сердце его закипал гнев — солдаты, любившие своего командира, несмотря на страх перед опасностью, неохотно выполняли его приказ. — Все решено! Я остаюсь здесь, а вы все идите. Ну чего вы медлите? Или хотите, чтобы нас всех перебили, как цыплят? Уходите, уходите! Да не забудьте сделать новые укрепления с восточной стороны деревни. А со мной — будь что будет. Ради десятков наших товарищей, у которых пока нет возможности отойти, я готов пожертвовать собой — иначе мы погибнем все! А мы должны беречь каждого человека. Пусть сегодня враг захватил землю, на которой так недавно утвердилась наша власть, — завтра, я верю, мы ее отвоюем. Собирайтесь, братья, собирайтесь. Каждая секунда промедления может стоить жизни десяткам наших товарищей. Спешите! Спешите!

Деревню окутывала густая тьма. Издали донесся грохот приближающихся танков, слышались пулеметные очереди — факел сразу же погасили. Солдаты засуетились. Беспокойство овладело ими еще днем, при первых звуках артиллерийской стрельбы, и теперь оно росло с каждой секундой. Враг уже перешел реку Поронг. Сидарто, который прекрасно знал эту местность, понимал, что, если его отряд немедленно не отойдет к деревне Р., с наступлением рассвета их окружают и сомнут.

— Ну, готовы? Прекрасно! Отправляйтесь! Обо мне не думайте. Я останусь в этой хижине. А что будет завтра — увидим. Дайте только мне старый сарунг пака^[84] Кроме, тот, что он оставил вчера. А мою рубашку возьмите с собой! В доме не должно остаться ни одной вещи, которая могла бы навести врагов на подозрение. Крестьянскую утварь сложите вон в тот угол. Окурки, обувь и прочее оставлять здесь нельзя. Уберите все! Ясно?

Теперь все поняли, что Сидарто решил остаться здесь под видом деревенского парня. Поняли и другое: если бы больной Сидарто решил продолжать путь с ними, он сильно затормозил бы общее движение — ведь его пришлось бы нести на носилках, а это особенно сложно сейчас: кругом непроглядная тьма, дороги размыты дождем.

Когда солдаты уже собрались уходить, один из них подошел к Сидарто:

— Если ты думаешь, что нам действительно лучше уйти, — сказал он, — ладно, мы уйдем. Вот, возьми несколько таблеток аспирина, прими и постарайся уснуть. То, что ты делаешь, просто безумие! Но что мы можем

поделать? Нам приказывают наступать — мы наступаем. Сейчас ты приказал отступить, ну что ж, мы подчиняемся твоему приказу! Но завтра, как только подойдет помощь, мы сразу же пойдем к тебе на выручку. Ну, счастливо оставаться.

— Доброго пути!

Они распрощались по-военному. Один за другим солдаты покидали деревню. Через минуту над деревней нависла гнетущая тишина.

Сидарто надел старый сарунг — теперь его действительно невозможно было отличить от простого деревенского парня, — лег на топчан. Его лихорадило. Да, о себе дали знать комары, которые тучей вились по всей долине реки Брантас. По руслу этой реки проходила демаркационная линия, установленная в середине октября сорок шестого года, во время подписания соглашения о перемирии^[85]. Эту линию и охранял Сидарто со своим отрядом.

Прошло полчаса. Деревня словно вымерла — нигде ни звука. Солдаты Сидарто ушли, жители оставили свои дома еще днем, как только узнали, что голландцы нарушили соглашение о перемирии и перешли демаркационную линию.

Чуть забрезжил рассвет, с голландской стороны послышались пулеметные очереди — голландцы снова начали наступление, намереваясь уничтожить остатки отряда, который накануне весь день оказывал им сопротивление. Артиллерия врага стала обстреливать деревню. Голландцы, очевидно, полагали, что отряд молодых индонезийцев еще находится там. Когда огонь вражеской артиллерии стал особенно сильным, Сидарто лишь плотнее закутался в одеяло. Нет, он не боялся — он покорно отдавал себя в руки судьбы.

Около семи часов утра голландцы вошли в деревню. Это был их передовой отряд; с криком, с гамом врывались солдаты в дома, но там их встречало гнетущее безмолвие. Солдаты носились по деревне, выбивали ногами двери домов и... разочаровывались — нигде ни души. Лишь в некоторых дворах бродили беспризорные куры, овцы. С досады солдаты принялись гоняться за ними.

Сидарто услышал голоса. Люди были совсем рядом, около дома, где он скрылся. Кто-то говорил:

— Я думал, юнцы будут защищать эту деревню до последней капли крови. А они, оказывается, за ночь успели удрать. Зря, выходит, мы потратили на эту деревеньку столько боеприпасов. Перехитрили нас... Но давайте-ка заглянем сюда — вдруг кто остался!

У дома остановились двое солдат и офицер. Один из солдат с силой

ударил в дверь ногой. Сбитая со старых, проржавленных петель, она с грохотом повалилась.

— Хэй... хэй... смотрите-ка, здесь еще осталась одна обезьяна! — воскликнул тот, который выбил дверь, указывая на топчан, где лежал Сидарто. — Мертвый, что ли? Ну-ка, попробуй, пошевели его винтовкой, — обратился он к другому.

Сидарто лежал, уткнувшись лицом в плетеную бамбуковую стену. Солдат ударил больного по спине. От боли Сидарто подскочил, затем быстро повернулся к солдату. Дрожа всем телом, словно котенок, которого только что вытащили из воды, он забормотал:

— Простите... пощадите, господин, не убивайте меня!

— Ты кто такой?

— Раб Садикун, здешний пастух. У меня малярия, пощадите, господин, я не из тех... Простите, господин, пожалейте... я больной... лихорадит... малярия.

— Ах, разбойник, ах, негодяй! А ну-ка вставай! А теперь сядь, выпрямись!

Сидарто сел и начал молиться.

— Прекрасно! Прекрасно! Стало быть, не партизан?

— Нет, нет, господин! Я пасу скотину старосты! Я больной, не мог уйти со всеми.

— Ох, и темный же вы народ, деревенские! — произнес один из солдат и с размаху ударил Сидарто ладонью по спине, как бы желая показать своему офицеру, что у него нет жалости к людям, которых подозревают в связи с молодежью из Армии народного освобождения. — И для чего только они бежали? Мы ведь не враги им, мы их защитники. Значит, не ушел. Но, может, ты остался здесь шпио нить, а?

— Пощадите меня, пощадите, я не шпион! Я крестьянин, сын пака Сутодикромо, пастух. Не трогайте меня, пожалейте; может быть, у вас найдется хинин... у меня малярия... уже несколько недель. Простите... — бормотал Сидарто, низко опустив голову.

Другой солдат подошел к Сидарто и, желая разглядеть лицо больного, схватил его за волосы и приподнял голову. Потом он потрогал его лоб, велел ему открыть рот и высунуть язык.

— Да, правда, у этого стервеца малярия, — заключил он и отошел назад. — Дай-ка ему хинина и пусть спит. Его можно оставить здесь, он не опасен!

Все трое направились к выходу. Один из солдат, сунув мимоходом Сидарто четыре таблетки хинина, сказал:

— На, возьми, поправляйся. И не выходи никуда, спи. Вечером я зайду еще раз. Поправишься — будешь у нас работать. Понял?

— Хорошо, господин! Если к вечеру я поправлюсь...

Вечером солдат, как и обещал, пришел снова. Голландцам нужна была рабочая сила; они надеялись использовать для этой цели местное население, но все жители деревни, как нарочно, сбежали.

Еще совсем больной, чуть не падая от слабости, Сидарто уже должен был приступить к работе. За назначением его направили в штаб, который расположился в середине деревни, в доме старосты.

Здесь, как и утром, Сидарто прекрасно сыграл свою роль — ему без особого труда удалось провести штабных; это было просто еще и потому, что те по случаю своей «доблестной победы» осушили уже не одну бутылку вина. Еще бы! Ведь они овладели районом, не встретив на своем пути серьезного сопротивления!..

Сидарто направили на работу в одно из саперных подразделений. На другой день он уже грузил канистры с бензином, ящики со снарядами, собирал для кухни дрова. В довершение всего ему приказали стирать солдатское белье.

Ночью Сидарто удалось подслушать один очень важный для него разговор. Солдаты беседовали по-голландски и были уверены, что темный деревенский парень их не понимает. Таким образом Сидарто узнал, что наутро большая часть отряда, штаб которого останется здесь, в этой деревне, направится дальше, на восток. Из разговора Сидарто узнал также, что первый удар в новом марше будет нанесен по деревне Р. Это последнее известие глубоко взволновало Сидарто: ведь своим солдатам он приказал занять оборону именно в этой деревне.

Неожиданно среди ночи был объявлен приказ о немедленном выступлении. Воспользовавшись поднявшейся суматохой, Сидарто похитил два пистолета.

При выезде из деревни, на дороге, выстроилась длинная цепь грузовиков; в передних везли снаряжение и боеприпасы. Сидарто и еще нескольких таких же, как он, поместили в самый последний грузовик.

Едва забрезжил рассвет, голландцы начали артиллерийский обстрел деревни Р. Затем Сидарто видел, как строй вражеских солдат рассыпался цепью, намереваясь окружить деревню. Сидарто понял: его взводу угрожает смертельная опасность.

В предутренних сумерках юноша незаметно выбрался из грузовика. Впереди, в голове колонны, стояли двое часовых: у одного из них был ручной пулемет. Сидарто бесшумно подкрался к ним ближе, взвел курок

пистолета, прицелился... Один выстрел... второй... и двое часовых, не сказав миру даже «прости», упали, сраженные наповал. Сидарто подбежал, сорвал с их поясов грауаты, взял ручной пулемет и отбежал на несколько метров от грузовиков. Казалось, каждый его шаг был заранее тщательно обдуман.

Еще момент и... одна за другой гранаты полетели в головные машины со снаряжением и боеприпасами. Страшный взрыв потряс воздух в этот предутренний час. Осколком ранило и самого Сидарто, но он мог еще держать в руках пистолет. Испуганные голландские солдаты, не понимая, кто мог так неожиданно напасть на них с тыла, в панике заметались. Многие были сражены меткой рукой Сидарто.

К шести часам утра, когда солнце привстало над землей, тут и там среди обломков грузовиков можно было увидеть трупы голландских солдат. Узнав о неожиданном нападении с тыла, передние цепи приостановили наступление, затем повернули назад.

Вскоре голландцы узнали, что план наступления на деревню Р. был сорван всего лишь одним человеком — их вчерашним работником. Плотное кольцо вражеских солдат все теснее смыкалось вокруг Сидарто, а он стрелял, стрелял и стрелял, до последнего патрона... Несколько штыков одновременно пронзили тело героя. Он принял смерть мужественно, молча.

А тем временем его взвод, воспользовавшись замешательством в рядах противника, организованно оставил деревню Р. и отошел на восток. Но голландцы не стали продолжать наступление: их командир приказал им снова оттянуться к реке Брантас. Он, видимо, был удовлетворен сообщением, что их основные силы уже овладели городом Сидоар-джо и всей поймой реки Поронг. Ими также была захвачена линия железной дороги, связывающей Сидоарджо и Тарик^[86].

Эту победу голландцы сочли настолько значительной, что частям, которые продвигались в юго-западном направлении, было приказано приостановить продвижение. Город Моджокерто^[87] решено было оставить в руках индонезийцев, чтобы при подписании соглашения в Линггаджати^[88] не встретилось из-за этого каких-нибудь препятствий.

Взвод Сидарто отошел в тыл, а его место заняли другие подразделения Армии народного освобождения.

До солдат взвода Сидарто дошли разговоры, будто их взвод уничтожил целый батальон голландцев. Тогда некий Пармин стал утверждать, что это он сумел прокрасться в стан врага и взорвать

грузовики с боеприпасами; некий Кардио рассказывал о том, как он убил десять голландских солдат и трупы их бросил в реку Брантас. Один из корреспондентов, до которого дошли эти слухи, сразу же послал в Джокьякарту, в свою газету, телеграмму с сообщением о славном подвиге одного взвода. А на следующий день в этой газете была помещена информация, что один из голландских батальонов, потерпев в бою большой урон, был снова переброшен в Сурабайю.

Но ни одна из газет не назвала имени Сидарто. Он погиб безвестным героем. Тело его не нашли, его даже не смогли похоронить так, как он того заслужил, — на Кладбище героев. Но взвод его овеяла слава героев. Жители кампунгов встречали их с радушием, приглашали в свои дома, принимали и угощали их как самых почетных гостей.

Плодороднейшие земли дельты реки Брантас желтели спелыми колосьями риса. Покачиваемые теплым ветерком, кроны кокосовых пальм спокойно кивали мирным рисовым полям.

Перевод с индонезийского Р. Семауна

Ох, муж мой...

Прошло уже несколько недель, а мужа моего все нет и нет, и неизвестно даже, куда он исчез: то ли отправился по торговым делам, то ли ездит в поисках работы, то ли просто где-нибудь бродяжничает... А может, он задумал вообще с нами порвать. Я ничего не знаю — он ушел, никому не сказав ни слова, не попрощавшись ни со мной, ни с моей мамой, ни с домашними — ни с кем.

С тех пор как он исчез, в нашем доме воцарилась гробовая тишина. Сначала я сдерживала тревогу, обманывала и себя и мать, говорила, что муж отправился провести своих родных.

Мне было стыдно, не хотелось, чтобы мать догадалась, как я встревожена столь неожиданным его исчезновением.

Я перебрала в памяти всю нашу жизнь с мужем — с первого и до последнего дня — и не вспомнила ни одного случая, чтобы он, живя у нас, в доме моей матери, хоть раз пришел с работы не вовремя. Когда же он хотел навестить своих родителей, то обязательно брал с собой и меня. А теперь — наступает ночь, а его нет рядом со мной, и по утрам мне приходится пить кофе одной, без него...

Прошел день, другой, неделя, уже на исходе был девятый... а он не

возвращался. За это время мать несколько раз посылала людей узнать о нем: может, он у своей матери, может — у друзей или знакомых. Искали его и в соседнем городе, но все было тщетно... Никто, даже его родная мать, не мог сказать, где он. Словно сквозь землю провалился.

Тогда и моя мама почувствовала, какую боль мне причиняет уход мужа. Раньше она всегда набрасывалась на него, если он пытался хоть по мелочам возражать мне. Она любила и жалела меня, свою единственную дочь, и эта любовь сделала ее совершенно глухой к голосу справедливости. Хорошо ли это было, плохо ли, но ради меня она была готова на все. «Права я или нет, но это для моей девочки!» — вот лозунг, которым она руководствовалась во всех своих поступках!..

Прошло полмесяца. Люди в нашем кампунге начали перешептываться по поводу моего положения, а сверстницы, мои бывшие школьные подруги, подсмеивались. Они-то знали, как мне было тяжело. Многие винили меня, издевались над моей матерью, словно кто-то им дал право судить нас, копаться в наших семейных делах, обвинять меня и еще больше — мою мать!

Прошел месяц. Мама, видно потеряв надежду снова увидеть зятя, перестала сдерживать свое раздражение и высказала все, что накопилось в ее душе за это время. Она стала всячески поносить моего мужа и старалась как-нибудь развлечь меня и заставить забыть о нем.

— Сбежал — ну и пусть, — грубо заключила она. Мы сидели на веранде, мать расчесывала мне волосы. — Если он действительно решил сбежать и больше не возвращаться, ну и пусть, обойдемся без него. Мужчин на свете от этого не убавилось. К тому же, если он может жениться еще раз где-нибудь, то почему тебе нельзя снова выйти замуж? В самом деле! Я даже пойду к господину кади^[89], чтобы он написал бумагу, которая освободит тебя от этого брака...

И все-таки мать не понимала меня. Не понимала, что я любила своего мужа, любила с самого начала, с той поры, как он стал ей зятем. Я росла избалованной, изнеженной девушкой; мать старалась выполнить любой мой каприз, любое желание. Я тоже была к ней очень привязана и всецело находилась под ее влиянием. Потом, когда я вышла замуж, муж, мой муж, всецело завладел моим сердцем. Мать отошла на задний план. Мама никогда не сердилась на меня, что бы я ни делала; когда она почувствовала, что ее место в моем сердце занято другим человеком, она стала баловать меня еще больше, лишь бы вернуть свою былую власть надо мной. Муж нередко упрекал меня за какой-нибудь мой опрометчивый поступок, я начинала спорить с ним, настаивать на своем, и если, паче

чаяния, моя мать оказывалась где-нибудь поблизости, она моментально неслась мне на помощь; не разбирая, кто прав, кто виноват, она налетала с бранью на моего мужа, стараясь всячески оскорбить и унижить его. «Права я или нет, но для моей девочки...» Мать и не подозревала, к какому печальному финалу приведет этот ее девиз.

И вот результат! Муж уехал.

Однажды (шел уже второй месяц с того рокового дня) мы с мамой сидели на веранде. Неожиданно к нашему дому подкатила машина; из нее вышли два офицера и направились прямо к нам. Мы испугались. Что нужно от нас этим военным?.. Мне показалось, что земля уходит из-под моих ног, дом обрушивается на мои плечи... мне показалось, что пришел конец света и солнце померкло, когда один из этих людей сказал, что мой муж... недавно погиб в бою за Унгаран^[90].

Другой военный передал мне узел с вещами мужа и конверт с письмами... Все письма — на мое имя...

Только на третий день, немного придя в себя, я вспомнила о конверте. В нем находилось несколько писем. Все они были занумерованы — от первого до седьмого, на каждом стояла дата. Мне кажется, они представляют собою весьма и весьма поучительный документ.

Письмо первое (25 августа 1946 года)

Рукмини! Благодарение богу, если тебе удастся получить это письмо. Я пишу с фронта, пишу и думаю: дойдет письмо до тебя или нет? Я снова отрезан от всего мира: до города далеко, почта работает нерегулярно. Здесь каждую секунду моя жизнь висит на волоске.

Слушай, жена! Я ушел от тебя, ушел из дома тещи потому, что мне было тесно и душно в вашей золотой клетке, так жить дальше я не мог. За что бы я ни взялся, твоя старая мать всякий раз ругала меня. Она постоянно старалась унижить меня, упрекнуть в бедности. У вас я чувствовал себя словно слуга, которого из жалости взяли в дом.

Да, я знаю, что я беден, помню, из какой семьи я вышел. Но ведь я стал зятем твоей матери не по своей воле; твоя мать сама явилась к моей и предложила ей устроить наш брак; моя мать очень обрадовалась случаю женить сына на богатой невесте и, не считаясь с моим желанием, женила на тебе. Я был возмущен, хотел протестовать, но потом из уважения к своей старенькой маме решил покориться. Это дело давнее, и я никогда не

вспоминал о нем с той минуты, как стал твоим мужем. И как муж я до конца должен нести за тебя ответственность! Мне, прямо скажу, было неприятно узнать, как ты избалована; ты была похожа на ребенка, которого никто никогда не воспитывал. Я старался повлиять на тебя, хотел видеть тебя женщиной, полезной для общества, думал ввести тебя в круг людей, борющихся за новую жизнь. Ты ведь знаешь, что я всегда принадлежал к этим людям, всегда готов был ради родины и народа пойти на любые жертвы.

Все это и послужило главной причиной разлада, который возник сразу же после нашей свадьбы между мной и твоей матерью. Она постоянно стремилась сковать мои действия, хотя все, чем я занимался, служило интересам не только нашего кампунга, нашего общества, всей нашей страны, но и ее и твоим интересам. Мать запретила тебе вступить в нашу организацию; она издевалась надо мной за то, что я весь отдался общественной работе, и не понимала той простой вещи, что я принадлежу партии. Однажды мне довелось услышать ее слова: «Ох этот Зубир, он настолько у нас зажрался, что совсем перестал думать о доме; только и знает, что пропадать на своих собраниях. Дармод!»

Это я слышал сам. Я знаю, ты поймешь, как больно ранили мое сердце эти слова. Но тогда я сдержал себя — я был твоим мужем и должен был отвечать за тебя.

Письмо второе (2 сентября 1946 года)

Бесполезно здесь, в письме, вспоминать обо всех тех домашних неурядицах, которые терзали нас в течение года, что мы были женаты. Ты сама все прекрасно знаешь. У меня нет причин ненавидеть или обвинять в чем-либо тебя. Если ты и поступала дурно, то в этом вина твоей матери — ведь твоим воспитанием занималась она. Я пробовал повлиять на тебя, но напрасно — это лишь окончательно испортило мои отношения с тещей. Твоя мать не любила меня; стараясь защитить свою дочь от незаслуженных, как ей казалось, упреков, она с бешеной бранью набрасывалась на своего неудачливого зятя... Да, видно, такова уж судьба, и нечего больше об этом говорить!..

Так вот, когда я решил уйти на фронт и спросил, согласна ли твоя мать отпустить меня, она разразилась по моему адресу самой гнусной бранью. Мы поругались. Ведь она мечтала о том, чтобы я занялся торговлей, завел

связи с темными дельцами, возил продавать оптом табак в другие города, сделался спекулянтом. Но я таким не стал!.. И тогда я твердо решил уйти, уйти молча.

Жена, я обязан выполнять свой долг, я обязан защищать нашу родину. Теперь я назначен командиром одного из батальонов, расположенных в районе Унгарана.

Писать приходится прямо на поле боя. Вокруг рвутся снаряды, шум, грохот, пальба. Кто знает, сколько мне еще суждено прожить, и поэтому я тороплюсь, хочу все тебе высказать. Пишу урывками, как только выдается свободная минутка. Завтра, если выкрою время, напишу еще. Сегодня идем в наступление. Будь здорова!

Письмо третье (8 сентября 1946 года)

Честное слово, я не сержусь на тебя, адинда^[91]. Мне, как мужу, просто жаль тебя. И говорю я о твоих недостатках совсем не затем, чтобы позлить тебя. Нет, я хочу, чтобы ты все осознала сама.

Ты избалована, у тебя никогда не было желания участвовать в общественной жизни; ты не знаешь, как тяжела, с какими трудностями сопряжена наша борьба за победу революции. Вы с матерью, словно лягушки под кокосовой скорлупой, сидите в четырех стенах своего роскошного дома и с неослабевающей прилежностью считаете и пересчитываете свои капиталы. И нет вам никакого дела до тех, кто во имя родины жертвует своей жизнью на полях сражений.

Между прочим, здесь, на фронте, можно встретить немало девушек и женщин. Они служат в Красном Кресте, спасают людей от смерти, бесстрашно пробираются на передовую, чтобы тут же, на месте, оказать помощь пострадавшим в бою. В тылу тоже многие женщины своим участием в общем деле помогают нашему многострадальному народу преодолевать трудности и лишения. Вы же с матерью тем временем продолжаете заботиться о благополучии своего дома, хотя он и без того не испытывает недостатка.

Все это можно было бы простить, если бы твоя мать позволила нам с тобой свободно участвовать в борьбе, помогать народу в тылу или на фронте. Я знаю, она не возражала бы, если б я играл, как актер, роль общественного деятеля, делал бы вид, будто активно работаю в той или иной организации, но все это ради личной наживы, ради чина, — такие, к

сожалению, сейчас встречаются, они шныряют по шоссе на мотоциклах в сапогах или крагах, при пистолетах и с длинными волосами. Ах, как жаль, что твоя мать препятствовала моей работе. Ты знаешь, в какое негодование пришла она, когда однажды я попросил у нее позволения провести на веранде вашего дома конференцию, организуемую одним из обществ. Она отказалась принять в своем доме людей, которые, не жалея своих сил и жизни, отдадут все для борьбы за свободу своей родины и народа... А ведь сколько людей, и богатых и бедных, гонимые войной, побросали свои дома, свое имущество и бежали в другие города, в чужие места... Но какое дело вам, тебе и твоей матери, до этих несчастных, если вам даже было жаль предоставить для общества на вечер какую-то веранду!

Письмо четвертое (16 сентября 1946 года)

Вчера в санитарной машине к нам приезжали несколько девушек из Красного Креста, привозили провизию. Они не побоялись, приехали на передовую, чтобы спасти нас от голодной смерти, — уже несколько дней мы ничего не ели. Могла бы ты поступить так, как они? А ведь я еще не забыл, как однажды, когда я поздно пришел домой — неожиданно затянулось собрание, — ты не захотела приготовить мне поесть, а твоя мать стала еще издеваться надо мной: «Человек, который не соблюдает домашнего распорядка и запаздывает к столу, не имеет права требовать, чтобы его кормили...» Всю ночь я не мог уснуть, так хотелось мне есть. Очень красиво, адинда, очень!

Недавно у нас произошел случай: погибли две девушки из Красного Креста — шальные пули попали в санитарную машину. Одну ранило в ногу — она умерла в больнице. Второй пуля попала в висок, убила наповал. И, несмотря на это, их подруги не пали духом. Они продолжали бороться и выполнять свои обязанности. Если бы не их помощь, мы, возможно, уже погибли бы здесь, на фронте, и не от вражеских пуль, а от голода...

Письмо пятое (22 сентября 1946 года)

Нет, я не презираю твою мать или тебя за ваше богатство. Я не

испытывал зависти при виде вашей шкатулки с бриллиантами, не завидовал роскоши, в которой вы живете. Напротив, я даже считаю, что этим можно было бы гордиться, если б свое состояние вы использовали разумно — на поддержку революции, в помощь борьбе за независимость, борьбе, которая обеспечит прекрасное будущее нашим внукам. Но ведь вы на свое богатство смотрите лишь как на средство, которое позволяет вам богатеть еще больше, оно тешит ваше тщеславие. Вот этого я и не мог больше выносить. Я посвятил свою жизнь обществу. Жить так, как живете вы, постоянно наблюдать вашу жизнь стало для меня равносильным смерти. В таких условиях я не только не мог бы расти, но, наоборот, окончательно бы скатился в болото.

Письмо шестое (6 октября 1946 года)

Осколком снаряда меня ранило в руку, и несколько дней я не мог писать. Но ничего, отлежался недельку в каком-то доме недалеко от линии фронта и уже встал на ноги. Сегодня возвращаюсь в свой батальон. Нет, не за смертью я возвращаюсь на фронт. Я хочу жить, но жить в полном смысле этого слова. Я думаю, ты даже и не поймешь меня. Я хочу жить, и это значит, что я хочу счастья всему моему народу, всем моим родным, хочу счастья грядущему поколению. И именно потому, что я хочу жить и всей душой желаю своему народу независимости и освобождения от рабства, я взял в руки оружие. Я пошел на фронт не ради смерти, а ради жизни...

Письмо седьмое (10 октября 1946 года)

Когда я досыта хлебну фронтовой жизни, когда придет время подумать об отдыхе, я приеду к тебе; приеду, чтобы спросить, как вы там, ты и твоя мать, живете, держитесь ли еще по-прежнему за старый уклад, за древние, застывшие вековые обычаи. Если да, то что поделаешь, придется на прощанье сказать «счастливого оставаться» и по-хорошему разойтись. Но если ваши взгляды на жизнь изменились, если ваши личные интересы слились с общественными, мы с тобой дружно будем строить нашу семью. Мы пойдем по жизни как муж и жена, понимающие свой долг и готовые к

преодолению любых трудностей. Мы будем продолжать дело революции.

А дин да! Враг звереет все больше и больше, пытается прорвать линию нашей обороны. Мы нуждаемся в оружии. Уже дважды мы отходили на новые позиции. Завтра — общее наступление; мы будем атаковать противника во взаимодействии с полком, который только что подошел.

Молись, адинда, чтобы муж твой был счастлив в завтрашнем бою. Адинда, жизнь наша в руках всевышнего, поэтому нет ничего невозможного в том, что в любой момент я могу предстать перед богом... И если я погибну, скрепи сердце, принимая эту волю бога. Теперь ты знаешь все, теперь ты знаешь, что нужно для того, чтобы начать новую жизнь. От всего сердца желаю, чтобы ты стала женщиной, полезной для общества! Будь счастлива, адинда; завтра утром идем в атаку.

Перевод с индонезийского Р. Семауна

Атомный век

— Ваш сын! Ваш сын! Вы совсем не думаете о своем сыне, а ведь с ним далеко не все благополучно! Харно уже давно ведет самый беспорядочный образ жизни, а вам хоть бы что! — с такими словами напустилась ньонья Пусбо на мужа. Долго- она сдерживала свое негодование и вот наконец не выдержала, решила поговорить с мужем, высказать ему все начистоту.

У ньоньи Пусбо имелись веские основания начать этот разговор. Сегодня утром Харно снова ушел без разрешения и даже не сказал куда, а отец словно воды в рот набрал — не спросил, не поинтересовался, где и с кем думает провести время их сын.

Мас^[92] Пусбо поднялся и, ссылаясь на какое-то неотложное дело, хотел улизнуть. Но не тут-то было — жена решительно преградила ему дорогу. Рука маса Пусбо, протянутая к шляпе, висевшей на оленьих рогах у входа, безвольно опустилась. Он пристально взглянул в лицо жены. Обычно, когда мас Пусбо приходил домой, она не спрашивала, где он был, когда уходил из дома — все равно, днем или вечером, — не интересовалась, куда и зачем идет. Но на этот раз в нее словно бес вселился. Придвинув кресло к двери и усевшись в него, ньонья Пусбо загородила собой единственный выход из квартиры. Мас Пусбо недоумевающе посмотрел на жену; только сейчас он заметил, как она

постарела, осунулась за последнее время, словно впервые увидел в ее слегка вьющихся волосах прядки седины. Невольно он перевел взгляд на портрет жены, висевший на стене, — молодая красивая женщина! И подумать только, портрет написан всего несколько лет назад. Да, быстро бежит время, быстро старятся люди.

— Неужели неблагополучно! — переспросил он, словно удивленный тем, что у сына может что-либо не ладиться. — В школе что-нибудь? Но ведь Харно, можно считать, уже окончил школу, на будущий год он пойдет в институт. Ведь его товарищ из Гаджа Мады^[93] постоянно напоминает ему, чтобы он учился получше, тогда и в институт ему легче будет поступить.

— «Неужели неблагополучно»! — раздраженно передразнила мужа ньонья Пусбо. — Мне кажется, если он и дальше будет вести себя так же, как сейчас, если на него не найдется управы, то вряд ли он увидит Гаджа Маду — не выдержит он экзаменов, провалится. Я вовсе не за то, чтобы голова Харно была занята только высокими материями, но его взгляды на жизнь, его поведение!.. Я с ужасом наблюдаю, как буквально на глазах меняется наш мальчик. Это просто страшно! Он совсем одичал, стал таким же дикарем, как его друзья. Он даже не желает больше считаться с мнением своих родителей. А как узок круг его интересов! Разве вы не слышали, что он у нас заделался ярым танцором?

— Что? Танцором? — Мас Пусбо никак не ожидал, что жена затронет и эту тему.

— Вот-вот, конечно, вы ведь заняты только своей работой, где уж вам знать, чем занимается ваш сын! А я слышала, что в компании Харно все увлекаются танцами, все танцуют каким-то атомным стилем, — сам Харно его так называет. Он обучил уже этому стилю Хармини, Тути и Мариах. Тоже учитель нашелся! И подумать только, это наш Харно! Да, в своей школе он верховодит учениками, он там первый танцор. И в какое время! Когда мы создаем свою республику! Вообще я заметила, что после подписания Линггад-жатского соглашения наш мальчик заметно изменился; он во всем старается подражать голландцам. Он даже дома, видите ли, не желает разговаривать на своем родном языке, на языке его отца и матери; только от него и слышишь «daag rapì, daag mami»^[94]. А помните, в период японской оккупации — вы тогда работали в сенденбу^[95] — Харно всегда говорил по-японски: «Arimasen, ananta wa dare desu ka, sayonara, arigato»^[96]. Вы тогда сами велели мальчику не давать спуску своим приятелям, если они вздумают говорить по-голландски. Вы

тогда говорили, что это язык врага, язык шпионов. И вы ему внушали, чтобы он кричал на всех перекрестках лозунг: «Мы должны уничтожить Англию, сровнять с землей Америку»^[97]. А теперь что же, все стало наоборот? Впрочем, не только Харно страдает атомоманией. Вы тоже хороши! Может, будете отрицать, что вы, вы сами ведете распутный образ жизни? Посмотришь на вас дома, можно подумать — святой, а чем вы занимаетесь за пределами дома? Думаете, мне ничего не известно? А чьи это инициалы «Н. Н. В.»? Не одной ли из ваших служащих? А? Я все знаю!..

Теперь масу Пусбо все стало ясно: это была просто сцена ревности. Слова с губ жены лились непрерывным потоком, она тарахтела, как пулемет. Мас Пусбо растерялся. Да, его застигли врасплох. Он даже не сразу нашелся что ответить.

Но только мае Пусбо раскрыл рот, желая что-то сказать, как с улицы вдруг донесся сигнал, и перед их домом остановилась легковая машина. В машине супруги Пусбо увидели девушек и юношей, приятелей Харно по школе; всего их было семь человек. А вот и сам Харно выскочил из машины и стремглав бросился в дом. Секундой позже он стоял перед родителями:

— Morning, Ma! Help me fifty. Please, please, now. Ma. It is too necessary^[98].

— Хэй, опять деньги? — воскликнула мать; английский язык она знала неважно, однако сына поняла. — Зачем тебе?

— Vacation, Ma! The school is closed. We will spend... eh, spend... to Kaliurang... to continue dancing less. Boys girl there. Here we grumble. But there we are free, free from all^[99].

— О аллах, вот, оказывается, что ты изучаешь! — с горечью произнесла мать. Харно и не подозревал, что несколько минут назад мать и отец говорили именно о нем. Под-боченясь, он продолжал:

— Of course, Ma! Linggadiati signed. Chance for me to be put at foreing. I must take dancing lesson. Now atom age. Hei... my, common waited by the car. Where is the money? Fast... fast, Ma^[100].

И мать послушно достала пятьдесят рупий и отдала их сыну. Харно схватил деньги и стрелой понесся к машине. У него даже не нашлось времени попрощаться с отцом.

В машине Харно сел за руль. Рядом с ним — девушка, его школьная подруга.

Ньонья Пусбо с вызовом посмотрела на мужа; тот стоял совершенно обескураженный, пытаясь понять, что же произошло. Супруга с еще большим жаром напустилась на него:

— И вас нисколько не трогает поведение вашего сына? Он совсем отбилась от рук, а вы считаете это нормальным! Вы даже как будто восхищаетесь этой молодежью, которая называет себя пионерами атомного века и так бесцеремонно попирает свою национальную культуру!

Муж молчал. В этот момент он чувствовал себя стреноженной лошадью.

— Вы, наверно, слышали, — не унималась ньонья Пусбо, — на днях к матери мальчишки Асри пришел посыльный с письмом от родителей Дарми. Они настаивают, чтобы Асри женился на Дарми, а в противном случае угрожают судом. И все из-за этой атомомании. У Дарми должен родиться ребенок. Вот! А вам ведь известно: Асри — закадычный друг нашего Харно, такой же заядлый танцор, как и он. Все, все они словно головы потеряли. Ох, канда^[101], я уже дважды видела один скверный сон: будто к нам приходят родители той девушки, с которой дружит Харно, и требуют, чтобы наш сын женился на их дочери! А не то они подадут на Харно в суд!

— Ну, это всего лишь сон... сон! — только и мог произнести муж.

— Но этот сон может оказаться явью, если мы вовремя не обуздаем своего сына. Невзнузданная лошадь бредет куда ей вздумается — так ведь пословица говорит.

— Я думаю, ты напрасно волнуешься!

Жена хотела возразить, но в эту минуту в комнату вошел почтальон и вручил хозяину телеграмму. Как только почтальон ушел, мае Пусбо вскрыл телеграмму и, повернувшись спиной к жене, быстро пробежал текст. Но, как он ни старался, жена, украдкой заглянув через его плечо, все-таки ухитрилась прочесть:

«Немедленно приходи отель Свобода номер восемь важно». Внизу — имя отправителя: Нани.

— О всемогущий аллах... прости, господи! — Ньонья Пусбо закрыла лицо руками и медленно опустилась в кресло. — Что сын, что отец — оба с ума сошли. А ее я знаю, эта женщина далеко не из порядочных, и у нее на уме одно — отбивать чужих мужей. Она вас ожидает в отеле «Свобода»?

Даже номер комнаты указан? Восемь? Прекрасно! Ступайте туда! А мне можете сказать, что отправляетесь на собрание или идете читать лекции на политических курсах или по партийным делам. Так вот каков этот атомный век! Не успели подписать Линггаджатское соглашение — сразу же все словно взбесились!

Лицо ньонья Пусбо пылало от гнева. Подозрения ее оправдались: муж погуливал на стороне. Давно уже она сгорала от ревности, терзалась этой мыслью, но до сих пор повода укорить мужа не представлялось. Он часто уходил из дома по вечерам, неизменно говоря, что идет или на собрание, или на прием, организуемый каким-нибудь обществом, или просто по важным делам. А то еще уезжал за город — и на все-то у него находились веские причины. Всякий раз ньонья Пусбо заставляла себя верить, верить всему, что бы он ей ни говорил. Невольно она подумала и о том, что муж получает большое жалованье, которое вполне обеспечивает нужды семьи, и, как хорошая мать, как заботливая хозяйка, она должна была бы доверять ему.

Только теперь ньонья Пусбо поняла, как она заблуждалась, доверяя во всем мужу. Она горько сожалела, что не сумела предотвратить опасность и выпустила супруга из-под контроля. Она никогда не проверяла, где он бывал, что делал, лишь подозрения терзали ее душу, и она ревновала к неведомой сопернице. И вот результат!

Она еще больше распалилась гневом, видя, что муж ее молчит — и не возражает ей, и не признает своей вины.

— Жаль, что я стара и уж не так хороша, как прежде! А то и я бы непременно загуляла. Постаралась бы из отстать от этих людей нового времени, от эпохи атомного прогресса. Завела бы себе дружков и, чуть муж за порог, звала бы к себе, в этот дом, какого-нибудь из них! Если уж сходить с ума, то всем: и отцу, и матери, и сыну — всем! Каждый может свободно создавать себе государство; свободно жить дома — без правил, без порядка; свободно развлекаться на стороне! Свобода! Свобода! Свобода!

Произнеся эти слова, ньонья Пусбо поднялась, пробежала в свою комнату, с грохотом захлопнула дверь, бросилась на постель и разрыдалась. Многое пронеслось в ее памяти в эти минуты. Она вспомнила свои девичьи годы, затем время после замужества; оба они — она и муж — считались прогрессивными людьми. Муж постоянно помогал ей в борьбе за права и интересы угнетенных женщин. Он был ярким противником многоженства, беспощадно клеймил религию ислама за ее безнравственный закон о многоженстве. Это даже привело его к конфликту

с руководящими деятелями мусульманского движения.

В то время Харно было всего восемь лет. Двое других ее детей умерли совсем маленькими. Харно рос баловнем — единственный ребенок! Жили они тогда очень счастливо. Муж ее любил, ценил в ней и женщину и человека — борца за лучшее будущее. Но что нравилось ей в нем больше всего — это его отношение к многоженству. Против этого он вел борьбу с мусульманами, которые с пеной у рта отстаивали данное им религией право. Когда обсуждался новый законопроект о браке^[102], он самым активнейшим образом принял сторону женщин, которые единодушно выступали за принятие этого законопроекта. Мас Пусбо осуждал позицию реакционных кьяи^[103], которые рассматривали этот закон как удар по их кровным интересам. Обычно муж всегда выступал против порядков, устанавливаемых колониальным правительством, стремившимся ограничить национальное движение в Индонезии. Так, например, он выражал решительный протест против закона о «диких» школах^[104], о запрещении собраний, о налогах на зарплату... Но здесь, в вопросе о браке, он целиком поддерживал линию правительства. В то время лозунг «разделяй и властвуй» был еще мало популярен, однако правительство Нидерландской Индии в своих интересах давно уже проводило политику натравливания одной группировки в стране на другую, в частности старалось сравить националистов с исламистами. Имя маса Пусбо, как и имя его жены, приобрело известность.

Но все это было давно, лет пятнадцать назад. Тогда ньонья Пусбо была еще молодой, красивой женщиной. Ее считали лидером женского общественного движения. Да, прошло то золотое время... Образно говоря, оно оказалось раздавленным колесами второй мировой войны, а остатки его поглотила великая революция, революция, потрясшая все слои индонезийского общества, сломавшая все его прежние устои. Как-то так получилось, что ньонья Пусбо стала постепенно отходить от общественной жизни, оказалась в тени, и это воспринималось как должное, по крайней мере так считали и ее муж, и все вокруг. Теперь ни у кого не было времени говорить ни о многоженстве, ни о безнравственном поведении мужчин по отношению к женщинам, ни о безнравственном поведении женщин по отношению к мужчинам. У людей не было времени созывать по этому поводу собрания, конференции, конгрессы, так как все были заняты решением более важных задач — насущными вопросами революции, вопросами партизанского движения. Линггаджатским соглашением, вопросом о вражеских шпионах, проблемами марксизма-ленинизма,

хаттаизма^[105], сукарноизма, шариризма^[106] или вопросами, связанными с теорией Тан Малаки^[107], который был настроен против Линггаджатского соглашения, или Алимина^[108], ратовавшего за это соглашение. Но ведь во всех этих дебатах и диспутах женщины также принимали самое горячее участие!

Раздражение ньоньи Пусбо против мужа росло с каждой секундой. Ее приводило в негодование то, что он совершенно равнодушно отнесся к ее слезам... Наконец она поднялась с постели, прошла к двери, распахнула ее, остановилась на пороге и, глядя в упор на мужа, решительно заявила:

— Идите куда вам угодно; можете вести себя так же, как и ваш сын Харно, — уходите и приходите, когда вздумается. Наш дом стал похож на театр, где вы и Харно главные герои пьесы — пьесы о борьбе и революции. Ну а я уже стара для этого, я не могу принять участия в вашей игре. Мое дело — забота о доме, и только! Если это нельзя назвать борьбой, можете меня больше не уважать. Уважайте женщин, которые умеют красиво одеваться, краситься, болтать в ресторанах и отеле «Свобода». Можете менять женщин сколько вашей душе угодно, и никто не скажет, что это многоженство; можете даже по-прежнему называть себя противником многоженства и защитником прав женщин! Не так ли? Ах, что ж это делается! Подумать страшно, сколько женщин и девушек стали жертвой революции! Я не имею в виду тех, которые погибли на фронте, нет, я хочу сказать о других, о тех, у кого нет морали, которые лишились чести, стали падшими женщинами... Говорят, число проституток сейчас увеличилось в пятьдесят раз по сравнению с довоенным временем! Вы, конечно, можете утверждать, что это результат войны, результат капитализма, результат колониализма! И тем самым развязать себе руки: иметь одну жену дома, а вторую на службе и встречаться с ней в отелях. Попробуй кто назвать это многоженством — нет, невозможно! Ведь вы со второй официально не зарегистрированы! Да-а-а, ничего не скажешь, многоженство атомного века куда проще прежнего — сейчас никто не несет ответственности за последствия. Свобода! Ступайте в этот свой отель «Свобода», повидайте там Нани, потанцуйте с ней, как Харно танцует со своими школьницами. Вам, хоть вы уже стары и не сегодня-завтра станете дедом, Нани, видно, дороже, чем я!

— Мердека!^[109] — донеслось снаружи, и вслед за тем в комнату вошли две женщины — сборщицы пожертвований. Они обратились к ньонье Пусбо с просьбой оказать их организации денежную помощь на строительство приюта для падших женщин. Ньонья Пусбо торопливо

прошла в свою комнату и вскоре вернулась, держа в руках полторы тысячи рупий. Подавая эти деньги женщинам, она нарочно громко, так, чтобы ее слова не миновали слуха мужа, произнесла:

— Вот, примите. Вы затеяли славное дело, и здесь нельзя не помочь! Сейчас, как никогда, появилось много женщин, сбившихся с пути! Их необходимо собрать всех вместе, в одно общежитие, дать им воспитание, привить понятие о нравственности, сделать из них настоящих, полезных для общества людей. Жаль мне их, очень жаль, ведь они жертвы беспечных, легкомысленных мужчин!

Мас Пусбо с видом побитой собаки, стараясь не смотреть в сторону супруги и женщин, торопливо шмыгнул в другую комнату.

Женщины были немало удивлены столь щедрым пожертвованием ньоньи Пусбо.

Перевод с индонезийского Р. Семауна

Бахтиар Сиагиан

Уроженец Суматры Бахтиар Сиагиан (род. в 1918 г.) — автор многочисленных пьес, сценарист и признанный мастер новеллы, известный своими прогрессивными взглядами на развитие общества, верой в могучие созидательные силы народных масс.

Рассказ «Пенсия» пронизан теплотой, любовью к простым людям Индонезии. К удивлению партизанского командира Буюнга, освободительная антиколониальная революция — не пустой звук для ушедшего от дел, и, казалось бы, бесконечно далекого от политики старого машиниста Касио, проработавшего всю жизнь на голландского плантатора. Немоощный старик проявляет подлинное величие духа и гибнет как герой, сумевший и самой своей смертью послужить своему народу, делу освобождения.

В. Цыганов

Пенсия

Мы быстро стали друзьями — я и дядюшка Касио. Маленький, добродушный и веселый, он очень любил поговорить. Я был уверен, что в нашем поселке — мы жили на табачной плантации у подножья хребта Букит Барисан — нет человека лучше дядюшки Касио. Я ему тоже нравился, — быть может, потому, что часто Приходил к нему поболтать о разных вещах, а может, и потому, что мой отец был конторщиком. Как известно, конторщик — высокая должность для «туземца» на плантации; к тому же отец служил на складе. И хотя дядюшка Касио был всего лишь машинистом паровозика узкоколейки, его работа нравилась мне гораздо больше, чем дело, которым занимался отец. Каждый день паровозик дядюшки Касио, волоча за собой нагруженные связками табака платформы, спешил в ближайший городок; оттуда большой, настоящий паровоз перевозил табак в Белаван^[110], к берегу моря.

Дядюшка Касио возил не только табак, но и рабочих, когда они отправлялись в город за покупками или в больницу. От нашей плантации до города было километров двадцать, не больше, и путь лежал через светло-зеленые табачные плантации и густые аллеи стройных тиковых деревьев.

Мы ездили в город редко, и потому поездка на паровозе казалась нам событием необыкновенным и увлекательным. Проезжая мимо табачных плантаций, дядюшка Касио обычно давал гудок, и рабочие, с трудом разогнув спины, долго махали руками вслед поезду.

Дядюшка Касио мог порой и вспылить, но был добр и отходчив. Когда мы — Чеминг, Турах, Кунчунг, Томблок, девочка в коротенькой рубашонке, и я — вспрыгивали на платформу, медленно проплывавшую мимо склада, Касио сердился и кричал на нас: «А ну, слезайте сейчас же! Упадете — ноги переломаете. Вот я вас! Пострелята!»

Все, кроме меня, испуганно соскакивали на землю, я же был упрям и не желал отказываться от своей затеи. Быть может, я не боялся ругани Касио, потому что был сыном конторщика, а он всего-навсего машинистом, — не знаю. Впрочем, он и сам, наверно, по той же причине, не очень сердился на меня. И когда я, стоя возле рельсов, готовился вспрыгнуть на катившуюся мимо платформу, он нередко останавливал паровоз и звал меня к себе в будку.

— Никогда не прыгай на ходу, малыш! Не дай бог сорвешься, ну и попадет же мне тогда от господина конторщика, — говорил он, помогая мне влезть наверх.

— Стой здесь. Только помни, как завидишь «большого господина» (так называл он голландца — хозяина плантации), прячься скорее. Если он тебя заметит, меня выгонят в два счета, — добавлял он, дергая за какую-то рукоятку.

Я усердно кивал в ответ, и через секунду паровозик начинал пыхтеть — чах-чах, чах-чах... До чего же здорово было ехать!

— Когда вырасту, тоже буду машинистом, — говорил я, улыбаясь во весь рот.

Касио усмехался и гладил меня по голове.

— Когда ты вырастешь, малыш, я уже уйду на пенсию. И тогда на нашей плантации будет, наверно, настоящий, большой паровоз, как в городе.

— А когда вы уйдете на пенсию, дядя Касио?

— Да лет через пятнадцать, малыш. Наверно, вместе с твоим отцом.

— А что вы тогда будете делать?

— Буду жить здесь же, в поселке. Куплю себе домик, клочок земли... И каждый месяц стану ходить в контору за пенсией, неплохо, а?

Он улыбался, вздыхал, а потом долго не мигая смотрел вперед через круглое окошко, словно любуясь тускло поблескивавшими рельсами, надвое рассекавшими зеленую стену тикового леса. Время от времени он

улыбался каким-то своим, неизвестным мне мыслям.

Красота могучего леса завораживала нас. Мы пролетали мимо стройных деревьев-гигантов, и казалось, будто они, расступаясь, кланяются нам вслед. Потом лес кончился, и по обеим сторонам пути на многие километры тянулись поля табака. Здесь работали сотни женщин-кули в широкополых соломенных шляпах — они мотыжили землю или обирали гусениц.

Мы мчались мимо, и у меня было такое чувство, будто дядюшка Касио, его паровоз, тиковый лес, табачные поля и женщины-кули в широкополых шляпах — все это сливается во что-то огромное, радостное, необъяснимым волнением переполнявшее мою душу. В перестуке колес мне слышалась какая-то чарующая, с детства знакомая и глубоко запавшая в сердце мелодия...

Но настал день, когда нам с дядюшкой Касио пришлось распрощаться. В нашу семью пришла беда.

Однажды, прибежав домой, я услышал, как мать тихо всхлипывает в своей комнате, и увидел отца — он сидел, сгорбившись и понуро опустив голову. Отец поднял глаза, подозвал меня к себе и обнял.

— Мы уезжаем отсюда, сынок, — сказал он голосом, который я никогда не смогу забыть.

— Почему, отец?

— Меня уволили. Однако это ничего. В городе я найду новую работу, а ты сможешь учиться.

Он улыбнулся. Его улыбка показалась мне тогда очень странной.

— Но в городе не будет нашего паровоза! — Мне очень не хотелось уезжать.

Отец опять улыбнулся.

— И все-таки придется уехать, сын, — сказал он твердо.

Тут в комнату быстро вошел дядюшка Касио.

— Я слышал, вас уволили. Это правда?

— Да...

— Я больше не буду кататься на паровозе, — вставил я обиженно.

Касио ласково посмотрел на меня и ничего не ответил. Потом, также молча, он исподлобья взглянул на отца, повернулся и, не поднимая головы, вышел.

Стало тихо, и только из соседней комнаты доносились всхлипывания матери. Через минуту я услышал знакомое чах-чах, чах-чах. С этого дня я больше не видел дядюшку Касио.

Пятнадцать лет спустя, когда я пришел в штаб молодежного отряда изучать военное дело, я уже не вспоминал ни о паровозике, ни о старом машинисте. Шла революция. Отряд, в который я вступил, славился своей отвагой. Наскоро обучив строевой подготовке, нас отправили доучиваться на передовую. Детские воспоминания о паровозике дядюшки Касио вытеснил грохот гаубиц, и теперь я видел перед собой не широкие шляпы женщин-кули, а железные каски солдат, выкрашенные в грязно-зеленый маскировочный цвет.

Душными темными ночами я слушал треск пулеметных очередей и тонкое повизгивание пуль, и, сам не знаю почему, мне это начинало нравиться, как в детстве нравилось слушать гудок паровозика дядюшки Касио. Да и армия наша двигалась как старенький паровоз. Мы то рвались вперед, то останавливались, то пятились назад, то снова шли вперед. Город, где я жил в детстве, лежал в развалинах и был усеян неизвестными могилами. Зато события сменялись с такой быстротой, которая, наверно, и не снилась маленькому паровозику, когда он катился среди тикового леса или мимо табачных плантаций.

Началась первая полицейская акция^[111]. Голландские танки обрушивали на нас тысячи тонн стали, но мы дрались упорно, защищая каждый клочок родной земли. Мы были скверно одеты и плохо вооружены: наши карабины приходили в негодность после первых же выстрелов, пулеметы задыхались в самое нужное время, а снаряды часто не взрывались вовсе. И как ни крепка была наша воля, наш дух — мы отступали. Мы уходили в горы, становились партизанами.

Как-то раз я совсем неожиданно оказался недалеко от плантации, с которой меня связывали детские воспоминания. Я снова увидел склад, где работал отец, дом, где плакала мать накануне отъезда, хижины, где раньше жили мои друзья, и маленький паровозик, на котором я любил кататься в детстве.

Мрачное настроение, вызванное последними неудачами на фронте, как-то незаметно рассеялось и исчезло. Я сразу же вспомнил о дядюшке Касио. Что с ним, жив ли он? Наверно, получает свою пенсию и мирно живет где-нибудь здесь в поселке. Он так мечтал об этом когда-то...

Паровозик стоял возле склада, и я, сам не знаю как, очутился возле него. Вокруг было тихо и безлюдно. Я обошел паровоз — он казался одиноким и незащищенным и был похож на старика, который неподвижно сидит на скамейке и, подперев рукой подбородок, вспоминает навсегда ушедшую молодость. Я поднялся в будку. Там пахло плесенью и пылью, — видимо, паровоз давно стоял без дела. В топке лежал

прогоревший уголь, влажный от утренней росы.

Что здесь произошло? Я задумался, пытаюсь найти ответ, и вдруг улыбнулся — мне вспомнилось, как я сказал когда-то дядюшке Касию: «Когда вырасту, тоже буду машинистом». И вот я не машинист, а солдат. Жизнь — странная штука...

Вдруг я услышал легкое покашливание. Воспоминания мгновенно оборвались, и я, чуть вздрогнув, обернулся. Передо мной стоял навтыжку солдат.

— Вас просит командир.

Я зашагал в штаб, мысленно улыбаясь. Вооруженный солдат революции — и мальчик, который любил кататься на паровозе, — как далеки они друг от друга!

Я получил приказ взорвать переправу неподалеку от города, который мы недавно оставили. Взрывчатки у нас было сколько угодно, — это была единственная ценная вещь, которую, отступая, бросили японцы. По моим расчетам, чтобы разнести переправу вдребезги, нам вполне хватило бы пяти полутонных бомб. Все дело было в том, как их туда доставить. Долго и безуспешно ломал я себе голову, пока наконец меня не осенила простая мысль. Паровоз! Ну конечно, на него вся надежда! Если он исправен, бомбы и все остальное можно довести до передового поста, а оттуда до переправы рукой подать, — всего несколько километров в сторону.

Я приказал одному из своих солдат немедленно отправиться на розыски машиниста. Через час солдат вернулся и сообщил, что машиниста убили японцы в самом начале революции за попытку захватить оружие.

Я выругался — мои планы рушились.

— Кто сказал тебе это? — недоверчиво спросил я солдата.

— Рабочие. Там в хижинах...

Не раздумывая я зашагал к хижинам. В глубине души я надеялся встретить своих старых друзей — Кунчунга, Чеминга или Тураха.

На улице у своих жилищ стояли люди. Увидев меня, они зашептались. Изредка я ловил на себе их любопытные взгляды. Но ни одного знакомого лица здесь не было.

— Мердека! — нестройно закричали они, когда я подошел ближе.

Я ответил на приветствие.

— Кого-нибудь ищите? — спросил какой-то мужчина.

— Да, машиниста, друг.

— Кунчунга, стало быть? — спросил он серьезно. — Его давно уже нет.

— Кунчунга? — повторил я знакомое имя.

— Да. А вон его жена, — сказал тот же человек. — Жаль ее, у них трое ребятишек. — Он показал рукой на стоявших неподалеку женщину и детей. Самый маленький хныкал, и мать, укачивая его на руках, как-то странно глядела на меня.

Мне стало неловко, я не знал, что сказать, и молча погладил ребенка по голове. Губы женщины задрожали, а печальные глаза, глаза человека, который много страдал, потемнели. Я всмотрелся в ее бледное, изможденное лицо, и вдруг что-то прояснилось в моей памяти.

— Томблок? — неожиданно для самого себя спросил я.

Она вздрогнула, и ее ввалившиеся тусклые глаза сверкнули.

— Вы меня знаете? — спросила она удивленно.

— Я же Буюнг, сын конторщика, помнишь, тот самый, который любил кататься на паровозе?

На мгновение лицо ее просветлело, но она тут же заплакала и, упав на колени, обняла мои ноги.

Растерявшись, взволнованный, я неловко подхватил на руки ее маленького сынишку. Рабочие, окружив меня, здоровались. Услышав, что я тот самый Буюнг, который когда-то любил кататься на паровозике дядюшки Касио, они обрадовались.

— Жаль. Кунчунга нет в живых. Его японцы убили, — сказал старик, в котором я сразу же узнал Кромю, сторожа на складе, где работал отец.

Я долго просидел в хижине и совсем уже было отказался от мысли использовать паровоз, когда кто-то упомянул о старике Касио, который жил на отшибе, в небольшом домике среди полей. У меня вновь появилась надежда; я должен был пойти к дядюшке Касио.

Мы срезали путь, перейдя по большим камням стремительный ручей за деревней. Через час быстрой ходьбы мы подошли к полю, где стоял домик дядюшки Касио. Шагая, я мысленно спрашивал себя, сможет ли Касио помочь нам? Сможет ли? И чем ближе подходили мы к его домику, тем чаще, волнуясь, задавал я себе этот вопрос.

Наконец мы с ним встретились, и я понял, что тревожился не напрасно. При виде старика я испытал какое-то странное чувство — радость и разочарование вместе. Я был рад встретить старого друга, но в ту же минуту ясно понял, что он ничем не сможет мне помочь. Стоявший передо мной худой, сутулый старик с ввалившимися глазами долго не хотел верить, что я — тот самый мальчик, который так любил кататься с ним на паровозе. Молча вглядывался он в меня, и на его изрытом морщинами лице нельзя было прочесть ничего, кроме беспокойства и

недоверия.

— Ты Буюнг, сын конторщика? — неуверенно спросил он наконец.

— Да. Я вырос... но так и не стал машинистом, — пошутил я.

Старик растрогался и, крепко обняв меня, заплакал.

— Ты так изменился, сынок, — повторил он, вытирая слезы.

— Да... А вы, конечно, уже давно на пенсии?

Старик промолчал. Он отвел взгляд в сторону и как-то странно шмыгнул носом. Я почувствовал, что вопрос неприятен старику, и смутился. Он это заметил.

— Мне не повезло, сынок, — сказал он просто.

— Почему?

— Когда до пенсии оставалось всего несколько месяцев, пришли японцы, — с досадой произнес он.

— И что же?

— Пенсии мне не дали, но заставляли работать все время. Что пенсия! — махнул он рукой. — Паек и тот выдавали кукурузой... Кстати, как отец?

— Отец давно умер.

— Тоже не дождался пенсии? — Старик сокрушенно покачал головой.

Я кивнул. Хотя воспоминания были не из веселых, мне было приятно снова увидеть старика. Он засыпал меня вопросами, и разговор наш затянулся допоздна. Мало-помалу я совсем забыл о цели своего прихода. Да и в самом деле, мысль о том, чтобы попросить дядюшку Касио помочь нам, исчезла в тот самый момент, когда я его увидел, — было ясно, что такая тяжелая работа не под силу слабому и больному старику.

Мы сидели и вспоминали прошлое, наши поездки в город через тиковые леса и бесконечные плантации табака. Старик расспрашивал меня о нашей борьбе за независимость, и, отвечая ему, я не заметил, как солнце, склонившись к западу, опустилось за хребет Барисан, а навстречу ему стали наплывать неясные сумерки.

Я встал и начал прощаться.

— Наверно, мы теперь долго не увидимся. Может быть, никогда, — сказал я, обнимая старого машиниста.

— Почему так? — спросил он кратко.

— Не сегодня-завтра я уезжаю.

— Куда, малыш?

— Не так далеко, но это очень опасно, — стараясь говорить спокойнее, ответил я.

Дядюшка Касио пристально взглянул на меня и попросил обязательно

зайти к нему перед отъездом. Ему хотелось чем-нибудь угостить меня.

— Это невозможно. Я уеду очень скоро. Будь Кунчунг жив, мы двинулись бы сегодня же. Дело очень срочное.

— Жаль его, — сказал старик, посмотрев в сторону. Потом еще раз взглянул мне в глаза. — А на что тебе Кунчунг?

— Он умел водить паровоз.

— Паровоз?

— Да.

— А для чего он вам понадобился?

— Нужно перевезти груз.

Старик помолчал в раздумье, затем спросил:

— Вам очень нужен паровоз, сынок?

— Очень. Это важно для нашей борьбы, — ответил я, не понимая еще, к чему он клонит.

Не говоря ни слова, Касио вошел в дом и тотчас же вышел с узелком в руках.

— Идем, я попробую наладить его, — сказал он без колебания в голосе.

— Вы сможете повести паровоз?

— Да, — ответил он твердо.

Это казалось невероятным, и я от удивления не мог вымолвить ни слова.

Дядюшка Касио дернул меня за рукав:

— Ну, идем же, малыш! Покатаемся, как бывало.

Всю ночь дядюшка Касио и еще несколько рабочих возились с паровозом. И лишь перед самым рассветом работа была закончена. Шипение пара неожиданно разорвало утреннюю тишину, и мы, не удержавшись, закричали от радости. Я крепко обнял старика. Он довольно улыбнулся.

— Но ты смотри не прыгай на ходу, сынок, ноги сломаешь!

Утром мы погрузили бомбы на уцелевшие платформы. Решено было выехать к ночи, чтобы вражеские самолеты-разведчики не заметили нас. День пролетел быстро.

Ровно в половине десятого мы двинулись в путь. Я и Касио были в будке. Скрежет колес по ржавым рельсам нарушал тишину спящего леса, яркие искры, вырываясь из трубы, оранжевыми черточками расцвечивали небо.

Дядюшка Касио, показавшийся мне вчера таким немощным, работал

ловко и умело, хотя пот катился с него градом и чувствовалось, что это дается ему не легко. В будке пахло дымом, но нам это нравилось.

— Он еще побегает, наш паровоз, верно, дядюшка? — сказал я старику, когда он на минутку остановился, чтобы вытереть пот.

— Еще бы! Двадцать пять лет вожу его, Юнг^[112], — гордо ответил он.

— Чувствует хозяина, потому и бежит так быстро, — пошутил я.

Старик рассмеялся.

— Он чувствует, что ты снова залез в будку.

— Двадцать пять лет — это очень много, да?

— Много. И все-таки мне не повезло, — добавил старик, помолчав.

— Почему же?

— Двадцать пять лет я водил паровоз, и вдруг пришли японцы. Так я и не получил пенсии.

Наступило молчание. Касио первым нарушил его.

— Да и паровоз, бедняга, все никак не выйдет в отставку! — произнес он и рассмеялся скрипучим старческим смехом.

— Когда мы добьемся независимости, вы получите свою пенсию, — сказал я, чтобы хоть как-то его утешить.

— Будем надеяться...

Чах-чах-чах-чах... Вокруг тот же лес и те же плантации табака.

Мы проехали километров пятнадцать в полной темноте, до передового поста было уже совсем недалеко. Там мы собирались выгрузить бомбы. Но вдруг паровоз остановился — отказала какая-то деталь в ветхом проржавевшем двигателе. Я был убежден, что Касио все сможет наладить, и поэтому не очень беспокоился. Старик долго возился, что-то ворчал себе под нос и наконец сказал:

— Дело плохо.

Однако — я это видел — он был уверен, что сделает все как надо. Но время шло, а мы так и стояли на месте. На рассвете, когда закурился туман, я приказал солдатам выгружать бомбы в канаву. Нужно было немедленно отогнать паровоз назад, чтобы его не заметили самолеты — они всегда летали по утрам. Дядюшка Касио сделал все, что мог, и когда брызнули первые лучи солнца, паровоз был исправен.

— Возвращайтесь скорее домой. — Я обнял его.

Старик устал и еле держался на ногах. Он пожал мою руку и, тяжело дыша, прошептал:

— Ты только осторожнее, сынок!

— Мы еще встретимся, дядюшка!

Он кивнул и взобрался в будку. Снова шипение пара и лязг колес нарушили утреннюю тишину. Я помахал ему вслед рукой. Старик высунул голову из будки и опять скрылся. Паровоз шел все быстрее и быстрее и вскоре исчез за поворотом. Только серые клубы дыма, повисшие на деревьях, отмечали его путь.

— Самолет! — крикнул кто-то из солдат.

Я вздрогнул и обернулся. Два самолета летели по направлению к плантации, где размещался наш штаб. Вспомнив о паровозе и дядюшке Касио, я похолодел. Один из самолетов неожиданно развернулся и спикировал прямо на скрывшийся за деревьями паровозик. До нас донесся треск пулемета, взрывы бомб. Мы пригнулись к земле. Я зажмурился. Еще очередь, еще взрыв бомбы, и все стихло... Самолет улетел.

Я вскочил и побежал к повороту. Еще издали я увидел паровоз и покореженные платформы.

Медленно подошел я ближе. Дядюшка Касио лежал рядом с паровозом. В правой руке он все еще сжимал молоток, а левой вцепился в колесо; узелок, взятый им из дому, был красным от крови. Я не мог больше сдерживаться, и слезы покатались по моим щекам. Осторожно приподняв дядюшку Касио за плечи, я шепотом произнес:

— Мердека, дядюшка!

Старик был мертв. И он, и его паровоз отправились наконец на покой. Дядюшка Касио так и не дождался пенсии, не успел увидеть свою родину свободной и независимой.

Перевод с индонезийского А. Павленко

Трисноювоно

Трисноювоно (род. в 1929 г. в Джокьякарте), подобно Туру, пишет о войне и революции, опираясь на личный опыт. Он участвовал в вооруженной борьбе против голландцев как студент-ополченец, затем как солдат национальной армии. Трисноювоно получил известность как писатель-новеллист в 50-е годы; сборник «Мужчины и порох» (1960) принес ему литературную премию и широкое признание.

Рассказ «Герой» привлекает не только достоверностью батальных сцен и изображением солдатской дружбы. Писатель размышляет о природе героизма на войне, о том, что самые будни освободительной войны овеяны героизмом, хотя проявления его порой неярки. В новелле автор с большим

художественным мастерством и тактом касается темы любви и верности.

В. Цыганов

Герой

Огонь противника был таким ожесточенным, что порой казалось невозможным перевести дух. Телу, прилипшему к земле, хотелось слиться с нею. Я чувствовал, как пот скатывается с меня на пыльную землю.

Голландцы хорошо знали, что мы прижаты, — стрельба с их стороны не ослабевала. Командиру отряда удалось укрыться за деревом, затем последовал приказ выходить из зоны огня неприятеля. Мы поползли один за другим, и секунды эти тянулись медленно, как часы. Только с наступлением темноты мы смогли вырваться из вражеского окружения. За все время сражений на переднем крае наши потери составили семь человек. В этом последнем бою мы потеряли троих. А три дня назад погиб мой друг Герман.

С Германом я познакомился еще в средней школе, и на фронте мы были неразлучны. Он никогда не был трусом и, пожалуй, убил врагов даже больше, чем я. Но погиб нелепо. Надо же было такому случиться! Ей-ей, не хотелось бы мне так умереть!

И вот теперь предо мной стояла трудная задача: я должен был повидаться с его женой и рассказать ей, как погиб Герман. Командир отряда лично поручил это дело мне. Я его, конечно, понимал: ему уже не раз приходилось являться то в тот, то в другой дом с печальной вестью. Это всякому было бы тяжело.

Примерно через неделю после того жестокого боя под Амбаравой мы отошли в тыл. Первые несколько дней я никак не мог заставить себя навестить жену Германа. Года еще не прошло, как они поженились. Мне довелось видеть их при расставании. Жена плакала, ей было горько оставаться без мужа, уходившего на войну. Однако у Германа хватило духу не откладывать свой отъезд. Помню, прощаясь, я все смущенно бормотал:

— Не бойся, лучше погляди на ладонь Германа, вон у него какая длинная линия жизни, не бойся!

— Вы уж не давайте ему там щеголять своей храбростью, ладно, мас? — попросила она.

Я согласно кивнул, а Герман только усмехнулся...

И вот наконец я пришел к ней. Явиться с такой вестью — все равно что зайти на кладбище. Погребальный запах ладана и лепестков роз преследовал меня, хотя здесь не было ни роз, ни ладана. Вот сейчас я войду, спокойно сяду и подробно расскажу обо всем случившемся, как

можно осторожней, чтобы не слишком ранить ее сердце...

Я вошел в дом. Жена Германа вышла из комнаты мне навстречу. Так и есть, ей уже известно о смерти мужа. У меня по рукам прошла мелкая дрожь и рот свело — не разомкнуть. А она вдруг разразилась рыданиями. Подбежала ко мне, обхватила и так стиснула, словно что-то хотела выжать из меня. В горле сделалось жарко и сухо, а на глаза навернулись слезы. В эту первую встречу так и не вышло у нас разговора.

Много времени спустя (я побывал у нее уж не один раз, она вроде бы оправилась и даже стала следить за своей прической) зашла у нас об этом речь. Наступил-таки момент, которого я ждал с таким ужасом.

— Как он погиб, мас? — Глаза ее, как будто из глубины освещенные сухим блеском, вызывали меня на откровенность. Я немного помолчал, а в душе уже приготовился отвечать. С этим некуда было деться. Однако я чувствовал, что нужно как-то утешить ее в горе.

— Первые несколько дней на переднем крае Герман был не таким, как всегда... Все больше молчал, и шутки мои его не смешили. Мне даже казалось, что он болен. Но он уверял, что совершенно здоров... — Все это я проговорил напряженно, с трудом подбирая слова.

Жена его, под глазами которой еще была заметна синева, прислонилась спиной к стене, руками ухватившись за спинку стула. Она старалась держаться спокойно, хотя глаза ее начали влажнеть. Я-то знал, как она любила Германа.

— Первый бой, который нам пришлось выдержать, был не очень жесток, но двое наших погибли. Это было во время ночной атаки. Один из голландских укрепленных пунктов мы уничтожили, нам даже удалось захватить ручной пулемет. Правда, нашей отчаянной смелости оказалось мало. Пришлось заплатить жизнью двоих. Герман тогда, как ни странно, повеселел. «Мне нравится в бою», — объяснял он нам. В той атаке именно Герман повел всех за собой. Первым прорвался за колючую проволоку и сам подорвал пулеметное гнездо. Он ведь был отчаянным храбрецом.

После этого боя Герман мог даже смеяться, а потом принялся за письмо. «Ничего не поделаешь, раз у тебя дома жена...» — сказал он мне тогда. Не скрою, той ночью он говорил мне, что в душе сожалеет о поспешной женитьбе. Не потому, что он тебя не любил, нет. Но очень уж он жалел тебя. И все огорчился, что причинил тебе столько горя.

«В такое время, — сказал он мне в ту ночь, — лучше подождать с женитьбой». Он ведь понимал, как тебе тяжело: вечная тревога за мужа, страх потерять его. А на передовой смерть подстерегает всюду. «Тогда почему же ты все-таки женился на ней, Гер?» — спросил я его. «Боялся,

что, если не сделаю этого, она не станет ждать меня и выйдет замуж за другого», — признался он.

А еще он рассказал мне о том, как был счастлив в супружеской жизни с тобой. Как он рвался на войну и как в то же время ему не хотелось уходить от тебя. Но на все воля господня: и на жизнь, и на смерть. Мы с Германом в это твердо верили, и эта вера помогала нам сохранять присутствие духа. Да что говорить, ты ведь лучше знаешь своего мужа (она кивнула, смахнув слезу). Признаться, я не очень верил, что мы погибнем в бою. И Герман говорил, что хотел бы умереть, положив голову к тебе на колени.

В те дни с голландской стороны часто слышался рев моторов, а потом мы получили сведения, подтверждающие, что голландцы готовят крупное наступление. С Германом мы все перешучивались по этому поводу. Как-то раз он сказал: «Смотри-ка, пройдет еще несколько дней — и мы сможем отличиться, героями станем! Как бы мне хотелось подбить вражеский танк! Хотя бы один». У нас было принято биться об заклад во время боя. Бывало, кто подстрелит больше голландцев, тут и выигрыш наготове: два подсумка патронов...

Все приготовления были уже закончены. Днем нам предстояло совершить внезапную атаку. Местность была на редкость выгодной для нападения. Выполнять задание поручили только одному отделению добровольцев. Герман говорил, что он мечтает вернуться с трофеями: пулеметом и комплектом маскировочной одежды.

Со всеми предосторожностями спустились мы в заросшее лесом ущелье и через час добрались до вершины одного из холмов неподалеку от линии обороны голландцев. Наша атака была дерзкой. Противник настолько растерялся, что не смог даже организовать ответный огонь. Мы забросали его гранатами. Голландская солдатня выскакивала в одном нижнем белье, и потом я сам видел, как много их валялось на земле в лужах крови. Однако и из наших не все вернулись обратно. Когда мы отходили, спускались в глубокое ущелье, покрытое густыми зарослями, враг опомнился и накрыл нас своим огнем. Только было хотел я перекинуться шуткой с Германом, как он рухнул на землю. Пули прямо-таки изрешетили его. Противник уже перешел в контратаку, и мы даже не смогли подобрать тело Германа.

Жена Германа съежилась, дыхание ее стало прерывистым. Я встал и погладил ее по плечу.

— Твой муж настоящий герой, — сказал я.

И вот в этом я не солгал.

В душе я чувствовал, что согрешил, да простит меня бог за это. Герман, конечно, не был трусом. Просто не повезло ему. Однако об этом я не смог бы рассказать его жене.

Герман погиб, когда мы были в боевом дозоре. Мы пробирались вдоль глубокого ущелья. Тропа была всего в шаг шириной. Неожиданно раздавшиеся выстрелы нас ошеломили. Перестрелка длилась недолго. В самый разгар перестрелки Герман вдруг поскользнулся, граната, готовая к броску, выскользнула из его руки и взорвалась. Германа сразу же убило наповал, и тело его рухнуло в пропасть. Мы бросились наутек.

Все, кто был у нас в боевом охранении, считали, что в Германа попало из вражеского гранатомета. Только я знал, что произошло, потому что видел это своими глазами. Но не мог же я сказать об этом его жене.

Несколько недель спустя труп Германа нашли, и в один из ясных солнечных дней уже разложившиеся останки со всеми почестями повезли на Кладбище павших героев. Я шел рядом с его женой за гробом, стоявшим в кузове грузовика и утопавшим в венках живых цветов.

Перевод с индонезийского О. Матвеева

Утуй Татанг Сонтани

Утуй Татанг Сонтани (1920–1979) родился в г. Чианджур на Западной Яве. Писать он начал в 30-е годы на родном языке сунда, но затем перешел на индонезийский. Сонтани получил известность как поэт, драматург и автор антиколониального исторического романа «Тамбера» (переведен на русский язык). Его творчество всегда носило прогрессивный характер, шло в ногу со временем, служило интересам общественных сил, отстаивающих интересы трудящихся. Сонтани получил в 50-е годы несколько крупнейших литературных премий страны.

Лейтмотивом многих произведений писателя является неудовлетворенность народных масс социальной ограниченностью завоеваний национально-освободительной революции 1945 года. Угнетение, эксплуатация, нищета по-прежнему остаются уделом простых людей.

Рассказ Сонтани «Ночная стража» как раз посвящен резкому диссонансу между пробуждающимся политическим самосознанием простого человека и нищетой, голодом, остающимися его уделом. Писатель явно сочувствует выплескивающемуся наружу возмущению героя новеллы Сипана цинизмом и эгоизмом сытых, их пренебрежением к общественным делам. Совсем в ином, саркастическом ключе решен рассказ «Шут». Писатель разоблачает в нем неизжитые, кстати, и донине пороки чиновного мира Индонезии, протекционизм и кумовство, бытующие в основе формирования высшего эшелона государственного аппарата. Сонтани едко высмеивает «рыцарей слова» с их напускной активностью, краснбайством и выпренности, под которыми скрываются лень, апатия, своекорыстие. Всякое — даже пассивное — неприятие этой словесной трескотни и псевдоактивности оборачивается для подчиненных крупными неприятностями. Хорош язык рассказа, его злая ирония, неожиданные и меткие сравнения.

В. Цыганов

Ночная стража

Двадцать седьмое декабря 1949 года^[113]. В пыльные фолианты истории этот день вклеил свежую страницу с короткой записью:

«Рождение Индонезии». Но для жителей Джакарты второе утро новорожденной оказалось куда более памятным.

Проснувшись на своей циновке, Сипан с облегчением вспомнил, что сегодня не надо спешить на базар, бесконечно таскать кладь. Чудно, как быстро уходит сон, когда выпадает свободный денек. В восемь часов он был уже на шоссе, и фигура его сразу смешалась с массой людей, торопившихся в город. Все они встали пораньше, чтоб успеть ко дворцу в Гамбире^[114] и встретить там президента.

Сипан никого не взял с собой. Плач сына, просившегося в город, перестал действовать на Сипана, едва он прикинул, сколько придется платить за автобус. А пешком десять километров не шутка, если на плечах пятилетний ездок. Сам же он без труда доберется на своих двоих.

Видно, и обратно он тащился пешком, потому что только к четверем жена услышала во дворе его шаги. Разомлевший от жары и усталости, Сипан еле передвигал ноги. Он посмотрел на жену, и на его блестящем от пота лице появилась широкая улыбка.

— Если б ты была там! Я стоял совсем близко, понимаешь! Видел его, как тебя. Он совсем не состарился. Такой же молодой, как прежде! — Передохнув, он продолжал: — Да, видно, уж так устроены большие люди — годы для них не в тягость. А что мы?! — добавил он сокрушенно.

Сипан смолк, а когда заговорил снова, голос его был слабым, усталым: — Рис есть?

Жена не спешила с ответом.

— Откуда? Разве ты принес сегодня на рис?

— Совсем нет?

— Можешь, конечно, съесть, что осталось... если хочешь слушать, как плачет голодный ребенок!

Сипан только вздохнул. Жена сказала, что утром заходил староста.

— Чего еще ему понадобилось? — вяло осведомился муж.

— Говорил, что ночью ты должен дежурить. Выдумал тоже...

— Дежурить? — Сипан рассмеялся и снисходительно разъяснил: — Дуреха! Поскольку Индонезия теперь суверенное государство и мы управляем им сами вместе с президентом, мы должны гордиться, понимаешь? — Просветлев, он решил: — Конечно, я буду дежурить. Раз мы теперь самостоятельное государство, надо делать все, что требуется.

Передохнув, Сипан отправился к старосте. Тот объявил, что в кампунге можно ожидать всяких неприятностей.

— Не каждому придется по вкусу суверенитет, глядишь, устроят налет... Потому и ввели дежурства. Сегодня твоя очередь и еще шести

человек, твоих соседей.

— Конечно, — заметил Сипан, — поможем государству. — И добавил: — Мы должны гордиться!

К восьми часам он пришел к сторожке. Такое же, как собственный его дом, хилое строение казалось только еще более запущенным и угрюмым, чем его хибара. Соседей не было, и Сипан опустился на лежанку. Он одиноко сидел в темноте. Ждал. Только к девяти показалось трое юнцов. Парни, пересмеиваясь, жевали земляные орешки.

— Ты давно? — спросил один.

Сипан отозвался не сразу, неприязненно следя за работой молодых челюстей.

— Где ваша совесть? — наконец обронил он. — Куда ходили?

— Завернули купить орешки.

— А остальные?

— Дядюшка Сумарджа только сел ужинать.

Сипан скривил губы:

— Этот тип только и знает, что набивать брюхо.

— Ну и что, человеку поесть нельзя?

— Ради исполнения долга можно и не поесть! — обозлился Сипан.

Подростки, пошептавшись, замолкли. Медленно тянулись минуты. Наконец собрались все.

В помещении было темно, и никто не замечал мрачности Сипана. Беззаботно болтая, караульные коротали час за часом. Разговор шел о трамвайной аварии, карманниках на рынке... Пока они точили лясы про то, про се, Сипан не ввязывался в беседу, только белки его глаз остро поблескивали в темноте. Но когда зашла речь о встрече президента, Сипан придвинулся к говорящим ближе. Чем больше он вслушивался, тем тяжелее становилось его дыхание. Не выдержав, он оборвал рассказчика.

— Вот что, приятель, — сказал он дрожащим от гнева голосом, — раз ты на дежурство явился последним, про свой долг забыл — нечего тебе и президента расписывать. Ты теперь все равно что предатель!

— Как предатель? — оторопел говоривший.

— Точно, предатель! Ведь ты суверенитет не уважаешь. А как такого назовешь?

— Эй, Сипан, говори, да не заговаривайся!

— А что, нет? Не видно разве, что вам на все наплевать? Как же, прямо горите. Вредители!

Оскорбленный рванулся было навстречу обидчику, но несколько рук схватили его, и он опять шлепнулся на лежанку. Подростки что-то

наперебой зашептали ему на ухо. Через минуту прерванная беседа снова потекла неспешно и обстоятельно.

Приглушенными голосами соседи лениво перебирали привычные темы, судачили о знакомых. Неторопливо тянулось время. Когда часы пробили двенадцать, они все еще болтали, но прежнее оживление спало. Каждый искал уголок поудобнее, чтобы прислонить усталую спину. Еще через час только трое продолжали перебрасываться словами. Дремота одолела их, и душное дыхание спящих людей словно сделало тьму в сторожке плотнее.

Но Сипан не опускал век, его глаза напряженно всматривались в очертания спящих, и, по мере того как фигуры склонялись ниже, усмешка, кривившая его губы, становилась язвительней.

Вдруг один из дремавших поднялся и растолкал соседей:

— Пошли лучше по кампунгу, чтобы не заснуть.

Двое поднялись, зевая.

— Пошли, — согласились они, и все трое удалились.

Сипан провожал их взглядом, пока они не растворились во мгле. Голоса ушедших гулко катились по дороге. Только теперь Сипан заметил, какая темень и тишь вокруг. Месяц давно закатился, а звезды, усеявшие небо, то и дело ныряли в темную копну облаков. Свежий ветер порывами словно задувал яркие точки.

Сырость пробрала Сипана до костей. «Что плохого подремать немного?» — подумал он и закрыл глаза. Но сон не шел. Вместо него на память лезла обжорка мамы Миот, где продавались рис с желтой густой приправой, острое варево из овощей, сочившаяся маслом рыба и наперченная курятина. Он даже ощутил горячий пряный пар, поднявшийся над едой.

Сипан глубоко вздохнул. Почему это просо манит его из глубины неба, притягивает взгляд, а резкие трели сверчков кажутся такими значительными? Раньше он не замечал их.

«У-а-ах...» — вздохнул один из спящих. Сипан вздрогнул и оглянулся: мерное похрапывание наполняло сторожку. Пальцы Сипана сжались в кулаки, ему хотелось барабанить по стене, пока все не повскакивают. «Хм, — пронеслось у него в голове, — похоже, я пришел их сторожить!»

Не размышляя больше, он встал и вышел.

— Эй, Ана, открой! — постучал он в окно своего дома. Не дождавшись ответа, Сипан бешено затряс дверь: — Открывай! Или ты тоже хочешь стать президентом?

— Что, уже пять часов? — спросонья не поняла жена.
— Фу! Можно подумать, я подрядился быть выючным скотом!
— С чего это ты взъелся?
— Хорош староста. Не припас нам ни крупинки риса! Все еще бранясь, он повалился на циновку. В голове стучало, сбившаяся солома давила на спину, но не было сил повернуться. Казалось, он теперь не встанет никогда.

Перевод с индонезийского Е. Владимировой и В. Сикорского

Шут

Что-то не наблюдал я у зверей иронии. И самому замечательному дрессировщику не привить им чувство юмора. Или возьмем людей: переройте хоть все старинные песенники — не заметите у отсталых племен улыбки над собственной незадачей. А потому я уверен: коль скоро мы научились посмеиваться над разными превратностями жизни, — значит, взобрались на высшую ступень развития. Верна моя теория или нет — как знать! Я счастлив уже тем, что могу смотреть на мир, щурясь от смеха. Впрочем, возможно, эта жизнерадостность — результат полезных наблюдений над моим начальником.

Я работал клерком в одном из правительственных учреждений Джакарты, когда к нам вдруг прислали нового шефа с презабавной манерой держаться. До этого начальником был человек в почтенном возрасте и молчаливый, как ластик. С той минуты, как он входил в контору, прижимая к сердцу портфель, и до конца рабочего дня он строчил, не разгибаясь, траурные ленты цифр, и лицо у него было при этом скорбно-внимательное, точно на похоронах. Когда голландцы передали нам суверенитет и революция добралась до чиновников, его перевели в другое учреждение. Опустевшее место занял довольно молодой человек. Он сразу же собрал нас, чтобы[^]познакомиться.

Представившись подчиненным, новый шеф заявил, что прибыл из Джокьякарты — должно быть, вместе с президентом, тот ведь тоже приехал из Джокьи!^[115] Разница лишь в том, что один явился возглавить правительство, а другой — счетную контору. Потом наш начальник поведал, что прежде руководил профсоюзом служащих одного предприятия, а во время голландской оккупации помогал партизанам освобождать город. Как выяснилось, во имя справедливости этот народный

защитник был готов на любые жертвы.

Не знаю, долго ли он жил в горах, испытывая всяческие лишения, но если столько же, сколько времени тянулось его выступление, то миру действительно был подарен подвиг. Говорил он еще долго, долго! И мои сослуживцы слушали разинув рот, словно стояли перед фокусником, превращавшим паутину в мышь! Но я, глядевший на жизнь сквозь радужные очки, внутренне улыбался: мы были едва знакомы, и явная улыбка могла бы смутить его.

Вскоре он внес предложение создать в конторе профсоюз. О его значении он говорил столь пламенно, что огнедышащий дракон околел бы от зависти. Вот что он сказал:

— В сердце своем храним мы слова великого поэта Мультатули^[116], который называл индонезийцев властелинами жемчужного ожерелья экватора. В нас живет дух господ, а не рабов. Нашу революцию называли анархической, но она сумела покончить с буржуазно-капиталистическим строем и феодальными пережитками. На смену пришел строй демократический. Но, хотя мы живем уже в новом обществе, не следует думать, что задача выполнена до конца.

И он стал сыпать звучными словами, какими набиты политические словари, поминать имена, от которых дух захватило у скромных машинисток, только и умевших выстукивать: Хасан, Али, Хусейн. В заключение он воскликнул:

— Друзья! Давайте объединяться. Пусть наш маленький профсоюз будет первым шагом по этому славному пути. — Голос его был подобен реву тигра.

Многие мои сослуживцы закивали в знак согласия, другие же так и остались сидеть с широко распахнутыми ртами, словно поджидая, когда их навестит муха.

А меня, привыкшего ко всему подходить иронически, меня все подмывало посоветовать шефу дополнить речь высказыванием белого медведя или ритуальным кличем африканских жрецов. Но авторское самолюбие у начальников так уязвимо! И я молчал, наблюдая за оратором. Ведь я всего-навсего клерк. И когда он свалил мне на конторку свои деловые бумаги, тоже вряд ли имело смысл возражать. Все свои ответственные силы шеф вкладывал в профсоюз, а всякой «рабочей чепухой», по его словам, мог заниматься любой, вроде меня.

Несколько дней он метался по кабинетам, как собака с опаленным хвостом: здесь убеждал, там разъяснял. В конце концов профсоюз был создан. На общем собрании моему начальнику пожаловали пост

председателя.

По какой причине осенил его чело успех, затрудняюсь сказать. То ли беготня показалась иным энергией, то ли закружили эффектные фразы, которыми он пользовался не реже, чем носовым платком при насморке. А может, толстые книги, вроде «Социальной теории», всегда распиравшие его пиджак, оказали услугу моему руководству. Коллеги, избежавшие его поучений, взирали на эти увесистые фолианты, как на белый тюрбан мусульманина, побывавшего в Мекке. А меня, который обладал юмором и к тому же приметил, что книги оставались нераскрытыми, меня тянуло предложить ему взамен увесистый гроссбух или «Бухгалтерский учет» Буке.

Однако стоит ли подчиненному поддаваться подобным порывам и изливать душу? Я выполнял все его указания. Однажды он проронил, что придет на работу позже из-за профсоюзных забот. Я хотел оправдать его доверие и постарался запомнить это, чтобы передать директору.

И в последующие дни шеф опаздывал на службу. Странно, почему директор никогда не делал ему предупреждения? Между делом я спросил об этом друга, близко знавшего мое начальство.

— Чему тут удивляться? Разве ты не знаешь, что его жена Ньи М.? — ответил друг.

— А кто такая Ньи М.? — по-прежнему недоумевал я.

— Да ведь Ньи М. — дочь господина Х.

— Ну и что же? Кто же такой этот господин Х?

— Господин Х — младший брат госпожи С, — ответил он с раздражением.

Но в этот день мой мозг работал вяло.

— А кто же эта госпожа С? — спросил я опять.

Мой приятель наконец снизошел к обуревавшей меня жажде знаний.

— Она жена министра вашего ведомства, — разъяснил он.

Улыбка спасла меня от нервного потрясения, и я подумал: почему бы мне, отправляясь на службу, не вешать на спину портрет госпожи С со скромной рекламой: «Будущая теща моего нерожденного сына». Вдруг ради воспитания зятя для госпожи С мне позволят являться попозже?

Коллега, как и я, щедро одаренный правом трудиться за шефа, морщил нос при виде нового начальника, как муэдзин^[117] на коровьи лепешки у дверей мечети.

— Пусть нас лучше поучит, как дольше спать, — говорил он, кривясь. — Ну погоди, завтра я тоже опоздаю.

Он был человеком слова, с высоким понятием о чести. А потому стал

то и дело опаздывать, а порой и совсем не заглядывал в контору. Но так как книги, порученные ему, следовало заполнять ежедневно, правдолюбец получил выговор. Самое смешное — когда начальник спрашивал его: «С чего это вы стали лениться?» — он только глотал воздух и таращил глаза.

— Похоже, здесь все сумасшедшие, — процедил он, оставшись со мной.

Но я, который не терял чувства юмора, ответил ему:

— Нет. Здесь ярмарочный балаган, а все вы — шуты.

— А к кому ты себя причисляешь?

— О, — разъяснил я, — мне выпала радость зрителя, проникшего в зал без билета.

...Под конец они все-таки втащили меня за канат, отделявший место фарса от зала. В этот день шеф вступил в контору, подобно злому року, преследующему смертных. Его брови были сдвинуты, а взгляд метал в меня огненные стрелы. Мой образ бурлил у него в сердце, точной английской соль в животе. Ах, как я ликовал!

Когда он подозвал меня к своему столу, у него на лице появилась брезгливая гримаса, как у супруга, которому жена подала прокисший ужин.

— Я давно хотел поговорить с вами, — заявил шеф. — По вашей улыбке я замечаю, что вы питаете ко мне отвращение. Это прискорбно. Мы дети свободной нации, и в нашу демократическую эпоху с ее динамически интеллектуальным мировоззрением подобные пережитки нетерпимы.

До чего же забавно было все это слышать!

— Давайте же поговорим друг с другом как мыслящие существа! — снова воззвал начальник. — Я сказал, как мыслящие существа, а не как бечаки^[118] в трактире!

и тоном сыщика он обратился ко мне будто к воришке:

— Что же заставляет вас ненавидеть меня?

Отроду я так не веселился! Я ведь клерк, существо подначальное, а потому я вынужден был ответить:

— Это недоразумение! — А чтоб не остаться непонятым, добавил на его языке: — Вероятно, нам, поклонникам индивидуализма, все еще не хватает критицизма, совершенно так же, как нашему философскому индетерминизму — синтетического динамизма.

Он сдвинул брови, словно Бах при звуках собственной фуги.

— Каких философских взглядов вы придерживаетесь? Идеализма? Материализма?

Я скромно ответил, стараясь попасть ему в тон:

— Моя философия — юморизм.

Шеф вдруг усмехнулся надменно и презрительно, напомнив мне важную чиновницу, вставившую вчера коронку назло госте с золотой челюстью.

— Где можно приобрести книги об этой философской системе?

— Ах, право, такой книги еще нет! — вырвалось у меня со смехом, который уже не вмещался в моем животе.

Вздвогнув, он уставился на меня.

— Коли так, — прогремел он голосом святого, обличающего порок, — для меня вы — пустышка! Мы не можем продолжать обмен мнениями. Я не желаю спорить с простейшим организмом. Ступайте! — и начальственным жестом указал на мой угол, совсем как полицейский — на обочину проштрафившемуся шоферу.

С тех пор он наливался зеленью при виде моей физиономии, не меньше чем обжора при виде касторки. Какой это был подарок! Этак с неделю он даже не здоровался со мной, а в понедельник я узнал, что начальнику пришлось срочно взять отпуск, чтобы поправить здоровье.

«Не иначе, мне поручат заменить шефа», — думал я, отправляясь по вызову в директорский кабинет.

Вы никогда не догадаетесь, что я услышал!

— Господин Сафра, с завтрашнего дня вы работаете в другой конторе, — обратился ко мне директор. — Перевод я оформлю позже.

— Почему? В чем дело? — воскликнул я.

— По причине вашего шутовского поведения. Вы здесь всем порядком надоели!..

Перевод с индонезийского Е. Владимировой и В. Сикорского

МАЛАЙЗИЯ



Вэй Юнь

Среди писателей Малайзии и Сингапура старшего поколения, пишущих на китайском языке, вряд ли можно назвать автора более популярного, чем Вэй Юнь. Он пришел в литературу еще перед второй мировой войной, и с тех пор его имя значится в числе наиболее широко читаемых писателей этих стран.

Вэй Юнь (настоящее имя Цюй Вэньчжуан) родился в 1911 году в Гонконге, учился в кантонском Училище изящных искусств. Когда началась антияпонская война в Китае, стал солдатом. Потом судьба забросила его в страны Южных Морей, то есть в Юго-Восточную Азию. За долгие годы странствий он побывал почти во всех государствах этого района мира, но большую часть своей жизни провел в Сингапуре и Малайзии. В настоящее время он живет в Куала-Лумпуре. Во время своих скитаний Вэй Юнь был солдатом, рыбаком, матросом, мелким торговцем, учителем, клерком и т. д. Богатая событиями жизнь нашла отражение в его произведениях.

В конце 30-х годов Вэй Юнь публикует одно из первых своих произведений — «Краткая история антигероя». За ним последовал получивший широкую известность рассказ «Бесенок Суньсань» и другие произведения. Однако настоящее признание и популярность пришли к писателю после войны, когда увидели свет его роман «На мелководье» (1960), сборники рассказов «Сумерки в Вороньей гавани» (1956), «Старая земля» (1959), «Весенний лед» (1971), повести «Думы о возвращении» (1958), «В зарослях терновника» (1961).

Роман «На мелководье» явился важной вехой в развитии малайзийской и сингапурской прозы, поскольку он затронул многие серьезные проблемы, не поднимавшиеся ранее в литературе Сингапура и Малайзии на китайском языке.

Творчество Вэй Юня отличает большое тематическое и сюжетное разнообразие. Для него характерен ярко выраженный национальный колорит. С большим мастерством писатель изображает кампонги Малайзии, шумные улицы Сингапура, далекие острова Индонезии. Многочисленны и разнообразны его герои: малайские рыбаки, китайские земледельцы и ремесленники, индийские торговцы и т. д. Вэй Юнь умеет создать психологически точные портреты людей из самых разных слоев общества.

Вэй Юнь — реалист, однако его творчеству присущи и романтические черты, что отражается в сюжетах и характерах героев. Этим он напоминает Д. Конрада и А. Грина. Автор любит драматические ситуации, сложные сюжетные коллизии, героев с необычной, часто трагедийной судьбой. Однако писатель не избегает острых социальных проблем, о чем, в частности, свидетельствует его роман «На мелководье», повествующий о сложных процессах, происходящих в местном обществе. Во многих рассказах Вэй Юнь выступает как тонкий сатирик, способный зло высмеять общественные недостатки.

Д. Воскресенский

Сумерки в Вороньей гавани

Череда гниющих стволов кокосовых пальм, казавшаяся бесконечной, все же закончилась. В холодном тусклом свете только что народившегося месяца песчаный берег казался мертвенно-белым. У самой кромки покачивались какие-то черные предметы. Старый, многоопытный рыбак Хоцзинь вздохнул с облегчением. Он понял, что добрался до гавани, над которой недавно пронеслась буря с грозой, что на воде качаются листья засохших пальм и доски, сорванные с корабля, не достроенного японской компанией Мицубиси.

Из заросших густым волосом ноздрей Хоцзиня вырвался какой-то звук, его впалые губы зашевелились. Чувствуя, что сердце бьется все чаще, он стал быстрее работать ногами. У него с молодых лет в радостные минуты — когда он выпивал в городке лишний глоток «желтого зелья» или выигрывал в кости — начинало усиленно биться сердце и во рту, теперь уже беззубом, сама собой рождалась мелодия.

«А-а-а... И за что же ославили люди меня...» — затянул он южнофуцзяньскую народную песенку.

Молодой месяц висел над самым краем темно-синего моря, над кокосовыми пальмами, и в лунном свете их верхушки напоминали человеческие головы с растрепанными волосами. Этой осенней тропической ночью казалось, что лучи луны проникают прямо в душу Хоцзиня. Он зашагал неуклюжей, подпрыгивающей походкой, издали напоминая белую цаплю.

Вот уже который десяток лет жизнь старого рыбака медленно ползла под стук чашек с «желтым зельем», изготовленным из плохо очищенного

спирта, под азартные выкрики «Четверка! Пятерка! Шестерка, моя взяла», под рокот волн Индийского океана и плеск воды о бамбуковые стенки келонгов... [\[119\]](#)

Да, если Яньван [\[120\]](#) решит, что ты должен умереть в третью стражу, до пятой тебе не дожить.

Вот уже больше тридцати лет провел рыбак в этих чужих для него местах, клочковатые волосы на его плешивой голове давно поседели. Не раз бывал он на краю гибели и потому приучился по-философски относиться к проблемам жизни и смерти.

Всякий раз, когда собеседники ругали японских чертей, Хоцзиню становилось немного не по себе. Правда, японцы высекли его и угнали его единственный сампан, а самого заставили работать на катере, принадлежавшем «Рыболовному объединению Кавада». Но ведь не явись сюда японцы, эта девчонка Ачжу разве стала бы жить с таким, как он? Ему вспомнилось, как десять лет назад тайванец-надсмотрщик столкнул в море отца этой чернавки только за то, что тот продал на сторону несколько цзиней хозяйской рыбы, а ее старшего брата японцы угнали строить сиамско-бирманскую железную дорогу. Кто бы мог подумать, что с тех пор жизнь у него, Хоцзиня, пойдет совсем по-другому, что ему удастся меньше чем за пять тысяч оккупационных бонов откупить девчонку и ввести ее в свой дом с соблюдением положенного ритуала...

Ему тогда перевалило за сорок, а девчонка была такая молоденькая, нежная. При одном воспоминании губы у Хоцзиня опять зашевелились, и, сам того не замечая, рыбак замурлыкал какой-то мотивчик.

Этой лунной ночью ему пришлось долго идти по неровному — то скалы, то песок — берегу гавани, перелезть через гниющие останки японских судов. Он тяжело дышал, но так же, как десять лет назад, при первом появлении Ачжу в его поселке, поглаживал своей заскорузлой ладонью проплешины и еще более ввалившиеся щеки. Сейчас какая-то тяжесть угнетала его душу, но поредевшие брови, как и тогда, были обращены к залитому лунным светом небосводу.

Спасибо Небесному государю, сколько раз он выручал рыбака из беды! Позволил выбраться живым из логова разбойников в Таншане — так в странах Южных Морей называют Китай; спас от штыков японских дьяволов, укрыл от тайного общества Хунмэнь, от так называемой «армии сопротивления Японии». Он опять хмыкнул мясистым носом, впалые щеки задвигались. Стоит ли дрожать за эту догоравшую жизнь? Сколько десятков лет прошло с тех пор, как он приплыл в этот далекий край...

Но на этот раз ему, Хоцзиню, показалось, что жизнь стала для него дороже, чем когда бы то ни было. Он снова почесал лысеющую голову. Вечернее небо над Вороньей гаванью было таким синим, таким бескрайним; изогнутый молодой месяц чуть касался верхушек высоких дрожащих пальм. Вдруг с карканьем поднялась ворона, словно спугнутая лунным светом, и задела крылом цветы на одной из пальм; ароматные лепестки посыпались прямо на лысину Хоцзиня...

Он бросил сердитый взгляд на верхушку пальмы, сплюнул и выругался:

— Сволочь старая...

Прожив большую часть жизни в Вороньей гавани, он так и не проникся расположением к этим чертовым птицам. Каждый раз, когда он слышал карканье, его чуть не тошнило. Но тут же его мысли отвлекались в сторону. Он вспоминал, как Индийский океан вдруг потемнел и стал посылать на их баркас один за другим пенистые валы величиной с гору. Он высунулся из-под навеса и, наглотавшись горько-соленой океанской воды, сумел-таки схватить уплывающее весло. Лил дождь, бушевал ветер, его вместе с веслом то поднимало к подножию неба, то бросало в темно-синюю водную пучину, в ушах стоял сплошной грохот. Порой небо и море сливались в непроглядную черную массу, временами же, при свете молний, становились различимы дождевые струи. В его памяти возникли фигуры рулевого Махама, двух братьев Чжоу... Кажется, их унесло в море? Следом всплыл образ этой девчонки, Ачжу, ее полнеющее тело, влажные, всегда немного грустные глаза, обветренные губы.

Хоцзиню на миг почудилось, что его иссохшая рука все еще сжимает весло, что его по-прежнему бросает то вверх, к небесам, то вниз, в морскую глубину...

Пусть сам он стоит не дороже, чем какой-нибудь шелудивый пес, но сделать вдовою Ачжу, такую молодую, без отца и без матери, — за это ему не будет прощения ни в этом, ни в том мире. И он шел вперед, крепко сжав беззубые челюсти, слабосильный, высохший, как старая лиана, продутый ураганами, промытый ливнями и черными морскими валами...

Вдруг что-то словно ворвалось в задремавшее сознание старого рыбака, он широко раскрыл глаза. Когда это тропическое море успело стать таким тихим, неподвижным? Вокруг было темно, лишь на тонувшем в тумане краю небосвода сверкала Венера. Он приткнулся плешивой головой к стволу пальмы: может, и его, Хоцзиня, тоже унесет когда-нибудь в море?

По опыту долгой жизни в здешних местах Хоцзинь знал; раз там, где море сливается с небом, появился туман, значит, скоро рассвет. Сквозь

утреннюю дымку стали просматриваться очертания холмов, еще одна ворона своим карканьем нарушила мертвую тишину. Дуновение бриза холодило его худое тело, он снова впал в забытие — казалось, он опять сжимает в руке весло, его опять бросает вверх и вниз...

— Ах, Ачжу, Ачжу, как же я виноват перед тобой...

Словно внезапно разбуженный, он открыл тяжелые, вспухшие веки. В чем дело? Хотя за малайским селением уже поднималось солнце, вблизи себя Хоцзинь еще ничего не видел.

— Уже трудишься, приятель? — послышалась малайская речь.

Хоцзинь выпил глоток предложенного кем-то горячего кофе, в голове у него просветлело, на душе стало спокойнее. Да ведь это Шариф, рыбак-малаец, тот самый, что любит подтрунивать над ним и трогать рукой его лысину.

— Шариф, это ты? И как меня угораздило забраться в ваши края!

В живых раскосых глазах балагура-малайца таилась насмешка. Хоцзинь захотел было встать, но едва он выпрямил поясницу, как голова опять стала тяжелой, в глазах снова потемнело.

— Сусах-сусах, лулус чик!

Хоцзинь слышал голос своего малайского приятеля, который уговаривал его отдохнуть, но не открыл глаз. Он все еще размышлял над тем, каким образом он оказался в кампонге Шарифа. Ведь это добрых пять миль от Вороньей гавани! Потом он вспомнил своих товарищей по несчастью, свою молодую жену...

Спустя некоторое время Шариф дал ему поесть своей малайской сылумы, и настроение у него поднялось.

Он рассказал жителям кампонга, собравшимся возле домика Шарифа, о том, как вчера он плыл на катере, как их застал шторм. Окончательно придя в себя, он спросил:

— А где Махам и все остальные?

Стоявшие вокруг деревенские ребяташки сразу притихли и помрачнели; первым раскрыл рот Шариф, глаза которого были по-прежнему веселыми:

— Приятель, на берегу нашли одного тебя.

Хоцзинь почувствовал себя неловко, горькая усмешка пробежала по его губам. Он сообразил, что авария с катером произошла милях в десяти от кампонга, в открытом море.

Вот уже сколько лет он живет в этих местах, подумалось ему, а впервые о нем заботятся люди другой нации. Конечно, этот Шариф любит подразнить, потрогать его лысину, но все-таки...

Под вечер, когда заходящее солнце бросало на кампунг тусклые багровые лучи, а вода в море приобрела бирюзовый оттенок, Хоцзинь возвращался в Воронью гавань на сампане Шарифа. Помня о злоключениях вчерашней штормовой ночи, он не стал ехать кратчайшим путем — в узком проходе между скалами можно было налететь на камни. В пути он то и дело возвращался мыслями к Ачжу. Как она там? Может, думает о нем, глядя на искры, вылетающие из лампы, заправленной кокосовым маслом? Он много раз наблюдал, как она неподвижно сидела перед лампой, и наконец не выдержал, стал расспрашивать. Та лишь печально улыбнулась в ответ:

— Где вам, мужчинам, догадаться! Как будто не знаете, что кормиться за счет моря — дело опасное, триста шестьдесят дней в году приходится молить бога Дабо о милости... Вот мне и кажется: если искры летят, — значит, Дабо не гневается на нас, желает покоя и счастья!

У Хоцзиня внутри потеплело, впалые губы раздвинулись в улыбку, лицо Ачжу скрылось в сиянии лампы.

Сегодня девчонка небось сидит возле лампы и занимается гаданьем. Думать об этом было и трепетно, и радостно. Вдруг он вздрогнул — что-то пронеслось у него за спиной. В этот момент среди пальм засветился первый огонек поселка, и стало видно, что то был — тьфу! — большой черный кот Махама.

Огни только начали зажигать, поселок был еще окутан сумерками и дымом очагов; хорошо еще, что из-за колышущихся верхушек пальм проглядывали звезды. Море скрывалось во тьме, доносился лишь негромкий шум прибоя. В другое время он давно бы уже сидел в домике Махама, болтал о чем-нибудь. Но сегодня... При мысли о том, что ему удалось выйти живым из моря смерти, на сердце стало легко, но тут нога за что-то зацепилась, и Хоцзинь растянулся на земле...

Ночная мгла над Вороньей гаванью все сгущалась, но в душе его было светло. Вот сейчас он пройдет кампунг Махами, а дальше сразу же его дом. Вон и тростниковая изгородь...

— Ох, я тут смотрела на огонь лампы и думала, что ты придешь.

Смотрите, он еще не перешагнул порог, а уже слышит такой ласковый голос жены. Ободренный, он остановился около окна. Нижняя половина окна была завешена куском ткани, которая колыхалась от дувшего с моря ветра. Никогда раньше жена не обращалась к нему с такой нежностью.

— Ачжу, у меня есть для тебя хорошая новость. С нашим баркасом номер три что-то случилось...

Хоцзинь сразу узнал этот сильный мужской голос — он принадлежал

приказчику из рыболовецкой конторы «Хайань». Огонь лампы задрожал от порыва ветра... Лысина Хоцзиня пылала так, что казалось, вот-вот задымится; он хотел уже ворваться в дом, но слышались всхлипывания, которым вторил шум прибоя.

— Ты же всегда не выносила своего старика! А теперь мы сможем жить открыто, больше не надо будет прятаться по углам...

Дерьмо, вонючая потаскушка! Хоцзинь едва не выругался во весь голос; стерва, шлюха, я вырежу тебе внутренности, как удалой Ян Сюн ^[121] своей распутной жене!

Он припомнил обиду, нанесенную ему год назад. В тот раз тайваньская труппа разыгрывала возле храма Царицы моря пьесу «Убийство Пянь Цяюнь на горе Цуйпиншань». Героиня, молодая ведьма, вертелась на сцене так вызывающе, что у господина Яна — нет, у него, у господина Хоцзиня! — закипело в душе.

А приказчик из «Хайани», которого в округе именовали «Крыса», сидел у самого помоста и скалил свои желтые зубы:

— Эй, плешивая Черепаха! Хо, Черепаха, слышишь меня? (Здесь все называли Хоцзиня Черепахой ^[122].) Ты небось воображаешь себя господином Яном? А по-моему, ты больше похож на коротышку У-старшего ^[123], ха-ха-ха!

Среди зрителей слышались смешки, а Крыса повернулся в его сторону, еще шире раскрыв свой желтозубый рот... Хоцзинь выругался, его обожженное южным солнцем лицо стало еще более багровым. Ладно же, «господин», когда-нибудь рассчитается с тобой, собака! В тот день было пасмурно, но Хоцзиня то и дело бросало в жар. Он поспешил в храм, где женщины жгли курительные палочки, а за спиной его слышались смешки.

И вот теперь старая обида вновь загорелась в его душе. Сволочи! Шлюха вонючая, потаскуха... Либо вы, либо я, так вас и разэдак! Потом можно будет убежать в Индонезию. Одну жизнь за две не жалко.

Тьма сгущалась вокруг, все мрачнее становилось и на сердце у Хоцзиня. Хотя в небесной синеве светили неяркие звезды и молодой месяц, Хоцзиню казалось, что все кругом затянуто серой пеленой. Он вспомнил, что в сампане Шарифа остался малайский кинжал. Прекрасно, через год в этот день люди будут поминать двух убитых прелюбодеев.

Приняв решение, он быстрыми шагами направился к причалу — сжигавший его огонь, казалось, вернул ему молодость.

Звезды, молодой месяц, шевелящиеся верхушки пальм, колеблемый ветром огонь лампы...

Снова слышались всхлипывания. Хоцзинь, как привидение, уже успел незаметно подойти к дому и недвижно стоял перед окном. Всегда так было, стоило ему услышать бабий плач, как бушевавший в нем огонь угасал, сердце размягчалось...

— У... у... Черепаха был, чего уж говорить, и старый, и некрасивый, да ведь он спас всю нашу семью. Отец тогда погиб, мать все время болела, а он приютил меня... Сердце у него, старого черта, доброе. И вот такой конец... Да и трупы ведь не нашли!

Сдавленные рыдания, треск цикад в верхушках пальм, шум моря... Он сам не почувствовал, как рука выпустила кинжал, который упал на сухие листья кокоса. Встревоженные вороны, прятаящиеся среди пальм, закаркали и стали делать круги под тусклыми лучами месяца.

— Ой, кто-то идет! — слышался встревоженный женский голос. — Слышишь, как вороны расшумелись?

Лампа сразу же погасла.

Ладно, чего уж теперь делать! Ачжу еще молодая... Душа его страдала, как будто ее бросили в кипящее масло, но он думал о теплом теле Ачжу, о своей жизни, усыхающей, как старая лиана. Неужели он и дальше будет делать людям зло? Ведь он уже загубил ее лучшие годы...

В лучах луны лысина Хоцзиня выделялась особенно четко. Тяжело дыша, он шел обратно к сампану, и по его впалым щекам катились две горячие слезы.

Вороны сделали несколько кругов и вернулись на прежние места.

Происшедшее навсегда осталось загадкой. Утром Ачжу обнаружила возле входа в дом кинжал Шарифа. Но Шариф, этот добрый к людям рыбак, так и не нашел ни своего сампана, ни старого китайца, часто смешившего обитателей его кампонга.

А за Вороньей гаванью в бесконечную даль уходил сероватый песчаный берег.

Перевод с китайского В. Сорокина

С. Осман Келантан

Государственное устройство современной Малайзии в общем скопировано с английского. Есть здесь и своя палата лордов — сенат, где часть членов назначаются верховным монархом Малайзии по представлению местных властей. Публикуемый ниже рассказ — острая критика этого консервативного учреждения, написанная в форме дневника одного из государственных мужей, удостоенных кресла сенатора, — ограниченного, самодовольного и весьма агрессивного существа. На протяжении небольшого рассказа автору удается показать, как в атмосфере коррупции и безответственности все выше поднимает голову поначалу робеющий провинциальный деятель. Более того — перед нами сатирический портрет представителя новой, малайской элиты, которая поспешила заполнить собой вакуум, образовавшийся в стране после ухода колониальной администрации.

С. Осман Келантан (псевдоним Саида Османа бин Саида Омара) родился в 1938 году в столице султаната Келантан — Кота Бару. Он окончил малайскую школу и мусульманскую семинарию, некоторое время работал учителем, прослушал курс лекций в Пинангском университете. По общему признанию, в настоящее время это один из ведущих малайских писателей, пробовавший себя не только в жанре рассказа, но и в поэзии, эссеистике, написавший несколько повестей. Убежденный малайский националист довольно консервативных убеждений, Осман Келантан тем не менее не избегает дискуссий по острым идеологическим проблемам, и это неизменно привлекает внимание читателей к его произведениям.

Б. Парникель

Из записной книжки сенатора

15 июля.

Очень волновался, сам не знаю почему. Может быть, потому, что на меня смотрело множество людей. Наконец-то наступил мой «звездный час»! Мне все не верилось, что я сенатор и должен принести присягу вместе с другими членами Государственного совета. Да-да, теперь я уже не

обыкновенный, рядовой служащий, а сенатор. Партия знала, кому она доверяет этот пост. Моя общественная работа, жертвы, которые я приносил столько лет, — все это было оценено по заслугам.

Стоило мне принести присягу — и мое волнение как рукой сняло. В зале заседаний я занял место рядом с одним очень солидным господином. Не помню, как его зовут, но он из нашей партии. Когда находишься в Государственном совете (в нашей малайзийской «палате лордов»!), испытываешь такое чувство, словно попал в святая святых, где должны находиться только самые достойные сыны нашего народа. Сегодня в их числе оказался и я.

Решил пока осмотреться и не выступать, хотя меня так и подмывало взять слово, когда один представитель оппозиции начал оплевывать постановление правительства, утвержденное палатой депутатов. Удивительно, как таких дураков избирают в Государственный совет. Ему, видите ли, кажется, что министр сельского хозяйства и рыбной промышленности недостаточно озабочен судьбой рыбаков Восточного побережья! Конечно, я всей душой был на стороне министра и не мог без отвращения слушать этого крикуна. Когда заседание кончилось, мне показалось, что все оно заняло не больше часа, а ведь времени прошло немало.

16 июля.

Сегодня я во второй раз был на заседании Совета. Покуда министр обороны давал отповедь сенаторам из оппозиции, мой солидный сосед задремал. Он встрепенулся только тогда, когда в зале поднялся хохот из-за шуточки, которую отпустил министр. Проснувшись, сосед первым делом вытер слюнки, которые набежали у него изо рта во время сна.

17 июля.

Закончилось последнее заседание нынешней сессии. Когда его открывали, к моему удивлению, по крайней мере четверть зала пустовала. Только потом я понял, где собака зарыта, — по слухам, вчера вечером состоялся большой прием. Оппозиция, как всегда, занималась нападками:

на этот раз ей не угодило министерство труда, которое будто бы село в лужу, улаживая дело с одной забастовкой.

Спикеру пришлось строго предупредить одного из критиканов, но тот продолжал свое. Наши подняли его на смех, и я не отставал от других. Эти люди действительно не знают меры. Представляю себе, как приятно членам правительства выслушивать их ругань.

В общем, оппозиция поносила правительство и поименно министров до самого конца заседания. Из наших никто не стал ввязываться в спор. Я лично считаю, что правительство, сформированное нашей партией, придерживается правильного курса.

Примечание.

Не мог сдержать волнение, когда в первый раз расписывался в получении жалованья. Кассир отслюнявил мне пятьсот ринггитов — бумажка к бумажке. Туда и обратно я ездил на машине, и все за казенный счет.

Приятно сознавать, что все это предоставляется тебе не за здорово живешь, а как вознаграждение за твои заслуги перед народом. Второй сенатор из нашего штата, мой товарищ, решил отметить окончание сессии у одной смазливенькой евразиечки. У меня не хватило духу последовать его примеру. Уже в поезде он шепнул мне, что его красotka вместе с ним подцепила на крючок одного замминистра.

Подумать только, что из сотни кандидатов на два места в Государственном совете руководство отобрало именно нас! Хочется думать, что выбор пал на самых достойных!

5 сентября.

Эта сессия рассчитана только на два дня. Сегодня было бурное заседание. Оппозиция потребовала ни больше ни меньше как снижения акцизных сборов. Министр финансов как дважды два доказал, что об этом не может быть и речи. И тут вдруг ему начал возражать сенатор из нашей партии. Я никак не мог понять, в чем тут загвоздка. По-моему, его выдвигали в сенат совсем не для того, чтобы он критиковал действия своего собственного правительства.

В общем, разгорелся спор, и несколько наших напустились на министра. Оппозиция прямо из себя выходила. Нечего и говорить, что я

порядком растерялся во время этой перебранки.

По моему мнению, правительство ничего не делает зря. Ему виднее. За примером недалеко ходить — знало же оно, кому из ста кандидатов больше других пристало заседать в Государственном совете. стыдно было бы не оправдать его доверия.

Толстяк сенатор, что сидит слева от меня, опять задремал. Бедняга так и подскочил, когда сенатор из оппозиции грохнул по столу кулаком, осерчав на палату депутатов, которая повысила акцизные сборы на все, кроме крепких напитков.

— В сеть попалась хамса, — надрывался он, — а макрели и змееголовы отделались испугом!

Но мой сосед только вытер глаза носовым платком, и голова его снова свесилась набок.

Мой напарник из нашего штата вслед за несколькими другими членами нашей партии тоже начал наводить критику на министерство финансов. Я был возмущен до глубины души. Наплевать в душу правительству, которое их же вознесло на такую высоту! Ничего себе — пустили козлов в огород! Какими только словами не ругал я этих артистов! Таким не место в Государственном совете.

6 сентября.

Мой толстяк не явился сегодня на заседание. Поскольку его кресло, как и мое, в самом переднем ряду, все заметили, что он отсутствовал. Спикер несколько раз поглядывал на пустое место, сенатор, сидящий справа (китаец), спросил, не стряслось ли чего-нибудь с моим соседом. Я только пожал плечами в ответ.

От души порадовался во время сегодняшнего заседания. Члены нашей «палаты лордов» и палаты депутатов будут освобождены от уплаты пошлин при вступлении во владение имуществом любого рода. Сверх того, наши парламентарии получают право беспошлинно покупать горючее в любом количестве. По-моему, если у человека есть заслуги перед народом, они должны быть отмечены. Да и кто мы все такие, как не посланцы своего народа! Я первым поднял руку, голосуя за новый законопроект. Одна оппозиция ни за что не хотела отказаться от этих дурацких пошлин.

Я думаю, что все это сплошная демагогия. Им ведь прекрасно известно — сколько бы они ни спорили, при голосовании верх одержим

мы.

Примечание.

Как обычно, получил жалованье. Выплата производится очень аккуратно, каждый месяц. Сегодня вечером иду в гости к министру финансов. Пришлось покинуть зал заседаний раньше обычного. Вместе со мной ушел еще один сенатор из другого штата и мой земляк. Оказывается, они с министром старые приятели!

Был у массажистки. Совсем молодая женщина, может быть, девушка. Когда я лег и она впервые прикоснулась ко мне своими ручками, сердце у меня заколотилось, как сумасшедшее. Двое моих коллег одновременно со мною зашли в соседний кабинет, и из-за стенки я услышал вдруг грубый мужской хохот и женское хихиканье, от которого у меня задрожали поджилки.

Я вспомнил о своей жене и подумал, что она и в подметки не годится женщине, которая тем временем не жалея сил разминала мне поясницу. Когда я перевернулся на спину, я вдруг увидел, что на массажистке почти ничего нет.

Короче говоря, перед тем как я вошел в эту комнату, мы были даже не знакомы, и вдруг какие-то полчаса сделали нас самыми близкими друг другу людьми.

Выходя из кабинета, я заметил в приемной нескольких депутатов из палаты представителей.

9 сентября (из газет).

Какой-то безмозглый писака недоволен тем, что большинству сенаторов будто бы нет никакого дела до рассматриваемых ими документов. Хотел бы я знать, кто составлял отчет о заседании, попавший ему в лапы! И ведь берется рассуждать — какой, видите ли, смысл рассматривать законопроекты в Государственном совете, если они уже утверждены палатой представителей.

У него хватило наглости написать, что сенаторы плетутся в хвосте событий и только и знают что штампуют спускаемые им законопроекты. Договориться до того, что мы охладели к своему народу! Да подумал ли он своей дурацкой головой, почему нас выдвинули на те высокие места, которые мы занимаем! Потому что всю жизнь мы не жалели сил для блага

народа!

Писанина этого «обозревателя» порочит доброе имя малайзийских сенаторов и чернит действия правительства.

Поистине свобода печати не должна быть безграничной, иначе очернители и впредь будут использовать ее для того, чтобы глумиться над народными избранниками (особенно членами Государственного совета).

22 декабря.

Нынешняя сессия рассчитана на четыре дня. Сегодня я немного опоздал — случай для меня исключительный. Вчера вечером мне необходимо было хоть немного развяться.

Наконец-то и я взял слово. Я сказал о том, что причитающееся нам вознаграждение унижает достоинство членов Государственного совета — высшего законодательного органа страны. Вознаграждение должно быть повышено по крайней мере до семисот пятидесяти ринггитов в месяц.

Мое предложение было встречено с большим сочувствием. Толстяк, сидящий справа от меня, так растрогался, что хлопнул меня по спине. Даже представители оппозиции и те не нашли что возразить.

Один сенатор из нашей партии обратился сегодня с апелляцией к премьер-министру. Он поднял вопрос, почему, подыскивая кандидатов на посты министров, замминистров, наконец парламентских секретарей, всегда обходят членов Государственного совета. Может быть, сенаторы недостойны того, чтобы занимать эти должности или неспособны к этому?!

— Дайте нам возможность, — сказал он премьеру прямо в лицо, — и мы сумеем исполнить свой долг не хуже, а лучше, чем министры, выдвинутые из числа членов палаты представителей.

Я стал ему аплодировать, а за мной и другие. Министр явно растерялся и не знал, что ответить. А может быть, он понял наконец, с какими людьми имеет дело, и сделает для себя нужные выводы.

На минуту меня взяла оторопь — не произошло ли у меня политического расхождения с правительством или лично с премьером по вопросу о формировании кабинета министров. Подумав, я понял, однако, что одно дело — изменить линии партии, а другое — здоровой критикой помогать ее росту и укреплению влияния среди масс.

На сегодняшнем заседании было рассмотрено тридцать поправок и дополнений к различным законам. Хотел бы я, чтобы палата

представителей работала такими же темпами. Так только и можно выяснить, кому больше других подобает заниматься ответственной работой, которая, кстати, должным образом и оплачивается.

23 декабря.

Мой товарищ из нашего штата нынче пришел позже обыкновенного. По всему видно, что он еще не проспался. День выдался довольно спокойный — не то что вчера. Из наших не выступал никто, одна только оппозиция, как всегда, тянула свою волюнку.

С длинной речью выступил министр просвещения. Крикуны из оппозиции уверяют, что нынешняя система народного образования будто бы никуда не годится, потому что копирует систему старую. Слава богу, наш министр внес полную ясность в этот вопрос.

Поражаешься порой скудоумию этих господ из оппозиции! Их утверждают в звании сенаторов просто потому, что все радикалы стоят друг друга. По справедливости, они недостойны даже того, чтобы дышать воздухом Государственного совета.

22 декабря (из газет).

Вдоль и поперек прочитал новую статью «Обозревателя». Этот подонок снова подкапывается под сенаторов. Он называет Государственный совет «машиной для голосования» и рекомендует нам поменьше думать о министерских портфелях и побольше — о том, какую пользу мы приносим обществу. Послушать его — все мы должны отказаться от своих полномочий и выставить свои кандидатуры на всеобщее голосование. Наконец, ему не дает покоя (выдвинутое мной) предложение об увеличении вознаграждения сенаторам, и он тычет нам в нос то, что в Англии депутатам палаты общин платят больше, чем членам палаты лордов.

Долго не мог успокоиться после чтения этой мерзкой статьи. Всенародное голосование, может быть, хорошо для Америки или Англии, но наш народ для этого еще не созрел. На прошлых выборах я выставлял свою кандидатуру в палату представителей, и что же — какой-то

проходимец собрал в моем округе больше голосов, чем я сам.

Беда наша в том, что мы живем, по существу, среди диких людей. А пока это так, мне нечего рассчитывать на лучшее место. Будь ты хоть самый заслуженный в стране человек, на выборах твои шансы без малого равны нулю. Правительство должно укоротить руки нигилистам! Неужели руководство не понимает, что для этих людей нет ничего святого!

24 декабря.

Весь день мне было не по себе. Оппозиция вылезла с предложением пересмотреть положение о Государственном совете и навести в нем должный порядок. Хотел бы я знать, что у них на уме!

25 декабря.

Сегодня состоялось заключительное заседание сессии. Все выступавшие единодушно осудили очернительские статьи, подрывающие авторитет Государственного совета. От себя добавлю только, что во время всеобщих выборов наверх всплывает обыкновенно самая дрянь. Тем дело и кончается.

Примечание.

Вечером опять был у своей массажистки. Одно могу сказать: таким женщинам сколько ни заплати — все мало. В голове у меня все время вертится вопрос: как бы я чувствовал себя, если бы моя судьба зависела от каких-то бессмысленных выборов? Получив назначение, по крайней мере твердо знаешь, что у тебя есть место и тебе обеспечено скромное существование. Хорошо этим олухам писать, что жалованье сенаторов должно иметь «чисто символический характер», — как будто сенатору не хочется жить как людям.

В конце кондов должны же как-то вознаграждаться заслуги человека перед своим народом.

Перевод с малайзийского Б. Парникеля

Крис Мас

Один из ветеранов малайского литературного движения Крис Мас (псевдоним Камалуддина бин Мухаммада) родился 10 июня 1922 года в султанате Паханг, бывшем тогда еще частью Британской Малайи. Период его возмужания приходится на годы второй мировой войны. В это время он завершает образование в мусульманской семинарии и включается в общественную борьбу, разгоревшуюся у него на родине в 1945–1948 годах с окончанием японской оккупации и с возвращением англичан. В 1948 году после объявления в стране чрезвычайного положения Крис Мас вынужден перебраться в Сингапур, где оказывается одним из организаторов Союза литераторов-пятидесятников (АСАС-50), объединившего большую часть молодых прогрессивных писателей Малайзии и сыгравшего огромную роль в становлении современной малайской литературы.

Крис Мас — автор многочисленных рассказов, частично объединенных в антологию «Торжество жизни» (1962), трех повестей, эссе и критических статей, книги воспоминаний «30 лет в литературе» (1979).

Рассказ «Они не понимают», впервые опубликованный в 1959 году, считается одним из лучших произведений Криса Маса. В нем затрагивается весьма деликатный вопрос: взаимоотношения малайцев со своими вчерашними «старшими братьями» (англичанами. — *Б. П.*), надеющимися сохранить за собой позиции в независимой Малайзии в качестве разного рода советников, консультантов, первых заместителей. Демонстрируя великолепное знание среды и человеческой психологии, с юмором и в то же время с чувством меры Крис Мас показывает тщетность этих надежд.

Б. Парникель

Они не понимают

По понедельникам министр приезжал задолго до начала работы. Это было хорошо известно всем в министерстве, от генерального секретаря до последнего клерка. Поэтому по понедельникам все служащие являлись заблаговременно. Однако Билл на этот раз не спешил. Он долго полоскался под душем, потом сел завтракать. Сегодня понедельник был не совсем обычный. Только в половине девятого Билл выехал из дому. Его маленькая двухцветная машина марки «метрополитен» спускалась по извилистому

шоссе к центру города. Она двигалась медленно не только потому, что была еще совсем новенькой и необкатанной, но и потому, что ее владельцу не нужно было торопиться.

Два-три больших автомобиля просигналили ему сзади, чтобы он уступил дорогу, и лихо обогнали его. Ну и пусть. Два месяца назад у него тоже была большая машина. Тогда он обычно сидел сзади, откинувшись на спинку сиденья, а вел машину Аमत, который почти двенадцать лет служил у него шофером и отличался внимательностью и осторожностью. Теперь Аमत возит министра. Билл продал свою машину.

Он вспомнил, как признателен был министр, когда Билл попросил его взять к себе Амата, после того как продал машину. Вспомнив об этом, Билл снова подумал о том, что на начальство такие мелкие, ничего не стоящие услуги действуют безотказно. Билл, конечно, все заранее обдумал как следует, но министру наверняка не было известно, что он продал большой автомобиль и купил вместо него маленький лишь для того, чтобы избежать ненужных кривотолков, и потом, зачем заставлять министра думать над тем, как не уронить свой престиж перед служащими, особенно перед европейцами. Билл решил, что при случае нужно и впредь проявлять такие вот невинные знаки внимания — это поможет ему завоевать симпатии министра. Ведь для министра вопрос об опытном личном шофере имел немаловажное значение: сейчас у него эта должность как раз была вакантной. За последние два года ни один шофер не проработал у него более четырех месяцев.

Аमत же был очень доволен, ибо он поднялся на ступеньку выше — стал шофером министра. Правда, Билл иногда с грустью думал о том, что будет с Аматом и его семьей через два-три месяца. Не исключено, что министр не изменил своей давней привычке менять шоферов. И, вспомнив о своенравии министра-малайца, Билл ухмыльнулся.

Маленький «метрополитен» медленно петлял по улицам, направляясь не к министерству, а в сторону аэропорта.

Было еще рано. Самолет, на котором прилетал министр, должен был прибыть в девять пятнадцать. Оставалось еще двадцать минут. Биллу не о чем беспокоиться: министр никогда не возражал, если он был без пиджака, только в рубашке с галстуком. Министр не из тех, кто обращает внимание на одежду служащих. Да и остальное начальство, вероятно, не будет в претензии: ведь министр возвращался не из-за границы, а всего лишь с острова Пинанг, где он проводил субботу и воскресенье.

Несколько молодых малайцев — служащих авиакомпаний «Малайен эйруэйз» и «БОАК» сидели у дверей аэропорта. Ни один из них даже не

взглянул на Билла. Таможенный чиновник, стоявший у газетного киоска, — с пренебрежением оглядел его с головы до пят, и Билл поморщился, ощутив неприятный холодок. Многие малайцы недолюбливают европейцев. Билл шел широким размеренным шагом по гулкому, выложенному кафельными плитками залу, сделав вид, будто не заметил презрительного взгляда таможенника.

Несколько китайских семей сидели за столиками в ресторане. Судя по всему, это были зажиточные семьи. Видимо, они ожидали прибытия родных с острова Пинанг. Самолет из Сингапура совершил посадку уже давно, и в здании аэровокзала было тихо и немногочленно.

Билл заказал стакан пива. Ничего, что еще утро и что лицо, конечно же, побагровеет, зато по телу разольется приятное тепло и исчезнет скованность, которая обычно возникает у него при встрече с министром. Сегодня очень ответственный день. Если министр в добром расположении духа, то Билл сможет посвятить его в свои давно вынашиваемые планы. Сейчас он совершенно четко представлял себе, чего хочет, особенно после вчерашнего разговора с Бобом.

Он выпил полстакана пива и решил заглянуть в туалет. Однако, едва закрыв за собой дверь, почему-то остановился и стал разглядывать свое лицо в зеркале. Лицо было удлинненное, суживающееся к подбородку. Маленький рот с опущенными уголками придавал ему несколько угрюмое выражение. Зато с нескрываемым удовлетворением Билл изучал свой высокий выпуклый лоб и аккуратно приглаженную прическу. Если бы его рыжие волосы не были так коротко подстрижены, то голова казалась бы несоразмерно большой, слишком крупной для такого узкого и длинного лица. Голубые, глубоко спрятанные глаза и пристальный взгляд выдавали настоящего англичанина. Но нос мог бы быть покороче: слишком уж он длинный и тонкий, да еще к тому же с горбинкой. Совсем как клюв попугая. Правда, густые усы несколько сглаживали этот недостаток.

Внезапно Билл вспомнил, как посмотрел на него таможенный чиновник. Малайцы обычно слепо верят примете, что у человека с кривым носом и «душа кривая». Он быстро вышел из туалета и решил было допить свое пиво, но тут объявили о прибытии самолета с острова Пинанг, и Билл, поспешно уплатив за недопитое пиво, вышел из ресторана. Он постоял немного, потом, надев темные очки, стал смотреть в небо. Как только самолет пошел на посадку, Билл поспешил к дверям таможни. Шаги его гулко разносились в полупустом зале, сутулая долговязая фигура раскачивалась в такт шагам. Он попросил разрешения пройти в помещение для высокопоставленных лиц. Ему разрешили, так как служащим

аэровокзала было известно, что этим самолетом прибывает министр, и они знали, что белый господин работает в министерстве.

Уже не раз Биллу приходилось встречать министра на веранде этой комнаты. Здесь собралось несколько человек — чиновников иммиграционной службы. Странно, что не было ни одного журналиста, — обычно в таких случаях их тут суетится немало. Билл краем глаза осматривал чиновников одного за другим. Никто не обращал на него ни малейшего внимания. Вошел министр. Он был без вещей — ни портфеля, ни папки. Билл даже слегка растерялся: нечем помочь.

— С благополучным возвращением, сэр, — сказал Билл, выпрямившись и сделав несколько шагов к стеклянной двери.

И когда министр, проходя в помещение, ответил на его приветствие, Билл отступил на шаг и еще более выпрямился. Он вытянул свою тонкую длинную шею, слегка наклонил голову и, стоя так, выслушал несколько коротких фраз, которые произнес министр. Все давно привыкли к манере Билла вытягивать шею и наклонять голову при разговоре с министром — тот был значительно ниже ростом, чем его неизменный секретарь. К тому же министр имел обыкновение говорить невнятно и при этом смотрел обычно куда-то в сторону, так что Биллу приходилось напряженно ловить каждое его слово.

Министр замолчал, и Билл, втянув шею, как черепаха втягивает голову в панцирь, снова выпрямился.

Служащие аэропорта и чиновники иммиграционной службы, оказавшиеся поблизости, приветствовали министра. Он отвечал им кивками головы и заученной улыбкой. Рабочие аэровокзала почтительно уступали ему дорогу. В таможене чиновники произвели досмотр багажа и сообщили, что все в порядке, предварительно придав своим лицам подобострастное выражение. Губы их шевелились, как бы произнося неслышное приветствие. Министр, улыбаясь, вышел. Тот самый таможенник стоял около багажных весов, и Билл спиной почувствовал, что тот снова смерил его взглядом от головы до пят. И снова Биллу стало не по себе, как мусульманину, которого лизнула собака.

— Проверьте, чтобы все было готово к совещанию.

— Хорошо, сэр.

Билл ускорил шаг, остановился, наклонился, сдвинул пятки вместе, выпрямил колени и, не разгибая спины, протянул руку, чтобы открыть дверцу автомобиля.

Усевшись в машину, министр отрывисто произнес:

— Я буду в одиннадцать.

— Хорошо, сэр.

Автомобиль, сопровождаемый взглядом Билла, выехал за пределы аэропорта. На капоте развевался флаг Малайской федерации. Билл хорошо помнил те времена, когда на капоте машины его начальника развевался другой флаг — Великобритании.

— Прямо домой, Амат!

— Слушаюсь, туан.

— Что нового дома?

— Все в порядке, туан.

— Сколько раз, Амат, я тебе уже говорил, чтобы ты не называл меня туаном!

— Слушаюсь, господин. Не буду.

— Кто-нибудь приходил?

— Да.

До самого города министр больше ни о чем не спрашивал, и Амат вел машину, внимательно следя за движением транспорта на шоссе. Но думал он о министре. Почему нельзя называть его туаном? А как же тогда он должен его называть? Просто «инче»?^[124] За два месяца работы у министра он уже сколько раз пробовал называть его туаном, и каждый раз министр поправлял его. Но ведь даже в газетах иногда так пишут. И служащие и начальство тоже иногда называют его так. А супругу его как называть? Тоже «инче»? Неясно. Поэтому вот уже два месяца Амат вообще никак не называет жену своего хозяина. Но он держится в их присутствии чрезвычайно почтительно. А в общем-то вывод ясен: если муж не желает, чтобы его величали туаном, видимо, и жена — тоже.

— Поставь эту машину на место. На службу повезешь меня на маленькой.

— Слушаюсь.

Большой автомобиль с флажком скрылся в гараже, а министр исчез в доме. Женщина средних лет с полным лицом бесшумно появилась сзади.

— Госпожа уехала молиться в Петалинг-Джая.

— А, ну ничего. Принесите мне стакан холодного молока.

— Слушаюсь.

Министр легко взбежал по лестнице на второй этаж. В доме стояла тишина. Через пять минут снова раздались шаги по лестнице, и министр спустился вниз с толстым портфелем. Войдя в гостиную, он уселся в свое любимое кресло, рядом с которым на маленьком столике его уже ждал стакан молока. Он осушил его залпом. Тотчас же появилась полнолицая служанка, которая приняла пустой стакан из рук министра.

— Если бы случилось так, что я перестал быть министром, что бы вы делали, мамаша Ях?

— Наверно, то же самое, — не раздумывая ответила она, унося стакан.

Министр открыл портфель и достал из него бумаги. Умная женщина. Она, конечно, не уйдет. Так и будет у них служанкой. И наверно, останется жить в этом доме. Министры приходят и уходят, а прислуга остается прислугой. И будет по-прежнему жить в большом доме.

От служанки мысли его перенеслись к жене, потом к Амату и уж потом к текущим делам. В папке не хватает материалов. У Билла несомненные способности к подхалимажу, а вот работать он не умеет. Сегодня заседание, а в папке не хватает половины материалов. Он, конечно, не удосужился положить их в портфель в субботу. О чем он только думает? И зачем он приходил сюда? Ведь кто-то приходил? Конечно, это был он. Аमत же сказал...

Зазвонил телефон. Министр на миг оторвался от документов, что-то сказал в трубку, затем снова вернулся к бумагам. Лицо его выражало недовольство.

Этот европеец весь какой-то колючий. И взгляд у него острый, и нос, и вообще все черты лица какие-то острые, да и язык иной раз — тоже. Он считает, что мы должны всему у него учиться. Забыл, верно, что теперь у них здесь уже совсем не то положение, что раньше. Да, этот Билл острый, как бритва. Думает, наверно, мы не чувствуем, какой он скользкий. Принимает нас за идиотов. Он думает, все забыли, что он в свое время приехал сюда в качестве служащего колониальной администрации.

Министр бегло просматривал бумаги, но мысли его были по-прежнему заняты этим европейцем, этим Биллом, который готовил бумаги.

Половина одиннадцатого. Министр сложил бумаги в портфель.

Он стремительно направился к двери. У подъезда стояла большая машина с флагом.

«Я же просил подать маленькую! Ах, да!» Он вспомнил о жене. Это она, судя по всему, взяла машину. Смелая стала, сама машину водит. Интересно, с кем это она уехала? Надо полагать, с женой какого-нибудь министра или другого начальника.

Он сел в машину, и Аमत повел ее в город, вниз по извилистому шоссе. Он не стал утруждать себя объяснениями по поводу маленькой машины: господин министр, как видно, и сам все уже понял.

В кабинет Билла приносили все новые и новые документы. На одном из них, отпечатанном на бледно-сиреневой бумаге, стояла пометка «срочно». Но Билла занимало совсем другое — через час заседание, очень

важное. Нужно перетянуть Касима в министерство, иначе не удастся использовать его богатый опыт. Боб тоже в принципе согласен, но при условии, что его назначат на должность, связанную с разработкой проекта. Если бы Боб занимался этим проектом, то все работы были бы быстро завершены, да притом еще сэкономлены государственные средства. Только европейцы-эмигранты способны провернуть подобное дело. Малайцы — простаки, им бы только поскорей занять какую-нибудь должность. Они думают, что уже могут работать самостоятельно. Нет, нет, им еще рановато. И я, и все мы, служащие-европейцы, должны позаботиться о том, чтобы после провозглашения независимости в этой стране не забыли о нас, учителях и покровителях. Пусть они еще долго нуждаются в нашей помощи и пусть с каждым днем крепнут наши связи. Ведь это выгодно не только нам, но и им. Но местные этого не понимают. Они слишком самоуверенны.

Правда, следует признать, что шеф — человек не глупый. Если он потребует, чтобы малайцы принимали участие в разработке проекта, другие члены комитета могут пойти у него на поводу. Будем надеяться, что хотя бы Линь и Рамасами выступят с возражениями. Ведь известно, что китайцы и индийцы очень ревниво относятся к малайцам, а это на руку нам.

Он снял телефонную трубку.

— Дайте кабинет помощника.

Мозг его напряженно работал, взгляд острых глаз был устремлен в пространство.

— Алло, кабинет помощника? Проверьте, чтобы подготовили зал заседаний.

— Сейчас сделаем.

— Хорошо.

Взгляд его упал на папку, в которой лежал сиреневый листок с пометкой «срочно». Он погладил его рукой.

— Да, да, все будет в порядке, — еще раз ответили ему по телефону.

Он положил трубку и занялся срочным документом. Открыл папку. Прочитал одну строку, другую. Снова закрыл. «Потом займусь, вечером».

За стеной стучала пишущая машинка, но она не заглушала шагов входивших в приемную людей. Внезапно все смолкло, затем послышались приветствия: «Доброе утро, туан!», «Доброе утро, туан!», «Good morning, Sir!». Приехал министр. Билл поправил рубашку, галстук, ремень. Еще раз проверил, все ли документы он приготовил для заседания. Потом сел, встал и снова опустился в кресло. Надо собраться с мыслями. Через пять

минут он вышел из кабинета и направился в зал заседаний.

Здесь все уже было готово. Билл обошел зал, внимательно оглядев всех собравшихся. Вошел господин Дато^[125] Хамид. Его сопровождали Азмад, Линь, Кадир, Рамасами, Тан, Муту и Шариф. Билл бросил несколько фраз членам коллегии, затем вышел и направился к министру. Однако перед кабинетом его остановил личный секретарь министра и сказал, что шеф велел никого к нему не пускать.

Билл растерялся от неожиданности, однако тревога и страх взяли верх над растерянностью. Такого еще не бывало. Министр знал о заседании. До начала оставалось всего пять минут. Обычно в это время министр вызывал его к себе для уточнения каких-либо вопросов. А сейчас он даже не желает его принять.

— Министр занят?

— Да.

— Кто у него?

— Его превосходительство депутат законодательного совета.

Билл изменился в лице. Высокий лоб покрылся морщинами, глаза, казалось, ввалились еще глубже, а нос стал еще более хищным.

— А когда его превосходительство договорился с министром о встрече?

— Сегодня утром по телефону.

— Он сам говорил с министром?

— Нет, я по его просьбе позвонил министру домой, поскольку его превосходительство должен уехать сегодня днем. Министр согласился его принять и велел мне известить его превосходительство, что ждет его в десять сорок пять, так как в одиннадцать часов у него заседание.

— И действительно, на одиннадцать часов назначено заседание. Члены коллегии уже сидят и ждут.

Билл произносил слова так, словно говорил сам с собой. Секретарь не ответил ему.

Билл собрался было выйти, но, едва переступив порог, вернулся и остановился около секретаря. Вид у него был озабоченный. Казалось, он ждал, что произойдет нечто неожиданное, непредвиденное.

Он почувствовал облегчение, когда дверь кабинета наконец открылась. Беседа его превосходительства с министром была окончена. Билл поклонился его превосходительству, и тот ответил кивком головы. И, уже взявшись за ручку двери, его превосходительство обернулся к Биллу. Билл почувствовал, что тот смотрит на него таким же взглядом, как смотрел таможенник в аэропорту. Его превосходительство улыбнулся и

вышел. А Билл все еще не мог избавиться от неприятного ощущения.

Министр вышел в приемную, и Билл сразу же выпрямился и, слегка поклонившись, произнес:

— Доброе утро, сэр!

Сам не зная почему, он сказал «доброе утро» по-малайски, а «сэр» по-английски. Увидев Билла, министр улыбнулся. Трудно сказать, что он при этом имел в виду, но похоже, что именно так судьба улыбается подсудимому. Порывистым движением министр выхватил папку с документами из рук Билла.

Билл почувствовал себя в роли слуги, в котором не очень-то нуждаются и который существует только для того, чтобы носить портфель своего господина.

Он проводил министра до зала заседаний и поспешил опередить его, чтобы открыть дверь, но министр сам взялся за ручку двери. Члены коллегии встали, и министр приветливо с ними поздоровался. Билл молча закрыл дверь...

В клубе, как обычно, было многолюдно. Его посетителями были молодые служащие и коммерсанты, главным образом европейцы. Иногда здесь можно было встретить высокопоставленных чиновников-малайцев и иностранных дипломатов. Здесь царила атмосфера западного аристократического клуба. Молодые служащие-малайцы, недавно окончившие учебу, говорили, что это типичный колониальный клуб, тогда как молодые европейцы и малайцы-чиновники с положением, завсегда и этого клуба, чувствовали себя наследниками колониальных традиций. И не только здесь. На площадках для игры в гольф, в домах пожилых служащих-европейцев обстановка также мало чем отличалась от милой их сердцу жизни, какой она была до провозглашения независимости. Но молодых европейцев не особенно влекла игра в гольф, и они редко бывали в семьях старых служащих. Большинство молодых людей еще не успели обзавестись семьями, а если кто-то из них и был женат, то обычно не решался привезти жену в эту уже отнюдь не экзотическую страну.

Билл отыскал Боба, который сидел за столиком в укромном уголке, и подсел к нему.

— Все провалилось, — сказал он.

— Я уже знаю, — ответил Боб. — Вчера сюда явился государственный секретарь с депутатом законодательного совета.

— Сегодня утром депутат беседовал с министром, — сказал Билл.

Боб выбил трубку о каблук.

— Касим провалится со своим государственным проектом. Они еще нас поищут! — обнадеживающе добавил Билл.

— Эти люди не понимают, что им предстоит еще долго у нас учиться. Обрели независимость, видите ли!

Уголки губ Билла, опущенные вниз, опустились еще ниже.

Бокалы убрали и подали суп. Билл и Боб взялись за ложки.

— На этот раз мне здорово не повезло, — сказал Билл. — Они все свалили на меня. Наверно, депутат успел еще вчера переговорить с каждым в отдельности.

— Что же они сказали?

— Вначале министр, по-видимому специально, велел мне изложить положение дел, а потом — выразить свою точку зрения. Я начал с того, что работа по осуществлению этого проекта очень важна и трудна, а в заключение предложил твою кандидатуру на должность руководителя.

Он замолчал и опустил ложку в тарелку с супом.

— А дальше?

— Они не очень-то распространялись. Дато Хамид прямо заявил, что, по его мнению, эту работу следует поручить Касиму. А министр добавил, что Касим — уроженец Малайи и поэтому ему, мол, ближе интересы малайского народа. И потом, он опытный работник имеет высшее образование.

Боб рассмеялся.

— Ему ближе интересы малайского народа, — повторил Билл, презрительно усмехнувшись. — Над чем ты смеешься?

Боб ответил вопросом на вопрос:

— И все согласились?

— Сразу.

Суп ели молча. Официант ждал, чтобы подать второе блюдо. Молодой малаец сел за соседний столик. С ним была молодая дама — высокая, стройная европейка с бледными губами.

Боб и Билл молча принялись за второе. Время от времени дама за соседним столиком с раздражением говорила о жаре.

Билл тихо сказал:

— Она еще не знает, как жарко в этой стране европейцам.

— Но она же не работает, — ответил Боб.

Оба невесело улыбнулись. Тонкие губы Билла стали еще тоньше, как бы подчеркивая острый взгляд и хищный орлиный нос.

— Мне кажется, нам следовало бы поглубже вникать в чувства и настроения малайцев. Может быть, они так же, как и мы, любят свой народ

и свою родину, — неожиданно сказал Боб.

Эти слова поразили Билла, как в свое время его поразило известие о том, что русские запустили первый искусственный спутник Земли. Его большие, глубоко запавшие глаза чуть не вылезли из орбит.

— Что с тобой? Ты прямо-таки готов проглотить этот обеденный стол, — удивился Боб.

— Да что там стол, я готов проглотить всю эту страну и тебя с твоими идеями. Что ты такое говоришь?

— Ты что, забыл об Индии, о Суэцком канале, о Гане и обо всем прочем? Посмотри на эту девицу. Она кое в чем побольше нас смыслит.

— Я ничего не забыл и все понимаю. Но разве не мы должны поставить на ноги это молодое государство? Ведь у нас самые добрые намерения, а малайцы не хотят нас понять.

— Я не вижу ничего плохого в том, что проектом будет руководить малаец, — сказал Боб.

— Я тоже не против, — отозвался Билл, вытирая вспотевший лоб. Он казался себе сейчас одиноким странником в пустыне.

Выйдя из клуба, Билл ссутулился. Он подумал, что шоферы машин, стоящих у клуба, смотрят на него точно так же, как смотрел таможенник в аэропорту. Он зашагал вдоль улицы по направлению к Дому Правительства, и его сутулая долговязая фигура напоминала сейчас кривую жердь. Голова была опущена.

На перекрестке возле сквера его обогнал молодой малаец в голубых дакроновых брюках и при галстукке. Не поднимая головы, Билл бросил беглый взгляд на парня — он посмотрел на него, как кот на воробья. И нахмурился. Интересно, на какой основе эти малайцы могут построить свою независимость, на каких традициях? Что у них есть, кроме мифического Ханг Туаха?^[126]

— Здравствуйте, туан, — услышал он вдруг знакомый голос.

Он повернулся и, узнав Амата, поднял голову и остановился.

— Ты что здесь делаешь?

— Сижу, туан. Жду министра.

— Министр здесь?

— Да, туан.

Ему показалось немного странным, что министр приехал за десять минут до начала работы министерства и на три четверти часа раньше, чем имел обыкновение приезжать.

— Как дела, Абат?

— Все хорошо, туан.

— Работа нравится? Ты доволен?

— Нравится, туан. Начальник такой, что лучше не надо. Велел мне звать его просто «инче».

— Как это можно! Ты должен звать его туаном. Он ведь даже выше меня рангом, ты знаешь?

— Да, конечно.

— Ты слушай меня — ты должен называть его туаном. Понял?

— Так как же я могу, раз он мне не велит?! Он малаец. Он ведь и прежних своих шоферов повыгонял за то, что они относились к нему как к европейцу. Мне очень трудно, туан. Я ведь привык уже работать с белыми людьми, а белых всегда положено называть «туан».

— Ну как знаешь.

И Билл торопливо зашагал к лифту.

Лифт был переполнен. Здесь были хорошенькие девушки, работавшие на радио, и несколько служащих. Он разглядывал их с высоты своего роста. Он был здесь выше всех. Раньше он всегда чувствовал себя выше, но сейчас этого чувства не было. Сердце подсказывало ему: наверно, Боб прав. Возможно, Амат и та белая приятельница (или жена?) молодого малайца тоже права. Он оглядел стоявших в лифте служащих, взглянул на лифтера. Нет, никто не смотрел на него тем взглядом, которым окинул его таможенный чиновник сегодня утром в аэровокзале.

Перевод с малайзийского Р. Коригодского

Чжао Жун

Чжао Жун — сингапурский прозаик и литературный критик, автор рассказов о сингапурской и малайзийской действительности, романа и многих публицистических статей.

Чжао Жун (Чжао Дачэн) родился в 1920 году в Сингапуре в бедной семье, пережил тяжелое детство и юность. За годы жизни сменил много разных профессий. В настоящее время живет в Сингапуре и занимается педагогической деятельностью. Как литератор, известен сборником рассказов «В джунглях» (1958), повестью «Любовь на море» (1959) и крупным романом «Малакский пролив». В 60–70-е годы писал отдельные рассказы и статьи, которые печатались в Сингапурской периодической прессе. В своих произведениях автор изображает жизнь современного общества, показывая трудные судьбы простых людей. Большое место в его творчестве занимает тема войны. Роман «Малакский пролив» достоверно и убедительно повествует о патриотическом движении народов Сингапура и Малайзии против японских оккупантов.

Чжао Жун — известный литературный критик. Его перу принадлежат острые полемические статьи о путях развития местной литературы, об идейных принципах литературы и критериях литературного творчества. Чжао Жуном написаны содержательные эссе о многих писателях Сингапура и Малайзии и их творчестве — Вэй Юне, Мяо Сю, Сюй Сюе и других.

Д. Воскресенский

Лотерея

В последнее время ночи ей казались особенно длинными — наверное, оттого, что ей снилось много снов. Но она любила долгие ночные часы, а сны доставляли ей радость.

Каждый день у нее начинался одинаково. Встав утром с постели, Ядэ, не умываясь, сразу же бежала к соседке, тетушке Чэнь Мин, и подробно расспрашивала ее о том, какие нынче выпали цифры в лотерее «Двенадцать веток». Узнав эти новости, она возвращалась к себе и только тогда умывалась, потом шла за покупками, стряпала обед или делала что-нибудь по хозяйству.

Но сегодня, проснувшись, Ядэ не встала, как обычно, а продолжала лежать в постели, с тревогой ожидая, когда соседка сама придет к ней и сообщит о последних новостях. Услышав стук деревянных туфель, она поспешно вскочила с кровати.

— Ну как? — с тревогой спросила она соседку, едва та появилась на пороге. — Какие выпали цифры?

Прическа Ядэ напоминала птичье гнездо.

— Две пятерки, дьявол их поberi! Опять не повезло.

— Значит, снова проиграли! — огорченно проговорила Ядэ, хотя предчувствовала, что лотерейные билеты, купленные вчера, все равно не выиграют. А ведь она купила их на целых десять долларов.

Несколько дней назад кто-то из соседок сказал, что ей обязательно надо сходить в храм на Горе Долголетия — Ваньшоушань, — потому что тамошние боги, мол, отличаются особенным могуществом. Всякий, кто их хорошенько попросит, обязательно выигрывает, иногда много — тысячи две, а то и больше. Но перед гаданьем надо непременно попоститься — яснее проявляются сокровенные желания души. Иначе проку не будет.

Она подробно расспросила женщину, на каком автобусе надо добираться до района Пасир-Панханг и как найти Гору Долголетия. Совершив положенное омовение и попостившись, она понаряднее оделась, купила цветов и фруктов, свечей и бумажных денег^[127] и отправилась в храм на моление. На это ушло почти полдня. В храме она пожертвовала два доллара на благовонное масло, что вместе с другими расходами составило изрядную сумму — целых пять долларов. Гаданье подсказало ей числа пять и восемь, она старательно записала их на листке бумаги. Чтобы не произошла какая-нибудь досадная ошибка, она купила билеты с магическими знаками, да не один, а сразу несколько, и на каждом написала цифру — десять долларов. Теперь она была уверена, что все непременно обернется самым лучшим образом и она обязательно выиграет. Если цифры сойдутся, ей достанется не меньше двухсот или трехсот долларов, а если особенно повезет — полтысячи. Во время гаданья она обещала духам, что если выиграет, то непременно поднесет им щедрые дары. Но, увы, ее снова постигла неудача, чего она никак не предполагала.

— Тетушка Мин! Нынче ночью мне приснился сон, чудной такой сон! — Ядэ стала рассказывать его соседке с таким жаром, что забыла привести себя в порядок. — Вижу — возле меня вертится черная собака, туда метнется, сюда, а сама головой крутит, хвостом вертит и лает на все четыре стороны. Я гоню ее прочь, а она не уходит. И вдруг вижу — ползет большущая желтая змея. Собака испугалась и бросилась прочь, но потом

вернулась, подбежала ко мне и — цап за палец. Я испугалась и проснулась... Как по-твоему, к чему этот сон? Какие цифры нужно загадать?

Ядэ и раньше одолевала сны. То ей приснится диковинная птица, то привидится чудесное дерево. Особенно странные сны она помнила, остальные забывала. С тех пор как она пристрастилась к лотерее, снов стало особенно много — то ли от смутных надежд на удачу или боязни проигрыша, то ли по другим причинам. Сны были удивительные, а порой настолько причудливые, что пересказывать их было совсем непросто. В каждом сне ей чудилось знамение или загадка, и, чтобы их уразуметь, она бежала вниз, к сянь-шэну^[128], который занимался составлением писем, но брался и за гаданье. Она думала: раз сяньшэн умеет читать книги, значит, может и гадать. Две недели она советовалась с ним, но так ни разу и не выиграла. Потеряв кучу денег, Ядэ разочаровалась в гадателе: писака не умеет толковать сны, поэтому ее преследуют неудачи.

Когда умерла ее родная тетка, кто-то надоумил Ядэ загадать цифры во время похорон. Загадала — и выиграла: целых триста долларов! Эта удача несколько ослабила горечь предыдущих проигрышей. На следующий день ей опять не повезло. Какая досада, что в тот счастливый день она не купила билетов побольше — хотя бы на несколько десятков долларов. Как было бы здорово! Вот почему Ядэ и рассказала сегодняшний сон соседке Чэнь Мин и попросила растолковать его.

— Сдается мне, что черная собака — посланец на вороном коне, то есть «восьмерка», а желтая змея — красный сановник, значит, «десятка». Поэтому надо купить билеты с этими цифрами! — неуверенно предположила соседка и вздохнула: — Чудной, конечно, сон, непонятный, но попытать счастья можно. К тому же эти цифры ты раньше не загадывала. И я рискну — тоже куплю билетов на несколько долларов!

— А под каким девизом нынче выпустили билеты? — спросила Ядэ с беспокойством.

— Будто бы поговорка: «Ехать верхом и любоваться цветами»^[129]. Вот я и думаю, что «конь» с «сановником» выпадут точно! — В голосе соседки послышалась сейчас твердая уверенность человека, обладающего большим опытом.

— Эх, была не была! Поставлю на них несколько долларов! — воскликнула Ядэ, зараженная уверенностью соседки.

В это утро она проболтала с соседкой больше часа и не успела умыться.

Характер у Ядэ, как и у ее мужа Чжан Миндэ, был простой и открытый. С детства они усвоили одну неоспоримую истину: в этом безрадостном и жестоком мире преуспевают лишь люди с железной волей. Они очень подходили друг другу, может быть, поэтому в доме всегда царило согласие. Приятели и друзья в один голос говорили что они — идеальная супружеская пара и все им должны завидовать.

Одно лишь огорчало: женаты уже три года, а детей нет. В дом порой закрадывалось уныние и даже тоска. Ядэ особенно начала тосковать с тех пор, как муж стал матросом и проводил в море месяц, а порой и два. Побудет дома денек-другой — и снова уходит в плавание.

Ядэ никогда не знала дурных привычек. Добрая и покладистая, она была образцовой женой и, несомненно, стала бы хорошей матерью. Правда, от безделья она любила поболтать, иногда больше чем следует, особенно с тетушкой Чэнь — давней поклонницей лотереи «Двенадцать веток». Лотерея эта за последние десять лет стала в жизни пожилой женщины самым важным делом. Кажется, не было дня, чтобы соседка не покупала лотерейных билетов. Иногда она выигрывала, и тогда в доме царило необычайное веселье. Но чаще тетушка Чэнь проигрывала, порой всю наличность, не оставалось даже мелочи, чтобы купить хоть немного овощей для троих ребятишек; в такие дни приходилось довольствоваться одним рисом. На тетушку находила хандра, и она по любому поводу начинала браниться. В такие дни она становилась невероятно скупой — как тот железный петух, из которого не выдернешь ни одного перышка. Обычно проигрыш тетушки составлял небольшую сумму, выигрыши тоже не бывали крупными.

Ежедневная болтовня женщин в конце концов переходила на лотерею. Ядэ живо интересовалась, выиграла соседка нынче или проиграла, выказывая при этом большое внимание и сочувствие. Вот так Ядэ и пристрастилась к проклятой игре. Наверное, произошло это оттого, что на душе у нее было тоскливо и ей хотелось чем-нибудь развлечься. Мало-помалу игра в «Двенадцать веток» захватила все ее существо и поработила.

Падение Ядэ произошло столь стремительно, что первое время никто этому не верил. Такая добродетельная женщина, и вдруг — что выкинула! Кое-кто из соседей не верил слухам. Но вот Ядэ как-то заметили в игорном зале, а потом видели ее там постоянно.

Сначала она ставила по тридцать-пятьдесят центов и никогда не повышала ставки до доллара. Она считала, что если и проиграет, то самую малость, и не видела в этом ничего дурного. Все женщины, сидящие дома, как и она, обязательно во что-нибудь играют: в мацзян^[130], в «три

листика»^[131] — или покупают билеты лотереи «Двенадцать веток». Мацзян требует усидчивости и терпения, эта игра была ей не по душе. Другое дело — «Двенадцать веток»! Лотерея сразу пришлась ей по вкусу. Почти месяц она играла и не проигрывала, но и не выигрывала. Словом, оставалась при своих. Вот тогда и появились тревожные мысли. Неужели у нее такая несчастливая судьба? Она отправилась к ворожее, которая обычно сидела на их улице, разложив прямо на тротуаре незамысловатые принадлежности для предсказания судьбы. Вытащив из банки заклинанье, Ядэ ждала, что скажут ей триграммы: будет удача или нет? Бумажка предрекла: жди в мае богатства — не слишком большого, но и не малого. Она решила, что восемьдесят или сто тысяч ей, конечно, не выиграть, а тысяча-другая достанется непременно. И никто этому не может помешать! Мысль о выигрыше околдовала ее. С этого самого дня она стала видеть особенно много снов, причем один другого удивительнее.

Ядэ рассказывала сны гадалкам и просила объяснения. Внимательно запомнив все знаки и цифры, которые выпадали при гаданье, она, не колеблясь, покупала лотерейные билеты, и не на мелочь, как раньше, а долларов на десять и больше. На первых порах это не представляло затруднений, так как в доме были кое-какие сбережения. Однако вскоре жажда разбогатеть превратилась в пагубную страсть. Она думала: другие ведь выигрывают по две или три тысячи долларов, почему же она, Ядэ, должна отказываться от своего счастья? К тому же оно само плывет в руки. И она стала покупать лотерейные билеты на крупные суммы. Она проиграла еще несколько раз подряд в течение одной недели. Но проигрыши ее не остановили. Она и глазом не моргнула и продолжала играть, твердо веруя в тысячный выигрыш, который покроет все ее проигрыши. И с прежним упрямством покупала лотерейные билеты.

Частые проигрыши Ядэ в конце концов обеспокоили тетю Чэнь, и она сказала об этом молодой женщине, но Ядэ пропустила мимо ушей это замечание.

«Видать, время мое еще не наступило!» — думала она.

Минула еще неделя, а счастье не приходило. В конце концов она проиграла все сбережения, которые они с мужем накопили за три года, — пятьсот долларов! Только сейчас она поняла, что произошло, и горе сдавило ее сердце. А тут еще одна печальная новость: умерла ее родная тетка.

Как говорится, беда не приходит одна. Новое горе было тяжелее проигрыша. О скорбном событии проведала всезнающая Чэнь Мин, и у нее сразу же возникла прекрасная мысль.

— Вот счастливый случай! — воскликнула она. — Надо живей погадать, пока страдающая душа покойной еще не удалилась... В нынешнем году у моей двоюродной сестры померла свекровь. Сестра, помолившись перед гробом, загадала цифры. И что же ты думала? Выиграла пять тысяч! Разумеется, перед этим она усердно молилась и два дня постилась. Попробуй и ты.

Ядэ кивнула головой. Мысль показалась ей дельной. Заложив золотую цепочку, она накупила свечей и поминальных даров. Затем запечатала в конверт десятидолларовую ассигнацию и опустилась в храме предков на колени.

— Тетушка! — почти беззвучно шептала она, стараясь вложить в слова мольбы всю полноту своих чувств. — Спаср меня и надоумь выбрать счастливые цифры. Обещаю тебе: если отыграюсь, то приглашу монахов и велю им два дня свершать молебн, чтобы твоя душа беспрепятственно отправилась на Западное Небо^[132]. Пожалей меня, горемычную, помоги мне выиграть...

Так она молилась, не обращая внимание на укоризненные и насмешливые взгляды посторонних.

И что же? Ей действительно повезло. Она выиграла триста долларов! Неожиданное счастье! Жалко, что у нее было мало денег, иначе можно выиграть и тысячи три, а то и все пять. Вот была бы радость! Довольная, как дитя, она решила погадать еще раз, а потом снова сыграть. Но на другой день счастье от нее отвернулось: она проиграла пятьдесят долларов. Однако бесовское наваждение уже завладело ее душой. Как в поговорке: пока не дошел до Хуанхэ, душа не успокоится. Так произошло и с Ядэ. Проводив гроб старухи на кладбище и бросив на него горсть сырой земли, она снова загадала цифры. Но, увы, судьба снова стегнула ее своей плетью — ударила больно, будто по самому сердцу. От прошлого выигрыша у нее осталась жалкая сотня долларов, часть денег она отдала за моление, остальные проиграла.

С тех пор о ней и пошла слава как об азартном и отчаянном игроке в «Двенадцать веток»...

После обеда она тщательно обдумала совет тетушки Чэнь, и он показался ей весьма дельным. Это укрепило ее решимость, и она, уже не колеблясь, выложила сразу пятьдесят долларов. Ядэ рискнула сделать такую крупную ставку, боясь повторить ошибку, которую она совершила в прошлый раз, когда она так непростительно просчиталась. Подобной ошибки не должно больше повториться. Чудной сон, который ей приснился, предсказывал большое богатство.

Ожидание показалось ей вечностью: секунды не бежали, а тянулись медленно и нудно. Миновал день, наступили сумерки, пришел вечер, она мучительно ожидала рассвета. Сердце бешено колотилось, а в груди как-то странно покалывало, точь-в-точь как в тот вечер, когда она стала женой Миндэ. Она пыталась заставить себя успокоиться, но никак не могла совладать со своим волнением и тревогой. Рассудок отказывался ей служить. Сон убегал, хотя глаза слипались от усталости. Измученная, будто претерпев лютую пытку, Ядэ едва дождалась рассвета. Быть может, он принесет исполнение ее давнишней мечты!

Тетушка Чэнь волновалась ничуть не меньше. Ведь она тоже накупила лотерейных билетов, чтобы поддержать соседку. Рано утром она побежала узнать результаты тиража и вскоре вернулась. По выражению ее лица и удрученному виду можно было догадаться о неудаче. Ядэ охватил внезапный озноб.

— Что, не выиграли? — как обычно, спросила она, сдерживая забившееся тревогой сердце.

— Проиграли! Выпали две пятерки!.. — Соседка покачала головой и горько улыбнулась.

Слова старухи ударили словно обухом по голове. Ничего не сказав, Ядэ вернулась к себе и легла на постель, даже не умывшись, чего раньше с ней никогда не случалось.

Несмотря на многократные удары злой судьбы, она не впала в отчаяние. Страстное желание выиграть не исчезло, оно продолжало гореть жарким пламенем в ее груди.

Можно ли утверждать, что человек никогда не спотыкается в своей жизни? А если споткнется, разве не захочет вновь стать на ноги? Простая, ничем не примечательная женщина, Ядэ обладала сильной волей и большим упрямством. Споткнувшись, она старалась снова встать на ноги — изо всех сил старалась отыгаться. Наличные деньги кончились, но оставались еще кое-какие украшения и ценные безделушки, их можно заложить или продать.

Почти каждый день играя в лотерею, она превзошла в специальных познаниях тетушку Чэнь, а вскоре снискала уважение всех местных игроков-профессионалов. Она познала многие тонкости игры и, казалось, постигла все ее тайны. Поначалу она ходила гадать — лишь в район Нью-чэшуй, но вскоре пагубная страсть погнала ее в другие уголки Сингапура: к Малому склону, в Катонг, Гэйланд, Чанги, Дальнюю Гавань, Букит-Тимах, Танжонг-Пагар, Пасир-Панханг — словом, туда, где находились храмы, кумирни, монастыри и обители монахов. Под древними деревьями на

склонах холмов, перед нагромождениями диковинных камней она зажигала свечу и принималась за гаданье, тщательно запоминая выпадавшие цифры и подсчитывая будущие выигрыши. Она гадала исступленно, а молилась с таким жаром, что ей могли позавидовать даже монахи. Но выигрывала она по-прежнему редко, горькие неудачи преследовали ее. Она узнала многие легенды и чудесные истории о тех местах, где приходилось гадать. К примеру, то древнее дерево считалось волшебным, а тот диковинный камень явил чудесное знамение. На вершине того холма вдруг появился горный дух. Она узнала, что в одном месте повесился человек и его обиженная душа теперь мстит людям. А гаданье в другом месте принесло большое богатство, и счастливчик на выигранные деньги построил настоящий дворец. А есть и несчастливые места: сколько там ни молись, удачи не будет...

Она испробовала все старые способы гаданья и стала искать новые. Самым интересным ей показалось гаданье, называвшееся «Цзян Тайгун ^[133] поддел на крючок рыбу». На двенадцати полосках бумаги надо было написать знаки и цифры. Свернув бумажки в трубочку, их следовало положить на блюдце, после чего возжечь благовонную свечу, к которой привязана нитка. При таком гаданье важно очистить душу от дурных помыслов и освободить голову от суетных мыслей. Держа свечу обеими руками, надо склониться над блюдцем с бумажными трубочками, как это делает рыбак во время ужения, и прошептать: «Ловись рыба крупная, не ловись мелкая! Ловись рыба крупная...» Нитка, привязанная к свече, чудесным образом зацепляла трубочку, и та поднималась кверху. С помощью такого гаданья Ядэ сумела выиграть два раза, но потом почему-то ворожба потеряла силу. Порой ее «уженье» затягивалось на многие часы, однако ей так и не удавалось вытянуть счастливые цифры.

Существовал еще один способ гаданья, под названием «Дитя держит в руках благой знак», который, по слухам, тоже мог явить счастливые цифры. Она испробовала и его, но безуспешно. Кто-то поведал ей еще об одном приеме, совсем удивительном. Надо пойти ночью в заброшенный храм и, загадав сон, проспать там всю ночь. Ядэ была не из робкого десятка, но все же не отважилась испытать этот способ гаданья — она очень боялась темноты и нечистой силы, а также других неожиданностей, которые могут произойти ночью в диком месте. Кто-то из соседей однажды посоветовал ей, дождавшись мужа, испробовать еще один способ, по слухам, самый лучший. Когда муж уснет, надо прикрыть его лицо бумажной жертвенной деньгой, зажечь свечу и приступить к гаданью. Одна женщина будто бы уже испробовала такой способ, мигом

разбогатела, но, увы, потеряла своего мужа. Ядэ не отважилась прибегнуть к такому гаданью, хотя его и расхваливали.

«Дело опасное, — подумала она. — Как бы не случилось чего-нибудь плохого».

Но была и другая причина ее опасения. Муж до сих пор ничего не знал о ее страсти. Если она случайно раскроет ему свой секрет, наверняка произойдет размолвка, а этого она боялась пуще всего.

Как-то в конце июля вернулся из плавания муж. В тот же день он решил пройтись подышать свежим воздухом. Понятно, ему захотелось поприличней одеться. В шкафу стояла небольшая шкатулка, в которой хранились ценные вещицы. Он открыл ее — там пусто. Спросил у жены, куда, мол, девались все ценные вещи, а было их немало — тысячи на две долларов, не меньше. Испуганная Ядэ пробормотала, что спрятала их у матери, боялась, как бы в дом не забрались воры. Такое объяснение успокоило мужа. Да и какие у него могли возникнуть сомнения, если они с Ядэ доверяли друг другу! Он по-прежнему верил ей, хотя и уходил в долгие плавания.

Ему показалось, что, пока он был в море, жена будто бы осунулась и поблекла. А раньше была такая розовощекая, светлокожая... Спросил, уж не сэкономила ли на еде — так и здоровье недолго подорвать. Она ответила мужу, что сильно болела, а после выздоровления случилась новая беда — умерла тетка. Надо было помочь дядюшке Линю с похоронами, пришлось хлопотать, нервничать, поэтому и выглядит плохо. Муж посочувствовал и посоветовал беречь себя и принимать укрепляющие лекарства, деньги на это он ей переведет.

К счастью, Миндэ пробыл дома недолго. Поживи он еще три-четыре дня, до него наверняка дошли бы дурные слухи, и тогда не миновать бы грозы. Он не перенес бы известия о том, что его жена пристрастилась к игре в «Двенадцать веток» и не только проиграла все их сбережения, но и продала все ценные вещи, наделала долгов, причем довольно крупных. Но самое скверное: о Ядэ стали поговаривать, будто она увлекает мужчин и берет с них деньги. Какими глазами она посмотрит на своего Миндэ, когда эти слухи достигнут его ушей? Вся жизнь будет исковеркана!

На следующее утро муж снова уходил в море. Когда его крепко сбитая фигура должна была вот-вот исчезнуть за поворотом, на ее глаза навернулись слезы, а в носу защипало. Она заплакала, охваченная отчаянием. Слезы текли по щекам и скатывались на платье. Боль и раскаяние разрывали душу. В голове пронеслась мысль, что сейчас, возможно, они расстались навсегда. Как странно! Прожить вместе три

года — и вдруг всему конец! Ядэ понимала, что она совершила непростительную ошибку. Так-то она отплатила Миндэ за его доброту! Своими собственными руками она развеяла счастье, которое было и могло еще быть в их жизни. Она обманула честного и открытого Миндэ, бороздящего моря... Ядэ вдруг представила себе его горе, нет — он просто был бы убит, узнав, что его любимая Ядэ погрязла в позорной трясине. Сколько глупостей наделала она за это время. И самое страшное — ничего уже нельзя изменить. Ничто ее уже не спасет. Конец!

От рыданий глаза ее покраснели и опухли. Она почувствовала вдруг слабость, все поплыло у нее перед глазами. Она лишилась сознания.

— Спасите! На помощь! — раздались крики тетушки Чэнь, которая заметила лежавшую на земле молодую женщину. — С нашей Ядэ приключилась беда!

Тетушка выбежала из дома, забыв даже надеть свои деревянные туфли. Она бросилась к Ядэ, обхватила ее руками, стараясь приподнять.

Поднялся переполох. Из дверей высыпали соседи. Встревоженные криками тетушки Чэнь, они устремились к лежавшей на земле Ядэ. Кто-то помог ей подняться, кто-то сбегал за нашатырем. Сознание постепенно возвращалось к молодой женщине, она пришла в себя. Две соседки повели ее в дом.

К вечеру пришла тетка Чжума, по прозвищу Свиная Туша. Она поинтересовалась, почему Ядэ не пришла к ней вчера. Заставила напрасно ждать почтенных и богатых гостей. Они будто сказали тетке Чжуме, что другие девушки их не интересуют, а Ядэ им приглянулась. Жирный Лим — коммерсант из экспортно-импортной конторы — прямо заявил, что готов выложить целую кучу денег, чтобы немного позабавиться с такой красоткой, как Ядэ. Покладистая и нежная, она очень ему пришлась по душе. Редки в наши дни, сказал он, эти качества в женщине. Тетка, весьма обрадованная таким поворотом дел, принялась расхваливать себя. Все, мол, знают тетушку Чжуму, и все ее почитают за большой жизненный опыт, ведь она занимается сводничеством уже свыше двадцати лет.

Свиной Туше пришлось затратить немало усилий, чтобы заманить в свое логово молодую женщину. И она гордилась таким подвигом, так как знала, что у других владельцев притонов такого «свеженького товара» нет. Сводня надеялась неплохо заработать на этом «товаре». Жирный Лим ей сказал напрямик, что готов хоть сейчас нанять красотку на весь месяц. Жаль, что вчера он впустую потратил вечер... Ну да ладно! Все равно нынче вечером снова явится и будет ждать Ядэ в надежде, что сегодня ему непременно удастся «облегчить душу».

Ядэ сразу представила себе этого блудливого кота — жирного Лима, от которого всегда исходил омерзительный запах. Перед ее глазами всплыло его лицо, похожее на свиное рыло с широкой пастью, наполненной гнилыми зубами. Молодая женщина почувствовала тошноту и вновь едва не потеряла сознание. Этот мерзкий делец старается изо всех сил заполучить ее и даже «нанять на весь месяц». Жирная жаба, задумавшая полакомиться лебединым мясом!

«Если бы случайно не оступилась, не попала бы курочка в лисьи лапы!» — подумала Ядэ с огорчением. В ней поднималась волна гнева, но она сдержала себя, потому что боялась сводни. Свиная Туша снабжала ее деньгами...

Проиграв несколько раз подряд в «Двенадцать веток», Ядэ обратилась за помощью к тетушке Чэнь, а та свела ее со Свиной Тушей. Долги молодой женщины постепенно росли, и в один прекрасный день перевалили за тысячу долларов, не считая мелких долгов соседям. Через некоторое время сводня потребовала возратить долг и стала ей угрожать. Потом в ход были пущены обещания, посулы. А однажды Свиная Туша сказала, что если Ядэ согласна посетить ее «благоуханное гнездышко», то сможет немного подработать, причем ни одна живая душа об этом не узнает, так как своих клиентов Ядэ будет встречать не на тротуаре, а в приличном доме. Словом, ее репутация, мол, нисколько не пострадает. Если она согласна, то ее долги можно на время отсрочить, и тем самым она избежит опасности...

Вот так Ядэ пришлось заняться постыдным ремеслом. И все из-за этих проклятых денег! Она вынуждена была дать согласие и стала тайком ходить к сводне, объясняя соседям, что отправляется навестить мать. Но уже недели через две поползли слухи, а однажды она случайно услышала о себе такое, что у нее захолонуло сердце и щеки покрылись краской стыда.

Ядэ объяснила сводне, что не пришла вчера потому, что вернулся муж, а нынче утром она внезапно заболела и вечером тоже не придет. Пусть уж ее извинят.

— Как это так? — Лицо гостьи сразу стало суровым, а в голосе послышались стальные нотки. — Господин Лим слишком известный человек, чтобы его можно было обижать. Посидит впустую один вечер, посидит второй, а там, глядишь, этот бог богатства от меня отвернется. Нет, так дело не пойдет! Эка невидаль — захворала!

Молодая женщина поняла, что ей не отвертеться.

— Ну ладно! — подумав, сказала она. — Только мне нечем себя приукрасить... сама знаешь, сижу на мели. Если ссудишь мне долларов

пятьсот, тогда другой разговор!

— По рукам! Вечером придешь — получишь и деньги, и украшения! Только приходи пораньше, иначе толстяк затоскует!

Сводня подняла со стула свое расплывшееся тело и направилась к выходу.

Вечером Ядэ надела длинное модное платье из красноватого шелка, наложила на лицо густой слой пудры и вышла из дому. Было темно, и ей показалось, что она погрузилась в глубокий колодец.

Эту ночь она провела в «гнездышке» Свиной Туши.

Она вернулась домой на велорикше лишь на рассвете. Ее нарядное платье, тщательно отглаженное накануне, измялось и было как жеваное. Странно, она не только не устала, но, наоборот, чувствовала необыкновенный прилив сил. Войдя в комнату, она не подумала о сне или даже о коротком отдыхе. Переодевшись, она тут же выскочила за дверь. В ее груди теплилась последняя надежда. На Дамалу^[134] она взяла такси и поехала к Храму Бирюзовой горы — Бишаньтин, где находилось кладбище. Возле Седьмого участка она велела шоферу свернуть в сторону и остановиться близ старого вяза. В этот ранний час на кладбище стояла тишина. Листья деревьев были покрыты молочно-белой росой. В паутине, сотканной земляными паучками, трепетали капли росы, готовые вот-вот скатиться вниз. Старый вяз стоял как могучий бог Куйсин^[135], изготовившийся к схватке. Издали он действительно напоминал фигуру человека, готового ринуться в бой. Его кряжистый загрубевший ствол, покрытый бурыми наростами, переплетенный, будто волосами, какими-то нитями, напоминал гигантскую ногу.

Ядэ вспомнила рассказ о том, что на суку могучего дерева нашли свою смерть многие люди. Их души все время появляются здесь глубокой ночью, бродят вокруг и водят хороводы в холодном тумане. Бездомные и обиженные, они беспрерывно оглашают воздух своими скорбными воплями и стонами, приводящими людей в трепет. Иногда на шероховатом стволе или сучьях старого вяза появляются цветной шнур или просто веревка — свидетельство того, что еще один горемыка попал в коварную западню старого гиганта.

Под деревом лежит громадный коричневый с кирпичным оттенком камень, неизвестно как здесь очутившийся. Его поверхность, гладкая и блестящая, словно отполированная, похожа на ствол. С одной стороны камень приподнимается и напоминает диковинный утес. На плоской

поверхности камня устроен небольшой алтарь с навесом, под которым торжественно восседает Дабогун^[136]. Говорят, алтарь воздвигли неожиданно разбогатевшие почитатели божества.

Ядэ с трудом поднялась к старому вязу. На ее ногах белели нити разорванной паутины, на которой кое-где сверкали бусинки утренней росы. Женщина испытывала чувство радости и умиротворения. Она думала сейчас о том, что старый вяз, по всеобщему признанию, обладает чудесным даром, потому что прячет где-то внутри себя души обиженных, которые помогают таким же неудачникам, как и она. Женщина принялась гадать, моля богов о заступничестве и помощи. Гаданье открыло ей цифры: двойку и четверку.

В том же такси она отправилась на Четвертый участок кладбища. Машина катилась по узкой, как баранья кишка, дороге, которая петляла в зарослях Дальней Гавани — Хоугана. Из высокой, в рост человека, травы доносилось бормотанье куропаток. Эти звуки словно отдаляли ее от мира людей и приобщали к первозданной природе. С большим трудом машина преодолела шаткий мостик, сложенный из пальмовых стволов и перекинутый через речку. Сразу за мостом, на берегу, стояла кумирня, построенная в честь какой-то девицы, о ней люди тоже сложили легенду...

Лет двадцать назад одним дождливым вечером здесь оказалась девушка — создание юное и беззащитное, — которую хорошо знали в этих краях. Никто толком не помнит, как это произошло, но она упала в реку и утонула. С тех пор каждой ночью слышится ее плач и жалобные стоны, поэтому окрестные жители даже светлым днем стараются обходить это место стороной. И вот однажды какой-то отчаявшийся горемыка, набравшись храбрости, пришел сюда попросить у духа заступничества и помощи. Он молил о том, чтобы дух помог ему заработать побольше денег и разбогатеть. Во время гаданья он обещал в случае удачи выстроить кумирню и тем самым умиловить обиженную и тоскующую душу. Все свершилось так, как просил человек, и он, благодарный, воздвиг эту кумирню. С тех пор по ночам никто не слышал печальных криков, и жители стали безбоязненно появляться в этих местах. После этого случая сюда зачастили богомольцы. Одни просили богатства, другие молили дать им детей, третьи — даровать хоть немного удачи. Словом, просьбы были самые различные, но шли они из глубин сердец. Слава местного божества росла, о чем говорили красные лоскуты со словами благодарности, которыми была увешена кумирня.

Ядэ тоже пришла сюда молить божество о заступничестве. Она чувствовала, что подошла к последней черте, и надеялась на помощь

божества. Женщина опустилась на колени прямо в грязь и принялась исступленно молиться. Потом стала гадать, и гаданье определило ей цифры: тройку и шестерку. Закончив это важное дело, она вернулась домой. На ее лице лежало выражение суровой торжественности и напряженности, за которым угадывалось большое внутреннее удовлетворение. На лотерейных билетах она старательно вывела пары цифр, определившиеся при гаданье.

«Возможно, в последний раз!» — подумала она.

Затем на каждом из шести билетов, помеченных магическими знаками, она решительно написала цифру — тридцать долларов. При этом рука ее дрожала, как у той ученицы, которая пишет в первый раз в своей жизни. Написав общую сумму — сто восемьдесят долларов, она облегченно вздохнула, словно сбросила тяжелую ношу. А потом она уснула, и ее сон был спокойным, безмятежным.

Поздно вечером она вышла из дому, как делала всегда в последнее время. Только сегодня она не знала, куда пойти. В этот вечер к ней домой несколько раз прибежала Свиная Туша, вся кипевшая от злости. Она кляла Ядэ за строптивый нрав. Эта девка снова заставила ждать почтенных и влиятельных клиентов!

Ядэ вернулась домой лишь в полночь. Соседка сообщила, что за ней уже несколько раз приходили. Но молодая женщина ничего не ответила, только усмехнулась и пошла к себе. Она легла в постель и стала ждать рассвета, который должен был принести ей нечто радостное, чудесное.

И вот оно наконец наступило — долгожданное утро. Как всегда, к ней пришла тетушка Чэнь с новостями: нынче выиграли две тройки. Для Ядэ слова соседки прогремели словно гром среди ясного неба. Она вскрикнула, а потом вдруг оцепенела. Через какое-то время она пришла в себя и бросилась к шкафу с одеждой. Перерыв в нем все сверху донизу, она что-то нашла.

— Теперь я стала рыбой... — зашептала она. — Сейчас я поплыву вслед за тобой!

Она стремительно выбежала из дому, забыв запереть дверь.

Прошел день и наступил вечер, а она не возвращалась. Кто-то из соседей предположил, что она, наверное, рехнулась. А утром следующего дня откуда-то прибежала тетушка Чэнь. Запыхавшись от быстрого бега, она сообщила страшную весть. В Танжонг-Пагаре возле Четвертого склада море прибило к берегу тело женщины. Это была Ядэ, которая, по всей видимости, покончила с собой. Ее волосы были всклокочены, лицо искажено гримасой страдания. На нем лежала печать того горя, которое ей

довелось испытать в своей жизни. При утопленнице нашли фотографию, на которой она была изображена вместе с мужем в день свадьбы.

Перевод с китайского Д. Воскресенского

РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР



Мяо Сю

Мяо Сю (настоящее имя — Лу Шаодюань) — известный прозаик Сингапура, один из зачинателей современной китайскоязычной литературы этого региона. Его имя появилось в литературе в конце 30-х годов, однако его писательский талант с особой силой проявился в 50–60-е годы. В это время увидели свет наиболее значительные произведения писателя.

Мяо Сю родился в 1920 году в Сингапуре в семье ремесленника. Сменил немало различных профессий: был репортером газеты, конторским служащим, школьным учителем, редактором полосы в местной газете и т. д. В 70-е годы занимался педагогической работой в Наньянском университете. Литературная деятельность, как и у многих других писателей Сингапура, — его вторая профессия.

Мяо Сю — автор произведений различных жанров. Опубликовано несколько сборников его рассказов: «Шестнадцать» (1955), «Барабаны на обочине» (1958), «Красный туман» (1963), «Среди людей и зверей» (1970) и другие. Широко известны его повести: «Под крышами Сингапура» (1951), «Годы и весны» (1956), «Тревоги маленького города» (1962). В 1960 году Мяо Сю издал крупный роман о борьбе против японских оккупантов — «Огненные волны». В 1976 году выпустил большую повесть «На исходе ночи», посвященную той же теме.

В творчестве Мяо Сю четко прослеживаются две большие темы: жизнь простых людей Сингапура и Малайзии и тема войны. Писатель создал несколько десятков рассказов, в которых изобразил жизнь разных слоев современного городского общества. В своих произведениях он демонстрирует незаурядный талант реалиста-нравописателя, обладающего острым социальным видением действительности. Нередко он выступает как талантливый сатирик, высмеивающий различные недостатки и пороки, присущие как отдельным личностям, так и обществу в целом. Тема войны, отраженная в его повестях и романе, свидетельствует о гуманизме писателя, знающего цену человеческой жизни и прекрасно сознающего трагические последствия современной войны.

Мяо Сю — талантливый очеркист и литературный критик. Его перу принадлежат многие эссе о писателях, как зарубежных (Хемингуэй, Синклер, Чехов, Достоевский), так и отечественных, а также статьи о специфике китайскоязычной литературы Сингапура и Малайзии. В них он

последовательно и твердо отстаивает идеи реалистической, прогрессивной литературы.

Д. Воскресенский

Золотые ножницы

Профессор Ван пролежал в больнице больше недели. И вот наступил день, когда ученый муж, сопровождаемый своей пышнотелой супругой, вернулся в свой «литературный кабинет» — так он называл небольшую комнатушку в старом здании над мастерской велосипедов, на тихой улочке в пригороде. Если бы не черная доска с белыми иероглифами на стене дома — творение самого профессора, никто никогда не догадался бы, что над этой паршивой мастерской скрывается хранилище мудрости и высокого искусства.

Профессор удобно устроился на обшарпанном диване. В таком полулежачем положении, почти не двигаясь, он проводил каждое утро. Его длинные худые ноги свешивались с ложа. На желтых пальцах одной ноги покачивалась матерчатая туфля, другая валялась на полу возле дивана. В комнатушке, набитой самыми разными вещами, царил беспорядок. Подле чайного столика толпились стулья, на письменном столе валялись старые газеты, ученические тетради и разный хлам.

Сквозь стекла плотно закрытой двери виднеется унылое небо, цветом напоминающее тряпку для вытирания пыли. Монотонно и нудно стучит дождь, он идет давно: то затихнет на короткое время, то вновь припустит. Профессору кажется, что сырость проникает в самую душу, и ему делается еще тоскливее. Постепенно кабинет погружается в темноту. За спиной хозяина на полке чернеют плотные ряды переплетенных журналов; несколько лет назад их удалось приобрести по случаю — «Еженедельное развлечение», «Суббота», иллюстрированный «Добрый друг», «Голубая книжка». В то время он мог позволить себе подобные траты. Полка, нависшая над головой профессора, казалось, давит на него, резко выделяя его скуластое, землистое лицо. В маленьком кабинете, наполненном шумом дождя, расплывается уныние...

— Какая пакостная погода, пес ее дери! — слышится глухое ворчанье ученого. Тяжелые веки профессора устало опускаются. Он задумывается. В последнее время жизнь шла вполне сносно, если бы не проклятая болезнь, которую неожиданно подсунула судьба. «Человеку в беде мерещатся духи,

и неудачи следуют одна за другой», — гласит поговорка. Так и у него: провалялся в больнице целую неделю, и погода, словно нарочно, испортилась, вот уже три дня, как он дома, а дождь льет не переставая и ветер дует. Чертова погода!

На самом деле судьба лишила Вана своих милостей несколько лет назад, теперь же и совсем от него отвернулась. Обманным путем присвоив себе ученое звание профессора, Ван отправился в Наньян, пролез в университет и начал было читать курс западной литературы. Но, увы, эрудиция его иссякла на первой же лекции, когда он попытался было пересказать студентам изданную в Гонконге книгу Чжэн Чжэньдо ^[137] «Очерки литературы». Студенты освистали профессора, и последний был вынужден исчезнуть.

Потом в разговорах Ван неизменно жаловался на студентов и намекал своему собеседнику, что покинуть университет ему пришлось из-за политических интриг. Он ругал студентов «леваками», «красными», «коммунистами» и кричал, что, если их не перерезать всех до единого, в Поднебесной никогда не установится мир и порядок. Упустив должность в университете, ученый Ван не мог приискать подходящего для себя места, и вскоре его жизнь мало-помалу вошла в русло спокойного, но скучного бытия.

Некоторое время назад, когда открылся его «Литературный кабинет», профессор устроил пресс-конференцию, и местные борзописцы тиснули в своих газетенках несколько хвалебных заметок. У профессора сразу же появилось свыше тридцати учеников, плативших ему по десять долларов каждый. Таким образом, гонорар профессора превышал триста долларов в месяц, что позволяло ему сводить концы с концами. Самое приятное в этой деятельности заключалось в том, что она была нисколько не обременительна, что не так уж часто случается в жизни. Профессор, не выходя из своего кабинета, переписывал у других авторов «Правила сочинительства» и, размножив их как свои собственные лекции, рассылал ученикам, потратив всего несколько медяков на марки. Вот и все хлопоты! К сожалению, столь блаженная жизнь не могла продолжаться вечно. Ученики полагали, что за свои десять долларов в месяц они прямо-таки должны прославиться на литературном поприще. Иначе говоря, они жаждали стать знаменитыми писателями или, на худой конец, модными журналистами. Однако очень скоро многих постигло разочарование. Число учеников стало катастрофически сокращаться, и наконец единственным источником дохода остались взносы мелкого предпринимателя из Джуронга; его старший сын с трудом окончил среднюю школу и сейчас

учился у профессора, за что отец регулярно платил сто с небольшим долларов в месяц.

Сравнивая нашу жизнь с огромной сетью, а профессора с жалкой трепещущей рыбешкой, можно сказать, что после возвращения из больницы профессор быстро сообразил, что сеть вокруг него затягивается и вырваться из нее нет никакой возможности...

Ослабевший после болезни, он лежал на старом диване, а возле суетилась его пышнотелая супруга. Она старалась втолковать мужу, что срок аренды давно истек и хозяин уже дважды напоминал о плате. К тому же в доме не осталось ни денег, ни зернышка риса.

— Как нет денег? — взорвался профессор, не выдержав скучных жалоб жены. — Неужели, пока я лежал в больнице, они ничего не заплатили?

— У тебя что, хворь совсем память отшибла? — вскинулась жена. — Ведь сегодня только пят-на-дца-тое, и Адань еще не сбыл свой товар.

Ван тяжело вздохнул.

— Придется попросить рис в долг в лавке «Вечное величие». Мы там постоянные покупатели. Попросим еще разок — ничего с ними не случится!

Простое и мудрое предложение мужа мгновенно вызвало гнев пышной дамы. Она всплеснула толстыми короткими ручками.

— Старый верблюд! — заверещала жена. — Только и знаешь валяться на диване и давать дурацкие советы!

Удивительно, до чего супруги не походили друг на друга. Профессор Ван был худ как жердь, а жена напоминала хорошо откормленную свинью. Любая пища, даже самая низкокалорийная, попав в ее чрево, сразу превращалась в жир и сало.

Профессору почудилось, что огромная туша супруги стала увеличиваться в размерах и вот-вот навалится на него всей тяжестью. Он почувствовал, что задыхается...

— Я... я... — Он попытался что-то сказать, но речь его прервалась. Перед глазами мелькало разъяренное лицо супруги. Наконец женщина исчезла...

Проклятье! В такую мерзкую погоду даже собака не высунет носа из своей конуры, а ему приходится идти. Куда? Где достать деньги? Может быть, лучше остаться? Перед выпиской из больницы доктор говорил, что он еще не совсем поправился и неплохо бы еще немного отлежаться. А жена не понимает. Только вернулся — она сразу устраивает скандал. Глупая баба! Надо было остаться в больнице. Лежал бы себе тихонько в

общей палате...

Все эти три дня профессор Ван пребывал в мрачном настроении. Стараясь не делать лишних движений, он лежал на обшарпанном диване, покидая его лишь по двум надобностям: справить нужду или поесть. На злобное ворчанье жены он не обращал внимания, делая вид, будто ничего не слышит и не видит.

В это хмурое утро на душе профессора было особенно тоскливо. Из кухни, где жена готовила завтрак, доносился оглушительный грохот: назло мужу она что было мочи гремела пустыми железными коробками для риса. Профессор неподвижно лежал с закрытыми глазами и тяжело вздыхал, как вдруг его потревожило чье-то прикосновение.

— Папа! Тебе письмо!

Перед ним стоял младший сын, ученик пятого класса начальной школы.

Профессор вскрыл конверт и обнаружил в нем письмо от своего последнего ученика. Дьявольщина! И этот отказывается от уроков! Профессор скомкал листок и злобно швырнул его в плевательницу, стоявшую под низким чайным столиком. Он презрительно усмехнулся и пробурчал что-то нечленораздельное, при этом его искажившееся лицо испугало мальчика, и тот юркнул в угол.

Тем временем на столике появилась миска с жидкой кашей, от которой поднималось облачко пара, и две тарелки, на одной — ломтики соленых яиц, на другой — горстка маринованных овощей: обычный завтрак. Струйка холодного воздуха, проникшая в комнату, донесла до чуткого носа профессора запаха пищи. В животе раздалось громкое, вызывающее урчание. Профессор даже немного приподнялся на своем ложе и уже было опустил ногу, стараясь нащупать туфлю, как тут зазвенел звонок.

— Акай, взгляни, кто там пришел! — крикнул он сыну.

Мальчик побежал к двери.

— Папа! Это к тебе! — раздался его звонкий голос.

— Проводи гостя!

Профессор принял сидячее положение.

В комнату вошел молодой человек, его земляк Сунь. В те памятные времена, когда профессор жил не столь убого, как сейчас, он частенько заглядывал в землячество сыграть несколько партий в мацзян. В числе его постоянных партнеров был и Сунь. Но в последнее время они не встречались, и неожиданный этот визит удивил хозяина.

— А, господин Сунь! Какой редкий гость! Присаживайтесь,

пожалуйста, прошу вас! — Хозяин изобразил что-то вроде поклона, однако положение на диване не изменил.

Крупное квадратное лицо гостя, одетого в перешитую военную куртку, было покрыто капельками пота, хотя в эту пасмурную погоду жары совсем не чувствовалось. Сунь уселся на стул возле чайного столика и, отерев платком лицо, внимательно оглядел комнату.

— Господин профессор! — обратился он к хозяину, обнажив два ряда крупных, как клыки, желтых зубов. — Наверно, не очень просто найти такое помещение, как ваше. — На самом деле он подумал, что такая дыра совсем не похожа на кабинет ученого.

— Здесь очень удобное сообщение! — проговорил Ван. Он откинул голову на спинку дивана. Из-под тяжелых полуопущенных век на гостя смотрели мутные глаза. — Если на пристани вы сядете в автобус номер один, он довезет вас прямо до нашего дома. Остановка, можно сказать, возле самых дверей!

В комнате появился сын профессора с двумя чашечками.

— Господин Сунь, прошу вас!

Гость взял чашечку. Чай был очень жидкий, на поверхности плавало несколько чаинок. Гость отхлебнул из чашки, но никакого вкуса не почувствовал. Тем временем хозяин снял крышки с двух стеклянных вазочек, стоявших на чайном столике. Одна была наполовину заполнена мелким жареным арахисом, во второй гость заметил немного арбузных семечек, не больше щепотки.

— Прошу вас, отведайте! — предложил хозяин, наклонившись вперед, а затем снова откинувшись на спинку дивана. На его лице появилось страдальческое выражение.

Гость извлек из вазочки два зернышка арахиса и сунул их в рот. Орешки даже не хрустнули. Они оказались вязкими и прилипали к зубам. Очевидно, они пролежали в вазочке много дней. Гость нахмурил брови. Попробовать арбузные семечки он не решился.

— Мне кажется, я пришел к вам не совсем вовремя! — Гость бросил взгляд на стол, где стоял завтрак. В его голосе послышались извиняющиеся нотки. — Помешал вам завтракать!

— О, что вы! Пустяки! — встрепенулся хозяин. — Просто жена должна накормить сына, ему пора в школу... А сам я целую неделю пролежал в больнице и только на днях выписался. Врач велел мне посидеть несколько дней дома. Вот я и не встаю с дивана. Представьте, мне совсем не хочется есть. Наверное, оттого, что я почти не двигаюсь. Могу не есть целый день, и хоть бы что...

— Да, после болезни следует хорошо отдохнуть... Ну и, конечно, соблюдать диету, ни в коем случае не переедать, — согласился гость. Взглянув на этого полумертвеца, Сунь подумал, что хозяин магазина, пославший его, явно просчитался. То ли дело пригласить на открытие своего заведения соблазнительных певичек или танцовщиц... А он решил позвать этого жалкого книжного червя. Странное желание! Хозяин, правда, заметил, что приглашение ученого для разрезания ленты лишено банальности и свидетельствует о тонком вкусе. Чудак!

— Как жаль, что вы не вполне поправились! — проговорил Сунь. — Дело в том, что послезавтра, в субботу, состоится открытие нашего часового магазина. Мой хозяин рассчитывал на вашу помощь! Он хотел, чтобы вы разрезали ленту...

Предложение гостя сулило деньги. Сердце Вана радостно забилося, и в глазах появился отсутствовавший дотоле блеск.

— О, это не имеет никакого значения, — торопливо ответил он. — Но я не очень хорошо знаком с вашим хозяином, впрочем, мы тоже, кажется, с ним земляки, поэтому мой долг помочь ему... Только и у меня будет к нему небольшая просьба.

— Какая же? — Гость удивился такому быстрому согласию. В его представлении профессор для поддержания своего авторитета должен был немного поломаться.

— Мне бы хотелось, чтобы ваш хозяин дал бы в газеты сообщение о моем приглашении на церемонию разрезания ленты. И еще: чтобы в газетах обязательно поместили мою фотографию. Словом, я хочу, чтобы столь крупное событие получило бы как можно более громкую огласку.

— Разумеется! О чем разговор! Хозяин решил как можно шире разрекламировать открытие большого торгового дела! — Гость осклабился, опять показав желтые зубы.

Хозяин, поднявшись с дивана, вышел в другую комнату и вскоре вернулся со своей фотографией и визитной карточкой. На фотографии, сделанной лет десять назад, был запечатлен он сам.

— Возьмите! — сказал он, протягивая фотографию и визитную карточку гостю. — Они пригодятся. Пусть увеличат и сделают клише. Чем крупнее, тем солиднее будет выглядеть.

Гость в почтительной позе стал внимательно рассматривать фотографию. Затем он взглянул на профессора. Между оригиналом и копией он не нашел никакого сходства. На визитной карточке он прочитал ряд мелких знаков, обозначающих титулы ее владельца: «визитирующий профессор», «почетный профессор», «ректор такого-то колледжа»... Не

дочитав всех титулов до конца, он положил карточку вместе с фотографией в карман пиджака.

— Благодарю вас, профессор!

Проводив гостя, профессор занял прежнее место на диване и смежил веки, собираясь предаться раздумьям. Но спокойствие уже покинуло его. Профессора приятно волновала мысль о том, что завтра в сингапурских газетах в разделе хроники появится его портрет. Однако еще более важно то, что после церемонии хозяин магазина вручит ему красный пакет^[138]. Говорят, что рядовой певичке за подобную церемонию перепадает долларов восемьсот, а иногда и тысяча. А ведь он крупный ученый! Авторитет! Он-то уж гораздо респектабельней какой-то ничтожной актрисы. Поэтому и гонорар должен быть, конечно же, гораздо выше. Разумеется, профессору были хорошо известны некоторые особенности местной жизни. В торгашеском обществе, где все измеряют деньгами, какой-нибудь состоятельный делец стоит по своему положению куда выше, нежели литератор, учитель и даже ученый.

Гонорар этих интеллектуальных кули подчас ниже заработка простого лоточника — уличного хоккера, который торгует где-нибудь на темной улочке возле Малого Склона. Стоит ли удивляться тому, что общество смотрит на них без всякого уважения...

Однако профессор быстро себя успокоил. Ведь он, профессор Ван, совсем не такой, как другие. Его все знают, глубоко чтут, приглашают на торжества. Вот и сейчас за ним прислали человека. Сразу видно, что к нему относятся с большим уважением. Правда, он не вполне уверен, что его награда превзойдет сумму, которая обычно дается певичкам-звездам, во всяком случае, она будет не меньше.

При мысли о награде на его губах появилось подобие улыбки, а на впалых щеках вспыхнул румянец.

В комнату из кухни вошла с посудой жена.

— Послушай! — обратился он к ней. В его голосе слышалось радостное возбуждение. — Достань-ка мой парадный костюм и приведи его в порядок.

В субботу около полудня к дому профессора подкатило такси, в котором сидел Сунь. Профессор, давно уже готовый, ждал его в своем кабинете на диване, томясь в ожидании. На нем был хорошо отутюженный костюм, вокруг шеи подвязан галстук красновато-кирпичного цвета. Жидкие волосы, смоченные бриллиантином, лежали ровными прядями,

прикрывая лысину.

Доставив Вана и его спутника в центр города, машина остановилась на оживленной улице, за углом нового семиэтажного здания. «Часовая мастерская «Метрополис», — прочитал профессор на вывеске. Возле широких дверей стояли корзины с цветами. Над дверью висела таблица с надписью: «Церемония открытия часовой фирмы «Метро-полис». Она тоже была украшена цветами. Толпившиеся возле входа прохожие заглядывали внутрь, с завистью рассматривая разложенные на стеклянных прилавках сверкающие часы дорогих марок.

Выпятив грудь, Ван в сопровождении Суня вступил на тротуар. Ему навстречу из дверей выбежали несколько человек в парадных костюмах и галстуках — по всей видимости, служащие фирмы. Растолкав зевак у входа, они приветствовали гостя и провели его внутрь. Сунь представил его главе вновь учреждаемой фирмы — лысеющему коротышке со скуластым лицом.

— О, профессор! Прощу, входите! — почтительно проговорил скуластый коротышка. — Мы давно ждем вас.

Вместе с толпой людей Ван вошел в зал и уселся на диване, очевидно, специально купленном для этой церемонии. Кто-то из служащих тотчас поднес ему стакан пенящегося пива. Медленно потягивая темную жидкость, ученый с удовольствием принимал знаки внимания, которые оказывали ему глава фирмы и его подчиненные.

Профессору казалось, что его со всех сторон обволакивает что-то мягкое, словно вата, отчего тело его испытывает приятное томление. Неизъяснимо блаженное состояние!

В демонстрационном зале вспыхнули двадцать или тридцать светильников, сияние которых отразилось на многоцветных лентах, свисающих с потолка. Слепящий блеск от круглых, овальных, треугольных, шестиугольных часов, развешанных на стенах, слился со сверканием витрин, за стеклом которых были выставлены мужские и женские наручные часы, сделанные из золота, серебра и других металлов. Особое внимание профессора привлекли массивные часы, украшающие центральную часть стены. Они изображали большого паука, по бокам которого тянулись попарно длинные золотистые лапы. Ван подумал, что такую штуку неплохо было бы водрузить в своем кабинете. Часы, несомненно, придали бы комнате более импозантный вид.

В густой толпе людей, стоявших у входа, возникло какое-то движение. Оттуда донеслись оживленные голоса и смех. Очевидно, прибыли новые именитые гости. Коротышка хозяин, извинившись перед Ваном, поставил

стакан с пивом и направился к дверям.

Мимо профессора то и дело проходили какие-то люди, бросая на него любопытные взгляды. В этот момент грудь профессора непроизвольно выпячивалась, а шея вытягивалась. В другом конце зала он заметил модно одетых дам; щелкая орешки, они весело болтали между собой. Время от времени женщины поворачивали головы в его сторону и пристально его рассматривали, после чего обменивались замечаниями или громко смеялись, склонившись друг к другу. Одна из дам, белотелая и пышная брюнетка, довольно молодая, с приятной внешностью, как-то особенно улыбнулась ему. Он не понял, была ли эта улыбка случайной, но у него стало удивительно приятно на душе. Ощущение блаженства неожиданно было прервано голосом хозяина:

— Господин профессор, пора начинать! Уже ровно двенадцать!

Коротышка был возбужден, и его голос напоминал радостное гоготанье.

Профессор поднялся. Толпа раздалась в стороны, образовав проход, и он в сопровождении хозяина двинулся к дверям. В толпе послышались робкие хлопки. Но ему казалось, что громкие аплодисменты сопровождают каждый его шаг. Да, господин профессор, как яркая звезда, украшал сегодняшнее торжество! Он находился в центре всеобщего внимания. Сделав над собой усилие, он разомкнул уста, изобразил на лице подобие улыбки. Его голова вежливо склонялась перед незнакомыми лицами, которые проплывали мимо него.

Поперек парадных дверей была уже натянута длинная красная лента, отделяя присутствующих в зале от прохожих, столпившихся на тротуаре под навесом здания.

Коротышка хозяин подал профессору изящную коробку. Ван приоткрыл крышку, и глаза его загорелись. На дне, на лебяжьем пуху, он увидел ножницы, от них исходило золотистое сияние. Профессор взял их в руки. Они показались ему очень тяжелыми. «Наверное, из чистого золота!» — подумал он. Рука, державшая драгоценность, задрожала, и ему надо было сделать над собой усилие, чтобы перерезать красную ленту.

Со всех сторон послышались аплодисменты, одобрительные возгласы. Раздался оглушительный треск хлопушек, которые гроздьями висели у входа под навесом. Едкий селитровый дым, просочившийся в зал, густым облаком окружил гостей. Окутанный дымом профессор сунул коробку в карман. Его мысли были всецело поглощены ножницами, лежащими в изящном футляре, и он даже не обратил внимания на бокал с коктейлем, который в это время ему поднесли. Он стал поспешно прощаться. Сунь

подозвал к дверям магазина такси и помог ему сесть.

Едва переступив порог дома и не успев даже снять пальто, профессор громко крикнул:

— Алань! Алань!

— Что там у тебя? — В дверях появилась жена, вытирая тряпкой полные розовые руки. Ее выщипанные брови сдвинулись к переносице.

— Взгляни! Они из чистого золота и... несомненно, очень дорогие, — проговорил он.

Жена взвесила в руке ножницы, оценивая их с видом опытного специалиста. Затем она достала булавку и сделала на металле несколько царапин. Муж в это время уже сидел на диване и снимал ботинки. Хмыкнув, она швырнула ножницы на чайный столик.

— Старый дурень! Урод! Целыми днями гредишь о богатстве, а не можешь отличить простую медяшку от золота!.. А может быть, ты решил меня разыграть, чтобы доставить себе удовольствие?

— Что ты городишь? Какая же это медяшка?

Не веря жене, профессор взял ножницы и стал пристально их разглядывать со всех сторон. Проклятье! Жена права. Ножницы лишь покрыты позолотой. На лице профессора появилось выражение отчаяния.

— Давай-ка деньги! — Перед лицом Вана возникла широкая, как лопата, ладонь.

— Какие деньги?.. Откуда они у меня? — растерялся профессор, вытаращив на нее глаза.

— Нечего вилять! — прикрикнула женщина. — Сам говорил, что дадут красный пакет!

Поглощенный думами о золотых ножницах, профессор совсем забыл о пакете, который лежал в кармане пиджака. Он вспомнил о нем лишь сейчас. Ван хлопнул себя по лбу.

— Фу! Совсем память потерял!

Он достал из кармана пакет и обнаружил в нем две красные банкноты.

— Мерзавцы!.. — Профессор вскочил с дивана. — Только двадцать долларов! Торгаши! Людоеды!

Перевод с китайского Д. Воскресенского

После освобождения

Все началось в прошлом году, в тот злополучный день сразу же после рождественских праздников. Этот день хорошо запомнился Чокнутому. Возле европейских офисов на Раффлз-плейс царило обычное оживление, а торговые улицы, примыкавшие к Воротам Нарциссов близ Сити-холла и Верховного Суда, снова заполнились густыми толпами прохожих. Было около часа дня, когда у начала Хай-стрит появился автобус десятого маршрута. Шофер-бенгалец, непрерывно чертыхаясь, стал притормаживать машину, чтобы случайно не наехать на бестолково снующих пешеходов — куда-то спешащих местных дельцов, европейских женщин с детскими колясками, пришедших сюда за покупками.

Набитый пассажирами автобус остановился возле Стам-форд-кэнэл [\[139\]](#). Несмотря на ожесточенное противодействие кондуктора, в автобус втиснулся еще один человек — пузатый мужчина с портфелем под мышкой, по всей видимости, из числа тех, кого называют здесь датоу [\[140\]](#). Его круглое, как шар, брюхо, казалось, превосходило своими размерами живот готовящейся к родам женщины.

Брюхатый надавил на пассажиров с такой силой, что если бы Чокнутый не проявил ловкость и вовремя не вцепился в кожаную петлю, свисавшую с потолка автобуса, он непременно оказался бы на коленях женщины, которая сидела перед ним.

Чокнутый выругался про себя, однако вслух ничего не сказал, а лишь пристально посмотрел на толстяка. Смешно втянув в тело короткую шею, всю в складках жира, тот стоял перед ним, держась одной рукой за ремень, а другой прижимая к своему боку портфель. На Чокнутого он не обращал никакого внимания.

На толстяке была белоснежная рубашка и синие брюки. Чокнутый невольно оглядел свою застиранную, измятую одежду и проглотил слюну. В его душе зашевелилось какое-то неприятное чувство, причину которого он никак не мог уразуметь. Может быть, оно возникло оттого, что ему вдруг стало стыдно за свой неопрятный вид, или от неожиданного раздражения, вдруг охватившего его...

Недаром говорят: когда человек в беде, бесы гонятся за ним по пятам. Именно так и было в последние дни с Чокнутым. А сегодня ему особенно не везло.

Чокнутый ехал сейчас из Каланги [\[141\]](#) от своей тетки, он надеялся перехватить у нее немного денег — хотя бы долларов десять. Однако старая ведьма, промышлявшая ростовщицеством, наотрез отказала.

— Не дам! — отрубила она. — Даже под проценты не дам! Потому

что денег у тебя никогда не будет... Ищи работу, сопляк! Вниз катишься! Точь-в-точь как твой покойник папаша, пьяница. И за какие только грехи моей сестрице досталось такое счастье!

«Стерва! — ругнулся в душе Чокнутый. — Денег не дала, да еще припомнила покойного отца и больную мать приплела».

В тот момент в квартире на третьем этаже кроме них никого не было, и Чокнутый говорил с проклятой ведьмой с глазу на глаз. Он свирепо посмотрел на старуху, похожую на хищную птицу с крючковатым клювом. Во время разговора тетка все время стояла возле покрытого красным лаком массивного шкафа, запертого на три висячих замка. В его голове пронеслась мысль, отчаянная и страшная. Стоит только протянуть руку к этой тощей дряблой шее, легонько сдавить ее — и тщедушное тело старухи сразу же превратится в безжизненный мешок с костями. Нашарит у нее за пазухой связку ключей — и все жизненные проблемы разом будут решены... руки у него задрожали, а ладони стали липкими от пота. Он вздрогнул. Резко повернувшись, он бросился вниз по лестнице, прочь из этой проклятой квартиры.

Вспомнив сейчас недавно пережитую сцену, Чокнутый со страхом подумал: задержись он еще немного в той квартире на третьем этаже — и произошло бы нечто ужасное, непоправимое.

— Предъявите билет!.. Ticket! — Перед юношей возникло темное бесстрастное лицо кондуктора. Чокнутый помахал перед его носом бумажкой, и тот повернулся к толстяку.

Толстобрюхий вытащил из кармана тяжелый кошелек и не торопясь открыл его. Чокнутый увидел пачку красных ассигнаций, которые сразу же произвели на него впечатление. Кошелек быстро закрылся и последовал в карман брюк, но молодой человек заметил, что краешек его торчал из кармана. Стоит только протянуть руку — и кошелек у него! Чокнутый услышал громкое биение своего сердца: тук, тук... Но рука осталась неподвижной.

«Проклятье! — подумал он с раздражением. — Почему у меня сегодня в голове все время вертятся гнусные мысли?!»

Ему вспомнились слова матери: «Человек даже в самом безвыходном положении все равно должен оставаться честным!»

Шофер-бенгалец неожиданно затормозил, и машина резко остановилась. Пассажиров, не ожидавших толчка, бросило вперед, и, потеряв точку опоры, они рухнули друг на друга. Толстобрюхого, как и всех других, сильно качнуло, но он все же устоял на ногах, лишь еще крепче вцепился в ремень. Вдруг Чокнутый почувствовал, что на ногу ему

что-то упало. Парень скосил глаза вниз. На полу автобуса лежал кошелек толстобрюхого. Сердце юноши заколотилось. Он наклонился, поднял бумажник, однако сразу не отдал его владельцу, а на какой-то момент замешкался, будто колебался. Его рука ощущала мягкую кожу.

Вдруг раздался визг, словно свинью пырнули ножом.

— И-и-и!.. Мой кошелек!.. Украли!

Чокнутый вздрогнул. Рука, сжимавшая кошелек, задрожала.

— Здесь он, у меня... — проговорил юноша, запинаясь.

— Ах ты, подонок! Значит, это ты его утащил! — Тостобрюхий рванул кошелек к себе.

В автобусе начался переполох.

— Жулик! Вор! — слышались крики.

— Вот стервец! В один миг упер!

— Не крал я его! — стал оправдываться юноша. — Я только поднял и хотел отдать.

Но Чокнутого никто не слушал. Он почувствовал резкую боль от удара по левой щеке.

— Ишь смелый, сволочь! — проговорил какой-то жирномордый субъект с золотой серьгой в ухе; расталкивая пассажиров короткими мускулистыми руками, он протискивался к нему. На юношу уставились бычьи глаза, затянутые сеточкой красных сосудов. — А ну, пошли со мной!

— Я не вор! Я не крал! — попытался объяснить парень. — Он сам обронил кошелек.

— Хватит врать! Пошли! — Сильная рука схватила молодого человека за шиворот.

— Никуда я не пойду! — упирался изо всех сил Чокнутый. — Я не вор!

— Говорят, иди за мной! — Мужчина извлек из кармана брюк блестящие наручники. Парень сник.

Автобус подкатил к полицейскому участку, и Чокнутого, как жалкого цыпленка, втолкнули в зловещее здание, окруженное высокой стеной с колючей проволокой.

Вначале он пытался возмущаться, даже кричал и грозился, но мало-помалу свыкся с мыслью о заключении. Время берет свое. Днем вместе с другими узниками его гнали во двор, где он занимался унылым и тяжелым трудом, а вечером, как и все, он возвращался в свою крохотную камеру, чтобы провести на холодном цементном полу еще одну долгую ночь. Все связи с внешним миром, казалось, разом оборвались, и о той жизни,

которая текла за окном камеры, ему напоминала лишь старая мать, раза два навещившая его в тюрьме. Вскоре и она перестала приходить, так как слегла больная, не вынеся горя, которое обрушилось на нее.

Через полгода он получил долгожданную свободу. Однако мир нисколько не посочувствовал ему за то, что его бросили в тюрьму по глупой ошибке. Вместо жалости к себе он встречал лишь одно презрение. Люди больше не верили ему, косились, когда он приближался к ним, или уходили прочь, будто он прокаженный.

Найти работу стало почти невозможно. Хозяева, к которым он обращался с просьбами, узнав, что он сидел в тюрьме, наотрез отказывали ему. Правда, некоторые, не знавшие о его злключениях, иногда все же нанимали его на работу, но, едва прознав о его прошлом, тут же под разными предлогами увольняли.

После долгой полосы безработицы Чокнутому с грехом пополам удалось устроиться разнорабочим в лавке, которая носила громкое название «Добродетель и счастье». Работа и впрямь оказалась на редкость разнообразной. Торговыми делами ведал сам хозяин, походивший на хорошо откормленного борова, да его родственник — молодой бездельник с прыщавым лицом. Этот лоботряс числился в лавке приказчиком, но свои обязанности не исполнял, поскольку делать ничего не умел. Чокнутому пришлось работать за него. Он зазывал у входа покупателей, вел торговлю в лавке и помогал хозяйке на кухне — даже стряпал. Нередко хозяйка заставляла его сажать на горшок детей, менять мокрые пеленки. По существующим правилам каждому приказчику или подмастерью полагалось иметь один выходной день в неделю, однако хозяин лавки «Добродетель и счастье» всячески обходил этот порядок. В выходные дни Чокнутый был обязан находиться в лавке. Работая с утра до позднего вечера, он получал сущие гроши: не больше пяти — десяти долларов в месяц.

Но Чокнутый не роптал. Все, что ему пришлось пережить в последнее время, казалось, сделало его стойким. К тому же его теперешняя работа была ничуть не хуже той, которую ему доводилось выполнять в других местах. Зато в этом отдаленном районе острова его никто не знал, а значит, никто не мог ему напомнить о его прошлом, о котором он сейчас боялся даже подумать. Больше всего он хотел, чтобы все в этом мире забыли о нем, забыли навсегда.

Покупателей в лавке было мало, и торговля шла вяло. Обычно заходили лишь несколько женщин, что жили по соседству. Утром или вечером, возвращаясь с базара на Серангун-роуд, где торговали свежей

рыбой и овощами, они вдруг вспоминали, что им надо кое-что купить для дома: сахар, лапшу, сушеных креветок, мыло, туалетную бумагу или другие бытовые товары. Никто из соседок не знал истории молодого человека, и некоторые, кому этот молчаливый парень пришелся по душе, даже просили его иногда принести продукты на дом. Возможно, раньше он постарался бы как-то этим воспользоваться, но сейчас он гнал прочь эти мысли. Главное, ему надо сейчас продержаться год-другой, пока прошлое не отпустит его.

Он ушел в работу с головой и трудился не покладая рук. С его уст никогда не слетало ни слова обиды или недовольства. Чокнутый почти никуда не отлучался, а с наступлением темноты, заперев двери лавки, тотчас шел спать. Толстяк хозяин, которому угодить было очень трудно, как будто был им доволен.

И все же случилось так, что однажды он встретил здесь человека, который его узнал. Приближался полдень. Слепящие лучи солнца заливали узкий проулок, состоявший из старых ветхих домов. Утренний прилив покупателей схлынул, и ждать их в эти часы было почти бесполезно, поэтому Чокнутый решил закусить. После еды он притащил к дверям ворох старых газет, нарезал их на ровные квадраты и, смочив края бумаги клейстером, принялся мастерить треугольные кульки.

Мимо лавки, трясясь на выбоинах в асфальте, промчался большой грузовик, доверху груженный коробками. Густой шлейф пыли, поднявшейся за машиной, повис в воздухе, скрыв на какое-то время всю улицу. Брови Чокнутого сошлись в переносице.

«Ох уж эти королевские власти^[142], до сих пор не удосужились починить мостовую!» — подумал он.

В обычную погоду на улице от малейшего ветерка поднимался настоящий смерч, а во время дождя она превращалась в болото, наполненное клейкой жижей. Покупатели, с трудом извлекая ноги из липкой глины, несли грязь в лавку, и после их посещения Чокнутому приходилось хорошенько отдраивать пол.

Когда пыль осела, Чокнутый снова увидел дом, стоящий напротив лавки. В нем была аптека под названием «Зал вечной весны». Под навесом здания Чокнутый заметил фигуру, которая показалась ему очень знакомой. Он внимательно пригляделся. Сомнений быть не могло: Серьга! Сердце молодого человека екнуло. Прохожий повернул голову и, заметив парня, двинулся через улицу к лавке. Левая сторона его лица была обращена к юноше, и Чокнутый отчетливо увидел в его ухе серьгу, которая светилась тусклым желтым блеском. Из узких щелочек глаз на юношу уставились

злые зрачки. В уголках губ притаилась холодная хищная улыбка.

«Зачем он идет ко мне? Зачем?» — пронеслось в голове. Чокнутому показалось, что его сердце остановилось. У него засосало под ложечкой.

Но человек, который уже почти успел пересечь улицу, неожиданно повернулся и быстро зашагал прочь.

Словно гора упала с плеч. «Пронесло!» Чокнутый с облегчением вздохнул и опустил голову. Руки его продолжали механически двигаться, склеивая бумажные кульки. Мозг лихорадочно работал. «Почему Серьга появился в этой паршивой дыре? Случайно? Или разыскивал меня?»

Чокнутый ненавидел и боялся Серьгу, который, как злая звезда, стал для него символом несчастья. При виде его всякий раз по спине юноши пробегали мурашки. Чокнутый хорошо помнил тот день, когда он, несправедливо обвиненный в краже, оказался в участке. В тот день Серьга избил его до полусмерти. Но на этом мучения Чокнутого не кончились. Даже после освобождения Серьга все время следил за ним и следовал как тень.

И вот он снова появился, будто дьявольское наваждение! Неужели все начнется сначала? Эта мысль не давала юноше покоя, бередила душу.

Между тем день проходил за днем, а Серьга больше не появлялся. Чокнутый стал о нем забывать. Он с удвоенной энергией работал. Толстяк хозяин порой ворчал на парня, но в душе был им очень доволен, а иногда даже хвалил.

Однако успокаиваться было еще рано. Однажды произошел случай, о котором Чокнутый впоследствии не раз вспоминал. Как-то в лавку забрел один местный бездельник, некий Дин Аэр, который побирался в торговых рядах на Серангунском базаре. Он зашел купить пачку сигарет «Два персика». Когда он выходил со своей покупкой из дверей, внезапно вошел хозяин с товаром. Заметив уходящего шалопая, толстяк сразу же бросился к витрине и, громко сопя, стал пересчитывать лежавшие на ней пачки.

— Ах подонок! — взревел он. — Успел-таки упереть пачку «Трех пятаков»!

Брызгая слюной, толстяк принялся костить проходимца Аэра, а вместе с ним и Чокнутого, который плохо смотрел и не уследил, как у него из-под носа стащили пачку сигарет. Значит, парню придется возмещать убыток. Злосчастная судьба! Толстяк продолжал кричать и браниться, пока его не остановила жена, которой надоела ругань мужа.

— Будет тебе орать! Что ты на него напустился! Ведь ты же не видел, кто украл. Зачем напраслину возводишь на человека?!

— Бестолочь! — взвился толстяк. — Что ты понимаешь, глупая баба?

Думаешь, зря этого проходимца сажали в каталажку? Таких подонков, как этот Дин, надо держать в ней вечно и не выпускать! Куда только смотрит королевская власть?!

Лицо юноши побледнело. Метелка из куриных перьев, которую он держал в руке, упала на пол, но, к счастью, толстяк не обратил на него внимания. Он продолжал бесноваться и кричать, на чем свет ругая злодеев, которым место в тюрьме.

На сердце юноши словно опустился тяжелый камень. Рано или поздно хозяин, конечно, узнает о его прошлом, и тогда конец — его вышвырнут за дверь одним пинком ноги...

Как-то на их улице случилась неприятная история. Три бандита в масках в полночь вломились в соседнюю парикмахерскую «Серебряная шпилька». Связав хозяина и его жену, они заперли их в кладовке, а сами, собрав все наличные деньги, исчезли, прихватив с собой небольшой металлический сейф. Эту новость принесла бледная от страха хозяйка, которая ходила за покупками на рынок. Ее рассказ привел супруга в большое волнение. Толстяк забегал по лавке, что-то бормоча под нос.

— Эй ты! — Странно вытянув шею, он вдруг подбежал к Чокнутому. Его голос сорвался на истерический визг. — Ты куда вчера вечером ходил?.. С этого момента, если будешь отлучаться, изволь сначала доложить мне!

Молодой человек хотел объяснить, что он всего-навсего сходил купить полотенце и сразу же вернулся обратно. И действительно, после истории с побирушкой Дином он вечерами почти никуда не отлучался и покидал лавку только в особых случаях, когда хотел повидать мать или купить что-то необходимое для себя.

Чокнутый промолчал и, взяв веник, принялся мести пол, перемещаясь в дальний угол лавки. Но вот наконец толстое брюхо хозяина уплыло во внутренние комнаты и оттуда послышался его приглушенный разговор с женой. Чокнутый перевел дух. Веник был ему больше не нужен.

Вдруг на полу лавки, прямо перед ним, возникла тень появившегося в дверях человека.

— Эй, Чокнутый! — раздался насмешливый голос. Резкий и громкий, он разрывал барабанные перепонки. — Поди-ка сюда!

У парня помутилось в глазах.

— Серьга!.. Зачем я тебе? — Голос молодого человека дрожал. Он боялся поднять глаза на свирепое лицо своего преследователя. Его взгляд был прикован к мутно желтевшей серьге, которая притягивала его своим холодным таинственным блеском.

— Заскулил, сволочь! Будто не знаешь, что вчера здесь обчистили лавку! — Чокнутый услышал презрительный смешок.

— А я тут при чем?..

— Ну, будет болтать! Потопали!

— Серьга, ну пожалуйста!..

Юноше вдруг захотелось сесть. Ноги, как ватные, больше не держали его. Голос парня звучал тихо, просительно. Чокнутый боялся, что их разговор услышит хозяин.

— Что здесь происходит? — слышалось блеяние толстяка, выбежавшего из кухни. — Что случилось?

Вытаращенные глаза, прикрытые мутной пленкой, уставились на посетителя. Толстяк сразу понял, кто перед ним, и догадался о цели визита. Он как-то странно сжался, и его голова ушла в плечи.

Серьга, ослабившись, протянул руку к полке и, с независимым видом взяв из банки «Три пятерки» сигарету, сунул ее в рот и закурил. На толстяка он даже не взглянул. Чокнутый вышел за ним.

В полицейском участке Чокнутого продержали целый день. После допроса его поставили в один ряд с какими-то парнями для опознания хозяином ограбленной парикмахерской. Потом его отпустили, и он сразу же вернулся в лавку. Толстяк хозяин, отсчитав ему положенные деньги, сказал, чтобы он убирался прочь...

Для Чокнутого началась новая полоса испытаний...

Перевод с китайского Д. Воскресенского

С. Раджаратнам

С. Раджаратнам принадлежит к старшему поколению сингапурских писателей. Он — политический деятель, бывший одно время министром иностранных дел Сингапура. Рассказы С. Раджаратнама публиковались за рубежом, в том числе в Советском Союзе («Восточный альманах», № 8, ИХЛ, 1980).

В предлагаемом вниманию читателя рассказе «Тигр» писатель говорит о вечных законах жизни, о близости человека к природе, о необходимости бережного к ней отношения.

Рассказ необычайно поэтичен. Ужас от встречи с тигрицей заставил беременную женщину поднять на ноги всю деревню. Охотники отправляются на поиски зверя и убивают его. А когда приходит весть, что рядом с убитой тигрицей были найдены несколько только что появившихся на свет тигрят, женщина испытывает наряду с благодарностью к тигрице за сохраненную ей жизнь жалость к обездоленным тигрятам. Прекрасно описанные автором сумерки, спускающиеся на тропическую природу, или глаза тигра, выражение которых меняется в зависимости от настроения животного, позволяют нам почувствовать, как бы вдохнуть далекий от нас мир джунглей.

В. Нестеров

Тигр

Фатима окунулась в прохладную мутно-желтую реку, и ей показалось, будто широкие золотые ленты воды, вспыхнувшие под лучами заходящего солнца, медленно обвилились вокруг тела. Фатима пошла назад к берегу и остановилась в том месте, где вода доходила ей только до пояса. Под мокрым саронгом, прилипшим к полному коричневому телу, обрисовались налитые груди и округлый живот беременной женщины. Скуластое лицо утратило выражение мрачной чувственности, присущее лицам малайских женщин, а подернутые грустью непроницаемо черные глаза как бы смотрели внутрь самой Фатимы, где билась новая жизнь.

Фатима тряхнула головой, распустила черные блестящие волосы и подставила их шепчущему ветерку. С того места, где она стояла, деревня, скрытая кустарниками и высокими деревьями, не была видна. Ни единого

звука не доносилось оттуда. Перед Фатимой расстился ковер из густой высокой травы.

Вечер выдался тихий. Воздух застыл в неподвижности. Лишь изредка доносился крик одинокой водяной птицы, или зловеще хлопали крыльями совы, пробуждающиеся ото сна. Или крысы с легким всплеском ныряли в воду, шелестели в высокой траве и кустарниках какие-то маленькие зверьки. Пахло луговыми цветами, травой и болотом. Фатима вдруг почувствовала себя очень одинокой и очень заброшенной, будто очутилась в первозданном хаосе, когда земля еще была топким болотом и кишела отвратительными чудищами.

Поэтому низкое вибрирующее рычание тигра, которое вдруг услышала Фатима, вначале лишь усилило иллюзию. Лишь когда тигр взревел, Фатима поняла, что это — действительность. Массивная голова тигра, торчавшая из травы, прижатый к земле загривок были всего в каких-нибудь двадцати ярдах от женщины. Солнце высвечивало зловещий блеск пристальных желтых глаз, настороженные уши. Тигр повернул голову, зарычал, обнажив красный язык и желтые клыки, похожие на обрубленные сучки дерева.

Фатима застыла от ужаса перед устремленными на нее сверкавшими глазами тигра, а внезапно воцарившаяся тишина лишила ее способности соображать. Она не осмеливалась ни двинуться с места, ни отвести глаза от уставившегося на нее зверя; тигр, в свою очередь, тоже замер, только от изумления, когда увидел перед собой человека.

Фатима смотрела на тигра со страхом, тигр на Фатиму — с подозрением. Рычание его становилось все менее грозным, и он не выказывал ни малейшего желания напасть на женщину. Напротив, через какое-то время он явно потерял к Фатиме всякий интерес. Его огромные, вытянутые вперед лапы то и дело вонзали когти в сырую траву. Казалось, ничто не привлекает внимания тигра, лишь когда Фатима делала едва заметное движение, он настораживался. Глаза тигра больше не сверкали, в них появилось мрачное, скорее даже скупающее выражение. От Фатимы не ускользнула эта неожиданная смена его настроения.

С холмов напоздали сумерки, краски утрачивали яркость, все погружалось в серую мглу, неприметно переходящую во мрак. Легкий туман поднялся над рекой и потянулся к земле. Резкий крик цикады и отдаленное гуканье совы известили о наступлении ночи.

Теперь, когда Фатима немного опомнилась, ее охватило чувство полного изнеможения. Она дрожала от холода и совсем пала духом — тигр не собирался уходить. Женщина приложила руки к животу, и ощущение

жизни, которая существовала внутри ее, вызвало неукротимую решимость искать спасения. Фатима непрерывно смотрела на тигра, едва различимого в темноте, и чувствовала, когда зверь отводил от нее глаза. Она ждала, тело ее напряглось и наполнилось небывалой силой. Вдруг, движимая отчаянием, она нырнула и поплыла под водой, касаясь руками дна. Фатима плыла к противоположному берегу, где стояла деревня, и выныривала, лишь когда чувствовала, что легкие ее разорвутся без воздуха. На середине реки она было потеряла направление, но, услышав рычание, испугалась больше, чем когда тигр был рядом. Неистово работая руками и ногами, она плыла к берегу, пока не увидела мерцающие огни масляных фонарей деревни.

После того, как мать Фатимы в преувеличенно мрачных красках расписала рассказ дочери, деревню охватила паника. Женщины не отпускали от себя детей, как наседки при виде коршуна, и, заперев на задвижки легкие двери домов, кричали, что мужчины должны что-то сделать с убийцей-тигром. Мужчины озабоченно загоняли коров и коз, а старики жевали свой бетель и пытались взять в толк, из-за чего весь этот шум. Измученная Фатима лежала на соломенной циновке, когда к ней явился деревенский староста в сопровождении целой толпы, чтобы узнать, где именно она видела тигра. Мать Фатимы снова принялась увлеченно и шумно рассказывать о встрече дочери с «полосатым», но староста велел ей нетерпеливым жестом помолчать. Затем он стал расспрашивать Фатиму. Фатима отвечала на его вопросы без особой охоты. Ей почему-то не хотелось, чтобы тигра выследили и убили. Староста нахмурился.

— Аллах! — воскликнула старуха, чтобы обратить на себя внимание. — Сам аллах милостью своей вырвал мою дочь из пасти «полосатого». — И она воздела морщинистые коричневые руки к небу. Староста пожал плечами.

— Допустим, так оно и было, — сказал он, — но в следующий раз аллах может оказаться не таким милостивым. Не очень-то приятно знать, что вокруг деревни бродит тигр, наверняка уж отведавший человеческого мяса. Чтобы женщины и дети были в безопасности, его надо выследить и пристрелить, чем' быстрее, тем лучше.

Он внимательно посмотрел на мужчин, безмолвных и настороженных. Каждый знал, как опасно отслеживать ночью тигра, особенно в густой, высокой траве, где у него полное преимущество быстрого и бесшумного нападения.

— Ну? — произнес староста.

Мужчины молча уставились в пол. Лицо старосты скривилось, и он

был готов обругать их за трусость, но тут вошел Мамуд с ружьем на плече. Юношеское лицо его горело от возбуждения.

— Слышал я, — нетерпеливо произнес он, — что на Фатиму тигр напал. Это верно?

Пока староста коротко и четко излагал ему суть дела, Мамуд перебирал пальцами свою новенькую двустволку со всем нетерпением пробудившейся охотничьей страсти. Он очень любил охоту, особенно на тигра, и хоть сейчас готов был отправиться в путь.

— Староста дело говорит, — заявил Мамуд. — Надо подумать о наших женщинах и детях. Ведь они, бедные, на шаг не смогут отойти от дома, пока тигр жив. Долг мужчин — защитить их. Кто пойдет со мной? Не будь я сыном своей матери, если не притащу тушу тигра еще до рассвета, но мне нужны помощники.

После некоторых колебаний с десятков мужчин, ободренных словами Мамуда, а также его славой меткого стрелка, вызвались пойти на тигра.

— Вот и прекрасно! — воскликнул Мамуд. — Я знал, что вы не подведете.

Мужчины ушли.

— Поверь мне, дочка, — сказала мать Фатиме, закрывая на засов дверь, — этот парень, Мамуд этот, сам как дикий тигр.

Фатима поднялась с циновки и посмотрела в узкое окошко на луну. Словно разрезанная на серебряные слитки слегка колышущимися пальмовыми ветвями, она заливала все вокруг своим мягким светом. Мужчины перекликались приглушенными взволнованными голосами, заканчивали последние приготовления к охоте. Фатима угрюмо смотрела им вслед. Затем мужчины исчезли, и остались лишь одетые в серое деревья и шепот листьев под порывами ветра. Только напрягая слух, Фатима смогла уловить отдаленное журчание реки.

Где-то сейчас, подумала Фатима, тот тигр, о котором она думает весь вечер. Хорошо, чтобы он успел уйти подальше, пока не подросли охотники.

— О аллах, — запричитала мать, берясь толочь орехи в деревянной ступе, — эта ночь — ночь смерти. Подумай о людях, которые впотьмах ищут зверя, хитрого, как сто лисиц, который даже в темноте точно определяет расстояние. Увидишь, еще ночь не кончится, а в деревне будут плакать по покойнику.

— Не надо бы трогать тигра, — сказала Фатима, не отходя от окна.

— Что ты болтаешь! — возмутилась старуха. — Его надо убить, пока он не убил нас. Другого выхода нет.

— Может, он и сам ушел бы.

— Уж если тигр подобрался к деревне, он не уйдет, покуда своего не добьется, — ворчала старуха. — Всем известно, только тигры-людоеды бродят около деревень.

— Но этот тигр не был похож на людоеда, — возразила Фатима.

Старуха ничего не сказала, лишь презрительно фыркнула.

— Тигр был от меня ярдах в двадцати, не больше, и очень легко мог бы на меня прыгнуть, — заметила Фатима. — Но он мне ничего не сделал. Почему? Ты можешь это объяснить, мама? Он, правда, следил за мной, но и я следила за ним. Сначала у него загорелись глаза, а потом стали спокойными и скучными, и он смотрел на меня без всякой злобы...

— Ну вот, ты говоришь такие же глупости, как, бывало, твой отец. — Мать ожесточенно толкла орехи. — Он уверял, что ветер напевает ему песни. Пусть простит меня небо, что я так говорю о твоём умершем отце, — но он бывал временами каким-то чокнутым.

Фатима хмуро выглянула в окно и прислушалась. Деревню окружала могильная тишина, а дома будто окутали саваном. Сжав отекавшие руки, Фатима напряглась, вслушиваясь в тишину и стремясь уловить хоть какой-нибудь звук. Сердце её билось в унисон с ударами песта по деревянной ступе. Вдруг тело её пронзила острая боль. Она схватилась за живот.

— Что с тобой, Фатима? — спросила мать.

— Ничего, — процедила сквозь зубы Фатима.

— Уйди со сквозняка и ложись!

Фатима чувствовала, как боль то нарастает, то спадает. Она закрыла глаза и снова увидела перед собой тигра, притаившегося в зарослях высокой травы, увидела его глаза, вначале налитые кровью, сверкающие, а потом усталые, спокойные.

Вдруг вдали прозвучал выстрел. Следом ещё один.

Фатима вздрогнула, будто стреляли в неё. Затем раздался рев тигра, полный боли и ярости. Крик животного, долгий, предсмертный, на несколько секунд целиком завладел всем её существом. Ей захотелось эхом отозваться на этот крик. Лицо Фатимы напряглось от боли, тело покрылось потом. Из груди вырвался стон.

— Боже мой! Боже мой! — запричитала старуха. — Тебе плохо? Что такое? Иди ложись... Началось?

— У меня схватки, мама, — задыхаясь, простонала Фатима. Мать отвела её к циновке и уложила.

— Ну и хорошенькое же время, чтобы рожать, — заплакала испуганная женщина. — Ты полежи, а я приготовлю тебе горячее питье. И

за повитухой не сбегаешь, пока мужчины не вернулись. Ох и ночь выдалась для бедной старухи.

Фатима лежала на циновке, плотно закрыв глаза, мать грела воду и что-то бормотала.

— Послушай, — вдруг сказала она, — по-моему, это мужчины возвращаются. Я слышу голоса.

Деревня так и звенела взволнованными голосами мужчин и женщин.

Старуха осторожно открыла дверь, кого-то позвала.

— Мамуд молодец, тетушка, — завопил влетевший в дом мальчишка. — Убил тигра, и они притащили его сюда! Здоровенный! И как отбивался! Даже после двух выстрелов был еще жив, копьями добивали. И знаете, что оказалось?

Фатима внимательно смотрела на мальчишку. Старуха с нетерпением повернула к нему свою маленькую иссохшую голову.

— Что?

— Как только убили тигра, кто-то с ним рядом не то запищал, не то замяукал. Посветили фонарями — а там трое тигрят, совсем маленьких! Совсем слепенькие! Мамуд сказал, что им от роду несколько часов. Их-то тигрица и защищала! Мамуд сказал, что за тигрят хорошую цену дадут!

Фатима застонала от боли. На лбу выступил пот.

— Мама! — закричала она.

Старуха подтолкнула мальчишку к дверям.

— Беги за повитухой, скорее! За повитухой!

Мальчишка вытаращил глаза, ахнул от изумления и побежал за повитухой.

Перевод с английского В. Нестерова

С. Кон

С. Кон принадлежит к молодому поколению сингапурских писателей, пишет на английском языке. Ее перу принадлежит немало рассказов, а также пьесы для взрослых и детей.

Рассказ «Мученичество Елены Родригес» свидетельствует о незаурядном таланте писательницы. Она знакомит нас с мало известной нам жизнью страны. Традиционная тема взаимоотношений между родителями и детьми имеет свою специфику в Сингапуре, где в условиях быстро развивающегося индустриального общества продолжают сохраняться и культивироваться исконно восточные семейные отношения.

В. Нестеров

Мученичество Елены Родригес

Ранние христиане покорили древний мир своим мученичеством, однако навлекать на себя мучения им не полагалось. Восточный темперамент превратил осознанную жертвенность в виде поста или самосожжения в мощное психологическое оружие. Елена Родригес, жена моего брата, была католичкой с Цейлона и, унаследовав обе традиции, искуснейше использовала принципы христианского мученичества в делах житейских.

Христианское мученичество, в отличие от бесхитростного домашнего мученичества, должно сочетаться с нежным всепрощением и терпеть муки под вуалью отрешенности. Здесь не применяется тактика «Никто и не знает, что мне приходится выносить» или «Я кровавые мозоли нажила, трудясь ради тебя». Сила Елены была в том, что она никогда не жаловалась и никогда не подавала вида, что имеет основания для жалоб. Так, однажды Алойсиус, счастливый муж с семимесячным стажем, пригласил меня к себе домой обедать, не предупредив заранее свою молодую жену. «Елена очаровательное существо, — уверял меня брат, — она будет счастлива, и для нее это не составит беспокойства».

Я не был в этом уверен. Мало зная Елену, я чувствовал за ее ласковостью, которая казалась всем искренней, что-то сковывающее, вязкое, от чего не отделаться. Дома Алойсиус с беспечностью новобрачного заявил жене, что я приглашен к обеду. Елена глянула на

него. Мгновение — и я увидел блеск стали из-под длинных ресниц, которые затем опустились с неподдельным смирением, и она тепло меня приветствовала. Не стала Елена и изображать из себя жертву, подав мужу и гостю отбивные, в то время как ей самой пришлось довольствоваться лишь яичком всмятку. На обед всем подали вкусно поджаренный рис, который поглощался за тихим разговором, направляемым Еленой в течение всей трапезы. Конечно, неожиданный гость должен был отправиться после этого домой, убежденный, как и все остальные, что Елена Родригес очаровательная женщина.

В пятницу обеденный стол был накрыт уже на три прибора, а на кухне жарились три порции рыбы. «Просто на случай, если ты, дорогой, приведешь кого-нибудь». Так продолжалось всю неделю: лишний прибор исчезал спокойно и тихо, а три порции молча делились на двоих. В понедельник за обедом Елена обратилась к своему окончательно усмирённому супругу и покорно спросила, приведет ли он кого-нибудь к ужину. Врасплох ее уже не застать. Больше Алойсиус не приводил гостей, не предупредив жену по крайней мере дня за три.

Иной раз ей приходилось заново готовить ужин, поскольку разогретые бифштексы становятся несъедобными, — и муж научился садиться за стол в положенное время. А после нескольких сдержанно-встревоженных звонков мужу на службу, когда его там не оказывалось, она приучила его каждое утро подробно излагать распорядок предстоящего рабочего дня.

Вы можете спросить, почему Алойсиус ответил на этот шантаж покорностью. Дело в том, что за нежным кротким лицом монахини в Елене таился дух императрицы Цыси...^[143] Если вы не соглашались с Еленой, то взгляд ее, обращенный к вам, был подобен лепестку цветка, желавшего коснуться ваших губ и угадать сокровенное желание. Вас наполняет чувство раскаяния — лишить добродетельнейшее существо возможности доставить радость ближнему. И вы понимаете, только бессердечные люди не могут пережить мелкие неудобства, дабы не огорчить дорогую Елену.

Через несколько лет Алойсиус скончался от прободной язвы двенадцатиперстной кишки, осложненной, по мнению докторов, «состоянием стресса и напряжения», которое, в свою очередь, явилось следствием многочисленных легких неудобств, обременительных поручений, возложенных на него Еленой. Вдова заявила, что посвятит остаток жизни маленькому Джорджу.

Я видел, как рос он в тисках материнской жертвенности и бескорыстия.

Система «Елена Родригес» подавляла в большинстве своем людей

мягких, соvestливых. Я раскусил эту женщину, и лишь только речь заходила о ее «чуждачествах», становился толстокожим и непробиваемым. Это приводило ее в бешенство, но Елена умела сдерживать чувства. Лишь иногда она шептала за моей спиной, что никто уже не ждет от меня внимания и сочувствия к бедному сироте, все знают, как я занят, хотя единственный дядя Джорджа и мог бы...

На самом деле мне было искренне жаль Джорджа. Как я уже сказал, не всякий в силах был противостоять Елене. Джордж же стал настоящей жертвой материнского воспитания. Елена развила в нем сверхчувствительность, граничившую с патологией, и воспитала таким образом, что он считал оскорбление материнской к нему преданности чуть ли не богохульством. Джордж был привязан к матери узами куда более крепкими, чем Алойсиус.

Когда мальчику исполнилось шестнадцать, мне показалось, что у него наконец появилась возможность освободиться. Только что он получил водительские права и ключи к семейному автомобилю, а это для многих ребят было хартией свободы. Джордж как-то заглянул ко мне, пока Елена причесывалась в парикмахерской, и я порадовался, что теперь он сможет появляться чаще, хотя ему, как обычно, надо будет отчитываться перед матерью в том, как он провел время. Я захотел познакомить его с моими молодыми племянницами и пригласил на завтрашний ужин.

— Боюсь, что не смогу, — ответил он с видом крайней озабоченности. — Мама не выходит по вечерам, вдруг ей будет одиноко? Она никогда не жалуется, но я знаю, что без меня ей скучно. Нет, я не могу бросить ее одну...

Я же был уверен, что с Еленой ничего не случится, если один вечер она проведет в компании двух слуг.

Однако и эта надежда на избавление Джорджа вскоре умерла. Ему рассказали, что мама вынуждена совершать исключительно трудные и утомительные поездки на автобусе. Джордж узнал это спустя несколько дней после печального случая, когда он уехал на машине, забыв (а мама не напомнила), что в этот день она играет в бридж. Елена отправлялась к остановке автобуса, как только он уезжал в школу, и проскальзывала обратно до его возвращения. Он и не догадывался, чего ей стоило «позволить Джорджу вволю пользоваться машиной». Конечно, вряд ли была необходимость пересекать Сингапур на автобусе, в самое пекло, ради визита к болтливым и весьма строгим тетюшкам Джорджа.

Он не мог допустить, чтобы мама испытывала такие лишения, и почти перестал пользоваться машиной. Джордж даже не знал, нужна ли ей

машина: на все его вопросы Елена, с присущей ей скромностью, отвечала отрицательно. Все эти события окончательно сломили Джорджа (если это не случилось раньше). Теперь она уже могла не напоминать сыну о своей заботливости, о том, как легко он может причинить ей страдание. Налаженный механизм вины действовал в нем безотказно. Изо дня в день Джордж изводил себя бичеванием за несомненные обиды, которые он причинил матери, или мучился невротическими размышлениями о предотвращении новых обид.

Джордж сдал выпускные экзамены в школе. Воспитатели говорили, что ему не хватало самостоятельности, хотя учился он добросовестно. Он поступил на службу в фирму, где были владельцами его родственники, и там ему представился последний шанс на спасение.

Каролин Адамс была пухленькой жизнерадостной девушкой с огоньком в глазах и заразительным смехом. У нее было отличное чувство юмора — оно-то как раз и могло бы защитить Джорджа от самопожертвования Елены. Она с удивительной проницательностью умела посмеяться над глупостью. И пыталась открыть Джорджу глаза на Елену — ее хорошенькое личико способно было подсластить любую пилюлю. Мне не удалось сделать это ни для брата, ни для племянника.

Джорджу пришлось нелегко. Несомненные факты, собственный здравый смысл и, в определенной степени, увлеченность девушкой убеждали, что его преданная матушка — это леди Дракула. Елена почувствовала, что над сыном ослабевает ее власть, и ринулась в атаку. Теперь уже редко когда она могла обходиться без сына, чье присутствие только и спасало ее от страха перед одиночеством. Детская радость матери, трогательная благодарность были настолько очевидны, что Джордж чувствовал угрызения совести, если проводил без нее хоть один вечер, и раскаяние глодало его — ведь в душе он уже мечтал о женитьбе.

До недавнего времени на здоровье Елена не жаловалась, она обходилась без этого оружия. Теперь же у нее возникли различные нервные симптомы, ознобы, сердцебиение. Она ни слова не говорила Джорджу, но доктор Де Круз, ее старый друг, со всей серьезностью сообщил потрясенному Джорджу, что у матери не очень крепкое сердце.

Высмеивать щепетильность Джорджа и доказывать ему абсурдность его опасений стало повседневной обязанностью Каролин. Они сделали меня поверенным своих планов и встречались в моем доме, когда у Джорджа хватало силы уйти от Елены. В другие вечера Каролин навещала меня одна и рассказывала о своих намерениях.

Виделись обычно они на службе. Люди вокруг, постоянное оживление

благодатно влияли на Джорджа, и шаг за шагом Каролин одерживала победы в битве за его душу. В один торжественный день они явились ко мне, чтобы сообщить о своей скорой женитьбе: Каролин не хотела давать Елене времени обработать Джорджа и заставить его передумать. Самое удивительное было то, что они уже сообщили об этом Елене. Каролин со всей мудростью и тактом любящей женщины убедила Джорджа, что он не убьет свою мать этой вестью.

День подошел, и имена вступающих в брак были оглашены в церкви. Молодые собирались отправиться в долгое свадебное путешествие в Пенанг, а после возвращения жить вместе с Еленой. Теперь Джордж часто находился в веселой компании, собиравшейся у Каролин. «У меня много друзей, — сказала мне Каролин, — они будут Джорджу надежной защитой».

Сердцебиения у Елены участились, и однажды утром она едва не упала в обморок. Конечно, она ничего не сказала Джорджу, а я в свое время посоветовал доктору Де Крузу не омрачать настроение жениха страшными предупреждениями, если только здоровью Елены и в самом деле не угрожает опасность.

Только постоянная поддержка и увещевания невесты помогли Джорджу выстоять против мучивших его угрызений вплоть до дня, на который была назначена свадьба. В последний раз отправился он домой один.

Последователи учения госпожи Эдди настаивают: дух обладает властью над физическим состоянием тела. Не могу уверять, что Елена знала об этом, но ночью Джорджа разбудили ее стоны и крики. Призванный в большой тревоге доктор Де Круз установил «сердечный приступ», самый настоящий приступ, который привел Елбну на грань смерти, но вернул ей беглеца, теперь уже навсегда. Я пришел в дом и был свидетелем его отчаянной истерики. Конечно, свадьба была отложена. Елена не хотела этого, но Джордж понимал, что явилось причиной приступа. Источнику несчастья, Каролин, он запретил даже приближаться к дому: всю тяжесть вины Джордж взвалил на себя, но и Каролин была причастна к этому, и он не мог заставить себя даже говорить о ней.

Юноша искал пути, чтобы наказать себя.

«Доктор сказал, — сообщил он мне с тяжелым вздохом, — что матери необходим постоянный медицинский уход и полный покой. Я уволился со службы и буду при ней день и ночь. Потом я постараюсь найти такое место, которое давало бы мне возможность чаще бывать с ней».

— Джордж такой хороший мальчик, — шептала Елена, устремив на

него большие благодарные глаза. — Если бы его не было рядом, я чувствовала бы себя грустной и подавленной. Он успокаивает мою боль и делает меня счастливой. Мне так повезло, что мой сын столь предан мне.

Эти нежные слова, как разъедающая кислота, жгли кровоточащую дрожащую массу, в которую превратилась совесть Джорджа.

Он заикался, протестовал, и тогда Елена снова применяла свою тактику.

— Нет, Джордж, ты не должен тратить на меня так много времени. Женись на этой славной Каролин и устраивай свой дом. Не бойся оставить меня одну, я не стану преградой на пути счастья моего мальчика.

Это окончательно добило Джорджа, он разрыдался и дал торжественную клятву, что никогда не покинет мать и проведет с ней весь остаток жизни. Я попытался протестовать и даже возвысил голос.

— Джордж, не поддавайся! Ты должен выстоять! Сейчас или никогда! Если ты останешься в ее комнате, то уже никогда из нее не выйдешь!

Конечно, все это было без толку. Елена лишь нежно вздохнула, а разозленный Джордж выставил всех из комнаты. Уже в дверях, чтобы не слышала Елена, я сказал ему:

— Приходите ко мне завтра или послезавтра.

Он покачал головой.

— Нет, я буду здесь с матерью, — сказал он упрямым, скучным голосом. И последнее, что я увидел, — Джордж готовился бодрствовать еще одну ночь у постели матери. Когда он закрывал за мной дверь, я прочитал в его глазах стыд собственного поражения.

Через несколько дней ко мне в полной панике прибежала служанка Елены. Доктор Де Круз, видимо, снабдил Джорджа препаратами, которые помогали ему не спать во время ночных бдений. Джордж принял больше, чем это предписывалось, и его нашли мертвым на полу ванной.

Елена переехала в удобный дом для престарелых, где ее все очень быстро полюбили и ухаживали за ней в соответствии с ее милыми и неэгоистичными просьбами. Но иногда она кротко выражает удивление, что я так и не пришел навестить ее.

Перевод с английского В. Нестерова

Катерина Лим

Об авторе рассказа «Избранница» Катерине Лим известно, что она окончила в 1964 году Малайский университет и преподает в католическом колледже в Сингапуре.

Ее рассказ начинается с красочного и грустного описания типичной для Сингапура сцены: по улицам города спешат люди, спешат в оснащенные современной техникой доки, спешат в банки и конторы, расположенные в высотных зданиях из стекла и металла, — их так много в современном Сингапуре. Все спешат, и никому нет дела до старой женщины, торгующей своим незамысловатым товаром.

Но вот неожиданно она становится «сенсацией». На глазах у всех ее «заберут на небеса». Казалось бы, кто в наше время поверит в такую чепуху! Но пресса падка на сенсации, сенсация — источник наживы для ловких предпринимателей, и вот уже тысячи людей устремляются на базарную площадь, чтобы стать свидетелями «чуда».

Разумеется, чуда не происходит, но оно уже запало в сердца людей, таких же несчастных, как эта бедная старуха. Едкой сатирой звучат последние фразы этого небольшого рассказа: «Перед ней стояла ржавая жестянка из-под печенья, в которой благодарные верующие могли оставить знаки своего уважения. Жестянка наполнялась довольно быстро. Чоу А Сам сидела с закрытыми глазами, ее губы двигались в молитвенном экстазе. Она была наконец счастлива».

В. Нестеров

Избранница

Раньше я знала многих из них — сейчас их стало гораздо меньше — старух в обветшалых черных кофтах с длинными рукавами и широких брюках. Они терпеливо сидели за маленькими деревянными подставками, на которых размещался их незамысловатый товар — баночки со сладостями, пачки сушеного имбиря и слив, рассыпанные сигареты, по пять-шесть штук в жестяной банке. И, конечно, неизменная дымящаяся курительная палочка, воткнутая в жестянку перед скудным товаром, — напоминание богам, чтобы они благосклонно относились к старым женщинам и помогали им в торговле. Старухи сидели за своими

подставками в стороне от проходов в магазины и дома, и люди, которые торопились делать покупки или стремились по своим делам, чаще всего их обходили. Эти женщины постепенно замкнулись в отдельном убогом мире себе подобных. Лишь изредка их замечали — торопливый прохожий перехватывал у них сигарету, или прибегал ребенок за конфетой или сушеными сливами. Но обычно о них не вспоминали в безжалостной толкотне городской жизни — кто в наше время станет смотреть на жалкие старушечьи товары, когда существуют современные магазины, где можно купить все, что угодно!

Итак, она сидела в ожидании весь день, усталая и заброшенная. В большом внутреннем кармане ее кофты не было тех монеток, которыми она мечтала его заполнить. Она находилась в том возрасте, когда глаза всегда на мокром месте, и часто плакала, что сладости и мелкое печенье становились мягкими и липкими и никто не хотел их покупать. Она воткнула в жестянку курительную палочку подлиннее, ее губы горестно зашевелились в молитве, умоляя великую богиню Куан Юн пожалеть старую, одинокую в этом мире шестидесятилетнюю женщину. Она никогда не была замужем, у нее не было детей, которые заботились бы о ней в старости, а после ее смерти за нее некому будет помолиться.

Смерть казалась ей самым желанным выходом из нищеты и горечи. «О милосерднейшая богиня Куан Юн, приди и возьми меня с собой на небеса».

Ее молитва была услышана. На следующую ночь она увидела во сне, как богиня Куан Юн — до чего же она прекрасна! — медленно спустилась к ней с небес. Куан Юн сказала: «Дочь моя, твоя молитва услышана. Ты чистая душа. Готовься! На седьмой день я за тобой приду. На небесах ты станешь одной из четырнадцати моих служанок».

Когда старуха проснулась, на глазах у нее еще блеснули слезы радости. Живо вспомнив свой сон во всех подробностях, она снова заплакала. И принялась готовиться к встрече с богиней, которая обещала через семь дней прийти. Прежде всего она отправилась в храм, чтобы очиститься, и возложила на алтарь фрукты и цветы. Затем она заглянула в жестяную банку из-под печенья, которую всегда держала при себе, подсчитала бумажки и монеты и поняла, что на покупку гроба ей хватит. Гроб поставили вертикально, прислонив к стене дома, в котором она делила комнату с другими старухами. Это сделали для того, чтобы ее тело в гробу устремлялось к небесам.

Слух о событии распространился очень быстро — сначала в доме, затем по соседству и, наконец, с помощью жадной до новостей прессы, по

всей стране. Писали: у женщины шестидесяти лет по имени Чоу А Сам было видение всемилостивейшей богини Куан Юн, богиня обещала женщине в определенный день прийти и взять ее на небеса. Гроб готов, женщина сидит около него день и ночь, готовая ко встрече со смертью.

Приходили толпы людей, молодые — из циничного любопытства, старые — из желания увидеть трогательное примирение со смертью. Но непоколебимая вера женщины в подлинность ее сновидения заставила толпу благоговейно смолкнуть: даже молодые сорванцы в модной одежде, с татуированными руками, глазели молча. На месте постоянно дежурили два репортера, очень довольные необычностью случая. Они делали заметки и фотографии. Но старая женщина сидела молча, бесстрастно, как будто вокруг никого не было, — она просто ждала, ждала первых знаков прихода богини Куан Юн.

Остался всего один день, и она наконец будет свободна и счастлива. Напряжение росло — люди с богатым воображением спрашивали, будет ли тело Чоу А Сам поднято богиней на небеса у всех на глазах. В долгожданный день телефоны в редакциях не умолкали: публика с нетерпением спрашивала, скончалась ли старуха.

Она не умерла: и вечером этого дня она заплакала от разочарования, горько жалуясь, что богиня Куан Юн не смогла сдержать своего обещания из-за грязных людей, осквернивших место, где стоял гроб и сидела старуха. Чоу А Сам умоляла оставить ее одну, дать ей возможность спокойно умереть.

Затем возникла новая сенсация. Нечто необычное произошло в тот самый день, когда должна была явиться богиня Куан Юн. На маленьком пустыре за домом неожиданно расцвело какое-то причудливое растение. Одни утверждали, будто цветок величиной с человеческую голову, другие — что он распространял чудесное благоухание. Конечно, никто не проявил интереса ни к ботаническому названию цветка, которое было помещено в газетах (молодой энергичный репортер быстро провел это исследование), ни к сообщению, что это редкий тропический цветок из Южной Америки, что он редко цветет, и когда это случается, лепестки цветка становятся светло-багряными, а сам цветок принимает форму луковицы и т. д. Всех гораздо больше интересовало другое — старая женщина утверждала, будто цветок послан ей с небес в знак того, что богиня Куан Юн приказала ей остаться на земле и вершить добро. Добрые дела старухи были немедленно замечены, описаны, новость о них разошлась и вызвала лихорадочное возбуждение и удивление. Силой богини Куан Юн чудеса творила Чоу А Сам! Она врачевала больных —

одна женщина заявила, что почувствовала себя гораздо лучше после того, как выпила воды, в которую Чоу А Сам всыпала пепел от сожженного листка бумаги с написанной на нем молитвой. Над другой женщиной Чоу А Сам прочитала молитву, и та заявила, что совершенно излечилась.

Люди валили толпами. Чоу А Сам сидела, скрестив ноги, перед алтарем богини Куан Юн в окружении многочисленных курительных палочек. Перед ней стояла ржавая жестянка из-под печенья, в которой благодарные верующие могли оставить знаки своего уважения. Жестянка наполнялась довольно быстро. Чоу А Сам сидела с закрытыми глазами, ее губы двигались в молитвенном экстазе. Впервые в жизни она чувствовала себя счастливой.

Перевод с английского В. Нестерова

ТАИЛАНД



Лао Кхамхом

Известный своими передовыми взглядами писатель Кхам Синг, выступающий под псевдонимом Лао Кхамхом, постоянно проживает на своей родине — в провинции Накхонрачасима, что на северо-востоке Таиланда. «Прежде чем стать литератором, я хорошо поработал в поле», — сказал однажды Кхам Синг.

Эти слова раскрывают истоки творчества писателя. Действие в его произведениях, как правило, разворачивается на бескрайних рисовых полях (рис — главная сельскохозяйственная культура страны), на плантациях каучука, сахарного тростника. В его рассказах представлены все без исключения ступеньки классовой, имущественной лестницы в современной тайландской провинции — от крупного латифундиста до несчастного издольщика. Он знакомит читателя с деревенскими бедняками, с их беспросветным трудом, который оплачивается пригоршней риса, заставляет глубоко сочувствовать их нелегкой доле. Сквозь канву повествования то и дело пробивается закономерный вопрос: почему же эти вечные и старательные труженики так обездолены?

Ответ на такой вопрос дает сама действительность Таиланда: конституционно-монархический строй и засилье в экономике иностранного капитала. Буржуазное общество — общество чистогана, где на деньги все можно купить, включая и депутатский мандат в Ассамблее народных представителей.

Стоящий несколько особняком в творчестве Кхам Синга рассказ «Политик» раскрывает перед нами новую грань дарования писателя — обличительную. Он выходит на передний край борьбы с жалким и продажным политиканством, с коррупцией и подкупом во всех его видах, с nepотизмом в его азиатских вариантах. Пером смелого публициста Кхам Синг (Синг в переводе — Лев!) срывает убогий покров «народного представительства» и обнажает перед читательским взором реальную политическую жизнь Таиланда — страны, пережившей множество государственных переворотов, которую в настоящее время усиленно «обхаживает» Китай, пытаясь еще активнее втянуть ее в пресловутый «треугольник» Вашингтон — Пекин — Токио. Антинародный, антинациональный курс «конституционных монархистов» Таиланда, правящих в Бангкоке, с особой силой проявляется в отношении Социалистической Республики Вьетнам, Лаоса и Кампучии. Подыгрывая

Пекину, тайландские правители предоставили территорию своей страны для создания специальных лагерей, в которых нашли пристанище полпотовцы.

Кхам Синг оружием слова прогрессивного литератора наносит удар в цель, и огромная общественная значимость его выступлений бесспорна.

Я. Хохлов

Политик

Тени от высоких сосен, мирно дремавшие на проезжей дороге, начинают уползать прочь, а затем съеживаются. Наступает день. Городок, как обычно, являет собой полное запустение. Везде царствует ленивая тишина, редко-редко проедет по дороге какой-нибудь велосипедист. Под навесами домов, покрытых толстым слоем пыли, копошатся их обитатели.

По временам из маленькой харчевни за углом доносятся шум и крики. Однако люди на улице по-прежнему равнодушны и не обращают на это никакого внимания. Всем хорошо известно, что происходит в харчевне. Знают и тех, кто пьянствует там изо дня в день, не дожидаясь праздников. Это известный всему городу лентяй и пропойца Кхэнг, по прозвищу «учитель», и его «ученики». Кроме них, больше некому. Сколько хлопот и беспокойства причиняют эти бездельники жителям городка! Что ни день, они напиваются, а потом горланят песни, дерутся.

Их предводитель — господин Кхэнг — не всегда водился с такой компанией. В прошлом он даже был монахом в большом монастыре.

Приняв постриг, господин Кхэнг быстро пошел в гору и удостоился высокого сана. Он честно служил Будде, вел скромную жизнь и пользовался уважением добропорядочных мирян и благочестивых прихожанок. К тому же он слыл искусным проповедником. Кто знает, если бы Кхэнг и далее прилежно следовал правилам общины Будды, может, он сделался бы настоятелем монастыря, а то и самим патриархом всех буддистов... Однако обстоятельства сложились иначе...

Со временем благочестивые прихожане, а особенно прихожанки, вместо того чтобы славить Будду и укреплять свою веру, принялись без меры восхвалять достоинства «высокочтимого наставника» (то бишь Кхэнга) и возносить ему молитвы, точно всевышнему. Такое святотатство до добра не доводит, недаром в старину говорили: если прихожанки обетов не исполняют, монаху только и остается, что согрешить... Не избежал этой

участи и досточтимый наставник Кхэнг.

Среди мирянок, исправно посещавших монастырь, но не для того, чтобы слушать сутры, была одна вдова. Все звали ее матушка Ванинг. Увы, наш добродетельный учитель не устоял перед соблазном: очень скоро Кхэнг покинул монастырь и поселился в доме матушки Ванинг. Они зажили как муж и жена, это уж известно всем доподлинно... Так благополучно и в полном согласии прожили они довольно долго, но, хотя матушка Ванинг, как говорится, не собиралась покидать этот мир, все же болезнь и немощь сделали свое дело...

Смерть матушки Ванинг подействовала на бывшего монаха удручающе: он долго тосковал и оставался неутешен. А потом попробовал залить тоску вином. День за днем он напивался и чем больше пьянел, тем сильнее печалился. Многие даже видели, как господин Кхэнг шел по улице и горько плакал.

Матушка Ванинг была довольно состоятельна. В молодости она ссужала деньги под проценты, и у нее скопился порядочный капиталец: на выпивку бывшему проповеднику хватало с лихвой. К тому же в последнее время к нему стали наведываться приятели. С ними он подружился еще в молодые годы, до пострига. Это были два бездельника, которых все звали Старина Кхуан и Старина Куй. Вот так господин Кхэнг, когда-то достойный член буддийской общины, и превратился в предводителя местных лентяев и пьяниц. «Монах чем дальше, тем больше забывает свой долг!» — говорили в городке.

Как-то рано утром трое приятелей, промочив горло прозрачной рисовой водкой, весело болтали и шутили в харчевне. Шум заметно усилился, когда к компании присоединился Старина Кэ, курьер городского управления.

— Учитель, в городе обстановка тревожная! — проговорил Старина Кэ, подсаживаясь к столу. — Вы разве не слышали? Их превосходительства Пибун и Пхао [\[144\]](#) скрылись в неизвестном направлении!

Все трое повернулись к вновь прибывшему и в упор уставились на него.

— Пустое дело... Как всегда, много шуму из-за ерунды! — пробормотал наконец Старина Куй. — Я знаю, что это такое... На выборах наши горлопаны еще кричали... Как бишь это называется, учитель? Кратия какая-то!.. Ну, помните? — повернулся он к господину Кхэнгу.

— Да не кратия, а демократия, дурень! — строго ответил тот. — И все это чепуха! При чем тут демократия? Просто государственный

переворот^[145]. Таких уже было немало! — Начав разглагольствовать, Кхэнг уже не мог уняться. — А ты, тупая скотина, не знаешь — так и не говори! Я-то, хвала Будде, соображаю, что к чему... В прошлый раз, когда выбирали народных депутатов^[146], сам начальник уезда — да что там начальник уезда! — сам губернатор мне кланялся... И не один раз! Только чтобы я за них голосовал и бюллетень опустил!

— Ну, понятное дело, — вмешался Старина Кхуан, — мы ведь с учителем тогда крепко прижали здешних избирателей! Они и пикнуть не смели... Так ты говоришь, опять станут выбирать этих представителей?

Старина Кхуан заметно воодушевился. Старина Куй стукнул по столу чашкой и энергично закивал:

— Конечно, все будем выбирать! Я уже слышал, как эти, из городского управления, спорили до хрипоты... А чего там долго разговаривать? Припугнуть городских — и все в порядке!

Сильный порыв ветра поднял с дороги красноватую пыль, закружил и дунул ею в харчевню. На крыши, мягко шурша, посыпались сосновые иглы.

— Послушайте, что мне пришло в голову, — прогнусавил Старина Куй. — Если опять придется выбирать депутатов, то ведь и учитель может выставить свою кандидатуру на выборах!

— Недурно! — поддержал приятеля Старина Кэ.

Окрыленный собственной выдумкой, Куй даже привстал с места и заговорил громко, хотя и не очень внятно:

— Потому что... потому что наш учитель... не какой-нибудь там... Он — человек выдающийся! И деньги у него есть! А вот детей нет! Никто не связывает, на шее не висит... Да... А уж если богат — все тебе по плечу! Добьешься всего, чего пожелаешь! Ведь правда, Кхуан?

Старина Кхуан одобрительно закивал головой.

— Тише вы! Опять на скандал нарвемся! — с упреком проговорил Кхэнг.

— Говорят, депутат народа — выше всех! Важнее старосты, важнее волостного или уездного начальника... Да, пожалуй, и губернатор перед ним отступит! Ну, а главное-то — ведь власти у него больше, чем у полиции! Вот это да!.. Тогда уж мы сможем делать все, что душе угодно: пить так пить, драться так драться! Кто нам запретит? А то этот полицейский ефрейтор Хо больно уж придирается... Вчера я с ним малость повздорил... В игорном доме, который содержит одна почтенная госпожа, знаете, там, за полицейским участком...

Господин Кхэнг поначалу слушал околесицу, которую нес Старина Кхуан, а потом вдруг захихикал. Его маленькая головка тряслась и прыгала от смеха — точь-в-точь колокольчик на верхушке пагоды, когда его качнет осенним ветром. Перестав смеяться, Кхэнг заговорил тихо, как бы про себя:

— Ну и болван же этот Кхуан! Ишь чего наплел. Я когда-то помогал губернатору поднабрать голосов. И тогда ясно понял: чтобы стать депутатом, надо быть важной шишкой. Деньги деньгами, но нужно еще образование!.. — Он немного помолчал, потом потянулся к чашке и залпом осушил ее. — Только вот пьянство люди считают пороком! Пусть я богат, пусть даже в прошлый раз я помог важным господам на выборах — малость припугнул этих дураков избирателей, — все равно боюсь, что теперь полиция мне ходу не даст! Они уж и так меня ославили довольно. Понял ты или нет? — Господин Кхэнг повернулся и в упор взглянул на Старину Кхуана. — Порядочным человеком и то уже трудно стать... А ты — народным депутатом... Где уж мне?..

— По-моему, учитель не прав! Нынешние депутаты — это всякие подонки да мерзавцы! Разговаривают с тобой нагло, а начнут ругаться — так припомнят всех твоих предков до восемнадцатого колена... Учитель разве не знает: в прошлый раз на выборах голосовали все за таких негодяев! Целыми днями горланили, по всему городу была слышна их ругань... У нас здесь, конечно, тоже есть люди бесцеремонные, как говорится, «нетактичные»... Вот хоть бы мы с Куем! Ну, да нас только двое, и мы сами по себе. В начальники не лезем! Вот я и думаю, уж такой человек, как учитель Кхэнг, в самый раз подойдет! Пусть же и порядочный человек станет депутатом!

— Куда там, Кхуан! Я же тогда участвовал в выборах... Уж я знаю!..

— Ну, конечно, конечно, учитель агитировал за других! А почему бы теперь не поагитировать за себя? Ну, решайтесь, учитель! — проговорил Старина Кхуан, почесывая себе спину. — А если что, так мы по части драк и потасовок люди известные!

— Да, но... — Учитель Кхэнг явно колебался. — Но что я скажу людям? Ведь тот, кто собирается стать депутатом, должен уметь говорить... И приврать, и прихвастнуть, и польстить... Ну, а я?.. Теперь-то я, правда, пьянствую с вами, но все же когда-то был монахом, учил буддийским сутрам... Разве я могу морочить людям головы? Врать да себя восхвалять? У меня и язык-то не повернется!

Старина Кхуан потребовал еще вина. Горячий ветер пронесся по крышам домов, зашуршали сухие иглы. Этот шорох слился с тихим

шепотом сосен и бульканьем вина в харчевне... Четыре человека потянулись к чашкам, подняли их и, как по команде, опорожнили, шумно причмокивая. Лица у всех приняли глубокомысленное выражение. Каждый погрузился в собственные думы.

— Охо-хо! — вздохнул Старина Кхуан. — Учитель уж слишком долго раздумывает. Разве есть еще какие-нибудь препятствия? Да если бы у меня были деньги, я бы мигом сделался депутатом! Ругаться-то я, слава богу, умею! Ткнуть кулаком в чью-нибудь рожу да обозвать собачьим отродьем мне ничего не стоит!

— А если потребуется, так и дать пинка в зад, чтобы побарахтался на земле! — вскинул голову Старина Кэ. — Мы люди здешние. Что к чему — разумею. Ясное дело, мы и возьмем верх! Вы, учитель, не бойтесь! Дело выигрышное!.. А главное-то — я слышал, что у депутата прав больше, чем у самого начальника полиции... Вот было бы здорово! А то уж очень прижал нас этот ефрейтор Хо. Но ничего, придет день, будет и на нашей улице праздник!..

Когда они, едва волоча ноги, выползают из харчевни на улицу, уже ярко светит солнце; его лучи ложатся на коричневатые, цвета пальмовой коры, камни шоссе; гладкие плитки напоминают чешую гипсового дракона, который изображается обычно на каменных ступенях у входа в монастырь. По шоссе проносятся велосипеды. Старина Кхуан мрачно глядит на проезжую дорогу, исчезающую в чаще леса. Вокруг кольцом стоят горы, в знойных лучах дневного солнца они кажутся подернутыми туманной дымкой. Господин Кхэнг мерно кивает головой в такт шагам.

В это время к приятелям не спеша подкатывает темнозеленый велосипед.

— Э, да никак это ефрейтор Хо? — Господин Кхэнг резко останавливается. — Слушай, старина! Я теперь депутат! — гаркает он во все горло.

— Опять напился! Шел бы лучше домой! Горланишь здесь — только людей беспокоишь!.. Ну, погоди, дождешься, что «старик» отправит тебя в участок!

Господин Кхэнг бессильно опускается на землю и осоловело смотрит в спину полицейскому. Фигура в серой форме исчезает за поворотом.

— А наш учитель здорово дерется! — слышатся Кхэнгу голоса. — Самого ефрейтора Хо несколько раз сбивал с ног и по земле валял!

— По правде говоря, мы тогда по очереди валялись на земле: то он, то я! — едва слышно, будто про себя, произносит Кхэнг.

Весть о том, что господин Кхэнг Канли, прозванный «учитель» Кхэнг, собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах в Ассамблею народных представителей, мгновенно облетела весь город. Дошла она и до городской управы. Чиновники хохотали до колик. Однако всем было известно, что баллотируются на выборах именно такие люди. Щедрость их не знает границ: они поят водкой, угощают табаком, а иной раз и денег дают. Целыми днями они шумят и кричат о каких-то своих никому не понятных делах. И многие в городке решили, что в общем-то «учитель» Кхэнг — кандидатура вполне подходящая.

Когда наступил день регистрации кандидатов, господин Кхэнг, Старина Куй и Старина Кхуан вместе явились в городскую управу. Кхэнг принес три тысячи батов залога и фотокарточку, сделанную вскоре после ухода из монастыря. Регистрация прошла благополучно. С того дня маленький пограничный городок словно ожил и забурился...

На этот раз было зарегистрировано десять кандидатур, среди них — отставные чиновники, юристы, дворяне в рангах кхун и луанг^[147]. Кроме господина Кхэнга, местного жителя, все другие кандидаты были из столицы или из соседних областей. Волнующие события надвигались. Многие помнили, что на прошлых выборах кандидаты раздавали деньги и кормили избирателей. В довершение всего теперь стоял сухой сезон — время осеннего отдыха от полевых работ. Поэтому жители далеких горных селений толпами стекались в городок.

Чем ближе был срок выборов, тем больше скапливалось народу. Некоторые кандидаты захватили с собой киноленты и ночи напролет развлекали своих избирателей. Иной раз фильмы демонстрировались сразу в двух-трех местах. Тут-то и разгоралась предвыборная борьба. Соперники рекламировали себя любыми средствами. Все было пущено в ход!.. А если поживиться было нечем, толпа, жаждавшая угощений, денег и развлечений, немедленно отправлялась на поиски оных, безо всякого стеснения покидая своего кандидата. Старожилы должны были признать, что таких многолюдных сборищ не было уже очень давно.

Господин Кхэнг и его подручные, позабыв обо всем на свете, напивались, шумели и скандалили. Но, увы, господину Кхэнгу до сих пор еще не удалось выступить с речью. Да если бы даже и представился такой случай, бывший монах не знал бы, что следует сказать избирателям. В лучшем случае он мог бы затеять ссору или устроить потасовку...

Как-то раз вечером два кандидата-соперника показывали фильмы на городской площади. Обе стороны из кожи лезли, превознося собственные таланты, положение, известность. Один хвастался, что обязательно

починит дорогу, выроет колодцы, заново отстроит храм Будды и даже подарит жителям городка общественную уборную. Его противник сулил своим избирателям новые жилища, огороды, просторную школу и табачную фабрику. Люди внимательно слушали выступавших. А тем временем господин Кхэнг собрал несколько парней, выстроил их поодаль и велел им шуметь и орать во все горло, надеясь взбаламутить толпу.

— Вон! Не надо нам колодцев и общественной уборной! Не слушайте их! — громче всех кричал сам господин Кхэнг. — Не верьте им! Не...

Крик оборвался: чей-то дюжий кулак сбил господина Кхэнга с ног, так что «почтенный учитель» растянулся на земле.

— Люди ждут денег, а ты здесь орешь попусту, сволочь! — рявкнул кто-то.

У незадачливого политика была разбита губа, глаз заплыл и не открывался, ухо распухло. Все пошло прахом! Господин Кхэнг уныло потащился домой.

— Плохо дело! — жаловался Кхэнг приятелям. — Мне решительно не везет!..

И впрямь, известный всему городу забияка выглядел теперь довольно жалким.

В ту ночь, когда все в городе спали как убитые, Кхэнгу не спалось. Он все думал о том, как одолеть противников. Эта мысль уже давно не давала ему покоя. Наконец-то он отыскал верный путь к победе! Кхэнг потрогал губу и тихонько застонал. Он попробовал улыбнуться, но разбитая губа мешала. Ничего, это им так не пройдет!.. И, немного успокоившись, Кхэнг задремал...

Поднялся он чуть свет, сонный, неотдохнувший. Шатаясь, побрел к двери, но, не сделав и трех шагов, наткнулся на Старину Кхуана, спавшего тут же, на циновке.

— Вставай, Кхуан, вставай! — Кхэнг слегка пнул его ногой в спину.

Тот повернулся и, опираясь на руки, попробовал сесть. Попытка не увенчалась успехом: не удержавшись, Кхуан снова бессильно шлепнулся на пол. Так повторилось несколько раз. Наконец Кхуан сел. Скосив глаз, он глянул на господина Кхэнга.

— Учитель, вы так осунулись! — Отыскивая медную чашку, которую всегда носил при себе, Старина Кхуан бормотал: — Наверно, много вчера выпили, учитель, а теперь не выспались...

— Ну, довольно! Заладил одно и то же! «Выпил» да «не выспался»!.. Тебе-то какое дело?

Кхуан растолкал Старину Куя. Утренний воздух был прохладен, небо

безмятежно голубело. Тонкая завеса утреннего тумана таяла под косыми лучами солнца. Господин Кхэнг устало взглянул на своих собутыльников.

— Куй, Кхуан, — медленно заговорил он, — наконец-то я нашел способ, как проучить этих болтунов... Многие в городе считают, что кандидаты будут раздавать деньги своим избирателям... Кое-кто лишь за этим сюда и явился!.. — Кхэнг потер опухшее лицо. — Ступайте-ка вы оба в город и потолкуйте с этими баранами избирателями... Скажите им: кто хочет получить денег, пусть приходит ко мне. А уж я научу их уму-разуму...

Приятели Кхэнга ушли, а сам он, прихрамывая, вернулся в дом досыпать. Проснулся Кхэнг около полудня. От усталости не осталось и следа, он почувствовал себя бодрым и свежим. С улицы в комнату долетали крики и гомон толпы. Легко ступая, Кхэнг подобрался к стене и осторожно глянул в щель: народу собралось гораздо больше, чем он ожидал. Измятая одежда, пыльные лица.

Кхэнг вышел из дому. Кхуан и Куй, как по команде, сложив руки рупором, дважды прокричали, приветствие. Услышав сигнал, толпа рывкнула что было мочи — многоголосый вопль замер в небесах. Приложив руку к разбитой губе, Кхэнг сипло заорал:

— Здорово, братья и сестры!

Сотни глаз, точно иглы, вонзились в него.

— Несколько богатых и высокоодаренных людей смело вызвались быть нашими депутатами. — Кхэнг глубоко вздохнул, набрал побольше воздуха в легкие и продолжал: — Они утверждают, будто могут сделать для нас и для нашего города все! Да, именно все! Один обещает починить дорогу, другой — расчистить русло реки, третий — открыть школу... Но это только обещания! — Он остановился перевести дух. Разбитая губа саднила. — Братья и сестры, нужны ли нам эти посулы? Чего мы жаждем больше всего на свете?

— Денег! Мы хотим денег! — дружно заревела толпа. — Денег! Денег! Денег!

— Так, хорошо! Теперь мы знаем, чего мы хотим... Мы пойдем и потребуем от них денег! Раз они могут починить проезжую дорогу или построить школу — значит, у них наверняка есть деньги! Раз они могут расчистить русло реки или возвести храм Будды — значит, у них есть деньги! Наверняка есть!.. Где они остановились? — деловито осведомился Кхэнг.

— В гостинице, они живут в гостинице! — закричали из толпы.

— Вот туда мы и отправимся! — Кхэнг перепрыгнул через перила

веранды, на которой стоял, но не удержался и грузно шлепнулся на землю, подняв столб пыли.

В толпе раздался смех. Кое-как поднявшись и отряхнувшись, Кхэнг стал во главе толпы, которая растянулась длинной-предлинной змеей. Тут было не менее тысячи человек. Вся процессия двинулась прямо к единственной в этих местах маленькой гостинице. Кое-кто из толпы выкрикивал какие-то лозунги, другие просто вопили во все горло...

Заметив такую организованную демонстрацию, политиканы, обосновавшиеся в гостинице, не разобравшись, в чем дело, очень обрадовались. Хлопая в ладоши и приплясывая, они спешно начали переодеваться. Желая выглядеть как можно внушительнее, каждый постарался нацепить все свои регалии. Торопливо прилаживая ордена и медали, кандидаты, захлебываясь, приказывали своим слугам и секретарям готовить микрофоны и рупоры.

— Скорее, они, конечно, идут сюда, к нам... Вот дурачье! Но их глупость нам на руку! Неожиданная удача!..

Какой-то толстяк, едва соскочив с постели, устанавливал регламент выступлений.

Жители городка, понятия не имея о том, что происходит, выскакивали из своих домов и бежали на главную площадь. Многие захватили с собой детей. Поднялся невообразимый переполох. Служащие контор бросили работу и столпились поодаль, предвкушая интересное зрелище. Из гостиницы вышли кандидаты. Вид у них был торжественный и чинный. Выстроившись в ряд, они ждали, что будет. Господин Кхэнг отделился от толпы и решительным шагом направился прямо к шеренге своих соперников. Толпа двинулась за ним.

— Мы хотим поговорить с нашими будущими депутатами! — громко произнес Кхэнг.

— Пожалуйста, мы очень рады! — ответил пожилой кандидат и низко поклонился. Он был толстый и важный, точно рак в конце дождливого сезона. — Мы приложим все силы, чтобы выполнить свои обязанности! Мы будем рупором желаний наших избирателей! — На его румянном и пухлом лице появилась наигранная улыбка. Этот толстяк явно верховодил среди кандидатов. Вот он снова поклонился толпе, все остальные немедленно последовали его примеру.

— Что ж вы можете нам дать? — так же громко спросил Кхэнг.

— Я готов отдать все свои способности служению общему благу! — Это произнес совсем еще молодой человек, стоявший в самом конце шеренги кандидатов. Он почтительно поклонился толпе, что тотчас же

сделали и все остальные кандидаты, а затем продолжал: — Для нас большое счастье и великая честь исполнить то, о чем мечтает наш народ, жители этой области. Их желания...

Не дав ему закончить, господин Кхэнг рванулся вперед и во все горло заорал:

— Денег, денег! Нам нужно денег!..

И вся толпа подхватила его возглас.

— Денег, денег! Мы пришли за деньгами! Нам нужны деньги! — Рев нарастал. — Денег! Денег! — повторяли сотни глоток.

Кандидаты заметно растерялись. Что делать? Некоторые уже покрылись холодным потом. Многие лихорадочно обдумывали ловкий маневр, которым можно было бы отвлечь толпу и лишний раз обратить на себя внимание. Одни пробовали выступать с речами и восхвалять свои былые заслуги. Другие рисовали заманчивые перспективы. Однако никто не* мог закончить своей речи: гул толпы нарастал, голоса, требовавшие денег, звучали все громче и решительнее. Какому-то щуплому господину, прибывшему из столицы, стало дурно, он задыхался... Несколько кандидатов все еще надеялись выступить. Под возбужденные крики толпы они в сотый раз повторяли про себя свои речи...

Когда к микрофону подошел господин Кхэнг, рев толпы усилился. Поклонившись толпе, он поднял руки.

— О щедрые жертвователи и благочестивые ученики нашего великого наставника Будды! Слышали вы или нет? Все они лгут и только хвастают! Все обещают: сделаем это да сделаем то! Но нам не нужны обещания! Нам нужно от них только одно: деньги! Но даже этого они не могут нам дать! Как же эти люди собираются выполнять свои обещания? Разве можно верить их словам? Разве мы сможем положиться на этих людей? Так стоит ли голосовать за них?.. — Тут он возвысил голос и закричал что было мочи: — Взгляните на них, на этих храбрецов из разных сословий! У них есть чины и звания. Вот этот — кхун. А тот — луанг! — Кхэнг тыкал пальцем в сторону того или иного кандидата. — Вон там видите старого хрыча — вот-вот протянет ноги! — так он даже пхра^[148]. Есть тут и бывший адвокат! А это — генерал, смотрите, всю грудь орденами да медалями увешал... О достойные почитатели великого Будды! Вглядитесь в них и решите сами, кого же в конце концов нам стоит выбрать. Ведь когда-то и я голосовал за таких... М-да, было дело! Я и в Бангкоке бывал... — Голос Кхэнга заметно ослаб: он явно не знал, о чем говорить дальше. Но вот он снова оживился: — Послушайте-ка, что я вам расскажу! Многие из вас, наверно, и не знают, кто такие кхуны и луанги. Я вам

объясню! Кхуны — это пастухи^[149], пасут кур и уток, а то и лошадей, даже слонов! Вот и получается: куропас, конепас, слонопас... Вот что такое кхун! Я был в Бангкоке, я знаю! Столичные жители всегда называют пастухов кхунами... Ну, а что такое луанг? Луанг — это человек без определенного дела, без постоянного места жительства...^[150] Шляется повсюду, как одичавшая лошадь без хозяина. Кто поймает да привяжет, тот на ней и ездит! А потравит чужие посевы — винить некого! Что же касается этого «пхра», то тут дело сомнительное: раз не сбрил волосы, что ты за монах^[151]. Может быть, это блудный сын нашей великой общины, не соблюдавший ее правил? — Кхэнг густо сплюнул. — Тьфу! А вот тот старикашка, что любит поиграть в бирюльки, — это генерал! Глядите-ка, всю грудь увешал побрякушками, без разбору налепил! Про таких говорят: «Век долог, да ум короткий»! А теперь взгляните на эту верткую спину! Он — адвокат-пролаза. Любит ловить рыбку в мутной водице. Нет у тебя денег — засадит в каталажку!..

Все оторопели... Притихшая толпа, затаив дыхание, слушала выкрики «учителя» Кхэнга. На мгновение он умолк, а затем во все горло заорал в микрофон:

— Земляки! Эти пришельцы наговорили тут с три короба... А теперь послушайте, что я вам скажу! Я ведь тоже кандидат!.. Вот тут один говорил, что он понимает нас! Знает наши трудности! А что он знает? Спросите-ка его, земляки! Спросите его! Он ведь говорит, что хорошо нас понимает!.. Краем уха он слышал, что у нас есть земля и что мы на ней работаем... А вот что мы едим по утрам — этого он не знает, уж поверьте мне! Вот как они знакомы с нашей жизнью... Только притворяются, что сочувствуют нам! Я один — подходящий для вас человек, мне одному можно довериться! Я все могу, все исполню! Если чем недовольны — скажите мне! Могу убить и собаку и человека! А...

Тут «учитель» Кхэнг заметил, что рядом стоит ефрейтор полиции Хо, и сразу осекся.

— По правде говоря... — забормотал Кхэнг, — это я так... не всерьез... Я, конечно, никого не убиваю... Ну, вот и все, что я хотел сказать! М-да! Желаю всем долголетия, здоровья и счастья! Пусть Будда, его закон и община помогут мне стать депутатом!..

С того дня популярность господина Кхэнга начала расти. Все больше людей узнавало о нем. Другие кандидаты стали относиться к своим избирателям с подозрением, опасаясь нового скандала. Некоторые даже совсем пали духом и поспешили убраться в Бангкок.

Выборы прошли организованно. В тот же день часов в восемь вечера городские власти объявили о результатах голосования. Вскоре после этого в помещение полиции, тяжело дыша, вбежал ефрейтор Хо. Не успев отдышаться, он бросился к дежурному лейтенанту.

— Все пошло прахом, господин лейтенант! — простонал ефрейтор Хо. — Кончена моя карьера. А все из-за этого Кхэнга, будь он неладен!.. Ведь самый известный в городе пьяница и дебошир! Мерзавец отъявленный... Утром я его запер в холодную. А только что он стал депутатом... Теперь уж мне в этом уезде не удержаться!

В голосе его были страх и отчаяние.

— Да, плохи твои дела, не повезло! Сейчас-то хоть выпустил его или нет? — Лейтенант поднял голову от расписания дежурств.

Однако ефрейтора Хо уже и след простыл. Дежурный лейтенант встал и пошел отпирать карцер. Господин Кхэнг и двое его приятелей валялись на земляном полу. Они были мертвецки пьяны. Смерд блевотины смешивался с затхлым запахом грязного карцера. Дежурный офицер поискал глазами господина Кхэнга. Потом протянул руку и легонько толкнул новоиспеченного депутата. Тьфу, пакость! Он отдернул руку. Вся одежда Кхэнга была пропитана омерзительной влагой... Пьяный что-то невнятно пробормотал во сне и попытался лягнуть офицера ногой.

— Что вы, что вы, господин Кхэнг... Господин Кхэнг!..

— О-ох! — протяжно застонал Кхэнг — Ох! Где я? Дайте воды... — Он стал протирать глаза, бормоча: — Темно, ах, как темно!

— Вы свободны. Вставайте, господин Кхэнг! И этих двоих можете разбудить!

— Охо-хо... Лейтенант, с кем это вы разговариваете, а? — проворчал Кхэнг.

— Я говорю с господином народным депутатом! Пожалуйста, выходите! Выборы уже закончились!

Господин Кхэнг перевернулся, привстал и начал будить своих друзей. Он долго орал и толкал их, прежде чем они проснулись. Тогда все трое на четвереньках выползли в открытую дверь. Каждый получил из рук полицейского по ковшику воды, а затем товарищи по несчастью торопливо покинули полицейский участок и тут же исчезли в темноте.

Господин Кхэнг ни словом не обмолвился своим приятелям о том, что услышал от дежурного офицера. В ушах у него все еще звучали эти пугающие и в то же время такие упоительные слова: «господин народный депутат». Спотыкаясь и шаркая ногами, друзья медленно двигались в темноте. Никто из троих не раскрывал рта. Ощупью вошли они в дом

Кхэнга. Кхуан и Куй шлепнулись на земляной пол и тут же уснули. Кхэнг расположился под лестницей. Тревожные мысли вихрем проносились в его мозгу. Хмель прошел. Ему казалось, что тело его стало легким, почти невесомым, словно в нем не было ни мяса, ни костей. И вот господин Кхэнг всерьез задумался о том, что прежде никогда не приходило ему в голову, — о том, что такое «народный депутат». Кхэнг вспомнил, как тогда в харчевне Старина Кэ сказал: «Депутат важнее, чем уездный начальник или член городской управы». Ну, а что же еще ему известно про «народного депутата»? Как будто больше ничего! Теперь он начал сомневаться: наверно, это далеко не все. У депутата, конечно, множество обязанностей. Ведь он сам слышал, что каждый депутат должен ездить в Бангкок. Тут господин Кхэнг подумал о Бангкоке. Такой огромный город! И так далеко отсюда! Значит, ему придется оставить своих друзей и поселиться в Бангкоке. Но он не привык к столичной жизни! В столице все так сложно, запутано. Ему рассказывали, что Бангкок — город опасный... Да ведь он и сам был там однажды. В то время он еще не снял монашеского одеяния. С тех пор прошло, пожалуй, лет двадцать! Все как в тумане. Даже название монастыря, где останавливался, и то никак не вспомнить! На душе у Кхэнга стало тоскливо и мрачно. Особенно когда перед ним вдруг предстала фигура депутата, которого он случайно увидел на какой-то фотографии: немыслимая одежда — вместо куртки что-то длинное, с хвостом, точно одеяло, и на шее какая-то узкая тряпица... Господину Кхэнгу стало невмоготу.

«И зачем я ввязался в эту историю? Истинная правда: сам заварил, сам и расхлебывай!» Луна и звезды постепенно уходили к западу. «Да, этот мир душит людей! Кругом одни лишь напасти!»

Светало. Запели петухи. Не зная, чем заняться, господин Кхэнг пошел за водой. И вдруг он застонал! То был вопль тоски и одиночества! Его пугал этот тусклый свет зари. Вместе с ним из глубины его души подымался беспросветный мрак... Вот уже на фоне светлеющего горизонта стали яснее вырисовываться силуэты деревьев. А на душе становилось все тяжелее...

И тут господин Кхэнг внезапно решил. Он взглянул на Старину Кхуана и Старину Куя: они крепко спали. Крадучись Кхэнг пробрался в комнату и тотчас снова вышел оттуда. Пройдя мимо распростертых на полу Кхуана и Куя, он выбрался на дорогу и нетвердым шагом поплелся в город. Кхэнг шел словно во сне. На окраине города он заметил большой грузовик. Возле него кричали и спорили три человека. Кхэнг подошел взглянуть, в чем дело. Двое молодых парней повернулись к нему. Вначале

они приняли его за бродягу или грабителя, но потом поманили к машине.

— Эй, братец, помоги-ка сдвинуться с места!

Расспросив парней, Кхэнг узнал, что в грузовике рис и еще кое-какие товары. Парни едут торговать в соседний город. Не долго думая, Кхэнг согласился им помочь. Машину толкнули раз, другой, мотор заработал, и грузовик умчался в еще не рассеявшуюся тьму...

Больше никто и никогда не встречал господина Кхэнга. В области ничего не было известно про обстоятельства его исчезновения. Новость о том, что пропал депутат, дошла и до корреспондентов бангкокских газет. Многие газеты опубликовали сообщение, в котором говорилось: «По всей вероятности, этот, с позволения сказать, «народный депутат» был умерщвлен темными силами, а тело его бросили в глубокое ущелье на съедение коршунам». Рядом помещалась фотография: высоко в небе, под самыми облаками, кружит коршун...

Вскоре маленькая область снова была взбудоражена: каждый день в городок стали прибывать какие-то автомобили. Они шли из Бангкока и привозили полицейских чиновников, занимавшихся расследованием таинственного убийства... Ежедневно двое полицейских возвращались на тех же машинах в Бангкок. А сегодня утром из городка выехала необычная закрытая машина. В ней сидел ефрейтор Хо с лицом белым как мел. Опустив голову, он сокрушенно бормотал:

— Все пошло прахом... Вот уж не повезло так не повезло!

Перевод с тайского Ю. Осипова

Манат Тянраёнг

Советский читатель гораздо менее знаком с тайландской литературой, чем с литературами большинства других стран Азии. Несколько публикаций сиамских авторов (Сиам — прежнее наименование Таиланда), предпринятых в Советском Союзе в пятидесятые и шестидесятые годы, а также публикации последних лет свидетельствуют о расширении наших культурных связей с азиатскими государствами, включая Таиланд, расположенный в Юго-Восточной Азии, на Индокитайском полуострове. Прозаик Манат Тянраёнг (1907–1965) представляет реалистическое направление в тайландской литературе, связанное с демократическими тенденциями в обществе, которое на протяжении многих столетий знало, главным образом, «королевскую литературу». Следует отметить, что Таиланд — древнейшая монархия в мире, а официальная религия в стране — буддизм. Литературным творчеством занимались сами короли, принцы, высокопоставленные чиновники из дворцового окружения. Классическая поэзия и драматургия (эти жанры больше всего культивировались авторами из феодальной верхушки) не отражали и, в силу классовых закономерностей, не могли отражать интересы простого народа этой отсталой аграрной страны. Дворцовые поэты, отдававшие, как правило, предпочтение форме произведения, его внешнему изяществу, в чем они достигли больших высот, обрабатывали буддийские легенды и сказания, подчеркивая необходимость терпимости, смирения с действительностью, обещая загробную безмятежную «жизнь» всем тем, кто не ропщет... Литераторы нового поколения, люди нетитулованные, бросили вызов камерной «королевской литературе». Героями их произведений становится «маленький человек» с его радостями и горестями, со своим восприятием окружающей действительности.

В числе авторов, которые обратились в своем творчестве к народным массам, находился и Манат Тянраёнг, автор повестей и коротких рассказов, один из которых и предлагается читателю.

Новеллам Маната Тянраёнга присущи драматический сюжет, неожиданные завязки и развязки, точность писательских наблюдений, своеобразный «манатовский» стиль.

Н. Хохлов

В прежние годы, когда здесь еще не было Большого рынка, лавка господина Нгиапа (за глаза его называли не иначе как «китаёза Нгиап») торговала всякой мелочью. Со временем местные богатеи сложились и поставили множество лотков и балаганов. Так постепенно вырос Большой рынок. Лавка китайца Нгиапа оказалась на бойком месте. Не желая отставать от других, хозяин расширил дело. Теперь уже сюда приходили не только окрестные земледельцы, но даже рыбаки и охотники из джунглей.

Нгиап был глух на оба уха, и здешние шалопаи дали ему прозвище «Рваная Барабанная Перепонка». Нгиапу уже перевалило за сорок. Целыми днями он, как послушный механизм, не зная усталости, работал в лавке. Прибавлялось посетителей — становилось больше хлопот. Прежде Нгиап торговал только бакалеей да немного спиртным. С того времени как его лавка присоединилась к Большому рынку, Нгиап решил устроить здесь и харчевню — пусть кормятся все, кто посещает рынок. Но у Нгиапа было только две руки — где уж ему всюду поспеть?

В Китае у Нгиапа осталась невеста. Он никогда ее не видел — родители сосватали заглазно, когда он сам был еще мальчиком. Жива ли она теперь или уже померла от какой-нибудь болезни, Нгиап не знал. Скорее всего, это была неуклюжая и наивная крестьянка; как все деревенские женщины, только и годилась, чтоб таскать на коромысле корзины с овощами. От постоянной ходьбы ноги у нее, наверно, крепкие и массивные, точно хорошие сваи. На что ему такая жена?

Много ночей подряд лежал Нгиап без сна и, уткнувшись в подушку, думал. Думал о том, что надо бы нанять себе в помощь мальчишку или женщину. Без помощника в лавке не развернешься. Младший брат Нгиапа, помогавший ему в последнее время, не сказав ничего, удрал с какими-то бродягами месяц назад. Если нанять парня, то может случиться, как с братом: надует хозяина, сбежит — вот тебе и вся помощь! Не раз ему приходило в голову, что выгоднее взять себе жену: надежней, да и жалованья платить не придется; а там, глядишь, еще и наследник появится (нельзя же китайцу обидеть предков и не продолжить своего рода!). Подрастет сынок, встанет на ноги — сможет помогать в лавке. Как часто у Нгиапа вырывался тяжелый вздох, стоило ему вспомнить китайскую поговорку: коль до сорока дожил, а жены не нажил — быть холостяком; до пятидесяти дожил, семьи не нажил — помрешь бобылем!

Но вот настал день, когда он решил больше не раздумывать: ему

нужно жениться, хотя бы для того, чтобы сэкономить на подручном!

После некоторых поисков Нгиап нашел себе жену: он купил молоденькую девушку, красивую и грациозную. Родители ее были довольны: дома их дочка не ела досыта и не знала никакой радости — как говорится, не видала на небе ни солнца, ни луны! — пусть уж лучше ищет счастья в лавке китайца! К тому же Нгиап уже в летах, может статься, что долго не протянет, ведь, как сказал Будда, всему сущему приходит конец.

Нгиап не мог налюбоваться на свою девочку-жену (ей едва исполнилось девятнадцать). Он нарядил ее в платье из яркого шелка с золотым шитьем, купил ей роскошный пояс с изображением дракона. Так он платил за ее красоту, которая не противилась его настойчивым желаниям. Он чувствовал себя самым счастливым человеком на земле и каждую ночь, распростершись на полу, молился богине Гуаньинь^[153], которая послала ему в жены такую небесную фею.

Когда Сун (так звали жену Нгиапа) в первый раз встала за прилавок, она сильно робела и стыдилась. Ведь Сун была из деревни и не привыкла вести денежные расчеты. Она боялась ошибиться, давая сдачу, и долго соображала, бормоча что-то про себя; Сун не обучали считать в уме, и ей приходилось пользоваться пальцами на руках и ногах, как это делают маленькие дети. Но вот прошло немного времени, Сун сделалась опытнее и перестала ошибаться. Всякий, кто навещался в лавку Нгиапа или проходил мимо, слышал голосок Сун, которая громко и внятно втолковывала что-то мужу (ведь он был самым глухим человеком на свете — не иначе как судьба послала ему самую плохую барабанную перепонку!).

С появлением молодой хозяйки в лавке заметно прибавилось посетителей. В заведение Нгиапа стали приходить не только рабочие-ирригаторы, шоферы или железнодорожники, но и клерки из городских контор, школьные учителя и даже сам господин Киат, заместитель уездного начальника. Увидев Сун, местные парни быстро переключались из других баров и кофеен в лавку «китаёзы Нгиапа», — здесь, по общему мнению, было уютнее. А вскоре, как всегда бывает в таких случаях, посетители лавки наперебой начали ухаживать за Сун. Они могли не таясь заговаривать с нею, делать прозрачные намеки, заигрывать с юной красавицей, пока та обносила всех кофе. Муж ее не слышал ни слова. Да и сама Сун старалась ничего не замечать. Она быстро привыкла ко всякому: если к ней пристают клиенты, значит, так и положено в этом мире.

Но вот Сун понемногу стала присматриваться к щеголеватым парням в модных костюмах. Иной раз, заглядевшись на какого-нибудь красавца, она

вдруг замечала всю невзрачность и убожество своего сорокалетнего мужа. «Вот напасть-то! — шептала про себя Сун. — И с таким мне суждено прожить всю жизнь!»

— Черт побери, и как только этот паршивый китаёза сумел обзавестись такой соблазнительной девчонкой? — заметил как-то господин Киат, заместитель уездного начальника.

— Да, и впрямь хороша! — поддакнул ему Санга, старший учитель храмовой школы, прозванный за свой низкий рост Коротышкой.

Сун с деловым видом ходила между столиками, подавала, что требовали, собирала грязную посуду; нескромные намеки и грубые шутки, казалось, не задевали ее.

— И подумать только, ведь она ему жена! Тьфу! — с досадой говорил какой-нибудь, местный парень.

— А теперь-то этому хрычу уже и ни к чему! — вторил ему другой. — Эх, что поделать? На земле один закон — у кого руки длинные, тот и хватает!

Но спокойствие Сун сохранялось недолго. Ее душу смутили молодые щеголи в синих ковбойских брюках. Это было ей внове. С интересом разглядывала она их яркие, в узорах гавайские рубашки. Так и чесался язык порасспросить, где они достали такие. Эти парни дурачились и шутили, заставляя Сун смеяться до упаду. То пустятся в пляс по всей лавке, а то поют какие-то незнакомые песни со странными выкриками. Неожиданно для себя Сун стала презирать беднягу Нгиапа. Какое это жалкое и никчемное существо! Иногда ее тайное презрение прорывалось наружу: она начинала ругать его, вспоминая все бранные слова, которые знала. Поносила она не только Нгиапа — не меньше доставалось и ей самой. Как же случилось, что она стала собственностью этого старого китайца? — спрашивала себя Сун. Как могла она так унизиться? Пускай бы только старого, но ведь еще и такого уродливого, прямо-таки отталкивающего! И к тому же глухого.

— А пожалуй, неплохо быть в женах у такого вот китаёзы, — говаривал, бывало, заместитель уездного начальника.

— С чего это вы взяли, господин заместитель? — недоумевал учитель по прозвищу Коротышка.

— Ну как же, Нгиап не больно-то досаждают своей красотке, спит с нею раз в год — в китайский праздник весны! — При этих словах вся компания давилась от хохота.

Семейные дела глухого Нгиапа частенько становились предметом обсуждения у завсегдатаев лавки, и тут уж обязательно задевали Сун. Иной

раз она сердилась и с ненавистью глядела на сплетников, а иногда все это ее даже забавляло: Сун усмехалась про себя и с независимым видом расхаживала по лавке. А шутники и приставапы, видя, что их выходки по душе Сун, продолжали судачить о ней и часто в своих словах не знали меры. Несколько мужчин уже всерьез влюбились в Сун и теперь страдали, временами доходя до иступления. Обычно они с мрачным видом просиживали все вечера в лавке, склонившись над кофе и лишь изредка украдкой поглядывая на недоступную красавицу. Когда она подходила к их столику, каждый на свой лад старался привлечь ее внимание.

— Послушай, Сун, хочу попросить у тебя еще кое-что, — шептал какой-нибудь отчаявшийся влюбленный.

— Чего же? — спрашивала она, думая, что ему нужны сахар или спички.

— Твоей любви!

— О, господи! — только и говорила Сун, проходя мимо.

И пусть в темной лавчонке Нгиапа было душно и жарко, так что раскалывалась голова, пусть стояла пасмурная погода и лил дождь, пусть на дворе бушевала буря и гремел гром — в лавку тянуло, словно магнитом. А уж когда выпьешь у Нгиапа кофе или, еще лучше, вина, кажется, будто нашел ты здесь избавление от всех бед и невзгод. Здесь забывались печали и проходила тоска. Так считали многие посетители лавки. Бывало, что женщины посмелее являлись в лавку китайца и с яростью выволакивали за шиворот своих опьяневших мужей.

— Опять набрался, скотина, — ругались они, — ладно хоть бы только пил, а то ведь еще и к бабам пристаёт! Двоих детей завел, а туда же!

Время шло. Сун теперь уже совсем осмелела. Она стала находчивой и научилась ловко отвечать клиентам. Ей даже доставляло удовольствие слушать их шутки и веселую болтовню. А при каждой стычке с Нгиапом она все больше ожесточалась. Вначале Сун просто сердилась и бранила мужа. Теперь же все чаще стала прибегать к оскорблениям, слова ее сделались жестче и обиднее. Но ведь Нгиап был глухим, и весь ее запал тратился впустую: бедняга не слышал тех страшных ругательств, которые срывались с уст его юной жены.

— Если бы не наша бедность, черта с два ты заполучил бы меня! — крикнула она ему как-то в присутствии посторонних — завсегдаев их кофе. — Послушалась отца с матерью, вот и согласилась... Не могла же я отплатить им черной неблагодарностью!

Злобная ожесточенность Сун все росла. Теперь она все меньше занималась делами лавки, перестала помогать мужу обслуживать

посетителей и только сидела за кассой или хозяйничала у стойки.

Сун часто получала письма. У нее их скопилась изрядная пачка. Но вряд ли она одолела хоть одно из них. Читала Сун по складам, да еще вслух, как когда-то в школе. И конечно, любовные послания оставались без ответа...

Жизнь текла без особых происшествий, пока вдруг одно событие не взбудоражило все общество, собиравшееся в лавке Нгиапа. Это было пари. Его заключили известный господин Киат, заместитель начальника уезда, и один молодой человек, о котором мы еще не упоминали. Звали нашего героя Синг (что, между прочим, значит «лев»). Он слыл скрытным и немного мрачным юношей, имевшим склонность к дальним странствиям и путешествовавшим без особых затрат — в товарных вагонах с дровами или углем, на грузовиках с бревнами. Он поездил немало, везде побывал и стал в здешних местах известной личностью.

— Если ты сможешь овладеть этой женщиной, — господин заместитель говорил довольно громко, почти кричал, по виду он был сильно пьян, в тоне его голоса смешались презрение и злость, — так вот, если ты сможешь одолеть ее, то мы все тут скинемся по пятьсот батов с носа: пятьсот — с меня, пятьсот — с учителя Санга, пятьсот — с Мунита... Получишь приличную сумму, сопляк!

— И если можно, еще бутылочку «Мэконга»^[154], господин заместитель, — усмехнулся Синг и слегка передернул плечами.

— Ладно, можно даже две, — надменно бросил Киат. — А ежели ты промахнешься?

— Ну, тогда... — На губах Синга по-прежнему блуждала усмешка. — Господин заместитель ведь жаждет заполучить мою землю, не правда ли? Так вот... Эту землю, которая вас так привлекает, оставила мне по завещанию моя бабка. И если я теперь проиграю, передам право на участок господину заместителю. А вот и свидетельство... Но мы, господин заместитель, еще не условились с вами относительно сроков. Сколько же времени вы даете мне на это предприятие?

— Месяц! — отрезал Киат.

— По правде говоря, маловато... Но ничего! Была не была. Пусть будет месяц. Однако у меня еще одна просьбиш-ка, которой я вынужден беспокоить господина заместителя. Вы ведь знаете, что в моих карманах всегда пусто. Деньги в них как-то не залеживаются. Вот я и прошу дать мне вперед, заимообразно конечно, сто батов. Да, всего сто батов — под залог вот этого свидетельства. Обеспечением долга послужит моя земля...

— Все это слышали? — воскликнул господин Киат, воздев кверху

руки и призывая всех присутствующих в свидетели.

— Все, все, почтенный господин заместитель! — выкрикнули сразу несколько человек.

— Итак, каждый из вас слышал, что наш приятель Синг передаст мне право на владение его землями, если он проиграет... А сейчас он попросил у меня в долг сотню и оставил в качестве гарантии этот документ.

— Прошу вас, господин заместитель, говорите потише, — взмолился Синг. — Ведь она может услышать.

Когда же господин Киат отсчитал и протянул ему деньги, Синг вежливо отстранил их.

— Будьте уж так добры, дайте мне «красненькую».

— Зачем тебе обязательно «красненькую»? Вот еще прихоть! Те же сто батов, только одной бумажкой, не все ли равно?

— Вы правы, господин заместитель, но все-таки мне нужна «красненькая».

Получив из рук господина Киата красную стобатовую ассигнацию, Синг аккуратно сложил ее и спрятал в бумажник.

— Так, значит, договорились, господин заместитель, вы мне даете месячный срок?

— Договорились. Теперь дело за тобой, парень!

Чуть улыбнувшись, Синг поднялся с места и, посвистывая, вышел из лавки.

Месяц, чтобы завоевать любовь Сун. Месяц, чтобы соблазнить замужнюю женщину. Дело гнусное, а срок короткий. Но все это не слишком волновало Синга. Несколько дружков, прослышав о диковинном пари, обступили Синга и стали сокрушаться: вряд ли ему повезет — видно, придется распрощаться с бабушкиным наследством. Однако Синг был по-прежнему спокоен. Стоит ли об этом тревожиться?

На следующее утро он проснулся рано. В бамбуковых зарослях стоял разноголосый птичий гомон: стрекотали сороки, о чем-то своем бубнили голуби... Приодевшись и наведя лоск (броская внешность — главный козырь сердцеда!), Синг открыл бумажник и извлек оттуда изрядно потрепанную красную ассигнацию: да, уж она видала виды, ее мяли и вкривь и вкось — аж почернела вся от сотен и тысяч пальцев! Ну, держись, красненькая, тебе придется спасти честь мужчины! Ты поможешь ему выиграть приличный куш да в придачу первосортное виски!

Выйдя из дому, Синг торопливо зашагал к лавке Нгиапа. Когда он усаживался за столик, вид у него был немного растерянный.

— Чашку кофе и сигареты «Золотая чешуя»!

Принимая заказ, Сун мельком взглянула на юношу и кивнула Нгиапу, чтобы тот заваривал кофе.

Так и сидел Синг с отсутствующим выражением лица, курил, о чем-то вздыхал. Глаза его не встречались со взглядом Сун. Заметив, что в лавке поднабралось народу, он встал. Достав из кармана бумажник, вытащил потертую ассигнацию и передал ее Сун. Безразлично кивнув посетителю, Сун, ни слова не говоря, отсчитала сдачу. Он принял от нее деньги все с тем же вежливо равнодушным видом.

Стремительно выйдя из лавки на улицу, Синг пересчитал деньги: оставалось еще девяносто шесть батов. Долго не раздумывая, он забежал к одному приятелю и выпросил в долг четыре бата. С сотней батов в кармане Синг тут же направился в мастерскую господина Хуата, где чинились и продавались часы разных марок. Там он попросил обменять ему деньги и снова стал обладателем стобатовой бумажки. На сей раз это была новенькая ассигнация, ярко-красная и хрустящая, будто ее только что впервые взяли из банка.

В полдень Синг опять явился в лавку китайца и заказал холодного молока и рисовой лапши. Быстро уничтожив и то и другое, он посидел еще немного и поднялся. Отыскав Сун, он подал ей, как и утром, красную ассигнацию в сто батов. Не дотрагиваясь до денег, Сун подняла глаза и в упор посмотрела на него.

— Да ведь утром я уже разменяла одну! Тут и мелочи не напасешься!

— Но у меня других нет, — сказал Синг с извиняющейся улыбкой.

— А те, что были с утра, уже кончились?

— Да, все истратил. Один мой дружок попал в беду. Вот и пришлось его выручить!

Со вздохом направилась Сун к прилавку, повернула ключ, достала деньги и отсчитала Сингу девяносто пять батов. Она провожала внимательным взглядом его высокую ладную фигуру, пока он не спеша выходил из лавки. Синие ковбойские брюки, пестрая шотландская рубашка, красивые волосы, надо лбом щеголеватый кок. Когда Синг скрылся из виду, она вернулась к работе — надо было обслуживать других клиентов...

Синг поспешил разыскать господина Клума (у того были обеспеченные родители, и он никогда не знал недостатка в деньгах). Кинув Клуму девяносто пять батов, Синг крикнул:

— Одолжи пять батов, старый грешник! Забирай эти и давай мне «красненькую»!

— Ну, как твое дело? Сдвинулось? — спросил Клум.

— Только еще начинается! — ответил Синг.

— Смотри, если проиграешь господину Киату, то уж пощады не жди, этот паук плетет свои сети умело!

— Можно проиграть, но можно и выиграть, — усмехнулся Синг. — Просажу свою земельку — пожалуйста, забирай... Но такие, как я, легко не сдаются!

— Ну, в общем, держи ухо востро, — предупредил его Клум.

Так или иначе Госпожа Красная Ассигнация — на этот раз отнюдь не новая, но и не слишком затасканная — возвратилась в руки Синга. Он с удовлетворением помял ее в пальцах и спрятал в бумажник.

Когда наступили сумерки, Синг в третий раз пришел в лавку Нгиапа — выпить охлажденного черного кофе с бисквитом. Покончив с едой, он как ни в чем не бывало протянул хозяйке стобатовую ассигнацию.

— Неужто и на сей раз нет помельче? Да где же это видано? Две «красных» разменяла, а теперь и третья тут как тут! И все в один день!

Слушая эту тираду, Синг виновато улыбался. А Сун, сердито подбоченившись, приступила к нему с расспросами.

— Небось проиграл в кости?

— Да что ты, и в руки их не беру! Скорее дам себя заживо сожрать, чем сяду играть в кости!

— Так куда же ты подевал все деньги?

Синг молчал. Он выдержал паузу, пока Сун не проговорила наконец:

— Оставь эту бумажку у себя. Завтра утром придешь — тогда и рассчитаемся...

— Ас чем же я пойду в город?! — воскликнул он. — Ведь завтра там ярмарка... Полно всяких развлечений — и кино покажут, и шуты будут выступать, и пьесу в балагане посмотреть можно... Знай не жалея монет! Ну, а если проголодаешься по дороге — надо купить чего-нибудь поесть. На все деньги нужны... А уж менять-то ассигнацию там никто не станет!

Сун тяжело вздохнула. Ей вдруг представилась ее собственная жизнь — однообразная и скучная. Она медленно подошла к стойке, достала деньги и протянула ему сотню батов, даже не высчитав за кофе и бисквит.

— А ты забыла, Сун, что я у тебя ел и пил?

— Ничего, забирай свою сотню! Наш банк подрядился менять тебе «красненькие» — трать на здоровье!

— А тебе-то самой разве не хочется пойти в город поразвлечься? — вдруг спросил Синг.

Сун опустила голову и вздохнула. Вопрос причинил ей боль. Она

повернулась и посмотрела на мужа: Нгиап, деловито отжав тряпку, принялся обтирать стойку, зеркало и все, что, по его мнению, пора было мыть. Ни до кого на свете ему не было дела, и на жену-то он обращал внимание только в постели...

— Я не могу пойти. Хотя и очень тянет. Каждому хочется хоть немного радости. Но идти в город мне нельзя.

— Ну, тогда и я не пойду! — решительно заявил Синг.

— Это почему же?

— Желание пропало. Подумал о тебе и расстроился... Мне тебя очень жаль, Сун. Теперь уж мне не до развлечений... Но если бы тебе удалось как-нибудь вырваться, я бы обязательно пошел с тобой!

— На это и рассчитывать нечего. Разве ты не знаешь, что он ни за что меня не отпустит!

— Ну, здесь-то можно кое-что придумать... Слушай, Сун, ведь у тебя есть отец с матерью! Смекнула? Скажи ему, что ты, дескать, собираешься навестить родителей, как это принято у китайцев. Обычай, мол, велит... А я подговорю дружков, пусть скажут, что они — твои односельчане. Ему доложат: так, дескать, и так, дома у Сун неблагополучно. Ну, ты и отпросишься у него дня на три — сходить в родную деревню! А там уж мы с тобою зря времени терять не станем! Махнем в город, да и все тут. И уж гульнем славно! Ловко я придумал, Сун? О деньгах не беспокойся — все расходы беру на себя!

— Эх ты, сразу про деньги! Деньги — это пустяки! Я ведь и сама кое-что подкопила.

— Ну как, Сун, согласна?

— Если выйдет что — я передам тебе...

Довольный успехом, Синг выскочил из лавки и помчался искать, где можно было бы обменять деньги на ассигнацию в сто батов: завтра он собирался продолжить свою игру. Ему пришлось изрядно побегать, не у каждого ведь найдешь «красненькую»! Пока он хлопотал, совсем стемнело. Возвратившись домой, Синг сразу же лег в постель и сном праведника проспал всю ночь.

Утром, когда начало светать, его разбудили птицы. Музыка, доносившаяся с ближних деревьев, отозвалась в его сердце, и в нем зазвучала радостная песня. Синг вскочил, натянул модный костюм из Бангкока и отправился в лавку Нгиапа. Все было как накануне.

— Кофе и пачку «Золотой чешуи»!

А потом он подал Сун красную ассигнацию. Сун не взяла.

— Куда же ты подевал сотню, что я разменяла тебе вчера вечером?

— Сейчас уже не помню. Выпил немного. Забыл, на что и потратил.

— Значит, и ты пьешь?! — пробормотала Сун.

— Да я был словно не в себе, вот и напился... Уже несколько месяцев не нахожу себе места, совсем одурел...

— Да что случилось-то? — тихо спросила Сун.

— Влюбился... В чужую жену... Сама знаешь, хорошо это или плохо!

Сун вздохнула и подошла к нему поближе.

— Вчера ночью я говорила с ним. Просила отпустить меня домой на три дня. Нгиап сказал, что пустит завтра с утра. Ты возьмешь меня в город? Мне так хочется на ярмарку. — Выговорить все это стоило Сун большого усилия. — Сперва он не хотел меня отпускать. Пришлось его долго упрашивать. Сказал: если через три дня не вернусь, сам пойдет за мною. Закроет лавку и пойдет...

— А сегодня ты не сможешь пойти? — встрепенулся Синг.

— Да не торопись так, куда спешить?

Он сунул ей в руку кредитку. Сун разменяла и вернула ему всю сотню. Сердце у нее сжалось, когда она глядела ему вслед.

Днем Синг наведалься опять, и вновь в его руках была красная ассигнация. Придя ужинать, он разменял еще одну. Синг всегда был азартным игроком. И теперь игра полностью захватила его. Он видел перед собой только крупную ставку. Все остальное уже не имело значения. Время тянулось для игрока медленно, он едва дождался утра.

И вот наконец он ведет Сун в город, где, кстати сказать, нет никакой ярмарки. Он приводит ее в маленькую гостиницу около базара. Они поднимаются по лестнице. Синг открывает дверь номера и, легонько втолкнув внутрь свою спутницу, опускает щеколду.

Синг выхватывает из-за пояса маленький кинжал и крепко сжимает запястье Сун.

— В этой жизни нам с тобою не будет счастья. Лучше уж умрем вместе!

— Что ты, что ты, зачем? — в ужасе кричит Сун.

— Мы умрем вместе, моя любимая, моя Сун... И ты не будешь никогда принадлежать другому...

Сун бросается к нему, обнимает за шею, хочет вырвать из его руки кинжал.

— Не надо думать о смерти, — голос ее дрожит, — я тоже люблю тебя. Не любила бы — так не пошла бы с тобой сюда.

— Когда же ты полюбила меня, Сун? — спрашивает он, стараясь скрыть свое торжество.

— Полюбила сразу, как увидела... Когда ты дал мне в первый раз «красненькую», помнишь?

Теперь уже Сун ничего не стоит отнять у него кинжал. Рука Синга легко разжимается. Все еще дрожа от страха, она подходит к окну и бросает кинжал на пол...

Все горести позади. Ярким пламенем вспыхивает страсть, закипает любовный напиток, исцеляющий сердца; горит огонь любви, но не обжигает, а лишь обволакивает влюбленных сладостной истомой. Они уже забыли обо всем на свете. Время остановилось...

Наутро четвертого дня Синга, как всегда, разбудили птицы. Не торопясь, он встал с постели, свернул москитную сетку, задернул полог, умылся и прополоскал рот, потом занялся своим туалетом. Спешить не хотелось. Посвистывая, он надел старый костюм и медленно направился в лавку Нгиапа.

Синг старался не смотреть в сторону Сун. Не взглянула на него и Сун. Горечь незаслуженной обиды жгла ее. Она ведь предлагала ему бежать, а он отказался...

У завсегдатаев лавки были довольные лица, их глазки маслено поблескивали. Только господин заместитель с Му-нитом да учитель Санга сконфуженно улыбались, им явно было не по себе.

— Ну, Синг, а ты, оказывается, ловкач! — с трудом выдавил из себя Киат. Порывшись в кармане, он достал пачку кредиток и велел своим компаньонам сделать то же самое.

Все это не могло укрыться от глаз Сун. Теперь она поняла, зачем Синг потащил ее в город, зачем устроил всю эту игру. Боже, как стыдно! И как она его ненавидит!

Сун стояла и смотрела, как он пересчитывает деньги — пятнадцать «красненьких»! Запихивает всю пачку в карман.

— Ну, а как же «Мэконг», господа? — напомнил Синг, хитро усмехаясь. — Хоть на бутылочку да рассчитываю!

Сун резко оттолкнула стоявший рядом стул и, не выдержав, начала швырять все, что попадалось ей под руку. Страшный грохот не мог заглушить злорадного смеха, который раздавался в ее ушах... «Какой подлец! Я-то, дура, всему поверила! Думала, что это любовь! А он держал пари, мерзавец...»

Обессилев, Сун принялась машинально вытирать стаканы, стоявшие на прилавке. Ее руки привычно брали стакан за стаканом, протирали полотенцем и ставили на прежнее место. В душе было пусто. А глаза смотрели куда-то вдаль, где сходятся земля и небо...

Перевод с тайского Ю. Осипова

Мон Мети

Рассказ «Тряпка» писательницы-новеллистки Мон Мети был впервые опубликован в солидном ежемесячном журнале «Чао крунг», издающемся в Бангкоке. С тех пор прошло более десяти лет. За эти годы окончательно сложилось писательское кредо Мон Мети, возросла ее популярность среди демократической части тайландского общества. Она принадлежит к прогрессивному литературному движению, представители которого все более и более обращаются в своем творчестве к вопиющим противоречиям между правящими кругами и эксплуатируемыми низами, к неразрешенным политическим и социально-экономическим проблемам Таиланда.

Художнику, обеспокоенному крайне тяжелым положением трудящегося и угнетаемого люда, поднимающему свой голос в защиту интересов абсолютного большинства тайландского населения, приходится считаться с обстановкой и тщательно выбирать методы и способы, наиболее эффективные в борьбе за лучшую долю своего народа. Существует прямая связь между процессами непрерывного ухудшения положения трудящихся и постоянным ростом ассигнований на военные расходы. Правительства Таиланда связали страну «соглашением о военной помощи» с агрессивным курсом Пентагона, что, естественно, породило в стране движение против ее милитаризации.

Каждый литератор выбирает свою форму протеста. Один выступает с обличительным памфлетом, другой произносит речь на митинге или собрании, третий — на международном форуме. Мон Мети избрала свой путь — она пошла к «униженным и оскорбленным», к обитателям городского дна, в трущобы тайландских городов. Она не витает в облаках нравоучительных сентенций, почерк ее строг и конкретен, она не расписывает тяготы жизни, а правдиво описывает их. Далеко не всегда изображаемые ею «люди дна» — борцы, но всегда они сохраняют в натуре человеческий облик, зачастую наделены привлекательными свойствами, стойкостью в житейских неурядицах. Человек не придавлен, не сломлен — этот подспудный оптимистический мотив проходит отчетливо через все творчество писательницы. Она как бы проповедует лозунг, поддерживаемый истинными демократами в буржуазном мире: измените общественный строй — изменится и человек!

Политическое движение тайландской интеллигенции подготовило почву для появления рассказов Мон Мети: она имеет своего читателя,

которому помогает осмыслить происходящие события, заставляет задуматься над современной тайландской действительностью и определить свое место в борьбе сегодняшней и будущей.

Н. Хохлов

Тряпка

— Монг, паршивец!

Ну и голосок у мамки, когда сердится. Колокольцы в храме все разом грянь — и то тише будут.

— Ты что, не видишь?! Машина-то пришла! Чего расселся! И когда только эта скотина сама будет добывать жратву!

Монг сразу же вскочил, нет-нет, мать тут ни при чем, ноги сами понесли Монга к подъехавшему автомобилю.

— Птичек на волю! Птичек на волю! Пять пара, берите, пожалуйста!

— И у меня, дяденька, возьмите у меня, тоже пять пара, отец только что поймал! — зазвенели голоса мальчишек, продающих птиц в маленьких клетках тем праведникам, что по буддийскому обычаю совершают богоугодные дела, отпуская на волю птиц.

— Давайте посторожу машину, дяденька, а? Никому и близко подойти не дам, и протру еще. — Это был голос Фона, они с Монгом приятели, одноклассники; только у Фона ни отца, ни матери.

— Знаешь, я тоже буду как те, они иной раз знаешь сколько огребают!

«Те» — это мальчишки, которые подражаются присматривать за машинами в Аютии или в любом другом месте, куда часто наезжают туристы. Как-то раз Фон, прокатившись в грузовике до Аютии, увидел этих «автосторожей» за работой и решил промышлять тем же здесь, у храма Священной Стопы Будды.

— Посторожишь? Давай посторожи... И протрешь еще, говоришь?

Монг, стоя рядом, наблюдал, с какой настойчивостью Фон предлагал свои услуги вышедшей из автомобиля паре. Оба они — и мужчина и женщина — казались добродушными.

— Дяденька, дайте денежку!

— Тетенька, миленькая, дайте салынг! [\[155\]](#)

— Подайте...

Их целая толпа, ребяташек у храма Священной Стопы. Лес вытянутых вверх ладошками рук встречал всякого, кто приходил помолиться.

— Еще чего! Прочь, попрошайки! — Сердитый голос сопровождается энергичным взмахом руки — и вот толпа ребятишек рассыпается, только наиболее упорные трусят сзади в подчеркнуто вежливом буддийском поклоне да бормочут, как заклинание: — Тетенька, дайте четвертачок!

— Просто трагедия с этими попрошайками! Они сизмальства приучаются просить, а потом не знают, как зарабатывать на хлеб. Те, что приторговывают, — еще куда ни шло!

— Да дай ты им сколько-нибудь, ради бога, в кои-то веки сюда выбираемся.

Монгу досталась блестящая золотистая монета, которую он поспешил зажать в кулаке. Мужчина и женщина, оделив всех ребятишек мелочью, направились к длинной лестнице, ведущей в храм Священной Стопы.

Отец и мать сидели возле дороги в тени деревьев. Рядом с ними, прямо на земле, лежал чумазый, весь облепленный мухами малыш. На звук шагов отец встрепенулся, глаза слепого, подернутые мутно-белой пленкой, часто заморгали. Мать схватила старую консервную банку, сунула отцу в руки, а сама поспешно усадила малыша на колени. Мать была на сносях, сидеть у нее на коленях малышу было неудобно, и он громко завопил, широко разевая рот.

— Подайте на пропитание, благородные господа! Я не вижу белого света, работать не могу, дети малы! Пожалейте нас, благородные господа! — тянул отец.

Голос у отца глухой, как шелест листьев во дворе храма, когда их гонит ветер по каменным плитам. Он одинаково тускло говорит со всеми — и с детьми, и с матерью, и с богомольцами. Как отличается он от голоса мамы, который звенит, как храмовые колокольцы, особенно когда надо выпросить подаяние!

— Подайте милостыню, благородные господа, дай вам бог богатства и счастья полный дом! Пожалейте малых деток и их слепого отца!

— Слепой-слепой, а наплодил! А если б видел — представляешь?! — Некоторые отпускали всякого рода шутки по адресу родителей — это не очень-то нравилось Монгу, хоть многое он не понимал, а может быть, уже понимал, кто знает?

Монг стоял в нерешительности, сжимая в кулаке монету. К матери сейчас лучше не бежать — они с отцом как раз усиленно кланялись и вот-вот должны были получить милостыню, иначе бы мать так не частила с поклонами. Поэтому Монг просто стоял и смотрел — он вообще любил смотреть.

Завидев богомольцев, все старики и старухи у храма зашевелились. Те,

кто скрючился в тени лестницы, поспешно выползли поближе к тротуару. Теперь уж как солнце ни жарь — не уйдут. Каменные плиты немилосердно обжигали распластавшихся в поклоне нищих, и тела их, залитые потом, блестели на солнце.

Кое-кто из богомольцев подавал, некоторые проходили мимо, но в общем-то каждому из нищих что-нибудь доставалось. Монг стоял и разглядывал вновь приехавших, а когда они были уже на полпути к дверям храма, вдруг вспомнил...

Верхняя ступенька лестницы принадлежала бабке Фэнг, она считалась собственностью этой старой нищенки, пожалуй, самой доброй из всех. Бабка обожала детишек, особенно Монга, и для него у нее всегда было припрятано какое-нибудь угощение.

Монг знал, что есть отец, мать, младшие братья, сестры, друзья, которые вертятся вместе с ним вокруг храма Священной Стопы. А теперь появилась еще и бабка Фэнг. Ее доброта стала источником глубокой привязанности, которую мальчик питал к старой нищенке. Частенько они и спали рядом. А однажды мать до синяков побила Монга за то, что тот сел просить за бабушку Фэнг, пока та отлучилась за нуждой. Если б в тот раз никто не подал, все, пожалуй, и обошлось бы. Но, увы, мать как раз застала Монга, когда он получал подавание, — за это ему и досталось. Отдать бы монетку матери — и взбучки не было бы. Но Монгу было так жалко бабушку Фэнг — она ведь одна-одинешенька. Однако с тех пор он уже не отваживался на подобное, и лишь когда появлялись богомольцы, а бабки не было на месте, Монг стремглав бежал за ней. Ее старость была талисманом — кому-кому, а бабке Фэнг подавали все и всегда. Мать недолюбливала бабушку, и Монгу часто влетало из-за нее.

Ну вот, старой Фэнг опять нет на месте, а та пара уже на полпути, этак бабка останется с носом. Монг, вытянув шею, поискал старуху в нижней зале, но не нашел. Наконец он заметил ее.

Бабка Фэнг стояла у крапа, подставив под струю кружку, возле задней стены храма, там, где сидели мать с отцом. Как тут ее позовешь? Монг, не долго думая, сунул матери деньги и, пока та прятала монетку в кушак, проскочил к бабке Фэнг.

— Бабуль, скорее же, торопись, они уже почти дошли!

Бабка засуетилась, заторопилась, да старые ноги не очень-то слушались. Она успела доковылять до последнего пролета лестницы, как раз когда те двое нагнали ее. Старуха тут же бухнулась на колени и подставила кружку вместо своей обычной жестянки. Монг посчитал свои обязанности исполненными и побежал вниз — смотреть, как Фон сторожит

машины.

Фон и Монг — друзья, они очень похожи: одного роста, одинаково черны от солнца, да и жизнь у обоих одинакова — день сыт, два в брюхе свистит. Но после той прогулки на грузовике до Аютии Фон научился неплохо подрабатывать, по крайней мере, если ему хотелось полакомиться сладкой лапшой с ледяным кокосовым молоком, ему не надо было высматривать недопитые стаканы или кланчить остатки у других.

— Видал?! Эту тряпку я выпросил у своих родственничков. В этой, как ее, Ютьи, что ли, все ребята сторожат. Если подвалит народ — знаешь сколько огрести можно! — рассказывал Фон, и на шее у него красовалась желтая тряпка, похожая на кусок монашеской робы, вся в темных пятнах.

Эту тряпку Фон просто обожал и всегда носил ее, повязав вокруг шеи. Он был единственным среди ребят храма Священной Стопы, кто не протягивал руки. Он считал, что может уже заработать на жизнь самостоятельно. Каждая из подкатывавших к храму машин становилась добычей Фона. Если приезжало сразу две машины, Фон обычно говорил владельцам: «Да я с другом посторожу, будьте покойны, и тронуть никому не дам». Тут уж Фон чаще всего звал на помощь Монга и, получив деньги, делился с ним. Но, как водится, помощник всегда получает меньше. Фон умудрялся зарабатывать почти всегда, а уж в воскресный день и подавно.

Но бывали дни, когда никто не приезжал на богомолье, и тогда Фону, сироте, без отца и матери, приходилось туговато. Порой просил он поесть у монахов. Кто давал, а кто — нет. Вот Фон и научился приберегать монетку-другую на случай неудачного дня. В кармане пусто, а Фон о чем только не мечтал. «Вот посмотришь, куплю себе большую машину, буду товар в город возить!» Монг и подумать не смел о подобном. Это все равно что мечтать о куриной лапше на обед каждый день, это уж чересчур! У Монга тоже есть мечта: достать тряпку, одну-единственную тряпку, и он смог бы работать протирщиком и не стал бы больше попрошайничать, слишком часто ему не подавали, а порой еще и гнали прочь, как шелудивого пса.

— Может, попросить тряпку у этих, в машинах, а?

— Подожди, пусть кто-нибудь приедет с ночевкой.

Монг часто советовался с Фоном, и тот во всем поддерживал его. Но господа в машинах что-то не приезжали с ночевкой, и Монг продолжал ждать, с легкой завистью наблюдая, как работает Фон. Монг был уверен, что настанет день — и он научится зарабатывать так же, как его друг.

— Баб, можешь достать мне тряпку, а? — спросил Монг однажды бабу Фэнг.

В тот день бабка выпросила у торговок целую кучу ямса и раздала его детишкам — самой-то ей не разжевать. Монгу, как всегда, досталось больше других.

— Какую еще тряпку? Зачем тебе?

— Машины протирать! Приедут господа помолиться, а я тут как тут: машину посторожу, протру — они что-нибудь заплатят. Вон Фон-то уже давно не просит, протирает себе машины — и сыт.

— Да кто ж тебе позволит, миленький? Здесь уже Фон работает!

— Ничего. Машин-то хватает. Фон даже зовет меня иногда помочь и делится со мной. А если б у меня была своя тряпка, я бы сам работал.

— Что ж, у матери и старой тряпки не найдется? Попроси-ка у нее!

— Ни за что! Да у нее и нет. — С этими словами Монг покосился в сторону матери, которая сидела рядом с отцом и кормила бананом младшенького. На матери была очень старая кофта, на отце — рубаха, через которую отчетливо просвечивала грудь с выступающими ребрами. Стары и ветхи были и материнская юбка, и отцовские штаны. Младшие ребяташки бегали голышом, они не знали одежды с рождения. Монгу еще повезло, у него есть штаны, правда, в дырках и спереди и сзади, но это все-таки лучше, чем ничего. А бабка Фэнг вздумала еще к матери посылать!

Конечно, тряпье у матери есть, но она им укрывается ночью. А уж дрожит над ним — не дай бог! Не то чтобы на протирку, укрыться — и то не даст, если ночь не очень холодная.

— А сумеешь ли ты? Не попортишь машину-то?

— Да ты что, бабк! Да я... Буду делать, как Фон. Если не грязная, смахну пыль — и все, а если очень грязная — намочу тряпку и протру.

— Сколько ты там с них возьмешь? А намахнешься-то как! По мне, лучше просить.

— А я не хочу больше просить, бабушка. Хочу работать, как Фон, чтоб никто не обзывал бездельником. А просить — ты же знаешь — часто вообще не дают. Достань мне тряпку, бабушка, а? — Монг разговаривал с бабкой Фэнг, как с матерью, будто не была она всего-навсего старой нищенкой.

— Ладно уж, как подвернется работа, приходи ко мне за тряпкой. — Они всегда понимали друг друга — Монг и бабка Фэнг. С отцом и матерью Монг почти никогда не разговаривал. Отцу ни до кого не было дела. Мать только и занималась, что маленькими, а теперь из-за большого живота она стала еще сварливей и раздражительней.

— О боже, чего они плодятся, когда и так жрать нечего. Еще этот дармоед Монг. Ну, погоди у меня! Оставлю голодным на весь день, тогда

узнаешь!

Быть голодным только один день — если б мать выполнила свою угрозу! Чаше, гораздо чаще оставался Монг голодным. Мать, верно, считала, что Монг уже большой и может сам о себе позаботиться; вот малышей — тех надо кормить. И Монг научился приберегать монетки, пряча их иногда в дупло, иногда зарывая в землю. Подопрет голод — купишь поесть, и ничего, жить можно! Но в такие минуты надо быть осторожным: увидит мать — прибьет. Можно было хранить деньги у бабки Фэнг; это надежно, она всегда отдаст, а если есть у нее еда, то и угостит.

— Бабушка, у тебя уже есть тряпка? — не удержался от вопроса Монг, так как все богатство бабки Фэнг состояло из кружки для милостыни, бумажного пакета для всяких мелочей да кофты с юбкой, усыпанных заплатами.

«Странно, — думал Монг, — почему она сразу дать не может, я бы ее тоже повязывал вокруг шеи, как Фон. А-а-а... она, наверное, возьмет тряпку у соседей».

Монг тут же сообщил Фону, что больше не будет у него в помощниках, а станет сам стеречь машины. Фон сказал: «Ладно», — и прибавил, что если придет только одна машина, то он уступит ее Монгу. Видать, этот Фон — добрый малый. И вот в первое же воскресенье Монг, к своей великой радости, получил работу. Это был красивый белый лимузин, покрытый красно-коричневой пылью.

— Сколько берешь, малыш?

— Сколько дадите, дядя.

Монг крепко запомнил, что говорил в таких случаях Фон, хотя его так и подмывало попросить батов пять. Тогда бы он досыта наелся куриной лапши, той, что каждый день привозят на тележках.

— Присматривай хорошенько, слышишь? И чтоб протер дочиста!

Они приехали вдвоем, мужчина и нарядно одетая женщина с не улыбчивым лицом. Монг подождал, пока они пройдут, и со всех ног кинулся к бабке Фэнг.

— Бабушка, где же тряпка? Я уже сторожу!

«Интересно, где она прячет тряпку». Но бабка просто стянула с себя кофту, под которой была только чуть менее рваная рубашка. Вот это да! Однако Монгу уже некогда было задавать вопросы. Надо спешить, сколько промолотся хозяева автомобиля, неизвестно. Схватив бабкину кофту, он намочил ее под краном и принялся старательно тереть машину. Он прошелся тряпкой от капота до багажника, но только размазал пыль, и тут же на белой машине появились красно-коричневые потеки. Монг протер

еще раз — грязи стало меньше. В это время раздался голос Фона:

— Теперь еще разок сухой! На вот мою!

Монг выхватил тряпку у товарища, и руки его снова быстро задвигались. Красноватые потеки стали понемногу исчезать. Монг не успел еще кончить, как на верхней ступеньке храма появились хозяева машины.

— Ну и жара, наверху хорошо, прохладно, а здесь просто пекло. Ужасно хочется пить! — зазвенел женский голос, и сердце у Монга заколотилось, руки от спешки задрожали. Работа еще не кончена, шаги все ближе, ближе, вот уже совсем рядом; теперь уже не успеть...

— О господи, да ты полюбуйся на машину! Вся в грязи, ты что это с ней сделал? — завопила дама, как на пожаре. Монг не смел поднять глаза, склонился к машине еще ниже, а руки задвигались еще быстрее.

— Ну, хватит, хватит. А чем это ты протираешь, мальй?

— Какое это имеет значение. Обыкновенная тряпка, — брезгливо процедила сквозь зубы женщина.

— Ну, ладно, сколько тебе за работу?

— Ты еще платить хочешь? Ни в коем случае, да он своей грязной тряпкой всю машину измазал. За это платить? Тоже мне добренький нашелся!

Монг и головы поднять не смел, не то чтобы выдать из себя слово. Сердце Монга сжалось в комочек.

Мужчина и женщина сели в машину, с треском захлопнули дверцу и умчались прочь. Ни единой монетки не вылетело из окошка. Монг вернул тряпку Фону, и в руке у него осталась только мокрая кофта бабки Фэнг.

Монг подошел к колонке, пустил струю посильнее и расправил под струей кофту, мучительно соображая, что же ответить бабке, когда та спросит, сколько он получил. Сказать «ничего» — можно, конечно, да ведь она сразу же спросит почему, а разве повернется язык сказать, что все из-за ее кофты. Да она эту кофту носит каждый день, а те ее тряпкой обозвали.

— Ой, да она стала как новая после стирки, ай да малыш! Ну, сколько дали?

— Целых три бата, бабуль, но я их уже истратил, — с утра ничего не ел!

— Правильно, малыш, кушай досыта, что ел-то?

— Куриную лапшу, бабушка, вот вкуснятина! — без запинки громко выпалил Монг. Стараясь заглушить бурчание в животе, Монг надулся воды, но все напрасно. Рядом с бабкиными пожитками желтели отличные бананы и, казалось, издевательски подмигивали Монгу. Знать бы заранее, так все бы и рассказал, как было, по крайней мере бананов бы поел,

подумал Монг и решительно зашагал прочь, не преминув еще раз взглянуть с вожделением на аппетитно желтевшие бананы. Пожалуй, раньше вечера попросить неудобно, а сейчас только полдень.

Монг растянулся под тамариндом на каменных плитах и, уставившись на густую крону, слушал шелест листьев. Если б они были съедобны! Солнце не проникало сюда, ветерок тянул не переставая; шорох листьев сплетался с перезвоном колокольчиков на карнизе крыши в баюкающую мелодию. А как приятно прохладны плиты!

Монг закрыл глаза. Эти молоденькие листочки на самой макушке дерева, наверно, очень вкусные! Так бы и ел их, и ел бы всю жизнь...

В этот день зеленокрылым жукам пришлось разделить свой обед с Монгом.

Перевод с тайского В. Чурмантеева

Сибурапха

Прозаик, литературовед, переводчик, публицист, общественный деятель, участник демократического движения Таиланда Кулап Сайпрадит отдал дань распространенному обычаю в литературных кругах Азии, как и Востока вообще, — он выступает под псевдонимом Сибурапа или Сибурапха. У него очень сложный жизненный путь — с радостями и огорчениями...

Сибурапха родился в 1905 году в столице Таиланда Бангкоке. Еще совсем молодым пареньком он начал сотрудничать в газете «Прачачат», откуда, кстати, вышли многие тайландские литераторы. Потом он учился в Японии, что дало ему возможность ознакомиться с литературой и искусством этой страны.

В годы второй мировой войны Таиланд был оккупирован войсками милитаристской Японии. В стране был установлен жестокий режим. Сибурапха, развернувший патриотическую деятельность в подполье, неоднократно подвергался преследованиям со стороны оккупационных властей. Гонения продолжались и после войны: тайландские правители, сменившие японских, сходились с ними в одном убеждении — что Сибурапха, связанный с представителями международных демократических организаций, с деятелями национально-освободительного движения, «опасен» для Таиланда. Один из руководителей Всетаиландского комитета защиты мира, член Всемирного Совета Мира писатель Сибурапха был арестован и осужден на двадцать лет тюремного заключения. Судьбой Сибурапхи, с которым так вероломно расправилась тайландская реакция, были обеспокоены его друзья в Таиланде и за его пределами. В его защиту выступали многие национальные и международные организации: в Бангкок шла лавина протестов, и в конце концов власти вынуждены были освободить узника «под залог». В 1957 году Сибурапха в составе делегации тайландских писателей посетил Советский Союз, был участником Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки.

В последние годы жизни (Сибурапха скончался несколько лет назад) писатель работал над воспоминаниями, которые частично опубликованы в Таиланде, выступал с литературоведческими и публицистическими статьями.

Перу Сибурапхи принадлежат романы «Лицом в будущее» (издан на

русском языке в 1958 г.), «Подросток», роман в письмах «Борьба за жизнь», несколько повестей и многочисленные рассказы, один из которых, «Дядюшка Пром с острова Лой», был также опубликован на русском языке.

Я. Хохлов

Айну сбивается с пути

Праздник воздушных змеев уже наступил, но змей папаши Тхонга все еще не был готов. Делать ничего не хотелось. Папаша Тхонг захватил с собой бутылку рисовой водки и уселся на галерее выпить чашечку в ожидании ужина. День был выходной, и Тхонг решительно не знал, как убить время после полудня. С ним всегда это случалось по выходным. Время от времени папаша Тхонг подходил к клетке с птицей и начинал барабанить пальцами по прутьям, стараясь привлечь внимание мирно ворковавшего белого голубя; когда это надоедало, Тхонг возвращался на свое место и громко окликал жену, которая чистила рыбу у дверей кухни. Завязывался разговор. Бывало, что, сидя на галерее и прихлебывая водку, папаша Тхонг мастерил что-нибудь.

В тот день после полудня папаша Тхонг, как всегда, хорошенько вздремнул, а проснувшись, вымылся и надел свой старый саронг, в котором не только гулял или принимал гостей, но даже иной раз и спал. Вещи в его доме не имели какого-либо специального назначения и свободно могли заменять одна другую, каждая годилась на все случаи жизни. Относилось это и к комнатам. Например, галерея, где папаша Тхонг обычно отдыхал и пил вино, могла служить столовой или гостиной, а если нужно — то и спальней, особенно в душные ночи...

Накануне папаша Тхонг получил жалованье и, решив порадовать жену, отдал всю получку ей. Жена Тхонга — матушка Нуан — была очень довольна; на радостях даже приготовила мужу закуску из соленой тыквы.

Пока он угощался, матушка Нуан присела рядом, чтобы поговорить немного о домашних делах. Речь, конечно, зашла и про Айну, их старшего сына. Недавно начались каникулы в школе, и он уехал на север — отдохнуть и поохотиться. При упоминании о поездке Айну глаза папаши Тхонга заблестели. С каждой чашкой этот блеск становился все ярче.

В словах папаши Тхонга была гордость: его сын отправился на охоту, точно молодой барин из богатой семьи!

Однако матушка Нуан вовсе не радовалась удаче сына.

— Не очень-то я верю, чтобы наш Айну смог выучиться и стать таким же, как эти сынки богачей! — проговорила она. — Его родители за всю свою жизнь никогда не выезжали из города, ни гор, ни моря не видали! Тебе вот не довелось побродить по лесу с ружьем! Целыми днями тяжелая работа и ничего больше! За последние десять лет даже в парке Лумпхини и то были всего лишь раз...

— Ох, Нуан, — усмехнулся папаша Тхонг, — так ведь это уж наша глупость виновата! Мы — люди темные, вот и жили, как звери в норе! А сейчас время иное. С каждым днем мир идет вперед, к прогрессу, к процветанию!.. Ну смотри, сколько теперь есть всякой всячины: и атомная бомба, и Организация Объединенных Наций, и еще много другого, о чем такие, как мы, наверно, и слыхом-то не слыхали... Да что там говорить, Нуан, возьми, к примеру, хоть нашу электрокомпанию! Пятьдесят лет назад она принадлежала иностранцам, а сейчас — государственная. Вот какие перемены! Процветание, прогресс!

Матушка Нуан была женщина неглупая: она тут же нащупала слабое место в рассуждениях мужа.

— А то, что по вечерам всегда темно и лампочки вечно гаснут, — это тоже прогресс?

Папаше Тхонгу нечего было возразить, и он ответил уклончиво:

— Ну, это не имеет отношения к тому прогрессу, о котором я говорю! Про освещение ты уж лучше у нашего начальства спроси!

Тут он снова опрокинул чашечку и, закусив, вернулся к Айну. В этом году Айну кончает школу и скоро будет сдавать экзамены в университет. Об этом папаша Тхонг грезит и во сне и наяву. Его сын поступит в университет! Он ждет не дождется того дня, когда сможет с гордостью сказать своим друзьям-трамвайщикам: «Мой сын сейчас на занятиях в университете!» Они-то поймут все с полуслова, он может и не добавлять своей любимой фразы: «Друзья мои, обязательно наступит день, когда мой Айну станет большим человеком!..» Да, пройдет всего несколько дней — и Айну получит разрешение держать экзамены. Ему и впрямь везет! И вот теперь он упросил отца отпустить его на север: отдохнуть и поохотиться вместе с одним школьным товарищем и его родителями. О, это очень важные господа! А у них так много влиятельных друзей!.. Айну сказал, что, кроме денег на дорогу да кое-какой мелочи для себя, ему ничего не понадобится: у этих людей он будет жить на всем готовом.

Папаша Тхонг был очень доволен и сразу дал согласие, безо всяких колебаний. Он верил своему сыну, верил в его удачу! Хотя, по правде

говоря, такой случай представлялся впервые в жизни, и не только Айну, но и всей семье... К тому же предстояли все-таки дорожные расходы, да еще нужно было кое-что собрать для самого Айну. Конечно, деньги это небольшие, иные постеснялись бы и упоминать про такие жалкие гроши. Но ведь папаша Тхонг — всего-навсего вагоновожатый, для него это расход немалый! Он, правда, уже давно пообещал отправить сына за город, но это вовсе не означало, что у него уже отложена небольшая сумма! В самом деле, его жалованья едва хватало на то, чтобы прокормить семью: как ни жались, как ни старались экономить — всегда еле сводили концы с концами! И если бы не случай, пришлось бы матушке Нуан отдать Айну все свои сбережения, и то наверняка не хватило бы!

Надо вам сказать, что у папаши Тхонга нашелся благожелатель, который сочувствовал ему и обещал помочь. Старый Тхонг очень доверял этому человеку: что бы ни случилось, стоит ему только намекнуть — и нужная сумма находится! Так было и на этот раз. Папаша Тхонг наведалься к своему благодетелю, рассказал о своих затруднениях и попросил денег в долг. Тот с готовностью исполнил просьбу.

Доброта и отзывчивость этого человека всегда трогали сердце папаши Тхонга. Ну, а матушка Нуан — та уверена была в одном: если уж Тхонг в своей прежней жизни ^[156] совершил добрые деяния, то теперь ему полагается награда за его добродетель. Так ведь учат буддийские монахи!

Благодетелем папаши Тхонга был судья, что жил по соседству. Всех удивляло: как столь важный господин знает с простым трамвайщиком! Однако судья всегда гордился демократизмом своих взглядов и вовсе не стремился скрывать свою дружбу с папашей Тхонгом. Он знал, что семья трамвайщика сильно нуждается, и не раз подумывал, как бы им помочь. Но до сих пор все не было подходящего случая. И вот от одного из соседей судья вдруг узнал, что у папаши Тхонга есть заветная мечта: он хочет определить сына в университет. Не каждый день услышишь такое!..

О будущем сына папаша Тхонг грезил и днем и ночью. Он хорошо понимал, какая тяжесть ляжет на его плечи: мыслимое ли дело — его сын будет учиться вместе с детьми важных и благородных особ! А уж где ему, бедному трамвайщику, тягаться с богачами? Придется тянуть лямку до последнего... Он уже прикинул, сколько должно пройти времени, прежде чем Айну закончит университет. Все эти долгие месяцы и годы он станет, как и прежде, трудиться, не разгибая спины; целыми днями все та же осточертевшая работа! А денег в семье не прибавится! Мысль об этом пугала папашу Тхонга, но он не мог от нее отделаться и все думал, ломал голову...

Судья уже давно заметил озабоченность папаши Тхонга. Едва ли суждено осуществиться мечтам его бедного соседа! Но все же судья не хотел расстраивать старика. Частенько, зазывая его к себе, судья хвалил его намерение, старался хоть немного успокоить и ободрить беднягу.

Похвалы и дружеское участие со стороны такого человека придавали папаше Тхонгу смелости. Когда же судья пообещал ему свою помощь, в случае если у сына будут денежные затруднения или семья останется без средств, папаша Тхонг окончательно воспрянул духом. Решимость его окрепла и сделалась твердой, как сталь. Айну обязательно поступит в университет, даже если ему, старому Тхонгу, придется работать круглые сутки!

Папаша Тхонг неплохо знал жизнь и умел разбираться в людях. Уж он-то на своем веку нагляделся на всяких — и на высших и на низших, и на ученых и на неграмотных. Ему казалось, что он безошибочно может оценить человека с первого взгляда. Уже давно папаша Тхонг укрепился в мысли, что никто просто так, задаром, помогать другому не станет. Неужели в мире найдется хоть один человек, который будет стараться ради кого-то, не надеясь на благодарность или ответную услугу? Разве что какой-нибудь монах, так и тот рассчитывает прославить свою добродетель! В жизни одно правило: «Никто не поступит своим ради ближнего!» Папаша Тхонг был твердо убежден в этом. Но после разговора с судьей его уверенность поколебалась: неужто мир переменялся? Ведь судья как будто хочет помочь ему бескорыстно!

Бедные труженики вроде него — точно рыбы, выброшенные на песок: чтобы жить, надо действовать, самим пробиваться к воде! Прежде он не встречал сочувствия или поддержки у посторонних. И вот теперь ему попался такой человек... Вопреки своим взглядам на жизнь, сам папаша Тхонг был человеком добрым и отзывчивым. Сердце его хранило глубокую любовь к старшему сыну, к Айну. Эта любовь еще больше укрепляла его природную доброту. Только ведь папаша Тхонг был человек простой, что называется «без затей», таким нелегко выразить свои чувства. Ученостью папаша Тхонг похвастаться не мог: читать-писать умел — и то слава богу! Однако долгая работа трамвайщика оказалась для него своеобразным учебником, мудрым учебником жизни. Последние пятнадцать лет папаша Тхонг работал вагоновожатым. Эта служба сталкивала его со множеством разных людей. Он много всего повидал, слышался всяких разговоров. Все это стало неотъемлемой частью его жизни. Он хорошо помнил лица мальчуганов, каждый день ездивших в его вагоне в школу. Теперь эти маленькие шалопаи, которых он когда-то утихомиривал, выросли, стали

достойными людьми — скромными, вежливыми, а уж в учености-то, конечно, они могли с ним поспорить. Теперь его вмешательство больше не требуется! Иной раз он их даже почтительно приветствует. Что и говорить, все меняется!.. Сколько раз, бывало, он недосчитывался какого-нибудь старика, который всегда ездил в его трамвае, а потом вдруг узнавал, что тот уже умер...

Да, многое можно было увидеть с передней площадки моторного вагона. Изменились прежние лавки: некоторые пришли в упадок и закрылись; другие, наоборот, процветали, были переполнены товарами и покупателями. Каждый день он слушал, как пассажиры хвалили кого-нибудь, хвастались собственными заслугами, а то ругали хулиганов или поносили своих врагов. Ему приходилось выслушивать и справедливые слова, и явную ложь...

Ежедневно он наблюдал, как одни и те же люди, обгоняя друг друга, несутся к его трамваю; толкаются, кричат, стараясь первыми протиснуться в дверь. И это вовсе не потому, что они торопятся навестить тяжелобольную жену или спешат по иному срочному делу. О нет, все это только для того, чтобы захватить место и проехать сидя каких-нибудь пять-шесть минут.

Однажды папаша Тхонг заметил, как здоровенный детина, усердно работая локтями, протискивался вперед, чтобы поболтать с приятелем; при этом он так сильно толкнул беременную женщину, что та упала. Приятель его сошел на ближайшей остановке, крикнув на ходу: «Ну, пока, старина!» Папаша Тхонг в сердцах сплюнул прямо на рельсы. Он чувствовал, что если бы не сделал этого, то наверняка схватил бы «старину» за воротник и вытолкнул пинком из вагона...

Перебирая в памяти события минувших пятнадцати лет, папаша Тхонг невольно видел перед собой одни и те же картины: люди мчатся к трамваю, толкаются, чтобы войти первыми, с бою занимают места. Ехать всего несколько минут, но они спорят, даже дерутся из-за местечка поудобнее, точно собираются просидеть тут несколько суток. И так каждый день! Вот почему папаша Тхонг привык думать, что человек от природы завистлив и зол; всякий помнит лишь о себе. В этом мире надо жить, твердо усвоив одно: просить у людей — не то, что у самого себя! Ну, а коли все устроено именно так, то он, папаша Тхонг, может рассчитывать лишь на собственные силы...

Папаша Тхонг не помнил, когда ему в голову пришла мысль отдать Айну в университет. Ему казалось, что эта мечта поселилась в его сердце очень давно, может быть, еще до рождения сына. Окончив столичный

университет, Айну получит самое лучшее в Таиланде образование. А вдруг он покажет себя таким усердным и способным, что удостоится государственной стипендии и сможет учиться за границей? Тогда уж его Айну наверняка станет человеком заметным, выдающимся. Но об этом папаша Тхонг боялся даже подумать: слишком уж все это было несбыточно.

Иным людям мысли папаши Тхонга могли бы, пожалуй, показаться просто бредом. На его жалованье даже прокормить семью — троих детей, жену и себя самого — дело нелегкое. Где уж там мечтать об университетах! Однако папаша Тхонг до боли в сердце любил сына и верил в него безгранично. Характер у старого Тхонга был твердый: он не из тех, кто позволяет каким-то «обстоятельствам» распоряжаться будущим его семьи. Своею судьбой он хочет управлять сам. И он добьется своего! Если пожертвовать отдыхом, не пожалеть сил на дополнительную работу, то, конечно, можно одолеть любые невзгоды. И вот после трудового дня, когда кончалась его смена на линии, папаша Тхонг отправлялся в типографию учиться печатному делу. Овладев этим ремеслом, он сделался ночным наборщиком; но работать в типографии каждую ночь папаша Тхонг не мог: целый день он простаивал на ногах в своем моторном вагоне, а у печатного станка тоже не присядешь! На здоровье папаша Тхонг никогда не жаловался, но и его силы начали сдавать. Во время ночной работы папашу Тхонга ни на мгновение не покидала мысль о том, что сын его может учиться, может стать образованным человеком... А денег по-прежнему не хватало. Папаша Тхонг старался откладывать что-нибудь от каждой получки, но ведь кроме повседневных расходов бывали еще и особые — например, во время болезни кого-нибудь из детей. В таких случаях обращались за помощью к Будде и добрым людям. Бронзовый Будда оставался холоден и безучастен. А кое-кто из соседей, к примеру хотя бы судья, соглашался поддержать папашу Тхонга в трудную пору.

Подобно многим людям своего сословия, папаша Тхонг пил, считая это лучшим отдыхом и развлечением. Трудно было бы его осуждать, ведь он работал так много и тяжело, заботясь о благе семьи. Всякий назвал бы его достойным отцом и мужем. Правда, воспитывать детей он не умел, да и не брался за это дело. Легко ли целыми днями на работе, сам едва читать-писать умеешь, где уж тут детей учить? В этом деле он безоговорочно доверял школьным учителям. Бывало, пропустит папаша Тхонг чашечки две-три, разойдется и держит речь перед сыновьями и дочерью:

— Хочу сделать из вас настоящих людей! Отец-то ваш неученый, многого не знает! Хорошенько слушайте своих учителей да запоминайте

потверже! Главное — помнить, чему тебя учили! А уж отец всегда вам подсобит! Вот и будете людьми достойными, учеными! Не зря ведь я день-деньской маюсь на работе — все денежки на вашу науку добываю! Вы-то, как бы это сказать... собираете урожай, который выращен на моем поте! Н-да... воспитывать вас времени у меня нет, да и знаний маловато... И матушка ваша не много в этом смыслит! Вот выругать вас да отодрать за уши — это может, а больше-то — нет!..

При этих словах матушка Нуан хмурилась и ворчала, что этак дети и вовсе перестанут слушаться, а отец с Айну начинали громко хохотать.

В отличие от мужа матушка Нуан не очень-то доверяла школе. Она рассуждала по-иному: надо жить по средствам и детей учить так, как позволяет достаток. Уж лучше прикопить деньжат да отложить их на черный день, чем безрассудно выбрасывать их на какой-то там университет. Правда, матушка Нуан никогда не противоречила мужу и старалась не мешать его намерениям. Как-никак он трудится день и ночь, и все ради благополучия детей. Для другого бы дела стараться не стал! А уж тогда и ей, матушке Нуан, ничего бы не удалось прикопить: на жалованье трамвайщика не разгуляешься! Теперь же у нее были кое-какие сбережения. А главное — папаша Тхонг стал меньше пить! Такой перемены не ожидала даже матушка Нуан.

Пил папаша Тхонг давно. Бывало, после работы по дороге из парка обязательно заходит в маленькую китайскую лавочку в переулке: ну и, как водится, часа два сидит там с приятелями, шумит, горланит песни. Иной раз и до драки дело дойдет. И все же папаша Тхонг никогда не был завзятым пьяницей и, напившись, не буйствовал. Женам его приятелей доставалось куда больше, чем матушке Нуан. Однако раз на раз не приходился. Случалось, что вино оказывало свое действие, и папаша Тхонг орал во все горло, надоедал соседям. Бывало, выпьет в компании, а потом идет домой, пошатываясь, поет неприличные песни, смешит прохожих.

Но с того времени, как он поступил учиться типографскому делу и стал брать сверхурочную работу, матушка Нуан почувствовала, что мужу приходится слишком тяжело: работает, как каторжный, ни минутки свободной!

Тут-то он и стал напиваться. Но однажды вдруг будто что-то оборвалось: папаша Тхонг распрощался со своими дружками из винной лавки и позабыл про старые увеселения. Как-то раз он сказал жене:

— Айну не нравится, что я паясничаю в лавке у китайца. Не хочу, чтобы он стыдился отца. Ведь Айну прав: из-за меня и о нем будут дурного мнения.

Матушка Нуан не поверила своим ушам. Вот, значит, как сильна была любовь папаши Тхонга к своему Айну! Бывает, человек живет лишь для себя, помнит только о своей выгоде и тут способен на многое дурное. С папашей Тхонгом произошло обратное: он позабыл про все свои желания и привычки. Некая могучая сила взяла верх в его душе, — это была великая любовь, почти поклонение, которое заставляет человека жертвовать ради другого всем, даже собственной жизнью...

Матушка Нуан вовсе не радовалась тому, что Айну отправился на охоту. Она прекрасно понимала, что это развлечение сына куплено ценою многих бессонных ночей и сверхурочной работой отца. Однако матушка Нуан особенно не отговаривала мужа: она знала, что он живет сейчас в радостном ожидании — через несколько дней его сын должен поступить в университет. Все мысли папаши Тхонга были только об этом. Долгими вечерами, стоя у печатного станка, он представлял себе, как его сын, его Айну, с ружьем в руках бродит по лесам в компании молодых людей из благородных семейств. И в душе старика бурлила радость...

В тот полдень, с которого начался наш рассказ, папаша Тхонг, как обычно по воскресеньям, угощался вином и болтал с женой. Разговор вертелся вокруг приятной для него темы — о будущем Айну. У матушки Нуан тоже был довольный вид. Шутка ли, ведь сегодня папаша Тхонг сказал ей:

— Недалек тот день, когда я вышвырну эту бутылку в канаву, и она больше не вернется ко мне в дом! Айну говорил мне, что водку делают из всякого гнилья. Поэтому она сильно вредит здоровью... И даже сокращает жизнь. А я хочу прожить еще хоть немного, чтобы увидеть своими глазами, как мой Айну станет уважаемым и знаменитым человеком. Поняла, Нуан? Скоро я сделаюсь настоящим трезвенником! Полное воздержание...

С этими словами он взял чашку, налил ее до краев и залпом выпил. А затем грустно уставился на бутылку: на дне оставалось слишком мало! Вытерев рот рукой, он пробормотал:

— Увы, я так ее люблю!..

Прошло уже две недели, как Айну вместе с приятелем уехал отдыхать. Однажды в сумерки — папаша Тхонг только что вернулся с работы и даже не успел переодеться — в дом явился какой-то молодой человек и сказал, что он из центральной больницы. Ему велено передать лично господину Тхонгу, что его сын ранен выстрелом из винтовки и сейчас лежит в этой больнице.

— Ранен? — как эхо, повторил папаша Тхонг. Сердце его заколотилось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. — Несчастный случай на охоте? — Он рванул к юноше, но тут же замер.

— В больнице не говорили, что пострадавший ранен на охоте, — удивился посланный, — Просто полиция задержала контрабандистов, которые везли опиум с севера. А эти мерзавцы на станции в Лопбури ^[157] затеяли перестрелку. Двоих бандитов убили наповал, один тяжело ранен, а еще один — легко. Тяжелораненый — ваш сын... Он хотел поскорее увидеть родителей.

— Конечно, это недоразумение... Произошла какая-то ошибка! — убежденно проговорил папаша Тхонг. От сердца у него отлегло. — Мой Айну не мог связаться с этими людишками да еще участвовать в каких-то махинациях с опиумом... Нет, нет!.. Да знаешь ли ты, что через несколько дней мой сын станет студентом университета?

Когда матушка Нуан услышала, что ее сын ранен, да еще тяжело, у нее не появилось ни малейшего желания расспрашивать, что да как. Мысли сосредоточились на одном: ее ребенку грозит смерть! Она подтолкнула мужа, схватила за руки младших детей, с недоумением глядевших на незнакомца, и все заторопились в больницу.

Войдя всей семьей в палату, они сразу увидели Айну. Он спал. Лицо юноши было бледно: он потерял много крови. Санитар велел им сидеть тихо и ждать, пока больной проснется. Папаша Тхонг молча опустился рядом с постелью, поглядел на любимого сына и тяжело вздохнул. Матушка Нуан глотала слезы. Оба малыша стояли, прислонившись к ее стулу и со страхом уставившись в лицо брата.

Папаша Тхонг тем временем поговорил с полицейским, медленно расхаживавшим у дверей палаты. Увы! Посланный не ошибся!

— Твой сын — не злостный преступник, он не стрелял в нас, — сказал конвойный. — Он лишь был с той шайкой! Да, не повезло ему, крепко получил! Вообще-то метили не в него... Мы, правда, нашли у твоего сына оружие. А ты ведь знаешь, что носить оружие запрещено законом... Мда... Но все-таки вина его не так уж велика. А вот тот негодяй, который начал стрельбу, — их главарь, он получил два заряда... Его счастье, что раны не смертельны... Ну, а твоего сына врач спасти не обещает.

Теперь папаша Тхонг узнал всю правду. Но поверить в нее он не мог. Возможно ли, чтобы его сын был заодно с этими проходимцами, принимал участие в их преступлениях? Значит, он плохо воспитал своего сына, значит, и образование ему не помогло?! Папаша Тхонг был в смятении. Столько сил положено — и все понапрасну! Он хотел сделать сына

выдающимся человеком, а его Айну окунулся в такую грязь!

— Папа! — сквозь сон тихо позвал Айну.

Матушка Нуан всхлипнула. Ее муж не шевелился. Когда же губы Айну чуть слышно прошептали «мама!», она мигом бросилась к сыну. Она припала к краю постели и положила свою дрожащую руку на разгоряченный лоб Айну. Айну очнулся и попросил пить. В нерешительности папаша Тхонг приблизился к постели сына. Дети, дрожа от страха, стояли позади отца. С трудом Айну приоткрыл глаза. Взгляд его, выражавший усталость и раскаяние, встретился со взглядом отца. И тут сердце папаша Тхонга сжалось.

— Айну, сынок, — голос отца дрогнул, — ты ведь не виновен! Они ошиблись...

В глазах Айну стояли слезы. Он силился что-то сказать. Отец удержал его.

— Не надо говорить, Айну, я все знаю!

Спустя два часа больному стало немного лучше. Почувствовав себя чуть бодрее, Айну откровенно рассказал отцу, что с ним стряслось, что заставило его свернуть с прямой дороги...

Как-то раз, возвращаясь в автобусе домой, он случайно услышал разговор двух женщин. Муж одной из них совершил какое-то преступление и сидел в тюрьме. Айну заинтересовался и стал прислушиваться. Арестованный был ответчиком по делу о крупном хищении золота. Эта кража некогда взбудоражила всю столицу; к тому же обвиняемый был офицером полиции. Теперь этот человек уже отбывал тюремное заключение. Женщина, казалось, вовсе не искала оправданий поступкам мужа. Настроена она была весело и тут же рассказала собеседнице, что за дело взяли верные друзья ее мужа. Теперь уж нет причин для беспокойства...

— Ты ведь понимаешь, это дело нешуточное! — говорила жена осужденного. — Не тысячами и не десятками тысяч пахнет! Богатство огромное, в несколько миллионов. Кому не захотелось бы рискнуть? Ну, а что касается тюрьмы, то тут нам просто не повезло... Да мы не отчаиваемся... Вообще-то там ничего, удобно! Живет он с комфортом, кормят хорошо. На процессе господа чиновники не очень строго подошли, ведь это не политическое дело! Ну, их, как водится, поблагодарили, никто в обиде не остался: денег-то у нас теперь много! И из тюрьмы можно рай сделать... Срок небольшой, всего несколько лет. А когда его освободят — мир снова наш! С деньгами не пропадешь!..

Слова этой женщины, точно паутиной, опутали мысли Айну. В душе

его все смешалось, словно какой-то демон поселился там. Айну пробовал бороться с этим демоном, но страшная сила заблуждения с каждым днем все крепче сжимала юношу в своих тисках. Многие из услышанного манило его. Он вспоминал, что такой-то и такой-то известный человек самым гнусным образом прошелся по дорожке беззакония, чтобы обогатиться; и вот эти люди постепенно добились желаемого: жизнь их стала обеспеченной, привольной; окружающие их почитают...

Айну постоянно читал в газетах, что сильные мира сего занимаются контрабандой опиума. Вот уж поистине недостойное, бесчестное занятие! Разве могут такие люди считаться благородными и почтенными? Однако все эти господа пользовались всеобщим уважением и оставались полноправными и весьма почитаемыми членами общества! Так в душу Айну закралось сомнение. Он стал серьезно задумываться над тем, что ему говорили в школе. Тут что-то не так! Когда он завел знакомство с детьми богатых и знатных родителей, он понял, что для них большие расходы, крупные денежные затраты — сущие пустяки. И их отцам не приходится столько работать, сколько его отцу. Разве они когда-нибудь устают так, как папаша Тхонг после двух смен на линии и у печатного станка?.. Айну был сыном бедняка и постоянно испытывал из-за этого унижение и стыд. Как ему хотелось быть таким же богатым и сильным, как сынки денежных тузов! Воображение рисовало заманчивые картины тех благ, которые сулит богатство.

И вот пришел день, когда он стал на путь жульничества. Однажды какой-то приятель предложил Айну вступить в компанию, занимавшуюся тайной перевозкой опиума.

— Немного риска — и все. С нашим хозяином не пропадешь! У него голова что надо! Все продумано до мелочей. При каждой удачной операции будешь получать кругленькую сумму!..

И тут слова той женщины, подслушанные в автобусе, — «мир будет наш!» — снова зазвучали в ушах Айну. Колдовская сила увлекла его с прямого пути на черную тропу преступления...

— Но когда раздался выстрел и я упал, мне вдруг стало так легко, точно свалилась тяжесть, давившая мою душу... Вот я и вернулся к вам... Мне так хотелось повидать всех вас перед смертью... — Айну начал задыхаться. — Знаешь, папа, — зашептал он, — я ведь сделал это не только для себя... Я думал помочь и тебе, папа. Мне было жаль вас всех... Я знаю, ты много работал, чтобы мы могли учиться... Так всю жизнь... А тут уж и старость... Ох, папа, как я хотел помочь тебе!.. Вот и нашел выход, ведь многие точно так же... Даже люди известные... Они ведь не

боялись наказания... А вот я наказан... Как мне жаль тебя, папа... твоих надежд... Ты ведь думал, что я... стану большим человеком, опорой семьи... Нет мне прощения... Не смыть греха с души.

Папаша Тхонг плакал. Слезы капали на лицо Айну. Тот улыбнулся и затих.

Спустя два дня Айну покинул наш мир. Мир, где все слишком запутано, чтобы он мог понять хоть что-нибудь. Так жертвой алчности и обмана пала юная жизнь, безвинно погибла в обществе, где властвуют зло и порок!

Перевод с тайского Ю. Осипова

РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ



Нестор Висенте Мадали Гонсалес

Нестор Висенте Мадали Гонсалес родился в 1915 году на острове Ромблон, расположенном в центральной части Филиппинского архипелага. Его детские и школьные годы прошли на острове Миндоро, который фигурирует во многих его произведениях. В середине 30-х годов он начал публиковать рассказы о жизни на отдаленных островах, которые издал уже после войны отдельным сборником под названием «За семью холмами». В эти же годы Н.-В.-М. Гонсалес продолжает образование в США, где слушает лекции в нескольких американских университетах. Жизнь в Америке не изменила направления его творчества: как видно из опубликованных им романов (два из них — «Танцоры с бамбуком» и «Пора благодати» — переведены на русский язык), Америка и американский образ жизни отнюдь не вызывают у него симпатий. Последние годы Н.-В.-М. Гонсалес читает курс литературы в одном из американских колледжей, но регулярно наезжает в Манилу, где ведет большую работу с начинающими литераторами: проводит семинары, читает лекции, печатает критические статьи.

Место действия в произведениях Н.-В.-М. Гонсалеса почти всегда — глухая провинция, а его герои — рыбаки, крестьяне, живущие трудом своих рук. Они честны, добры и исключительно терпеливы. Пока они покорно встречают удары судьбы, веря в их неотвратимость, но в них уже пробуждается чувство протеста. Они всегда готовы прийти на помощь ближнему (как в рассказе «Утренняя звезда» старик помогает молодой женщине, которую американский джи-ай награбил ребенком, расплатившись тремя одеялами), делятся всем, что имеют, с попавшими в беду соотечественниками. Симпатии автора на стороне этих бесхитростных людей, которые живут по законам дедов и прадедов.

Во всех своих произведениях Н.-В.-М. Гонсалес старается показать мир таким, каким его видят простые люди страны. Отсюда и его стиль: простой, пожалуй, даже упрощенный. Но за этой кажущейся простотой кроется социальный заряд большой взрывчатой силы: протест против дегуманизации личности в условиях капитализма, протест против местных богачей и американских колонизаторов, приносящих страдания простым труженикам Филиппин.

И. Подберезский

Утренняя звезда

Матрос еще раз сходил к лодке, с которой уже были сняты весла, и вернулся, неся фонарь. Свет от фонаря выхватывал из темноты узкую тропку и плоскую босую стопу матроса. Он шел неторопливой, шаркающей походкой, и фонарь у него в руке раскачивался в такт шагам.

— А побыстрее не можешь? — донесся из пальмовой рощицы старческий голос.

Матрос ничего не ответил, он продолжал идти все той же шаркающей походкой, не убыстряя и не замедляя шаг.

— Черепаха ты, и больше никто, — сказал старик.

Когда матрос подошел поближе, в свете фонаря стал виден вход в шалаш. Затем овальное пятно света заплесало на стенах шалаша, сплетенных из листьев кокосовой пальмы. Пройдя по подстилке из листьев, старик повесил фонарь на жердь в глубине шалаша. В дальнем углу, боком ко входу, сидела женщина.

— Ну и болван ты, суцая черепаха, ей-богу, — сказал старик, обращаясь к матросу.

— Га? — прогнусавил тот в ответ.

Старик и не ждал иного ответа. У матроса было что-то неладно с языком.

— А где же джутовые мешки и одеяла? — спросил старик. — Ведь я велел тебе их принести.

— Га? — только и сказал матрос.

— Перестань! — сердито бросил старик. — Если бы ты не уродился такой, задал бы я тебе сейчас. — Взмахом руки он приказал матросу идти прочь. — Ступай! Заодно принеси воды. Кто его знает, есть ли здесь поблизости питьевая вода. Ужин приготовить, Марта?

— Нет. спасибо вам, — ответила женщина.

— А лучше бы все-таки что-нибудь приготовить. У нас в лодке есть банка лососины.

Матрос, шаркая ногами, ушел в темноту; пальмовые листья мягко шуршали под его ногами.

— Принеси лососину. И котелок с рисом захвати. Он стоит на печке! — крикнул старик вдогонку матросу.

Где-то резко прокричала птица. Старик снова обратился к женщине:

— Ты бы на минутку вышла, Марта...

— Мне и здесь хорошо, дяденька, — сказала она.

— Ты бы все-таки походила, что ты все сидишь?..

— Здесь, по-моему, лучше, — сказала женщина. Но потом согласилась: — Ну, ладно.

— Я разведу костер, — сказал старик.

Снова раздался крик птицы, неистовый, призывный.

— Это птица-оборотень. Уж я точно знаю, — сказала женщина. — Она таскает новорожденных детей.

— Нет, это не оборотень, — сказал старик. Он сгреб в кучку сухие листья и ветки, чиркнул спичкой, и через минуту разгорелось яркое пламя.

— Да, самое подходящее время рожать, верно, дяденька?

— На все воля божья, — ответил старик, и Марта тихонько усмехнулась.

— Все сделаем, что только можно. А ты походи, надо ноги размять. Если станет очень больно, ухватись вон за ту пальму.

— Да мне, дяденька, и так хорошо.

Огонь затрещал, и старик подбросил туда еще листьев и веток. Пламя осветило высокие стволы кокосовых пальм. Сквозь их листья проглядывало небо, но звезд не было. Ночь погрузилась в глубокое, боязливое молчание, нарушаемое лишь потрескиванием костра.

Женщина стала прохаживаться взад и вперед, не осмеливаясь шагнуть за пределы круга, освещенного огнем. Она была приземистая, крепко сбитая, руки и ноги — сильные, мускулистые, как у мужчины. Если бы ей обрезать волосы, а вместо юбки надеть штаны, она вполне бы сошла за мужчину, несмотря на вздутый живот и большую грудь.

Старик следил за ней с неутолимой любопытством. Так же, как и он, женщина была в гимнастерке с закатанными рукавами. Юбка у нее была из плотной серовато-коричневой материи, явно перешитая из рабочей одежды, выброшенной каким-нибудь американским солдатом.

— Это его имя здесь напечатано? — спросил старик.

В свете огня на спине тускло-зеленоватой гимнастерки явственно виднелся белый штамп: «Теодор К. Ховард».

— Нет, дяденька, не его, — сказала Марта. — Но зато он дал мне три шерстяных одеяла.

— Расщедрился, — сказал старик.

— А что, дяденька, разве нет? Ты меня, пожалуйста, не дразни.

— Да ведь как сказать, другим платят больше. За работу, то есть. Ты прачкой работала?

— Прачкой, дяденька. А потом мы стали жить вместе. Три недели прожили. В домике на Верхнем Мангиане. Оттуда весь их лагерь видно. —

Говоря это, она держалась за ротанговую веревку, которой была подпоясана гимнастерка. — Больно-то как! Я, значит, брала там стирку, чтобы на жизнь заработать. За тем туда и ходила.

— Ну и как, заработала?

— Нет, дяденька, я за деньгами не гонюсь. Он мне однажды говорит: «Бот тебе двадцать песо». — Она рассмеялась. — Он когда со мной говорил, бывало, ни за что по имени не назовет, будто у меня имени нет. Другие — кому я только стирала и больше ничего — те мне прозвище дали: «Черносливина». Я помню. «Черносливина» — вот как они меня звали. А что это такое, дяденька? Они говорили — фрукт такой.

— Не знаю, — ответил старик. — В нашей стране таких фруктов нету.

— А он так даже и «Черносливиной» меня не называл. Хотел мне денег дать, я уж тебе говорила. «Для чего?», — спрашиваю. А он говорит: «Отдашь матери». А у меня матери нет, так я ему и сказала. «Ну, говорит, тогда отдай отцу, братьям, сестрам». А у меня родных никого нет, я ему так и сказала. «Возьми свои деньги обратно, — говорю. — Я люблю тебя, возьми свои деньги обратно». А он обозлился, стал ругаться, потом ушел из дому. Больше я его не видела. Но он оставил мне три шерстяных одеяла.

Старик выслушал всю историю с большим интересом, но, когда она кончила, ничего не сказал, только поднялся и стал старательно перекладывать ветки в костре.

— Нет, дяденька. Зря ты думаешь, что я хоть сколько-нибудь заработала, — сказала Марта. Она сделала несколько шагов и снова вернулась к костру. — А кстати, дяденька, сколько ты возьмешь, чтобы довезти меня на твоей лодке до Сан-Паулино?

— Ты там живешь?

Она кивнула.

— С тебя ничего не возьму. Ни одного сентаво.

— Я могу тебе отдать одно из своих шерстяных одеял.

— Подвезу тебя совершенно бесплатно.

— Наверно, ты про меня думаешь — ну и дура! Не знает, когда ей родить, подумать только! А для меня, дяденька, все дни одинаковые. И ночи тоже. Не умею я считать дни и месяцы. Может, я, дяденька, поэтому и старая не стану. Стану я старая, как думаешь?

Старик не нашел, что ответить, только усмехнулся.

— А теперь вот я собралась домой. Ну разве я не дура, дяденька?

Чтобы подбодрить ее, старик сказал:

— Да, дура ты изрядная. Хорошо еще, что наткнулась на мою лодку, верно?

— Правда, повезло, — сказала Марта. — Мне надо было оттуда обязательно уйти. Правда, может, время мое еще не пришло? Я долго шла — сначала от Верхнего Мангиана, потом три дня по берегу, пока не увидела вашу лодку. Может, я только еще на седьмом месяце. А девять месяцев — это сколько, дяденька?

Старику хотелось ответить ей поточнее.

— Это девять месяцев, — сказал он наконец.

— Понятно. Вы, старики, столько всего знаете. Да ты не смейся, дяденька. Я ведь раньше была замужем. Муж мой — он тоже был старик. Пусть ему земля будет пухом. Ой, больно как! Вон тут, как раз в этом месте. — Она показала, где ей больно.

— Говорят, если ходить, будет легче.

Под ее босыми ногами слегка похрустывали листья. Она ходила взад и вперед и все говорила, говорила, словно для того, чтобы отвлечься.

— Тот старик — он был портной. Я, понимаешь, жила в служанках у одного богача в доме. А этот портной однажды и говорит: «Зря ты, Марта, так надрываешься. Давай лучше со мной жить». Ох и хитрые вы, мужчины. Верно, дяденька?

— Попадаются и хитрые, ничего не скажешь, — с готовностью подтвердил он.

— Он, портной, значит, увидел, какая я работающая — а я правда работающая, что верно, то верно. Такой уж меня бог создал. Здоровая, как буйвол — как же тут лениться? Я любую мужскую работу могу делать. Для вашего брата я женщина подходящая. Мой портной был доволен. Я ему сразу — и мужик, и баба. Он на радостях даже портняжить бросил, все ходил по соседям, говорил про политику и про всякое такое. — Она умолкла. Потом, словно что-то вспомнив, сказала: — А ребенка он мне не оставил. Ох, дяденька, как же он меня обдурил!

— Да у тебя скоро будет ребенок, чего ж тебе?

— Ну вот, значит, жила я с этим стариком-портным. Он был вдовый и все скучал один, так что со мной обходился ласково. Но в тот год, когда война началась, он умер от чахотки — он уж давно болел. А я опять пошла в дом к тому богачу, где раньше работала. Когда американцы вернулись, я говорю своему хозяину: «Ухожу от вас. Только ненадолго. Говорят, у них там, в военных лагерях, хорошо платят за стирку и всякое такое. Как накоплю денег, вернусь обратно». Вот так ему и сказала. Ой, ой, больно как!

— Пора бы матросу вернуться, — сказал старик. — Болит сильно?

— Ах, да что мне боль, дяденька. Я же тебе говорила — выносливая я,

как буйвол. Он, портной мой, меня поколачивал. А мне хоть бы что. Я все могу снести. Я ему и дрова пилила, и рис молола. А когда он умер — как же я по нем горевала! Ей-богу, дяденька.

Она рассмеялась — ей вдруг самой показалось забавным, как она обо всем этом рассказывает. Старик глядел на нее с насмешливым любопытством.

— А ребенка ты домой понесешь? В Сан-Паулино? — спросил он.

— А то как же, дяденька! Он ведь будет такой крошечный, беспомощный. А почему ты спрашиваешь?

Старик помедлил, но потом решил и сказал:

— Есть такие дома — в городе, к примеру, — там принимают таких вот ребят и смотрят за ними.

— Но разве они смогут смотреть за ним лучше, чем я? Нет, дяденька, быть этого не может! — взволнованно сказала женщина. — Ой, больно как! Я хочу — ой! — сама за ним смотреть...

Отблески пламени осветили ее слабую улыбку. Лицо у нее было простое, ничем не примечательное, но глаза красивые — большие, смеющиеся.

Она замолчала. Внезапно появился матрос.

— Га! — сказал он.

— Подогрей-ка лососину на огне, — приказал ему старик. Он внес в шалаш джутовые мешки и одеяла и приготовил для женщины постель. Снаружи в свете костра видно было, как матрос открыл своим боло [\[158\]](#) жестянку с лососиной и стал пить сок прямо из банки.

— Ты что же, не можешь меня подождать?

Старик выполз из шалаша, сердясь на матроса за то, что тот принялся без него за еду, а заодно и на Марту, стонавшую все громче и громче.

— Что ты там визжишь, как свинья? — буркнул он сердито. Потом уселся у котелка с рисом, который принес матрос.

— А свиньи, дяденька, вовсе не так визжат, — простодушно ответила женщина.

Старик ничего не сказал. Он и матрос торопливо ели, громко чавкая.

— Га! — с обычной своей беспомощностью сказал матрос и поглядел в сторону Марты.

— Ей есть не хочется. Так она говорит, — объяснил старик и, обращаясь к Марте, добавил: — Если тебя так сильно схватило, иди в шалаш. Мы оставим на твою долю рыбы. Потом, после всего, тебе так есть захочется!

Марта послушалась его совета и вползла в шалаш. Она стукнулась

головой о фонарь, свисавший с жерди, он закачался, и по полу заплесало овальное пятно света.

— Сейчас приду к тебе, — сказал старик. — И почему ты меня выбрала для этого дела, сам не пойму. — Он словно был уже совсем не тот, простоватый «дяденька», с которым только что разговаривала Марта. Внезапно он ощутил в себе что-то новое.

— Дяденька, — донесся из шалаша голос женщины, — как называется мужчина, когда он за повитуху?

Старик полоскал рот водой из жестянки, которую матрос принес с лодки. Кончив полоскать, он сказал:

— Ну и чертовка ты! Теперь-то я вижу! Обдурила меня. Все наперед знала... А ты куда хитрей, чем я думал...

В шалаше воцарилось молчание. Снова где-то далеко раздался крик ночной птицы — отчетливый, неотвязный.

— Га! Га! — сказал матрос, чтобы обратить внимание старика на этот крик, и показал пальцем в темноту. Но старик не повернул головы.

Молчание становилось напряженным. Из шалаша доносился только шорох — пальмовые листья, устилавшие пол, потрескивали под тяжело ворочающимся телом. Можно было и впрямь подумать, что там поросится свинья. Свет фонаря падал на поднятые колени женщины. Она прикрыла их одеялом.

— Дяденька! — дико вскрикнула она вдруг.

Прежде чем войти в шалаш, старик поднял голову. Высоко в небе загорелась наконец одинокая звезда. Он видел ее сквозь листья пальм. Ему захотелось запомнить эту минуту. Хорошо бы увидеть луну, а еще — узнать, сильный ли сегодня прилив; ведь потом все это будет ему вспоминаться. Но больше запомнить было нечего. Только одинокая звезда в небе.

— Ой, дяденька, боюсь! — крикнула Марта хриплым, срывающимся голосом. — Больно как! Смерть моя пришла, дяденька!

— Брось глупости болтать! — сердито сказал старик. — Молись богу. Бог милостив.

Руки и ноги у него тряслись. Он опустился на колени рядом с Мартой, готовый прийти ей на помощь.

— Ой-ой-ой! Дяденька, хоть бы мне помереть! Хоть бы мне помереть! — кричала она, стискивая его руку.

Когда матрос услышал писк ребенка, он радостно сказал:

— Га! Га!

Ему захотелось взглянуть на малыша, но старик погнал его.

— Уходи отсюда! — сказал он и замахал на него руками.

Матрос вернулся к огню и снова улегся. Ночь была теплая, тихая, и он скоро уснул. Потом рядом с ним под кокосовой пальмой лег и старик. Ноги их, обращенные к догоравшему костру, касались друг друга.

Сквозь листья пальмы старику было видно, как светлеет небо. Приближалось утро. Звезда по-прежнему смотрела на него сквозь густую листву. Все это время она наблюдала за ними оттуда, сверху.

Старик повернулся на бок и, подложив под голову руку вместо подушки, попытался уснуть. Матрос мирно похрапывал. Старику видна была Марта. Она лежала в шалаше на подстилке, вытянув ноги, а рядом с ней завернутый в одеяло ребенок.

Старик так и уснул с мыслями о ребенке: хорошо, что это был мальчик.

Его разбудил порыв ветра, и, открыв глаза, он сперва никак не мог понять, где находится. Потом почувствовал радость от того, что сумел помочь женщине, и подумал — не обидел ли он ее чем-нибудь. Зря он обозвал ее свиньей, надо бы с ней помягче. Он сел и увидел горевший в шалаше фонарь.

— Ну, как, все в порядке? — крикнул он, услышав, что женщина зашевелилась.

Она ничего не ответила, только села медленно и осторожно, и тень ее укрыла ребенка, словно одеяло.

— Это та птица-оборотень, дяденька, — сказала она усталым голосом, прозвучавшим словно издалека. — Слышал, как кричала та птица? А теперь он помер — он помер, дяденька!

Старик опустил фонарь, горевший слабым голубым пламенем. Ребенок, лежавший рядом с женщиной, был обмякший и серый, как одеяло, в которое его завернули.

— Свинья ты, вот ты кто! Боже милосердный, смилуйся над нами! — сказал старик и перекрестился.

— Ей-богу, дяденька... Это все та птица-оборотень...

Проснулся матрос. Он сел, обхватив колени руками, и уставился на старика.

— А ну, разожги костер, черепаха этакая! — закричал на него старик. — Совсем темно, не видишь, что ли?

— Га! — только и ответил матрос.

Перевод с английского С. Митиной

Адриан Кристобаль

Адриан Кристобаль родился 1932 году в Маниле. Он принадлежит к тому довольно распространенному в развивающихся странах типу интеллектуалов, которые успешно сочетают служение музам с государственной службой. Писательскую деятельность он начал в 50-е годы как журналист в одном из столичных еженедельников, где публиковались его рассказы, эссе и пьесы. Тогда же началась и его карьера государственного служащего. Одно способствовало другому: трезвость политика благотворно сказалась на четкости авторской позиции литератора; размышления литератора о судьбах филиппинской культуры помогли становлению дальновидного политика, выступающего против американского диктата, за дружбу и сотрудничество с социалистическими странами. С 1974 года он является председателем Союза писателей Филиппин.

А. Кристобаль известен прежде всего как новеллист и литературовед. Для его творчества характерны две темы: борьба с тлетворным влиянием США и отстаивание самобытности филиппинской культуры. Первая отчетливо сказалась в таких его рассказах, как «Письмо эмигранту» (построенный в виде письма к эмигрировавшему в США филиппинскому интеллектуалу) и «Филиппинская трагедия» (в рассказе заметно влияние французского экзистенциализма). Вторая тема прослеживается в его драматических произведениях (пьеса «Суд», посвященная герою национально-освободительной революции 1896–1898 гг. Андресу Бонифасию), критических статьях и особенно в предлагаемом читателю рассказе «Я, Сулиман». Рассказ представляет собой попытку воссоздать ход мысли филиппинского раджи, жившего в XVI веке, и построен в виде внутреннего монолога. Сулиман — лицо историческое, о котором известно только, что он оказал сопротивление испанцам и сжег Манилу. О правдоподобности такой реконструкции мышления филиппинского вождя, жившего 400 лет назад, можно спорить. Но, как это нередко бывает с произведениями на исторические темы, ценность рассказа не столько в достоверности описываемых лиц и событий, сколько в достоверности художественного воспроизведения современного автору духовного мира филиппинца.

И. Подберезский

Раньше я знал одиночество только в первые часы рассвета, подле спящей женщины. Но и тогда я был не совсем одинок. Ее вольно лежащее тело, готовое при малейшем прикосновении свернуться, как макахийя^[159], отвлекало и занимало меня.

Но ни к чему тратить время на тоску по прошлому. Если сейчас я остался в одиночестве, наедине со своими мыслями, то пусть они послужат мне: я поведу беседу с самим собой. Кто я? Может быть, я — мое княжество, и только. Никакой народ никогда не стремился к счастью так, как мой, а теперь мне надо научить их умирать. Смерть для нас всегда была естественным и желанным концом полностью исчерпанного существования, а теперь я должен показать им другое лицо смерти — смерти врага.

Как это Лунингнинг сказала однажды? А, да: когда-нибудь боги накажут нас за наше счастье. Тогда я еще подумал, что ее слова — всего лишь выражение тщеславия любящей женщины; кроме того, она была жрицей и нарушила обет священного девства. Я даже не улыбнулся, ведь я раджа, я должен поддерживать благочестие хотя бы внешне. И все же она сказала правду. Если боги существуют, то, может быть, наше чрезмерное счастье оскорбило их? Будь я более набожен, я бы сказал, что кощунствовал, когда говорил, что счастье — это дар человека самому себе, а не милость богов.

Но я не мог предать наследие предков. Раджа, мой покойный отец, завещал мне одно — стремиться к счастью. Это при нем были достроены палисады, мы победили опасности морей, достигли совершенства в искусстве войны, и оставалось только наслаждаться миром. Он взял меня за руку, привел на край палисада и сказал: «Я сделал свое дело. Ты должен сделать свое, другое. Мне нечего посоветовать тебе. Сколько мы помним себя, раджи всегда строили этот палисад. Теперь он построен. Что дашь народу ты? Посоветуйся с богами». На мои плечи лег тяжелый груз. Я отстранился от людей, я молился и размышлял, но не получил откровения. А потом явилась Лунингнинг, вестница богов, но и ей нечего было сказать. Зато была она сама, ее красота, ее молодость и ее женственность — у жрицы их не должно быть... Когда на смертном одре отец последним взглядом жадно вопрошал меня, я произнес только одно слово: «Счастье!» Но я не сказал ему, что не боги вразумили меня, что я сам додумался до этого в муках одиночества.

Над нами было небо, под нами земля, и они были отданы нам. В день погребения отца я велел петь и танцевать, велел одеться в одежды цветов радуги. Я запретил плакальщицам оплакивать раджу, достигшего столь многого. И мой народ с радостью принял превращение погребального обряда в гимн радости. Как сказала Лунингинг, даже боги не были так взысканы счастьем, как мы, но я знал — она боялась, хотя никогда не показывала этого и всецело подчинилась духу нового правления.

Мой народ познал радости, которых ранее удостаивались только дети раджей, и даже рабы не были обделены ими. Эти грубые крестьяне, которые совсем недавно со столами обрабатывали землю и ходили переваливаясь, точно утки, от которых несло потом и грязью, которые любили, словно пахали — да, именно так они проявляли самые нежные чувства, — эти неотесанные люди вдруг открыли для себя сладость песнопений, изящество танца и радость нежной страсти, которая теперь проявлялась столь утонченно. Княжество мое процветало, и процветало буйно — как иначе мы могли бы удовлетворить наши раскрепощенные запросы? Шелка и благовония из Катая, бусы и украшения из душистого сандалового дерева показали нашим женщинам, насколько они красивы, а их красота стала для наших мужчин источником доблести и мужества. Наша роскошь заставила как-то одного торговца из Катая заметить, что у моего самого ничтожного подданного вкус как у императора его страны. Что до этих торговцев, то, конечно, они уезжали от нас богаче, чем приезжали, но они были не богаче нас. Обладать богатством — ничто, мы умели пользоваться им, наслаждаться удовольствиями, которые оно может доставить. Все это не привело к вырождению, потому что наши игры были столь же мужественны, как наш вкус изящен. Мы не разучились обрабатывать землю — о том свидетельствуют палисады и наши поля; мы проявляли доблесть в играх, требующих больших усилий, и они тоже доставляли нам удовольствие. Чаще всего тот, кто может больше всех выпить, оказывается у нас самым пылким любовником и самым сильным пловцом. Да, мы любим тело и прислушиваемся к его запросам, наш разум изобретает все новые и новые удовольствия, и, конечно, мы любим наши песни и танцы, они являются частью нас самих. И испанцы пришли, чтобы уничтожить все это.

Мой мудрый дядя, великий Лакандула, кажется, верит в дружеские слова испанцев. Но я чувствую, что в сладких словах Легаспи — ложь. Он говорит, что пришел как друг, что не будет требовать дани, что будет уважать наши обычаи. Но это слова завоевателя. Простой гость никогда не употребляет таких слов: все уверения Легаспи призваны усыпить нас. Я

всегда с отвращением буду вспоминать, что мы заключили с ним кровный союз — я пил кровь этого человека, но лишь из уважения к старшему, к Лакандуле; ведь уважение — это единственное, чего он может требовать от меня. Но зато я с удовольствием вспоминаю, как горели хижины моего княжества и как пламя привело захватчиков в смятение. Неужели они всерьез думают, что могут взять то, что принадлежит только нам? Пепел Манилы встретил их. Но Манила жива; она — лезвие моего меча. Лакандула считает, что испанцы непобедимы, но я видел их кровь. Их предсмертные вопли так же пронзительны и жалобны, как вопли моих самых тщедушных воинов. Они не меньше нас боятся насильственной и мучительной смерти.

И в то же время я чувствую в испанцах силу, которая внушает мне чуть ли не страх, но которая только укрепляет мою решимость уничтожить их любой ценой. За Легаспи все время следует фигура в капюшоне, его верховный жрец, самый свирепый его советник. Я не могу себе представить, как верховная жрица могла бы вмешиваться в мои дела, но у них воин и жрец неразлучны, а это дурное предзнаменование для нас. Я боюсь этого союза, он ужасен, его не должно быть. Власть всегда должна источать благожелательность, хотя иногда ей и приходится быть неумолимой. Но еще хуже — сам вождь у них источает высокомерие, считает себя чуть ли не богом. Никак не могу забыть отвращение, которое я испытал, когда Легаспи сказал, что он пересек моря по воле бога (коварно подразумевая при этом, что то был и наш бог) и во имя короля — но тогда зачем он обратился ко мне, а не к жрице? Лунингнинг даже в минуты божественного экстаза не доходит до такого самообожания, и уж никакой бог никогда не учил нас грабить другие княжества.

Высокий толстый Легаспи никогда не убедит меня, что прибыл с другого края света только для того, чтобы заключить со мной кровный союз. Хотя из уважения к Лака-ндуле я согласился совершить обряд побратимства, я знал, что с самого начала он не имеет силы: раз у испанцев есть свои обряды и боги, они не станут уважать наших. Все это было лишь уловкой. Я честно могу сказать, что не собираюсь выполнять клятвы, принесенные по их обычаю, равно как они не собираются следовать клятвам, принесенным по нашему обычаю, ведь это означало бы, что они не блюдут своих законов. Больше всего я сожалею о том, что мне пришлось нарушить наши законы. Сам я не очень привязан к традициям племени, но на мне лежит наследственная обязанность хранить их чистоту, так что этот горький опыт только усиливает мою решимость сразиться с белыми пришельцами.

Однажды утром они неожиданно появились на горизонте, словно вышли из глубин моря. Их корабли стали на якорь слишком далеко, и наши пушки не могли их достать. Самые невежественные из рабов и даже некоторые свободные люди сначала решили, что белые паруса — это души наших ушедших предков. Лунигнинг нелегко было разубедить их. Эта прекрасная и страстная жрица оказала мне неоценимую услугу — без нее я не мог бы править своими подданными, как я хотел. Мы с ней были так неразлучны в отрочестве, что отец даже усомнился в моем мужестве и вне себя от отчаяния велел одному из своих свободных людей сразиться со мной, чтобы испытать меня. Конечно, меня никто не собирался убивать, но я ничего не знал об этом похвальном умысле, а потому тот свободный поплатился жизнью. Ни мой отец, ни его люди не могли знать, что в искусстве боя я превосходил любого человека, потому что я обучился ему тайно. Это была идея Лунигнинг (она всегда мыслила как жрица) — не показывать мое умение до времени, чтобы поразить подданных, когда придет час. А лучшее время было — состязания воинов, до той поры я скрывал свои таланты бойца и показывал только дар пения и танца. Должно быть, отца смущали мои чрезмерные успехи в этих «женских» искусствах, потому что он мало ценил такие вещи, так как в молодости был крепок духом и телом; я же, в отличие от него, был строен, легконог, надушен, и речь моя была изящна. Таким стало и все племя Сулимана — соколы в павлиньих перьях, но в то время склонность к роскоши была достаточной причиной для скандала. А то состязание воинов, в котором, я знал, я превзойду всех, нужно мне было не для самоутверждения, а для успокоения моего отца. Не все упражнения представляли для меня интерес, а только военные, но тоже не все, а лишь такие, которые требовали ловкости и ума. Ибо даже телесная любовь, для того чтобы давать полное удовлетворение, должна быть игрой ума, поиском. И несмотря на эти мои убеждения, я еще в юности считался слишком чувственным, что, видимо, было неизбежно; ведь люди судят обо всем по внешним проявлениям, и что может им казаться более чувственным, чем страстное обожание женщины? Да, я чувствен, но слава покорителя женщин не увлекает меня, как увлекает она сыновей Лакандулы. Я всегда стремлюсь познать нечто новое, и малейшего подозрения, что я становлюсь жертвой привычки, для меня достаточно, чтобы воздерживаться месяцами. Тогда я превращался в аскета и находил в воздержании эстетическое наслаждение; я становился созерцателем и довольствовался обществом старейшин. Особенно мне нравились беседы с Пандай Пирой^[160], этим великим мастером, вечно полным идей о том, как успешнее лишать людей жизни. Его преданность

искусству умерщвлять в сочетании с теплой человечностью казалась мне парадоксом, который не мог не занимать пытливый ум. Счастье, что этот великий мастер с нами, иначе мы стали бы легкой добычей испанцев. Вот так выходит, что всякое умение сгодится в свое время. И я рад, что даже во времена мира и процветания я находил работу для Пандай Пирь, заставляя его изготавливать оружие лишь для украшения, а потому он никогда не чувствовал себя ненужным — а мог бы, если бы я разделял предрассудки других, считавших его искусство бесполезным. Между прочим, многие и по сей день так относятся к его искусству, и это не прибавляет нам сил. Сейчас, когда мы испытываем на себе все тяготы войны, мои люди начинают презирать поэтов, и поэтому я потребовал, чтобы эти сладкоголосые певцы научились держать в руках оружие, и теперь я знаю: они умеют умирать. Но им еще придется показать себя, слагая песни. Вряд ли верно мнение, что поэты питаются падалью, паразитируя на наших грезах, но если это и так, они очищают жизнь, отделяя мертвечину от живого духа. Если они и стервятники, то все же высвобождают в нас истину и чистоту, которые часто подавляются смертной плотью.

Мой отец не мог ценить всей этой утонченности. Ему важно было одно: чтобы его сын был сильным и ловким, и не было лучше случая проверить это, чем состязания воинов. И он был бесконечно счастлив, когда я превзошел всех во всем. Теперь он может умереть в мире, сказал он тогда. А я был немного уязвлен, потому что уже тогда считал, что нет смысла гордиться достижениями, без которых подлинный вождь просто немыслим. Раджа обязан быть сильным, смелым и мудрым, иначе его превосходство над другими будет пустой привилегией, тогда как высокое положение должно быть личным владением и его надо завоевать. И только это ставит его выше прочих. Права — это ничто... Кто может сказать, что раб, служащий мне, не вправе сесть на мое место? Его останавливает привычка, и прежде всего признание моего превосходства. Но и я мог бы пасть от руки последнего испанца. В пылу битвы звание ничего не значит, раджа точно так же полагается только на себя, как и рядовой воин, и в эти минуты он, наверное, не выше простого брадобрея. За великие привилегии раджи надо платить в минуты бедствий. Я склонен думать, что величие власти дается человеку, который имеет, как и другие, только одну жизнь, лишь для того, чтобы он жил не для себя, а для всех. Нет судьбы более одинокой, более ужасной...

Я предал Манилу огню. Я взял на себя всю ответственность за то, что позже, быть может, назовут слишком скоропалительным, а то и просто глупым решением. Споры относительно разумности этой меры будут

продолжаться до тех пор, пока люди не потеряют охоту обсуждать дела своих правителей. Таково бремя, которое история возлагает на тех, кто творит ее. Но дело в том, что я с самого первого столкновения видел, что противник превосходит нас. Я предчувствовал, что мы или будем уничтожены до последнего человека, или попадем в плен, и если Манила — город, где мы были счастливы, — переживет позор поражения, она станет тюрьмой нашего народа. Если нам суждено быть побежденными, то пусть уцелевшие влачат иго рабства на испанских галерах или в безразличии чужой земли. Но не в Маниле, только не в Маниле, потому что там маленькие радости, которыми не обделен и последний раб, заставят нас — кто знает! — даже полюбить свои цепи. Я сам стал свидетелем тому, когда, отчаянно нуждаясь в воинах, вооружил рабов и сказал, что отныне они свободны. Они вооружились охотно, они были горды, но умоляли меня не выводить их из прежнего состояния. Рождаются ли рабами или становятся ими под воздействием вековых привычек? Я не могу дать ответа, который удовлетворил бы всех. Во всяком случае, лишь немногие обрадовались свободе, а один из них стал моим лучшим воином... Итак, Манила сожжена дотла. Когда люди последовали моему примеру — а я первым бросил факел в свой дом, — слезы стояли у них в глазах. Я не дрогнул, но труднее всего было подавить комок в горле. А затем — увы! — еще одна трагедия: Лунингнинг принесла себя в жертву.

Это был акт отчаяния, хотя и героический. Она бросилась в битву с кампиланом^[161] в руках, разя направо и налево, пока сама не была поражена насмерть. Я думал, что моя ярость уже исчерпалась, но тут она появилась вновь, словно у загнанного в угол раненого вепря; жажда крови вспыхнула во мне, как у акулы-людоеда. Я уже не считал трупы павших врагов, я продолжал разить их, рубить в куски, я был уже не воином, но диким животным. Со смертью Лунингнинг я потерял не только товарища по оружию, не только возлюбленную, преступившую священный запрет, — я потерял часть самого себя. Своей смертью она показала, что наш экстаз был также ее агонией, ибо она верила в свое жреческое призвание. Я понял, что ее счастье, о котором она так часто говорила, было перемешано с мукой, что она разрывалась между любовью и священнослужением и ни одно, ни другое не могло восторжествовать, пока душа ее находилась в теле. Но нечего больше говорить об этом, ее счастье завершилось смертельной агонией, мое тоже, хотя я и жив еще. Я никогда не мог представить себе, что наша связь прекратится, и никогда не согласился бы на это. Я не имею в виду права вождя — в делах любви

вождь лишен прав, — я просто хочу сказать, что никогда не мог допустить, чтобы мое самоосуществление предписывалось бы мертвыми законами, мертвыми как раз потому, что я отвергаю их. Тут важны не привилегии вождя, а властное желание мужчины. Без нее я не могу быть самим собой. Отныне судить обо мне можно будет только по моим делам. И я подозреваю, что она возжелала такого суда после сожжения Манилы. Сам поджог должен был означать для нее конец того мира, в котором мы жили и который мы тем не менее отвергали.

Что было бы, если бы о нас узнали, узнали о вожде и жрице? Могу утверждать, что Лунингнинг выбрала гибель, чтобы дать мне последний дар любви — свободу и ясность перед встречей с судьбой. Я решил воздать ей за редкую страсть; я начал восстанавливать Манилу, чтобы почтить ее. Но до того протекли многие месяцы...

С маленьким флотом на нескольких судах я отплыл на Самар^[162], чтобы собрать войско. Я принимал всех, кроме пин-тадос^[163], раскрашенных, как любовно называли их враги. Эти странные люди не так уж отличались от нас по обычаям и цвету кожи, но они явно предпочитали чужеземцев, которым служили переводчиками и посредниками. Почему они так поступали — из амбиции или по умыслу? Или их напугал вид и оружие врага? Мало того, они утверждали, что их подвигнул бог Легаспи, могущественнее которого не было богов, и хвастались, что за ними будущее. Скорее всего, они действовали так потому, что это было им выгодно. Как бы то ни было, я сразу отказался от их услуг. Некоторые из них искренне хотели стать на мою сторону, но я решил, что и этим немногим не удастся подняться над привычками и обычаями их племени; должен сказать, я не мог доверять людям, которые раскрашивают лицо. Конечно, краска может прибавить красоты, но пользоваться ею, чтобы изобразить ярость, — это мне кажется неуместным. Но даже отвергнув их, я все же набрал семь пирог новых воинов. А это было нелегко.

Молодые люди, гордые и склонные к приключениям, хотели сразу присоединиться ко мне, но воспротивились старейшины, а также женщины, которые, естественно, спрашивали, почему их мужья, сыновья и возлюбленные должны сражаться в далекой стране. Их пустые возражения объяснялись заботой о себе (старики завидовали храбрости юношей, а женщины боялись потерять их — не обязательно в битве, ведь их мужчины увидели бы прекрасных женщин моего племени), но мне пришлось проявить большое терпение, чтобы не оскорбить молодых людей неуважением к их старейшинам и женщинам. Ни за что я не взялся бы за

это дело, если бы того не требовали обстоятельства. Мне пришлось пойти на рассчитанный риск и соблазнить ту, которая возражала громче всех; если бы она оказалась такой добродетельной и стойкой, какой хотела показать себя, моя смерть была бы неминуемой. На эту опасную затею меня вдохновила ее кажущаяся скромность. Она ни разу не взглянула мне прямо в глаза, но раз или два я замечал, что она украдкой поглядывает в мою сторону; сидя напротив меня, она всегда поигрывала своими золотыми браслетами на ногах. Я знал, что если ошибусь — моей миссии придет конец, потому что все скажут, что я глупец, способный начать войну только из-за того, что мне понравилась чья-то ножка. Но я ждал случая, и он представился во время их традиционного празднества. Моя жертва оделась подчеркнуто скромно — тоже своего рода кокетство. Когда ее попросили сплясать для гостей из Манилы, она, несмотря на настойчивые уговоры мужа, отказалась так решительно, что поразила всех, кроме меня. Ее надо было утешить. Муж пустился в долгие извинения и даже попросил вождя примерно наказать непокорную жену, а, судя по злобным взглядам, наказание это было бы суровым. Я мягко заметил, что ее необычное поведение, видимо, вызвано нашим неожиданным вторжением, и оба — и муж и вождь — охотно приняли такое объяснение, а муж даже сожалел о своем гневе. Я предложил успокоить ее и принести ей наши извинения. Вождь не преминул отметить мою скромность, украшающую гостя и раджу. Уверен, что мои дату [\[164\]](#) тогда же подумали, что я веду себя недостойно, но позже, когда мы набрали новое войско, они только обменялись понимающими взглядами.

Для своих переживаний она выбрала неплохое место, под высокой акацией на дальнем краю леса, в безопасности от любопытного глаза. Никто не мог застигнуть нас врасплох. Я не стал тратить время на церемонный разговор, предвидя — и совершенно правильно, как оказалось впоследствии, — что она может вновь надеть маску неприступности. Нежное объятие сразу же сокрушило все барьеры... Достаточно сказать, что она оказалась столь же страстной и столь же чувственной, как и любая другая женщина. После этого я не мог больше тянуть с отплытием, повторные встречи создали бы много трудностей.

Что до старейшин, то тут пришлось пойти на лесть и предложить дары. Не без колебаний расстался я со своими золотыми церемониальными кинжалами. Но я не прогадал, потому что мы получили больше воинов, чем даже надеялись; главное же, я поручил наших женщин их заботам — им нравилось думать о себе как о гостеприимных хозяевах и опекунах.

Я предвидел, что битва с врагом будет жестокой. Но оказалось, что и

они покинули разрушенную крепость. В рядах наших новых воинов, надеявшихся на схватку с врагом сразу по высадке, вспыхнуло недовольство. Я решил занять их чем-нибудь, не то они излили бы избыток энергии друг на друга — в присутствии молодых девушек это было более чем вероятно. Я распустил слух, что противник готовится к битве; приказал строить укрепления и восстановить разрушенный палисад. Так, хитростью, Манила была воссоздана. Добавили новые амбразуры для пушек, восстановленные хижины расположили по кругу. Затем воздвигли храм в честь Лунингнинг. Я объявил ее богиней войны. Теперь память о ней не умрет, потому что моя возлюбленная вошла в таинственный и неуничтожимый мир легенды. Оказалось, что распущенный мною слух не так уж далек от истины. Не успели мы восстановить Манилу, как Лакандула из Тондо уже стучал в ворота — он принес послание от капитана-генерала, как он называл теперь Легаспи.

Лакандула, несмотря на возраст все еще жилистый, осмелился говорить со мною в присутствии воинов. Я сразу понял, что это уловка, но ничего не мог поделать — он хотел, чтобы воины слышали каждое его слово. Говорил он красиво, цветисто и громко — настоящий демагог. Он сказал, что испанцы непобедимы, зря мы надеемся, будто они ушли навсегда, — они вернутся, и вернутся с большой силой. Он хотел бы предотвратить напрасное кровопролитие. У него был куда лучший план. Примем испанцев, будем учиться у них, а когда овладеем их искусством, особенно их амулетами, снова сбросим их в море, а сами станем сильнее, чем прежде. Я ответил, что его план никуда не годится, потому что как только мы притворимся побежденными и согласимся быть их рабами, мы уже никогда не избавимся от этих белых захватчиков. Я сказал, что они пришли грабить и поработать и, как показывает пример самого Лакандулы, расколоть нас. Я намекнул на стремление Лакандулы подчинить весь Лусон руке его сыновей и сказал, что вся его мудрость направлена не на спасение наших жизней и изгнание испанцев, а на то, чтобы с помощью последних потомки Лакандулы правили бы по всей длине и ширине земли. Со временем я пожалел об этих словах, но я сражался за свое княжество, и здесь все средства были хороши. А когда я указал на крест, который он теперь носил на груди, мои воины поняли, что эта старая лиса уже не была одним из нас.

Случай с Лакандулой навел меня на дикую мысль. Что, если бы, спросил я себя, Самар и острова за Самаром, княжества вокруг нас — Пампанга, Малолос и другие — объединились? Можно ли преодолеть подозрительность и соперничество разных племен? Ведь у нас даже разные

боги. Нас ничто не объединяет, но если мы осознаем, что испанцы — наш общий враг? В памяти еще были свежи трудности, с которыми я столкнулся на Самаре; молодые воины присоединились ко мне, но только потому, что они любопытны и у них горячая кровь, с годами они успокоятся и предпочтут покой сражениям, удобства — жертвам. Но чувства эти были смутны и неясны, сама мысль казалась невообразимой: объединение племен ради цели, которую даже нельзя определить. Во всяком случае, я не мог определить ее. Приходится признать, что я не дорос до нее. Пандай Пира, у которого я время от времени спрашивал совета, сказал, что в этом что-то есть, но даже он, при всей его опытности и мудрости, не мог обосновать предложение, которое слишком противоречило всему нашему опыту. Он обещал подумать... Но испанцы, как и предсказал Лакандула, пришли с большой силой. Они одолели нас, мы ушли в болота. Мы потеряли многих воинов; те, кто уцелел, были почти все ранены, отступление было долгим и тяжелым, и оно целиком занимало мои мысли. Я не мог предаться отчаянию, даже если бы и хотел; я ободрял моих людей, но я не плакал с ними. Во время битвы — а она все еще стоит у меня перед глазами — я понял, что трудно отличить раба от свободного человека, а свободного от обученного воина; все сражались яростно и храбро, я могу сказать даже — благородно. Что до воинов с Самара, то они действовали как я и ожидал; тяга к приключениям у них выветрилась, когда нам стало тяжело. Единственное, что поддерживает их боевой дух, — жажда мести за смерть близких друзей.

Пандай Пира погиб от ран и болезней во время отступления. До самого конца он повторял: «Одно сердце, одно сердце. Ты дал людям одно сердце». Так он ответил на мои неясные вопросы о единстве племен. Мои люди сражались не только за меня, не только за свои жизни; их заставляла сражаться новая сила, необъяснимая, но вполне реальная. Бывший раб сказал мне: «Сулиман, я не могу сдаться. Я могу только победить или умереть». Он сказал это с гордостью, почти высокомерно, словно он обращался не к своему радже. В тяготах отступления я и сам забыл о различиях в достоинстве: рабы обменивались шутками со свободными, а свободные соперничали с дату. Казалось, человека начали уважать не за положение, а за что-то другое. Я и сам ел и спал рядом с кем угодно, делил одеяло и шутил со всеми. Женщины, которые отказались укрыться на Самаре, безропотно переносили все тяготы, но детей с нами не было — я настоял на своем, и они теперь в безопасности, вдали от отцов и матерей, с ними несколько уцелевших воинов, которые уже сейчас рассказывают им о наших сражениях. Я молюсь, чтобы наши сыновья и дочери унаследовали

сердца своих предков.

Из болот я отправился с небольшим отрядом телохранителей к вождям Малолоса и Макабебе. Я предупредил их об опасности, исходящей от испанцев, и пытался доказать, что в болотах, где укрылось мое войско, мы можем остановить их. Да, они готовы сражаться, но по тем же причинам, что и воины с Самара: из любви к приключениям и из жажды добычи. По-настоящему мне удалось обратить только одного вождя из Малолоса. Моя смутная мысль взволновала его. Он знал, что нас разделяет. «Ты был первым, — сказал он. — Пусть же все потомки Сулимана оттачивают эту мысль». А сейчас нам предстоит встретить врага в Бангкусае...

Сулиман умрет в болотах или вернется новым раджой — таким, какого Лусон еще не видел. Испанцы говорят об одном боге, одном короле, одной воле. И в этом сила испанского солдата, сила, которой нет у нас. Меня не пугает оружие испанцев, наследники Пандай Пиры могут сделать такое же. Всякий воин использует оружие, которое его больше устраивает. Дело не в оружии, дело в самом испанском солдате, в том, что у него в груди, — вот в чем они превосходят нас, а не в оружии. Признаюсь: я боюсь, я растерян, мне страшно.

Если я паду в битве, может быть, Лакандула или его сыновья узнают, в чем сила испанцев. Но как они смогут воспользоваться этим знанием, они, чьи сердца полны подозрительности? Я говорил обо всем этом с теми, кто в состоянии понять меня, я велел им продолжать поиски. Потому что сам я уже ничего не найду. Я не могу обманывать себя, я знаю исход предстоящей битвы. До сих пор мне не удалось выиграть ни одной стычки с врагом. Нам чего-то не хватает — нет, храбрости и силы у нас достаточно. Лакандула называет это чужим словом «вера». Я не знаю, что значит это магическое для них слово. Это крест, фигуры в капюшонах, воля врага — вот что нам надо для победы. Но нечего тосковать по чужому. Я должен довольствоваться только своим. Пока над нами еще нет господина, по крайней мере над моими людьми. Сегодня ночью я сказал им, что мы должны сражаться и не думать о поражении; мы не должны допускать мысли о том, что с нашей гибелью в этих болотах борьба против испанцев прекратится; она прекратится только тогда, когда мы прогоним последнего захватчика на другой берег океана, откуда он пришел. Наши потомки продолжают борьбу. Кровь, которую мы прольем в Бангкусае, навсегда останется свежей кровью, она смешается с водами рек и озер, и всякий, кто окунется в них, почувствует прилив решимости. Те, кто сегодня будут сражаться рядом со мной, войдут в легенды и обретут бессмертие в памяти народа.

Светает. Я иду навстречу судьбе.

Перевод с тагальского И. Подберезского

Алехандро Росес

Алехандро Росес родился в 1924 году в Маниле, в семье, которая дала Филиппинам многих художников, поэтов, журналистов и государственных деятелей. Учился он в Маниле, США и Японии. Свою писательскую карьеру начал как журналист: в течение многих лет он вел в одной из столичных газет популярную колонку «Шипы и розы». Участвовал в театральной жизни, выступал как режиссер и драматург. В соответствии с традициями семьи подвизался также и на поприще государственной службы — был деканом крупнейшего филиппинского университета, а в 1963–1965 годах занимал пост министра образования. Рассказы А. Росес начал писать еще во время второй мировой войны, но впервые его произведения увидели свет уже в послевоенный период. Как писатель Росес известен прежде всего своими юмористическими рассказами, в которых он добродушно подшучивает над некоторыми сторонами филиппинской жизни, прежде всего — над пристрастием филиппинцев к петушиным боям. В 1959 году писатель выпустил сборник «О петухах и воздушных змеях и другие рассказы», который затем неоднократно переиздавался, пополняемый новыми рассказами (их названия строятся по той же схеме: «О петухах и джинсах», «О петухах и хореографах» и т. д.).

Беззлобное, свободное от ригоризма высмеивание некоторых пристрастий филиппинцев лишь подчеркивает симпатии автора к ним, к их нелегкой жизни, единственное отдохновение от которой — все те же петушиные бои, хотя, случается, эта склонность перерастает в нездоровую страсть. На первый взгляд рассказы А. Росеса представляют собой всего лишь развлекательное чтение, но внимательное ознакомление с ними показывает, что перед нами — точное художественное отображение всей филиппинской жизни. Многие рассказы были инсценированы и экранизированы (в частности, весь «петушиный цикл» лег в основу телевизионного сериала). А. Росес — лауреат многих почетных на Филиппинах литературных премий.

И. Подберезский

Петухи и короли

— Ну, уж этого петуха никто не побьет!

Такие слова я слышал от моего брата Кико множество раз. И всякий раз просаживал из-за него кучу денег. Взять, к примеру, хотя бы историю с заговоренным петухом — в тот раз он утверждал, что у его бойцового петуха кожа совершенно непробиваемая. У одного полицейского был антинг-антинг,^[165] который он заполучил у арестованного уголовника-моро^[166]. Кто носил этот антинг-антинг, тот считался заговоренным и мог не бояться никакого нападения. Вот Кико и купил этот амулет для своего бойцового петуха. А мне объявил, что он, мол, выложил за амулет баснословную сумму, у него не осталось ни гроша и теперь ему нечего поставить на своего петуха. Поэтому он приглашает меня в компаньоны: петух и амулет — его, деньги — мои. Я принял его предложение, хотя и до сих пор сам не понимаю почему. В то воскресенье я не мог пойти с Кико на петушиные бои. Мать заболела, и пришлось мне остаться с нею. Так что Кико отправился один, прихватив своего бойцового петуха и мои деньги. Я с тревогой дожидался его возвращения.

Не успел он войти в дом, как я спросил:

— Ну, что там было?

— Видишь ли, — ответил Кико, скребя в затылке, — это длинная история.

— Ну, как, выиграли мы? Заговор подействовал?

— Да, да, амулет сработал.

— Вот здорово! — сказал я. — До чего же я рад! И сколько мы выиграли?

— Видишь ли, компаньон, — изрек Кико, — пожалуй, лучше будет, если я расскажу тебе все с самого начала.

— Валяй, — сказал я. — Просто умираю, до чего интересно.

— Ну, вот, прежде всего, пошел я в город и там заставил петуха проглотить амулет. Ясное дело, после этого петух стал совершенно неуязвим. Я же говорил, что так будет. Во время боя все наступательные маневры его противника оказались бесплодными.

— Так, так. Ну дальше, дальше!

— Как я уже сказал, противник не смог причинить нашему петуху никакого вреда.

— Ну, а потом?

— Наш петух перешел в атаку, он бросился на противника и нанес ему удар колоссальной силы. Хочешь верь, компаньон, хочешь нет — он разорвал противника пополам.

— Ух ты! И это, значит, принесло нам победу?

- Нет, компаньон, это принесло нам поражение.
- Минутку, минутку. Что-то я не пойму. Ты же сказал, что наш петух разорвал противника пополам. Верно?
- Верно.
- Так я и понял. Значит, мы выиграли.
- Нет, компаньон, проиграли.
- Програли? Почему же?
- Вот это я и пытаюсь тебе втолковать. Мы проиграли вот почему: когда наш петух увидел, что его противник развалился на две части, он решил, что теперь у него два противника, и бросился наутек.
- Значит, вышла ничья.
- Нет, компаньон, мы проиграли.
- Почему?
- А потому, что другой петух исхитрился сделать вид, будто он сдох, бросаясь в атаку. Ты же знаешь, как решается дело в таких случаях. Если петух убежал, он считается побежденным.
- Ты хочешь сказать, что противник сумел, как положено, нанести два удара клювом?
- Ну да, компаньон.
- Да как же это он изловчился? Ведь наш петух разорвал его пополам?
- Рефлекс, компаньон. Что ты так удивляешься? Взять, к примеру, змею. Я сам видел — змею разрежут пополам, а она после этого еще сколько времени извивается, даже укусить может.
- Так то змея. А это петух. И потом — где это слыхано, чтобы один петух разорвал другого пополам? В петушиной ноге нет такой силы.
- А силу ему дал амулет, понимаешь, компаньон? Я же тебе говорил — амулет мощный. И он сделал нашего петуха неуязвимым и сильным. Пожалуй, даже слишком сильным, это ему и повредило. В науке это называется — точка убывания прибылей. Про это ты узнаешь в старших классах.
- Послушай, Кико. Ну, проиграл наш петух, и ладно. Но для чего тебе нужно было все это наворачивать?
- Ты о чем?
- А вот о чем: для чего ты уверял меня, будто наш петух неуязвимый?
- Он и был неуязвимый.
- Но как же неуязвимый петух мог проиграть?
- Я ведь тебе уже объяснил, компаньон. В конце концов я сказал

только, что он неуязвимый. Я же не говорил, что он непобедимый. А это, знаешь ли, большая разница. Сдается мне, что ты все перепутал, компаньон.

— Так, ясно. Ну, а где же петух? Хотелось бы взглянуть на петуха.

— Петух? Какой петух? Ах, петух... Ну да, петух. Это второе, о чем я собирался тебе рассказать. Я... я его прикончил.

— Прикончил? Но почему?

— Так он меня возмутил — подумать только! Повернул хвост и пустил прахом все наши денежки. Вот я его и прикончил.

— Но каким же образом? Ты ведь сам говорил, что он неуязвимый.

— Ну да, он и был неуязвимый. Я утопил его в реке, по дороге домой. У того, кто проглотил антинг-антинг, кожа непроницаемая, но утонуть-то он может, от этого амулет не спасает. Ты ведь и сам знаешь, компаньон.

— Но где же он, где этот утопленник? Почему ты его не принес? Ведь ты всегда приносишь убитых петухов домой, чтобы мать их зажарила.

— Только не этого, компаньон. Из него ничего не приготовишь. Мясо у него стало совсем жесткое — из-за амулета. Как же мать сможет его зажарить? И потом, ведь мать больна и готовить не в силах. Кстати, как ее здоровье? Лучше?

— Мать не припутывай. Слушай, а может, все таки петух не был неуязвимый? Может, ты не принес его потому, что он весь изранен?

— Да что ты! Я даже не понимаю, о чем ты говоришь.

— Прекрасно понимаешь. Ты уже не первый раз просаживаешь мои деньги на петушинные бои. Помнишь того петуха, у которого на ноге было семь чешуек неправильной формы? Ты утверждал, что уж его-то никто не побьет, потому что те семь чешуек — это семь добродетелей. А его все равно побили.

— Но я же объяснил тебе: его побили потому, что смертных грехов тоже семь.

— Зачем же тогда ты уговорил меня за него ставить? А что ты скажешь насчет другого, с двенадцатью неправильными чешуйками? Ты утверждал, что его никому не побить, потому что апостолов было тоже двенадцать.

— Так и есть, апостолов было двенадцать. Но ведь верными господу нашему остались только одиннадцать? Вот и выходит, что нам надо было искать петуха с одиннадцатью неправильными чешуйками, а вовсе не с двенадцатью. Наука о числах совсем не такое простое дело, как ты думаешь. Это штука сложная. Тут приходится каждую мелочь учитывать. А главное, никогда ни на что — слышишь, ни на что — нельзя

рассчитывать целиком и полностью.

— Почему же ты тогда не выложил мне все это перед боем? И потом, вот что, мне просто интересно: которая половина противника ухитрилась нанести нашему петуху два решающих удара?

— Та, что с клювом, — ответил Кико.

С меня довольно, решил я. Больше я о бойцовых петухах знать не желаю. Мало того, я перестал делать ставки заочно и решил не вступать ни в какие разговоры о петухах. Даже с цыплятами имел дело только тогда, когда ел их. Кико, разумеется, лез из кожи вон, чтобы снова приохотить меня к петухам. И о чем бы мы ни говорили, сворачивал на свое.

Как-то раз, к примеру, шел у нас разговор о взятках и коррупции в правительстве. Вдруг Кико прервал меня:

— Слышишь, петух пропел!

— Нет, — говорю. Я мог голову дать на отсечение, что ни один петух и не собирался петь.

— Да, кстати о петухах, — сказал Кико. — Видел ты моего нового, красноперого пету...

— Прекрати, — оборвал я его. — Сказано тебе, я больше про петухов слышать не желаю. Они у меня уже в печенках сидят, черт побери!

Убедившись, что я твердо решил не иметь с петухами никакого дела, Кико переменял тактику. Как-то раз он признался мне, что амулет не сработал. Но тут же сказал, что вовсе не собирался меня обманывать, и всю вину свалил на полицейского, продавшего ему этот амулет. Он пригрозил даже вздуть полицейского, когда будет в городе, — пусть он только на глаза ему попадет. Но никакие подходы моего брата уже не могли возродить у меня интереса к петушиным боям. Чтобы вновь втянуть меня в это дело, потребовался Король-петух.

Этот самый Король-петух был отчасти и моим творением. Однажды учитель дал нам задание: записать какую-нибудь легенду в нашем поселке. В связи с этим классным мероприятием я отправился к Лакай Кардо, и тот рассказал мне народное предание о происхождении петухов.

Вот эта легенда в том виде, как я записал ее для учителя.

За много тысяч лет до испанского завоевания жил-был добрый и могущественный король. Были у короля два сына-близнеца. Когда король умер, близнецы перессорились из-за отцовской короны: каждый уверял, что он единственный и законный наследник престола. Ссора их так разгневала Батхалу^[167], что он их проклинал. Едва произнес он слова проклятья, как оба королевича покрылись яркими перьями, руки их превратились в крылья, голени усохли, обросли плотными чешуйками,

ступни превратились в лапы с когтями, носы и подбородки слились в твердый клюв, глаза очутились на месте ушей, а в довершение всех бед у каждого из них на голове выросла корона из его же собственного мяса. Батхала обратил их в петухов!

Но так велика была власть старого короля, что мы ощущаем ее и поныне. Едва прокричит петух, все люди, начиная с самого президента, поднимаются с постели. А потомки короля и сейчас еще норовят сорвать друг у друга корону с головы.

Кико прочитал мое изложение и сказал:

— Очень интересно. А знаешь, по-моему, тебе надо всерьез заняться писательством. Как знать, может, из тебя получится новый Ротор или новый Аргилья^[168].

Если бы Кико, прочитав мое изложение, ограничился этими комментариями, то я, быть может, больше не стал бы подвергать себя превратностям петушиных боев. Но, совершенно неожиданно для меня, легенда о происхождении петухов натолкнула моего брата на новую идею, она завладела им целиком. Через несколько месяцев он подошел ко мне и объявил:

— Пойдем со мной. Я хочу тебе кое-что показать.

Мы спустились по лесенке во двор, где расхаживал на привязи великолепный петух.

— Смотри, — сказал Кико, — это Король-петух. Я искал его повсюду с тех самых пор, как прочел твоё сочинение. И вот — нашел.

— Симпатичный петушок, — сказал я. — Не понимаю только, при чем тут мое сочинение?

— Не понимаешь? — удивился Кико.

— Нет.

— А помнишь, что ты писал насчет петушиного гребня?

— Ну, помню.

— Так вот, взгляни-ка на его гребень.

Я поднял петушка и стал рассматривать его гребень. Он и вправду был не такой, как у других петухов. Обычно гребень бывает плоский, продолговатый, а этот был круглый, в форме короны. Но все-таки мне было невдомек — какая связь между этим необычным гребнем и моим сочинением?

— Ну как ты не понимаешь? — сказал Кико, уже начиная злиться. — Это же Король-петух. Гребни есть у всех петухов, но только у этого гребень как корона. А почему? Да потому, что это самый настоящий Король-петух. Вот кто! Он и есть законный наследник престола.

— Ну и что?

— А то, что он непобедим. Разве может Король-петух оказаться побежденным?

— Слушай, а почему ты мне все это говоришь?

— А потому, что этот Король не только мое открытие, но и твое. Если бы я не прочел твоего сочинения, то никогда не узнал бы, что на свете есть такой петух. Вот и выходит, что мы открыли его с тобой на пару. Помнишь петушка-гермафродита — того, что победил в бою?

— Ну, помню.

— Так ведь того петуха мы тоже нашли сообща — ты и я. И он победил. Укокошил своего противника одним ударом.

— Он победил потому, что противник принял его за курицу. А когда разобрался, что к чему, было уже поздно.

— Да не дури ты. Он потому победил, что мы с тобой вместе нашли его в кукурузном поле. Это был наш общий петух. Так же, как вот этот. Он тоже — наше общее открытие. Твое и мое.

— Ну, хорошо, чего же ты от меня хочешь?

— Я хочу, чтобы ты помог мне подготовить эту царственную птицу к бою. Мы можем сообща сорвать большой куш. Ну как? Идет?

Подготовить Короля к бою было делом несложным. В особенности потому, что Кико решил, что на этот раз обычные приготовления не нужны. Мой братец и не подумал вырвать у петуха шпоры, или подрезать ему перья, или снять у него гребень, сережки и ушные мочки.

— Это все нужно, когда готовишь простых бойцовых петухов, а не царственную птицу, — объявил Кико. — Корона — это *sine qua non* ^[169] для всякого короля. Наш петух должен выйти на арену в полном блеске.

Поэтому нам оставалось только привести Короля в форму, то есть укрепить ему мускулы и согнать жир, потому что жир дает излишний разогрев и вызывает быстрое утомление. Единственное, что мы должны были делать, это правильно кормить Короля и каждый день его тренировать. Не прошло и месяца, как он уже был в прекрасной форме.

В день боя мы с братом поднялись чуть свет. Кико вынул петуха из клетки и бросил его на землю. Король величественно взмахнул крыльями и закукарекал, словно солнце взошло специально для того, чтобы услышать его клич. Сомнений не могло быть — он был готов к бою. В нем трепетал каждый нерв, и он жаждал схватиться с противником, чтобы сразить его. По правде говоря, мне казалось, что никогда еще я не видел петуха в такой прекрасной боевой форме. Увенчанная тяжелой короной, царственная голова его была как ананас. Кико поднял Короля с земли, и мы

отправились к арене для петушинных боев. По дороге мы завернули к дону Висенте Валенсуэла, чтобы одолжить у него старую петушиную шпору. Она хранилась у него в качестве реликвии со времен кофейного бума восьмидесятых годов — тогда, если верить слухам, бойцовым петухам надевали шпоры из литого золота. Острие ее было сделано из толедской стали, а раздвоенный зажим инкрустирован золотом. Это было замечательное произведение искусства.

— Только такая шпора и подобает Королю, — объявил Кико.

Дон Висенте охотно дал ее нам взаймы. От него мы с Кико направились к арене. Не прошло и минуты, как к нам подошел человек, державший холоанского^[170] петуха, и вызвал нашего на бой. Даже если бы мы очень постарались, едва ли нам с Кико удалось бы подыскать для Короля такого невзрачного противника. На шее у него торчало всего несколько перьев, он был какой-то общипанный, полудохлый. Мы с Кико тут же приняли вызов.

После обычных приготовлений обоих петухов выпустили на арену. Холоанский петух не проявил никакого уважения к персоне королевской крови. Стоило ему коснуться земли, как он пулей бросился на Короля. Король так наподдал ему снизу, что холоанец перекувырнулся и задрогал лапами. После этого они снова стали друг против друга.

Король попытался было цапнуть холоанца за гребень, но у того голова была как обчищенная — ни одной мясистой складочки, за которую можно было бы уцепиться. А вот корона нашего Короля, наоборот, служила противнику идеальной мишенью. Холоанскому петуху удалось пару раз основательно ухватить Короля за гребень, и тот очутился в самом плачевном положении. Всякий раз, вцепляясь клювом в корону нашего Короля, холоанец мог свободно наносить ему удар куда заблагорассудится. Потом оба петуха перешли к отвлекающим маневрам — стали насккивать друг на друга. Каждый старался захватить противника врасплох.

Вот холоанец прыгнул, Король инстинктивно присел. На какую-то долю секунды наш петух очутился в выгодной позиции. У холоанца оказалось открытым сердце и другие уязвимые места, а у Короля — только спина и голова. Но Король не сумел использовать это преимущество. А холоанец ринулся на него и нанес ему удар в темя. Вообще-то голову легко отвести от удара, но на сей раз дал себя знать двойной вес королевской короны: наш петух уже не в силах был вертеть головой так быстро, как вначале. Словом, Король не сумел вовремя увернуться. Стальная шпора пронзила корону и впилась в череп его королевского величества. Что и говорить, тяжела голова, увенчанная короной!

Я был так ошеломлен, что сперва не мог вымолвить ни слова. Затем нам подали нашего петуха. Он был мертв. Голова его повисла свинцовым грузилом. Взяв петуха за хвост, я повернулся к Кико.

— Если не ошибаюсь, ты утверждал, что это Король-петух?

— Он и был Король.

— Так почему же он потерпел поражение?

— Господи помилуй! — взорвался Кико. — Не станешь же ты убеждать меня, что до сих пор веришь в божественное право королей! Мы живем в эпоху простого человека. Эра королей миновала. Ты что, ничего не слышал о подъеме народных масс? Надо бы тебе как следует приналечь на историю!

Перевод с английского С. Митиной

Никомедес Хоакин

Крупнейший современный писатель Филиппин Никомедес Хоакин родился в 1917 году в Маниле. Его отец активно участвовал в анти-испанской национально-освободительной революции 1896–1898 годов и не смирился с приходом новых колонизаторов — американцев, захвативших архипелаг в 1898 году. Хоакин усвоил эти благородные семейные традиции. Писать он начал в 1937 году, и первые же произведения выдвинули его в ряды ведущих писателей Филиппин. После второй мировой войны монахи-доминиканцы предоставили ему стипендию в одном из своих колледжей, но вскоре он порвал с клерикалами и поменял сутану на перо. Мировую известность ему принес роман «Женщина, потерявшая себя» (1961), переведенный на многие языки мира, в том числе и на русский.

Он получил славу лучшего стилиста Филиппин и в то же время — одного из наиболее прогрессивных писателей страны. Много и плодотворно Н. Хоакин работает в области журналистики: почти каждую неделю появляются его статьи и эссе, по мнению марксистской критики — самые прогрессивные по убеждениям и самые глубокие по анализу. Сквозная тема творчества Хоакина — историческое прошлое Филиппин. Но интерес к прошлому для него не означает уход от проблем сегодняшнего дня, от насущных вопросов социальной и политической борьбы — напротив, своими произведениями он активно участвует в этой борьбе. Обращение к историческому прошлому страны служит средством осуждения сегодняшнего «американизированного» порядка вещей, вызывающего у Хоакина резкую неприязнь.

Смысл рассказа заключается в том, что обращение к своей исконной культуре — единственный путь обретения себя, своего лица, своей индивидуальной и национальной сущности. Поклонник Ф. М. Достоевского (его влияние сказывается на многих произведениях филиппинского писателя), Н. Хоакин считает, что путь к общечеловеческому лежит только через национальное и что филиппинская литература внесет достойный вклад в сокровищницу мировой культуры, только развивая свои самобытные начала, а не путем бессмысленного подражания заокеанским образцам. Вместе с тем Хоакин подчеркивает необходимость черпать из опыта мировой — в том числе русской и советской — литературы.

Летнее солнцестояние

Обычно на святого Иоанна семейство Морета отправлялось к бабушке — это был день его ангела. Из-за жары донья Лупе проснулась с тяжелой головой. В ушах стоял непрерывный звон. Три мальчика в праздничных костюмчиках — ее сыновья — уже завтракали, но, увидев мать, вскочили с мест, окружили ее и затараторили все сразу:

— Мама, как долго ты спала!

— Мы уже думали, ты никогда не проснешься!

— Мы сейчас поедem?

— Тише, ради бога тише! Неужели вы не видите — у папы болит голова. И у меня тоже. Немедленно утихомирьтесь, иначе никто не поедет к бабушке.

Часы показывали только семь, но в доме уже было жарко, как в печи: яркий свет заливал комнаты, воздух был горяч, словно в полдень.

На кухне хозяйничала няня.

— Ты что здесь делаешь? А где Амада?

Не дожидаясь ответа, донья Лупе прошла к задней двери, отворила ее, и тут же сквозь звон в ушах прорвался пронзительный визг, доносившийся из конюшни.

— О мой бог! — простонала она и, подобрав юбки, заторопилась через двор.

У конюшни Энтой, кучер, запрягал в карету пару пегих пони, не обращая ни малейшего внимания на вопли.

— Не надо карету, Энтой! Открытую коляску! — закричала ему донья Лупе.

— Но, сеньора, пыль...

— Знаю, знаю. Но лучше пропылиться насквозь, чем свариться заживо. Что с твоей женой? Ты опять бил ее?

— Нет, сеньора. Я к ней пальцем не притронулся.

— Тогда почему она так визжит? Заболела?

— Не думаю. Впрочем, откуда мне знать? Вы сами можете посмотреть, сеньора. Она там, наверху.

Когда донья Лупе вошла в комнату, огромная голая женщина, развалившаяся на бамбуковой кровати, перестала визжать. Донью Лупе

передернуло.

— Что это значит, Амада? Почему ты еще в постели? И в таком виде? Вставай немедленно! Как тебе не стыдно!

Женщина смотрела на нее бессмысленным взглядом. Потом сдвинула мокрые от пота брови, видимо, пытаясь что-то сообразить, но тут же лицо ее снова приняло бессмысленное выражение, рот широко раскрылся, и, откинувшись на спину, она принялась бить по кровати жирными руками и ногами и беззвучно хохотать. Смех сотрясал ее громадное тело, оно колыхалось, как коричневое желе, из горла вырывались невнятные приглушенные звуки, в уголках рта выступила пена.

Донья Лупе покраснела и беспомощно оглянулась. Увидев, что Энтой последовал за ней и теперь стоит в дверях, она покраснела еще больше. В комнате сильно пахло потом. Донья Лупе отвела взгляд от беззвучно хохотавшей женщины. Ей казалось, что и она причастна к этой постыдной наготе, было совестно посмотреть в глаза мужчине.

— Она была на празднике Тадтарин?

— Да, сеньора. Вчера вечером.

— Но я запретила ей идти туда. И запретила тебе отпускать ее.

— Я ничего не мог поделать. Это выше моих сил.

— Что? Да ведь ты же избиваешь ее по малейшему поводу!

— Не в такой день, сеньора. Я не смел прикоснуться к ней.

— Но почему?

— День святого Иоанна, сеньора. Дух вселился в нее.

— Но послушай...

— Это правда, сеньора. Дух вселился в нее. Она и есть Тадтарин. Ей нельзя мешать, она должна делать все, что захочет. Иначе не вырастет рис, иначе деревья не принесут плодов, в реках не будет воды и вся скотина сдохнет.

— Мой бог, я и не думала, что твоя жена так могущественна, Энтой!

— Сейчас она не моя жена. Она жена реки, она жена крокодила, она жена месяца.

— Но как они могут верить в такую чушь? — настойчиво допытывалась донья Лупе у мужа, когда коляска уже катила по красивой местности, которая в середине прошлого века была загородной рощей Пако [\[171\]](#).

Дон Рафаэль, лениво проводя тростью по кончикам усов, жмурился от яркого света и в ответ только пожимал плечами.

— Ты бы посмотрел на Энтой, — продолжала донья Лупе. — Ты ведь

знаешь, как эта скотина обращается с нею, она пикнуть боится, потому что он тут же набрасывается на нее с кулаками. А сегодня утром он стоял смирный, как ягненок, пока она визжала. Он не просто боялся ее — он был в ужасе!

Дон Рафаэль посмотрел на жену долгим взглядом, давая понять, что не стоило бы заводить этот разговор в присутствии сидевших напротив сыновей.

— Дети, смотрите — святой Иоанн! — воскликнула вдруг донья Лупе и вскочила, одной рукой она опиралась на плечо мужа, чтобы сохранить равновесие, в другой держала шелковый зонтик.

— Святой Иоанн! Святой Иоанн! — словно подхватили ее крик другие голоса: люди шли через рощи, раскаленные от солнца поля и луга, поливая друг друга водой из колодцев, рек, ручьев и канав. Они подбрасывали в воздух ведра и кричали:

— Святой Иоанн! Святой Иоанн!

Поднимая клубы пыли, впереди двигалась группа голых до пояса юношей со статуей Иоанна Предтечи. Толпа, выстроившаяся вдоль дороги, образовала коридор. Белые зубы сверкали на смеющихся, черных от пыли лицах, разгоряченные тела отливали шоколадом, они пели и кричали, размахивая свободными руками, а над морем темных голов плыла статуя святого Иоанна — прекрасного, белокурого, с мужественным и высокомерным лицом; бог лета, бог солнечного света и жары, олицетворение мужской красоты над простиравшейся под ним Женщиной-Землей; его обезумевшие поклонники и поклонницы плясали, домашние животные ревели, а с неба лились беспощадные лучи, знаменуя высшую точку лета, — лились на поля и реки, на города и дороги, на толпы беснующихся людей, чей языческий рев перекрывал гнусавое пение двух семинаристов в грязных сутанах, тщетно пытавшихся придать подобающую католическую окраску этому дионисийскому буйству.

Взирая из остановившейся коляски на ревущих людей, донья Лупе, выглядевшая очень элегантно в белом платье, испытывала раздражение, о чем можно было догадаться по тому, как быстро вращался ее зонт. Острый запах пота, исходивший от мужских тел, волнами накатывал на нее, оскорблял обоняние. Она поняла, что вот-вот лишится чувств, и поднесла к носу платок.

Взглянув на мужа, донья Лупе обнаружила, что тот с презрительной усмешкой смотрит на бурлящую возле них толпу, и ее раздражение усилилось. Он попросил ее сесть — все и так уставились на нее, — но она сделала вид, что не расслышала, и, гордо выпрямившись, продолжала

стоять, всей своей позой показывая, что она бесконечно выше этих самцов, беснующихся под палящим солнцем.

И чем, думала она, так гордятся эти заносчивые мужчины? Откуда их высокомерие, бахвальство своей силой? Их превосходство не их заслуга, это заслуга поколений и поколений женщин, достойных уважения. Эти болваны так уверены в себе просто потому, что уверены в своих женах. «Мужчины храбры, только если женщины добродетельны», — произнесла про себя донья Лупе с горечью, которая удивила ее самое. Это женщины возвели мужчин на пьедестал. Что ж, женщины могут и разрушить его! Она не без злорадства вспомнила утреннюю сцену в конюшне: обнаженная визжащая Амада и ее муж и господин, пугливо жмующийся к дверям. И разве не женщина отверзла уста одному из библейских пророков?

— Они уже прошли, Лупе, — вернул ее к действительности голос мужа. — Надеюсь, ты не собираешься стоять так весь день?

Она удивленно огляделась и поспешно села. Мальчики прыснули со смеху. Коляска тронулась.

— Очевидно, на тебя подействовала жара, — сказал дон Рафаэль, улыбаясь.

Не в силах больше сдерживаться, мальчики громко засмеялись.

Донья Лупе опустила голову и покраснела. Ей стало стыдно за мысли, которые пронесли у нее в голове при виде полуобнаженных мужчин. Теперь эти мысли казались ей отнюдь не похвальными, почти непристойными. Она ужаснулась собственной испорченности и, придвинувшись к мужу, заслонила и его своим зонтиком от палящего солнца.

— Ты видела моего юного кузена Гвидо? — спросил дон Рафаэль.

— Разве и он был в толпе?

— Похоже, европейское образование не отбило у него охоту к простым сельским развлечениям.

— Нет, я его не заметила.

— Ну как же! Ведь он отчаянно махал тебе руками.

— Жаль, но я действительно не заметила. Боюсь, он обидится.

— Не замечать — привилегия женщин.

Когда в тот же день Гвидо появился у деда, соответствующим образом одетый, причесанный и надушенный, донья Лупе была с ним так обворожительно мила, что он совсем потерял голову и не сводил с нее влюбленных глаз.

То было время, когда наши молодые люди отправлялись за знаниями в

Европу. То было время Байрона, викторианская эпоха еще не наступила. Юный Гвидо ничего не знал о Дарвине и его теории эволюции, зато знал все о Наполеоне и Французской революции. Он рассмеялся, когда донья Лупе выразила удивление по поводу того, что он участвовал в этой дикой процессии в честь святого Иоанна.

— Я просто обожаю наши старинные праздники! Они так романтичны! Вы не поверите, но вчера вечером я вместе со своими друзьями проделал немалый путь, чтобы увидеть процессию, посвященную Тадтарин.

— Она тоже была романтической? — осведомилась донья Лупе.

— Фантастической, сверхъестественной. У меня мурашки пошли по коже. Женщины находились в каком-то мистическом трансе. А та, что играла роль Тадтарин... О, это незабываемо!

— Боюсь вас разочаровать, Гвидо, но эта женщина — моя кухарка!

— Она великолепна!

— Моя Амада? Великолепна? Эта старая жирная баба?

— Она прекрасна, как прекрасно это старое дерево, к которому вы так грациозно прислонились, — настаивал молодой человек, вызываясь глядя на собеседницу.

Они были в саду, среди манговых деревьев, гудевших от множества насекомых. Донья Лупе, подобрав ноги, сидела на траве, а Гвидо лежал перед ней, с обожанием смотря ей в глаза. Дети гонялись за красивыми бабочками. Очень медленно солнце клонилось к закату — длинный день, казалось, никак не хотел кончаться. Время от времени из дома доносились взрывы хохота — это мужчины играли в карты и рассказывали разные истории.

— Романтично! Великолепно! Восхитительно! Неужели в Европе вы научились только этим словам? — воскликнула донья Лупе, почувствовав раздражение.

— Нет, еще я научился видеть таинство и святую там, где непосвященный ум видит только грубость.

— Что же таинственного и святого в Тадтарин, например?

— Не знаю. Но чувствую, что есть в ней и то, и другое. И, сказать вам по чести, это меня пугает. Эти обряды дошли до нас с незапамятных времен. И главная роль в них отведена женщине, а не мужчине.

— Но ведь праздник-то посвящен святому Иоанну!

— Ваш святой Иоанн не имеет к нему никакого отношения. Женщины поклоняются богу значительно более древнему. Знаете ли вы, что ни один мужчина не смеет участвовать в праздничных ритуалах до тех пор, пока не

наденет на себя что-нибудь из женской одежды?

— В самом деле? И что же было на вас, Гвидо?

— Вы очень язвительны. Я так заморочил голову одной беззубой ведьме, что она охотно стянула с себя чулок. А я надел его на руку, словно перчатку. Представляю, как неодобрительно отнесся бы к этому ваш супруг.

— И что же это за праздник?

— Я думаю, он напоминает нам о тех временах, когда вы, женщины, были хозяевами положения, владычицами. А мы, мужчины, — вашими рабами. Королевы были прежде королей, жрицы прежде жрецов, а луна прежде солнца.

— Луна?

— Женщины подчинены луне.

— Как это понимать?

— И у женщин бывают приливы, и, подобно приливам моря, они вызываются луной. Первая кровь...

— Молодой человек!

— В чем дело, Лупе? Я обидел вас?

— Так вот как говорят с женщинами в Европе!

— О нет, там на них молятся, как молились мужчины на заре человечества.

— Вы сошли с ума!

— Почему вы так испугались, Лупе?

— Я? Испугалась? У вас еще молоко на губах не обсохло. Прошу вас, мой юный друг, не забывать, что я замужняя женщина.

— Я помню об этом. Я никогда не забываю, что вы женщина. И притом прекрасная. Разве вы превратились в чудовище после замужества? Или перестали быть женщиной? Перестали быть прекрасной? Разве мои глаза не говорят вам иное?

— Это уж слишком! — воскликнула донья Лупе, вставая.

— Не уходите, умоляю вас! Не будьте такой бессердечной!

— С меня достаточно, Гвидо! А потом — куда подевались дети? Я должна разыскать их.

Когда она приподняла юбки, чтобы уйти, молодой человек прильнул к ее ногам и благоговейно поцеловал носок туфли. Охваченная внезапным страхом, донья Лупе опустила глаза, и он почувствовал, как дрожь прошла по ее телу. Не отводя от него взгляда, она сделала несколько шагов в сторону, затем повернулась и бегом направилась в дом.

Вечером дон Рафаэль заметил, что его жена явно не в духе. Домой они

ехали вдвоем, дети остались ночевать у дедушки. Жара стояла прежняя, зной не спадал ни в сумерках, ни на рассвете. Вот и сейчас, после захода солнца, он мучил их, как будет мучить рано поутру.

— Юный Гвидо не слишком преследовал тебя?

— Не отставал весь день.

— Ох уж нынешние молодые люди! Мне было стыдно за весь род мужской. Он смотрел на тебя, как побитая собака.

Она кинула холодный взгляд на мужа.

— Стыд за мужчин? И это все, что ты почувствовал, Рафаэль?

— Хороший супруг всегда полагается на порядочность жены, — назидательно произнес он и улыбнулся.

Но она не ответила на его улыбку и отодвинулась в угол коляски. Помолчав, донья Лупе сказала с вызовом, глядя прямо в глаза мужу:

— Он поцеловал мне ногу.

Дон Рафаэль нахмурился.

— Полагаю, теперь ты сама убедились? — Он сделал пренебрежительный жест. — Они, как животные, повинуются только инстинктам! Целовать ноги женщине, ходить за ней с собачьей преданностью, рабски обожать ее...

— А разве обожать женщину такой уж позор для мужчины?

— Порядочный мужчина любит и уважает женщину. Несдержанный, невоспитанный — «обожает».

— Но, может быть, мы не хотим, чтобы нас уважали. Может быть, мы хотим, чтобы нас обожали?

— Значит, он все же обратил тебя в свою веру?

— Не думаю. Но хватит об этом. У меня голова раскалывается от жары.

Однако, когда они приехали домой, она не легла в постель, а стала бесцельно бродить по пустому дому. Дон Рафаэль принял ванну и переоделся. Войдя в темную гостиную, он обнаружил, что жена, все еще в белом платье, наигрывает на арфе какую-то мелодию.

— Тебе не жарко в этой одежде, Лупе? И почему здесь так темно? Вели кому-нибудь зажечь свечи.

— В доме ни души, все ушли смотреть Тадтарин.

— Мы кормим шайку бездельников, — пробормотал дон Рафаэль.

Донья Лупе встала и приблизилась к окну. Он подошел к ней, взял сзади за локти и поцеловал в затылок. Жена никак не отозвалась на его поцелуй, и он обиженно отпустил ее. И тут донья Лупе вдруг резко повернулась к нему.

— Послушай, Рафаэль. Я тоже хочу посмотреть Тадтарин. Последний раз я видела ее, когда была маленькой девочкой. А сегодня последний день праздника.

— Ты сошла с ума! Туда ходит только чернь. И ведь ты сама говорила, что у тебя болит голова!

— Но я хочу. К тому же в помещении голова болит еще больше. Сделай мне такое одолжение, Рафаэль!

— Я уже сказал: нет! Ступай переоденься. Бог мой! С тобой определенно что-то стряслось...

Он подошел к столу, открыл коробку с сигарами, выбрал одну, откусил кончик и огляделся по сторонам в поисках огня.

Донья Лупе еще стояла у окна, упрямо вздернув подбородок.

— Прекрасно, — сказала она. — Если ты не хочешь, оставайся. Я пойду одна.

— Прошу тебя, Лупе, не раздражай меня.

— Я поеду с Амадой. Энтой отвезет нас. Ты не можешь мне запретить. В этом нет ничего дурного, и я уже не девочка.

Гордо выпрямившаяся, с упрямо поднятым подбородком, донья Лупе выглядела такой юной и хрупкой, что у мужа дрогнуло сердце. Он улыбнулся и, пожав плечами, сказал:

— Это все из-за жары. Но раз ты настаиваешь — будь по-твоему. Вели запрягать.

Праздник Тадтарин длится три дня — в день святого Иоанна и два предшествующих. В первую ночь роль Тадтарин исполняет маленькая девочка, во вторую — зрелая женщина, а в третью — старуха, которая умирает и воскресает вновь. Процессия в честь Тадтарин сопровождается всеобщей вакханалией и плясками.

На площади перед церковью несколько карет уже медленно катили по кругу, и коляска Морета включилась в эту вереницу. Их часто окликали. Тротуары площади и боковые улочки были забиты людьми, от которых исходил резкий запах пота, многие стояли на балконах соседних домов, высовывались из окон. Луна еще не вошла, и темноту разрывали только яркие молнии, подобные обнаженным нервам черного неба.

— Идут! Идут! — закричали вдруг с балконов.

— Идут! Идут! — подхватили на улице. — Женщины несут своего Иоанна!

Все подались вперед. Кареты, как по команде, остановились, седоки сошли на землю. Над площадью стоял гул голосов, ржали лошади, а потом

донесся рев, похожий на шум прибоя.

Толпа расступилась, и в конце улицы показались конвульсивно дергающиеся женщины с безумными глазами, на плечах у них были черные шали, в волосы вплетены цветы. Сама Тадтарин, маленькая седая старушка, держа жезл в одной руке и пучок рисовых побегов в другой, с достоинством шествовала среди кричащих, беснующихся женщин. За ней маленькие девочки несли черную статую Крестителя, грубую, примитивную, почти гротескную, с большой головой — слишком большой для маленького, тщедушного тела. Статуя мерно покачивалась над толпой истерично визжащих женщин и выглядела жалко и в то же время торжественно. Святой словно взывал о помощи, старался высвободиться, спастись от своих разъяренных почитательниц — ни дать ни взять Иоанн в руках Иродиады, жалкая карикатура на весь род мужской, обреченный пленник, над которым издевались эти ведьмы.

Дон Рафаэль побагровел от гнева: ему казалось, эти женщины наносили оскорбление ему. Он повернулся к жене, чтобы увести ее, но она, затаив дыхание и вытянув шею, жадно смотрела на процессию, глаза и рот ее были широко раскрыты, на лице блестели капли пота. Дон Рафаэль ужаснулся. Он схватил ее за руку, но в этот момент сверкнула молния и визжащие женщины разом умолкли: для Тадтарин настала пора умирать.

Старуха закрыла глаза, склонила голову и медленно опустилась на колени. Принесли, циновку, на нее положили маленькое тело и прикрыли его саваном. Она все еще сжимала в руках жезл и побеги риса. Женщины отступили от нее, покрыли головы темными шальями и, мерно раскачиваясь, начали голосить — это был какой-то нечеловеческий, звериный рев.

Но вот небо над головами стало светлее, в серебристом сиянии обозначились крыши домов. Когда луна поднялась выше и осветила неподвижную толпу, женщины перестали причитать. Маленькая девочка, приблизившись к Тадтарин, откинула саван. Тадтарин открыла глаза и села, обратив лицо к луне. Потом она встала, простерла к небу жезл и пучок рисовых побегов — женщины тотчас откликнулись громким визгом, затем сняли шали и, размахивая ими, снова пустились в пляс. Стоявшие на площади и на балконах люди не выдержали и тоже начали смеяться и плясать. Девочки вырывались из рук родителей, жены из рук мужей, чтобы присоединиться к вакханалии...

— Хватит с нас, пошли, — обратился дон Рафаэль к жене.

Донья Лупе дрожала от возбуждения, слезы блестели на ее ресницах, и все же она покорно кивнула и пошла было за мужем. Но вдруг рванулась

прочь, к толпе пляшущих женщин.

Она вынула шпильки, распустила волосы, а потом, подбоченившись, стала приплясывать, мерно покачиваясь, откинув голову назад, так что шея ее белела в сумраке. В глазах доньи Лупе отражался лунный свет, она прерывисто смеялась.

Дон Рафаэль бросился за ней, тщетно ее окликая. Но она лишь засмеялась еще громче, отрицательно помотала головой и замешалась в толпу женщин, которая опять пришла в движение и теперь направлялась в церковь. Он устремился за женой, а она, продолжая смеяться, легко уклонилась от него — и так, то теряя ее из виду, то вновь находя, он вслед за ней оказался в беспокойной, душной темноте церкви. Процессия вошла внутрь, и дон Рафаэль, обнаружив, что стиснут со всех сторон горячими женскими телами, вдруг испугался и попытался пробиться назад. В темноте он слышал негодующие голоса:

— Эй, вы разорвали мою шаль!

— А мне наступили на ногу!

— Перестаньте толкаться!

Голоса становились все грознее.

— Дайте мне пройти, дайте мне пройти, шлюхи! — закричал дон Рафаэль.

— А! Здесь мужчина!

— Как он посмел войти сюда?

— Проломить ему голову.

— Вышвырнуть вон это животное!

— Вышвырнуть его! Вышвырнуть! — Женщины визжали, вокруг дона Рафаэля сверкали разъяренные глаза.

Его обуял ужас, он попробовал проложить путь кулаками, но перед ним стояла плотная стена живых тел, и он не мог и пальцем пошевелиться, пока невидимые руки били его, рвали на нем волосы и одежду, чьи-то ногти впились в его лицо и разодрали рот — он чувствовал соленый вкус крови. Потом он рухнул на колени, его поволокли к выходу и вышвырнули на улицу. Он сразу поднялся на ноги и пошел прочь с таким достоинством, что толпа, собиравшаяся было посмеяться над ним, умолкла. Энтон подбежал к хозяину.

— Что случилось, дон Рафаэль?

— Ничего. Где коляска?

— Вон там, сеньор. Но вы ранены! У вас все лицо в крови.

— Пустяки, всего лишь царапины. Поди приведи сеньору. Мы едем домой.

Садясь в коляску, донья Лупе заметила, что лицо мужа окровавлено и одежда разорвана.

— Ну и вид, — рассмеялась она. — Что это с тобой? — И, так как он не отвечал, она предположила: — Может быть, у тебя и язык вырвали?

Дома, в спальне, стоя напротив мужа, она все еще была настроена весело.

— Что ты собираешься делать, Рафаэль?

— Хорошенько высечь тебя.

— Но за что?

— Ты вела себя как распутная женщина.

— Такая я и есть на самом деле. Если ты называешь это распутством, значит, я всегда была распутной, и высечешь ты меня или нет — это ничего не изменит, даже если ты засечешь меня до смерти.

— Я хочу, чтобы кончилось это сумасшествие.

— Неправда, ты хочешь отомстить мне за свои синяки.

Он вспыхнул:

— Как ты можешь говорить так, Лупе?

— Но это правда. Женщины задали тебе хорошую взбучку, и теперь ты хочешь выместить злобу на мне.

Плечи его опустились, и он сказал, сразу сникнув:

— Если ты можешь думать такое обо мне...

— А почему бы и нет? Думаешь же ты, что я распутная женщина!

— Да разве я могу быть уверен в том, что о тебе думаю? Я не сомневался, что знаю тебя как себя самого, а сейчас ты так далека от меня...

— И тем не менее ты собирался меня высечь...

— Но я люблю тебя, уважаю...

— А если ты перестанешь уважать меня, ты перестанешь уважать и себя? Этого ты боишься?

— Я этого не говорил!

— Но почему бы не сказать? Ведь это правда. И ты сам это знаешь...

Он попытался возразить:

— Почему ты так думаешь?

— Потому. Ты должен это сказать или высечь меня. Выбирай. — Она вперила в него взгляд, и он опять почувствовал позорный страх — тот самый, который обуял его в церкви. Ноги стали ватными, и ему стоило невероятных усилий не упасть.

Она ждала его ответа.

— Нет, я не могу тебя высечь, — выдавил он наконец.

— Тогда скажи! Скажи, что ты боишься потерять уважение к себе! — Она яростно сжала кулачки. — Зачем ты себя мучаешь? Все равно ты сделаешь так, как я велю!

Но он был упрям и еще не потерял способности сопротивляться.

— Ты же видишь, я раздавлен. Тебе этого мало? Мало, что ты довела меня до такого состояния?

Она была непреклонна.

— Пока ты не скажешь, мира между нами не будет!

Этого он не мог снести и медленно опустился на колени. Дыхание его стало неровным, пот струился по всему телу.

— Я обожаю тебя, Лупе, — сказал он бесцветным голосом.

Она жадно подалась к нему.

— Что? Что ты сказал?

— Что я обожаю тебя. Обожествляю. Воздух, которым ты дышишь, и земля, по которой ты ходишь, — святыня для меня. Я твой раб, твой пес...

Но и этого было недостаточно. Все еще сжимая кулачки, она сказала:

— Тогда подползи ко мне и поцелуй ногу...

Ни секунды не колеблясь, он рухнул на пол и, работая руками и ногами, пополз, как огромная агонизирующая ящерица, а женщина медленно отступала, не сводя с него глаз и раздувая ноздри; отступала до тех пор, пока не оказалась у окна, озаренная светом луны и вспышками молний. Тяжело дыша, она прислонилась к подоконнику, а он лежал ничком у ее ног.

Подобрав юбки, донья Лупе резко выбросила вперед обнаженную ступню. Он поднял влажное лицо, прижал пальцы ее ноги к разбитым губам, потом схватил ногу обеими руками и стал жадно целовать пальцы, икру, ступню, он целовал так жадно и страстно, что она откинулась на подоконник и закусила губу; по телу доньи Лупе пробежала дрожь, голова запрокинулась, распущенные волосы струились наружу, словно темная вода, а луна сияла ярко, как солнце, и духота сливалась с лунным светом.

Перевод с тагальского И. Подберезского

Франсиско Сиониль Хосе

Франсиско Сиониль Хосе родился в 1924 году в г. Росалес провинции Пангасинан. Во время второй мировой войны был санитаром, после войны решил посвятить себя медицине. Однако по совету своего учителя занялся журналистикой и вскоре завоевал репутацию способного журналиста, работал в Коломбо и Гонконге, редактировал ряд газет и журналов. В 1958 году Ф.-С. Хосе основал филиппинское отделение ПЕН-клуба, которым руководит и поныне. Зависимое положение, необходимость приспосабливаться к требованиям владельцев газет и журналов побудили его в 1966 году основать собственный журнал «Солидэрити», который пользуется известностью во всей Азии.

Ф.-С. Хосе первым из филиппинских литераторов установил связи с советскими писателями, активно сотрудничает с СП СССР, по приглашению которого неоднократно приезжал в нашу страну. Он является также владельцем книжного магазина (единственного в Маниле, где можно купить книги советских авторов на английском языке), ведущего культурно-просветительную работу. Там постоянно собираются писатели, художники, артисты, общественные и политические деятели, выступают зарубежные — в том числе и советские — гости. Роман Ф.-С. Хосе «Притворщики» и многие рассказы были опубликованы на русском языке.

Для творчества Ф.-С. Хосе характерна глубокая озабоченность судьбами филиппинской культуры. Он резко выступает против бездумного заимствования модных инноваций у бывшей метрополии Филиппин — США, которые губительно сказываются на самобытности и действенности филиппинской культуры и литературы. Вместе с тем он разоблачает местную правящую верхушку страны, сотрудничающую с империалистами США. Отсюда его интерес к жизни простого филиппинца, к его внутреннему миру, столь отчетливо проявившийся в предлагаемом рассказе. Достоинство Ф.-С. Хосе состоит в том, что ему удается в своем творчестве органически сочетать национальное с общечеловеческим, высокую художественность с идейной насыщенностью. Это делает его произведения близкими и понятными читателям всех стран.

И. Подберезский

Гора

В тот год стояла небывалая засуха. Участок на склоне горы, который мы засевали рисом и бататом, потрескался, а колосья риса поникли и завяли. Мне было тогда всего девять лет. Сколько я помнил себя, мы всегда жили на горе, и я относился к ней с благоговением. Даже в самые трудные времена мне казалось, что только здесь можно найти мир и покой, которых не было внизу. Совсем рядом с нашей хижинкой на безлесном отроге росла папайя. Дед уверял, что это он посадил ее, но я думаю, что большая часть деревьев выросла здесь сама по себе — скорее всего, ветер да птицы занесли сюда семена.

Для деда гора всегда была чем-то враждебным, но, в конце концов, именно она давала нам все: еду, немного фруктов, дрова, а после полудня укрывала нас от беспощадного солнца.

Я не знаю, чего дед не выносил больше — гору, которую он не мог одолеть, или обезьяну, которую он не мог убить, — может быть, последнюю обезьяну во всей округе, потому что рядом уже не осталось лесов, и только верхушка горы была еще покрыта деревьями.

И вот мы с дедом поднимаемся на гору: он полон решимости во что бы то ни стало найти и прикончить обезьяну, таскавшую у нас из-под носа фрукты. «Иначе эта тварь погубит нас всех», — не раз говорил дед и, похоже, в конце концов убедил себя в этом. Я не совсем уверен, но мне казалось, что раз или два я видел это осторожное животное, которое мгновенно исчезало в ветвях деревьев.

Мы уже довольно долго шли вверх, и я с трудом передвигал ноги. Наконец дед остановился, присел на валун и молча показал мне на место подле себя. Вершина была отчетливо видна отсюда, и далеко внизу я увидел нашу хижину, в свете уходящего дня почти неотличимую от огромных валунов. Еще дальше, за грядой валунов, простиралась желтая, выжженная солнцем равнина. Наша хижина издали казалась не больше ладони, но я смог различить две фигурки: отец и мать складывали хворост во дворе. Налетел ветер и сорвал у меня с головы соломенную шляпу, но дед поймал ее.

В дождливый сезон взбираться на гору было бы гораздо труднее — тропа становилась скользкой. Сегодня было сухо, но зато жара выматывала все силы. Внизу, у подножия горы, примостилась деревня — среди беспорядочно разбросанных домов выделялась школа с красной черепичной крышей.

— Ты тоже устал? — спросил я деда.

— Мне не до того сейчас, — ответил он.

Я понимал его состояние. Теперь, с ружьем, он рассчитывается наконец с этой злосчастной обезьяной — виновницей всех бед.

Сегодня утром в наши края прибыл Богатый Человек со слугами, владелец всех окрестных земель, в том числе и нашего склона. Он возвращался с неудачной охоты. Богатый Человек сердито спросил деда, почему тот давно не делал ему подношений. «Это не моя вина, господин, — ответил дед. — Если бы у меня было ружье, я бы добрался до этой твари, которая крадет ваши фрукты». Когда дед был помоложе, он не раз ходил на охоту с Богатым Человеком. И Богатый Человек дал деду ружье. Сейчас дед сжимал его в руках и не отрываясь смотрел на поросшую лесом вершину горы.

Я сорвал былинку и пожевал ее. У нее был терпкий привкус. Я часто был голоден и все меньше надеялся, что когда-нибудь мы сможем собрать много риса. Я даже придумал игру, — возвращаясь из школы, я обычно загадывал, есть ли что-нибудь в глиняном кувшине, где хранился рис. Он стоял в углу, и, пока мать занималась стиркой или возилась у очага, я с замирающим сердцем открывал крышку. Чаще всего кувшин оказывался пуст. Я все-таки запускал в него руку, но не мог найти ни зернышка. Казалось, гора строго следила за тем, чтобы мы жили впроголодь и не имели никаких запасов.

— Здесь никто не может жить, — не раз с горечью говорил дед, и постепенно его слова перестали казаться мне странными.

Сейчас над нами голубело огромное небо. Дед сидел у самого обрыва. Его лицо было влажным от пота. Он посмотрел на меня слезящимися глазами. Во взгляде его мне почудился немой вопрос: ну, каково, мол, здесь, наверху?

— Как ты думаешь, дедушка, мы очень высоко забрались? — спросил я.

— Здесь летают только орлы, — важно ответил дед. Он поднял ружье, вынул его из чехла и, приложив приклад к плечу, прицелился в водонапорную башню, которая отсюда казалась пальцем, указывающим в небо.

— А может пуля долететь отсюда до города? — снова спросил я.

— Конечно. Сверху может. Здесь мы ближе к богу.

Ближе к богу. Я повторял про себя эти слова и все никак не мог понять их. Я знал только Росалес — город, который лежал внизу, на равнине. Туда время от времени уходил отец, чтобы повидать Богатого Человека, чье

слово было законом для всех. Я не мог поверить дедушке, что мы ближе к богу, скорее, я верил нашему деревенскому знахарю, который утверждал, что гора ненавидит нашу семью, — иначе почему маму так часто трясет малярия, почему мы никак не можем собрать большой урожай, чтобы протянуть до конца дождливого сезона?

Ближе к богу? Но разве господь снисходил до нашей горы? Разве он знал неожиданные повороты ручья, разве собирал здесь улиток и съедобные корни? Что могла дать нам гора? Только прекрасный вид. Далеко внизу простирались обильные рисовые поля. А мы ковыряли бесплодную каменистую землю, потому что внизу для нас не было места, нам оставался только склон. Равнина была не для нас, поэтому дед построил хижину на пустынном склоне горы и собирал бананы и папайю.

И вот теперь почти все доставалось обезьяне — эта тварь оказалась проворнее деда. Голод прогнал нас с равнины, но и на горе мы продолжали голодать. Дед считал, что в этом виновата обезьяна и ничто не изменится, пока ее не уничтожишь. Гора наложила отпечаток на всю нашу семью: кожа на лице деда высохла и стала морщинистой, у отца опустились плечи. Но самую глубокую отметку гора оставила на маме — ее щеки постоянно горели нездоровым румянцем, казалось, дыхание смерти уже обожгло ее. Стоило посмотреть на мертвые стволы деревьев, погибшие от засухи этим летом, — и невольно возникал вопрос: как мы могли здесь жить? И как могла жить обезьяна?

— А теперь слушай, — прервал дед мои размышления. Голос его потеплел, как всегда, когда он — уже в тысячный раз — начинал рассказывать о давно минувших днях. Он снова и снова вспоминал, как приходил на гору охотиться, как возвращался с охоты, нагруженный тушами диких кабанов и кожами питонов. А потом вся живность вывелась, осталась лишь обезьяна, хитрая неуловимая бестия, которая лишала нас последней надежды добыть пропитание.

— И она придет сегодня ночью, как приходила вчера, и позавчера, и каждый день, — заключил дед.

Первый раз он увидел обезьяну ночью. Дед спал, как обычно, во дворе под навесом для дров и вдруг проснулся от крика совы в пальмах и шума крыльев летучих мышей. И тут он увидел, как мимо него неслышно прошла обезьяна, направляясь к бамбуковому настилу, укрепленному на деревьях, где дозревали сорванные бананы и папайя. Дед сел на своем ложе, но обезьяна не обратила на него ни малейшего внимания, и только когда он встал и направился к настилу, она неторопливо, словно дразня его, спустилась вниз и исчезла. С тех пор дед думал только об одном: как

покончить с этим хитрым животным. Однажды он поднялся даже на самую вершину в поисках обезьяньего логова. Ружья у него не было, дед ходил с копьем. Но ни в тот день, ни во все последующие он так ничего и не нашел. Обезьяна обходила все его ловушки и, казалось, смеялась над ним.

И вот мы снова охотимся на неуловимое животное. Дед надеется на успех — сейчас как раз зреют плоды папайи, так что обезьяна обязательно должна прийти. Но главное — у нас есть ружье. Однажды дед видел ее здесь, на деревьях. Были уже сумерки, дед спускался с горы, где резал ротанг. Позади треснула ветка, он обернулся и увидел своего давнего врага: обезьяна только что слезла с папайи и стояла, держа в руках спелый плод.

— Эта тварь знала, что у меня не было ружья, — рассказывал дед. — Она просто стояла и смотрела на меня, а я ничего не мог поделать — у меня не было даже копья, только нож.

После этой встречи дед окончательно рассвирепел и стал придумывать самые хитроумные ловушки. Но все было напрасно. Я помогал ему ставить западни: кокосовые орехи, прикосновение к которым обрушивало ствол близстоящего дерева, невидимые петли и многое другое. Но перехитрить обезьяну было невозможно. Она смеялась над нами: приманка — спелые бананы и мякоть кокосовых орехов — исчезала, а сложные приспособления деда так и не срабатывали, обезьяна уходила невредимой.

— Это самая последняя и самая мудрая обезьяна из всех, некогда живших на горе, — говорил дед. — Тех, что поглупее, я уже давно выловил.

Когда-то дед первым пришел на равнину. Забил сваи своей хижины. Он был неутомимым охотником и, не зная усталости, обрабатывал землю. Но давно уже нет тех, кто помнил об этом. А потом пришел Богатый Человек, и через несколько лет оказалось, что вся земля принадлежит ему. Это он послал деда на гору, потому что внизу, как он сказал, для деда не было места. Дед повиновался. С тех пор мы живем здесь, на этих бесплодных скалах, и дед винит во всем старую хитрую обезьяну, которая не хочет попадаться в его ловушки.

Откуда взялась эта противная обезьяна? Дед не раз рассказывал мне, откуда вообще взялись обезьяны. Когда-то, давным-давно, говорил он, жил богатый, могучий и очень жестокий господин, у которого было множество слуг. Однажды измученные его жестокостью слуги отказались ему повиноваться. Господин обезумел от ярости и принялся избивать их так, что плети приросли к спинам несчастных и превратились в хвосты. Спасаясь от ударов, слуги полезли на деревья да так и остались там, став

обезьянами. Их господин тоже превратился в обезьяну, и не иначе как именно он и досаждал деду.

Дед встал, посмотрел на деревья, потом опять повернулся ко мне.

— Дедушка, а разве днем обезьяна не приходит?

— Она боится. Но ночью она непременно придет.

Дед достал из кармана патрон — единственный патрон, который дал ему Богатый Человек, — и зарядил ружье.

— Дедушка, давай не будем ее убивать, попробуем поймать живой?

— Нельзя рисковать. Мы все умрем с голоду, если эта тварь будет по-прежнему грабить нас.

— Если бы поймать ее живой, — продолжал я, — я мог бы приручить ее. У меня никогда не было ни щенка, ни кошки.

Вообще-то говоря, щенок у меня однажды был, но, когда настали особенно тяжелые времена, он, как сказал отец, тоже пошел в дело.

— Это не для нас, — сердито ответил дед. — Кормить лишний рот... Тут людям есть нечего. — И дед резко взмахнул рукой, как делал всякий раз, когда давал понять, что разговор окончен.

— А как мы увидим ее в темноте? — переменял я тему разговора.

— Я увижу, — твердо сказал дед. — Теперь уж недолго ждать.

— А она старая?

— Она старше твоего отца. Может быть, даже старше меня. Немногие видели ее. Но я видел... Она здесь столько же лет, сколько и я...

Солнце клонилось к горизонту. Дед достал из кармана свернутую еще внизу сигарку и закурил. Глядя вниз, на равнину, он продолжал:

— Когда-то живность была и там, внизу. Мы охотились без ружей, только с собаками, копьями и ножами. У нас тогда были крепкие ноги и здоровые сердца...

Солнце скрылось за горой, и почти тотчас слабый ветерок коснулся моего лица. Донесся крик какой-то птицы. Дед сплюнул желтую от табака слюну на камни.

— Папайя созреет через два дня. Вчера я заметил три желтеющих плода. Вон там, видишь? Теперь остался только один. Эта тварь была здесь прошлой ночью. Она придет за последним. Когда стемнеет...

Дед встал и жестом предложил мне следовать за ним. Мы поднялись на небольшую площадку, где густо росли деревья. Площадка круто обрывалась вниз. Пока дед искал место, где мы могли бы притаиться, я подошел к обрыву и бросил вниз камешек. Звук донесся не сразу, и мне стало ясно, что если бы нам удалось загнать обезьяну на самый край обрыва, мы могли бы обойтись без ружья...

Дед нашел удобное место под молодыми деревцами. Здесь мы могли ждать, не опасаясь, что обезьяна заметит нас. День догорал, и только на западе чуть светилась розовая полоска неба.

— Если обезьяны когда-то были людьми, то могут ли они снова превратиться в людей? — спросил я.

Дед потрепал меня по плечу:

— Пути господни неисповедимы... Никто не может сказать... Хотя... Богатый Человек как-то говорил мне, — тут дед перешел на шепот, — что многие ученые люди верят в то, что все мы были обезьянами. Если это так, то обезьяны наши братья, и люди не должны обижать их. Но доброта сейчас не для нас, — если мы пощадим эту обезьяну, то сами умрем от голода.

Дед замолчал, уставившись в землю. Поняв, что он не настроен продолжать разговор, я тоже умолк.

Темнота быстро спускалась на землю. В тишине ночи отчетливее стали слышны крики птиц. Мы сидели молча, небо потемнело, я уже ничего не различал, кроме смутно вырисовывавшегося рядом профиля деда. И обезьяна пришла. Я услышал едва уловимый шелест травы — кто-то осторожно ступал по сухим листьям. Дед сжал мне плечо, призывая к молчанию. Он поднял ружье и прицелился.

— Это она, дедушка? — чуть слышно прошептал я.

Он не ответил, но мне и так было ясно, — около одного из деревьев тьма казалась гуще, а потом я увидел, как темное пятно мелькнуло вверх по стволу. Дед выстрелил. Эхо прокатилось по склону и замерло вдали. В свете выстрела я увидел, как обезьяна соскользнула со ствола папайи и бросилась наутек, но не вверх, на гору, а в сторону обрыва.

Дед выскочил из укрытия. У него больше не было патронов, и он хотел добить обезьяну прикладом — судя по тому, что бежала она медленно, дед понял, что ему удалось ранить ее. В темноте я смутно видел, как дед поднял ружье — приклад описал дугу, — и я закричал от ужаса. Мгновение дед балансировал на краю обрыва, потом исчез, и тишина воцарилась вновь.

Все это произошло в считанные секунды. Едкий пороховой дым еще не рассеялся, а я уже катился вниз по обрыву, цепляясь за жесткую траву и острые камни. У подножия обрыва я наткнулся на деда — он лежал в высокой траве. Инстинктивно я положил руку ему на грудь. Он дышал. Но, прикоснувшись к его лбу, я ощутил под рукой теплую жидкость. Дед чуть слышно простонал. Стон был почти неотличим от шума насекомых в траве. Я позвал деда, но он не отвечал.

Я приподнял его голову, положил к себе на плечо и попробовал поднять деда, но не смог: он был слишком тяжел для меня. Я принялся звать отца, хотя это было глупо — он не мог услышать меня, — и звал до тех пор, пока совсем не охрип, но никто не отзывался. И тогда я бегом бросился к дому.

Мама пила свой отвар от малярии, а отец стоял в дверях, и пламя очага освещало его. Срывающимся шепотом я рассказал о случившемся. Мать сразу же запричитала: «Отец, отец, я думала, что моя очередь умереть первой».

— Перестань, — перебил ее отец, — твой сын говорит, что он еще дышит. Даст бог, все обойдется.

Мама поставила чашку с отваром и сказала:

— Проклятая гора, она убьет нас всех...

Отец молча взял нож и жестом приказал мне следовать за ним. Мы не сразу отправились к подножью обрыва — сначала мы пошли на другую сторону горы, где жили еще две семьи. Отец бесстрастным голосом сообщил, что произошло, и мужчины молча присоединились к нам. Я без труда отыскал место, где оставил деда. Рядом валялось ружье, оно было цело. Немного дальше, в кустах, лежала раненая обезьяна, она упала на кусты, и это смягчило удар. Мужчины быстро соорудили подобие носилок, осторожно положили на них деда, а раненую обезьяну сунули в мешок.

Казалось, мы шли долгие часы, прежде чем достигли дома. Фонарь отбрасывал тусклый свет, и за каждым кустом мне чудилась опасность. Процессия двигалась молча.

Когда мы вошли во двор, закричал петух. Деда положили под навес, где находилось его ложе. Я поднялся в дом.

— Он мертв?! — заголосила мать.

— Он жив, — крикнул я. — Он жив, но он без сознания.

Мать быстро вышла из дома, а когда вернулась, то молча развела огонь в очаге и принялась варить батат. Наверное, впервые в жизни еда не интересовала меня. Я лег на свою циновку, но не мог уснуть. В проеме окна ярко сияли звезды. Мужчины разговаривали во дворе, и я слышал, как отец сказал, что обезьяна еще жива и что это, наверное, последняя обезьяна в этих краях. Потом я слышал, как застонал дед. Значит, он жив. Все остальное не имело значения. Потом я уснул. Мне приснилось, что к нам снова пришел Богатый Человек, а вокруг него кружились и кривлялись обезьяны, показывая ему язык. Богатый Человек протянул мне ружье и закричал: «Стреляй в них, стреляй!» Я повиновался, но сколько я ни нажимал на спусковой крючок — выстрела не было. Обезьяны поняли это

и начали меня дразнить. Богатый Человек осыпал меня ругательствами, потом схватил палку и стал бить. Я отпрянул, но было поздно — палка приросла к моей спине. Со стыда я побежал в лес, взлетел на дерево и почувствовал, что на ногах у меня выросли такие же длинные пальцы, как и на руках. Я прыгал с ветки на ветку с такой быстротой, что только ветер свистел в ушах, но избавиться от хвоста не мог. Тогда я прыгнул с верхушки дерева вниз и упал на каменистый склон. Я почувствовал острую боль и проснулся. Было еще темно, и мама склонилась над моей циновкой.

— Успокойся, — услышал я ее мягкий голос. — Твой дедушка еще жив.

Может быть, я снова заснул, но мне казалось, что я все время прислушиваюсь к таинственным звукам ночи.

Утром, когда мы завтракали вареным рисом, я заикнулся о своей мечте приручить обезьяну, но отец не стал меня слушать.

— Иди побудь с дедом, — приказал он. — Ему, кажется, лучше.

Под навесом для дров всегда пахло гнилью. Дед лежал с закрытыми глазами на своем бамбуковом ложе. На земле темнели пятна — отец с матерью промыли его раны и перевязали их грубой древесной корой. Я наклонился к нему и прислушался. Чуть слышное дыхание было неровным.

Я осторожно провел руками по его лицу. Он открыл глаза.

— Оставь меня в покое, внучек, — с трудом выговорил дед.

Я отошел к калитке и стал смотреть вниз. По тропе спускался отец с ружьем на плече. Он шел к Богатому Человеку. Мама, укутавшись в теплый платок (ее все еще лихорадило), возилась во дворе. Обезьяну привязали к волокуше возле большой гуавы. На ее темной шкуре виднелась засохшая кровь.

Всякий раз, когда отец отлучался из дома, мне приходилось работать гораздо больше. Надо было срезать и сжечь траву, принести воды из ручья, искупать буйвола-карабао. Я не заметил, как пролетел день. Мама чувствовала себя плохо, и мне пришлось готовить ужин. Первым делом я отнес чашку с рисом под навес. Но рис, который я поставил возле деда в обед, так и стоял нетронутым, и по нему ползали большие черные муравьи.

— Дедушка! — тихо позвал я.

Он шевельнулся.

— Дедушка! Ты ничего не ел. Хочешь, я покормлю тебя?

Он с трудом улыбнулся и прошептал:

— Мне уже ничего не нужно. Твоей матери... всем вам... это нужнее. Вы ведь знаете, что я умираю...

— Ты не умрешь, — сказал я и поставил чашку со свежим рисом у его

изголовья; Дед медленно повернулся на бок.

— Ты будешь жить, — продолжал я. — И обезьяна тоже. Ее привязали к волокуше — вон там, под гуавой.

— Я знаю, — прошептал дед.

И тут я с жаром заговорил о своей мечте — о том, что я приручу обезьяну и она станет моим другом. Дед не прерывал меня и только, когда я кончил, сказал:

— Посмотри, солнце садится. День умирает, человек умирает... И эта тварь тоже умрет.

В это время вошел во двор отец и сразу направился к нам.

— Я же просил тебя не ходить в город, — чуть слышно, но твердо выговорил дед.

Отец молча взял меня за руку и увел прочь. Позже мне удалось пробраться к обезьяне. Она по-прежнему лежала на волокуше. Ее не кормили с тех пор, как отец привязал ее. При моем появлении она шарахнулась в сторону, но веревка вернула ее на место. Тогда она забралась под волокушу и оттуда злобно смотрела на меня. Я высыпал перед нею рис. Она протянула маленькую темную лапу и, схватив горсть рису, отправила его в рот.

Обезьяна ела, не обращая на меня ни малейшего внимания, и это напомнило мне о моем щенке — тощем, вечно голодном песике, который, по уверению мамы, ел больше, чем я. Но я всего лишь наскребал немного жира, добавлял туда рис и относил все это щенку — нередко по ночам, когда отец с матерью спали. Это было уже давно, а мне до сих пор иногда слышится, как бедняга скулил от голода.

Спустилась ночь. Дед умирал, и мы ничем не могли облегчить его страдания.

Я пошел под навес, повесил фонарь и присел у его изголовья. Он не спал, ему, видно, хотелось поговорить.

— В жизни я никому не сделал зла, — хрипло зашептал дед, — честно трудился и заботился о своих детях. Потом мы оказались здесь, на этой проклятой горе. А эта обезьяна... это сам дьявол...

— Но ведь теперь она никому не делает зла, — возразил я. — Она привязана и больше не ворует фрукты.

Старик, казалось, не слышал меня.

— Там, внизу, — продолжал он, — я тоже много работал. Но там нам всегда хватало еды. А потом пришли жестокие люди с ружьями. Придумали свой закон... И согнали нас с нашей земли.

Я встал и пересел к его ногам.

— А эта обезьяна, — с ненавистью прохрипел дед, — она тоже должна умереть...

«Тоже должна умереть» — эти слова стояли у меня в ушах, когда я отошел от него.

У волокуши обезьяна все еще жевала рис, извлекая его из защечных мешков. Я поднял фонарь, чтобы лучше рассмотреть ее рану. Кровь уже подсохла, сама рана была покрыта грязью. Кажется, она не очень пострадала от падения. Обезьяна перестала жевать и уставилась на меня. Я протянул руку, чтобы погладить ее, но она отпрянула назад. Я снова протянул руку, и на этот раз она не испугалась.

На следующий день я не подходил к навесу, где лежал дед, а возился с обезьяной. Я промыл ей рану, которая уже начала затягиваться. Обезьяна съедала все, что я ей приносил.

В сумерки появился деревенский знахарь и вместе с отцом и матерью прошел к деду под навес. Он принес какие-то травы и бутылку с желтоватой жидкостью. Но ему не пришлось показать свое искусство: прежде всего он спросил, есть ли у нас белая курица, которую следовало принести в жертву, а услышав, что нет, не стал утруждать себя и ушел, неодобрительно покачивая головой.

Мы вернулись в дом. Мама зажгла фонарь.

— Он умирает, — прошептала она, — а мы ничем не можем ему помочь.

— Но чем мы можем помочь? — устало спросил отец, глядя в темноту. — Ты же знаешь, я делал все, что в наших силах. Я был у Богатого Человека, но он не пожелал впустить меня в дом.

Мама тихо заплакала, потом достала циновку, расстелила ее на полу и легла. Отец посидел некоторое время возле нее, потом вышел и исчез в темноте.

Он вернулся рано утром. Я в это время готовил завтрак на кухне. Он подошел ко мне и велел идти к бабушке.

Утро было прохладное, как всегда в горах. Ветра не было, ни один пальмовый лист не шелохнулся. Все было погружено в покой, и лишь изредка доносились резкие крики птиц. Дедушка спал, лицо его было спокойно и умиротворенно. Я присел возле него и стал наблюдать за его лицом. Если он и видел сон, то, должно быть, приятный, может быть, ему снилось, что у нас наконец-то вырос батат с клубнями величиной с кувшин.

Почувствовав мое присутствие, дед открыл глаза. Выражение мира и покоя сошло с его лица — он опять был старым человеком, которого

мучила боль, которого людская жестокость загнала на гору, где он проклинал каждый камень.

— Тебе здесь нечего делать, внучек, — сказал он с трудом. — Мне уже ничем не помочь. Руки и ноги онемели, я не могу пошевелить ими. А та тварь, наверное, выздоравливает? — вдруг с ненавистью спросил он.

— Да, дедушка.

Он выругался.

— Если бы я мог двигаться! Я бы задушил ее собственными руками. Вы все предали меня — все! Даже твой отец. Я умру, а эта тварь будет жить.

Обезьяна зашевелилась в дальнем конце двора. Дед прислушался, потом проговорил хрипло:

— Да, я умру, а она будет жить!

Я понимал, что дед говорил правду, но мне очень хотелось, чтобы обезьяна жила, чтобы я мог приручить ее и играть с нею, как когда-то играл со своим щенком. Тощего, шелудивого щенка я нашел у дороги. Я принес его домой, промыл ему раны и тайком, когда отец с матерью уходили в поле, кормил. Щенок поправился, раны его зажили, и он даже потолстел. Но это продолжалось недолго — однажды отец прикончил его.

— Ты действительно хочешь приручить обезьяну? — прервал мои воспоминания дед.

Я встал, не отвечая побрел в тень гуавы, где лег и принялся бесцельно смотреть в голубое небо.

Через некоторое время из дома вышла мама с чашкой риса и направилась под навес, но почти тотчас же вернулась в дом. Поставив чашку перед отцом, она сказала:

— Ему уже ничего не нужно.

Я не стал ни о чем ее спрашивать, не побежал под навес — все и так было ясно.

Отец снова собрался в город. На этот раз он надел свою единственную рубашку и повязал голову черным платком — путь был неблизким. Он вернулся после обеда и молча прошел в дом. Говорить было бесполезно — он пришел с пустыми руками.

Вскоре появились двое крестьян — те самые, которые помогли нести дедушку домой. Мужчины завернули покойника в старые циновки. Соседи принесли молоток и гвозди — думали, придется делать гроб, но досок не оказалось. Отец ничего не добыл в городе, даже бутылки дрянного джина. Тело деда привязали к бамбуковому щиту и отправились в город. Я шел позади. Когда мы вступили в город, один из соседей пошел вперед, чтобы

начать копать могилу.

Церковь не встречала нас колокольным звоном — отцу нечем было платить. Тело внесли в церковь. Отец пошел искать священника, а я приоткрыл лицо деда. Появился священник — он наскоро прочитал молитву и окропил лицо покойника святой водой.

Затем тело деда понесли мимо богатых усыпальниц в отдаленный уголок кладбища. Сосед, пришедший сюда раньше нас, наполовину уже выкопал могилу. Отец сменил его, и скоро могила была готова.

Никто из нас не знал молитв, поэтому мы молча опустили тело в могилу, и только кто-то один сказал, что дед непременно отправится на небо. Земля глухо падала на циновку, быстро заполняя могилу. Когда мы вышли с кладбища, было уже совсем темно.

— Уж вы извините меня, — начал было отец, обращаясь к соседям. — Я хотел бы пригласить вас выпить за упокой его души, но...

Соседи ответили, что они все понимают и что извиняться тут нечего.

Большую часть пути мы шли молча, а если взрослые и говорили, то только о работе, о засухе, о том, что урожай погиб безвозвратно и что всем нам опять грозит голод. Я был рад, что мы шли ночью, — днем нестерпимая жара сделала бы путь на гору еще труднее.

Мама ждала нас у лестницы с двумя кувшинами теплой воды.

— Омойте руки и ноги, — сказала она, — смойте с себя смерть. Вы голодны — там варится рис.

— Ничего, — сказал один из соседей, — мы поедим дома.

Когда они ушли, мама спросила:

— Вы все сделали как положено?

— Да, — коротко ответил отец.

— Вы не забыли помолиться за упокой его души?

— Нет, — ответил я.

Мы поужинали вареным рисом и улитками. Я отложил немного риса в скорлупу кокосового ореха и отнес обезьяне. Она приветствовала меня радостным криком. Я погладил ее, и она не отпрянула. В неверном свете фонаря я видел, как она судорожно глотала рис, не отводя от меня внимательного взгляда. Я вспомнил рассказ деда о том, как появились обезьяны, и свой кошмарный сон.

Полный каких-то недобрых предчувствий, я вернулся в дом. Мать постелила мне циновку, и я довольно быстро заснул, но скоро проснулся. Мама лежала укрытая всеми теплыми вещами, какие только нашлись в доме, — ее снова трясла малярия. Отец стоял, склонившись над ней, и старался утешить. Я слышал, как мама отчетливо произнесла:

— Это гора... она прикончит нас всех...

Я закрыл глаза. Дом был полон ночных звуков, и они мешали мне заснуть. Я слышал, как стонала мама и как отец ходил взад-вперед по комнате. Фитиль фонаря прикрутили, и он излучал тусклый неровный свет, словно сам страдал от какой-то тяжелой болезни.

С утра я принялся за работу — надо было сходить к ручью за водой, нарубить хворосту, приготовить завтрак.

Мама еще спала, и я на цыпочках подошел к кувшину с рисом. Рису было так мало, что не хватило бы даже на завтрак. Я отыскал отца, сидевшего на ступеньках лестницы.

— Ну? — не оборачиваясь, спросил он, услышав мои шаги.

— Там, в кувшине...

— Я знаю. Иди сорви несколько бананов и выкопай немного батата. А мне надо сходить в город.

Он прошел на кухню, ополоснул лицо холодной водой. Мама зашевелилась, открыла глаза и сказала:

— Напрасно ты идешь... Все равно ничего не достанешь.

Отец молча повязал черный платок вокруг головы и, не произнеся ни слова, вышел.

Когда он ушел, я отправился к ручью искупаться. Весь день мама и я терпеливо ждали возвращения отца. Он вернулся на закате дня с пустыми руками. Значит, опять зря ходил. Мне было тяжело смотреть на отца. Прошло какое-то время, прежде чем я решился вернуться в дом. Отец сидел за столом. Он доставал из горшка клубни батата, посыпал их солью и молча ел, глядя прямо перед собой. Кончив есть, он положил несколько клубней в чашку.

— Мама ела что-нибудь? — спросил он меня.

Я отрицательно покачал головой.

Он встал и подошел к окну. Во дворе заворочалась и закричала обезьяна.

— Ты кормил ее? — спросил отец.

— Я сам еще ничего не ел.

Он подошел ко мне.

— Папа, — робко спросил я, — почему дедушка так ненавидел обезьяну?

Отец молча отвернулся от меня. Обезьяна закричала еще громче, — вероятно, она хотела есть и звала меня.

— Папа? — испуганно повторил я, но отец все так же молча прошел на кухню, взял большой нож и, пробормотав проклятие, быстро спустился

во двор.

Поняв, что сейчас произойдет, я со слезами бросился за ним, на бегу умоляя его не убивать обезьяну, но было уже поздно: я увидел, как сверкнуло широкое лезвие ножа и бедное животное упало.

Я громко закричал и побежал вниз. Но бежать быстро у меня не было сил, и скоро отец поймал меня. Он не бил меня, нет — просто прижал к груди. Я не переставал рыдать, говорить грубые слова, а он только повторял: «Это еще один рот, еще один лишний рот». Потом он отпустил меня, и мы вместе медленно побрели к дому.

Раньше я очень любил нашу гору. Когда-то здесь у меня был настоящий друг — маленький щенок. Но однажды мы с дедом пошли к ручью собирать на ужин съедобные корни[^] вернувшись домой, обнаружили на столе нечто лучшее — дымящееся мясо! После ужина я собрал все косточки и стал звать щенка, но он не откликался. «Где Кимат?» — спросил я маму, но она отвела глаза. Тогда дед сказал, что собачье мясо очень полезно. Я все понял и в слезах выбежал во двор. Я смотрел на темную громаду горы и беззвучно плакал.

И теперь случилось то же самое, но сейчас у меня были сухие глаза. Заслышав наши шаги, мама крикнула из дома:

— Захватите с собой обезьяну. В очаге еще есть огонь. Хорошо, что хоть солью мы запаслись.

Перевод с тагальского И. Подберезского

Библиотека
избранных произведений
писателей Азии и Африки



Избранные
произведения
писателей
Юго-
Восточной
Азии



Библиотека
избранных произведений
писателей Азии и Африки



Редакционная коллегия:

Абашидзе Г. Г.

Азимов С. А.

Айтматов Ч.

Алимжанов А. Т.

Бердников Г. П.

Верченко Ю. Н.

Гамзатов Р.

Давидсон А. Б.

Дзасохов А. С.

Каноатов М.

Касумов И. А.
Кльшко А. А.
Колесников М. С.
Косоруков А. А.
Коткин В. С.
Курбанов Т.
Марков Г. М.
Михалков С. В.
Нагибин Ю. М.
Никулин Н. И.
Петросян В. А.
Примаков Е. М.
Редько Т. П.
Сартаков С. В.
Софронов А. В.
Титаренко М. Л.
Федоренко Н. Т.
Чельшев Е. П.
Чхиквишвили И. И.
Яшен К. Н.

Избранные произведения писателей Юго- Восточной Азии



МОСКВА
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •
1981

С63
ИЗЗ

Редакционный совет тома:
Воскресенский Д. Н.
Малышев М. М.
Подберезский И. В.

Цыганов В. А.
Шаньгин К. П.

Составитель тома Федоренко Н. Т.

Оформление художника Еремина В. В.

© Составление, перевод на русский язык произведений, отмеченных в содержании знаком*, и справки об авторах. Издательство «Художественная литература», 1981.

И 70303-207 191-281

028(01)-81

ИЗБРАННЫЕ произведения писателей Юго-Восточной Азии. / Сост. тома Н. Т. Федоренко. — М.: Худож. лит., 1981. — 527 с. (Б-ка избр. произведений писателей Азии и Африки).

В очередной том Библиотеки избранных произведений писателей Азии и Африки вошли повесть бирманской писательницы Мо Мо Инья «Потерянная тропа», а также рассказы тридцать одного писателя Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

И 70304-207 191-81

028(01)-81

С63

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Редакторы **Т. РЕДЬКО, М. МАЛЫШЕВ, И. КИМ**

Художественный редактор **Ю. КОННОВ**

Технический редактор **Л. СЕНИЦЫНА**

Корректор **Н. УСОЛЬЦЕВА**

ИБ № 2063

Сдано в набор 06.11.80. Подписано в печать 09.07.81. Формат 60х84/16. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. 30,8 усл. печ. л. 58,32 уел. кр. — отт. 30, 42 уч. — изд. л. Тираж 50 000 экз. Изд. № VIII — 377. Заказ № 316. Цена 3 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Отпечатано

с диапозитивов Головного предприятия на книжной фабрике «Жовтень».
252053, Киев, Артема, 25.

notes

Примечания

1

Джа — основная денежная единица Бирмы.

Пья — мелкая монета, сотая часть джа.

Лоунджи — мужская и женская национальная одежда бирманцев, напоминающая длинную юбку.

Собва — титул правителя в штате Шан.

Выражая пожелание здоровья и благополучных родов, бирманцы возвращают часть пожертвования женщине, ожидающей ребенка.

Мохинга — национальное бирманское блюдо из лапши, рыбы, гороховой приправы и специй.

Хао — одна десятая донга, основной денежной единицы во Вьетнаме; хао равно десяти су.

Во Вьетнаме прежде была распространена вера в особое значение первого дня Нового года: каков первый день, таким будет и весь год.

По буддийским верованиям, человек должен расплачиваться за грехи, совершенные им в прежнем рождении.

По поверью, в случае неудачи, сжигая щепку или бумажку, то есть «опаляя душу неудачи», можно оградить себя от невезения.

Стихи в рассказе перевел М. Малышев.

Tet — вьетнамский Новый год, отмечаемый по лунному календарю в разные числа, от середины января до начала февраля, праздник прихода весны.

Обычай красить зубы в черный цвет идет от древности: во многих странах Юго-Восточной Азии это считалось признаком красоты.

Нунги — народность тайской группы, живущая в горах Северного Вьетнама.

Тай — народность китайско-тибетской семьи, живет в горных районах Северного Вьетнама.

Вонг — эритрина индийская; дерево с пористой древесиной, красными цветами и крупными листьями, используемыми в народной медицине.

Кини — собственно вьетнамцы, живущие главным образом на равнине; народ мон-кхмерской семьи.

Имеется в виду война Сопротивления 1946–1954 гг.

Мео — народность китайско-тибетской семьи (группа мео-ман), живущая в горах Северного Вьетнама. Некоторые ученые относят мео к мон-кхмерской семье.

Имеется в виду период мирной передышки после завершения войны
Сопротивления против французских колонизаторов (1946–1954).

Во Вьетнаме деревни окружены живой изгородью из бамбуковых зарослей.

Тэй — так во Вьетнаме называли французских колонизаторов.

Дьенбьенфу — город на северо-западе СРВ, здесь была одержана историческая победа, которой завершилась война Сопротивления вьетнамского народа против французских колонизаторов (1946–1954).

У некоторых восточных народов, в том числе у вьетнамцев, печень, по традиции, считаетсяместилищем храбрости.

Фула — народность численностью около 1300 чел., одно из национальных меньшинств, населяющих горный северо-восточный край Вьетнама; язык фула относится к тибето-бирманской семье языков.

Время у фула — годы, месяцы, дни — делится на двенадцатиричные циклы; каждый циклический знак носит название какого-нибудь животного.

Канбо — кадровый работник.

Тхоти — «господин» у фула и некоторых других народностей.

Небо сегодня лучше, чем вчера,
Полная луна сегодня красивей, чем раньше...

С 11 до 1 часа ночи — первый знак двенадцатиричного цикла.

С 5 до 7 часов утра — третий знак двенадцатиричного цикла.

Гарду — сторожевая будка. В индонезийских селениях жители поочередно несут ночной караул.

Уби — батат, или сладкий картофель.

Голок — большой яванский нож.

Палембанг — крупный город на Южной Суматре.

Приаи — яванская чиновная прослойка феодального происхождения, использовавшаяся голландскими колонизаторами на низших звеньях госаппарата.

Докар — двухколесная повозка с крытым верхом.

Баджу — куртка; иногда — рубашка, сорочка.

Золотые зубы в Индонезии считаются украшением.

Чимахи — город на Западной Яве.

Пенсионеры — здесь: индонезийцы, служившие в голландских колониальных войсках. После увольнения им назначалась небольшая пенсия.

Народная война против голландских колонизаторов на Северной Суматре, продолжавшаяся с 1873 г. по 1913 г.

Ндоро — господин, госпожа.

Сарунг — яванский национальный костюм в виде длинной юбки. Сарунг носят и мужчины и женщины.

Кентонг — полый ствол дерева, подвешиваемый вблизи гарду. Используется для сигнализации при пожарах и других бедствиях.

Сламетан — празднество с угощением, устраиваемое для односельчан поочередно каждым членом деревенской общины.

Уденг — национальный мужской головной убор из батика.

Мори — хлопчатобумажная белая ткань.

Тален — серебряная монета, равная 25 центам; *ринггит* — 2,5 рупии.

Кабайя (кебайя) — кофточка в талию с длинными рукавами. *Кайн* — подобие длинной узкой женской юбки.

Бетель — растение, обладающее тонизирующим свойством, листья которого вместе с семенами арековой пальмы и специями употребляются для жеванья.

Пайдон — плевательница.

Мбок — мать, матушка, почтительное обращение к пожилой женщине.

Берингин (варингин) — баньян, вечнозеленое дерево с большой развесистой кроной.

Вайянг — кукольный театр, популярное народное зрелище в Индонезии.

Гамелан — национальный яванский оркестр, состоящий преимущественно из ударных инструментов.

Японская оккупация Индонезии длилась 3,5 года — с 1942 по 1945 г.

Кумис — усы.

Ланггар — небольшая сельская мечеть.

Японцы обязывали служащих заниматься гимнастикой.

Пикуль — мера веса, равная примерно 62,5 кг.

Маланг — город на Восточной Яве.

Киджанг — вид карликовой лани.

Гуркхи — уроженцы Непала, вербовавшиеся в английскую колониальную армию.

Гарут — город на Западной Яве.

У индонезийцев жена часто живет и спит на своей половине дома.

Национально-освободительная антиколониальная революция началась 17 августа 1945 г. провозглашением независимости Индонезии и переросла в освободительную войну против англо-голландских интервентов, длившуюся до конца 1949 г.

Имеются в виду 1942–1945 гг. — период оккупации Индонезии Японией.

Хейхо — вспомогательные трудовые батальоны японской армии, вербовавшиеся из индонезийцев и использовавшиеся для переноски военных грузов и строительства укреплений в материковой части Юго-Восточной Азии.

Туан — господин, почтительное обращение к белому.

«Жизнь и доходы!» (искаж. *исп.*)

«Сделано в Италии» (англ.)

Кампунг — деревня; здесь: квартал, район города.

Лозунги, под которыми вели войну на Тихом океане соответственно англо-американо-голландские и японские войска.

Кота — район старой Джакарты; *Гармони* — современный центр Джакарты, неподалеку от президентского дворца.

Тераси — рыбная приправа, имеющая резкий запах.

Лемпер — лакомство из клейкого риса и мясного фарша, упакованное в бабановые листья.

Банг — сокращенное от «абанг» — старший брат, почтительное обращение к мужчине.

Чуо Сангин — так называемый Народный совет, созданный японцами. (Примеч. автора.)

Ньонья — госпожа. Обращение к замужней женщине.

Пасар Бару — «Новый рынок», торговый центр Джакарты.

Наймубу — японская деловая контора.

Брантас — река в Восточной Яве; разветвляясь на два рукава — Поронг и Сурабайю, она впадает в Мадурский пролив.

Пак — отец, папаша, почтительное обращение.

Временная договоренность между Республикой Индонезией и Голландией, предшествовавшая подписанию соглашения в 1947 г.

Сидоарджо и *Тарик* — города, расположенные в долине дельты реки Брантас.

Моджокерто — город в Восточной Яве.

По соглашению в местечке Линггаджати (парафировано в ноябре 1946 г., подписано в марте 1947 г.) голландцы признавали де-факто Республику Индонезию на не захваченных ими территориях Явы и Суматры. Соглашение предусматривало включение Республики в федеративное государство Соединенные Штаты Индонезии, а этого последнего — в Голландско-Индонезийский союз под эгидой королевы.

Кади — судья.

Унгаран — город к югу от Семаранга.

Адинда — букв. «сестренка», обращение к жене, сестре, младшей по возрасту, вообще к младшему.

Мас — букв.: золотце; почтительное обращение, принятое на Яве; нередко становится частью имени.

Гаджа Мада — название университета в Джокьякарте.

Здравствуй, папа, здравствуй, мама (гол.).

Сенденбу — японское бюро пропаганды.

Нет, как вас зовут, до свиданья, спасибо (яп.).

Японский пропагандистский лозунг, широко распространявшийся в оккупированных странах.

Доброе утро, ма. Выручи пятьюдесятью рупиями. Пожалуйста, пожалуйста, срочно нужно (искаж. *англ.*)

Каникулы, ма! Школа закрыта. Мы хотим поразвлечься... да, поразвлечься, поехать в Калиуранг... на очередной урок танца. Все мальчики и девочки собираются там. Здесь мы в подавленном настроении... Там мы свободны, свободны от всего (искаж. *англ.*).

О, разумеется, ма. Линггаджатское соглашение уже подписано. У меня есть шансы получить хорошее место. Мне необходимы уроки танцев. Мы живем в атомном веке. Хэй... Друзья ждут меня у машины. Где деньги? Скорей... скорей, ма (искаж. *англ.*).

Канда, каканда — старший брат, старшая сестра. Обычное обращение жены к мужу.

Имеется в виду предложенный колониальной администрацией закон, согласно которому мусульманин был обязан регистрировать брак с одной из своих жен.

Къяи — мусульманский вероучитель-богослов.

Закон, запрещавший индонезийцам создавать свои национальные школы.

М. Хатта — вице-президент Индонезии в то время, сторонник консервативной, прозападной политики.

С. Шарир — премьер Индонезии в то время, деятель правосоциалистических убеждений.

Тан Малака — один из основателей Коммунистической партии Индонезии, перешедший в дальнейшем на позиции «национального коммунизма» и вступивший в борьбу с КПИ. В вопросе о Линггаджатском соглашении занял левацкую позицию.

Алимин — один из основателей КИИ, последовательно отстаивавший политическую линию своей партии.

Мердека — приветственный возглас. Букв.: свобода.

Белаван — порт г. Медана (Северная Суматра).

В июле 1947 г. Голландия, после бесплодных попыток поставить Индонезию на колени путем переговоров, начала колониальную войну, лицемерно объявив ее «полицейской акцией».

Уменьшительное имя от Буюнг.

27 декабря 1949 г. состоялась официальная передача суверенитета правительству Индонезии голландской администрацией. 28 декабря 1949 г. в Джакарту из временной столицы Республики в Джокьякарте прибыл президент Сукарно.

Гамбир — центральный район Джакарты.

Джокья — сокращенное название города Джокьякарта в повседневном обиходе.

Мультатули (Многострада́льный) — псевдоним голландского писателя-гуманиста Эдуарда Дауэса Деккера (1820–1887), обличавшего колониальный режим голландцев в Индонезии.

Муэдзин — служитель мечети, громким и протяжным зовом собирающий мусульман на молитву.

Бечак — велорикша.

Яньван — в китайской мифологии владыка ада.

Келонг — сделанные из бамбука загоны для рыб, расставляемые на прибрежных отмелях.

Ян Сюн — один из персонажей классического романа «Речные заводи» (XIV в.); узнав о том, что его жена Пань Цяюнь изменяет ему с даосским монахом, он с помощью своего друга заманивает жену и помогавшую ей служанку в горы и жестоко расправляется с ними. Этот эпизод составляет также содержание упоминаемой ниже пьесы Шэнь Цзыцзиня (1583–1665) «Убийство Пань Цяюнь на горе Цуйпиншань».

«Черепаша» — в Китае прозвище обманутого мужа.

У-с тарший — другой персонаж того же романа, жалкий рогоносец, за которого мстит его младший брат, богатырь У Сун.

Инче — почтительное обращение, принятое среди малайцев.

Дато — титул высшего чиновника в Малайзии; после присвоения становится частью имени; жену его, соответственно, именуют Датин.

Ханг Туах — герой средневекового малайского героического эпоса.

Ритуальные деньги, которые сжигаются в храме во время моления.

Сяньшэн — учитель, наставник. Почтительное обращение к старшему по возрасту.

Старая китайская поговорка, означает поверхностное отношение к чему-либо.

Мацзян — популярная на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии игра типа усложненного домино.

«Три листика» — карточная игра.

Западное Небо и *Западные края* — в китайской мифологии загробный мир.

Цзян Тайгун — персонаж древнекитайских сказаний. Цзян был простым рыбаком, но на склоне лет по воле государя стал его советником и полководцем.

Дамалу — одна из центральных улиц города.

Куйсин — в китайской мифологии название звезды и божества — покровителя словесности и искусств.

Дабогун — божество, которому поклоняются сингапурские китайцы и малайцы; считается покровителем города.

Чжэн Чжэньдо (1898–1957) — крупный китайский ученый-литературовед и общественный деятель.

В красной обертке обычно преподносят подарки к празднику.

Стамфорд-кэнэл — европейское название района Ворота Нарциссов.

Датоу — букв.: большая голова. Здесь: человек с положением.

Каланга — район Сингапура недалеко от восточного побережья.

Действие рассказа происходит в ту пору, когда Сингапур входил в состав Британской империи.

Цыси (1861–1908) — китайская императрица, известна жестокостью и своеобразием.

Пибун (Пибунсонграм) — премьер-министр Таиланда в 1952–1957 гг.
Пхао Сианон — генерал жандармерии, министр внутренних дел в кабинете Пибунсонграма. После государственного переворота 1957 г. и прихода к власти маршала Сарита Танарата оба министра бежали из Таиланда.

Имеется в виду переворот, совершенный в сентябре 1957 г. под руководством Сарита Танарата.

Речь идет о выборах в государственный орган Таиланда — Ассамблею народных представителей.

Кхун и *луанг* — низшие дворянские звания, дававшиеся императором Таиланда.

Пхра — один из высших рангов придворной аристократии.

Игра слов: «кхун» имеет два значения: 1) название чина в табели о рангах и 2) пасти скот, выращивать животных или птиц.

Игра слов: «луанг» имеет два значения: 1) название чина (ранга) и 2) лодырь, бездельник, бродяга.

Слово «*пхра*» является также обращением к монаху, наподобие «святой отец».

Бат — основная денежная единица в Таиланде; стобатовая ассигнация — самая крупная купюра, представляет собой солидную сумму денег, на которую может прожить в течение нескольких дней семья среднего достатка.

Гуаньинь — имя буддийского божества Бодхисатвы (санскр. Авалокитешвара); у китайцев-буддистов — богиня милосердия.

«Мэконг» — марка лучшего тайландского виски.

Салынг — медная монета невысокого достоинства.

Буддисты верят в перевоплощение; по их представлению, человек, умерев, возрождается в другом каком-нибудь существе.

Лопбури — город в центральной части Таиланда.

Боло — большой нож, употребляемый филиппинскими крестьянами для хозяйственных нужд.

Макахийа — травянистое растение со стрелчатыми листочками, которые сворачиваются при прикосновении; на Филиппинах — символ женской стыдливости (само слово «макахийа» означает «застенчивая»).

Пандай Пира — историческое лицо, пушечных дел мастер, живший в Маниле в XVI в.

Кампилан — филиппинский меч, расширяющийся к концу.

Самар — остров в средней части Филиппинского архипелага.

Пинтадос — раскрашенные. Так испанцы называли жителей центральной части архипелага, которые раскрашивали лицо и тело.

Дату — филиппинский вождь.

Антинг-антинг — амулет, предохраняющий от холодного и огнестрельного оружия.

Моро — Так называют на Филиппинах жителей южных островов архипелага.

Батхала — верховное языческое божество филиппинцев до обращения их в христианство.

Ротор Артуро (р. 1907); *Аргилья* Мануэль (1911–1943) — известные филиппинские писатели.

Непременное условие (*лат.*).

Холо — остров на юге Филиппин.

Пако — в середине прошлого века был городом недалеко от Манилы, ныне ее район.